ВЕРА
КЕТЛИНСКАЯ

Дни нашей жизни

СП

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

Дни нашей жизни

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

РОМАН

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
Ленинградское отделение
1981

Р2
К37

Действне романа Веры Кетлннской пронсходнт в послевоенные годы на одном нз ленннградских машнностронтельных заводов. Герон романа — передовые рабочне, ннженеры, руководнтелн заводского коллектнва. В трудных послевоенных условнях восстанавлнвается на новой техннческой основе пронзводство турбнн, остро необходнмых Роднне. Налажнвается жнзнь героев, недавннх фронтовнков н блокаднн-ков. В романе ставятся н решаются вопросы, сохраняющне свое значенне н сегодня.

Художннк Нnколай Васнльев

$К\frac{70302-013}{083(02)-81}$ 110—81 4702010200

Часть первая

1

С утра падал легкий, пушистый снег. На аллеях, ведущих к Смольному, деревья стояли белые, будто принаряженные, время от времени стряхивая на прохожих чистые, щекочущие хлопья.

Снегопад скрадывал очертания длинного светло-желтого здания с белыми колоннами. В вышине над центральным входом намокший темно-красный флаг медленно раскачивался в струях воздуха, как бы отмахиваясь от роя снежинок. А внизу, вдоль стен, в оседающих сугробах уже темнели желобки, пробитые капелью. Теплый воздух сулил весну.

В Смольном заканчивалось совещание директоров, и на стоянке машин тесными рядами выстроились солидные, но уже потускневшие автомобили довоенных выпусков, новенькие «победы», несколько щегольских «зисов» последнего образца и парочка малолитражных «москвичей», выглядевших тут подростками, некстати затесавшимися во взрослую компанию.

Шоферы стояли кучками, покуривая и переговариваясь. Потом эти летучие клубы мгновенно распались — шоферы устремились к своим машинам протирать мокрые капоты и стекла, прогревать моторы...

По широким ступеням главного входа шумными группами спускались директора.

Обмениваясь впечатлениями и тут же, на ходу, договариваясь о неотложных делах, они на минуту заполнили всю лестницу, и энергичная фигура Ленина на заснеженном пьедестале оказалась как бы во главе их. Так стремительно было запечатленное скульптором движение, что снег соскальзывал с круто развернутых плеч Ильича и вся его фигура выглядела живой, участвующей в нынешнем дне.

Из гула голосов выделялись обрывки фраз:

— ...освоили три новых прибора...

— ...с тех пор, как я перевел цеха на хозрасчет...

— ...сушка токами высокой частоты...

В центре самой оживленной и многочисленной группы шел директор крупнейшего машиностроительного завода Немиров, с усмешкой прислушиваясь к воркотне маленького и очень толстого директора металлургического завода Саганского, вперевалку шагавшего рядом с ним.

В легком пальто нараспашку, сдвинув набок котиковую шапку, Немиров медленно спускался по ступеням, всей своей непринужденной осанкой подчеркивая, что вот он молод, спокоен и здоров, что он мог бы и сбежать по ступеням, презрев директорскую солидность, да придерживает шаг из вежливости перед старым толстяком, которому только и остается ворчать и страдать одышкой. Конечно, покритиковали сегодня их обоих, каждый получил свое, но его, Немирова, критика не расстроила и не раздосадовала: он уверен в своих силах и сумеет наверстать упущенное, а вот соседу и досталось покрепче, и трудно сказать, сумеет ли он справиться так же быстро и хорошо.

— Не по-товарищески, не по-товарищески,— ворчал Саганский, взглядом ища сочувствия у окружающих.— Ну, допустим, чуток сманеврировал на номенклатуре... Так можно подумать, что я один! А ты никогда за счет более легких изделий не выезжал, да? Ты свою новую турбину не осваиваешь шестой месяц, да?.. Ну, задержал я тебе отливки, не спорю, задержал. Так поругался бы, предупредил бы... А зачем при всем народе, да еще с этакой ехидцей?

— А ты, Борис Иванович, отливки не задерживай, номенклатуру соблюдай, тогда и срамить не буду,— ответил Немиров и остановился. Молодое лицо его приобрело выражение жесткое и даже беспощадное.— Сегодня я тебя пожалел. Следующий раз не пожалею. А товарищество тут ни при чем.

Саганский тоже остановился и снизу вверх, из-под нахмуренных бровей, оглядел собеседника. Да, этот и впрямь не из ласковых: если для дела нужно, он и голову снимет, не пожалеет; с ним надо держать ухо востро...

Немиров понял его взгляд и сухо улыбнулся в ответ. Сманеврировал толстяк, пусть теперь выкручивается; он самолюбив, из кожи вон лезть будет, лишь бы не попасть на заметку.

— Сам должен понимать, как я верчусь,— плачущим голосом заговорил Саганский.— Или, думаешь, мне легче, чем тебе? Думаешь, меня никто не подводит?

— Вот ты и требуй с них, как я с тебя,— сказал Немиров и вдруг махнул рукой:— Э-эх, Борис Иванович, не о том сейчас говорить.

Он поймал губами несколько холодных, сразу растаявших снежинок и с улыбкой расправил плечи, хотя глаза его, молодые и дерзкие, сохранили серьезность.

Взволновало его сегодняшнее совещание, взволновало и разогрело в нем жажду деятельности и успеха.

Он любил, когда их изредка собирали вот так, всех вместе,

директоров крупных предприятий. Были тут люди старые и молодые, разных характеров и разного опыта, но каждый из них привык чувствовать себя руководителем, большим начальником. Их и созывали как начальников, но здесь они чувствовали себя не начальниками, а прежде всего коммунистами, членами своей партии, чье слово для них — закон. Ведь знаешь, кажется, и сам все продумал, и других учишь, а тут слушаешь, как ученик, и все воспринимаешь по-новому. Самая суть твоего труда обнажается, вся повседневная твоя деятельность проверяется на ярком свету. Другим спуску не даешь и себе скидок не просишь. Впрочем, скидок тут и не дают. Много славы — так не зазнался ли ты, не утратил ли перспективу? Много трудностей — не растерялся ли ты перед ними, не привык ли к ним, как к затяжной болезни?

Слушаешь, приглядываешься, примериваешься, что у кого хорошо, где какая промашка, чего надо остеречься, чему поучиться. Есть, есть чему поучиться у любого. И неважно, что один говорит о кораблестроении так, будто только оно одно и существует, а другой влюблен в свой фарфор, а тебе самому порой кажется, что перед твоими турбинами все должны расступиться. А вот что ты делаешь, директор, чтоб твои изделия были самыми лучшими, чтоб их производство было наиболее прогрессивно, быстро и дешево?

В памяти звучали слова из заключительной, итоговой речи: «Ни на одну минуту не должны вы забывать, товарищи, что именно нам дано ответственное и почетное задание стать центром технического прогресса. Родина нам доверила...»

Родина доверила. Нам. И мне в частности...

Простые, часто повторяемые слова «оправдать доверие» были полны для Немирова очень определенного, вещественного содержания. Что тут главное? Главное — новая турбина. С учеными усилить связь... График, ритмичность...

— Давай-ка скорей до дому, до хаты, Борис Иванович! Дела-то не ждут.

Саганский свернул к своей машине, широким жестом пригласил Немирова:

— Хочешь, поедем сейчас ко мне, Григорий Петрович? На месте график по твоим отливкам проверим. Я секретов не делаю.

— Да нет уж, Борис Иванович, ты сам...— начал Немиров и смолк на полуслове, увидав, что Саганский распахивает дверцу роскошного «зиса», совсем нового, покрытого черным, сверкающим лаком, в белых гамашах.

— Ого! Это когда же ты успел разбогатеть?

— Премия-с,— громко сообщил Саганский, хвастливо оглядывая окружавших его директоров.— От министерства, Григорий Петрович. За хорошую работу. Вот так!..

И спросил ласковым тенорком:

— А у тебя не предвидится, Григорий Петрович? Машина недурная. Предложат — не скромничай, бери.

Директора смеялись:

— Что ему ваши отливочки, Григорий Петрович! Ему и так премии дают.

Немиров сумел отшутиться:

— Так это ж на моих обоймах заработано. Недаром он меня завалил ими на год вперед. Мне на номенклатуре отыгрываться труднее, а то я давно бы «зим» заработал.

Чтобы замять неприятный разговор, Саганский дружески осведомился:

— Супруга поправляется? Тяжело мне без нее, прямо как без рук.

— Что ж поделаешь, после такой болезни надо хорошенько отдохнуть,— как всегда сдержанно, сказал Немиров, но лицо его вдруг стало мягче, светлее и еще моложе.— А чувствует она себя совсем хорошо. И рентген последний хороший. Ты только не торопи ее, Борис Иванович.

— «Не торопи, не торопи»...— проворчал Саганский, забираясь в машину и тяжело дыша от усилий, каких это стоило ему.— Зачем же мне торопить ее? Мои работники будут гулять, работа будет стоять, а кое-кто будет нас критиковать...

Он улыбнулся невинной улыбочкой и крикнул на прощанье:

— Ладно, Григорий Петрович, цела будет твоя Клавдия Васильевна! Передавай привет ей!

Машина плавно тронулась и умчалась, взвихрив снежную пыль.

Григорий Петрович подошел к своей «победе», пошарил по карманам, вздохнул и сел рядом с шофером Костей. Костя понятливо усмехнулся: опять, значит, директор обещал жене не курить. Уж сколько раз бросает, а всегда кончается тем, что стреляет папиросы у всех окружающих, а потом, устыдившись, просит остановиться у ларька, сразу покупает несколько коробок «Казбека» и рассовывает их по карманам.

— Домой заедем? — подсказал Костя и скосил глаза на часы. Была половина второго, а в два у директора назначено заседание.

Григорий Петрович тоже скосил глаза на часы: очень хотелось завернуть домой, поглядеть, как там Клава. Утром, когда уезжал, она еще сладко спала.

— А ну-ка, с ветерком!

Он опустил стекло, подставляя лицо теплому и свежему ветру. Он представлял себе, как Клава распахнет дверь и воскликнет: «Вот молодец, что заехал!»

Открыла Елизавета Петровна, молча посторонилась, впуская зятя. По ее молчаливой сдержанности он сразу понял, что Елизавета Петровна чем-то недовольна: в таких случаях мать и дочь одинаково замыкались. Немирову не всегда удавалось быстро разузнать причину, но ему все же нравилось, что они так похожи,— это помогало ему ладить с тещей.

— Клава лежнт?

— Клавы нет дома,— раздраженно ответила Елнзавета Петровна, взглянула на растерянное лицо Немирова, н, подобрев к нему, но еще больше сердясь, объяснила: — Вытребовал ее Саганский! Прямо из Смольного позвонил — чтоб немедленно на завод!

Немнров заглянул в комнату Клавы. На диванчнке, где она обычно отдыхала, поджав ноги н прнстронв книгу на подушке, валялся брошенный второпях халатнк — длинный, отороченный пушнстым мехом халатик, который так шел ей, придавая ей непривычио домашний, уютный вид. На ковре чннно стояли рядком ее комиатные туфли с таким же мехом — малеиькие, с немного сбитыми каблучками.

— Какая температура была утром? — спросил Немиров. Не оборачнваясь, он чувствовал, что Елизавета Петровна где-то тут же, за спнной.

— Нормальная,— так же раздраженно ответнла от двери Елнзавета Петровна.— Но разве дело в температуре? Вот увндите, она даже не подумает идтн на комиссню, даже бюллетень не доконччт... Раз уж попадет на завод — пиши пропало!

Чертыхнувшнсь про себя, Грнгорнй Петровнч бросился к телефону. Секретарша Саганского равнодушно ответнла — нет еще, не приехал.

Да н прнехал бы — разве теперь нсправишь? Вот только отругать его следовало бы... «Передавай прнвет ей!..» Ишь, лнса!

Немиров уже направился к выходу, когда теща вспомнила:

— А завтракать? Погодите, подогрею кофе.

Немнров только рукой махнул, вся прелесть домашнего завтрака нсчезла, потому что нет Клавы.

— На завод, да побыстрее! — бросил ои шоферу н на этот раз, не удержавшнсь, попросил: — Дай-ка папнросу, Костя.

Костя молча достал из-за теневого щнтка пачку «Ракеты» н нскоса поглядел на директора — что случнлось? Днректор хмуро закурил н отвернулся к окну, но лицо под ветер уже не подставлял.

— Сбежала наша Клавдия Васнльевна,— помолчав, сказал он.— Сагаиский вызвал.

Костя легонько свистнул, потом сказал:

— Что ж, следовало ожидать... Ей там большое уважение, на металлургическом. Ихннй шофер говорнт: куда ей надо поехать, Саганский сразу — свою машину. Другие и просят — ие дает, а ей — пожалуйста, вот мой «знс».

Немнров улыбнулся, представляя себе, как высокая, тоненькая Клава, все еще похожая на комсомолку в своем синем беретике, садится в чериый с белымн гамашами роскошный «знс». Ему польстнли Костнны слова, хотя его затаенной, ннкем не

разделяемой мечтой было уговорить Клаву уйти с работы. За время ее болезни он впервые узнал и оценил счастье видеть ее, когда бы он ни забежал домой, слышать ее голос, когда бы ни вздумалось позвонить... Но Клава только усмехалась, а на попытку заговорить всерьез ответила насмешливо: «Я же тебя предупреждала, что из меня не выйдет настоящей директорской жены!» Елизавета Петровна хранила в этом вопросе нейтралитет,— в глубине души ей, наверно, хотелось того же со времени болезни дочери, но она гордилась служебными успехами Клавы на металлургическом заводе, да и сама привыкла всю жизнь трудиться.

Мрачно обдумывая случившееся, Немиров признался самому себе, что из его мечты никогда ничего не выйдет и что, в общем, иного и нельзя было ждать — такова уж Клава... Но отдохнуть еще две недельки, поправиться — это же необходимо! А Саганский — лицемер, бездушный эгоист, и поступил совсем не потоварищески, а еще смел сегодня лепетать о товариществе!..

Машина на полном ходу въехала в распахнувшиеся ворота и замерла у подъезда заводоуправления. Бессознательно подтянувшись и приняв тот строгий и суховатый вид, к которому все на заводе привыкли, Григорий Петрович неторопливо, сдерживая шаг, поднялся по лестнице и прошел через приемную, где уже собрались участники заседания.

— Через две минуты начнем,— мимоходом бросил он секретарше, плотно притворил массивную дверь кабинета и взялся за телефон.

Он ждал, что услышит родной и милый отклик: «Слушаю». Удивительно приветливо звучало у Клавы это обычное слово.

Откликнулся чужой, низкий голос:

— Клавдия Васильевна на совещании у директора.

Бросив трубку на рычаг, Григорий Петрович отстранил мысли о жене и минуту посидел неподвижно, готовясь к предстоящему разговору с руководящими работниками завода. Он повторил себе самую суть критики, услышанной сегодня: на «Красном турбостроителе» очень медленно осваивают новый тип турбины, вяло воспитывают новые кадры, директор забывает о заготовительных цехах, название существует — график, а работы по графику нет...

Ох, сколько он мог бы найти оправданий! Но какой в них толк? Важнее найти выход из обступивших его трудностей.

Он достал свои записи к предстоящему заседанию, сделанные накануне. Порадовался. Те же самые вопросы: график новой турбины, заготовительные цехи, снабжение, инструментальное хозяйство... Разве ж он сам не знает, где у него слабо! А вот о кадрах ни слова. Почему он забыл об этом вчера? Случайно? Или в самом деле перестал думать о подготовке и воспитании новых кадров?..

Он снова перечитал записи — вопросы продуманы, решения

намечены. Все правильно. И... недостаточно остро, недостаточно объемно, как будто сидел человек и заботился только о том, что требуется сегодня, забыв, что завтра с него спросится больше.

Однако более смелых решений, чем намеченные вчера, он не находил и сейчас. Но теперь он понимал, что их надо найти.

Палец его надавил кнопку звонка.

Он нетерпеливо следил за тем, как входили и рассаживались люди. Начальник планового отдела Каширин, пожилой, неповоротливый мужчина в мешковатом костюме сел за отдельный столик и разложил перед собою папки и сводки. И снова промелькнула мысль о Клаве и Саганском. Ну, конечно, Саганский сейчас вот так же собрал своих работников, и Клава вот так же сидит в его кабинете, вооружившись сводками. Начальник планового отдела должен быть на месте, когда заводу трудно. Разве я не вытащил бы Каширина — живого или мертвого,— раз дело требует?

И тотчас Немирова охватила досада, что сегодня не будет Любимова — человека, который ему теперь необходим больше, чем все остальные вместе взятые. Очень-то нужно было отпускать его в Москву ради плана далекого будущего, когда сегодняшние дела в турбинном цехе весьма тревожны и уж кому-кому, а начальнику цеха следует быть на месте! И все этот добряк Алексеев — отпустите да отпустите, человек разработал, так пусть сам и защищает свой план и добивается утверждения, пусть погуляет в Москве, себя покажет и других послушает.

Алексеев, главный инженер завода, как раз в эту минуту показался в дверях, оглядел всех и дружелюбно заговорил о чем-то с начальником термического цеха. Немирова покоробило — ну для чего так беззлобно и даже ласково разговаривать с ним, когда термический отстает, когда только турбинному он задерживает восемь деталей! Тут бы отругать так, чтобы помнил...

Но главный инженер уже покинул термиста, грузно опустился в кресло рядом с Немировым и беззвучно, но выразительно спросил: ну как?

Григорий Петрович так же, одними глазами, ответил: ничего, попало, но не очень, сейчас все поймешь.

В это время в кабинет слишком быстро и весело вошел молодой инженер Полозов. Он от двери поклонился директору, виновато улыбнувшись и жестом показывая, что был занят по горло и только потому опоздал (на заводе хорошо знали, что директор не допускает опозданий). Но тут же, словно забыв, что и так пришел слишком поздно, Полозов остановился посреди комнаты все с тем же начальником термического цеха. На этот раз термисту, видимо, доставалось — благодушное выражение начисто исчезло с его лица. Но Григорию Петровичу не понравилось, что Полозов — заместитель начальника турбинного цеха, приглашенный сюда только потому, что Любимов в Москве,— ведет себя так, будто он у себя в цехе, а не в кабинете директора.

— Любимов еще не вернулся? — нарочито громко спросил он.

Алексеев только что откинулся на спинку кресла в позе человека, дорвавшегося до короткого блаженного отдыха. Неохотно выпрямляясь, он тихо ответил:

— Нет, но Полозов вполне в курсе дел.

Немиров знал, что главный инженер покровительствует Полозову, и только хмыкнул в ответ. Полозов был слишком молод и, по отзыву Любимова, не в меру горяч, а Григорий Петрович сам иногда страдал из-за собственной молодости и горячности и потому предпочитал иметь дело с людьми зрелыми, основательными, накопившими солидный опыт. Да и как может Полозов быть «вполне в курсе» дел, которые и начальнику цеха, должно быть, не до конца ясны?

В памяти ожило утреннее совещание в Смольном и одна фраза из заключительной речи, почему-то сперва скользнувшая мимо его сознания: «Товарищ Немиров, по-видимому, надеется, что ему опять помогут так же, как в прошлом году, в аварийном порядке, а ему стоило бы задуматься: не попросят ли его самого помочь в этом году другим, не потребуется ли, чтобы он дал новые турбины не только в срок, но и пораньше?

Что значили эти слова? Нет ли за ними, кроме мобилизующего смысла, еще другого, более прямого и точного смысла: «Не только в срок, но и пораньше...»

— Если Любимов будет звонить, скажите ему, что пора возвращаться,— сухо приказал Григорий Петрович.

Полозов понял, что директор предпочел бы видеть на его месте Любимова. Он подчеркнуто независимо прошел через кабинет к дивану, где устроились начальники цехов, втиснулся между двумя приятелями и весело заговорил с ними.

— Прежде чем начать работу, прошу запомнить общую предпосылку,— без предупреждения, резко начал Немиров и с удовлетворением отметил, что молодой инженер замер и все собравшиеся мгновенно притихли.— Мы должны не только освоить и выпустить в этом году четыре турбины нового типа, мы должны так отработать все производство, чтобы подготовиться к значительно большему, пожалуй даже серийному их выпуску в будущем году. Таких мощных станций, как Краснознаменская, строится и проектируется не одна и не две.

По кабинету прошло движение, даже Алексеев приподнялся, вглядываясь в лицо директора, видимо связывая эту предпосылку с тем, что директор узнал в Смольном.

— Для вас, конечно, это не ново,— продолжал Немиров,— но мне кажется, вы об этом часто забываете, решая повседневные дела. А от этого ваши решения получаются мелкие, делаческие, без учета перспективы развития.

Он окинул взглядом заинтересованные, настороженные лица.

— Хотите пример? Пожалуйста. За последнее время началь-

ники цехов ставят и решают свои вопросы в отрыве от задачи подготовки новых рабочих. Почему так происходит? Смотрят себе под ноги, не думая о возрастающих завтрашних заданиях, не примериваясь к ним загодя, как полагается рачительному начальнику.

Он отодвинул в сторону приготовленные к заседанию заметки, так как чувствовал себя в собранном и ясном состоянии духа, когда ничего не упустишь и ни о чем не забудешь.

— Так вот, друзья, запомните это. И начнем с графика первой турбины. Что сделано за истекшие сутки? Прошу говорить коротко. Товарищ Полозов, начинайте.

2

Заставляя себя быть спокойной, Аня Карцева втащила тяжелый чемодан вверх по знакомой лестнице. На все той же старой облупившейся двери висел новый голубой почтовый ящик, и над ним табличка: «Любимовым — 2 звонка».

Аня вынула ключи, бережно и суеверно хранимые все эти годы, с трепетом просунула длинный ключ в замочную скважину.

Передняя показалась ей меньше и темнее, чем прежде — так бывает, когда возвращаешься к местам своего детства. Оглядевшись, она сообразила, что переднюю загромоздил огромный платяной шкаф, которого раньше не было. Значит, появились новые жильцы?.. В темном коридоре она наткнулась на что-то. Чиркнула спичкой, увидела два сундука, поставленные один на другой, а на них — детский трехколесный велосипед. Отшатнулась, будто ее ударило в грудь... Зачем, зачем возвращаться вот к этому?.. Спичкой она обожгла себе пальцы. В жидком гаснущем свете успела заметить левую обломанную педаль.

— Ну ладно,— вслух сказала она, выпрямляясь, и вторым, плоским ключом нащупала скважину замка.

Замок долго не открывался. Стало жарко, толчками билось сердце. Скинув пальто, она тщетно крутила ключ и старалась отогнать навязчивое видение: она входит в комнату, Павлик-маленький сидит на полу с клещами в руке, рядом валяются куски обломанной педали, а он испуганно смотрит на мать и бормочет: «Я только попробовал»... Мучительно вспоминать, что она тогда рассердилась.

Замок вдруг щелкнул и легко открылся. Аня увидела тусклые, давно не мытые оконные стекла, два фанерных квадрата на правом. Все стояло так, как она оставила в минуту своего поспешного бегства: застеленная кровать, на которую она так и не легла в ту ночь, стул, на котором просидела до утра. Тот самый конверт на столе. Черепки разбитой чашки на полу,— хотела напиться и уронила. Только конверт пожелтел, вода высохла и все покрыто плотным слоем пыли.

— Ну, во-первых, надо прибраться,— сказала Аня и, зажмурясь, повесила пальто на тот гвоздь у двери, где вешал свое пальто Павлик-большой. И опять стало больно оттого, что она тогда сердилась: «Зачем тащить пальто в комнату, когда есть вешалка в передней?» Если бы он сейчас вошел в комнату со своим рассеянным видом и, как всегда не сразу заметив ее, с облегчением воскликнул: «Ты уже дома!»... Ему вечно чудилось, что с нею что-нибудь случится вне дома. «Ты такая шалая»,— говорил он и гладил ее волосы...

Две фотографии стояли рядом на столе, одна прислонена к другой: Павлик-большой и Павлик-маленький. Она решительно стерла с фотографий пыль и поставила их на прежние места, отбросив малодушное желание спрятать их в стол вместе со страшным конвертом. Энергично закатала рукава, чтобы взяться за дело. Не расслабляться! Все уже пережито. Пережито. Не расслабляться!..

В кухне тоже все изменилось до неузнаваемости — нет уже на окне маминых кисейных занавесок, нет общего большого стола, за которым, бывало, дружно чаевничали всей квартирой. У одного из столиков, загроможденных посудой, пожилая женщина в синей рабочей спецовке чистила картошку. Увидав Аню, женщина удивленно привстала.

— Здравствуйте,— сказала Аня.— Не найдется ли у вас какого-нибудь ведра?..

Поняв, что так не знакомятся, она торопливо представилась.

— Господи! — воскликнула женщина.— Я уж не верила, что вы когда-нибудь приедете. Стоит себе комната как нежилая. Сколько на нее зарились! Видно, уж очень у вас бронь серьезная была?

Аня узнала — женщину зовут Евдокией Павловной Степановой. Живет она рядом с Аней, в угловой комнате. В сорок третьем переехала из разбомбленного дома. С тремя ребятами... Ане было трудно представить себе, как эта женщина хозяйничает в комнате, где когда-то жили мама и отец, откуда Аня с двумя заводскими друзьями отца вынесла его слишком легкое, отощавшее тело, чтобы на саночках отвезти на кладбище.

Взяв ведро и тряпку, она поспешно вернулась к себе. Решительно разорвав старую наволочку, начала протирать стекла. Студеный воздух обжигал Анины руки, горячил щеки. Она быстро управилась со стеклами, закрыла окна и остановилась, отбрасывая со лба растрепавшиеся волосы. Комната посветлела, повеселела. Выметены черепки разбитой чашки. Но конверт все еще лежит на столе...

Стиснув зубы, Аня взяла конверт и засунула его в ящик стола, в самый дальний угол. Она так ясно помнила, как он лежал на полу под дверью, как она радостно наклонилась, чтобы поднять его, и вдруг увидела чужой почерк рядом со знакомым номером воинской части... и не сразу сумела вскрыть конверт, и не сразу

прочитала те несколько строк... «смертью храбрых».. «память о нашем товарище Павле Карцеве»...

Зачем, ну зачем она вернулась? Бередить уже подзатянувшиеся раны? Откуда взялась вздорная мысль, что нужно бросить както наладившуюся жизнь и мчаться сюда, в Ленинград, в свой родной дом, на родной завод, как будто именно тут она найдет тепло и счастье... За десять тысяч километров от дома, в необжитых местах, где все строилось и отлаживалось заново, у нее не возникало никаких сомнений. Как она рвалась в путь-дорогу! Ехала верхом, потом на грузовике, в автобусе, на пароходе, потом больше десяти суток поездом. «Домой, домой!» А что нашла? Пепелище...

Ну что ж. Значит, так и жить. Стиснуть зубы и жить.

Два часа она мыла, чистила, скребла, перетряхивала, перетирала. Вконец умаявшись, огляделась: комната сверкала чистотой и казалась новой, впервые увиденной оттого, что вся мебель переехала на новые места.

Она долго тщательно мылась в холодной ванной. Переодевшись во все чистое, с улыбкой достала из шкафа довоенное любимое платье, встряхнула, недоверчиво осмотрела, надела. Платье было свободнее, чем раньше. Затянула шелковый кушак, остановилась перед зеркалом. Как давно она не разглядывала себя вот так, во весь рост! Оттого, что все эти годы много ходила и работала на свежем воздухе, ноги стали мускулистыми, все тело — крепким, гибким, выносливым. А лицо обветрилось и потемнело... Она подошла к зеркалу вплотную, разглядывая себя пристрастно и недоверчиво. Похудевшее лицо с энергично сошедшимися темными бровями и карими блестящими глазами сейчас показалось сухим и почти старым. Морщинки возле глаз и губ, желтоватые от прошлогоднего загара щеки, упрямые морщины на слишком высоком лбу под гладкими и, кажется, тоже потемневшими волосами. Как все женщины с живыми, подвижными лицами, Аня дурнела, изучая себя в зеркале, потому что зеркало отражало несвойственную ее лицу неподвижность. Стало грустно и страшно. Тридцать два года... Неужели молодость уже позади? Вот и кончилась моя женская незадавшаяся жизнь...

Со вздохом отойдя от зеркала, Аня сообразила, что очень голодна, и достала из чемодана остатки дорожных запасов. Немного печенья и конфет — вот и все, что осталось от солидного пакета, который Ельцов насильно вручил ей на прощанье. Ельцов... Ане вдруг до слез захотелось вернуться к нему, к его заботливой нежности, почувствовать себя не такой одинокой.

— Соседушка, чаю не хотите ли?

Евдокия Павловна без стука вошла, с любопытством оглядела прибранную комнату, потянула за руку:

— Пойдем, пойдем, устали небось?

Стараясь ни о чем не вспоминать, Аня вошла в знакомую комнату — и не узнала ее. Ни уюта, ни прежней обстановки, ни

памятных с детства обоев... Да оно и лучше! Но как здесь, видно, трудно живут!

— Трое у меня,— тихо сказала Евдокия Павловна, поняв немой вопрос гостьи.— Двое в школе, в первом и третьем классе. Старшенького пристроила было в ремесленное, так ведь не стал учиться — хоть бей, хоть плачь, помаялись с ним да и выгнали. Год болтался без дела, теперь в завод выпросила его у директора, недавно зачислили... Муж тут же, в заводе, работал. Тут и убило в сорок третьем. Снаряд в цех влетел. Даже проститься не пришлось... Рук-ног не нашли, хоронить нечего было... А ребятишки — мал мала меньше. Вот и тяну троих одна. Теперь, если старший зарабатывать начнет, полегче станет.

— Работаете?

— Заместо мужа пошла. В фасоннолитейный.

— В фасоннолитейный?

— А что? В войну все женщины работали, да и теперь немало. А я уж привыкла. Да и то сказать, не тот теперь труд, что в войну был. Механизации много. А уж цех хороший, дружный. Бывали?

— Нет, не пришлось. Но я думаю, когда привыкнешь, всякий цех полюбится.

— Не знаю,— с сомнением сказала Евдокия Павловна.— У нас ведь что хорошо? Люди.

Аня с наслаждением пила чай и все пододвигала Евдокии Павловне печенье и конфеты, но Евдокия Павловна взяла только одно печеньице, размочила в чае, от конфет отказалась и для сынишек не взяла.

— С получки я им покупаю,— с достоинством сказала она.— А баловать их пока не приходится.

Аня расспросила, кто живет в квартире. Фамилия одинокого старика Ивана Ивановича Гусакова показалась ей знакомой, но отзыв Евдокии Павловны: «Ох, выпить любит!» — не внушал надежд на приятное соседство. Впрочем, Евдокия Павловна говорила о нем с симпатией. Зато о Любимовых она и говорить не стала, только процедила: «Люди как люди, они сами по себе, и я сама по себе».

Прибежали домой младшие сынишки — оба грязные, мокрые; Евдокия Павловна заругалась, захлопотала, чтобы переодеть их и отмыть. Ане стало стыдно, что давеча приуныла. Очутившись снова в своей одинокой комнате, она подбодрила себя мыслью, что завтра же с утра побежит в райком, а там и на завод, все войдет в колею.

Быстро разделась, с наслаждением вытянулась в чистой постели, почувствовала, что устала и очень хочет спать. Потушила свет.

На темном потолке покачивались отсветы уличных фонарей. Звуки жизни доносились из квартиры. Прошаркал шлепанцами по коридору Гусаков. Аня уже видела его — высокий худой старик в фуфайке, оглядел Аню из-под насупленных бровей,

буркнул невнятное приветствие и пошел дальше... Мелодично смеялась, болтая по телефону, Любимова Алла Глебовна, полная дама со следами былой красоты на холеном лице... Стукнула дверь, кто-то вошел, притопывая валенками, Евдокия Павловна ворчит: «Опять до ночи бродишь, гляди-ко, валенки наскрозь мокрые...» Значит, пришел старший сын.

Потом все стихло. Аня засыпала, когда что-то протяжно скрипнуло — то ли рассохшаяся мебель, то ли дверь. Она знала, что дверь заперта и некому прийти. И все же, казалось, слышала: на цыпочках, как всегда, когда возвращался поздно, вошел Павлик-большой и сразу же, как обычно, натолкнулся на стул, охнул, тихонько подошел, шепотом спросил: «Ты спишь?» — и ласково коснулся губами ее виска...

А у той стены — белая кроватка с сеткой, Павлик-маленький закинул на подушку обе ручонки с крепко стиснутыми кулачками, будто приготовился к драке. Слышно его сонное посапывание... И сразу за этим видением — другое. То, что не забудется никогда: морозный холод темной комнаты, свистящее дыхание маленького нестаявшего человека, тонкие, исхудалые пальчики, которые она греет, греет в своих коченеющих ладонях, еще не понимая, что это — конец, пока вдруг ее не потрясет полная ледяная тишина: свистящего дыхания больше не слышно, а пальчики недвижны в ее ладонях и все холодеют, холодеют, холодеют...

И сразу, только отогнала страшное видение, наплывает другое: конверт на полу... радостное движение, каким подняла его, чужой почерк... «смертью храбрых»... И долгая ночь, когда она сидела, окаменев, даже слез не было. Под утро почувствовала, что окоченела, натянула ватник, закуталась в платок. Попробовала закурить — стало дурно. Налила воды — выронила чашку. И тогда рванулась из дому, прибежала в райком, разбудила Пегова... «А теперь муж... Ребенок, а теперь муж,— повторяла она,— мне нужно на фронт, я иначе не могу, я прошу вас...» Пегов тер седеющие виски и бормотал: «Да куда ж тебя, дочка? Разве что в саперную часть, так ведь не женское дело...» А под конец — «ну что ж, раз душа требует, иди...».

Измученная плохой ночью, неотдохнувшая, неуверенная, Аня пришла в приемную секретаря райкома. Приемная та же, но Пегова уже нет. Вместо него — Раскатов.

— А на «Красном турбостроителе» кто?

Технический секретарь равнодушно дал справку:

— На «Красном турбостроителе»? Директор — Немиров, парторг — Диденко.

Все новые. Да и как могло быть иначе после стольких лет? А она возвращается к исходной точке.

О какой, собственно, основной профессии она говорила там,

на дальневосточном строительстве? Что она может предъявить здесь людям, которые ее не помнят, не знают, людям, которые ушли далеко вперед? Диплом турбостроителя, не подкрепленный последующей практической работой? «Мой отец и мой муж выросли и работали на заводе»,— этим можно поделиться с друзьями, а не хвастать перед незнакомыми. «Я хочу...» Но это уж совсем не довод!

Она мысленно внушала себе устами какого-то строгого и объективного человека: «Какой же вы турбинщик, товарищ Карцева? Всю войну были военным инженером, потом строителем. Мы вас пошлем на стройку домов или, скажем, в ремстройконтору».

— Товарищ! Товарищ! Ваша очередь. Что же вы?

Она вскочила и растерянно, не успев подготовиться к предстоящему разговору, вошла в кабинет секретаря райкома.

Раскатов вежливо поднялся ей навстречу. Молодой. Чисто выбритое, свежее лицо. Очень яркие глаза, выражающие ум острый и, пожалуй, насмешливый. Вот это и есть тот строгий и объективный человек, который сейчас скажет ей беспощадно-правильные слова.

— Садитесь. Что у вас?

— Я приехала с Дальнего Востока,— с усилием начала Аня и, решив, что объяснения ничему не помогут, сразу выпалила: — Хочу на «Красный турбостроитель», в свой цех. Турбинный.

— Правильно хотите.— Раскатов протянул руку за ее партийным билетом, бегло просмотрел его.— Специальность есть?

— Есть, но у меня положение сложное,— краснея, быстро заговорила Аня.— Я кончила институт незадолго до войны, по существу только начала специализироваться по турбинам, попала на завод перед самой войной. Осень и зиму была на ремонте танков, в противовоздушной охране завода. Потом в армии. Потом...

Теперь Раскатов просматривал ее документы. Вот он покачал головой:

— Однако после демобилизации вы не очень торопились домой.

— Так пришлось,— сказала Аня.

Ей живо вспомнились дни перед демобилизацией, горячка нетерпения, торопливые сборы в долгий путь... И разговор в обкоме, где ей сказали с дружеской прямотой: «Все понимаем, товарищ Карцева, и все-таки просим — помогите. Останьтесь хоть на полгода. Вы же видите сами: нужно». Она видела: нужно. Сама себя обманывала: шесть месяцев пролетят быстро. В глубине души она уже тогда понимала, что месяцы обернутся годами, что в разгар стройки ей невозможно будет уйти, не довершив дела...

— Я не могла поступить иначе.

Раскатов поглядел на нее очень внимательно и вдруг спросил:
— Площадь у вас есть?
Она не сразу поняла вопрос.
— Ах, жилплощадь... Да, комната была забронирована. В заводском доме.
— Семья?
— Нет. Я одна.
— Совсем одна?
Он был слишком молод, чтобы понять, как это больно — быть совсем одной. Сжав губы, она не ответила.
— Так...— пробормотал он, вглядываясь в ее посуровевшее лицо.— Значит, вся сложность в том, что подзабыли турбины...
Он взял телефонную трубку, заговорил негромко, голосом человека, уверенного в том, что его слушают внимательно:
— Григорий Петрович? Раскатов говорит. Как у вас сегодня с турбиной? Ну-ну! На следующем бюро послушаем вас. Подробно, по узлам. А теперь вот что. К вам зайдет инженер... Карцева, Анна Михайловна. Ваш бывший работник. Турбинщик, но боится, что все перезабыла... Само собою, я так и сказал. Нагрузите ее как следует, ладно?.. Значит, понял?..
— Идите к директору завода, товарищ Карцева. И принимайтесь за работу. Что не помните — не стесняйтесь спрашивать. И помогите нам раскачать цех. Осваиваем новый тип турбины высокого давления. И осваиваем нелегко. Вы, наверно, знаете: цех был разрушен почти полностью. Только восстановили, подсобрали кадры да возобновили довоенное производство, и сразу — на высшую техническую ступень...
Видно было, что трудная техническая задача увлекает его и возбуждает в нем гордость. Не спрашивая, Аня уже знала, что он инженер, выдвинутый партией на партийную работу, что на заводах он чувствует себя «дома». И она спросила его, как инженера, об особенностях новой турбины. Он живо перечислил основные данные — давление, температуру, мощность,— попутно приглядываясь к Ане.
— Но таких машин еще никогда не выпускали! — восхищенно и растерянно проговорила она.— Параметры небывалые!..
Он удовлетворенно улыбнулся:
— Та́к ведь и во всей промышленности после войны. Техника шагнула далеко вперед, а темпы стали намного выше довоенных. Следили?
По острому вниманию Раскатова она поняла, что он еще раз проверяет ее.
— Настолько, насколько удавалось.
— Основную задачу ленинградской промышленности знаете?
— Технический прогресс? — быстро отозвалась Аня.— Конечно, читала. Мне это показалось естественным при наших кадрах и уровне технической культуры.
Раскатов поморщился.

— Только не думайте, что все это лежит готовеньким,— предупредил он.— И насчет кадров... старых-то осталось дай бог одна четвертая часть. И они должны в кратчайший срок передать свой опыт и культуру новнчкам. Учеба идет на ходу, потому что мы должны не только освоить выпуск технически передовых нзделий, но выпускать их много и быстро, очень много и очень быстро,— народное-то хозяйство ждет, требует. Взять хотя бы турбины. Вы и на Дальнем Востоке иасмотрелись, наверно, на строительство новых электростанций?

— Поннмаю,— весело сказала Аня и встала.— Две большущие задачи сразу. Знаете, мне очень хочется скорее на завод.

Он тоже поднялся и дружески потряс ее руку:

— Новую турбину должиы были закончить и испытать в этом месяце, ио... В общем, вы попадете в самую горячку. На вас сразу навалятся. А вы ие отбивайтесь, залезайте по уши.

Аня вышла из здания райкома и засмеялась.

«Трусиха,— сама себе сказала она.— Навыдумывала!..»

Завод открылся издалека — громадина, возвышающаяся над всем районом кирпично-бурыми корпусами и закопченными трубами. Аня даже остановилась, таким он оказался милым сердцу.

Она вспоминала завод всегда в подробностях: участок сборки, где иачала трудовую жизнь; полюбившихся ей людей, с которыми вместе работала и охраняла завод в часы воздушных налетов н обстрелов; цеховую столовую с голубыми стеиами — там происходили все собрания и там однажды, в первые днн войны, она следила за тем, как самый родной человек в быстро движущейся очереди подходил к столику с растущим списком народного ополчения, подошел, нагнулся н твердо написал: П. Карцев... Вспоминались ей черные фронтовые осадные ночи, когда рабочие ремонтировали подбнтые в боях, опалеиные танки; иочные дежурства на крыше, когда чужие самолеты завывали в небе над самым заводом н то тут, то там вздымались огнениые столбы взрывов и вспыхивали пожары, и видно было, как иа зловещем свету суетятся люди, усмиряя пламя... Целые цехи тогда иадолго замирали, превращались в обугленные коробки, обрушивались грудами камней и скрюченных металлических ферм. Эшелон за эшелоном уходил на восток, за Урал, увозя людей и станки. Казалось порою — конец заводу, конец. И только упрямая душа советского человека вопреки всему упорствовала в своей вере, в своем знании — нет, не конец! Не быть концу, не допустим!..

И вот он перед иею — громадный, невредимый, как будто и не вынесший трехлетией битвы.

Она узнавала каждый цех, каждый переулок между корпусами, каждый кран, выделяющийся на дымном небе. Только пристально вглядевшись, можно было обнаружить следы пережи-

того, но то были не развалины, не обгорелые остовы, а следы возродившего их великого труда: новые здания на месте разрушенных, розоватые пятна недавней кирпичной кладки на старых, побуревших стенах, светло-серые бетонные колонны рядом с более темными, покрытыми многолетней копотью.

Аня заторопилась, спотыкаясь на выбоинах тротуара и все-таки не отрывая глаз от завода.

«Я же своя, своя!» — хотелось ей крикнуть в бюро пропусков, где ей равнодушно, как чужой, выписали разовый пропуск.

Она вышла из проходной и задержалась на скрещении многих протоптанных на снегу дорожек, пересекавших хорошо знакомый двор. Свернуть налево — и придешь к своему цеху. Завернуть за угол — в партком, дойти до второго подъезда — завком и редакция многотиражки. Пойти прямо, мимо садика, где летом бьет фонтан,— заводоуправление... Все манило, всюду хотелось заглянуть, разыскивая знакомые лица или хотя бы знакомые комнаты, привычную обстановку деловой суеты, споров, телефонных звонков... Тут ей и жить.

И она пошла к директору.

Ей пришлось ждать. Девушка-секретарь, свирепо нахмурив белесые бровки, названивала по телефону и однообразным голосом говорила в трубку:

— Товарищ Евстигнеев? Срочно для Григорий Петровича график по обеспечению турбины. К восьми ноль-ноль. Товарищ Митрохин? Срочно для Григорий Петровича график по турбине. К восьми ноль-ноль.

Иногда сквозь однообразие слов и интонаций прорывалось живое, человеческое возмущение:

— То есть как это «завтра утром»? Вы что, товарищ Пакулин? Григорий Петрович требовал к шести ноль-ноль, я и так два часа выпросила!

Аня Карцева старалась угадать, в какой цех звонит секретарь и какие заготовки или детали этот цех поставляет. Завод лихорадило из-за новой турбины, это напряжение передалось и Ане.

Она вошла к директору, готовая к любой работе — чем труднее, тем лучше. И поэтому говорить с ним ей не было трудно, хотя директор принял ее неохотно, был суховат, то и дело отвечал на телефонные звонки властным, а иногда и резким голосом.

— Откуда приехали? — спросил он Аню, без интереса и невнимательно просматривая ее документы.

Аня ответила коротко и точно, не вдаваясь в подробности.

Уловив воинскую сдержанность ответа, Немиров с любопытством пригляделся к новому работнику и спросил дружелюбнее:

— Давно не отдыхали?

— Давно. Но я не устала.

— И хотите приступить немедленно?

— Да.

Доброе выражение на миг осветило лицо Немирова, и Аня добавила:

— Знаете, когда начинаешь новую полосу жизни, ожидание утомительней любой работы.

— Да, да,— согласился Немиров, хотел было еще что-то добавить, но сдержался, сказал строже: — Так вот, идите в турбинный. Предрешать должность не буду, им виднее, но ручаюсь, что работы хватит. Обратитесь от моего имени к заместителю начальника цеха Полозову.

— Полозову? — вскрикнула Аня.

Они проработали вместе всего несколько месяцев перед его отъездом на Урал, но сейчас Аня обрадовалась ему как родному.

— Старые знакомые? — задумчиво спросил Немиров.— Что ж, это хорошо. Только не увлекайтесь, дорогой товарищ, вместе с ним. Не витайте в облаках, когда под ногами ухабы.

— Витать в облаках не по моему характеру,— откликнулась Аня.— А Полозова помню как хорошего организатора и коммуниста. Если это тот самый Полозов.

Немиров с живым интересом смотрел на Карцеву, словно прикидывал: чего ждать от нее — помощи или помехи.

— Товарищ Раскатов рекомендовал вас, говорит: душа дела просит. Действуйте. А начальника цеха Любимова вы знаете?

Она силилась вспомнить: Любимовы... Любимовы... ах да, новые соседи по квартире, табличка на входной двери: «Любимовым — 2 звонка». Значит, сосед — начальник цеха?

— Любимова не знаю.

— Узнаете. Он в Москве, ждем его со дня на день.

Помедлив, он резко добавил:

— Предупреждаю: в турбинном обстановка сложная и не очень дружная. Лебедь в облака, а щука в воду, или как это там в басне. Не торопитесь вставать на одну из сторон.

Вскинувшись, Аня ответила:

— В склоках никогда не участвую.

— А я и не допускаю склок,— спокойно сказал Немиров.— Но бывает, что не склока, а разнобой. Постарайтесь заняться делом и только делом.

Теперь Аню еще неудержимее потянуло в цех — увидеть, разобраться, что-то (еще неведомое) исправить, в чем-то помочь. Но еще час ушел на неизбежные формальности. Когда все было закончено, ей посоветовали:

— Подождите часок, начался обеденный перерыв.

— Еще подождать? — вскрикнула Аня.— Ну нет, спасибо!

Цех был все такой же и в то же время совсем другой: светлее и как будто просторней. Сейчас в нем было тихо и пусто, только в глубине цеха, возле продольно-строгального гиганта, прозванного «Нарвскими воротами», группой собрались рабочие, закусывая и беседуя. Ане хотелось поклониться гиганту, как хорошему знакомому, такими родными ей показались его

солндные колоны. Она направнлась было туда, но ее вннмание отвлеклн громадиые станки, каких не было раньше. Расточный станок проиызывал своим блестящим валом, более длииным, чем вал мощной турбииы, крупнейшую отливку знакомых, но полузабытых очертаний. «Выхлопиая часть? — неуверенно припомиила Аия.— Очевидно, она, но насколько она больше, чем те, какне я когда-либо видала!»

Две уиикальиые «карусели» распластали свои круглые металлические площадки-планшайбы иа половииу пролета. Эти круглые площадки были так велики, что рядом с иимн выглядела бы игрушкой обычная базариая карусель, давшая название хитроумиым стаикам.

Ох и сила!

Аня чувствовала себя как в незиакомом лесу, откуда без посторонией помощи ие выбраться. Но одио ей было ясио: стаиков стало́ меиьше, чем до войны, а мощиость их намиого увеличилась, и новая турбииа иамного крупнее тех, что нзготовлялнсь когда-лнбо раиьше. Вот и мостовые краны сошлись в вышине над махииой цилиидра ннзкого давлеиия, уже охваченного стропами и готового в путь — к стенду. Значит, одиому крану и не подиять?..

Аня беспомощно огляделась и призналась самой себе: «Боюсь!..»

Чтобы закончить первый, беглый осмотр, она направнлась к стенду — металлическому строению с лесенками и периламн, всегда напомииавшему ей палубу корабля. На этом внутрнцеховом корабле собнрались в одно целое тысячи крупных, мелкнх и мельчайших деталей, в сложиых сочетаиинях составляющнх турбину — большую, изящную машииу, храиящую в своих пока еще неподвижиых механнзмах огромиую рабочую энергию.

Сейчас машииы еще не было. Аня разглядела на стеиде только нижнюю часть корпуса и мысленно дорисовала всю машину с ее изогнутыми трубами и фигурной крышкой. Воображение воспроизвело турбииу исключительной мощи, прекрасиую по экономной целесообразности форм.

На стеике, ограждающей стенд, как и прежде, пестрели плакаты и объявления. Аня подошла к доске Почета, н оттуда на нее глянули из-под иасупленных бровей зоркие, чуть улыбающнеся глаза, н сморщениые губы, полускрытые пышнымн усами, словно произиесли: «А-а, вернулась! Весь свет объехала, а дома, видио, все лучше?» Мастер Клемеитьев, Ефим Кузьмнч, строжайший из строгих, как хорошо, что вы здесь!

А вот еще одно лицо, будто бы и знакомое, только не вспомиить, кто же оиа, эта немолодая женщииа с нспуганным лицом н старательно вытаращеннымн глазами... Ох, ну и портрет! Аня ахнула и рассмеялась, прочнтав, что это Екатерина Смолкина, стахаиовка-миогостаиочннца. Катя Смолкнна, громкоголосая и отчаянная, бой-баба, как ее изывали в цехе,— как же

ты оробела перед фотоаппаратом и как же ты тут не похожа на себя!

А вот и Коршунов, еще до войны считавшийся лучшим специалистом на точнейших и ответственнейших токарных работах, старый коммунист Коршунов — волосы поседели, морщины углубились, а и сейчас, видно, крепок.

Больше знакомых Аня не нашла, но среди десятков молодых и старых лиц Аню привлекло одно, чем-то особо примечательное. Подпись сообщала, что это лучший токарь завода Яков Андреевич Воробьев. Аня внимательно вглядывалась: прямой нос, крепко сжатые, будто в какой-то строгой решимости, четко очерченные губы; светлые волосы зачесаны назад, но одна прядь так и норовит упасть на лоб. А свежие, умные глаза смотрят перед собой пристально и задумчиво, пожалуй даже ласково. Интересно, каков он в жизни, этот Яков Воробьев? Случайное тут выражение или на этот раз фотоаппарат уловил характер?

Молодой паренек шел навстречу Ане, с увлечением подкидывая ногой виток металлической стружки.

— Товарищ Полозов в цехе? — спросила у него Аня.

— В столовую пошел, вы подождите,— по-хозяйски посоветовал паренек и прошел мимо, снова будто ненароком подкинув стружку, как футбольный мяч.

Аня еще не дошла до стеклянной двери цеховой конторы, когда оттуда выскочил рослый плечистый человек в синей робе, с пятнами машинного масла на скуластом веселом лице.

— Анечка! — закричал он во весь голос, сжимая ее руки в своих широких ладонях.— Прекрасный сон или явь? Анечка Карцева!

— Витя Гаршин? Здесь? — тихо сказала Аня, не отнимая рук и не глядя на него. Это был единственный человек из ее прошлой жизни, которого она не ожидала и не хотела встретить.

3

Выйдя из столовой на обширный заводской двор, Алексей Полозов остановился и зажмурился. Примятый колесами и присыпанный копотью выпавший вчера снег все-таки победно сверкал на солнце, а на его искристой поверхности вспыхивали темным, но тоже слепящим блеском черные крупинки кокса.

«К весне повернуло»,— подумал Полозов, вдыхая холодный, уже по-весеннему влажный воздух.

По двору к столовой быстро шел человек без пальто, в надвинутой на лоб кепке и в теплом шарфе, дважды обмотанном вокруг шеи. Полозов узнал секретаря парткома Диденко и усмехнулся: до того быстр и подвижен человек, что и пальто ни к чему. Таким он был и десять лет назад, когда Алексей поступил на завод,— руководитель монтажников, агитатор, заводила во всяких общественных делах, человек кипучей энергии и широкой

души. За этн годы ои очень нзмеиился, но перемена была виутреиияя, облик н повадкн остались те же. Ннкогда он, вндимо, ие задумывался иад тем, какое впечатлеиие производит, достаточно ли солидеи. Если иадо побежать — побежнт, если весело — веселится, а работает со страстью, с пылом, ннogда с яростью; порою кажется: ничего-то ои не замечает вокруг, а приглядишься — все приметнл и лукаво посмеивается: «Что, не укроешься от меия? То-то».

— А-а, Полозов! — закричал Дидеико, подходя, и протянул иижеиеру покрасневшую от холода руку.— Тебя-то мие н иужно! Слыхал иовости? Прямо голова кругом!

И тут же, как бы опровергая собствеииое утверждеиие, обстоятельно и здраво рассказал:

— Звонили из Москвы. Краснознаменские стройки идут ускоренным темпом. Технику туда подбросили самую мощиую. В общем, пуск новых заводов всячески форсируется. Первая очередь металлургического вступит в июле, машиностроительиый заработает к седьмому ноября. Алюминиевый завод обещают пустить вместо января в октябре... Все идет к тому, что Красноэиаменка должна дать ток раньше, чем иамечалось. Строители стаиции, говорят, взяли социалистическое обязательство досрочно закончить стаицию под монтаж турбин, первую очередь — к июлю, вторую — к октябрю. К октябрю! Поиимаешь, чем это пахиет? Немирову иамекнули: со дня на день ждите вызова — так, мол, и так, товарнщн турбинщики, дело за вамн, не подводите. Мы досрочио, н вы досрочио. А?

— Мы — досрочио?

Диденко весь вскииулся:

— А как же без иас? Что ж оии, вместо турбин макеты поставят? — И задумчиво проговорил: — Так оно и идет. Как в механизме хорошем: зубчик за зубчик цепляется и всю махииу тянет. Отчего ты молчишь? — неожидаиио спросил он.

Полозов пожал плечами, глаза его были устремлены куда-то вверх, на искрящиеся крыши цехов.

— Видишь ли, Ннколай Гаврнловнч,— сказал он медленно,— сделать можно все... Все! — с силой воскликнул Полозов и добавил так же медлеино: — Но тогда ие обойтись иам без ломки. И большой ломки.

— Ну так что же? — спокойно откликиулся Дидеико и требовательно, в упор поставил вопрос: — А что именно ломать?

— Многое. Начниая с организацни и стнля руководства.

Дидеико слегка кивнул головой, помолчал, задумавшнсь, а затем осведомился, приехал ли Любимов.

— Нет еще,— недовольно буркнул Полозов.

Диденко чуть заметно улыбнулся, взял Полозова за рукав н дружески сказал:

— А ты не ершись. Тут ие один человек и ие два решать будут. Ведь если подойти с админиистративной точки зреиия, ответ может

быть одии: иет. Знаешь, что дают подсчеты и калькуляции: столько-то станков, столько-то человеко-дней, столько-то материалов, столько того и другого... А тут мозг, душа и сердце. И тогда самые точные подсчеты вдруг оказываются неточными. А подсчеты, друг, все-таки очеиь-очеиь нужны. Именно сейчас. Чтоб потом неожиданиостей не было... Ну, я пошел,— он повернул к столовой.— А ты подумай, Полозов, хорошенько подумай. Прежде чем людей поднимать, нужно себя самого до конца...

И он ушел не договорив.

Возбуждеииый новостью, которая должна была определить на ближайшие месяцы всю работу завода, Алексей заспешил в цех, к людям. Побыть с ними, уловить их иастроеиие и мысли, иабраться в общеиии с иими уверенности и спокойствия, чтобы потом, в одииочестве, продумать, что же следует делать и как подготовиться к иовой, огромной задаче. Правда, не сегодня-завтра приедет Любимов и сиимет с него ответствеииость руководнтеля... Нет, имеино поэтому иужио все продумать, все решить самому.

Как назло, первый человек, попавшийся ему навстречу в цехе, был карусельщик Торжуев. Уже начинающий полиеть и лысеть, но еще статиый и отменно здоровый — молодец молодцом, карусельщик стоял в проходе и курил короткую щегольскую трубочку, искусно выпуская дым и с интересом наблюдая, как плывут и медлеиио тают сизые кольца.

Алексей Полозов хотел пройти мимо, но Торжуев загородил ему дорогу и сказал, вытягивая из кармаиа спецовки голубой листок наряда:

— Вот, Алексей Алексеевич. Как вы сейчас замещаете начальиика цеха, я к вам. Где ж это видаио, чтоб иа такую работу четыре дня? Пять, Алексей Алексеевич,— сами зиаете, кроме меня с Белянкиным, вам и за пять никто не сделает.

Полозов взял голубой листок и прочитал задание, чтобы собраться с мыслями и подавить неуместную злобу.

— Я знаю и то, Семеи Матвеевич, что вы сделаете за три дия, если захотите,— сказал он, возвращая наряд.— А сделать нужио, срок — предельиый.

— Что я захочу, это в наряде не пишут,— ответил Торжуев и сунул в карман голубой листок.— Что полагается по норме, то и спрашивайте с иас, Алексей Алексеевич. А что сверх... сами понимаете...

— А что тут понимать, Семен Матвеевич? Работа сдельная, сколько заработаете — все ваше будет.

Он прекрасно зиал, чего добивается Торжуев: начальник цеха не раз «подкидывал» кругленькую сумму за особо срочиые н сложные работы на уникальных каруселях, поскольку выполияли их только два карусельщика — Торжуев да его тесть Беляикин. Но аккордные оплаты были запрещены, и Полозов ие собирался искать обходные пути.

Торжуев нагловато усмехнулся:

— Будет интерес — будет и старанье.

И, приподняв на прощанье кепку, вразвалочку пошел прочь.

«Вот жила! Попробуй-ка подними такого на досрочное!» — с гневом подумал Полозов, направляясь к большой группе рабочих, собравшихся возле «Нарвских ворот».

В гулкой тишине цеха отчетливо звучали увлеченные, перебивающие друг друга голоса. «Беседа проводится»,— догадался Полозов и, еще не видя, кто ведет ее, почему-то представил себе, что увидит в центре непринужденно расположившейся группы Якова Воробьева, нового партгрупорга четвертого участка.

Подойдя ближе, он не сразу увидел Воробьева — рабочие сидели где придется, некоторые стояли кучками, беседа катилась как бы сама собой, и не понять было, кто направляет ее. Может быть, просто читали газеты, да и заговорили о международных делах. Кое-кто и не участвует в беседе, завтракает или занят своими личными разговорами. Вот крановщица Валя Зимина, комсомольская активистка и умница Валя, артистка заводской драмстудии. Около нее, конечно, ее приятели Коля Пакулин и Женя Никитин — эта троица неразлучна. Светлый курчавый хохолок Николая Пакулина делает еще заметней здоровый юношеский румянец на щеках, с которых до сих пор не исчезли ребячьи ямочки, а рядом с Пакулиным кажется совсем взрослым и особенно болезненным Женя Никитин, комсомольский секретарь цеха и слесарь сборки, успевший повоевать два года танкистом и вернувшийся из армии с шестью наградами и тремя знаками тяжелых ранений. Все трое перешептываются — видно, о чем-то своем. Но нет, оказывается, все о том же. Валя вдруг начинает говорить — звонко, не очень уверенно, но горячо. Она говорит об Уолл-стрите, произнося это слово брезгливо, слегка содрогаясь плечами, как будто прикоснулась к скользкому чудовищу. Ее слушают охотно — Валю любят, Валя — цеховая дочка.

Полозов подошел еще ближе и увидел рядом с собою мрачную фигуру со скрещенными на груди руками, с тяжелым и отчаянным взглядом, устремленным на Валю. Аркадий Ступин? Да, Аркадий Ступин, непутевый красавец Аркашка, озорник и сердцеед, чьи проделки не раз приходилось разбирать и мастерам и Полозову. Эге, Аркаша, не все тебе разбивать девичьи сердца,— видно, и сам попался?..

— Ну, а почему же так происходит, как вы понимаете? — раздался негромкий, задумчивый голос, и Полозов наконец увидел того, кого и ожидал увидеть. Яков Воробьев сидел на перевернутом ящике, держа в руке кружку с чаем, и посматривал кругом, ожидая ответа.

Таким он и в цех пришел года два тому назад — не как новичок, а как свой человек, положил перед Алексеем Полозовым

документы — после демобилизации, младший лейтеиант Воробьев — н сказал, как товарищ товарнщу: «К вам — работать».

И сейчас он направлял беседу как свой средн своих, не выделяясь и не пытаясь выделяться, но как-то незаметно ведя ее по намеченному руслу. Полозову нравнлось, как он это делает, и нравнлось, что так много людей собралось вокруг него.

В сторонке завтракал старый мастер Иван Иванович Гусаков, про которого в цехе говорили, что среди людей с плохим характером он держит первеиство уже третнй десяток лет. Он и сейчас фыркал и ворчал себе под нос, но, вндио, прислушивался с интересом. Около него никто не садился: искали более приятиого соседства. Только Груня Клементьева с уверенностью красивой женщины, привыкшей, что с иею все хорошн, свободио примостнлась рядом с Гусаковым, обсасывая конфету румяиымн губами и откинув назад голову, окружеиную венцом тяжелых, пышных кос. Она слушала беседу и не мигая смотрела на Якова Воробьева.

Оглядевшись, Алексей увидел и старика Клементьева, Груниного свекра.

Старик сидел иа корточках возле слесарей, разбиравших поврежденный станок, н что-то шепотом советовал нм, поясняя слова движениями узловатых пальцев. Его седые усы эиергично шевелились, темные с проседью брови сошлись на переносице. Одним ухом он иет-нет да и прислушивался к беседе, и Алексей понял: пришел Ефнм Кузьмич — по долгу секретаря цехового партбюро — проверить, как ведет беседу новый партгрупорг, ио, увидав неисправиый стаиок, ие удержался и полез разбнраться, что там случнлось.

Сердитый голос Гусакова заставил насторожиться и Ефима Кузьмича, и Полозова, и стоявшую в сторонке молодежь.

— Немногого они стоят, эти рабочие! Мы-то небось оболванить себя не дали, а тряхаиули своих мииистров-капиталистов в семнадцатом году так, что у них и душа вон.

Беседа продолжалась, а Воробьев сидел нахмуренный и даже губами шевелил, как будто говорил про себя. Алексей понял, что Воробьев не может обойти молчанием выкрик Гусакова н подыскнвает убедительный ответ. Через минуту Воробьев действительно вернул беседу к словам Гусакова:

— Иван Иванович с презреннем отозвался о рабочих капиталистических стран, которые дают себя оболваинть. Давайте разберемся, товарищи.

Алексей тоже мыслению ответил Гусакову и теперь с удовлетворением слушал Воробьева. Вот и ёще одии пропагаидист вырос, думал он, говорит просто, а ничего не упрощает. Вот он заговорил о предательстве правых социалистов,— ух, какая у него слышится ненависть в голосе! И как он всем сердцем верит, что революциониая правда сильиее!

— Как же может быть нначе, товарищи? — говорил Воробь-

ев.— Стоит только пролетариату любой капиталистической страны сравнить свое положение с положением пролетариата в Советском Союзе, и он увидит...

Но тут Гусаков, обиженный тем, что его слова вызвали возражения, запальчиво перебил:

— Как ты сказал? Повтори, повтори, Яков, как ты сказал?

Воробьев от неожиданности немного растерялся. Полозов и Женя Никитин одновременно приблизились, готовясь прийти на выручку Воробьеву. Ефим Кузьмич оторвался от разобранного станка, неодобрительно следя за своим старинным приятелем Гусаковым. Груня перестала сосать конфету.

Большинство слушателей заранее улыбалось: ну, прорвало Гусака, теперь жди спектакля.

Гусаков поднялся во весь свой высокий рост, довольный, что нашел-таки желанную зацепку.

— Подвернется же на язык такое слово: советский пролетариат! Конечно, молодые на своем хребте не испытали, что такое пролетарий. А об этом еще Карл Маркс в своем «Коммунистическом манифесте» написал: пролетариям терять нечего, кроме своих цепей, а приобретут они весь мир. Вот что такое пролетарий: кому терять нечего, кроме цепей. Какие же мы с вами пролетарии? Мы господствующий рабочий класс. Как в «Интернационале» поется: были ничем, а стали всем.

— Правильно, Иван Иванович, оговорился я,— добродушно признал Воробьев и глянул на часы. До конца перерыва оставалось несколько минут, а последнее слово он хотел оставить за собой.

Гусаков проговорил бы еще невесть сколько,— он любил, чтобы его слушали,— но Груня решительно потянула его за полу пиджака:

— Иван Иванович, садитесь. Дозавтракать не успеете...

Воробьев подмигнул слушателям и нарочито наивно спросил:

— А во всем мире, Иван Иванович, значит, пролетарии такие же бедные, как были?

— За границей-то? — не понимая, куда клонит Яков, переспросил Гусаков и на всякий случай сел, чтобы не торчать у всех на виду.— Ясно, где, значит, социализма нету... А как же?

— Как будто ясно,— весело подхватил Воробьев.— Да только если разобраться, то и во всем мире сила пролетариата куда против прежнего выросла. Смотрите. Миллионные демонстрации, митинги, забастовки, освободительные войны, движение за мир. Мы им такую надежную опору даем, что держать их в цепях капиталистам трудненько. А сколько народов уже пошло по нашему пути!

Он что-то припомнил и засмеялся:

— Вот, честное слово, товарищи, живого капиталиста видал. Конечно, по картинкам представлял себе, а тут — живой, с этаким пузом, как вылитый. В Будапеште это было, сразу после

боев. Мы его из бомбоубежища на свет пригласили, из его собственного, частного бомбоубежища, с ванной, с кафельными стенами, с водопроводом... Народ под бомбами гибни, а он в подземном дворце с семьей и прислугой прохлаждается. И вот вышел он, мы на него глаза пялим — интересно ведь! — а он на нас. И что, вы думаете, у него в глазах? Ну, не злоба и не удивление даже, а лютая, смертная тоска.

Гусаков, подобрев, крикнул с места:

— Сподобился, значит, с живым буржуем поздоровкаться?

Смеясь вместе со всеми, Воробьев не дал себе отвлечься и, переждав чуточку, продолжал:

— Два года я там прослужил на охране коммуникаций. Языка не знал, а дух чувствовал — круто повернули, хорошо. Да и в других странах, где, как говорит Иван Иванович, социализма нету, разве там все по-старому? Народ силу почуял и воевать научился, есть у них новое богатство: опыт нашей революции, международная солидарность да великий друг — СССР... Точно ли я слова понимаю, Иван Иванович?

Гусаков крякнул и не спеша ответил:

— В данном случае понимаешь.

Рабочие стали расходиться: обеденный перерыв кончался. Молодежь окружила Полозова.

— Алексей Алексеич, это правда... насчет нового срока? Бабинков говорил...

Новость, очевидно, уже начала распространяться.

— Приказа такого не знаю, и мне Бабинков ничего не говорил,— с улыбкой уклонился от обсуждения Полозов.— А что, ребята, испугались?

— Чего ж бояться? Мы-то свое выполним! — воскликнула Валя.

— То, что зависит от нас, мы сделаем,— обстоятельно сказал Николай Пакулин.— Были бы заготовки да инструмент.

Иван Иванович Гусаков, собравшийся уходить на свой участок, задержался послушать, о чем толкуют комсомольцы с заместителем начальника цеха.

— В вас все дело, как же! — прикрикнул он на молодежь.— Вам скажи: десять турбин, вы и за десять возьметесь, вам что.— И Полозову: — Алексей Алексеич, никак из огня да в полымя?

Яков Воробьев обнял за плечи Пакулина и Никитина, даже подтолкнул их вперед, как бы подчеркивая, что отстранить их не даст, и внятно произнес:

— Порядку больше — отчего не выполнить?

— Порядок само собою,— недовольно отозвался Гусаков.— На одном порядке ты месяц сбережешь. А еще два на чем? Еще два надо башкой заработать.

Воробьев, не смущаясь и не отступая, возразил:

— Где порядок лучше, там и мысли просторней.

Гудок возвестил о конце перерыва, и сразу громадное здание цеха откликнулось на его призыв всей гаммой звуков, какие дают ожившие механизмы и соприкосновение металла с металлом, когда один из них вгрызается в другой и режет его, обтачивает, сверлит, рубит.

Вступили в строй «Нарвские ворота» басовитым скрежетом могучих резцов и ритмичным щелканьем переключателя. С мягким жужжанием закрутились огромные планшайбы каруселей, быстро и легко подставляя под резцы тусклые плоскости отливок. Пулеметной очередью застучал пневматический молоток, обрубая металл. Завизжала механическая пила, распиливая пополам толстое стальное кольцо... Сотни рук плавно регулировали движения механизмов, сотни глаз, не отрываясь, следили за скольжением резцов, фрез и сверл, за летучими змейками желтых, синих, серебристых, вишневых стружек, за алым сиянием раскаленного трением металла.

Клементьев и Полозов остались одни в середине пролета.

— Вот ведь мельница, ей-богу! — с сердцем сказал Ефим Кузьмич.— Ежели, скажем, инструмента не хватает и поднажать надо, Бабиков без голоса, а ежели первым новость растрезвонить — куда как горласт! — И совсем тихо спросил: — Что, покрутимся, а?

— Д-да... задача...

Распахнулись ворота, пропуская в цех паровоз и две платформы, нагруженные крупными отливками. Иван Иванович Гусаков не по возрасту резво побежал к паровозу, его сердитый голос перекрыл шипение паровоза и все другие звуки:

— Осади! Куда разбежался? Осади немного!

Полозов поднял голову, стараясь определить, скоро ли освободятся необходимые для разгрузки краны. Он хорошо видел озабоченное лицо Вали Зиминой, управлявшей контроллерами. Два крана согласованно и осторожно подняли в воздух громадину цилиндра, покачивающуюся на охвативших его стальных канатах, и медленно пронесли к стенду. Валя Зимина ударами маленького колокола предупреждала: внимание, внимание, в воздухе многотонная тяжесть!

Клементьев и Полозов отошли в сторону от прохода, над которым проплывал цилиндр, и проводили его взглядом. Ефим Кузьмич вздохнул и сказал успокаивающе:

— Ничего, Алексей Алексеич. Не в первый раз, а?

Полозов молча кивнул.

Ему хотелось возразить, что такой трудной задачи еще, пожалуй, перед цехом не возникало, но говорить об этом Ефиму Кузьмичу не имело смысла: старик сам все понимал.

Он задумался, стоя посреди цеха. Его раздумье нарушил зычный, возбужденный голос старшего технолога Гаршина:

— Алексей Алексеич, дорогой, идите-ка сюда скорее!

Полозов заметил рядом с внушительной фигурой Гаршина небольшую женскую фигурку и с интересом приглядывался, что за гостья. Под меховой, надвинутой на одну бровь шапочкой он увидел карие блестящие глаза и улыбку — такую открытую, жизнерадостную, что нельзя было не улыбнуться в ответ.

— А вот и товарищ Полозов! — воскликнула женщина.

Голос был звучный и выразительный, со своей интонацией для каждого слова. И лицо выразительное: улыбка исчезла, губы энергично сомкнулись, а глаза смотрят выжидательно, будто говорят: не узнаешь? А ну-ка, постарайся, узнай!

И он узнал. Память разом воскресила давнюю тревожную ночь. Темный цех с редкими лампами, прикрытыми синей бумагой, мечущиеся над стеклянной крышей лучи прожекторов, грохот выстрелов и разрывов, подрагивание пола под ногами... и молодая женщина с расширенными от страха глазами, возле которой он очутился в укрытии. Отрывистые слова: «Страшно?» — «Ну вот еще. Бывало хуже».— «Нет, кажется, не бывало...» Ее смешок: «Смотрите, у вас пальцы прыгают». И его старание унять дрожь пальцев, достававших папиросу, и чувство удовлетворения, когда это удалось. В дни, когда цех снимался с места в нелегкий и дальний путь, деловитый молоденький инженер Карцева работала расторопно и толково, помогая упаковывать станки. Алексею было грустно и стыдно уезжать, когда она остается, он спросил: «Все-таки, Аня, почему вам не поехать?» А она ответила просто: «У меня муж на фронте — тут, возле Мясокомбината».

— Аня Карцева,— обрадованно вспомнил он.— Какая вы стали!

— Неужто так изменилась? — с нескрываемым огорчением спросила она и опять стала совсем иной — не такой, как прежде, и не такой, как минуту назад.

— Анечка, да вы красивей стали черт знает насколько! — шумно вмешался Гаршин.

— Просто вы какая-то переменчивая,— сказал Алексей,— и одеты совсем по-другому... А вы к нам в гости или насовсем?

— К нам, работать,— чересчур громко, как всегда, когда был весел, объяснял Гаршин.— Понимаешь, приходит и спрашивает тебя, а я как выскочу! Мы ж приятели с каких пор. Учились вместе, вместе Кенигсберг штурмовали.

— Я-то, положим, не штурмовала,— насмешливо уточнила Аня, потом уже серьезно обратилась к Полозову: — Директор направил меня к вам, чтобы вы решили. Я очень оторвалась от специальности, Алеш... Алексей Алексеич. Боюсь, что на первых порах могу оказаться невеждой.

— Ерунда, Анечка, научим, поможем, это вы не беспокойтесь,— подхватил Гаршин с шумной готовностью.— Давай ее ко мне, Алеша. Сразу все вспомнит, как только начнет работать!

Но Полозов никак не собирался решать вдвоем с Гаршиным вопрос, который имел право решить сам.

— На ходу да с наскоку такие вещи не делаются,— строго прервал он и поглядел на часы: — Перерыв, кажется, кончился?

— Понимаю и ухожу, пока не гонят, ох-хо-хо,— загрохотал Гаршин и двумя руками потряс Аннину руку.— Ну, Анечка, очень, очень рад! Теперь уж вы от меня не убежите.

Аня чуть повела плечом, упрямо сжала губы. И пошла за Полозовым в контору.

В кабинете начальника цеха Алексей усадил ее на диван, сел рядом.

— Ну, давайте обсуждать, что с вами делать. Работы у нас по горло, и, когда приходит свежий человек, да еще такой энергичный — я ведь помню вас, Аня,— хочется направить его сразу в десять мест. А надо вас использовать так, чтобы и вам польза была...— он запнулся и, помолчав, спросил: — А ну, давайте начистоту: пошли бы вы или вам почему-либо не хочется идти работать именно к Гаршину?

— Именно к Гаршину? Почему же! — весело ответила Аня, и из этого ответа «начистоту» он понял только то, что ответа так и не получил. А она продолжала: — Понимаете, Алеша, я все эти годы страшно хотела вернуться в цех. И обязательно на участок, непосредственно на производство. Чем бы ни стать потом, начинать надо с производства, верно? А сразу засесть в технологическое бюро...— Не договорив, она спросила: — Гаршин хорошо работает? Его план реконструкции цеха интересный?

— А он уж успел похвастать? — усмехнулся Алексей.— План они с Любимовым составили интересный и очень для нас важный. Очень. Сегодня — еще более важный, чем вчера. А работает Гаршин... Ну, вы его, по-видимому, знаете? Напорист, энергичен. Я бы сказал, он сумел стать в цехе почти незаменимым.

Он помолчал и добавил:

— При наших нынешних методах.

Аня вскинула глаза, ожидая объяснения, но Полозов вдруг насторожился: из-за стеклянной стенки, выходившей в цех, доносились сквозь шум работ слишком громкие голоса и визгливый плач.

Аня первою выбежала в цех.

На токарном участке столпились рабочие. В середине группы покрасневший от гнева красавец Аркадий Ступин держал за ворот паренька с перемазанным, залитым слезами лицом.

— Вот тебе и пополнение прислали! — кричал Аркадий, встряхивая паренька одной рукой и размахивая другой, сжатою в кулак.— Учишь его, дьявола, а он у тебя же ворует да еще и врет, что там ничего не было!

— Я не хо-те-е-ел! — плача, выкрикивал паренек.— Я случай-но...

— Случайно! — воскликнул Аркадий и с силою тряхнул

пареиька.— Пока я из беседе был, случайио в мой шкафчик залез, случайио весь завтрак украл?!

Рабочие шумели вокруг — воровство в цехе! Никогда этого ие было! Набрали мальцов прямо с улицы, а теперь запирайся иа ключ, как от воров!

— Отвести его в милицию — и все!

— Ну да, в милицию! Голодиый ои — неужто не видите?

— В первые же дии всю получку проедят на коифеты да иа киио, а потом голодные ходят!

— Да какая у иего получка? Ои же первый лодырь в цехе, у иего получки отродясь ие было!

— Отнимать у иих получку иадо да в столовую талоны давать!

— Няиьку приставить, что ли?

Со стеида сбежал Гаршин, увереиио раздвинул толпу:

— Что за шум?

Аркадий, выпустив пареиька, возмущеиио объяснил, что произошло. Навязали ученичка, пропади он пропадом! Толку от него иикакого, а тут еще в шкафчик залез и целую булку с колбасой украл.

— Ай-ай-ай, целую булку, да еще с колбасой,— сказал Гаршнн и взял пареиька за плечо.— Как же ты, а?

— Случай-ио,— со всхлипом сказал мальчишка, исподлобья глядя иа Гаршииа.— Я сперва отколупиул только... корочку... а потом еще...

— Не ел сегодия?

— Не-е...

— Что ж тебе мамка — ие дает завтрака?

— Не-е... Говорит — работай, зарабатывай...

— А ты ие работаешь, не зарабатываешь, а потом воруешь, а потом ревешь? — добродушно сказал Гаршии.— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— Так что же ты ревешь, как малеиький?

Мальчишка сиова всхлипиул и иачал вытирать грязиой рукой слезы, но Гаршии перехватил его руку:

— Не три, чище ие будешь. Пойди в умывалку, умойся. И возвращайся сюда.

Когда пареиек поплелся в умывалку, Гаршии сказал примирнтельно:

— Учить его надо, а ие крик подинмать. Ну что ты целое представление устроил, Аркаша?

— А вы его слезам ие верьте,— мрачио сказал Аркадий.— Самый главный озорник в цехе, только н смотришь, как бы не напакостил чего. Что хотите делайте, а мие его больше ие иадо. И близко не подпущу.

— Уж и не подпустишь? — сказал Гаршии и улыбиулся Ане.— У такого тихоии такой озорной ученик, где тут справиться!

И он шагнул навстречу пареньку, возвращавшемуся с тщательно отмытым, покрасневшим от слез и от мытья лицом.

— Тебя как звать, беспутная душа?

— Кешка...

— Так-таки Кешка? А может, и настоящее имя есть?

— Степанов Иннокентий.

— Ну так вот, Иннокентий-Кешка, учитель твой от тебя отказывается,— видно, ты больно хорош. С этой минуты ты мой и без меня дышать не смей. Понял?

Кешка молчал, посапывая носом.

— Иди вон туда, к стенду, и жди меня возле лесенки. Понял?

Легонько щелкнув паренька по затылку, Гаршин подошел к Ане и взял ее за руку:

— Правильно, Анечка?

Она благодарно улыбнулась ему:

— Я не знала, что вы добрый.

Очень довольный, он ответил:

— А я сам не знаю, добрый ли я. Может быть, это оттого, что вы тут были.

И он размашисто зашагал к стенду.

Проводив его взглядом, Аня обернулась и увидела Полозова. Она неодобрительно подумала, что не Гаршину, а ему, заместителю начальника цеха, следовало вмешаться и принять решение. Они же вместе выбежали в цех на шум скандала, а его голоса она и не слышала.

Полозов пристально смотрел на нее, будто изучал. Похоже было, что он даже не заметил только что разыгравшейся сцены и поглощен чем-то другим, своим. «Не витайте с ним в облаках, когда под ногами ухабы»,— припомнила Аня слова директора и сухо спросила:

— Что же вы решаете относительно меня, Алексей Алексеич?

— Да, да, пойдемте,— спохватился Полозов.

— Садитесь,— рассеянно сказал он в кабинете и задумался, будто позабыв о ней.

Аня уже собралась как-нибудь половчее съязвить, чтобы вернуть его «на землю», когда он вдруг спросил:

— Скажите, Аня, можно вам поручить, даже в ущерб вашим интересам инженера, очень трудное и очень ответственное, нужное дело?

Она без запинки ответила:

— Да.

— Тогда... есть у нас такая должность — заведующий техническим кабинетом.

— Техническим кабинетом?

Он понял ее разочарование, и на миг ему стало жаль ее. Он заговорил как можно мягче:

— Аня, вы не смотрите на должность, как она называется,

а смотрите, в чем тут суть. Прн желаиии вы там узнаете производство более глубоко и всесторонне, чем иа участке. Для виедреиия всего иового, прогрессивного там можио сделать очеиь миого, если взяться по-иастоящему... И еще — воспитаиие молодых кадров. Видали этого пареиька? А его так изываемого учителя — Аркадия Ступииа видали? Беда в том, что иикто у нас повседиевио не заиимается ни учеииками вроде Кешки, ин учителями вроде Ступииа. Нет, техиическая учеба, конечио, идет, повышение квалификации идет — еще бы! Но дело должио идтн гораздо быстрее. Учиться нли учить должны все. Все! Сил и средств тут жалеть иельзя... Каждое усилне и каждый рубль окупятся сторицей...

— Подождите,— прервала Аня, вставая: она снова вспомиила о «витаиии в облаках».— Все это звучит увлекательно. Но если говорить коикретно, то, иаверное, окажется, что в этом году есть уже утверждеииые иебольшие средства иа техннческую учебу и иа этот ваш кабииет. И что бы я ии задумала, все будет упираться в смету, и вы же мне скажете, что есть лимиты — и выше головы ие прыгиешь.

— Аня! — радостио вскрнчал Полозов и поймал ее сопротивляющуюся руку.— Раз вы уже сердитесь, что будут лимиты и препоны,— зиачит, хотите взяться. Но, Аия, разве бывает, чтобы иа нужное дело ие нашлось поддержки? Была бы эиергия доказать и потребовать!

Аия посмотрела иа иего и иехотя улыбиулась:

— Может быть. И все-таки я не возьмусь, я инженер, я хочу иа производство...

— А решать все-таки буду я,— жестковато перебил Полозов.— В интересах цеха, товарищ иижеиер, ие так ли?

Ои тряхиул ее руку, потом поймал и тряхнул другую, сложил их вместе, сжал и отпустил.

— Взялись, Аия. Большое дело сделаете.

Аия пошла домой пешком, через Парк Победы.

После дневной оттепели к вечеру подморозило, мокрые ветви молодых деревцов обледеиели и поблескивали в свете качающихся иа ветру фоиарей. Дорожки стали скользкими, а тоикий ледок, затяиувший лужи, с хрустом оседал под ногой.

«Я дома. Я дома»,— всем существом ощущала Аия.

Она очеиь устала от миожества впечатлеиий. Гулкие шумы еще звучалн в ее ушах. Она еще чувствовала сухой, кисловатый запах цеха. Одни за другим возникали перед иею люди, которые отиыне будут ее товарищамн, рассказы и объясиения, которые спутывались в ее мозгу, как она ии старалась их поиять и запомиить. Перед глазами проходили иа лету схваченные и ие всегда поиятные Аие черточки цехового быта — обрывки споров, история с Кешкой, какая-то ожесточеииая перебраика Виктора Гаршииа с другим цехом, когда ои кричал в телефоииую трубку, одиовремеино подмигивая тем, кто находился поблизости: «Как

вы сделаете, меня не касается, хоть сами в печь полезайте а чтоб завтра к утру все отгрузить!»

Каким чудом занесло на завод Виктора Горшина? Снова как тогда под Кенигсбергом жизнь сталкивает ее с ним Для чего?

У выхода из парка накатанная детьми ледяная полоска по краю дорожки так и манила Аня разбежалась и боком по мальчишески расставив ноги, прокатилась по ней, чуть не упала, рассмеялась и широким, вольным шагом направилась к дому

Товарищ Карцева! Товарищ Карцева!..

Щуплая фигурка метнулась к ней навстречу из глубины парадной. Аня пригляделась и узнала Кешку.

— Товарищ Карцева... Вы мамке не говорите... Я вам честное слово даю... Вы только мамке не рассказывайте Я, честное слово .

— Да ты кто: Евдокии Павловны сын?

Кешка упорно загораживал ей дорогу.

- Не скажете? настойчиво повторил он.

- Сегодня не скажу, а следующий раз обязательно скажу Ты что ж, нарочно поджидал меня здесь?

Кешка кивнул и через две ступеньки, опережая Аню, побежал наверх.

Умываясь в ванной, Аня слышала, как Евдокия Павловна ругала Кешку за то, что поздно пришел, созывала мальчишек обедать и затем бранила уже всех троих за то, что руки не отмыли как следует, и ногти грязные, и опять башмаки мокрые, прямо наказание с ними...

— Конечно, с детьми не покричишь – не совладаешь, предупредила вчера Евдокия Павловна. — Вы уж не обижайтесь, если иной раз кричу. И сами ребятам внушайте, чтоб не озорничали. Чужого человека они скорее послушают

Самый озорной из троих — Кешка.

Самый озорной из сорока семи — Кешка Степанов, ученик токаря, про которого Аркадий Ступин сказал: «Главный озорник в цехе». Сорок семь учеников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

Вернувшись в свою комнату, Аня постояла у порога, хмуро сдвинув брови. Надо было сию же минуту, не медля, занять себя делом, чтобы не растерять бодрого, чудесного настроения. В этой комнате жили воспоминания. Они словно подстерегали ее, теснясь за спиной: оглянешься, а они тут как тут.

Тряхнув головой, сжав губы, Аня решительно зажгла настольную лампу, выдвинула нижний ящик письменного стола — потрепанные, пожелтевшие, стопками лежали там институтские учебники и конспекты, зачитанные перед экзаменами, испещренные пометками и подчеркиваниями.

Она раскрыла конспект по технологии, с которого решила начать, но читать не могла: так ясно припомнились студенческие

дии, подруги Светлана н Люба, с которыми сидела ночи напролет, ожесточеииая зубрежка и перекрестные опросы, короткие перерывы с хохотом, возней и поздиими торопливыми ужинами... Павлуша тогда уезжал иа монтаж турбниы. Он сказал иа прощанье, улыбаясь: «Вы, девочки, ие зубрите, а виикайте в самую суть. Поймете — само запомиится...» А потом, целуя Аню, шепиул: «Главное — не волнуйся, ты же прекрасно все зиаешь...»

Павлуша...

Она откииулась иа спинку стула н прикрыла глаза. С этим ничего ие поделаешь. Как ни притворяйся перед самой собою — все равио от этого ие уйтн. Одна. Придешь — и некому сказать: «Знаешь, сегодия...» С тех пор как Павлуши нет, будто пружинка виутри прнхлопнута, сжата, н нникак ей не вырваться на вольиую волю. Это Павлуша придумал: «Ты такая неугомониая, у тебя словио пружинка внутри — раз! — и выскочила!» То было от полноты жизни, от такой полноты, когда все нинтересно, все мило.

Аия раскрыла глаза — сухие, потемиевшие. Не надо касаться этого даже мыслью. Надо забыть, что так бывало. Живут же люди и без этого! Делом надо заняться, делом! И не хвататься за все сразу, а продумать то, что нужно завтра н послезавтра.

В сумочке лежало все несложное богатство технического кабииета, врученное ей для ознакомления: плаиы, списки, инструкции. Аня разложила их перед собою. Морщась, представила себе большую и какую-то тусклую комнату в пристройке цеха, ряды парт, старые плакаты на стене. Сюда прнходнли на занятия — рассядутся по партам, отзанимаются и уйдут, ии иа чем не задержав вниманяя. Помещение было, а техиического кабинета не было. И его-то надо создать в первую очередь.

Оиа читала: «Пропаганда иовой технники и методов труда... обмен опытом... помощь рационализаторам н изобретателям...» — шутка сказать! Чтобы растолковать другнм, увлечь другнх, как хорошо нужио понять самой!

Женя Никитии помогает слесарю инструментального цеха Воловику в каком-то изобретении — что-то в связн с иаростами металла на лопатках. Откуда наросты? Почему? Женя говорит: сколько уже думали над этим, ничего не придумали, а у Воловика очень интересный замысел. Если он удастся — отпадет одна из самых каиительных операций. Жеия Никитин — превосходный парень, это сразу чувствуется. И с каким увлечением он рассказывал об этом изобретении!.. Вот первое дело, где реально нужна помощь.

А самые точные, тоикие работы на уникальных каруселях выполияют в цехе всего два карусельщика: Торжуев и Белянкии. Если с программой туго, Торжуев и Беляикии иачииают капризничать, чтобы перед иими «шапку ломали», чтоб начальник цеха

пошел на незаконную оплату... Чепуха какая! В передовом цехе два старых «туза», мастеровщина допотопная.

На уникальной карусели работа особая, точная, и обрабатываются на ней детали очень дорогие. Но может ли быть, чтобы нельзя было подготовить еще нескольких карусельщиков высокой квалификации? Вот еще задача, схваченная на лету... Сколько их возникнет завтра?

Стук в дверь.

— Войдите.

Евдокия Павловна протянула письмо:

— Вам, Анна Михайловна. В передней лежало. Разве не видали?

— Спасибо.

Аня недоверчиво оглядела конверт — какой странно знакомый адрес: почтовый ящик № 1405/2... 1405/2... И вдруг сообразила: это же мой, родной, дальневосточный... И письмо, конечно, от Ельцова. Как странно: все это уже отошло далеко-далеко, а Ельцов помнит, пишет... Да ведь это написано на следующий день после моего отъезда, ведь я всего два дня здесь.

Мелко исписанные листки. Дружеские слова с затаенной, между строк ощущаемой нежностью. Она представила себе Ельцова пишущим это письмо. Склоненное над бумагой строгое лицо, сухие губы, грустный вопросительный взгляд. Взгляд как бы спрашивал: «Ну что, Аня? Ты не захотела остаться со мной — ты не жалеешь? Ты уверена, что найдешь другого, более нужного тебе человека?»

Не знаю. Ни в чем я не уверена. Но поступила правильно. Любая женщина, полюбив, будет с ним счастлива, а вот я не полюбила, и мне жаль, что это так, но разве сердцу прикажешь? Было с ним спокойно и уютно, а не было вот этой удивительной полноты ощущений, когда дождь, и солнце, и узор на стекле — для тебя, тебе... А он, провожая, сказал: «Может быть, еще передумаешь?» Но тут нельзя передумать, тут можно только разувериться в том, что все еще будет, и соскучиться одной, и потянуться к ласковым рукам, к тому, чтобы прийти и хоть кому-то сказать: «Знаешь, сегодня...» Так ведь и это не всякому, а лишь одному на свете хочется говорить!

Она вздохнула, взяла листок бумаги, написала: «Дорогой друг»,— но все, что приходило в голову, было не то, что нужно ему, и не то, о чем хотелось писать ей. Посидела над листком, вздохнула и сунула вместе с письмом в ящик,— потом, в другой раз...

Звонок — долгий и сильный. Так звонят люди, уверенные, что им обрадуются.

В передней шаги, звенит цепочка, щелкает ключ. Алла Глебовна Любимова вскрикивает:

— О-о, какой неожиданный гость!

— А вот и не к вам, Аллочка Глебовна,— отвечает громкий, веселый голос.

Аня торопливо вскочила, заглянула в зеркало, прошлась гребнем по волосам, потянулась к пудре — нет, еще что за глупости! Заставила себя сесть, успокоиться, читать план работы технического кабинета.

Стук в дверь — громкий, решительный, как все, что он делает.

— Откуда вы взялись, Виктор?

Гаршин крепко пожал ее руку, как будто они и не виделись сегодня, уверенно выкатил из угла и подкатил поближе к столу кресло, уселся, с торжеством улыбнулся:

— Думали, не найду? Думали, помирюсь на том, что вы будете мелькать мимо меня в цехе?

— Постарайтесь представить себе, Виктор, что я совсем не думала о вас.

Да, так и есть. Не думала. И все-таки удивительно хорошо, что он оказался здесь, что он сидит в этом кресле и свет настольной лампы освещает его веселые, дерзкие губы, а верхняя часть лица — в полумраке, и только глаза поблескивают.

— О чем же вы думали, можно узнать?

— Пожалуйста. О том, с чего и как начать работу.

Он присвистнул:

— Ну, там с чего ни начни — все канитель. И как это вы позволили Полозову запихнуть вас в такое неблагодарное место? Черт знает что! Зачем было соглашаться? Говорил я вам: идите ко мне в технологическое бюро или на сборку, я теперь почти совсем перекочевал на сборку этой несчастной новой турбины. Вместе бы работали, вот было бы весело, а?

Аня упрямо покачала головой.

— Ну, тогда на любой участок. Что вам даст этот техкабинет, вся эта возня с учебой?

— Я как раз думала о том, что могу дать я.

— Так. Один — ноль в вашу пользу. Итак, что же можете дать вы?

Аня нахмурилась.

— Если вы не можете быть серьезным, уходите и не мешайте. А если хотите помочь...

— Ну зачем такие ультиматумы? Что я, никогда не помогал вам?

— Вы помогали мне?!

Она расхохоталась, вспомнив, как он когда-то ворвался в комнату Любы и превесело мешал им целый вечер.

В тот давний день она возвращалась из дачного пригорода, где провела воскресенье. Вагон был переполнен, ветер залетал в открытые окна и крутил над головами золотую в лучах солнца пыль. Нагнувшись, чтобы застегнуть пряжку на туфле, Аня

заметила на полу шелковый голубой кушачок. Подняв его в вытянутой руке, Аня звучно крикнула:

— Товарищи, кто потерял голубой кушак?

— Я,— отозвался басовитый мужской голос, и Аня увидела веселое, загорелое, лоснящееся от пота лнцо, светлые курчавые волосы, широченные плечи — он возвышался над всеми своей мощной, дышащей здоровьем фигурой, этот незнакомый весельчак. Хорошенькая девушка в голубом платье стояла рядом с ним у окна. Он повязал ее кушачок на шею вместо галстука, его спутница хохотала и требовала свой кушак. Не отдавая, весельчак заговорщицки улыбнулся Ане и, выходя из вагона, помахал ей рукой, как знакомой... А в трамвае она увидела его снова. Откинувшись назад и держась за поручень одной рукой он внсел на подножке н наслаждался ветром, обдувавшим его н трепавшим его светлые кудри. Аня стояла на площадке и невольно любовалась им. Их глаза встретились, он дружескн крикнул ей:

— Хо-ро-шо!

А когда она шла к общежитию института, он нагнал ее и спросил благодушно, шагая рядом с нею:

— Небось заниматься?

— Не всем же бездельннчать! — ответила Аня, ускоряя шаг

Он обогнал ее и через плечо снисходительно бросил:

— Разве можно так заблуждаться в вашем почтенном возрасте? Я самый трудолюбивый человек во всем институте

Ей понравилось, что он, оказывается, свой, институтский, но она ответнла с гримаской:

— Не похоже.

Тогда он подвел ее к афише институтского научно-технического общества, объявлявшей о публичном докладе аспиранта Гаршина В. П.

— Вот это я и есть — В. П. Приходите, а? Мне будет веселее. Когда я начну тонуть, вы мне улыбнитесь этак подбадривающе: ничего, мол, не теряйся! — и я выплыву.

— А вы наденьте на счастье голубой кушачок,— посоветовала Аня и юркнула в парадное.

Через час в комнату Любы вошел как ни в чем не бывало Гаршин.

— Вот я и нашел вас,— сказал он Ане, по-приятельски здороваясь с Любой.— Положительно, судьба нас сводит.

Он осведомился, что они зубрят, и вызвался помочь. Толку от его помощи было не много, но стало так весело, что Аня никак не могла рассердиться. Она пошла на его доклад, и ей было приятно, что он не только не тонул, а сделал доклад блестяще, проявив живость ума и чувство юмора. Своим оппонентам он отвечал находчиво, под рукоплескания студенток, которых набилось в зал до странности много. Соседкн шепотом рассказывали иашумевшую историю Гаршина с профессором, выступавшим с осо-

бенно придирчивой критикой. Аня уловила, что Гаршин вздумал ухаживать за молодой женой профессора и пересылал ей записки, засовывая их в профессорские галоши. Однажды профессор обнаружил в галоше очередную записку, после чего с треском провалил Гаршина на кандидатском экзамене. Подробности были забавные, студентки давились от смеха. Аня удивлялась: как она не заметила раньше такую популярную личность,— должно быть, Гаршин не баловал институт своими посещениями? Она была польщена, когда после доклада он подошел к ней и поблагодарил за «моральную поддержку».

И вот он снова рядом с нею, все такой же, и ей весело с ним, весело и немного тревожно, как тогда, в первые дни встречи под Кенигсбергом, когда они без устали ходили по опаленным войною пригородам.

Она разглядывала Гаршина, совсем забыв о том, что надо как-то объяснить свое молчание. Гаршин — снова тут, рядом?..

— Анечка, вы смотрите на меня, как кролик на удава.

Она нехотя улыбнулась.

— Я просто никак не могу понять, почему вы очутились на заводе.

— Я и сам не понимаю, Анечка. Попутный ветер занес.

— А все-таки?

— Любимов заманил, мой давний приятель. Устраивает вас такое объяснение?

— Нет.

— Ну, приехал я из Германии, силушка по жилушкам, а кругом — восстановление, трудовой подъем, азарт. А я что же, не человек? Вот и занесло в турбинку.

— А еще?

Он крякнул и подмигнул Ане:

— До корня добираетесь? Ну что ж, мне от вас скрывать нечего. Извольте, доложу все как есть. Амбиция подтолкнула, Анечка. Помните вы моего руководителя по аспирантуре, профессора Карелина?

— Того, с галошами?

Он отмахнулся:

— Нет, Анечка, другого. От того я перебежал к Михаилу Петровичу, чтобы не быть убитым самым мучительным способом — перепиливанием деревянной пилой поперек живота. Вы знаете этот способ уничтожения? Так пилят только злые жены или профессора. Да засмейтесь же, Анечка, я же черт знает как стараюсь вас развеселить.

Ей совсем не было смешно. Ей очень хотелось услышать что-нибудь такое, что развеяло бы воспоминание о встрече под Кенигсбергом и о том, что там произошло в один теплый весенний вечер... Ведь вот он здесь, и не забыл ее, в первый же день прибежал к ней и смотрит так ласково и радостно; зачем бы он

прибежал, зачем бы он смотрел так, если бы не помнил, не радовался ей, не дорожил ею?

А Гаршин рассказывал, как профессор Карелин в первый же день сказал ему: «Предупреждаю: галош я не ношу, с женою мы однолетки, а требовать с вас я буду как беспощадный тиран. Впрочем, никаких надежд, красавец мой, я на вас не возлагаю. Наука требует всего человека целиком. Вы же, я полагаю, относитесь к ней между прочим». Как профессор «гонял» его, требуя работы и работы! Тогда Гаршин и сделал доклад в обществе. А потом война, армия...

— И надо же мне было в Восточной Пруссии, у этой злосчастной речонки Шешупы, повстречать его сына. Ох, жалко мальчишку! Хороший был парень, двадцать лет, курсы лейтенантов закончил и прибыл к нам в самую заваруху! Какие бои выдержал, а потом — на мине... Да... Написал я тогда Михаилу Петровичу, сердечно написал, жалко было до слез и Васю его, и самого старика...

Он грустно задумался, лицо у него стало очень хорошее. Как давеча в цехе, в истории с Кешкой, Аня почувствовала, что он человек отзывчивый и добрый. Ну, конечно, такой он и есть, а все остальное — наносное молодечество, игра.

Гаршин уже встряхнулся и шутливо припоминал, как он вернулся из Германии и пришел к Карелиным и как Михаил Петрович долго отводил разговор об аспирантуре, а потом сказал: «Теперь, я думаю, вы еще меньше расположены к самоотверженному служению науке?» А Гаршин ответил: «Наоборот, мечтаю отдать ей всего себя с орденами и нашивками». Карелин покачал головой и этак жалостливо сказал: «Не тем путем идете, дружок. И кто это вас надоумил в аспирантуру? Вы — практик, вояка, вам греметь и шуметь, а вы — в науку».

— Ну, я поупрямился, нагнал серьезности, даже о теме диссертации заговорил, а он: «До диссертации, дружок, с вас еще семь потов сойдет. Для начала могу вам предложить семинар на первом курсе и консультацию заочников». Ну, я себе как представил эту тощищу! А перед тем, надо сказать, я с Любимовыми и целой компанией три дня гулял на радостях, и Любимов меня здорово сманивал к себе старшим технологом. Вот я и решил: эх, была не была, чем с заочниками возиться, двину-ка я на производство,— может быть, мне и впрямь больше по нраву азартные дела, такие, чтоб дух захватывало! Спасибо, говорю, Михаил Петрович! Семинар и заочники меня подождут, хочу годика на два, на три уйти на завод, глотнуть практики. И тему для диссертации пусть жизнь подскажет. Хо-хо! И полюбил же меня профессор за это решение! Теперь, как приду, навстречу бросается, Витей называет. А это у него вроде аттестата, если по имени. Меня до войны он иначе и не звал, как «товарищ аспирант» или «товарищ кандидат в кандидаты». А теперь — Витенька.

— Значит, не взял вас профессор в аспиранты? — задумчиво спросила Аня, приглядываясь к Гаршину и как бы не слыхав всего того, что он рассказал.

— То есть как это «не взял»? — обиженно вскинулся Гаршин.— Хотел бы я посмотреть, как он не взял бы! Я не захотел, Анечка, сам не захотел, и пока об этом не жалею. А захочу вернуться в институт — с диссертацией вернусь, на коне и с боевым забралом, или, как это там говорится...

— А как с темой для диссертации? Нашли?

— О-о-о! Еще какую нашел! Ведь теперь что актуально? Механизация, новая технология, рационализация — так? Хватит ученых тем «К вопросу о некоторых особенностях» и так далее. Я вам говорил, мы с Любимовым разработали проект реконструкции цеха? Вернее, основы проекта, принципы. Любимов сейчас в Москве, добивается решения. Если утвердят, отпустят средства, проектная организация начнет работать,— я участвую, это обещано. И вот — тема. Что — жизнь? Практика? То-то. Правда, это по кафедре технологии, и вообще ученым мужам может показаться, что это слишком просто, слишком практично... А я плевал. Пусть попробуют отвергнуть. Не такое сейчас время. Сейчас — содружество, лицом к жизни, а мне как раз по характеру живое дело.

— Мне кажется, вы перегибаете, Витя. Содружество ведь не отменяет науку, а усиливает ее роль. Теория...

— Ну да, ну да, Анечка, все знаю. Но пошуметь-то мне можно, хотя бы здесь, перед вами? Я ж такой, мне без этого скучно.

И опять он показался ей доверчивым, простым, добрым — большой, шумный ребенок. Она припомнила отзыв Полозова: «Почти незаменимый... при наших нынешних методах». Что имел в виду Алексей?

— Правильно я поняла, Витя, что в цехе многое делается авральными методами, штурмовщиной?

— А еще бы! — воскликнул Гаршин.— Разве иначе справиться? Задачи-то какие! Впрочем, по правде сказать, Анечка, я это люблю. Знаете, такой аврал: «свистать всех наверх».

— Это вам подходит, Витя,— сказала Аня, смеясь.— Но вы же понимаете сами, что это безобразие, а не метод работы, и чем скорее...

Гаршин перебил с азартом:

— А наш план реконструкции? Анечка, я не только понимаю — я сделал главное, что нужно для ликвидации этих методов.

И он стал рассказывать ей сущность плана реконструкции. План предполагал значительное увеличение выпуска турбин — однотипными сериями — и унификацию узлов турбин, с тем чтобы в новой серии вносить возможно меньше изменений. Производство разбивалось на замкнутые участки, изготовляю-

щне определенные узлы, с применением поточного метода везде, где это возможно, с четкой диспетчерской службой, с сигнализацией у станков, по которой подаются новые заготовки или инструмент. Аню пленил и самый план, и искреннее увлечение рассказчика. Вот это он и есть — настоящий Гаршин, человек живого дела, человек горячей практики.

— Однако, Анечка, какие же мы с вами умные разговоры ведем! — вдруг вскричал Гаршин.— Битый час толкуем о производстве, прямо как на производственном совещании.

Аня с досадой усмехнулась: ну вот, это тоже Виктор Гаршин. Подумать только, какое нарушение устоев — поговорил с женщиной всерьез!

— Как вам не стыдно, Виктор! Я же инженер, мне это гораздо интереснее, чем все другое, что вы можете мне сказать.

— Значит, плохи мои дела.

Он опять дурачился, но глаза были уже не ласковые, а упорные, тревожащие.

— У нас до жути много серьезных людей, Анечка. Они вас окружат со всех сторон, так что и смеяться забудете. Алеша Полозов — первый. Вот уж с ним вы наговоритесь о производстве, он, кроме турбин, ничего не видит. Котельников, главный конструктор турбин,— второй. Мужчина умный, строгий и до того сосредоточенный, что у него в глазах вместо зрачков облопаченные диски. Вот вы увидите.

— Погодите, Виктор. Насколько я поняла, ваш план предусматривает изменения не только в технологии, но и в конструкции. Унификация узлов, так? Котельников, наверно, участвовал?

— А как же! Это даже его идея была — насчет унификации и прочего. Это, знаете ли, такой творческий конструктор! Талантище!

Переходы настроений у Гаршина были мгновенны.

— А вы говорите — диски в глазах,— с улыбкой упрекнула Аня.— Ваш номер второй меня уже заинтересовал. Дальше.

— Дальше — Любимов,— не смущаясь, продолжал Гаршин.— Тот помягче, на ватных лапах, но зато воплощенный разум. Вам повезло с соседом: если не спится, поговорите с ним — действует лучше снотворного.

— Я слышу о нем весь день — и все по-разному. Что он за человек?

— Прекрасный человек! Разве я взял бы его иначе в соавторы? — не задумываясь, ответил Гаршин.— Умный и опытный инженер, трезвый, ничем не увлекающийся руководитель. Каждую практическую задачу умеет рассматривать как бо-ольшую проблему.

Не понять было, хвалит он или издевается.

— Почему же он скучен, если так умен?

— А вы любите читать Гегеля, а? — вместо ответа спросил Гаршин и придвинул кресло поближе.— Ну, Анечка, долго вы еще будете допрашивать меня по всем цеховым делам?

— Пока вы не уйдете, – сказала Аня и торопливо встала, включила электрический чайник.— Сейчас мы выпьем чаю, Виктор, и вы отправитесь домой. а я буду готовиться к завтрашнему дню.

— Ох, как строго!

— Да...

Она склонилась над чайником, поправляя шнур, медля оглянуться. Комната вдруг стала душной и тесной, а Гаршин так близко, что кажется — оглянись, и столкнешься с ним лицом к лицу. Он не очень-то поверил ей, и хуже всего, что она сама не очень верит себе. Одиночество горько — никуда от этого не денешься. А годы идут. И ей тридцать два. Тридцать два...

Она ухватилась за прерванный разговор, как за спасительный якорек:

— Вы говорите, Любимов ничем не увлекается?

Голос звучит совершенно спокойно. Все стало на место. Комната как комната. И Гаршин сидит себе в кресле, как сидел.

— И, очевидно, каждый ухаб — для него проблема, так?

Она вернулась как ни в чем не бывало и села, ожидая ответа.

— Ухаб? — со злостью вскричал Гаршин.— Если вы имеете в виду всякие прорехи — о да!

— А Полозов?

Гаршин только плечами пожал.

— Он увлекается? Витает в облаках? Не видит ухабов совсем?

— Ну да! — с раздражением воскликнул Гаршин.— Как это вам пришло в голову? Ему нужно, чтобы все навалились и враз заделали все ухабы. Враз, понимаете? Он может сутками торчать в цехе, и для него личная жизнь — это турбины.

Он улыбался, но Аня видела: сердится.

— Не верите? — запальчиво продолжал Гаршин.— Ладно, не верьте. Когда он в вас влюбится — а он обязательно влюбится, потому что он, черт, мечтает о подруге жизни, с которой можно день и ночь говорить о турбинах,— так он вас замучает производственной тематикой, можете не сомневаться. Он и в любви-то вам объяснится обязательно на фоне турбины.— Гаршин закатил глаза и прошептал: — «Дорогая, ты так хороша, когда твои бархатистые щечки перемазаны мазутом...»

Аня смеялась, не возражая; она старалась понять, почему Гаршин разозлился.

— Буду справедлив,— продолжал Гаршин.— Алеша — мой приятель и, если хотите, поэт в душе. Но если бы он писал стихи,

он рифмовал бы что-нибудь вроде: «Ах, я люблю так сладко турбинные лопатки».

— Почему вы сердитесь, Виктор?

— Почему? — Он вскочил и с какой-то яростью схватил Аню за плечи.— Почему? — повторил он.— А потому, что я вам сумасшедше обрадовался, побежал к вам как мальчишка, бросив все дела... а вы меня — о цехе, о реконструкции, о черте в ступе.

Аня на минуту притихла в его руках, потом рывком высвободилась:

— Разве так можно... набрасываться?..

— Можно. Я не понимаю... Вы одна, Аня... Вы свободны...

— Замолчите!

Она отошла к окну.

— Я не хочу, чтобы вы говорили со мной вот так,— не оборачиваясь, сказала она.— Не хочу. Из-за этого я ушла от вас тогда. Под Кенигсбергом. Я даже не знаю, нравитесь ли вы мне. Иногда — да. А иногда, как сейчас...

И не глядя, она видела: он стоит посреди комнаты, растерянный, непонимающий.

— Ничего наполовинку я не хочу. Можете вы это понять?

— Так я... Анечка, честное слово, я...

Она обернулась к нему — так и есть, стоит посреди комнаты, растерянный, старающийся понять и непонимающий.

— Давайте чай пить, Витенька,— сказала она, вздохнув, и открыла шкафчик.— Вот, ставьте на стол сахарницу и печенье. Теперь чашки, только не разбейте. А я заварю чай.

— Есть такие дрессированные собачки — стоят на задних лапках с куском сахару на носу,— сказал Гаршин, подчиняясь и сердито, исподлобья следя за тем, как Аня возится с чайником.— А я ведь другой породы.

— Я еще не разобралась, Витя, какой вы породы,— серьезно ответила Аня, ласково дотрагиваясь до его сжатой в кулак напряженной руки.— Дайте мне разобраться и в вас, и в самой себе. Хорошо?

— Ладно уж. Разбирайтесь...— И, мгновенно переходя к обычной шутливости: — Только побыстрее, а то ведь невольно присаживаешься да прихорашиваешься, как у фотографа,— сами знаете, долго не выдержать.

5

В столовой заводоуправления была маленькая комната, обставленная мягкой мебелью. Она называлась «директорской». Основные руководящие работники завода приходили сюда в любой час дня и ночи, чтобы наскоро закусить, выпить крепкого чая или кофе, а иногда передохнуть полчасика в уютном кресле, послушать радио и просмотреть газеты.

В этот утренний час Немиров столкнулся здесь с секретарем парткома. Диденко любил ходить на завод пешком и после хорошей прогулки забегал в столовую позавтракать. Григорий Петрович попросил черного кофе и с наслаждением закурил — курить в рабочем кабинете он себе не позволял.

— Так, так,— повторял Диденко, глотая сметану с сахаром и шурша газетными листами.— «Октябрь» полностью перешел на поток... Так, так... А на «Станкостроителе» уже три стахановских цеха. Молодцы! Что ж, Григорий Петрович, на досрочный выпуск придется соглашаться, да? — без всякого перехода спросил он, отложил газеты и закурил, с волнением ожидая ответа.

Немиров неторопливо отхлебнул кофе и ответил:

— Похоже на то.

Неизменная спокойная сдержанность директора всегда удивляла и даже восхищала Диденко, хотя порою и мешала понять, что думает и чего хочет директор. Вот и сейчас. Сказал: «Похоже на то» — и сидит себе, попивает кофе. А как он относится к этому? Верит ли в возможность досрочного выпуска? Что собирается делать?

— К первому октября? — уточнил Диденко, чтобы вызвать Немирова на разговор.

— Вряд ли стоит фиксировать сроки и давать торжественные обещания,— недовольно сказал Немиров.— Лучше сделать, не пообещав, чем наобещать, да не сделать.

— Есть третий выход: пообещать и сделать! — быстро откликнулся Диденко.

Немиров вскинул глаза и внимательно поглядел на своего парторга. Полтора года они работали вместе, дружно работали, без столкновений, если не считать крупной стычки из-за увольнения бывшего начальника турбинного цеха Горелова,— но гореловская история, чуть не поссорившая их, произошла уже давно и научила обоих избегать разногласий. Диденко тогда вынужден был отступить, но Немиров запомнил его страстную настойчивость. Теперь они друзья. Немирову известно, что Диденко как-то сказал про него: «У талантливого директора и недостатки интересные»... Ишь ты, как определил! Немирову это польстило, но всегда хотелось узнать — что же парторг считает недостатками? Властность? Несговорчивость? Ладно, пусть это и недостатки, я такой. Потому меня и держат директором завода. И Диденко это знает. И научился считаться с этим... Неужели же сейчас он попробует настаивать?..

— Пообещать и сделать,— проворчал Немиров и спросил жестко, в лоб: — А ты можешь обещать, Николай Гаврилович?

— Пока еще нет, не могу,— просто сказал Диденко и не притушил докуренную папиросу, а от нее сразу прикурил вторую, сильно затянулся дымом и со вздохом признался:

— Все подсчитываю, прикидываю, себе не верю и людям не верю. Подсчеты говорят: как ни крути, мощностей не хватит, рабочего времени не хватит. А опыт — производственный и партийный — говорит: можно. Как же их примирить и кому верить?

Немиров пропустил вопрос мимо ушей.

— А литье? Мы ж не только от себя зависим. Один Саганский сколько нервов вымотает!

Помолчав, он спросил как бы вскользь:

— А на генераторном что говорят, не слыхал?

Так же, как мощный вал турбины накрепко сцеплялся с валом генератора и только в этом сцеплении работа двух сложных и самостоятельных машин приобретала смысл и ценность, потому что механическая энергия одной превращалась другою в энергию электрическую, так же н два завода, турбинный и генераторный, были накрепко сцеплены между собою и общностью заказов, и конструкторским замыслом, и сроками. Каждая новая турбина, выпущенная одним заводом, требовала одновременно выпуска генератора с другого завода. Выполнять план досрочно нужно было вместе.

— Звонил им,— сказал Диденко.— Говорят: «Колдуем да прикидываем». И спрашивают: «А вы?»

— А ты что сказал?

Диденко хитро усмехнулся:

— И мы колдуем, говорю, авось вместе наколдуем досрочную электростанцию. Они говорят: «Все возможно». На том и простились.

Немиров облегченно перевел дух и уже сочувственно заметил, что генераторному, пожалуй, придется еще труднее.

— Обоим труднее,— мрачно пошутил Диденко.

Некоторое время помолчали. Потом Диденко взглянул на директора повеселевшими глазами:

— Знаешь, Григорий Петрович, я сделал интересное наблюдение. Когда заводу дают новую задачу — и в войну так было, и теперь,— задача всегда несколько превышает возможностн завода, требует большего, чем есть, так что кажется: ну, пропали, не вытянуть. А возьмешься по-настоящему — и оказывается: новая задача вытягивает наружу нам самим еще неведомые силы, организует их, двигает в дело, и завод весь подтягивается на более высокий уровень. Наблюдал?

— Это значит только, что даются умные задачи,— сказал Немиров.— Но ведь сейчас правительственного постановления нет?

Да, постановления еще не было. Но ведь обоим ясно, какое значение имеет новый Краснознаменский промышленный район и как все там зависит от пуска мощной электростанции. Сейчас и в ЦК, и в министерстве, наверно, взвешивают, подсчитывают... и на чашу весов ставятся не только пронзводственные мощностн

завода «Красный турбостронтель», но н творческая сила его коллектнва...

Немиров глянул на часы и встал:

— Я все-такн еще поговорю с мнннстром. Попробую отбиться.

— Попробуй,— согласился Дндеико.

Они поннмающе улыбнулись друг другу — два человека, которые отвечают больше всех н которым прндется труднее всех.

Чемодан стоял у дверн еще нераспакованным.

Скиув пиджак и набросив на плечи халат, Любнмов брнлся. Алла Глебовна держала наготове мохнатое полотенце и осторожно расспрашивала мужа, стараясь понять, чем он недоволен и взволнован. А то, что он приехал недовольным н взволнованным, было ей ясно, хотя, по рассказам мужа, командировка прошла удачно: вопрос о реконструкцнн цеха решен, мнннстр был на редкость внимателен и дважды намекнул на поощрення.

— А другне поручения у тебя были? Все удалось сделать? — как бы мимоходом спрашивала она.

— Не могу же я брнться н говорить одновременно.

То, как он сказал это — брюзгливо и раздраженно,— подтвердило подозрения Аллы Глебовны: что-то в Москве произошло неприятное для него, н это непрнятное он скрывает.

Любимов заметил настороженный взгляд жены.

— Ну, а здесь какне новостн? — беспечным голосом спросил он, н нарочитая его беспечность еще раз подтвердила догадку Аллы Глебовны.

Вздохнув, она начала рассказывать:

— У нас новая жилнчка. Прнехала хозяйка этой таинственной забронированной комнаты н, представь себе, начала работать в твоем цехе. На вид лет трндцатн... Шатенка, худощавая, ростом меньше меня...

— Кем ее назначнли, не знаешь?

— Ах, дружочек, не могла же я набрасываться с вопросамн. Я старалась быть с нею как можно приветлнвее, но она, кажется, дичок. Поздоровалась — и за дверь. Надо будет пргласнть ее к нам выпить чаю, да?

Оттопырив языком щеку и осторожно водя по ней бритвой, Любнмов только помычал в ответ.

— Встретнла вчера жену вашего главного ннженера. Она говорнт, Алексеев очень озабочен. Что-то там поговаривают о досрочном выпуске турбин. Может это быть, как ты думаешь?

— Быть не может, а говорнть можно все! — с сердцем сказал Любимов.

— Ты в Москве уже слышал этн разговоры? — догадалась Алла Глебовна.

Не отвечая, он протянул руку за полотенцем. Но Алла

Глебовиа сказала: «Я сама!» — иамочила полотенце кипятком, отжала его и ловко иаложила иа покрасиевшее лицо мужа.

— А что министр? — осторожио спросила оиа.

— Министр тоже ие один решает,— мрачио ответил Любимов, пристегивая к рубашке чистый воротничок.

— Может быть, еще обойдется? — как маленькому посулила Алла Глебовна и заправила в кармаи его пиджака носовой платок.— Ну иди, дружок, раз уж нельзя отдохнуть с дороги. И, главное, не волнуйся.

Выйдя за дверь, Любимов пальцем протолкиул платок в глубииу кармашка, чтоб не торчал кокетливый уголок, и поехал на завод, чувствуя, что там ждет его немало трудиого, неприятного, и все-таки радуясь возвращеиию в беспокойную, утомительную, но близкую сердцу жизнь цеха.

Коиторка старшего мастера находилась в середине цеха — застеклеииая дощатая избушка в царстве металла. Когда солице стояло высоко, оно пробивалось в цех и, отражаясь от блестящих поверхностей и граией отшлифоваиных деталей, залетало в избушку веселыми зайчиками. Когда шла сварка, ее синеватые зарницы проиизывали коиторку насквозь, а скользящие в вышиие мостовые краны отбрасывали иа ее стекла причудливые движущиеся тени.

В самой избушке всегда горела иастольиая лампа под зеленым абажуром, а иа подставке лампы лежал потрепаиный очечник с очками Ефима Кузьмича — Ефим Кузьмич был зорок, замечал в цехе все, как ои говорил, «даже то, что хотят, чтоб ие заметил»,— но для всякой «писанины» надевал очки, придававшие ему очень строгий вид.

Сейчас очки покоились в очечиике, а Ефим Кузьмич сидел за столом, подперев щеки кулаками, и разговаривал с Николаем Гавриловичем Дидеико.

— Производство есть производство, Николай Гаврилович,— тихо говорил он, старательно выговаривая имя и отчество парторга, потому что этим уважительиым обращением как бы перечеркивал давнее прошлое, когда Николай Гаврилович был для иего всего-навсего Колькой и этого Кольку ои и учил, и ругал, и наставлял иа путь истинный нравоучительиыми разговорами в этой же самой конторке. Отсюда же комсомолец Коля Диденок ушел иа учебу, а потом, повзрослевший, ио все такой же иепоседливый, приходил в цех на практику и в этой же конторке задавал десятки неожидаиных вопросов своему первому учителю...

Шли годы. Николай Диденко уже колесил из коица в коиец страиы иа монтаж турбии, был уже коммуиистом, потом и члеиом бюро, и партийным секретарем цеха... и вот ои уже партийиый руководитель всего завода! Роли перемеиились: теперь Ефим

Кузьмич советуется с ним и получает от Диденко указания, а случается — и нагоняй за какой-нибудь недосмотр. Но для Диденко Ефим Кузьмич всегда остается первым учителем, он и замечання делает ему почтительно, как бы вскользь: «Не думаете ли вы, Ефим Кузьмич, что надо бы иначе...», «А я бы на вашем месте, Ефим Кузьмич, ие делал этого...» Ефиму Кузьмичу приятио, что прошлое ие забыто, ио тем старательнее он подчеркивает свое уважение к Николаю Гавриловичу.

— Цикл производства турбины — вещь известная, Николай Гаврилович,— говорил он сейчас, вглядываясь в серьезное, озабоченное лицо бывшего ученика.— Поднять народ — поднимем, народ у нас боевой. Но... три месяца? По четырем турбинам сжать срок на трн месяца!..

Он не возражал, он просто высказывал свои мысли, свои опасения, потому что только партийному руководителю завода мог Ефим-Кузьмич выкладывать все, что думает, не взвешивая и не отбирая слов. Здесь, в цехе, он сам руководитель, здесь он не должен сомневаться или колебаться.

Диденко вздохнул, а потом смешливо прищурился:

— Чтоб не так страшно звучало, Ефим Кузьмич, давайте ие считать месяцами! Что такое три месяца? Семьдесят два рабочих дня. Делим семьдесят два на четыре — сколько же это будет? Восемнадцать дней. Вот об этом нам и думать: как сократить цикл производства одной турбины на восемнадцать дней.

— Да тут только по операциям надо смотреть,— сказал Ефим Кузьмич и на листе бумаги, застилавшем стол, крупно написал цифру 18.

— А чтоб совсем точно, Ефим Кузьмич, переведем на часы. Будем считать две смены, так? Шестнадцать часов в день, так? Умножаем на восемиадцать... шестью восемь — сорок восемь... Двести восемьдесят восемь, так? Округляем для ясиости — триста часов по каждой турбине! Можно по сотням операций, по десяткам стаиков поиемногу — по часам и минутам — сэкономить триста часов?

Ефим Кузьмич написал на листе бумаги цнфру 300, откинулся назад, чтоб лучше видеть, и внимательно посмотрел на нее, как будто в этой написанной им цифре мог разглядеть десятки и сотни неотложных дел, за которые надо сразу же браться.

— Ясно, Николай Гаврилович,— проговорил он и жирно подчеркнул обе цифры.— Трудно будет, очень трудно, но, должно быть, возможно.— И, не глядя на Диденко, спроснл: — А как думаешь, Николай Гаврилович, это уже наверняка?

— Похоже на то, Ефим Кузьмич. Директор сейчас с министром должен разговаривать. Но...— Он вдруг вскочил и засмеялся: так бесспорна была мысль, только сейчас пришедшая ему в голову.— Но, дорогой Ефим Кузьмич, если мы можем найти эти

восемнадцать дней экономии по каждой турбине – значит, мы должны найти их независимо от того, получим мы или не получим краснознаменский вызов!

Григорий Петрович Немиров сидел один в своем кабинете и настойчиво, но почтительно говорил в телефонную трубку:

— Да, Михаил Захарович, но ведь это нереально. Вы сами знаете, что мы работаем на пределе. И разве дело только в нас? Саганский и сейчас задерживает мне отливки, из него досрочно ничего не выжмешь. А генераторному разве справиться? Тут надо целую группу заводов поднять на это дело, перестроить и планы и сроки.

Он повеселел, выслушав ответ министра, но ничем не выразил своего удовольствия и сказал:

— Допустим, что это удастся. Но нашу инструментальную базу вы тоже учтите. Сможете вы нас дополнительно обеспечить с других заводов? Ведь резцы и фрезы горяченькими из цеха выхватывают, мастера из-за них дерутся. Станочный парк вам тоже известен. Любимов вам докладывал. Смогли вы его удовлетворить? Ну, вот видите!

В приемной секретарша шепотом объяснила Любимову:

— Подождите, Георгий Семенович, он говорит с министром.

Немиров продолжал убедительно и настойчиво:

— Но если все три заинтересованных министерства докажут? В конце концов, Михаил Захарович, станция — это турбины и генераторы, а не стены и крыша. И потом — если новые заводы получат осенью энергию только двух турбин, то на первое время...

Голос в трубке зарокотал тревожно и напористо.

У Немирова озорно подпрыгнула бровь, он даже подмигнул трубке.

— Я ведь не говорю, что мы не сделаем, Михаил Захарович. Машиностроители действительно никогда не плелись в хвосте и, надо думать, не будут плестись. Но тем более хотелось бы избежать официального вызова... То, что можно, мы сделаем и так. Но для этого нам надо очень реально помочь, Михаил Захарович, в первую очередь станками. Без этого даже говорить не о чем, Михаил Захарович.

Бас снова заговорил — строго и решительно.

Секретарша заглянула в кабинет и отступила, увидав, что разговор продолжается. Она слышала, как директор вздохнул, прикрыв трубку ладонью, и затем бодро сказал:

— Хорошо. Само собою разумеется. Но я вас очень прошу, Михаил Захарович... До свиданья.

Переждав несколько минут, не вызовет ли ее директор, секретарша покачала головой и шепнула:

— Идите.

Григорий Петрович сидел на ручке массивного кресла в позе юнца, из озорства забравшегося в чужой кабинет. В руке его дымилась папироса. Движением школьника, застигнутого врасплох, директор смял и бросил папиросу.

— Приехали? — вставая, воскликнул он.— Очень хорошо, давно пора.

Он без стеснения разглядывал Любимова, стараясь понять, в каком настроении тот прибыл из Москвы. Первое впечатление было такое, что начальник цеха весь подобрался, готовясь к отпору. Немиров уселся в кресло как полагается и сказал:

— Докладывайте.

Сходство с юнцом исчезло. Губы директора сжались, обозначив две властные и жестковатые складки.

Любимов докладывал коротко, так как директор не терпел многословия. Начав говорить, он оживился. Главной целью командировки было обсуждение в министерстве основ реконструкции турбинного производства. Основы эти были разработаны Любимовым вместе с технологом Гаршиным и изложены в докладной записке, поданной министру. Записка была обсуждена и одобрена, министр обещал провести на следующий год соответствующие ассигнования. Это был успех, и Любимову хотелось, чтобы его успех был оценен должным образом, независимо от того, какие новые заботы навалились на них сегодня.

Немиров слушал и удовлетворенно кивал головой, но, дослушав до конца, тотчас спросил:

— А станки?

Со станками дело обстояло хуже. Новые станки были необходимы — этого никто в министерстве не отрицал,— но получить их Любимову не удалось. И хотя Любимов не был виноват в этом, докладывать о неудаче было неприятно.

— Еще что? — ничем не выразив своего недовольства, спросил Григорий Петрович.

— У меня все.

Любимов прекрасно понимал, о чем спрашивает директор. Новость стала известна ему в день отъезда, и он успел обсудить ее со многими работниками министерства, хотя к министру не попал, да и не просился во второй раз на прием, чтобы не брать на себя лишней ответственности. Теперь он хотел выслушать известие из уст директора, и в том освещении, в каком оно воспринято директором, чтобы не тратить зря силы и время, если их точки зрения совпадут, и подобрать возражения, если точки зрения разойдутся,— сдаваться он не собирался.

Григорий Петрович медлил заговаривать о самом главном. Любимов принадлежал к числу людей, с которыми ему было удобно работать,— настолько удобно, что он потянул за собою Любимова с Урала и выдержал длительную драку с Диденко и с райкомом из-за бывшего начальника турбинного цеха

Горелова, которого, вопрекн их миенню, сиял с работы. Любнмов был человек положительный н знающий, ие пустозвон н ие прожектер. Если ои скажет «можио» — значит, действнтельио можио. А если скажет «не могу», пусть и приходится нногда прнказать ему сделать «через не могу», ио в такнх случаях обязательио иужио прислушаться к его возражеииям и помочь, потому что Любимов слов иа ветер ие бросает.

Последиие дии Григорнй Петрович иетерпеливо ждал приезда иачальника цеха; в атмосфере общего возбуждения хотелось выслушать доводы Любнмова, вместе с иим взвесить все затрудиеиия и препятствия, опереться иа его опыт. Однако ои совсем ие собирался все это показывать самому Любнмову и рассказал волиующую новость сухо, без оцеиок.

— В этом году, досрочио? — нроиически переспросил Любнмов, всем своим видом прнглашая директора вместе посмеяться иаивиости такого предположения.— Да нет, Григорнй Петрович, это же иесерьезио. Нельзя предъявлять нам невыполиимые требоваиия.

— Вы говорите так, будто уже точио знаете, что выполннмо н что невыполимо. Я склонен думать, что иам с вамн еще предстоит разобраться в этом.

— Григорий Петрович! — воскликнул Любимов, теряя хладнокровие.— Может быть, вы уже вынуждеиы говорить об этом так, как сейчас... ио, положа руку иа сердце... ведь вы сами зиаете, это же петля.

— Если бы я прииимал за петлю каждую трудиую задачу, я бы ие был директором завода, Георгий Семеиовнч.

Любимов иизко склоиил голову. Немиров зиал: это не знак согласия, а желаиие скрыть раздражеиие.

— Давайте ие поддаваться паннке, Георгий Семеиович. Мало ли мы с вами решали задач, которые иа первых порах казалнсь иевыполиимыми? И потом — если иаши турбииы действительио очеиь иужиы досрочио... что же, сказать «нет»?

Начальиик цеха по-своему поиял явиое иеудовольствие директора:

— Вам уже пришлось... согласиться?

— Нет.

Любимов с иадеждой вскииул глаза:

— Нет?

— Нет,— повторил Грнгорий Петрович.— Зачем же мие давать согласие иаобум? Но я поннмаю, что от иас требуется новое усилие, а времени на подготовку и отработку опять иет. Что ж, такое иаше дело: электроэнергия! — осиова осиов н сила сил.

Любимов потяиулся через стол к директору и почти шепотом сказал:

— Но вы же понимаете... вы же ие можете верить в выполнимость...

Немиров поморщился:

— Ну, это какой-то девичий разговор получается, Георгий Семенович. Веришь — не веришь.

И круто переменил тон, уже не обсуждая, а приказывая:

— Так вот. Немедленно и обстоятельно взвесьте все возможности цеха. Как лежащие на поверхности, так и скрытые. Придирчиво проверьте по каждой операции, где можно ужать два дня, где сутки, где часы. Рассчитайте все по месяцам, по декадам, по дням. Даже по минутам.

Любимов снова доверительно потянулся через стол:

— Министр считает, Григорий Петрович, что наша программа на этот год и так очень тяжела, что выпуск четырех турбин нового типа в этом году будет доблестью нашего завода.

— Да,— вздохнув, подтвердил Немиров.— Третьего дня он считал именно так.

— Григорий Петрович! — вскричал Любимов, забывая, что в начале беседы притворился неосведомленным.— Я еще вчера вечером говорил и с его заместителем, и со многими работниками министерства. Они все считают, что простой расчет... реальные возможности... Если вы проявите твердость... Министр... Он очень хорошо к нам относится, Григорий Петрович, он готов помочь и поощрить, он намекнул на это дважды.

— Вот и дал бы нам станки ради поощрения,— сказал Немиров.

— Но, Григорий Петрович, станки, как вы знаете, не были нам запланированы. Их требуют и Урал, и Москва, и юг. Однако меня обнадежили. «Советский станкостроитель» обещает значительно перевыполнить программу, и меня заверили, что за счет сверхплановой продукции...

— Ага! — совсем по-мальчишески воскликнул Немиров.— Значит, перевыполнение плана другими заводами вы принимаете и приветствуете? Даже рассчитываете на него?

Любимов натянуто улыбнулся:

— Но мы не можем перепрыгнуть через самих себя. До генеральной реконструкции цеха...

— Нет, Георгий Семенович,— резко прервал Немиров.— Заводу мало великолепных проектов реконструкции. Он должен быть передовым уже сегодня. Помимо всего прочего, для того чтобы обеспечить свое развитие.

— Это все прекрасно. Но... есть добрые порывы и есть математический расчет. Я всегда остаюсь в рамках реальности.

Так как Немиров молчал, Любимов прибавил, обиженно кривя губы:

— Мне казалось, что и вы меня цените за это.

Немиров пробормотал: «Угу» — и начал просматривать блокнот, шелестя листочками.

— Полозов думает, что в цехе есть неиспользованные резервы. Сколько у вас стахановцев? Почему на других заводах добиваются сплошь стахановских цехов? Надо работать с людь-

ми. У вас болтается в цехе несколько десятков молодых рабочих. Сделайте их передовыми — вот еще резерв. А механизация? Полозов считает, что можно теперь же, своими силами провести часть вашего плана реконструкции...

— Конкретно что-нибудь предложено?

— А это уж ваше дело — разобраться, что тут конкретно, а что от молодого азарта.

— Слушаюсь.

— Значит — взвесить, продумать, рассчитать. И учесть все предложения. В том числе и Полозова.

— Григорий Петрович, я объективный человек, а Полозов — мой заместитель, и я не собираюсь...

— Понятно. Дня три вам хватит?

— Раз приказываете — сделаю.

Немиров учуял затаенную обиду и недовольство начальника цеха, но решил не обращать внимания: злее будет. Когда дверь за Любимовым закрылась, он опустил голову на стиснутые кулаки и несколько минут посидел так, покачиваясь:

— Ох, трудно будет. Ох, трудно!

Через час Любимов позвонил по телефону:

— Григорий Петрович, завтра цеховое партбюро с активом. Приглашают вас. Я вам буду очень обязан, если вы придете.

— Превосходно. Кто докладывает?

— Я. О положении и перспективах цеха.

— Превосходно,— повторил Немиров.— Дайте народу почувствовать перспективу, оставаясь в рамках реальности.— Бровь его насмешливо подпрыгнула, но Любимов не мог видеть этого и не уловил скрытой насмешки.— Готовьтесь как следует и помните мои указания.

Положив трубку на рычаг, Немиров рассмеялся про себя. Можно сказать заранее, что «тихо и плавно» завтрашнее заседание не пройдет,— Любимову, во всяком случае, придется выслушать много крепких слов.

Немиров очень не любил, чтобы его критиковали, но для своих подчиненных считал критику весьма полезной: протрут их с песочком — они и заблестят, как новенькие.

6

Директор завода пришел на заседание партбюро с активом не один, а с главным конструктором турбин Котельниковым.

Худой, долговязый, с густой шапкой черных спутанных волос, уже тронутых сединой, в неизменной черной сатиновой спецовке, из-под которой выглядывал накрахмаленный воротничок и щегольской узел яркого галстука, Котельников не пошел вслед за директором к столу, где для них предупредительно освободили стулья, а остановился у дверей, снял очки, всех обвел острым взглядом и добродушно сказал:

— Ну, здравствуйте, кого не видал.

Котельиикову со всех сторон улыбались, все тянулнсь поздороваться с иим, каждому хотелось усадить его рядом с собою, а он шутливо разводил руками, ие зная, кому отдать предпочтение. Накоиец выбрал:

— Ладно, я уж к начальству прибьюсь.

И подсел иа скамью у стены, где собрались начальники участков и мастера.

Котельников был здесь своим человеком: до того как в конструкторском бюро создалась партийиая органнзацня, его много лет избирали членом партийиого бюро турбнииого цеха, да и теперь связь с цехом у него была повседневная н крепкая. Но в то же время он был здесь уже посторонним, гостем, н его прнсутствие, так же как прнсутствие директора, придавало ныиешиему заседанию особую значнтельность.

Партийиое бюро уже начало обсуждать первый вопрос — прнем в партию,— а народ прнбывал и прибывал. Все места былн давно заняты, и вновь приходящие оставались у дверей.

Прнннмали в кандидаты партии Нпколая Пакулииа, бригадира комсомольско-молодежной бригады, завоевавшей в прошлом месяце общезаводское первенство.

Немиров спросил, заинтересоваино разглядывая юношу:

— Учитесь?

— А как же? — свободно ответил Николай, успевший справиться с волиеиием первых минут благодаря общему явиому доброжелательству.— Учусь в вечернем техникуме. На пятерки и четверки.

— Он на этот счет молодец! — раздались голоса.— С иего пример брать надо.

Немиров неожндаиио растрогался: давно лн ои сам был вот таким же пареньком, старательным н упрямым...

— Петр Петрович Пакулнн не родственник тебе? — спросил он, желая проверить свою догадку о том, что такне юиошн вырастают в кадровых заводских семьях, с детства прнучаясь любнть завод.

Среди прнсутствующих прошло какое-то движеине.

— Родственник,— еле слышио сказал Николай.

Руководивший заседанием Ефим Кузьмич Клементьев торопливо подытожнл обсуждение:

— Что ж, виднмо, все согласны. Хороший будет коммунист, сумеет быть ведущим и в производстве н в учебе. И комсомолец активиый...— Ои хотел объявить голосоваиие, ио вдруг вспомнил что-то и покачал головой.— Вот только одно, Коля. Есть у тебя в бригаде такой беспартнйный парень, Аркадий Ступнн? Этакий «ухарь-купец, удалой молодец». Есть?

— Есть,— смущеино сказал Николай.

— А почему не учится? Почему в общежитии про иего дуриая слава? Почему в комсомол не вступает, а в «забегаловках»

первый гость?.. Вот, Николай, принимаем тебя в партию н даем напутствие: теперь за каждого своего Аркадня ты вдвойне отвечаешь, не только за показатели на производстве — за душу человеческую, понял?

Полагалось голосовать членам партнйного бюро, но за прнем Николая Пакулина всем было приятно поднять руки, н Клементьев не стал возражать.

— Единогласно,— с удовольствием сказал он.— Поздравляю тебя, Коля. Можешь остаться. Вопрос важный, и тебя касается. Товарищи, у кого места нет, быстреиько тащнте стулья и табуреты, в соседних комнатах найдете...

В это время луч солнца, пробив облака, добрался до присевшего на трубу парового отопления Ннколая Пакулнна. Ннколай обрадованно подставил лицо навстречу солнышку, но тут же вспомиил, где находнтся, смутился и насупился, готовясь слушать доклад.

Тихо вошел запоздавший Днденко и запросто уселся на подоконнике, за спиною Любимова.

Любимов, нервннчая, просматривал свои заметки. В турбинном производстве он работал много лет и любил его. И еслн теперь он нервичал н порой хотел уйти на преподавательскую работу, вниовато было не самое производство, а люди с нх беспокойными характерами, общественными требованиями и неуемным стремлеиием к переменам. Любимов умел ладнть с рабочими, знал, чего можно потребовать от квалифицированного человека, и умел требовать властно, но без нажима. Во время войны, работая на Урале, Любимов вступил в партию и понимал необходимость тесного взанмодействия с партийной организацией. Приехав сюда, он порадовался, что секретарем партбюро работает Ефим Кузьмич, старый производственник и к тому же доброжелательный, хорошей души человек. Ладить с иим было естественно и иеобременительно. Труднее оказалось поладить со своим заместителем инженером Полозовым. Для Полозова не было ничего раз навсегда установленного, к любой задаче он подходил крнтически — нельзя ли выполнить ее по-иовому? И это было бы хорошо, если бы не пылкая настойчивость Полозова н не его привычка превращать внутренние вопросы админнстрацнн в вопросы общественные. Кроме того, в цехе появилось очень много молодежи, которой Любимов не решался доверять. Появились и люди, прошедшие «огоиь и воду» на войне, требовательные н чувствующие себя хозяевами всего и вся,— такне, как Яков Воробьев. Любимов отдавал должное способностям Воробьева и охотно поручал ему работы, требующне безукоризненного выполнения, ио побаивался его: на собраниях короткие умные выступления Воробьева всегда служили «бродилом» для развертывания самокритики.

Вот н сегодня Воробьев сидел подтянутый, серьезный, положнв перед собою записную книжку, и слушал внимательнее

всех, изредка что-то записывая. Плавно развивая свою мысль, Любимов ощущал как помеху его настороженно-критическое внимание.

Основная мысль доклада сводилась к тому, что производство — планомерный процесс со взаимно обусловленными и взаимно связанными сторонами, и первейшая задача цеха — так построить и наладить по всем линиям этот процесс, чтобы все части «притерлись» друг к другу и работали с четкостью исправного механизма. Для этого и намечен (тут Любимов выпятил роль Виктора Павловича Гаршина, скромно оговорив лишь свое участие) генеральный план развития цеха, таящий огромные и поистине блестящие перспективы.

— Товарищ Немиров простит меня за некоторую болтливость, но я хочу порадовать партийный актив небольшим сообщением, не подлежащим пока оглашению,— сказал Любимов и, понизив голос, сообщил о том, как хорошо встречен план в министерстве, как министр в часовой беседе одобрил план и обещал провести соответствующие ассигнования.

Это сообщение всех оживило. А Любимов с увлечением рассказывал сущность плана и перечислял его отдельные, наиболее выразительные подробности.

— Ох, здорово! — воскликнула Катя Смолкина.

Немолодая, сухощавая, с живыми, молодыми глазами на узком, прорезанном энергичными морщинками лице, Смолкина была одним из наиболее известных людей турбинного цеха. Организатор и душа фронтовых бригад ремонтников в дни блокады, а теперь стахановка-многостаночница и председатель цехкома, Смолкина славилась и работой, и общественной активностью, и прямым, веселым, увлекающимся характером. Сейчас она была увлечена, пожалуй, больше всех или наравне с Николаем Пакулиным, который, казалось, уже видел преображенный до неузнаваемости цех.

— Ассигнования на какой год обещают? — негромко спросил сидевший рядом с ним Воробьев.

Любимов не расслышал вопроса или не захотел сбиваться с мысли ради ответа. Но Алексей Полозов внятно сказал:

— Сегодня нас интересует другое, Яша.

Любимов повел холодным взглядом в его сторону и, приятно улыбаясь, развел руками:

— Понимаю нетерпение некоторых товарищей, но хочу напомнить, что во всяком деле важно увидеть и почувствовать перспективу... хотя бы для того, чтобы лучше оценить положение сегодня.

— Правильно! — крикнула Катя Смолкина.

— Правильно-то правильно,— подал реплику член партбюро Коршунов, первый стахановец цеха и знатный человек завода,— только бы, Георгий Семенович, за этой вашей перспективой сегодняшних задач не просмотреть.

— Вот-вот! — поддержал Диденко. Такая у него была привычка — выступал редко, а с места громко подавал реплики, задавал вопросы, на которые нелегко ответить.— Или сегодня задач нету?

— А к ним я как раз и подошел,— успокоил его Любимов и действительно подробно разобрал сегодняшнее положение цеха и даже, вопреки обыкновению, четко определил вопрос, который следует решить: может ли цех до генеральной реконструкции значительно ускорить выпуск турбин?

— Отвечаю со всей прямотой — м о ж е т,— сказал он, вызвав всеобщее одобрение.

И тогда он начал деловито перечислять, что для этого нужно и чего не хватает, и тут же уточнял: руководство цеха и партийное бюро должны выдвинуть следующие требования к дирекции... к инструментальному отделу... к заготовительным цехам... к отделу снабжения... к заводам-поставщикам...

Связно и убедительно излагая все нужды и требования цеха, Любимов чувствовал, как внимательно его слушают. Катя Смолкина энергично подтверждала каждое требование. Директор кое-что записывал в свой блокнот, и Диденко за спиною Любимова то и дело поскрипывал карандашом по бумаге, что-то бормоча себе под нос.

Любимов уловил заинтересованность Карцевой и вскользь отметил: хорошее лицо, умные глаза,— очевидно, цех приобрел толкового работника, и жаль, что Полозов поспешил с назначением, ее бы на участок послать.

Хотя он и старался не замечать Полозова и Воробьева, но все же видел: оба сидят с независимым и даже ироническим видом.

Любимов подавил раздражение, плавно закончил перечисление и скромно сказал:

— Вот все, что я считал нужным доложить.

В тишину ворвался удивленный возглас Кати Смолкиной:

— Уже все?

— Черед за вами,— усмехнулся Любимов, пряча в карман заметки.

Но тут Коршунов, пожимая плечами, довольно громко сказал:

— Доклад, видимо, обращен к дирекции, а не к нам?

Диденко подхватил, подмигивая Коршунову:

— С директора тянуть — оно проще!

— Как же не использовать присутствие директора, это сам бог велит,— отшутился Любимов.— Впрочем, товарищи, если я что упустил, спрашивайте — отвечу!

Полозов первым задал неприятный, слишком лобовой вопрос:

— Так ли я понял, что без удовлетворения всех этих претензий мы не в состоянии улучшить и ускорить работу цеха?

— Резонный вопрос! — внятно произнес за спиною Любимова Диденко.

Любимов счел бестактным поведение своего заместителя, но мирно ответил:

— Мне кажется, выводы мы сделаем сообща. Я обстоятельно доложил положение и возможности, слово за вами и другими товарищами.

— Как вы считаете, Георгий Семенович,— спросил Яков Воробьев,— что от чего зависит: стиль работы цеха от темпов или темпы от стиля?

Обдумывая ответ Воробьеву, Любимов аккуратно записывал вопросы, посыпавшиеся со всех сторон. Он предложил ответить в заключительном слове, но собрание запротестовало. Новый работник Карцева впервые заговорила, и притом весьма решительно:

— Я думаю, характер прений будет зависеть от ваших ответов.

Отвечая на ряд мелких, чисто производственных вопросов, Любимов оттягивал ответ Воробьеву, подыскивая наиболее убедительную и мягкую форму. Наконец эта форма нашлась:

— Что касается теоретического вопроса товарища Воробьева, то я хочу ответить на него практически: давайте вместе обдумаем, что нужно сделать, чтобы и темпы, и стиль соответствовали нашим задачам. Они неразрывно связаны и зависят как от умения администрации, так и от инициативы и энергии передовых стахановцев — таких, в частности, как Коршунов, Воробьев, Смолкина и Пакулин.

Николай покраснел: похвала начальника на таком авторитетном собрании польстила ему.

Воробьев, дернув плечом, пробормотал:

— Я для того и спрашивал.

Никто не хотел выступать первым. Клементьев укоризненно качал головой:

— Давайте начинайте, потом ведь не остановишь.

И вдруг поднялся Николай Пакулин:

— Мне можно?

Он смущенно одернул замасленный, слишком короткий пиджачок:

— Я скажу о своей бригаде. Тут неправильно говорилось, что темпы и стиль работы — одно и то же... то есть, что они связаны вместе...— Он запутался, сбился, но усилием воли преодолел смущение и продолжал: — Вернее, я хочу напомнить постановку вопроса у Воробьева. Это же для нас очень важно! Мы, молодежь, хотим дать темпы и нередко даем. Но все наши усилия упираются, как в стену, в разные неполадки, в неорганизованность. А это и есть стиль работы. От него мы зависим, он нас душит.

— А что именно вам мешает? — спросил Немиров.

— Да как же, товарищ директор! — воскликнул Николай.— Разве у нас соблюдается по-настоящему график? Сегодня

заготовок хоть завались, а завтра не допросишься! Наши ребята многое придумывают, чтоб дело шло лучше. А пока придуманное реализуешь, не то что охота изобретать исчезнет, а, чего доброго, поседеешь!

— С оправками поседел? — с шутливой укоризной спросил Гаршин.

— Ящики вам на третий день сделали,— напомнил и Ефим Кузьмич, уже не как секретарь партбюро, а как мастер.

Николай сгоряча «перегнул», он сам это чувствовал. Но так же верно он чувствовал и другое: в цехе не было системы творческого, изобретательского соревнования, помощь была случайна, каждому более или менее серьезному предложению приходилось долго «пробивать» дорогу. Николай не умел все это с лету высказать, но не растерялся и ответил:

— Что ж поминать то, что сделано, важнее сосчитать, что под сукном лежит.

Тут поднялась Катя Смолкина и, как всегда, скороговоркой, даже не попросив слова, выплеснула единым духом все, что думала:

— Зря, зря, зря парню рот закрыли! Ящики сделать — это что! Ефим Кузьмич мог у себя, своими силами провернуть — вот и сделали. А ты, Виктор Палыч,— обратилась она к Гаршину,— оправками не хвались. Мы тебя очень уважаем, ты, говорят, от науки к нам на производство спустился, очень хорошо, ценим, а только мое предложение сколько времени маринуешь? — Она сама себя перебила: — А главное не это. Я тебя слушала, Георгий Семеныч, рот раскрывши, до чего сладко. А потом, как раскусила — не пойму, убей, не пойму. С директора ты требуй, с других заводов требуй, отдел снабжения тряси, как грушу, так им и надо... Ну, а себя-то? Нас-то? Что ж, выходит, нам вынь да положь, тогда и мы сработаем? Прослушала я ваш список претензий, подробно все перечислено... а на что мне завтра народ поднимать, не слыхала! Разве так партийному активу докладывают? Прости меня, Георгий Семеныч, за грубые слова, но вытащил ты все свои претензии, чтобы показать: вот мы какие бедненькие, не наваливайтесь на нас, пожалейте! А про богатство наше, про силу нашу, про актив, здесь сидящий, забыл? Или думал: авось и они прибедняться начнут, чтобы лишних хлопот не было!

Смолкина села и попала прямо в солнечный луч, который дополз уже до середины комнаты и освещал разгоряченные лица. Катя прищурилась, широко улыбнулась и громко сказала:

— И солнышко ко мне — значит, истинная правда!

Все рассмеялись, как всегда охотно смеются на серьезных, затрагивающих за живое совещаниях. Но смех разом смолк, когда начал говорить Воробьев. Его речь, как обычно, была предельно сжата и точна. Немиров, с интересом ожидавший его выступления, записал в своем блокноте: «Стахановцев чествуют и хвалят, но не обеспечивают. Одиночные рекорды — вчерашний

день. Сегодня стахановское движение стало массовым, а это требует нового стиля руководства». Последние слова Немиров подчеркнул и поставил рядом большой вопросительный знак.

— И не только в цехе, но и в дирекции,— закончил свою мысль Воробьев, глядя на директора.— Тогда не было бы таких печальных историй, как с предложением Саши Воловика!

Немиров хотел спросить, что за история, но Гаршин с места поправил:

— Не предложение, товарищ Воробьев, а пока только желание. Одного желания еще недостаточно!

По комнате пошел шепоток: «Кто такой? Как он сказал? Воловик?»

Многие пожимали плечами: не слыхали о таком!

Воробьева сменил Полозов. Было заметно, что он волнуется, хотя говорил он связно и неторопливо. Полозов высказал то, чего не сумел высказать Николай Пакулин, и вдруг со страстью обрушился на Любимова и на дирекцию, снова упомянув многим незнакомое имя Воловика.

— Мысль Воловика настолько ценна и важна, что каждый думающий руководитель должен бы ухватиться за нее — ведь в случае удачи она нам примерно восемьсот рабочих часов сэкономит! Рвется к нам Воловик, настаивает, покой потерял — так эта идея его увлекла!.. Тут бы ухватиться за него и создать все условия! А у нас уже месяц волынят с переводом.

— Товарищ Полозов,— резко перебил Немиров,— я хочу вам напомнить, что вы — заместитель начальника, то есть немалый человек в цехе.

— Вот именно, Григорий Петрович! — весело подхватил Алексей.— Тем страшнее, что такой немалый человек, как я, не может добиться в заводоуправлении перевода слесаря Воловика в цех, с которым связано его творчество! Что же говорить о рядовых людях, таких, как сам Воловик!

— Он работает вечерами, бесплатно и вопреки заводоуправлению! — звучным голосом вставила Аня Карцева.

Все головы повернулись к ней: Карцева была новичком в цехе, многие видели ее сегодня впервые. И то, что вновь прибывшая знала Воловика и его историю, всех удивило и заинтересовало.

— В чем дело, наконец? — грозно спросил Немиров.— И почему я только сейчас слышу это имя и намеки на какую-то длительную историю, о которой мне никто не докладывал?

Полозов дал справку:

— Воловик — изобретатель, работающий над станком для снятия навалов. Он хочет перейти к нам в цех, а Евстигнеев не отпускает. Неделю назад, приняв руководство цехом, я подал вам рапорт, на который до сих пор не получил ответа.

— И зря подавали! — крикнул Любимов, теряя обычную

сдержанность.— Инструментальный цех возражает, и возражает законно! Что еще выйдет у Воловика, неизвестно, а у них он ценный работник, лучший стахановец. Я бы тоже не отпустил своего человека за здорово живешь!

— Вот-вот,— неожиданно гневным шепотом сказал Ефим Кузьмич и поднялся с председательского места, тряся вытянутой к Любимову стариковской, морщинистой рукой.— Вы и Воловику так сказали! Так и сказали, как сейчас: «Неизвестно, выйдет ли... вилами по воде писано... Не могу я с цехами ссориться из-за каждой фантазии, не приставайте!» Нехорошо, Георгий Семенович, нехорошо! Очень даже нехорошо!

Наступило тягостное молчание.

В тишину ворвался перезвон весенней капели.

Следя за игрою света в летящих за окнами каплях, Гаршин раздумывал: выступить или не выступить? Конечно, надо бы заступиться за Любимова — вон как его перекосило всего! И чего они вцепились в этого Воловика? Появится изобретатель — обязательно какие-нибудь неприятности начинаются! А ввязываться в эту распрю не стоит, вот уже и Кузьмича втянули в нее, и Диденко весь навострился...

И он сказал примирительно:

— Тут еще разобраться надо, Ефим Кузьмич. Дело не так просто.

— Разбирайтесь, да поскорее! — крикнула Смолкина.

Всем стало легче оттого, что пауза кончилась.

— С Воловиком теперь, надо думать, вопрос будет решен,— спокойно продолжал Полозов.— Но я привел этот пример, чтобы доказать основное: мы много говорим о темпах, подписываем обязательства, а когда доходит до конкретного дела, до механизации, мы не проявляем ни чуткости, ни рвения, ни просто здравого смысла. Требования и претензии, Георгий Семенович, все правильны, но здесь не стоило заслонять ими наших собственных прорех. За такой стеной где уж заботиться о досрочном выполнении плана, о социалистических обязательствах!

— Демагогия! — раздельно произнес Любимов, густо краснея.— Соцсоревнование поручено вам, адресуйте упреки себе, а не разводите демагогию!

Ефим Кузьмич стучал кулаком по столу, стараясь унять возникший шум.

Полозов поднял обе руки, призывая выслушать его:

— Я хочу напомнить Георгию Семеновичу, что социалистическое соревнование — не участок работы, а дух всей нашей жизни. И сейчас, когда завод стоит накануне принятия нового, труднейшего обязательства, скажем прямо: или мы провалимся, или мы подчиним ему всю жизнь цеха и завода. И завода! — повторил он в сторону директора.

— Вот именно,— громко подтвердил Котельников и, не прося

слова, добавнл: — Захотеть — мобилизоваться — все подчннить главной цели — и победить! Иначе провалнмся, товарищи турбнннщики!

Так начавшись, заседание продолжалось бурио. Даже красноречивый иачальник планово-днспетчерского бюро Бабинков, известный своей склонностью всех мнрить н все сглаживать, н тот заговорил с необычной резкостью:

— Обработка цнлиндров — наше самое узкое место, но как раз тут мы часто зависим от таких «тузов», как Торжуев и Белянкин. Я спрашнваю начальника цеха: долго еще Торжуевы будут нам днктовать свою волю?

Во время этой речи Диденко перебросил Немирову записку: «А что, Григорнй Петрович, справится ли Л. с иовыми задачами? Боюсь, ие хватит у него пороха!» Немнров сделал удивленное лнцо и покачал головой: напрасно, мол,— в Любимове я ие сомневаюсь! Записка глубоко уязвила его. Диденко все еще помнит Горелова... а Любимов, как назло, хитрит н страхуется. Тут нужно людей поднять, а он публично прячется за список претензий. И какую-то затяжную исторню с изобретателем допустил, и два «туза» помыкают им как хотят...

— Что за вздор! — сердито прервал он Бабинкова.— Торжуев диктует вам свою волю? Да это же смешно, товарищи! Безрукость какая-то!

— Положение обострилось только теперь,— оправдывался Любимов.— Раньше онн справлялись. И потом, вы зиаете, на уникальных каруселях... не всякому доверишь.

— А вы не всякому, а хорошему. Будто уж на ваших «тузах» свет клином сошелся!

И тоиом приказа:

— Завтра с утра позвоиите ко мне. Придется снять с других цехов двух-трех карусельщиков. Турбннный нам сейчас всего важнее.

Под общее одобрение ои добавил:

— Другие претензин цеха постараюсь выполнить. Но тут товарнщи правильно говорилн: в цехе есть большне резервы, и ваша основная задача — нспользовать нх полностью.

Он иачал перечнслять все, что следовало сделать, о чем следовало задуматься коммунистам цеха. Несколько раз ему хотелось попутио отругать Любимова, но он сдержнвался: нет, ие доставит он Диденко такого удовольствия, вот еще! С глазу на глаз Любимов получит сполна, а здесь подрывать его авторитет не стоит... Зато пусть послушает, как следует ставить вопросы, пусть поучнтся, раз своего ума не хватнло!

— Теперь ясио! — воскликнула Катя Смолкнна, выслушав директора.— С этого бы начать, больше толку было бы!

Заготовленный заранее проект решения оказался слишком расплывчатым, Воробьев встал и решительиым взмахом руки как бы отброснл его.

— Это не годится,— твердо сказал он.— Я предлагаю другое: срочно разработать план всех мероприятий, которые обеспечат досрочное изготовление турбин. Разработать совместно со стахановцами и рационализаторами. Обсудить, начиная с бригады, с участка, с партгруппы. Этот план и будет нашей программой действий.

— Хо-ро-шее предложение! — громко отметила Аня Карцева, и снова все посмотрели на нее, но теперь уже без удивления, а с дружеской симпатией, как на свою.

Диденко соскочил с подоконника и остановился у стола, положив руку на плечо Воробьева.

— Предложение действительно очень хорошее, если его провести со всей энергией и страстью большевиков,— сказал он.— Тут не писанина нужна, а творческое участие всех людей цеха. Подчеркиваю — т в о р ч е с к о е. И еще подчеркиваю — в с е х! Вот когда технические вопросы, организационные неполадки, скрытые резервы выйдут наружу и найдут быстрое, оперативное, боевое решение. Молодец, Воробьев!

Воробьев улыбнулся и по-воински ответил:

— Служу Советскому Союзу!

Немиров с Любимовым прямо с заседания пошли по цеху. Работала неполная вторая смена. Шел десятый час, и в цехе царил дух неторопливости и благодушия, какой бывает в плохо налаженных ночных сменах, когда и начальства мало, и не все станки работают, и задания даны недостаточно продуманные и рассчитанные.

— Вот еще иллюстрация,— сквозь зубы сказал Немиров.

Любимов вытирал платком влажное от пота, сразу обрюзгшее лицо. Он мог бы сказать в свою защиту, что не раз требовал укомплектования второй смены рабочими и мастерами, но спорить и доказывать у него уже не было сил.

— А вы приуныли,— заметил Немиров, теряя охоту ругать начальника цеха.— Разве можно руководителю так раскисать от критики!

— Я думаю не о критике, а о новой задаче,— раздраженно сказал Любимов.

— Так вы же сегодня всю задачу на мои плечи переложили: сделай да подай готовеньким,— съязвил Немиров и в упор недобрым взглядом поглядел на Любимова.— Вы вот что, Георгий Семенович: спутали партбюро цеха с докладом у директора — плохо! Продумали все претензии цеха — хорошо! Но теперь хватит! Я директор завода, я и позабочусь. А вы думайте да организуйте, чтоб цех сработал. Тут дело ваше, и за вас никто не провернет. Вот так! Да поторапливайтесь, потому что время не ждет.

Диденко вышел из цеха вместе с главным конструктором. После долгого, утомившего обоих заседания была особенно приятна свежесть ночного воздуха.

— Подмораживает,— сказал Котельников.— Смотри-ка, лужи затянуло.

— Жаль, коньки домой снес, а то бы заглянуть на стадион...

— Катался нынче зимой?

— А как же? На моей работе перестать спортом заниматься — через год обрюзгнешь, вот как Любимов, будь он неладен!

Котельников усмехнулся, покачал головой:

— Знаешь, Николай Гаврилович, есть люди, с которыми весело работать, а есть — с которыми скучно. Помнишь Горелова? Ведь какой угрюмый на вид мужик... а работать с ним было весело, искорка в нем настоящая и до людей у него жадность — ко всякому присмотрится, от всякого возьмет все, что тот может дать. А Любимов и приветлив, и культурен, и человек знающий, а работать с ним ох как скучно!

Диденко ответил на сразу. Напоминание о Горелове было ему неприятно, потому что в крупном споре из-за снятия Горелова Диденко пришлось отступить, сдаться. Был он тогда молодым парторгом, только что выдвинутым из цеховых секретарей. Новый директор восхищал его и немного подавлял. Напористый, скорый на смелые решения и крутые меры воздействия, Немиров тогда беспощадно снимал, понижал в должности, подхлестывал выговорами работников, которые плохо справлялись с делом или не умели примениться к новым задачам производства. Снял он и Горелова — в один день, не посчитавшись с возражениями парткома. Диденко ринулся в бой, поддержанный многими коммунистами, а затем и райкомом. Немиров уперся, настоял на своем, да еще обвинил своего парторга в том, что тот не сумел занять объективную позицию в вопросе о начальнике цеха, с которым долго проработал «душа в душу»... Диденко сделали замечание: «Что же вы, Николай Гаврилович, лезете в драку с директором, вместо того чтобы помочь ему навести порядок»...

— Горелов тогда допустил много ошибок,— неохотно сказал он теперь, стараясь быть вполне объективным.— При Любимове дела пошли лучше, разве не так?

— Так,— согласился Котельников.— Но сейчас, Николай Гаврилович, начинается новая полоса... и что-то нет у меня уверенности в нем... Ну, до дому?

— Да, пора.

Они расстались на трамвайной остановке. Диденко уехал первым, стал на задней площадке и смотрел, как убегали из-под вагона, будто живые, рельсы, как издалека наплывали цветные огоньки следующего трамвая, как бежал рядом, то отставая, то нагоняя, голубой троллейбус... Да, начинается новая полоса, может быть самая трудная из всех, какие были. Кто выдержит, а кто сойдет с круга, не дотянув?

7

В середине иедели крепко подморозило и, хотя сиег иа солице все-таки подтанвал, к вечеру лед обещал быть хорошим. Конькобежцы цеха сговаривались встретиться вечером иа катке, миогие звали и Аию — приходите, последиий лед!

Аня отиекнвалась — иекогда.

Уходя с завода, оиа видела группы молодежи с коньками под мышкой, иаправляющиеся к заводскому стадиоиу. Мимо иее пробежала Валя Зимнна, тоже с коиьками и в затейливом свитере и шапочке — н то и другое очень шло ей. За иею с мрачиым лицом прошел Аркадий Ступии — без коиьков, с папиросой, ожесточеиио зажатой в зубах.

Аия уже пришла домой и расположилась заинматься, как вдруг подумала: иу а я-то что же? Почему я ие пошла вместе с другими: разучилась или состарилась? Да иет, какая ж это старость — тридцать два года?! Вот если распустншься, сама себя запншешь в старики — тогда н иачиешь дрябиуть. Душой дрябиуть. Не хочу! Не поддамся!

Собраться — дело иескольких минут. Ничего, что иет спортивиого костюма,— сукоииое платье и шарф вполие замеият его. А коньки можио взять иапрокат.

Еще на подходе к стадиоиу Аия попала в ту особую атмосферу, что возиикает сама собою при всяких спортивиых сборищах. Коиечно, молодежь задавала тон, ио попадались и пожилые люди, а перед совершеиио седым коиькобежцем в щегольском обтягивающем костюме и специальиой, облегающей голову шапочке почтительио расступались:

— Здравствуйте, Николай Аиисимович!

— Дядя Коля, привет!

И от группы к группе неслось:

— Дядя Коля пришел! Глядите, Николай Аннсимович тут!

Скииув в раздевалке пальто, Аия сразу почувствовала морозиый холод, врывающийся сиаружи в открытую дверь, ио это ее мало тревожило: побегаю — мигом разогреюсь. Хорошо, что есть теплые иоски, ботниок прочио охватит иогу, а все остальиое — чепуха!

Сдвинула иа лоб шапочку, закииула коицы шарфа за плечн, чтоб не мешали. Неуклюже протопав по мокрому полу раздевалки, Аия вышла иа ледяиую аллейку, которая вела иа каток, смело побежала и тут же споткиулась: то ли коиек застрял в трещние, то ли отвыкла за столько лет.

Рассердившись иа себя, Аия иеторопливо и размереиио пошла вперед, постепеиио переходя с шага иа скольжеиие — и вот уже ловчей н уверенней стали иоги, вериулось ощущеиие ритма и точного двнжения. Быстрей, еще быстрей! Аня выбежала иа каток и с разбегу включилась в пестрый круг коиькобежцев, дважды обежала стадиои и остаиовилась иа краю ледяиого поля,

переводя дух. Запыхалась — значит, неправильно дышала. Сейчас пройду еще два круга...

Размеренными вдохами перебарывая одышку, она разглядывала милую с детства суматоху, царившую на катке. Как всегда при взгляде со стороны, казалось, что в этой суматохе люди должны неминуемо сталкиваться, налетать друг на друга, так медленно и робко катили одни и так стремглав неслись другие, проскакивая перед самым носом у новичков и нарочно врезаясь в пугливые цепочки девушек. А тут еще и вездесущие мальчишки мчатся по всем направлениям и делают лихие развороты так, будто они одни на катке. Однако никто не сталкивался и не налетал на других, и в этом беспорядке был все-таки свой несомненный порядок: никто не посягает на центр поля, где два-три фигуриста свободно выделывают свои замысловатые фигуры, и никто не сунется на специальную беговую дорожку, окаймляющую стадион,— по ней один за другим несутся бегуны; вид у них деловой, они бегут, пригнувшись всем корпусом, заложив руки за спину.

Постепенно среди десятков мелькающих перед нею лиц Аня находит знакомых. Женя Никитин бережно, двумя руками, ведет толстенькую девушку с замирающим от сладостного испуга лицом. Аркадий с Валей бегут по широкому кругу; он — неумело, но решительно, она — плавно и словно играя. Загремело радио, и с первыми тактами вальса Валя покинула спутника, крутым поворотом вырвалась в центр ледяного поля и, подхваченная одним из фигуристов, вальсирует с ним, как на паркете. Аня восхищенно смотрит на ее крепкие ножки в высоких ботинках, непринужденно скользящие по льду, потом разыскивает взглядом Аркадия. Он так и застыл на месте, конькобежцы со всех сторон огибают его, выкрикивая не очень лестные замечания, но Аркадий стоит, приоткрыв рот, и неотрывно следит за ножками в высоких ботинках.

Паренек в валенках с привязанными к ним коньками, по-ребячьи прикрученными щепками, задом въезжает в круг и мчится по нему, налетая на нерасторопных конькобежцев, делая вокруг них пируэты и снова катя задом наперед с комическими ужимками. Аня узнает Кешку Степанова. Фокусы Кешки явно мешают другим, но его ужимки и ухарство таят в себе настоящее умение, так же как настоящее умение скрывается под ужимками циркового клоуна, будто случайно повторяющего сложнейшие упражнения воздушных гимнастов.

Аня снова устремляется на лед. Теперь она дышит глубоко и ровно, переходит на длинный и ритмичный шаг — правой, левой, правой, левой... Я молода, я сильна, мне хорошо, и жизнь вовсе не кончена, все еще будет!..

Правой, левой, правой, левой — все как полагается, только держится она слишком прямо, не по правилам — в этом есть щегольство, выработанное еще в школьные годы; ноги скользят

как бы сами по себе, а корпус выпрямлен и голова свободно поднята — вот она, я!

— Анечка! — на весь стадион кричит Гаршин и, подкатив к ней, хватается за ее руку, чтобы не упасть.

— Побегаем вместе, а?

— Если вы меня не свалите, побегаем.

Они сплетают руки крест-накрест и бегут.

— Здорово, что вы пришли!

— Могли бы и пригласить.

— Да разве я знал, Анечка, что вы катаетесь!

— По-моему, лучше вас!

— Хвастунья! Разве я плохо?

В эту минуту он спотыкается и растягивается на льду, кто-то наскакивает на него и падает тоже, на них — нарочно или по неопытности — валится цепочка девушек, поднимается визг и хохот, голос Гаршина выделяется над всеми голосами.

Аня сумела удержаться на ногах, ее тотчас подхватила чья-то сильная рука. Почуяв в нежданном помощнике хорошего конькобежца, она на бегу поглядела, кто такой, и не сразу признала Диденко.

— А ну, прибавили ходу! — крикнул Диденко, увлекая Аню в такой головокружительный бег, что она сразу забыла о своих щегольских замашках и пригнулась: ветер резал лицо, веселый ветер скорости.

— А вы молодчина, не теряетесь! — одобрил Диденко, пробежав с нею несколько кругов, и, с разбегу повернув ее, посадил на скамью.

— Так ведь под надежным партийным руководством,— прерывисто дыша, сказала Аня.

Диденко храбрился, но она заметила, что и он дышит тяжело, а на лбу выступили мелкие капельки пота.

— Вам на беговых надо,— сказала Аня, косясь на его хоккейные коньки.— Призы брать будете.

— Я бы брал, да когда? — обрадованный похвалой, сказал он.— За всю зиму не больше десяти раз выбрался, и то комсомольцы вытаскивали насильно. У них ведь расчет простой...

Он вытер лицо платком, улыбнулся:

— Я бы руководителей в порядке партийной дисциплины заставил спортом заниматься. Поглядишь иной раз — завод большой, богатый, а стадиона нет, катка нет, спорт в загоне... Почему? Меня комсомольцы с первым ледком на каток тянут — приду, увижу своими глазами: коньков мало, музыки нет, раздевалка тесна. Ну и позаботишься, чтоб все было как следует.

— Тогда вас надо всеми видами спорта охватить!

— Вроде того и получилось,— сказал Диденко.— Я ведь из монтажников, товарищ Карцева, а наше дело такое: сегодня на север, завтра на юг. Лыжный костюм и трусики всегда наготове. Что такое монтаж турбины, вы должны знать. Работаешь, себя не

видишь, а когда выпадает свободный час — прямо как с цепи срываешься, на воздух, на солнышко, на простор тянет. Ну и кидаешься: если лето,— так в море или там в речку какую ни на есть, если зима,— на лыжи или на коньки, что попадется. И гимнастику от своих хлопцев требуешь, чтоб размяться с утра; ну, а раз с других требуешь, то и сам первым разминаешься.

Он вдруг схватил Аню за рукав:

— Глядите, глядите, дядя Коля пришел!

Седой конькобежец, перед которым расступались при входе, взял старт на беговой дорожке. С ним бежало еще трое, остальных будто ветром сдуло, зато зрители выстраивались по всему пути.

Аня не могла понять, что отличает дядю Колю от других бегунов: он как будто так же держался, так же широк и ритмичен был размах его длинных, узких коньков, все так же, как у других, только был он намного старше,— и все-таки он оторвался от остальных и без видимых усилий шел впереди, всего на шаг, потом на два шага; так прошел круг и вышел на второй, мельком оглянулся и вырвался еще на шаг вперед.

— Дядя Коля, да-вай, да-вай! — кричали десятки голосов.

— Давай, давай, жми! — закричал и Диденко, приподнимаясь.

На третьем круге дядя Коля начал сдавать. Между ним и вторым бегуном расстояние медленно, но упорно сокращалось. Теперь видно было, что дядя Коля напрягается, стараясь удержаться впереди.

— Давай, давай! — закричала и Аня, всем сердцем желая победы дяде Коле. И в эту минуту, недоброжелательно взглянув на его соперника, узнала человека, которого никак не ожидала увидеть здесь.

Алексей Полозов бежал сосредоточенно и строго. Казалось, он работает, и не видит бегущего впереди человека, и не думает ни о чем, кроме самого бега точного, легкого, почти автоматического. Но расстояние между ним и дядей Колей все сокращалось, и Полозов слегка изменил направление, чтобы обойти соперника; теперь они бежали почти рядом: две пары коньков одновременно сверкали, как клинки.

— Бра-во, дя-дя Ко-ля! Бра-во, дя-дя Ко-ля!

Дядя Коля финишировал первым.

— Пятьдесят лет, а каков бегун, а? - говорил Ане Диденко.- И сталевар неплохой... Здесь что, любители! А он до недавнего времени и с мастерами спорта тягался!

Аня слушала рассеянно, ей было жаль Полозова. Предоставив зрителям рукоплескать победителю, Алексей один шел новый круг, и его бег был все так же точен, быстр, легок. Вот он пронесся мимо, обогнул товарищей, окружавших дядю Колю и начал пятый круг. Два бегуна бросились вслед за ним, что-то крича, но Алексей не приостановил бега и не оглянулся. Когда он снова

пробегал мимо, Аня разглядела его веселые глаза под полукружиями спортивного шлема. Неужели он совсем не устал? Вид у него был такой, будто он бегал просто для своего удовольствия, вовсе не думая о догоняющих его соперниках.

— Леша! Леша! Давай! — громовым голосом закричал Гаршин.

А тот вдруг замедлил бег, спокойно пропустил мимо своих преследователей, сдернул шлем и сошел с беговой дорожки.

— Что ж ты, Полозов! — кричал Гаршин.

— Ну вот, подрядился я вам бегать! — сказал Алексей, глубоко дыша.

Заметив Аню и Диденко, он удивился и приветливо помахал им рукой, но не подошел. Аня смотрела, как он бежал к выходу, расправив плечи, взмахивая руками. Группа мальчишек провожала его.

— Выносливость очень хорошая,— сказал Диденко. И, поглядев на Аню, спросил: — Это он вас уговорил в технический кабинет?

— Он.

— Все-таки есть у Полозова нюх на людей,— сказал Диденко и некоторое время молчал, потом потянул Аню со скамьи.

— Пойдемте одеваться, разве можно в этаком платье сидеть?

В раздевалке он остановил ее, хотя стоять на коньках было трудно и неловко.

— Техникой, как и спортом, с малых лет увлечься надо. Вот эти пареньки — самый ваш материал.— Он кивнул на ватагу подростков, со стуком пробегавших мимо на коньках.— Я, по крайней мере, в их возрасте и на льду белкой крутился и мастерил всякое.

Кешки среди пареньков не было,— должно быть, он все еще фокусничал на катке, но Аня вспомнила именно его и вдруг очень отчетливо подставила на его место другого, такого же непоседливого, тоже, наверное, «трудного» паренька — Николку, или Кольку, Диденко. Он и сейчас неугомонен,— каким же огонь-парнем он был в шестнадцать лет?

— Это я понимаю, Николай Гаврилович, — сказала Аня. — Только одно тут мешает. То, что женщина

Он понимающе улыбнулся:

— Да, женское руководство мальчишки не очень любят. Но вы перешибете, я думаю.— И без перехода: — Что же мы стоим этакими эквилибристами?

Аня сдавала коньки, когда появился Гаршин. Диденко уже не было возле нее, — он сидел на скамейке, сняв один ботинок с коньком, и, забыв снять второй и переобуться, беседовал с подсевшими к нему комсомольцами. Время от времени до Ани доносился его голос:

— О водной станции надо думать именно сейчас, именно сейчас!..

— То есть как так нету? Поезжайте в облпрофсовет, требуйте!

И Аня поняла, что Диденко и с нею заговорил не случайно, что он работает и тут, в этот чарующий вечер на катке, так же как всегда и везде, если попадается хотя бы один заводской человек... и в этом, наверное, и есть суть того, что называется профессией партийного работника.

Гаршин мигом, без очереди, получил пальто, подхватил Аню под руку:

— Вы сегодня добрее?

Они вышли на проспект. Перед ними и рядом с ними с катка по домам шагали группки, пары, одиночки. Поблескивали коньки, зажатые под мышкой или болтающиеся в руках. Девичьи голоса кричали:

— Николай Анисимович, до свиданья!

Все было чудесно: морозец, пощипывающий разгоряченное лицо, поблескиванье коньков, дядя Коля, чинно шагающий где-то тут, близко, две цепи огней уходящего вдаль проспекта, напутствие Диденко, «мала куча», устроенная Гаршиным на льду, фокусы Кешки, и то, как Полозов делал круг за кругом, и снежинка, вдруг порхнувшая по щеке. Гаршин шел рядом, крепко поддерживая ее под локоть, и это тоже естественно вплеталось во все, что принес нынешний вечер.

— Помолчим, Витя, ладно? Мне сейчас удивительно хорошо!

8

Аню разбудило солнце. Она потянулась и открыла глаза, но мгновенно закрыла их, ослепленная светом.

Медля вставать, она обдумывала, как лучше использовать свой выходной день. Никаких дел, никаких встреч — даже самых приятных — не предстояло. Так захотелось — ни от кого и ни от чего не зависеть. Выйти на улицу и шагать куда вздумается, предоставив все случайностям настроения. Можно вскочить в первый подвернувшийся трамвай и поехать куда повезут: может быть, на взморье, на Кировские острова, где, наверное, на лозах вербы уже набухают бугорки почек. Или проплутать весь день по набережным Невы и вволю надышаться ветром и солнцем... Откуда ни начни, это будет свидание с Ленинградом!..

Обиделись Любимовы, что она отказалась обедать у них? Но потерять день отдыха на чинный обед «в небольшом кругу, всего несколько друзей» — ну нет, ни за что!

А Гаршин надулся, когда вчера вечером, выходя с ним из театра, она повторила выдумку насчет подруги. Он так старался ухаживать по всем правилам — театр, коробка конфет, такси... Ей с ним весело и всегда как будто жарко, его многозначительные взгляды и рукопожатия волнуют и радуют, но стоит расстаться — и она не верит ни взглядам, ни рукопожатиям и сердится на себя за то, что против воли тянется к нему и никак не соберется

с духом, чтобы прекратить эти все учащающиеся встречи... И ведь все уже было решено там, под Кенигсбергом... Зачем же начинать сначала? Он мне не нужен, и никто мне не нужен, и хватит об этом. Не буду. Не хочу.

Она вскочила и распахнула форточку, несколько минут постояла перед нею, еще разморенная долгим сном, потом вскинула руки: раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Ритмичные движения разгоняли утреннюю истому, и каждое движение подтверждало: ты молода, ты здорова, ты сильна, тебе хорошо.

С наслаждением приняв душ, Аня села завтракать у окна. На пустыре перед домом играли в волейбол девочки. Впервые скинув пальто и побросав их пестрой кучей на старый фундамент, они с увлечением прыгали и бегали, умело перебрасывая, ловя, подкидывая высоко над головами цветной мяч. «Весна, весна, весна»,— напоминало солнце, вспыхивая заревом на красной половинке мяча.

Аня надела легкое пальто, отбросив осторожную мысль о том, что первое весеннее тепло обманчиво, и через ступеньку сбежала по лестнице во двор.

У парадного, на краю большой лужи, стоял Кешка в куртке со множеством «молний», в тщательно начищенных старых башмаках. Покосившись на Карцеву, он неохотно поклонился.

— Здравствуй, Кеша! Денек-то какой хороший! Погулять вышел?

Он буркнул что-то невнятное.

— Завтра после работы собрание учеников. Говорили тебе? Приходи обязательно!

Кешка важно кивнул.

— Тебя Гаршин куда поставил работать?

— Кто? — переспросил Кешка и, вспомнив недавнюю неприятную историю и вмешательство рослого инженера, угрюмо ответил: — Да никуда... Сперва чистить заставили... гайки какие-то... А теперь опять на участке болтаюсь. Вчера слесарям на ремонте помогал.

— Тебя, что же, на слесаря переучивают?

— Нé... так...

Он злобно шлепнул ногой по луже и решительно пошел прочь.

Надо добиться, чтобы Кешку вернули на токарный станок. Но кто захочет взять его учеником! Паренек нажил такую славу, что мало охотников связываться с ним. Их трое: еще Петя Козлов и Ваня Абрамов. Все трое — приятели, и Кешка у них в заводилах. Придут ли они завтра на собрание? И как говорить с ними, чтобы дойти до их сердца и в то же время твердо взять их в руки? По отдельности с ними еще сладишь, а когда они соберутся все вместе... Диденко сказал: «Перешибете, я думаю...» Перешибу ли?

Оиа улыбиулась, вспомннв, как Петя Козлов, упорио ие желавший отвечать иа ее расспросы, вдруг спросил:

— Это правда, что вы комаидиром в армни были?

— Правда.

— На фроите... или в тылу?

Она рассказала:

— На фроите. Строила огиевые точкн, иаводила мосты, прокладывала путь машинам через болота... А уж с вами тем более справлюсь! — добавила оиа под коиец.

Петя Козлов промолчал, ио поздиее Аня видела, что ои оживлеино беседует то с одним приятелем, то с другим, и все с любопытством иа иее поглядывают. Надо говорить с иими увереиией, тверже, ордеискую плаику приколоть к платью.

Решнв так, она с облегчением отстраиила деловые размышления — это успеется завтра, сегодия вечером... А сейчас — вот ои, Лениигpад! Здравствуй, Лениигpад! Как давио мы с тобой не видались!

Оиа вышла иа площадь, широко раскниувшуюся вокруг памятиика Кнрову. Киров стоял иа гранитиом возвышеиии, распахиув пальто, в позе свободиой и эиергичной, чуть прищурив веселые глаза, как будто осматривался и заиово узиавал любимый город, и его людей, и всю жизнь, клокочущую вокруг и иасыщенную доброй и могучей силой, которая так ярко воплощалась в нем самом.

«Посмотрн, до чего хорош наш город! — как бы говорнл ои женщиие, остаиовившейся перед иим.— Какие замечательные дела разворачиваются вокруг! Хочется жить и жить!»

«Да, Сергей Миронович,— мыслеиио ответнла оиа.— Я зиаю. Вижу. И я хочу жить так, как умели вы. И ннчего другого мие ие надо, иичего!»

«Ну-ну,— весело щурясь, сказал ои и будто подтолкиул ее.— Так и живн, как решила. Только ии от чего ие зарекайся. Тебе нужиа вся жнзнь, и вся жизнь — твоя».

Оиа пошла вдоль проспекта, будто впервые видя все, что окружало ее.

Как много иовых домов выросло иа месте развалии военных лет и сколько их еще строится! А это что за улица? Два ряда многоэтажиых домов,— ведь не было здесь раиьше инкакой улицы! Из тающих сугробов выступают тонеиькие метелки молодых деревцов,— и этого сквера ие было. Навстречу бежнт голубой троллейбус,— н троллейбус ие ходил здесь раньше...

Оиа доехала в троллейбусе до цеитра н долго стояла в иачале Невского проспекта, иаслаждаясь тем, что все вокруг давно зиакомо, любнмо и в то же время будто впервые увидеио. Уж иа что всем известеи, выгравнроваи иа медалях, воспет поэтами и художинками светлый шпиль Адмиралтейства, а вот оиа смотрит иа иего — и, словно первый раз в жизни, поражеиа

чистейшими линиями, взлетающими к небу от массивного и все-таки легкого основания.

А Невский? Что в нем такого особенного, что запоминается каждому, ступившему на его гладь, что притягивает к нему издалека — где бы ни оказался ленинградец — так, что при слове «Невский» теплеет сердце? Вот он перед глазами: прям, строен, прост. Ни роскоши, ни украшений — только вдали, в северной дымке, угадываются стремительные линии конных скульптур на Аничковом мосту: конь и человек, стихия буйной силы и обуздывающая ее воля человека.

Много, очень много людей вышло сегодня на Невский, пользуясь выходным днем и весенней погодой. Бросаются в глаза новые жители города, приехавшие на стройки, в ремесленные училища; одни растерянно озираются и натыкаются на встречных, другие держатся от смущения чересчур развязно, говорят излишне громко, ходят стайками, по пять-шесть человек в ряд, мешая движению. Ничего, пройдет год-два, они освоятся в городе, займут свое прочное место в его жизни, и не отличить будет этих новичков от коренных горожан. Так и те мальчишки: в год-два вырастут поумнеют, научатся жить — и нечего терзаться сомнениями, все будет хорошо, только поработать надо, не жалея ни души, ни времени. Да и зачем ей нужны ее силы, ее время, если не расходовать их целиком на дело!

Вспомнился разговор с Ельцовым — один из последних, все определивших разговоров перед расставанием. «Ты обязательно хочешь все или ничего,— сказал он грустно.— Но ведь может случиться, что ты и не встретишь человека, которого сможешь полюбить вот так, как хочешь, всей душой, будто впервые... А жить одной тяжело. Анечка, очень тяжело...» — «Ну и пусть! — так она ответила тогда.— Иначе я не могу...» Он долго молчал, а потом сказал: «Впервые я негодую на русский характер...»

Тем лучше, если это русский характер. О, в войну он показал себя, этот характер! За что взялся, тому и душу отдать... Может, потому и вышел наш народ в авангард человечества? Как это говорил Вася Миронов? «Ведь мы же за них отвечаем, раз победили. Кому ж теперь тянуть их и кто другой вытянет?» Было это в Германии, еще до падения Кенигсберга. Сам Вася Миронов никого из близких не потерял, но насмотрелся на людское горе, на сожженные и разгромленные города и деревни,— сердце его разрывалось от гнева и боли, губы белели от ненависти. Сколько раз говорил он: «Ну погоди, придем и мы в Германию!» Пришли. И вот однажды в чужом, немецком доме Аня увидела Васю Миронова с тремя крестьянами — стариком, женщиной и мальчишкой лет шестнадцати. Старик немного понимал по-русски: был в русском плену. С терпением и настойчивостью, много раз повторяя и разъясняя каждую мысль, Вася Миронов внушал им все, во что верил сам, к чему был приучен советской жизнью.

Позднее Аня напомнила ему его гневные угрозы, на что он и ответил: «Так ведь мы ж за них отвечаем... Кто ж другой их вытянет?..»

Как всегда, когда в памяти оживали товарищи боевых лет, Ане стало особенно хорошо. Трудные, мучительные годы, но и светлого было много. Вспомнишь Васю Миронова и многих других, подобных ему, русских, советских людей, с кем прошла войну, и в окружающих незнакомых людях видишь те же черты: веселую трудовую сноровку, простую и страстную самозабвенность, прикрываемую шуткой или воркотней. Это же они, Васи Мироновы, подняли дома из развалин, неузнаваемо обновили заводы, посадили те молодые деревца и вот эти многолетние липы...

Аня остановилась на углу, наискосок от Гостиного, укрытого строительными лесами. Да, пройдут еще год-два, может быть три года — и от осады не останется и следа. Приезжие будут с удивлением озирать город: он ли стоял под огнем, под бомбами девятьсот дней и ночей?.. Впрочем, нет, и удивляться, пожалуй, не будут,— это в порядке вещей, так и по всей стране. И это тоже русский, советский характер.

Сквозь просторный пролет улицы Аня увидела площадь Искусств. Что-то в ней изменилось — сразу не понять, что именно. Она заспешила туда, огляделась,— да как же тут стало просторно! Трамвайное кольцо убрано; высокая решетка, ограждавшая сквер, снята; вся площадь раскрылась, выявив красоту окружающих ее зданий Русского музея, оперного театра, Филармонии. Уродливая пристройка, искажавшая строгое здание Филармонии, тоже снесена, и знакомая широкая дверь манит войти внутрь. Есть ли сегодня утренний концерт? Да, есть. Чайковский, Четвертая симфония. Аня поглядела на часы — концерт давно начался. Звуки музыки не долетали сюда, но Ане казалось, что она слышит знакомую мелодию, поднимавшуюся издалека — не из-за стен, из глубины памяти.

Она зашла в кассу и купила билеты на несколько ближайших концертов.

— По одному? — переспросила кассирша.

— По одному,— подтвердила Аня и повторила про себя: «И никого мне не надо, мне интересно и одной, ничего другого я не хочу...» Она мельком вспомнила Виктора Гаршина. Нет, нет, он и в театре мешал ей слушать: шептался и угощал ее конфетами. Именно одной надо ходить на концерты. Или уж с таким спутником, чтоб мимолетно переглянуться и увидеть, что оба чувствуют одинаково.

На широкой аллее, посреди круглого сквера, дети играли в мяч. Мяч был точно такой же, какой Аня видела утром из окна своей комнаты, и красная половинка его так же победно вспыхивала на солнце. Пущенный слишком сильно, мяч перелетел через головы игроков. Аня подхватила его на лету, засмеялась, увидав

нспуг на лицах детей, и ударом кулака высоко подброснла его. Мяч взлетел над ними, крутясь в воздухе, как колесо.

— Ох, снлен удар! — тоном знатока одобрил мальчуган лет девяти и с уваженнем оглядел Аню.

— Я ж чемпион бокса,— сказала ему Аня н, очень довольная, пересекла сквер н вошла в Русский музей.

Со школьных лет оиа хорошо знала его н теперь уверенно направнлась в залы, где внсели ее любимые картины. По путн к залам Сурнкова оиа задержалась у пейзажей Левнтана. Серенькое небо, серая река н яркие пятиа последиего снега на берегах, поросшнх рыжим кустарником,— ранняя весна. Заглохшнй пруд в густой тенн разросшнхся деревьев. Хмурое, осениее небо в тучах, река, темиая полоса дальнего берега, и в углу картнны одииокая камышннка, склоненная ветром. Деревенская улица лунной ночью — все сонно, тнхо, все голубое, н на этом голубом лежат спокойные тени. И еще — «Тншнна»: скупая, немного хмурая красота русской прнроды — однннокая березка над песчаным обрывом, иеподвижные серые облака, отраженные в тихой воде. Нигде ни роскоши, нн буйства красок, а во всем необъяснимая прелесть. Ннчто не будоражнт, не блещет парадной пышиостью, ио учнт вглядываться, н вдумываться, н ценить неброскую, нежную красоту. Ничто здесь не дается человеку слншком легко, бездумио,— все требует труда, ума, упорства. Накладывает природа свою печать на характер людей? Да, наверное, да...

С этнмн мыслямн Аня подошла к этюдам Сурнкова. Она помнила картнны, для которых делалнсь этн этюды,— вон оин там, в следующем, главиом зале: Ермак, Степан Разин, переход Суворова через Альпы. Там, на картннах, все подчиниено замыслу художиика. Здесь, в подготовнтельиых работах, художннк нскал, намечал типы русских людей, чтобы затем, подчннив нх своему замыслу, броснть в бой под водительством Ермака, нлн посаднть на разннский челн, нли провестн иад снежной пропастью в Альпах. Вот лнцо Степана Разнна — волевое, умное лнцо человека, чья размашистая снла угадывается н в остром блеске глаз, и в складе губ, и в нгре лнцевых мускулов. Вот казакн в лодке. Перенесенные художинком в жестокнй бой, онн нзмеиятся — нх лнца будут воспалены, нх двнжения будут порывисты н азартны. На этюде оии больше похожн на охотинков, чем на воинов. Здесь запечатлена нх повседневная сущность, н эта сущность глубоко человечная н русская каждою своею черточкой: суровость в ией соседствует с добротою, храбрость — с хозяйственностью простодушного н трудолюбнвого крестьянина. А усатый солдат справа неуловнмо напоминает Васю Мнронова — не внешннм сходством, а характером.

Но, разглядев другой небольшой этюд — «Солдат», Аня ахнула от удивлення: да вот же он, Вася Мнронов, почтн совсем

такой, каким запомнился на всю жизиь. Спокойное, ясное лицо и это выражеиие умиой деловитости и настойчивости!

Аня шла от этюда к этюду, подолгу стояла перед картииами, присаживалась иа диваиы, чтобы издали охватить целое. Солдат, перенесеииый с этюда на обледенелый спуск в Альпах, уже не так походил иа Васю Мироиова, ио зато Аня по-иовому узнала его в деловитом облике двух других солдат, удерживающих пушку иад пропастью. Зиачит, есть люди, в которых как бы воплощается характер иарода?

— А молодой-то смеется,— раздался за спииою Ани негромкий женский голос.

Аия и сама залюбовалась смеющимся молодым солдатом, который на Чертовом перевале, иа головоломиой крутизие, охотно и всей душой откликиулся иа шутку любимого полководца.

— А ведь и мы в войиу смеялись всякой шутке! — тихо сказал тот же голос.

Аня оглянулась. Голос принадлежал худенькой пожилой жеищине, стоявшей рядом с совсем еще молодым человеком. У иее была маленькая голова и светлые с проседью волосы, стяиутые на затылке узлом. Пенсне придавало ее бледиому, троиутому морщинками лицу уютный и строгий вид старой учительиицы. Молодой человек поддерживал ее под руку. Из-под пиджака иового синего костюма выглядывал воротник голубой рубашки и хорошо повязаниый ярко-сииий галстук, отчего голубели светлые глаза юиоши и отчетливо выступал иа щеках румяиец. Такие же светлые как у его спутиицы, волосы подиимались иад его гладким лбом образуя курчавый хохолок.

«Мать и сыи»,— определила Аня, улавливая иеяркое, но иесомнениое сходство.

Юиоша заметил Аию и приветливо поклоиился:

— Здравствуйте, товарищ Карцева

Оиа пригляделась и узиала Николая Пакулииа, которого прииимали в партию иа заседании партбюро. После иеловкой замиики, сопровождавшей вопрос директора о родствеииых связях Николая с иачальииком лопаточиого цеха Пакулииым, Аие кое-что рассказали о жизнеииой истории братьев Пакулииых и об их матери, только что ушедшей с завода на отдых.

— Вот где повстречались! — сказала Аня, здороваясь с Николаем. А вы, как я догадываюсь, мама?

Мать с достоинством поклоиилась.

— А где же ваш младший? — спросила Аия и добавила: — Хорошие у вас сыновья!

— Хвалить ие люблю, ио не жалуюсь,— ответила мать. Близорукие глаза ее прояснились, и лицо сразу помолодело.— Витя начал мастерить радиоприемиик, теперь пока ие коичит, ие оторвешь

— Если бы все иаши мальчишки были такнми! — сказала Аня, вспомнив Кешку и других «неблагополучиых» пареиьков.— Вы часто ходите в музеи, Николай?

— Да нет, времеии не хватает.

Однако в разговоре выясиилось, что он пришел сюда уже в третий раз, чтобы показать музей матерн.

— В один раз не рассмотришь,— сказал Николай.— Кажется, все осмотрел виимательио, а придешь сиова — натолкнешься иа картииу, которую раиьше ие видел. Или в зиакомой картиие разглядишь то, чего раиьше ие заметил, и поймешь правильнее.

«Сколько ему лет? — думала Аия.— Девятиадцать? Двадцать? Тем пареиькам почти столько же, а оин еще ни к чему ие приросли сердцем».

Пакулины уже удалялись, когда оиа поияла, что ие ей иадо убеждать тех пареиьков, а гораздо лучше, проще и убедительиее поговорит с нимн Николай.

Аня догнала Пакулииых:

— Николай, у меия для вас поручеиие. Завтра собраиие учеииков, вы слыхали? Так вот, расскажите им о себе и о брате. Как рослн, как училнсь, как пришли иа завод и получили квалификацию, как проводите время, чем интересуетесь, что читаете. Понимаете? Только подробио, с чувством расскажите.

Мать покоснлась иа сыиа: что ответит?

Николай ответил сдержаиио н в эту мииуту стал очень похож на свою мать:

— Хорошо. Постараюсь.

«Вот так отвлеклась!» — усмехиулась Аия, вторичио прощаясь с Пакулнными и раздумывая, идти ли домой или побродить еще по музею.

Оиа удивленно вскрикиула, лицом к лицу столкиувшись с Алексеем Полозовым. Он подхватил ее под руку и увлек обратно в залы музея:

— Как же это удачио вышло, что мы встретились! Я ведь уходить собрался и вдруг смотрю — вы! Вот здорово!

— Вы говорите так, будто мечтали меия увидеть.

— Представьте себе, иет. А увндел — и обрадовался.

— Почему?

Не отвечая, он сказал:

— В детстве была такая соседская девчонка, на каждый мой вопрос отвечала: «Потому что потому, кончается иа «у». Оиа меня очень злнла этнм.

— А я сегодня размышляю,— сообщила Аия,— о русском характере, о национальных чертах. Вспомнила своего старшииу Васю Миронова и, как ни странио, иашла у Сурикова его портрет.

— Покажите.

Ои несколько минут всматривался в иабросок головы солдата, потом сказал решительно:

— Нет. Не похож.

Оиа рассмеялась от удивления:

— Ну, знаете...

— Нет, нет. Не похож — н не спорьте!

Он ее увлек дальше. Оиа с интересом приглядывалась к иему, а он возмущенно повел рукою в сторону женских портретов, мимо которых они проходилн.

— Вы еще скажете, что вы похожи на одну из этих жеищин, еслн у вас по случайностн окажется одинаковый иос, подбородок н глаза!

— Но я говорю о внешнем сходстве, о тнпе...

— А разве тип русского человека не измеиился за полтораста... да что полтораста! За последнне тридцать лет! И это же не фотография, а портреты!

Оин селн, не сговариваясь, на красный диван у стены, н Алексей сразу заговорил с увлечением человека, дорвавшегося до собеседника:

— Когда я был моложе н глупей, я искал в картинах красоты. Даже не красоты, а этакой виешней красnвостн. Еслн женщнна нарнсована — чтоб обязательно красавнца, если закат — то самый пышный. А истнnная красота — в правде. И ваш Вася Мнронов — это же не просто русскнй солдат. Ои человечество спас, он социализм построил, этот рядовой советский человек!.. Пнсать вашего Васю — вот это все н должно читаться в портрете. И вас писать,— да разве во всем вашем облике, как бы женственны вы нн были, разве не чувствуется, что вы ииженер, что вы войну прошлн?.. Да ведь за этн годы — с той ночи в укрытии, помните? — как же мы оба изменнлнсь! Не постарелн, по-моему, нет, а другими стали!..

— Вы — упрямее? — пошутнла Аня.

— Да,— серьезно ответнл он.

Оиа с удовольствием разглядывала его. Странно, но и его она сегодия как бы впервые видела. У иего была та неброская внешность, какую не заметншь в толпе н не сразу оценишь при знакомстве. Лнцо как лицо: ие красивое и не уродливое, черты суховатые н неправнльные, глаза небольшне н неопределеиного цвета — не то серые, не то зеленовато-голубые, рот иеулыбчив, с жесткой складкой возле губ. Он неразговорчив, но вот заговорил, оживился, мысль и чувство заиграли в лице, вместе с иими проступила ннdивидуальиость человека, его виутреннний душевный строй — н лицо стало совсем другнм, запомннающимся и даже краснвым.

— Вы в Филармоннн бываете? Музыку любите?

Ей вдруг захотелось, чтобы он ответнл: да, бываю, люблю. И чтобы само собою сказалось: знаете что, пойдемте как-нибудь вместе...

— Не бываю. И не знаю, люблю лн. Во всяком случае, ннчего не поинмаю в ией.

Помолчав, он сказал с огорчением:

— Это плохо, конечно. Знаю, что нужно, а никак не собраться. А почему вы спросили?

Не отвечая, она рассмеялась про себя и насмешливо сказала:

— Зачем же нужно? Раз не можете собраться — значит, вам и не нужно. Пойдемте: здесь холодно.

В одном из репинских залов Алексей остановил ее перед огромным полотном «Государственный совет». Аня не любила эту картину, относя ее к парадной, официальной живописи.

— А вы приглядитесь, какие характеристики! — возразил Алексей.— Бюрократы, самодовольные тупицы, держиморды, надутые ничтожества — ну, все тут есть! Если бы я умел, я бы написал картину «Производственное совещание турбинщиков». Видели, в парткоме висит картина «Митинг на заводе»? Меня злость берет, когда я смотрю. Кепок больше, чем людей. А о каждом таком человеке можно стихи писать!

— А вы пишете стихи, Алексей Алексеич?

Она отвернулась, пряча улыбку, ей вспомнилось: «Ах, я люблю так сладко турбинные лопатки...»

Алексей покраснел и буркнул:

— Нет. И не в стихах дело. Кепка и спина — это же оскорбительно! Это лень и неумение видеть, что коллектив состоит из личностей и каждая личность во много раз богаче, интереснее каких-нибудь там сенаторов. Воробьев, Коля Пакулин, Саша Воловик и многие другие — вот что такое коллектив. Почему искусство не показывает этих людей? Не пятно на картине, не производственную единицу, а личность во всем богатстве, во всей ее сложности?.. А если есть ничтожества, так и это нужно показать, да так показать, чтобы им самим противно стало!

Скитания по залам мешали ему, он взял Аню за руку и остановил ее посреди зала:

— Вот мы говорили о красоте. Я недавно целый день проторчал в Эрмитаже у Рембрандта. Какой-нибудь ростовщик у него уродлив, гадок, а картина прекрасна, потому что я могу все рассказать об этом человеке: кто он, как живет, что думает. У него и руки не просто руки, у него пальца скряги и обиралы... К чему это я?.. Да, да! К тому, что я тогда подумал: написать бы с таким талантом портрет нашего Торжуева! Вы успели узнать его? Поглядеть — внешность даже благообразная, на семейных фотографиях, наверно, красавцем выходит. Сними его у карусельного станка — рабочий! Кадровик! А если написать его портрет по-настоящему,— ух, какой мелкий обыватель наружу вылезет!

— Вы прямо с ненавистью говорите о нем.

— А что я, подрядился по-христиански всех любить? Да,

с ненавистью! Оттого, что свой, заводской, да еще работник первоклассный,— вдвойне ненавижу.

— А мне кажется, с ним просто не умеют работать. Это же все-таки не кулак, а рабочий!

— Шкурник он, вот кто! Эгоист. И в коммунизм его не потащишь. Для меня коммунизм — прежде всего время, когда любой человек, с которым встретишься в жизни ли, в работе ли, будет своим. Как у Маяковского, знаете? «Чтоб вся на первый крик: Товарищ! — оборачивалась земля...»

Сам того не замечая, он снова взял ее за руку: так ему было удобнее высказать ей все, что теснилось в голове.

— Коммунизм — это ж будет горячее, страстное время, а не этакий скучный рай без волнений, без страстн достижения... До сих пор общественный строй всегда подавлял, глушил личность, так? Коммунизм даст ей полное развитие. Посмотрите на наших людей: как быстро в них раскрываются силы, талант, воображение! И с каждым годом это пойдет быстрее, шире. Мы сейчас решаем задачи, каких ни в одном столетии не решали... А как вы думаете, наши внуки будут нам завидовать? Нет, потому что именно при коммунизме будут решаться самые грандиозные задачи. Я иногда мечтаю: какие превосходные, невиданные машины будут еще созданы! Свободный труд, средств сколько угодно, высочайшая техника,— вот когда можно будет развернуться! И уж, конечно, иной раз и не есть, и не спать, и до рассвета проторчать в лаборатории над каким-нибудь опытом...

— Ух, как хочется дожить!

— Что вы, Аня! — воскликнул он.— Мы же и будем все это решать!

Они стояли посреди зала, совсем забыв о том, что они в музее. Посетители обходили их, некоторые косились с усмешкой: эти, мол, пришли не картины смотреть, а просто назначили здесь свидание.

Аня первою заметила косые взгляды, расхохоталась и увлекла Полозова к выходу:

— Пойдемте, Алеша, нас принимают за влюбленных.

Алексей отмахнулся и как-то вдруг помрачнел. Она сбоку наблюдала его и радостно думала: «Мы с ним будем дружить. Обязательно будем дружить».

Он вдруг остановился, загораживая Ане дорогу, и заговорил угрюмо и возбужденно:

— Вы сказали: «Раз вы не слушаете музыку — значит, вам и не нужно»... Меня это прямо царапнуло. И до сих пор саднит. Знаете что? Вы, наверно, лучше и умнее использовали время, чем я. Иногда я прямо в отчаяние прихожу, до чего я невежда! Может быть, это и смешно — идти на концерт не потому, что тебя тянет музыка, а потому, что хочешь проверить, чурбан ты или нет. Но ведь просто стыдно не понимать музыку, или архитектуру, или

живопись... так же стыдно, как не читать книг. Читать я чнтаю, но все же пропускаю многое. И вообще у меня кругом белые пятна. Когда я вспоминаю свои студенческие и школьные годы, меня прямо трясет от злости: столько времени я разбазарил! Кругом пробелы, пробелы, и черт его знает, сумею лн я все нагнать, восполннть!

Музей закрывался, служители торопнли публику уходить. Алексей зашагал к выходу крупными шагами. Она шла немного позади него, с улыбкой глядя на его широкие, сутуловатые плечи и сильную шею с упрямым наклоном головы.

— Где же вы? — оборачиваясь у спуска в раздевальную, окликнул Алексей.— Давайте ваш номерок, поухаживаю.

Они вышли вместе, он проводил ее до остановки автобуса.

— А вы куда?

— А я еще поброжу.

Аня была бы непрочь побродить вместе с ннм, но постеснялась навязываться. А он не предложил, даже вздохнул:

— Куда же это автобус запропастился?

— Вы так торопитесь отправить меня? Идите, я и одна не пропаду.

Он снисходительно кивнул и продолжал стоять рядом, думая о чем-то своем. «Ах, я люблю так сладко турбнннные лопатки...» Иронический отзыв Гаршина казался ей очень несправедливым.

— Знаете, один человек сказал мне, что вы и жену нщете такую, чтобы говорить с нею о турбинах.

— Конечно, а как же? — с жнвостью откликнулся Полозов.— Если делить всю жизнь, как же не делить то, что составляет основу жизни? Впрочем, жену я не ищу, а шутки вашего Гаршина слыхал.

— Моего Гаршина? Почему же моего?

Алексей пристально посмотрел на нее и сказал:

— Ну, не лично вашего. Во всяком случае, он числится при женском сословии.

— Ого! Вы не остаетесь в долгу.

— Долг платежом красен.

— Вот так прнятели!

— Это Гаршин сказал вам, что мы приятели?

— Я вижу, вы не любите его?

— А вы? — дерзко спросил Алексей.

— Он мне нравнтся,— с вызовом сказала Аня.— Очевидно, как и всем женщннам.

Ей было интересно, что он скажет, но в эту минуту, как нарочно, подкатил автобус. Алексей вежлнво подсадил Аню под локоть. Она видела, как он зашагал по улице, свободно размахивая руками.

9

Дома напротив были еще освещены солнцем, а в Анниной комнате уже смеркалось. Идти куда-то обедать не хотелось. Аня перебрала свои скудные запасы — масло, хлеб, остатки ветчины, картошка... Ну и прекрасно, что может быть вкуснее вареной картошки с маслом?

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка,
Пионеров идеал-ал-ал!
Тот не знает наслажденья-денья-денья,
Кто картошки не едал!

Песчаный берег реки Луги, домики среди сосен, высокое пламя костра и спугивающие пионеров клубы дыма, бросаемые ветром то в одну сторону, то в другую. У костра проводит беседу самый старший из мальчиков, самый умный из мальчиков, Павлуша Карцев. Он слывет в лагере ученым, он читал все книги и знает все на свете. Павлуша рассказывает о молодых строителях Магнитогорска, Сталинградского тракторного, Комсомольска-на-Амуре... и часто, но сурово поглядывает на Аню. В то утро Аня нарочно, чтобы подразнить дежурного пловца Павлушу Карцева, нарушила приказ и переплыла коварную реку. Карцев догнал ее уже у самой отмели на том берегу. Он начал бранить ее за своеволие, а она сказала: «Мне просто хотелось узнать — поплывешь ты за мной или нет?» Карцев покраснел и сердито сказал: «Как же мне не плыть, когда я дежурный? Ну, давай обратно. Давай, давай!» Она спросила: «А если бы не дежурил — не поплыл бы?» Он прикрикнул: «Давай плыви, не то!..» Она плыла разными стилями, ныряла, ложилась на спину и подшучивала над Павлушей, что он, хочет или не хочет, должен будет спасти ее, если она начнет тонуть. А у него был вид сердитый и беззащитный, и когда вышли на песок — пошел прочь, не оборачиваясь, длинноногий, худой, взволнованный...

И это его — нет? Этого тела, этих умных и добрых глаз, этого лица с рассеянным, всегда во что-то углубленным, задумчивым выражением, этого голоса... Нет? Совсем, навсегда нет?. Был — и нет. И следа не осталось. И могилы не осталось Ничего...

Картошка закипела, тоненько посвистывал пар. От электрической плитки веяло жаром, из-под кастрюльки выступал раскаленный малиновый ободок. А за окном медленно угасал весенний день.

Одна, Аня. Одна, и только воспоминания с тобою. У всех есть хоть кто-то — муж, или дети, или родные. А ты одна. Совсем одна. И нелепо думать, что кто-то заменит Павлушу, что полюбишь снова...

Шаги по коридору. Тихий стук в дверь.

— Вы?

Гаршии улыбается, заговорщнцкн прнкладывая палец к губам:

— Тише, Аиечка, я удрал тайком. Отчего вы отказалнсь обедать у Любимовых? Я вас ждал, ждал... С горя два часа подряд в преферанс нграл, аж спнна заболела!

Оиа хотела бы скрыть невольную радость, но скрывать не умела, дрогнувшим голосом призналась:

— А я тут так загрустнла...

Поиял ли он — почему, нли не хотел углубляться в печальные темы, ио он ни о чем не расспрашнвал, начал балагурнть, быстро рассмешил Аию, и ие успела она опомннться, как Гаршнн уже помогал ей иадеть пальто, чтобы ндтн ужннать «в кавказский кабачок, самое славное место в городе, вот вы увндnте!».

Спускаясь по лестиице, он фальшиво, но весело напевал:

Люди парами живут,
Петя — с Машей, Оля — с Сашей,
Только я одии да ты —
Одииокие грибы.
Я одии, и ты одиа,
Подсчитаем — будет два!

Весеннее пальто не защищало от холода, ветер пробирал Аню до костей, но тем прнятнее было попасть в душное тепло кавказского ресторана. Пронзительные звукн музыкн н гул голосов неслнсь навстречу Ане нз инзкого зала, подернутого голубой табачной дымкой. Там было по-воскресному многолюдно, все столики заняты. Но Гаршнн шел по залу как завсегдатай, здороваясь с официантами: кому-то мнгнул, кого-то поторопил — и вот уже оии сидят в глубине зала за столнком, отгороженным от соседних иевысокими перегородкамн, н Гаршнн заказывает шашлык по-карски и «мукузани», давая наставлення офнцианту, как должен быть прнготовлен шашлык н какой подать салат.

Жеищииы с удовольствием оглядывалн Гаршнна, пока он искал столнк; оии и теперь оборачнвалнсь, чтобы еще раз взглянуть на него, и Аие это нравнлось, она н сама по-новому приглядывалась к своему спутнику: ннчего не скажешь — прнвлекателен!

Официант прииес вино, хлеб, салат. Гаршин наполннл рюмкн:

— За то, чтобы вы не грустнлн, Анечка, а значит — не убегалн от меия!

Аия залпом выпила холодное, с прнятной кнслецой вино н с иаслаждеием откусила хлеба. Она была очень голодна, вино сразу разгорячило ее, голова чуть-чуть закружнлась.

— Вы до удивлення такой же, как до войны,— сказала оиа.— Все изменились, кроме вас.

— А я человек легкнй,— отклнкнулся Гаршнн н снова иалил вина.

Легкий человек? Ну что ж, тем лучше

— Я бы хотела иметь легкую душу,— сказала Аия.— Такую легкую, чтобы ии о чем ие вспоминать, не думать, ие тревожиться, а вот так, как вы...

Ои немиого обиделся:

— Что ж я, по-вашему,— разлетай? Попрыгун?

Оиа с улыбкой кивиула.

Гаршии хотел возразить, но передумал, отмахиулся и подиял рюмку:

— Выпьем за разлетая!

Подали шашлык. Музыкаиты прошли иа подмостки, иастроили ииструмеиты. Надрывио и чересчур громко для иизкого подвала зазвучала знакомая песня про Сулико.

— У меня дурная слава ветреиика,— говорил Гаршии, подсаживаясь поближе к Аие, чтобы музыка ие заглушала голоса.— Но вы ие верьте. Я просто веселый человек, люблю выпить и закусить, люблю хорошеиьких жеищии. Любят их все, ио притворяются, что им безразличио. А я человек прямой. И я ие выиошу людей вроде иашего дорогого Алеши Полозова, которые иичего ие видят и ие зиают, кроме работы.

— Да откуда вы взяли, что ои такой?!

Гаршии махиул рукой:

— Ну и бог с иим! Ои даже конькобежец, да? Лучше меня, во всяком случае, да? И пусть! Но ои и тут верен себе — уж если стал иа коньки, то ему обязательно нужно бегать лучше всех. И вообще, ои все время чего-то добивается и будет добиваться до старости, а потом оглядит себя и ахиет — борода-то седая!

— А вы предпочитаете дожить до седой бороды, иичего ии в чем ие добившись?

Оиа смотрела иа иего насмешливо и вызывающе, вдруг рассердившись.

— Почему же иичего и ии в чем? — обиделся Гаршии.— Что мие иужно, того и добьюсь, добьюсь за милую душу, стоит мие захотеть!

Аня не могла разобрать, опьянел ли ои — должно быть, еще у Любимовых выпил иемало, а тут добавил,- или просто заиосится?

— Вот я и стараюсь поиять, Витя, что же вам иужио и чего вы действительио хотите?

Гаршии зиаком потребовал вторую бутылку вина, иаполиил рюмки, потянулся чокаться с Аией:

— Изучаете? Что ж, выпьем за изучение, вот я весь перед вами, какой есть!

Теперь, когда оиа поела, головокружеиие прошло, осталось только легкое возбуждеиие от виia, от иадрывиой музыки, от всей рестораиной обстаиовки и от разговора с этим человеком, который то ли прикидывается, то ли иа самом деле «какой есть, весь перед вами».

— Чего же вы хотите, вы - какой есть?

— Чего хочу? Да ничего особенного, Анечка! Немножко славы, немножко удачи — если они дадутся без пота и бессонниц, немножко веселья и, конечно, любви! А когда возникают препятствия — перескочить их, не сломав ноги, — ноги мне еще пригодятся!

— Всего понемножку?

— А вам нужно всего много? Большой славы, большого успеха, необъятной любви?

— Да! — воскликнула Аня.— Почему бы нет?

— Ах, Анечка, до чего вы еще наивны! — Он притянул к губам и поцеловал ее руку.— Вы мне чертовски нравитесь, честное слово! Жадная, ух, какая жадная! В вас это и раньше было, но меньше.

— Я стала взрослой, Витя. И я перенесла столько горя, видела столько бед, что я не хочу полусчастья и полууспехов. Когда же и жить в полную силу, если не сейчас?

Гаршин нахмурился, помолчал, неверными пальцами вытащил из внутреннего кармана две планки орденских ленточек:

— Вот, Анечка, требовательная женщина, это мое участие в войне. И две дырки в теле впридачу. Вот это — десантная операция. Это — Кенигсберг. Это — контратака под Шешупой... Что бы там ни говорить, а через эту самую проклятую речонку Шешупу Виктор Гаршин одним из первых ворвался на прусскую землю. Одним из первых!.. За три года — три звания! Захотел бы остаться в кадрах — взяли бы с удовольствием, уговаривали даже! Вернулся сюда — пожалуйста, в институте приняли в объятия, приходи, читай курс...— Он вдруг запнулся и быстро глянул на Аню, видимо припомнив, что рассказывал ей об этом несколько иначе, но тут же усмехнулся и продолжал с прежней самоуверенностью: — Заочники — это так, для острастки, захоти я просиживать брюки... слава, деньги — все было бы! А на заводе? — Он долил рюмки, расплескивая вино на скатерть, заставил Аню выпить: — Пейте до дна, Анечка, и слушайте, раз уж вам так нужно все знать... Я многого не ищу, копаюсь себе потихоньку с технологией, в горячую минуту подсоблю на сборке, да вот с планом повозился. План — это политика дальнего прицела, тут может все сразу прийти — успех, деньги, повышение, тут ставка крупная, ва-банк!.. А захоти я сейчас власти, положения — что ж, думаете, не добьюсь? Да я и Любимова свалю в два счета, и цех мне поручат, и справлюсь! Да только зачем мне это, Анечка? Зачем?

Аня смотрела на него широко раскрытыми глазами:

— Вы обо всем этом не так говорите, Виктор!

— Не так говорю? Да я ведь попросту...

— У вас получается: я и армия, я и завод, мое, для меня, мне!

Гаршин насупился, затем превратил все в шутку:

— Я ж немного во хмелю, Аня, и я простой смертный, для меня «я» — это очень милый субъект, о котором я забочусь... Что вы думаете о черном кофе, Анечка?

— Заказывайте. Только вы мало любите даже самого себя, если хотите всего понемножку. Понемножку — значит, ничего настоящего.

— Я уже прошел через эту стадию, дорогая.

— Вы имеете в виду честолюбие? А я — отношение к жизни.

— То есть?

— Малое счастье, малое дело — да кому это нужно? Ведь это же просто скучно!

Гаршин на минуту прикрыл рукой лицо, потом глухо сказал:

— Допустим... Но как же вы себе представляете это большое... не вообще, а для себя лично?

— Не знаю,— помолчав, сказала Аня,— наверно, об этом и не скажешь. Но в любом стремлении, в любом чувстве важно одно — никаких компромиссов!

— Никаких?

Он недоверчиво пожевал губами и вдруг улыбнулся во весь рот:

— Что ж, вы правы, Аня, вы правы! Только давайте не забывать, что жизнь прекрасна, и прекрасна для нас с вами сегодня, а не в каком-то там... адцать втором веке!

— Давайте,— согласилась Аня и взяла у него папиросу.

Он смотрел на нее снисходительно и ласково:

— Вот вы курите и не затягиваетесь — уже компромисс! А хотите все по-настоящему.

Аня засмеялась и притушила в пепельнице папиросу.

— Ну ее совсем. Не знаю, что это мне вздумалось.

Гаршин придвинулся еще ближе и прикрыл ее пальцы своей широкой ладонью.

— А-не-чка, А-ня! Большие цели, стремления... все так! Но жизнь-то идет да идет... и не так уж много лет нам отпущено, а? Это ведь только в песне поется, что «било личко, черны брови повик не злыняють»...

Аня опустила голову. Молоточком в висках стучало — тридцать два, тридцать два. А то настоящее, что еще мерещится иногда,— придет ли оно? Может ли оно повториться?.. И вот рядом, совсем рядом с нею — чужой для нее человек, который может стать ее единственным компромиссом...

— Пойдемте пройдемся, здесь душно,— сказала она, резко вставая.

Подавая ей пальто, он на миг крепко сжал ее плечи. Она мягко отстранилась, первою выбежала на улицу. Фонари не разгоняли, а сгущали темноту вечера, небо над головою казалось совсем черным, а внизу ветер раскачивал провода, и провода тонко, протяжно гудели. Ветер нес запах моря и весны.

— Как вольно дышится,— вполголоса сказала Аня.— Дойдем до Невы, хорошо?

— Ну, дружным строем! — забирая ее руку в свою, многозначительно сказал Гаршин.

Так они ходили под Кенигсбергом — рука в руке, быстрым, ладным шагом. Город лежал еще в дымящихся развалинах, а дачные пригороды уцелели, по гладким шоссе унылыми колоннами брели пленные, у походных кухонь толпились немецкие дети, из курортного зала, где каждый вечер выступала бригада московских артистов, доносились родные мелодии, от которых там, далеко-далеко от дома, сладко щемило сердце. Они ходили по чужим, немилым дорогам, опьяненные только что достигнутой трудной победой, и своей неожиданной встречей, и предчувствием мирной ослепительной жизни, которая вот-вот наступит. Как ей было легко тогда, после тяжких лет воинского труда, затаенного горя и женского одиночества! Как ей вдруг повернулось, что счастье — вот оно, тут... Они бродили среди людей, искали и не находили уединения, пока Гаршин не устроился один в большой, безвкусно обставленной комнате с добродетельными изречениями на ковриках и множеством аляповатых безделушек. Одно было хорошо в той комнате — окна на море, и деревья под ними, деревья, тянувшие в комнату свои ветви с молодыми глянцевитыми листочками. Аня до сих пор помнит минуту, когда она остановилась у окна и ей вдруг почудилось, что это — счастье, что она услышит сейчас какое-то простое, нежное слово, и каждый листочек зашелестит для нее, и лунная дорожка на недвижной воде сама ляжет под ноги — хоть иди по ней... И то чувство обиды и горечи, когда все обмануло ее,— не те слова, не то настроение, и эта грубоватая торопливость, с которой он стремился к цели, даже не думая о том, чтобы сделать их встречу красивой... Это ли протрезвило Аню? Или намеки товарищей на сестру из медсанбата? Или воспоминание о другом человеке, с которым все получалось именно так, как просило сердце, о человеке, которого не забыть? Быстро и без оглядки, как всегда, когда принимала важные решения, Аня прервала законный отдых, выпросила в штабе новое задание и уехала, оставив Гаршину короткую, неясную записку.

Опираясь сейчас на его сильную руку, она старалась вернуть беспощадный строй мыслей, оторвавших ее от Виктора под Кенигсбергом, но тот строй мыслей не возвращался, а вместо этого упорно думалось, что столько лет прошло с тех пор, а счастья так и не было, и уже тридцать два, и доколе же глушить, подавлять себя?..

На Неве было гораздо светлее, и небо оказалось прозрачно-серым, а не черным, как виделось с ярко освещенного Невского,— белые ночи еще не начались, но их приближение уже сказывалось. Нева лежала в гранитной оправе — серовато-белая,

с поблескнвающнми озерамн воды, выступнвшей поверх оседающего н подтаивающего льда. Гуляющнй на просторе ветер рябнл эту воду и овевал Аню, вырывая нз-под шапочки прядкн волос.

— Скоро ледоход... Как давно я не вндала ледохода на Неве!

— Обязательно пойдем смотреть. Уж я послежу, когда он начнется.

Гаршин стоял рядом с нею — высокнй, ладный, в бекеше, которая очень шла ему, н в белой кубанке набекрень. Такой, как есть?.. Ну н надо прнннмать его такнм, какой он есть, ие ждать от него невозможного.

— Какой ветер!

— Вы озябнете, Аня, давайте я вас согрею.

Он шнроко распахнул бекешу н полою прикрыл ее, крепко прижав к себе. Не возражая, оиа нскоса поглядела на него н поразнлась взволнованному н нежному выраженню его лнца. Но в ответ на ее взгляд он улыбнулся, н в этой улыбке мелькнуло самодовольство.

— Вам бы пережнть что-ннбудь снльное,— сказала она.— Тогда, наверное, вы стали бы очень хорошнм.

— А я так уж плох? — с шутливой обндой спросил он, крепче обняв ее.— Вы крнтнкуете меня, Анечка, критнкуете, критнкуете, а ветер поет совсем о другом, н ветер прав.

Он запрокннул ее голову н поцеловал ее долгнм поцелуем. От тепла давно нenспытаиной ласкн было трудно оторваться.

— Подождnте, Внтя... Подождnте. Я хочу спуститься вниз.

Выскользнув нз нагретой бекешн, она сбежала по граннтным ступеням. Мягкнй, порнстый лед возле ступеней местамн уже потрескался. Разлившаяся в несколькнх шагах от берега вода отсюда, синзу, казалась черной н очень холодиой.

— Я попробую, какая вода.

В порыве веселого безрассудства она шагнула иа лед.

— Аня, да вы что! — нспуганно вскрнкнул за ее спнной Гаршни.

— А мне хочется,— отозвалась она н твердымн, легкнмн шагамн прошла по качающемуся, потрескивающему льду, опустнла пальцы в студеную воду н, наслаждаясь своей смелостью, задорно крнкнула: — Холоднющая! Купаться не советую!

В тот же мнг лед затрещал снльнее, две снльные рукн подняли Аню... раздался гулкий, угрожающий треск...

Гаршнн выскочнл на площадку лестннцы, поставнл Аню на ногн, прижал ее спиной к холодиой стенке округлого выступа н, больно стнснув в ладонях ее голову, начал целовать ее побледневшее лнцо н губы:

— Сумасшедшая... Дразиншь?.. Нарочно?.. Я тебя люблю, мы немедлеино поедем ко мне, слышншь?

С силой оттолкиув его, оиа взбежала по ступеням иаверх. Села иа гранитную скамью, заправила под шапочку растрепавшиеся волосы. Пусто было на набережиой, пусто и холодно. Аня почувствовала себя одииокой и потерянной, хоть плачь.

— Вы меия чуть ие утопили,— проворчал Гаршии, подиявшись вслед за иею и отжимая брюки; одиа нога его была мокра почти до колена.

— Я бы сама выбралась,— виновато сказала Аня.

Она с любопытством вглядывалась в выражение его лица. Только что он бросился спасать ее (значнт, я ему действнтельно дорога?), только что яростно целовал ее и говорил «люблю» («люблю тебя»... «ты»... как это нелепо — сразу переходить иа «ты»!)... Но вот оиа оттолкиула его, н он разозлился, и чувствует только холод, и, иаверно, как все очень здоровые люди, боится простуды.

— Ну, пошли, а то и ревматизм схватить иедолго! — позвал он, стараясь сдержать раздраженне.

Они почти бежали с набережиой в боковые улицы, где было ие так ветреио. Аия сама ускоряла шаг, ей совсем ие хотелось, чтобы он заболел из-за ее безрассудиой выходки. Быстрая ходьба согрела его и успокоила.

— Подождем двойку,— сказал он, уверенио останавливая Аню на автобусной остановке.— Доедем до самого дома.

Промолчав, она с удивленнем огляделась. На этой самой остановке оиа стояла сегодия днем с Алексеем Полозовым. Настроеиие было такое ясное, радостное, и вся жизнь казалась ей тогда чистой, умиой, значительиой... Почему же сейчас она очутилась здесь сиова с такой горькой сумятицей в душе, и рядом с ией человек, который только что целовал ее и все-таки совсем ие любнт ее, а так — пригляиулась жеищииа, раздразиила его самолюбие, и все-таки она едет к нему, все-таки едет, потому что одиночество душит... А все, что думалось днем,— мечты? Бредии?..

Два ярких огонька выиыриули нз-за угла.

Гаршии подсадил Аию в автобус, вскочил следом, расстегиул бекешу, доставая бумажник.

— Я раздумала, до свиданья! — вдруг решившись, крнкнула Аня, рванула закрывающуюся дверцу н соскочила на мостовую.

За стеклом удалявшегося автобуса метался Гаршин, пытаясь открыть дверцу.

Аня вздрогиула от холода, оказавшись одна на пустыииой иочной улице. Над рядами темиых домов, где уже погасли огии, открылось ее виимательиым глазам нетемиеющее северное иебо Она съежилась в своем слншком легком пальто н утомлеиио улыбнулась.

10

Посещенне Русского музея было началом праздника, приуроченного Пакулинымн к нынешнему выходному дню. Трн дня назад Антонина Сергеевна впервые не вышла на работу, по настоянню сыновей уйдя на отдых. К торжественному обеду были приглашены гостн: давнишний друг семьи Иван Иванович Гусаков и две соседкн по дому.

В первое же утро, проводив на работу сыновей, Антонина Сергеевна оглядела хозяйство и заметила сотни прорех н дел, до которых раньше не доходнлн руки. Отложив обещанное Николаю посещенне врача («Теперь успеется!»), она принялась мыть, стирать, чистнть, гладить, штопать, пришнвать пуговицы — и все последнне дни прнсесть не успевала до прихода мальчиков. Сыновья спрашивали ее:

— Отдохнула, мамочка?

— Отдохнула,— отвечала она н садилась в кресло, вытягивая занемевшие ноги.

Накануне выходного дня Антонина Сергеевна допоздна стряпала, чтобы высвободить утро для поездки в музей. Проще было бы отложить поездку, но она не захотела — ведь впервые собралась, впервые за долгую, трудную жизнь...

Музей ошеломил и утомил ее. Ноги разболелись от долгого блуждання по залам, глаза усталн от мелькания красок, и главное — устала голова от новых впечатлений.

Вернувшись домой, Антонина Сергеевна затопила плиту, чтобы разогреть обед, н села в своҿ любимое кресло у окна. Сняв пенсне н опустив на колени рукн, она отдыхала и думала. Она не вспоминала что-либо определенное из того, что привлекло ее вннмание в музее, а переживала все в целом — соприкосновение с новым и прекрасным миром. От усталости и от множества новых впечатлений у нее то и дело замирало, будто падало сердце. Но замирания сердца, обычно пугавшие ее, на этот раз не вызывалн страха: она верила, что теперь отдохнет, вылечится.

— Мама, суп закипел! — сообщил из кухни Виктор.

— Отставь на край, Витя,— распорядилась она не вставая и с улыбкой прнслушалась к тому, как Внктор, кряхтя, отодвигал кастрюлю, тихонечко охнул (наверное, обжег пальцы), а затем вернулся в свой угол, и снова в его руках тонко запел, повизгивая, напнльник.

Таким он был с детства, Витюшка... Еще до стола не дорос, а уже стучал молотком, ловко орудовал клещами и напильником. Она боялась, что малыш перепилит пальцы, занозит руки, поранится, а отец говорил... Тут она сама себя оборвала: даже в мыслях не хотела возвращаться к тому, что было отрезано.

Сегодня важнее припомннть другое — как она очутилась с ннмн одна в незнакомом городке, впервые сама себе голова.

Заботы о мальчиках, чтоб откормить их и поправить, непривычный труд в кустарной мастерской, превращенной в завод боеприпасов, ноющая боль в спине и в руках после возни на огороде, когда она вскапывала тугую, не поддающуюся лопате землю...

Многое-многое припомнилось матери: первые пальтишки, купленные ею сыновьям на собственный заработок, и ночи в бараке общежития, когда она, стряхивая сонливость, штопала мальчишечьи штаны, рубахи и заношенные, словно сгорающие на непоседливых ногах носки. И снова боль полоснула по сердцу: выходила, сберегла, привезла домой здоровыми, одетыми и обутыми,— а перед кем было погордиться, некому оказалось похвалить и порадоваться!

Но зачем думать об этом? Сегодня — день ее светлой радости, ее незаметно подросшие мальчики стали самостоятельными работниками и отныне будут заботиться о ней, и водить ее с собою в театр и в кино, и носить ей книги, которыми увлекаются сами... «На иждивение сыновей?» — спросил ее начальник цеха, подписывая расчет, и она с чувством неловкости и стыда пробормотала: «Пока... Подлечусь немного». Теперь ощущения неловкости и стыда уже не было, она с гордостью подумала: хорошие сыновья! И еще подумала: есть справедливость в жизни. Вот оно, мое счастье,— вернулось в них.

— Привет дому сему! — раздался в кухне голос Гусакова.

Антонина Сергеевна легко поднялась навстречу гостю. Иван Иванович, усердно шаркая подошвами начищенных ботинок по чистому половичку, от порога передал ей обернутую газетой бутылку.

— Прошу у хозяюшки прощенья,— басил он, расправляя обвисшие усы.— На основе жизненного опыта догадался, что водки не держите: вы — по женскому неразумию, а хлопцы — по молодости лет. Мне же, грешному, для здоровья необходимо, а для бодрости духа желательно!

— Вот и ошиблись, Иван Иванович,— весело ответил Виктор, помогая мастеру снять пальто.— Купили водочки, правда маленькую, но купили!

— Ишь ты! Значит, учли? Ну, там, где начинается с маленькой, не будет лишней и большая!

Антонина Сергеевна приглашала в комнату, но Гусаков присел на табурет в углу кухни, называвшемся «Витькиным царством», где Витька мастерил и где хранились инструменты, гвозди, шайбочки, незаконченный самодельный радиоприемник и разобранный на части старый велосипед.

— Показывай, что ты тут пачкаешь.

— Не пачкаю, а дело делаю,— независимо ответил Виктор.— Вот поглядите обмотку. Порядок?

— Погоди хвалиться. Это у тебя чего такое торчит? А?

Антонина Сергеевна захлопотала, легкой походкой переходя

из кухни в комнату, и снова в кухню, и снова в комнату: засиделась, замечталась, а гости собираются к ненакрытому столу!

— Пахнет у вас вкусно, аж слюнки текут! — заметил Гусаков и перешел в комнату, без стеснения разглядывая закуски.— Ох, хороша селедочка, сама в рот просится. Соус горчичный?

— Горчичный, Иван Иванович. Все как полагается.

— В такие минуты, Антонина Сергеевна, горько жалею, что остался бобылем. Будь я на десяток лет моложе, пал бы на колени перед вашими хлопцами: отдайте мне свою маму в хозяйки дома и сердца!

Порозовев, Антонина Сергеевна замахала руками:

— Да ну вас, Иван Иванович, бог знает что болтаете!

И заспешила на звонок — встречать приятельниц.

Николай, сидевший за столом во второй, крошечной комнатке, принадлежавшей раньше отцу, а теперь отданной в его распоряжение, отложил перо и чистый лист бумаги, на котором так и не успел ничего написать, и вышел поздороваться с гостями. Дома он скинул стеснявший его пиджак и остался в голубой рубашке, повязанной ярко-синим галстуком. И рубашка и галстук были новые и очень шли ему. Он успел убедиться в этом, поглядевшись в зеркало, и с особой охотой встретил гостей — не потому, что ему хотелось показаться красивым Гусакову и приятельницам матери, а потому, что ему хотелось поторопить обед и наступление вечера, когда могли прийти совсем иные гости. Придут ли?

Тем не менее и самый обед был ему приятен. Он любил задиристого, шумного Гусакова, любил и приятельниц матери, вернее — ту атмосферу домашности и уюта, которую они создавали, усевшись вечерком с шитьем и вязаньем, когда и помолчат без стесненья и поговорят не торопясь, не повышая голоса, без сплетен: мать терпеть не могла сплетен, но очень любила сердечные беседы, признания и жалобы, умела поплакать над чужим горем, дать умный совет или посмеяться от души забавному происшествию.

Сегодня, ради торжественного обеда, обе приятельницы пришли в своих лучших платьях и оставили на вешалке теплые платки. А у матери до сих пор не завелось парадного платья. Но и в будничном она казалась Николаю самой красивой, самой праздничной: так милы были ее несуетливые движения, так ласково сияли ее посветлевшие глаза.

— За нашу маму! — сказал Николай, разлив по рюмкам водку, чокнулся с братом и потянулся к матери.

— И я за нашу маму! — подхватил Иван Иванович.

Мать чокнулась и с гостями и с сыновьями, только младшему сыну шепнула, показывая глазами на полную рюмку:

— Витюша, ничего?

— За тебя-то, мама? — улыбаясь, ответил Виктор и храбро выпил до дна. Лицо его покраснело, глаза затянуло слезами, он торопливо закусил селедкой.

— Привыкай, мастер, без этого не прожнвешь,— сказал ему Гусаков.— Ты теперь человек самостоятельный. Пятый разряд в твон годы — это, брат, в иаше время н приснннться не могло!

Антонниа Сергеевна пригубила рюмку, ио пнть не стала. Радость переполняла ее сердце.

— За наших детей! — провозгласнла она и на этот раз не морщась отпнла глоток.

— До конца, до конца! — закрнчал Гусаков, налнвая себе вторую.

— Не уговаривайте, Иван Иванович,— твердо сказал Ннколай и отставнл ее рюмку.— Маме вредно.

Иван Иваиовнч хотел было заспорнть, так как счнтал водку полезной при любой болезин, но встретнлся с такнм жесткнм взглядом юиоши, что махиул рукой н выпил вне очередн третью рюмку.

— Хо-зя-ии! — проговорил ои ворчлнво, но с несомненым одобреннем.

В конце обеда Ннколай попроснл нзвннення у гостей н ушел в свою комнату. Порученне ннженера Карцевой беспоконло и смущало его. Он терпеть не мог хвастать, н рассказывать о себе ему еще ннкогда не прнходнлось,— о брнгаде случалось, даже на районной комсомольской конференцнн выступал, но там дело было ясное н собственная лнчиость терялась за словамн «наша брнгада»! А завтра предстояло рассказывать о себе. Легко сказать «расскажнте, как росли, как учнлнсь, к чему стремнтесь, чем ннтересуетесь...» А вот попробуй-ка, расскажн!

Мальчишки скажут: «Задавака!» Внктор н тот скрнвнл губы и пробурчал что-то вроде: «Очень-то нужно себя выворачнвать!»

Мастера н взрослые рабочие остерегаются доверять ученнкам, побаиваются и вчерашннх ремесленннков, а не поймут, что к заводу иужна прнвычка. В школе да в училище есть определенные «рамкн»: там человек ходнт как на помочах, за иего решают н думают. А на заводе — ты рабочнй как н все, отметок за поведенне не ставят, а чтобы прнжнться, осознать трудовую днсцнплнну н войтн в пронзводственную колею, для этого нужны н время, н желанне, н сознанне... Было у меня мальчншеское легкомыслне в первые неделн на заводе? Нет, не было. А почему? Вот об этом надо рассказать...

Прндвннув к себе чнстый лнст бумаги, Нниколай обмакнул перо в чернннльннцу, чтобы составнть конспект.

«Поступленне на завод».

Именно с этого следует начать. Двое мальчншек вернулнсь нз эвакуации, по семейным обстоятельствам нм не удалось продолжать учение в школе, н онн поступнлн в цех ученнками. Прнмерно так можно начать любую бнографню любого ученнка. Но говорит ли это что-либо о той настоящей жнзнн, которая определнла поведенне н характер Ннколая, да н Внтькн тоже?

Случилось так, что сыновья корениого заводского рабочего пришли в отдел кадров завода, их спросили:

— Петра Петровича сынишки? Куда хотите: к отцу в лопаточный?

— Нет,— резко сказал Николай.— В турбинный. В лопаточный мы не пойдем.

В турбинном оба подростка попали под начало старика Клементьева, и в первый же день Ефим Кузьмич вступил в разговор:

— Петр Петрович из лопаточного — отец вам?

Витька промолчал. Николай, вспыхнув, спросил:

— А что?

Клементьев не любил дерзких ответов, но тут сердцем почуял, что неспроста дерзит старательный юноша, и больше не спрашивал.

Однажды старший мастер лопаточного цеха Пакулин зашел в турбинный и долго ходил с Клементьевым по участку, а Николай и Виктор будто приросли к станкам, тщательно отворачивали лица, и сердце у Николая стучало громко, до звона в ушах.

— Замкнутый ты парень,— позднее сказал Николаю Ефим Кузьмич.

Николай покосился на учителя и усмехнулся:

— Да нет, Ефим Кузьмич, вам показалось.

Обида так ясно отразилась на лице старика, что Николаю стало стыдно, и он добавил:

— А насчет отца — не живем мы с ним и знакомства не держим.

С тех пор Клементьев относился к Николаю с уважением и был с учениками ласков, как бывал только со своей овдовевшей невесткой Груней да с внучкой Галочкой.

Но разве об этом расскажешь?

Сколько помнил себя Николай, он всегда страстно любил отца. Маленьким, когда отец приходил с работы, Николай терся возле его колен, вдыхая таинственный запах завода, пропитавший рабочий комбинезон отца и его большие, ловкие руки. Отец постоянно что-то обдумывал и обсуждал с приятелями, их разговоры были полны непонятных, заманчивых слов. Когда Николай перешел во второй класс, отец поступил учиться в ту же школу, только ходил туда вечером, и называлось это «вечерний техникум». Было приятно и странно, что отец усаживался за стол напротив сына с тетрадками и учебниками и оба одинаково решали задачки и готовили «письмо», высовывая кончик языка. Кроме того, отец готовил еще черчение, рисуя загадочные фигуры на плотных листах шершавой бумаги. Для черчения у отца были особые, остро отточенные карандаши, циркуль и линейка с делениями. Трогать чертежные принадлежности мальчикам строго запрещалось, но можно было сидеть и наблюдать, как орудуют ими гибкие пальцы отца. А отец хмурится, что-то про

себя высчитывает, прикидывает, то ругнется, то свистиет, то вздохиет и вдруг посмотрит Николаю в глаза и так хорошо улыбнется, что сразу становится весело.

— Вот это,— говорил отец,— продольное сечение. Поинмаешь? Ничего ты не поинмаешь. Расти скорей, возьму тебя иа завод, всем тонкостям иаучу.

— А куда возьмешь-то? — неизменно спрашивал Николай, и отец охотно отвечал, перебирая разные профессии, которые в целом составляли дело, почтительно любимое отцом и иазывавшееся «холодиая обработка металла». Рассказы эти повторялись часто, и в мечтах Николая почти зримо возникал завод и сложиый станок, управляемый уже взрослым, всеми уважаемым Николаем Пакулиным.

Вот и осуществилась мечта, ио как горько и иеожидаино повернулось! Разве об этом скажешь?

Николай встряхнулся и энергично приписал: «Первые дни учебы, интерес к машииам, чувство ответственности».

Разве они понимают, какую важную профессию дают им в руки? Поймут — тогда и стараться будут. Так начииал Николай — ловил каждое указаиие, приглядывался к движениям опытиых рабочих, пробовал читать чертежи, ие стеснялся расспрашивать и выпытывать... И Витька тоже. Если рядом сварщик сваривал шов или стропальщики упаковывали готовую турбину, Витька глядел, раскрыв рот, и забывал обо всем иа свете, после работы, бывало, часами стоял у других стаиков — карусельных, строгальных, фрезерных, зуборезных,— старался постичь каждую работу.

Откуда бралось стараиие? Оттого, что приучеиы были уважать заводской труд? Вся жизнь вокруг завода вертелась. Первые познания по географии давали адреса, размашисто иаписанные кистью на гигантских ящиках, в которых отправлялись готовые машины,— Ростов-Дон, Магнитогорск, Хибииы, Мариуполь, Комсомольск-иа-Амуре... А потом война.

«Война сделала взрослыми»,— записал Николай и задумался.

Отец дневал и иочевал иа заводе. Немцы подходили все ближе. По ночам мать будила сыиовей и уводила в бомбоубежище. Николай учился подражать свисту снарядов и пугал жеищин, пока однажды на его глазах ие убило снарядом соседку. Женщииы волновались о мужьях и говорили многозначительио: «В завод целит». После бомбежек и обстрелов все бегали к проходной узнавать о своих. Отец иногда выходил на минутку, усталый, перепачканный, угрюмый, торопливо целовал сыновей и просил:

— Не таскай ты их сюда, Тоня!.. Неровен час...

Николай не понимал, что такое «неровен час», но тем интереснее было бегать к заводу.

Зимою бегать не стало сил. Мальчики прижимались бокамн к теплой плите; на плите и спали под ворохом одеял. Комиаты

стояли закрытыми, оттуда дуло, как из погреба. Изредка приходил ночевать отец — неузнаваемый, черный, с запавшим, старческим ртом. Мать хлопотала, чтобы обогреть и накормить его. В эти вечера все расходовалось без счету — и мебель на дрова, и хлеб по всем карточкам. Отец пытался спорить, мать возражала, подсовывая ему хлеб:

— Без тебя, Петя, нам все равно не жизнь...

В феврале отец отправил их в Ярославскую область. Прощание с отцом потрясло Николая. Сгорбленный, закутанный до глаз, отец стоял на обледенелом перроне Финляндского вокзала и невнятно повторял:

— Детей сбереги, Тоня... Детей...

Когда поезд тронулся, увозя их к берегу Ладожского озера, мать прижала к себе сыновей и беззвучно заплакала. Кто-то зажег свечу; колеблющийся свет выхватывал из темноты неуклюжие, завернутые в платки и одеяла фигуры. Припав всем телом к матери, Николай робко поглядывал на нее. Снизу ему видна была только ее щека, будто срезанная теплой шалью. По щеке катились слезинки, поблескивая в скудном свете. Николай вспомнил отцовское завещание: «Детей сбереги, Тоня...» — и понял, что отец не надеется выжить и что сегодня они видели отца, быть может, в последний раз.

В Ярославской области жизнь у мальчиков пошла своим чередом: сперва отъедались, поправлялись, потом учились. Только позднее понял Николай, как трудно приходилось матери: еще темно, а она вскочит, бежит на рынок, потом что-то наспех сварит, торопливо накормит сыновей — и в мастерскую до вечера. По вечерам мать ходила к поездам, привозившим эвакуированных от Ладожского озера, искала знакомых, всех расспрашивала: как там? Что? Цел ли завод?.. Писем от отца все не было и не было.

К концу лета пришло письмо — бодрое, ласковое, полное уверенности в победе. В нем была строчка, обращенная к сыновьям: «Дорогие мальчики, берегите маму, вы уже большие, помогайте маме, как помог бы я». Тогда-то и задумался Николай, как взрослый человек, и твердо принял на себя все домашние работы. Покрикивал на Витьку: «Вымой посуду, чего сидишь? Скинь сапоги, чего зря топчешь, босиком бегай». Следил, чтобы мать не обделяла себя едой. И все приглядывался к ней с тревогой: дышит она так, будто воздуха не хватает. А присядет без дела — и взгляд упирается куда-то в пустоту, без мысли, без выражения...

Однажды, заметив этот взгляд, он ткнулся лицом в ее светлые, пронизанные обильной сединой волосы, со слезами позвал:

— Мама!

Она погладила его по щеке:

— Ничего, Коленька. Уцелел бы папа, а там все наладится. Теперь уже недолго.

Как онн рвались домой, в Леннинград, к отцу!

Мать часто посылала отцу длинные письма, он отвечал редко и коротко, ио мать не обижалась: до писем лн ему? Жнв — и ладно. Уже освободнлн от блокады Леиинград, уже потянулнсь домой семьи леннградцев, а отец все не присылал вызова, писал: «Подождите, жнву в общежнтии, квартира разрушеиа». Мать отвечала: «Сами отремонтируем все, ие пропадем, вызывай!» А тут подвернулся вербовщик с завода, мать завербовалась на работу, и вот оии троиулнсь в путь, предупредив отца телеграммой.

Николай ожндал увндеть отца сгорблеииым, почериевшнм, старым, каким видел его в последннй раз, а отец встретнл нх почти таким же, как до войны, только более усталым, рассеянным и словио чужим.

Квартира была сильио потрепаиа, ио жить в ией можио было. Все стекла вылетели, обои висели клочьями, обиажая отсыревшие стеиы, в кухне тресиула стеиа, входиой двери ие было, из мебели остались только железные кроватн. Отец прннес откуда-то тюфяки и хромоиогий стол, забил окна фаиерой и сказал, что дверь заказаиа и скоро будет готова. Мать, не передохнув с дороги, иачала прибирать и устраиваться, а отец заторопился иа завод. Ночевать ои ие пришел, и иа следующий деиь заглянул иеиадолго, все ссылаясь на срочиый заказ, и как-то слншком много говорил об этом.

— Да что ты, Петя, как виноватый? — сказала мать.— Ежели иужио, чего ж вниться? Разве я ие поннмаю?..

А час спустя прибежала женщина. Двери ие было, женщииа прямо с лестиицы вбежала в кухию, осмотрелась и, задыхаясь, спросила:

— Вы Пакулииа семья?

То, что произошло потом, Николай поиял ие сразу. Ои заметнл только, что жеищииа очеиь возбуждеиа и, кажется, сердита иа иих. Мать выпрямилась н резким голосом, каким иикогда ие говорила, приказала сыновьям уйти. Оии иеохотио ушли в комиату, ио остановились за дверью. После иескольких тнхих слов матери жеищииа иачала громко говорить, захлебываясь, торопясь все высказать, а мать молчала и только изредка тнхо спрашивала:

— Ну и что? Ну и что?

Николай ие столько поиял, сколько почувствовал, что иа кухие происходит что-то страшное и обидиое для матери. Ои стнснул кулаки, готовый вступиться за иее. В это время женщииа закричала:

— Молчите? Гордитесь? А мие куда ребеика девать? Душу свою куда девать?

Нниколай рывком открыл дверь. Мать была очень бледна, но как будто спокойиа. Оиа подияла руку, отстраняя сыиа, н произнесла отчетливо:

— Скажите ему, чтоб оставался с вами. И не приходил. Совсем не приходил. Поняли?

Женщина всхлипнула и хотела что-то сказать, но мать властно перебила:

— А теперь идите. Идите. И скажите так, как я велела. Придет — не впущу.

Шаги женщины еще звучали на лестнице, когда мать упала. Николай подхватил ее, закричал:

— Витька!

Они вдвоем снесли ее на кровать — удивительно легкую, с безжизненно свисающими руками.

Виктор принес воды. Мать выпила, и ее стало трясти, как в ознобе. Николай укутал мать, сел рядом, гладил ее руки. В эти минуты у постели матери он понял все, что случилось, и сказал шепотом, чтоб не слыхал брат:

— Ничего, мама. Не надо думать об этом. Я поступлю на завод. Мы с тобой, мама, слышишь?

— Вот ты и вырос, Николенька,— сказала мать и закрыла глаза, а из-под ресниц быстро-быстро побежали струйками слезы.

В те дни Николаю казалось, что он остался один — глава семьи, ответчик за все. Он отверг даже мысль о том, чтобы поддерживать отношения с отцом,— нет, и говорить с ним не будет, встретит — отвернется.

Было так, что мать подклеивала в комнате лохмотья обоев, Николай побежал в булочную, а Виктор на кухне варил клейстер. И вдруг с лестничной площадки шагнул в кухню отец, неся на спине новую дверь. Виктор стремительно закрыл дверь в комнату и остановился возле нее, как часовой.

— Все дома, сынок? — спросил отец, пытаясь улыбнуться, и снял со спины свою тяжелую ношу. Дышал он с хрипом, по лицу стекали капли пота.

— Никого нет,— выпалил Виктор, не глядя на отца.— Ты иди, мы сами навесим.

— Вот как,— сказал отец.— Позови маму, мне поговорить нужно.

— Нету ее,— упрямо повторил Виктор.

— Ах ты...— грозно начал отец, но так и не докончил. Помотал головой, словно от боли, на цыпочках подошел к окну, положил на подоконник пачку денег: — Вот, передай матери. До получки.— И ушел, втянув голову в плечи.

Николай столкнулся с отцом во дворе.

— Коля! — позвал отец, протягивая руку, чтобы задержать сына.

Николай отступил, вздернул голову, прямо в глаза жестко посмотрел на отца и молча прошел мимо.

Он услышал за спиною странный звук — не то всхлип, не то стон, но не остановился. Бегом поднялся домой.

— Мама... что?

Виктор шепотом рассказал, как все было, отдал брату деньги, виновато спросил:

— Может, не надо было брать?

— А жить на что? Мы не одни, у нас мама,— рассудительно ответил Николай.— Разыщи-ка молоток. Навесим дверь.

Мать вышла на стук молотка, все поняла, но ни о чем не спросила. Когда Николай хотел передать ей деньги, она не прикоснулась к ним:

— Оставь у себя. Ты же в магазин ходишь. И больше денег не принимай. Сами заработаем.

Как трудно пришлось им на первых порах! И дома-то ничего нет, ни кастрюльки, ни табуретки, и на заводе все трое — ученики. Мать не хотела, чтоб сыновья поступали на завод не кончив школы, но Николай настоял на своем, и Витька тоже проявил характер. Николай попробовал накричать на него, Витька сам крикнул в ответ:

— Иждивенца из меня делаешь? Не выйдет! Вместе не хочешь идти, сам дорогу найду.

В цехе Николай впервые увидел мать на производстве. Повязав голову старившим ее темным платочком, сосредоточенная и быстрая, мать ходила от одного зуборезного станка к другому, ни на минуту не отвлекаясь. Ее легкие руки молниеносно переводили рычаги, устанавливали металлические заготовки, регулировали скорость и поступление масла. Если масло брызгало ей на руки, она аккуратно обтирала руки тряпкой, принесенной из дому. Чаще, чем другие рабочие, сметала стружку и протирала все части станков, чаще подметала пол, с каким-то женским изяществом складывала горками готовые шестерни.

Иван Иванович Гусаков не мог нахвалиться ею, а Николай страдал, потому что видел, какой усталой приходит мать с работы, как бессильно опускает руки посреди домашних дел. Сердечные припадки у нее участились; Николай очень боялся их, каждый раз ему казалось, что мать умирает, но он не смел подойти к ней: мать сердилась, если сыновья замечали ее слабость.

Тогда-то и решил Николай: во-первых, своими силами срочно отремонтировать квартиру и ценою отказа от всех личных расходов приобрести необходимые в хозяйстве вещи; во-вторых, поскорее получить хорошую квалификацию, а значит, и заработок; в-третьих, учиться вечерами и получить специальное техническое образование; в-четвертых, при первой возможности снять с работы мать и заставить ее лечиться.

Николай и сейчас записал в конспект эти четыре решения. Пусть трудно, пусть неловко говорить об этом, но он расскажет завтра все, что нужно понять мальчишкам...

Рука его на последнем слове подпрыгнула, как будто ее

ударило током,— в кухне прозвенел звонок. Уронив перо, Николай с шалой улыбкой на лице пронесся мимо гостей и матери в кухню.

Антонина Сергеевна встала и с тревожным любопытством пошла встретить новых гостей. Кто бы это мог быть, кого он так ждал?

Их было трое. Крановщица Валя Зимина давно дружила с Николаем и работала с ним в комсомоле; не только Николай, но и Антонина Сергеевна знала ее сердечные дела — Валя была тайно и безнадежно влюблена в технолога Гаршина, а за нею с недавних пор тенью ходил Аркадий Ступин, непутевый член пакулинской бригады. Мать знала, что Николай рассчитывает использовать «силу любви» для перевоспитания Аркадия, о чем уже сговорился полушутя-полусерьезно с Валей. Вторым был слесарь Женя Никитин, он учился вместе с Николаем в вечернем техникуме и часто приходил к нему заниматься.

Третью гостью мать не знала, но она-то и была сегодня самой главной.

Ничего как будто особенного не было в ней — ни красавицей не назовешь, ни дурнушкой,— лицо простое, ясное, милое своей юной свежестью, фигурка стройная, высокая, одета скромно и даже строго: темное платье без отделки, без украшений, на голове, обвитой темными косами, белый вязаный платок. Но чувствовалось в ней то, что Антонина Сергеевна с первого взгляда определила словом «стать» — и как держалась, и как поклонилась, не спеша, с достоинством, и как отстранила Николая, бросившегося снимать с ее ног резиновые ботики.

— Ксана Белковская,— представилась она с простотой и независимостью человека, привыкшего много и свободно общаться с разными людьми.

С Иваном Ивановичем она поздоровалась как с давним знакомым, приятельницам Антонины Сергеевны поклонилась издали, от угощения отказалась:

— Спасибо, мы ненадолго и по делу. Но, кажется, не вовремя?

— Приятный гость всегда вовремя,— сказала Антонина Сергеевна. Девушка понравилась ей и испугала ее.

— Комсомольский секретарь инструментального цеха,— сообщил Иван Иванович, когда молодежь удалилась в комнату Николая.— Авторитетная девушка. Депутат горсовета. В газетах портреты были.

Антонина Сергеевна задумчиво смотрела перед собою, прислушиваясь к серьезным голосам, доносившимся из-за двери. Страх за сына сжимал ее сердце. Как он кинулся встречать! Как он пальто ее схватил, как боты — боты! — снимать хотел... А лицо у него какое было, разрумянившееся, замирающее, только к ней одной обращенное, будто она одна пришла, одна существовала на всем свете! Да, с такою не пошутишь для забавы, не

пойдешь, чтоб время провести, а присохнешь и будешь ловить, что скажет, как бровью поведет.

— Что случилось, Коля? — спросила Ксана, когда все кое-как расселись в маленькой комнатке.— Валя н Женя так настойчиво тянули меня сюда, что должна же быть какая-то причина.

Она не кокетничала, ей, видимо, просто в голову не приходило, что Николаю до смерти хотелось встретиться с нею.

Николай слегка покраснел, но ответил в тон девушке:

— Конечно, есть, и очень важная.

Виктор, поместившийся на подоконнике, заметил унылую фигуру, маячившую возле дома, и злорадно сказал:

— Глядите, ребята, Аркашка водосточную трубу подпирает.

Все выглянули на улицу. Сдвинув шапку назад, так что вьющиеся волосы свободно трепались на ветру и собирали падающие с крыши капли, Аркадий Ступин подпирал крутым плечом водосточную трубу и носком ботинка пробивал в снегу канавку для стекающей воды.

— Освежается,— равнодушно сказала Валя и отвернулась.

— Позвать его, что ли? — неохотно предложил Николай и упрекнул Валю: — Привела и бросила.

— Пусть стоит. Я его не звала.

— Красивый парень,— заметила Ксана и, сразу забыв о нем, повернулась к Николаю: — Так что у вас за дело?

— Ты Сашу Воловика знаешь?

— Конечно.

— А ты видала когда-нибудь турбинные лопаткн?

— Кажется, видала,— нахмурив брови, неуверенно сказала Ксана.— Такие маленькие изогнутые штучки?

— Штучки! Вот именно штучки! — буркнул Женя Никитин

Все рассмеялись.

— Я ж инструментальщик,— оправдывалась Ксана.— Я все собираюсь зайти к вам и толком все поглядеть.

— Приходи! — горячо подхватил Николай.— Все покажем и объясним! Правда, приходи!

Смирив излишнюю горячность, он деловито продолжал:

— Воловик три недели работал у нас, ты знаешь, на снятии навалов с лопаток. Вот с Женей, с другими нашими слесарями — да что с нашими! — из всех цехов согнали слесарей, как на аварию. Пустяковая будто работа — спиливать наросты, утолщения металла; наросты эти получаются, когда лопатки припаивают. А тридцать слесарей около двух недель вручную копались. Руки в кровь изодрали.

Женя вытянул руки, покрытые застарелыми рубцами и царапинами.

— Видишь? Работать-то в узкости приходится. Как ни ловчись, а непременно оцарапаешься. Без аптечки и приступать нельзя.

— Досадная работа — так ее называют,— вставила Валя.

— Между рядами лопаток, что ли, руку просовывать надо? — спросила Ксана и пошевелила тонкой, сильной рукой, примериваясь к воображаемой работе. Человек заводской, она без труда схватывала суть процесса, даже незнакомого ей.

— Вот именно,— подхватил Николай, с удовольствием следя за движениями ее руки.— Сверху лопатки, снизу лопатки, а ребрышки у них острые, так и жалят... Ну вот, Воловик задумал эту работу механизировать. С ним вместе,— он кивнул на Женю Никитина.— У Воловика все мысли тут, в турбинном, возле этих лопаток. Надо разрабатывать, проверять, пробовать. А ваше начальство не отпускает его. Целый месяц спор идет. На днях у нас на партбюро директор был, нажали на него — обещал. Так ваш начальник цеха пронюхал об этом и — бац! — выдвигает Воловика мастером. Нарочно, только бы не отдать.

— Воловик — лучший наш стахановец,— сказала Ксана.— Полгода держит первенство по профессии.

— А что такое стахановец? — воскликнул Николай.— Творческая личность! Как же можно поперек его творчества становиться ради узко цеховых интересов?

Ксана лукаво улыбнулась:

— Ты уж и теоретическую базу подвел?

— Да! Конечно! Так нас партия учит — осмысливать явление политически!

— Что ты и делаешь, не забывая интересов своего цеха,— быстро возразила Ксана.

Они с улыбкой, выжидательно смотрели друг на друга.

— Нет, не так,— после короткого раздумья сказал Николай.— Честное слово, я не ради цеховых интересов. Для завода изобретение Воловика важно? Нужно? Как же можно рогатки ему ставить? Он просит, настаивает, требует... да и, наконец, он все равно уже работает! Вечерами, ночами... Спроси Женьку, после гудка Воловик всегда в турбинном. Работает бесплатно, сам от себя. И Женя с ним. Техникум из-за этого пропускает. Разве это нормально?

Уклоняясь от ответа — ей, видимо, тоже не хотелось отпускать лучшего стахановца из своего цеха,— Ксана заинтересовалась сутью изобретения.

— Станок это будет или что? — спросила она Женю.— Что вы надумали?

— Какое там «мы»,— запротестовал Женя.— Воловик придумал, я только помогаю. У Воловика такой талант! Придумает, прикинет — не понравилось... а у него уже новая идея! Повернет совсем по-другому и опять пробует. Не получится — он только ругнется: погоди, я тебя доконаю... Правда, Ксана, он очень талантливый человек. И упорство в нем...

— А без упорства и талант не поможет,— сказала Ксана.

— Ты-то знаешь,— с уважением и восхищением шепнул Николай.

Ему хотелось поговорить с Ксаной как следует, может быть и сказать ей, как он рад, что она пришла, или даже признаться, что Воловик — лишь предлог для того, чтобы встретиться с нею; но Женя Никитин тотчас же прицепился к ее словам насчет таланта: так ли это? Иной упорный годами старается, пыхтит, а ничего изобрести не может, а талантливый человек только возьмется — и все у него сразу засверкает.

Ксана горячо возразила: ничего подобного! Достаточно прочитать про любое открытие и изобретение — везде труд, упорство, поиски, опыты... Да и не в этом дело! Что ж, когда что-то нужно, сидеть и ждать, пока какого-то гения «озарит»?

Тут и Николай ринулся в спор:

— Если хочешь знать, Женя, твоя точка зрения ничего, кроме лени, породить не может!

— Вы говорите так, как будто все должны что-то творить,— заметила с улыбкой Валя Зимина, но тут уже и Никитин обрушился на нее:

— А как же? Обязательно.

Разговор незаметно принял характер горячего спора «о самом главном», когда все высказывали свои заветные мысли и опровергали мысли других, хотя, по существу, не очень-то и расходились во взглядах.

— Без творчества жизни нет,— отрезал Николай и в подтверждение рубанул воздух ладонью.

— Для чего ж тогда учиться? Квалификацию получать? — ломающимся голосом закричал Виктор, всегда страдавший оттого, что его не принимали в расчет, считали «маленьким», а потому спoривший особенно рьяно и даже сердито.— Для заработка, что ли? Заработок, конечно, нужен, да разве в нем дело? Научили — спасибо, но и дорогу дайте!

— Не все же могут творить! — не слушая других, настаивала Валя.— Придумать, изобрести новое — это все-таки талант. А если у меня нет таланта? Но есть же и коллективная работа, и если я честно...

— А мысль ты вкладываешь? Душу вкладываешь? — возразил Николай.

— А по-моему, в жизни случается по-разному,— сказала Ксана, ни к кому не обращаясь и говоря как бы для самой себя.— И бывает так, что сознательно отказываешься от себя, от выбранного своего пути — ради общего дела.

Тут зашумели все: как? почему? кто требует такого отказа от себя?

— Случается по-всякому,— ответила Ксана, вынула шпильки, скреплявшие закрученные вокруг головы косы, потуже заплела косы и заново уложила их. Лицо у нее стало грустным и решительным.

— Ты о чем, Ксана? — осторожно, чтобы не спугнуть ее

откровенность, спросил Николай и, помогая ей, стал подавать шпильки.

А Ксана, втыкая шпильки в прическу, скупо ответила:

— Была бригадиром. Выдвинули сменным мастером. Поступила учиться в вечерний машиностроительный. Намечалось назначить меня начальником участка. Готовилась к этому... Это был мой путь, моя мечта. А мне сказали: ты нужна как комсомольский работник. Вот и пришлось отказаться от мечты.

И, прерывая разговор, позвала:

— Пойдем, Валя. А то и не заметишь, как день пройдет.

— Уже? — вырвалось у Николая.

В его голосе прозвучал такой испуг, что Ксана посмотрела на Николая, смущенно потупилась... новым, девическим, ласковым движением подтвердила: да, ухожу, пора! — и пошла из комнаты, уверенная в том, что за нею последуют.

— Что же вы так скоро? — всполошилась мать.— Я чай поставила. Попили бы чайку...

— Спасибо,— сказала Ксана.— У меня всегда так много планов на воскресенье, и ничего не успеваю!

Женя Никитин оставался, уходили только девушки. Не надевая пальто, Николай вышел проводить их.

— Ой! — вскрнчала Валя.— Я ведь и забыла, что моя тень за углом маячит!

И, не прощаясь, почти бегом удалилась, сама себе подмигнула, а на углу украдкой оглянулась. Ксана медленно спускалась по ступеням, Николай слегка поддерживал ее под локоть и, видимо, совсем не чувствовал холода, хотя был без шапки, в легкой рубашке, от которой у него голубели глаза.

— Я так рад, что ты зашла, Ксана,— говорил он.— На заводе до тебя не доберешься, всегда у тебя народ толпится.

— Ты простудншься, Коля,— сказала Ксаиа, останавливаясь.— И ты все-таки заходи...— Она лукаво улыбнулась: — Не только для того, чтобы лучшего стахановца от нас увести!

— Когда к тебе забежишь, все твои ребяа косятся: а этому что здесь нужно?

— Уж будто бы!.. Ты нди, Коля, ведь холодно.

— А если мне прнятно проводить тебя?

Она пропустила этн слова мимо ушей, но пошла побыстрее.

— Ты домой, Ксана?

— Нет, мне тут к одной избирательнице зайти надо.

— В воскресенье?

— А когда же? На неделе так трудно все поспеть!

— Я думал, ты торопншься в театр или в киио... Думал, тебя ждет кто-нибудь.

— Вот избирательннца и ждет! — Она вздохнула, засмеялась и решительно повернула его лицом к дому.— Иди, иди, Коля, а то мне придется тебя в больнице навещать.

— Правда, навестишь? Тогда я заболею обязательно.

Оиа только улыбнулась, потом подтолкнула его в спину:
— Беги немедлеино. А то и навещать не стану.

Ои побежал к дому по-спортивному легко и размеренио. Сильиый и теплый ветер обдувал его — весенний ветер, отгоняющий холод. Последний снег, крепко прнтоптанный н уже потемиевший, оседал под ногами. А там, где весь деиь грело солнце, стояли голубые лужи и ветер рябил их поверхность. Ксаиа шагает в своих малеиьких ботах н думает... О чем думает? «А если мие приятио проводить тебя?» Не расслышала?.. Нет, расслышала... «Ты простудишься, Коля...» Жизнь моя, какая же ты хорошая!

11

Уже смеркалось, когда Иван Иваиович Гусаков, разомлевший в гостях от иепривычиого уюта и выпитой водки, вышел иа улицу и задумался: куда пойти? Улица шумела праздиичным оживлеиием, у кииотеатра и заводского Дома культуры толпилась молодежь, ребятишки кричали во дворах, кидаясь талым снегом и гоияя по лужам мокрые футбольные мячн. По тихим боковым улицам бродили парочки, о чем-то воркуя и замолкая иа полуслове, когда мимо проходил, сердито оглядывая их, старый человек с обвисшими усами, в пальто нараспашку, в сбитой иабок шапке. Окиа домов ярко светились, в раскрытые форточки иеслись звуки музыки, одиа мелодня перебнвала другую. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех»,— пел низкий голос; «Привет тебе, красавица весна-а-а!» — заливался теиор; его перебивал иасмешливый хор: «И кто его знает, зачем он моргает...» Как будто все патефоны разом взбесились!

Старый разомлевший человек брел одииоко мимо чужого веселья, ие зиая, что делать с собою. На миг задержался возле буфета, откуда тоже неслась музыка, но как раз в этот миг в мелодию музыки вступил страстиый мужской голос: «Что иаша жизнь? Игра!» Страстиый голос рассердил Иваиа Иваиовича, ои зиал, что дальше голос будет петь: «Труд, честность — сказки для бабья»,— а это всегда возмущало старого мастера. Классика, говорят! Ну и пусть классика, а зачем такое крутить в «забегаловке», когда человеку только и иужно там — пропустить рюмочку да поболтать с кем прндется за бутылкой пива? Ои все-таки пошарил в карманах — не завалялась лн там нечаянная трешка. Трешки ие оказалось. Ну и не надо!

Попав в толпу, выходившую из кинотеатра, Иваи Иваиович увидел хорошенькое личико крановщицы Валн. Он любил эту девушку, она всегда почтительио выслушнвала его н не повторяла вслед за другими глупую выдумку насчет «первенства средн плохих характеров».

Иван Иванович хотел было заговорить с Валей, но увидел

рядом с ней иепутевого Аркашку Ступина, нзвестиого сердцееда, которому кладовщицы инструмеитальной кладовой, к великому возмущению Ивана Ивановича, всегда без очередн неограничеиио выдавалн лучшие резцы. Ах, стервец, н сюда поспел!..

Если бы можно было, Иван Ивановнч взял бы его сейчас за шиворот н — подальше от Валн. Но оин уже замешались в толпе.

Иваи Иванович поискал нх глазами — нету. Эх, Валечка, дурешка этакая!.. Что оиа поинмает в жизии, в людях? Ннчего не поимает. Такую н обидеть иедолго. А как убережешь ее? Кто она ему, эта девчушка? Ннкто. А мила, как дочка...

Ои вдруг весь обмер от мысли, что и у иего могла бы быть своя, настоящая дочка, что у него где-то есть дочка — а кто скажет, кто она н где находится и как ее жнзнь сложилась?.. Старше оиа Вали? Или моложе? Нет, должно быть, постарше. Когда это было? Как в тумаие все... Жеиское, закапаииое слезами письмо, торопливо иаписаииые корявые строчки, набегающие одиа иа другую: «Ваиюшеиька, милый ты мой, возьми меия от иелюбого, постылого, изведет он меия... ведь твоя оиа дочеиька, и славиая такая, вся в тебя...» Где она теперь, та жеищииа? Куда девалась? Жива лн? Кто знает! Ох, давно все это было. Давио.

Толкнув иескольких прохожих и огрызиувшись на замечания, Иван Иванович решительно зашагал к самой окраине района, к малеиькому деревяииому дому, чудом сохраиившемуся в блокаду от разборки на дрова: рядом с домиком стояла зеиитиая батарея, охраиявшая завод, и Ефим Кузьмич делил свое жнлье с зеннтчнками. Все пять окон домика сейчас приветлнво сияли, отбрасывая на пустырь длииные полосы света, и можно было разглядеть сквозь кружевную заиавеску, что старый Ефнм сндит у стола н возле его щеки качается белый хохолок, завязаниый большнм бантом,— иу конечно, дедушка балует виучку, нет у него другого дела! Стареет Ефим...

Иван Ивановнч распахнул дверь домика, не замыкавшуюся до ночи, затопал и зашаркал в прихожей:

— Прнинмай гостей, дед, удалец-молодец пришел!

И, ие ожндая приглашеиия, ввалился в комнату.

— Тсс! — зашипел на него Ефнм Кузьмнч и замахал руками.

Иваи Ивановнч уднвленно застыл иа пороге, ио тут его взгляд набрел на полуоткрытую дверь смежиой комнаты: там за столом, положнв оголеииые до локтя полные руки на брошеиное шнтье н опустнв на них красивую голову, безмятежио и сладко спала Груия. Теиь от ресиниц падала на ее разалевшуюся щеку.

Иваи Иванович крякиул, сказал громким, задорным шепотом:

— Эх, был бы я жеищииой, пошел бы к тебе в иевестки. То-то жнтье! Или во виучки — н того лучше!

— Такую невестку, как ты, самому черту не пожелаешь,— заметил Ефим Кузьмич и подтянул к столу плетеное садовое кресло: — Садись, вояка, сыграем.

Ои начал осторожио выкладывать из коробкн шахматы.

Ладья выкатнлась у него из-под рукн н со стуком упала на пол. Вздохнув, Ефим Кузьмнч спустил с колен Галочку, чтобы она разыскала ладью, и виновато объяснил:

— Умаялась Груня. Вечер стирала, утром всю квартнру вымыла, отстряпалась, пообедали... да вот, видншь, сморило ее..

— Ладно уж, не оправдывайся. Выбирай! — н Иван Иваиовнч протянул здоровеиные, жилнстые кулаки с зажатымн в них пешками.

Клементьеву выпало играть черными, Гусаков удовлетворенно хмыкнул:

— Ну, теперь держись!

И, только поспев расставить фигуры, стремительно двинул вперед королевскую пешку. Ефим Кузьмич, пораздумав, ответнл тем же, Иван Иваиович немедленно метнул вперед слона.

— До смерти напугал,— насмешливо сказал Ефим Кузьмнч и спокойно двинул на одну клетку вторую пешку.

Галочка безнадежно вздохнула, поняв, что вечер потерян, взяла кубики, высыпала их иа стол рядом с дедом и, не начиная строить, поглядела иа стариков. У обоих седые усы, но у дедушки они пышные, мягкие, а у дяди Ваии тощие, обвислые н какие-то слипшиеся, как будто он их купает в супе. У дедушки вся голова выбрита, а посредине кожа мягкая, блестящая, и лампочка отражается в ней — зайчиков пускать можно, если бы он согласился повертеть головой. А у дяди Вани седые спутанные волосы, слишком отросшие за ушами и на затылке, воротничок мятый, галстук съехал иа сторону, пиджак закапан и весь он какой-то запущеииый. Мама говорит: беспризорный старикан. А дедушка весь чистенькнй, аккуратный. Призорный? Что такое призорный? И почему дедушка любит дядю Ваню? Придет, ворчит, ругает кого-нибудь или что-нибудь, да вот в шахматы играют целыми вечерами... А Галю норовит ущипнуть за щеку нли подергать бантик; о чем разговаривать, ие понимает, только спрашивает всегда одно н то же: «Как дела, коза?» Отвечать незачем, ему неинтересно. А дедушка все-таки очень любит дядю Ваню, это видно. И называет его за глаза «гусак». И мама почему-то любит «гусака». Вот скука-то... Пойти бы на улнцу, да дедушка не разрешает — похолодало, мол, к ночи... Скучно же до чего со взрослыми!

Горестно вздохнув — вдруг дедушка поймет и пожалеет? — Галочка иачала строить виадук, пуская в дело и «съеденные» шахматные фнгуры.

— Ходи, ходн, пока есть чем ходить, поторапливал Иван Иванович.

— Торопишься к своей погибели,- укорял Ефим Кузьмнч, обдумывая каждый ход и сквозь прищуренные ресницы любовно поглядывая на старого друга.

Уже больше сорока лет они былн на «ты», когда-то вместе ловилн голубей под крышей того самого цеха, где работали

и теперь, только в те давние времена турбин еще не выпускали, а мальчишки годами прислуживали мастеру, пока наконец добивались настоящей работы. Бывшие Фимка и Ванька вместе учились мастерству, вместе мужали, а затем и старились.

С годами, подчиняясь общему тону, они стали звать друг друга по имени-отчеству и только в минуты задушевных бесед с глазу на глаз называли друг друга по-старому Ефимом и Ваней. Но задушевные беседы завязывались между ними редко, за сорок лет все было переговорено.

Разыгрывая начало партии, оба помалкивали. Потом Гусакову надоело молчать и надоело шептаться, он то напевал, то пытался рассказать анекдот, то корчил для Галочки страшные рожи, так что девочка покатывалась со смеху. Затем у него начали падать фигуры.

— Тише ты, бегемот,— одергивал его Ефим Кузьмич.

— Э, милый, молодой сон крепок, хоть из пушек пали! — И покосившись на приоткрытую дверь, игриво спросил: — Замуж еще не собирается?

Ефим Кузьмич гневно повел бровями, поцеловал внучку и сказал ей:

— Может, и впрямь пойдешь во двор, побегаешь перед сном?

Галочка рванулась в прихожую, боясь, что дед раздумает.

— Галоши надень и шарфик на шею,— громким шепотом напомнил дедушка.

От этого шепота и от хлопка выходной двери Груня проснулась, зевнула, потянулась всем телом и, вдруг поняв, что заснула в неурочный час, за работой, а в доме гость, испуганно вскочила.

— Ой, что это я! И хоть бы вы окликнули, папа!

Она вышла в общую комнату — большая, красная, со здоровым румянцем на крепких щеках, с блестящими, чуть заспанными глазами. Приветливо пожала руку Ивану Ивановичу, мимоходом поправила ему галстук, снова украдкою, но сладко зевнула.

— Сейчас я вас чаем напою, игроки,— сказала она и, поглядев на часы, ахнула: — Скоро десять, а Галочка еще гуляет! Галоши она надела?

— Надела... Собирай на стол, а там и позовешь, пусть подышит перед сном,— с показной строгостью распорядился Ефим Кузьмич.

Старики продолжали играть, с удовольствием поглядывая на быстрые и ловкие движения молодой хозяйки, которая делала все с такой безукоризненной точностью, что в ее руках и чашка не звякнет, и сахар колется, не разлетаясь по сторонам, и хлеб не крошится, а отпадает от буханки ровными тонкими ломтями.

Иван Иванович, наблюдая за нею, думал о том, что вот не встретилась ему в молодости такая женщина, ладная и приветливая. Может, и были такие, да ни одна не сумела увести его от

холостяцкой беспорядочной жизни. А ведь хорошо, когда дома вместо паутины в углах да бутылок под столом порядок и уют, как у Антонины Сергеевны или вот здесь... Заболеешь — воды подать некому. Эх, не вернешь того времени, когда заглядывались на него красавицы вроде Груни, страдали из-за него да старались женить. И почему ему выдался такой характер, что ни к кому не привязался сердцем?.. Да и привязался бы — кто стал бы столько лет маяться с его характером? А жаль... Впрочем, может, и жалеть не надо. Кто их знает, женщин! Женишься — кажется ангелом, а потом обернется старой каргой, так что и тебя пересилит: того не смей, туда не ходи, покажи расчетную книжку, опять напился, ирод... И не посмеешь, и не пойдешь, и карманы вывернешь, и выпить — без радости выпьешь.

А Ефим Кузьмич думал о том, что хорошо у них сладилась жизнь и ничего бы ему другого не нужно, только бы все продолжалось как есть. Да не выходит в жизни так, как хочется! Когда женился перед войною Кирилл, счастье вошло в дом, осиротевший со смертью старухи. А тут война, фронт... Траурное извещение... Три месяца убивалась Груня, по ночам рыдала так, что собственное горе казалось Ефиму Кузьмичу слабым перед отчаянием этой молодой души. Все заботы о Галочке, о доме пали на плечи Ефима Кузьмича. Он не роптал, не терялся, все делал, как заправская хозяйка и нянька, всю томительную отцовскую нежность перенес на Груню и на Галочку. Оправившись немного и замкнув горе в себе, Груня поступила на завод, на место Кирилла. В цехе ее любили и уважали. Мало кто помнил Кирилла Клементьева, но и новые рабочие, пришедшие в цех после войны, быстро узнавали историю Груни. И хотя Груня была красива и молода, никто не решался ухаживать за нею, и никогда не касались ее имени ни легкомысленные шутки, ни сплетни. Самое присутствие Груни в цехе поддерживало память о Кирилле. И за это старый Клементьев еще нежнее полюбил невестку.

Сколько усилий приложил он, чтобы утешить и оживить ее! Уговаривал, что она молода, будет еще в ее жизни и любовь и счастье.

— Молчите, папа! — вскрикивала она, бледнея.— Никогда и никого не захочу! Для нее вот жива осталась,— указывала она на дочь,— для нее и жить буду.

Впрочем, то время давно прошло. Ефим Кузьмич уже не заговаривал с нею о возможности нового счастья. Наоборот, со страхом присматривался к ее странному оживлению. Теперь его грызли сомнения и подозрения. Особенно после недавнего вечера, когда она, наскоро уложив Галочку, убежала из дому к подруге по бригаде заниматься... По тому, как она собиралась, хватая и роняя вещи, торопливо заглядывая в зеркало, виновато лаская дочь, по тому, как она сказала у двери, отворачивая лицо: «Вы ложитесь спать и не ждите меня, папа, я взяла ключ...» По тому, как она вернулась в третьем часу ночи, веселая и бледная,

виновато проскользнув мимо упрямо поджидавшего ее Ефима Кузьмича... Да, если не обманывал старика житейский опыт, не к подруге она ходила, не от подруги пришла...

Невпопад передвигая фигуры, он в сотый раз задавал себе вопрос: не ошибся ли он в тот вечер? И что же теперь делать, и кто тот мерзавец, что воровски украл ее любовь, боясь глаза показать в дом Ефима Кузьмича?

— Шах и мат, шах и мат,— пропел Иван Иванович, торжественно переставляя коня на незащищенное поле.— Зазевался, Ефим Кузьмич! Каюк твоему королю!

Ефим Кузьмич с досадой смешал фигуры:

— Проглядел.

И, сердито покосившись на невестку, многозначительно добавил:

— Проглядишь — потом не воротишь.

— Это во всяком деле так,— ясно улыбнулась ему Груня.— Садитесь чай пить. Я за Галочкой сбегаю.

— Пальто, пальто накинь! — крикнул вдогонку Ефим Кузьмич.

Но Груня уже вышла из дому как была, в платье с короткими рукавами, с непокрытой головой.

Вернулась она не скоро и не одна. Ефим Кузьмич услышал мужские голоса под окном и, удивленный, пошел встретить нежданных гостей. Еще пуще раскрасневшаяся Груня недовольно повела рукою в сторону двух вошедших за нею мужчин:

— К вам, папа.

И, не обращая на них внимания, занялась намокшими варежками Галочки.

— Вы простите, Ефим Кузьмич, что забежали в воскресный день,— сказал Яков Воробьев и выдвинул вперед своего спутника.— Вы, кажется, знакомы — Александр Васильевич Воловик, мой друг.

Они уже познакомились в цехе, но в деловой суете, на ходу, когда ни рассматривать человека, ни разбираться в нем недосуг. Теперь Ефим Кузьмич с любопытством и не стесняясь вгляделся в лицо того самого Саши Воловика, о котором за последние дни поднялось столько разговоров и споров. Круглое, курносое и уже покрытое легкими точками веснушек, лицо это казалось очень добродушным и даже вялым. Только глаза, окруженные густыми ресницами, смотрели остро и пристально, не соответствуя ни мягкой расплывчатости черт лица, ни мешковатой фигуре и медлительным движениям молодого изобретателя. «Я человек с ленцой!» — словно говорил весь облик Саши Воловика, а глаза возражали: «И вовсе не с ленцой, а с упорством и энергией!» — и брали верх в споре.

— Очень рад,— искренне сказал Клементьев. Раздевайтесь и входите, будем чаевничать.

— Мы, собственно, по делу,— проговорил Воробьев, косясь на Груню.

Груня была явно недовольна: когда она ставила приборы гостям, чашки у нее звякали.

— Ты знакома, Груня? — заметив ее неприветливость, обратился к ней Ефим Кузьмич.

— Мы встречались,— сухо сказала Груня, позвала необычно строгим голосом: — Галя! Мой ручки, ужинать! — И увела девочку в кухню.

За чаем Гусаков рассказал, как отмечалось у Пакулиных семейное торжество. Ефим Кузьмич с гордостью учителя щедро похвалил обоих братьев, а Воробьев, принимавший близкое участие в делах пакулинской бригады, похвастался, что Николай прекрасно освоил вихревую нарезку и вообще проявляет интерес ко всяким новым работам.

— Таким и должен быть новый рабочий,— впервые вступая в беседу, сказал Воловик.

— Всезнайкой? — ехидно отозвался Гусаков.

— Широким профессионалом,— спокойно уточнил Воловик. Его речь с мягким украинским выговором была лаконична, и каждое слово казалось взвешенным.

— Совмещение профессий? — насмешливо подхватил Гусаков.— Очередная мода! Всего понемножку и ничего как следует!

— А если несколько профессий как следует? — не отступил Воловик.

— Во-во! Знаешь, милок, в старое время, бывало, у проходной с утра толпились люди. Стоят и ждут, не понадобится ли рабочий. И вот выйдет мастер и спрашивает: «Ты кто? Токарь?» — «Токарь».— «А слесарное дело не знаешь?» — «Знаю».— «Оно хорошо, да мне сейчас столяр нужен. Ты, случаем, столярничать не умеешь?» — «Могу и столяром».— «Ну, так поди прочь. Раз много дел знаешь — значит, ни одного не знаешь толком!» Вот как раньше-то рассуждали!

— А вы с этими рассуждениями согласны? — в упор спросил Воробьев, и выражение лукавства, как во время давешней беседы в цехе, промелькнуло в его беглой улыбке.

— А ты мне что за прокурор! — рассердился Иван Иванович.

От горячего чая выветрившийся было хмель снова ударил ему в голову, и, как всегда в таких случаях, ему захотелось ссориться.

— Ты со мной не спорь. Ты стань со мной к любому станку, вот и поспорим делом, чья возьмет. Я, по крайней мере, совмещение профессий не проповедовал и на плакаты не набивался, а к какому станку ни поставь — никому не уступлю.

— Вот об этом мы и говорим,— добродушно согласился Воловик.— Вы и в старину делу научились, консерваторов не слушали. А сейчас быть узким специалистом — стыдно и неинтересно! К тому ж, наш новый рабочий учится. А когда постигнешь

теорию, скажем, обработки металла, тяиет освоить весь процесс, все операции.

— Новый рабочий! Новый, иовый — заладил; будто и впрямь с другой планеты прилетел ои, ваш новый рабочий! — ие уиимался Гусаков.— Старые мастера, вишь, коисерваторы, а оии — эпоха! Всемирио-исторические люди!

— Зиавал я в молодости одиого мужчииу,— сказал Клемеитьев, ии к кому ие обращаясь, и все его стариковское, сухое тело затряслось от сдерживаемого смеха.— Так тот мужчииа иачииал иовую эпоху, выкатив иа тачке старорежимиого мастера.

Иваи Иваиович даже руками взмахиул:

— Так ведь теперь и иас с тобой, Кузьмич, в старые записали! Пусть ие старого прижима, а все-таки вроде девятиадцатого века перед иовыми! Теоретики! Профессора! Скоро по-фраицузски заговорят!..

— Почему бы и иет? — сказал Воробьев, улыбаясь Клемеитьеву.— Я как раз изучаю аиглийский язык.

— Все в профессора выйдут — кто же у стаиков останется?

— Ваша беда в том, Иваи Иваиович,— сиисходительио объясиил Воробьев,— что вы ие видите: измеиилось положеиие рабочего в производстве. Мы же ие исполиители, а созидатели!

— А я ие созидатель? — весь вскииулся Гусаков.

— Созидатель,— охотио согласился Воробьев и добавил, посмеиваясь: — Только мехаиизируете свой участок медлеиио. И рациоиализаторские предложеиия своих рабочих выполияете тоже медлеиио.

Иваи Иваиович вскочил, багровея:

— Ну, иу, учись скорее, иа мое место стаиешь! А я давио самокритики ие слышал, соскучился по ией! — Тяжело шагиул в прихожую, дериул с вешалки пальто, иахлобучил иа голову шапку.— Спасибо этому дому, пойдем к другому!

— Ну, зачем же так? — иеожидаиио появляясь возле иего, сказала Груия и сияла с иего шапку, за рукав потяиула пальто.— Экий вы скаидалист, Иваи Иваиович! Садитесь, я вам чаю иалью и курить, так и быть, разрешу.

— Очеиь мие иужио твое разрешеиие и твой чай! — пробурчал Иваи Иваиович, добрея и позволяя Груие отиять пальто.— Раз в иеделю отдохиуть хочешь, и то душу разбередят.

— Нате вам чаю, и хватит ворчать,— сказала Груия и за плечи усадила старика в плетеиое кресло. Сама оиа присела рядом с иим, улыбка так и просилась иа ее румяиое, оживлеииое лицо. Налила себе чаю, ровиыми, белыми зубами иадкусила ватрушку, да и забыла о ией и о чае забыла. Сидела, иехотя привлекая взгляды своей красой, а сама была как будто далеко отсюда или прислушивалась к чему-то, что ей одиой иашептывала жизиь.

Тут бы молодым людям поболтать с иею, поухаживать, а оии будто воды в рот иабрали. Ефим Кузьмич, ухмыляясь в усы,

заговорил сам, и, коиечио, о заводских делах, а Иваи Иваиович презрительио махиул рукой:

— Эх, Груиечка, мие бы лет двадцать скииуть, я бы зиал, о чем говорить.

Груия повела плечами, предложила:

— Давайте в шахматы сыграем, Иваи Иваиович.

— Да вы разве играете?

— А коиечио! Здесь разговор деловой, пойдемте в ту комиату.

Воробьев даже в лице перемеиился, раздосадоваииый ее иевиимаиием. А Воловик, кажется, только того и ждал — ои придвииулся поближе к Клемеитьеву, и иа леиивo-добродушиом лице его появилось выражеиие эиергии и упрямства.

— Я вчера вечером был в парткоме у Дидеико,— сообщил ои, сразу переходя к сути дела.— И оставил письмеииое заявлеиие. Пусть разберутся. Вчера мие иовость преподиесли — выдвигают мастером. Только бы, зиачит, в турбиииый ие отпускать! А какой из меия мастер?

— Ишь ведь... ловко придумали!

— Не будет этого,— спокойио сказал Воловик.— Мы зашли предупредить вас — ие сдавайте позиций, если Дидеико спросит. В турбиииый я перейду. Это иужио — зиачит, должио быть сделаио.

Слово «должио» прозвучало у иего со всею силой. Ои был ие из уступчивых, этот пареиь!

— А пока суд да дело, мие иужиа ваша помощь,— продолжал ои, считая первый вопрос ясиым.— Я уже работаю, ио мие иужиа помощь. Нужеи приказ иачальиика цеха, чтобы мие предоставили материал и стаики. Чтоб мои заказы выполиялись ие из милости, а то пустяковиу обточить — и то пороги обиваешь! И потом Жеию Никитииа — в помощиики. Человек ои способиый, мие ои подспорье, а ему польза.

— Целая программа,— заключил Клемеитьев и вздохиул. Дела, требующие согласоваиий и споров с разиыми иачальиика-ми, тяготили его. Случай с изобретателем Воловиком был как раз таким тягостиым случаем, когда иужио было вступить в коифликт с другим цехом, спорить и ругаться с отделом кадров завода, с техиологами, с иачальииком своего цеха... Любимов еще вчера сказал Ефиму Кузьмичу: «Коиечио, я ие прочь заполучить такого стахаиовца, как Воловик, ио расшумелись вокруг его «изобрете-иия» зря. Где оио? В мечтах. И пошел ои ие по тому пути. Сиятие иавалов! Нужио искать возможиостей уиичтожить эти самые иавалы, избежать их с самого иачала, вот куда мы устремляем рациоиализаторскую мысль!» Ефим Кузьмич ответил ему вопро-сом: «А если избежать их ие сумеем? Ведь режет иас эта «досадиая» работа, все сроки режет». Любимов только усмехиул-ся: «А где гараития, что Воловик придумает?»

Припомиив эти слова, Ефим Кузьмич сам усомиился в удаче Воловика — и точио, иикто его проекта ие видел, иет еще готового

проекта, а сколько требований у парня! Ведущему конструктору впору...

— Слушай, Александр... Васильевич, верно? Так вот, Александр Васильевич, требовать ты требуй, раз правоту чувствуешь. Но скажи ты мне по совести: есть у тебя уверенность? Выйдет у тебя? Или это еще мечты?

— Должно выйти,— без заминки ответил Воловик, и опять слово «должно» прозвучало со всею силой.— А мечта ли? Не знаю, Ефим Кузьмич. Может, и мечта, да реальная. Мне так кажется, что готовая вещь проста, а путь к ней сложен, и начинается все с фантазии. Вот вы смотрите...

Руки его оторвались от стола и так точно передали профессиональное движение, что Ефим Кузьмич увидел и напильник в правой руке, и узкие зазоры между рядами острых лопаток, и напряжение левой руки, ищущей опоры для всего тела, пригнувшегося к рядам лопаток, пока правая рука на весу изгибается между рядами и осторожно, стараясь сплющиться и уберечься от острых, колючих ребрышек, спиливает еле заметные наросты металла.

Правая рука продолжала равномерно двигаться, без конца повторяя одно и то же заученное движение пальцев, кисти и локтя, и вдруг Клементьев ясно уловил ритм и механику этого повторяющегося движения, и сквозь них проступил замысел изобретателя — нет, еще не решение, а именно первоначальный замысел, подсказанный работой умелой человеческой руки точно так же, как когда-то полет птицы подсказал идею самолета.

Воловик заметил, что отправная точка его фантазии понята. Он поискал по карманам карандаш и блокнот, уверенно начертил несколько беглых схем.

— Вот так,— приговаривал он.— Или так... Или вот этак... Понимаете? Все дело в том, чтобы суппорт легко разворачивался под углом, легко менял направление...— Он захлопнул блокнот и сунул его в карман.— Сейчас пробуем. Делаем. Женя мне помогает, вот он помогает,— Воловик кивнул на Воробьева,— Алексей Алексеевич Полозов помогает. Да ведь сколько можно партизанить? Все, между прочим, просьбами да уговорами, заготовки тащишь где придется... да и вечерами приходится работать.

— Вечерами — это не беда, если сердцем прирос,— строго сказал Ефим Кузьмич.

У Воловика вдруг дрогнули губы.

— Не могу я больше... вечерами...— еле слышно сказал он.

— Вот тебе раз! — удивился Ефим Кузьмич.— Такой молодой — и вдруг «не могу». Устал, что ли? Для своего-то замысла люди ночей не спят.

Воловик поморщился, хотел что-то сказать, да раздумал.

— В общем, помогайте,— закончил он разговор.— Пока нужно, могу и буду терпеть, дела не брошу. Но вы поднажмите.

— Поверил в тебя — значит, повоюем.

Воробьев первым поднялся с места и, несмотря на уговоры Ефима Кузьмича, заторопил своего друга: пора идти! Он так и не притронулся к стакану чая, налитому хозяином. Увидав этот чай, сиротливо стынущий на столе, Ефим Кузьмич с запозданием отметил, что Яков и в разговоре не участвовал, а сидел понурясь, погруженный в свои думы.

— Ты что, Яша, невесел? — заботливо спросил Ефим Кузьмич.

— Нет, что вы,— встрепенувшись, ответил Воробьев и натянуто улыбнулся.— С чего мне быть невеселым?

Услыхав, что гости уходят, Груня вскочила и догнала их в прихожей:

— Уже уходите?

От ее недоброжелательной холодности не осталось и следа.

— Поможет вам папа, да? — ласково спросила она у Воловика.— Я не думала, что вы так скоро уйдете,— сказала она Воробьеву.— Мы с Иваном Ивановичем развоевались и даже не заметили, как время пролетело.

— Ну, и чья берет? — заинтересовался Воробьев и шагнул обратно в комнату, как бы для того, чтобы оценить положение на шахматном поле. Оглянувшись на старика, продолжавшего разговор с Воловиком, он быстро спросил вполголоса: — Когда же?

Груня громко ответила:

— Я думаю, выигрыш мне обеспечен.

И шепотом:

— Завтра в девять.

— Иван Иванович — противник серьезный...— и тоже шепотом: — Опять обманешь?

Она объяснила взволнованно:

— Он дома был... не могла я... потом расскажу...

— Ты сегодня так приняла меня...

— Я же тебе велела — не ходи сюда!

— Груня... ты меня долго мучить будешь?..

— Я — тебя? — вскрикнула Груня и тотчас шепнула: — Молчи! — Громко, с неестественным оживлением заговорила о шахматах, не договорила и пошла с Воробьевым в прихожую — навстречу настороженному взгляду Ефима Кузьмича.

Захлопнув за гостями дверь, она сказала недовольно:

— В воскресенье и то с делами прибегают. Неужто на заводе мало видитесь? Пришли, ссору затеяли...

А молодые люди вышли на улицу, уже опустевшую, темную и схваченную ночным морозцем.

— Пройдемся?

— Пройдемся.

Они направились не в город, а за город, пустырями, заваленными нетронутым снегом.

— Домой пора,— пробормотал Воловик, продолжая шагать в сторону от города. Расправил грудь и несколько раз глубоко вздохнул, словно хотел надолго надышаться морозной, удивительной свежестью.

— Как думаешь, осилит старик?

— Осилит, если подталкивать,— сказал Воробьев неохотно: он был во власти только что пережитого волнения, и разговаривать ему не хотелось.

Но Саша Воловик продолжал:

— Староват он для такой беспокойной работы.

— Зато человек стоящий. Справедливый.

— Справедливости одной мало. Тут напористость нужна.

— А мы на что?

Задетый за живое, Воробьев оторвался от своих раздумий, и снова охватило его новое и сильное чувство, томившее все последние дни. Тут было и недовольство ходом дел в цехе, и душевный подъем, вызванный тем, что на партбюро приняли его предложение о плане рационализаторских работ, и раздражение оттого, что многие не увидели за этим планом всего большого и важного, что видел он сам, и главное — жажда деятельности, жажда победы.

Он распахнул пальто, снял кепку, подставляя голову изредка пролетающим порывам теплого морского ветра и веселому пощипыванию морозца, в котором чувствовалось последнее озорство убывающей зимы. Не отдавая себе отчета во всем, что возбуждало томившее его чувство, он сейчас с особой ясностью ощутил свою силу и радость оттого, что силен.

— А все-таки злит меня вся эта волынка,— продолжая думать о своем, заговорил Воловик.— Почему так? Задумал хорошее, для всех необходимое — и вдруг какие-то закорючки мешают... Пережитки? Так до какого же сроку они нам будут свет застить?

— Новое надо планировать,— не отвечая прямо, но развивая собственные мысли, горячо сказал Воробьев.— Ты подумай, Саша: ведь у нас вся жизнь по плану идет, а новое в производстве рождается вроде как самотеком. Вот ты одно придумал, Катя — другое, каждый за свое бьется. А нужно не так. Нужно наметить все, что в первую очередь важно изменить, механизировать, усовершенствовать, всякие там «узкие места» и прочее. И браться сообща, всем коллективом. Один придумает, второй разовьет, третий дополнит, десять подхватят и дальше двинут.

— А точнее? — заинтересованно, но недоверчиво спросил Воловик.

— А точнее — так и будет. План всех мероприятий по рационализации, механизации и использованию внутренних резервов. На партийном бюро его назвали планом организационно-технических мероприятий. А там, как его ни называй,— это революция.

— Уж и революция?..

— Это коммунизм, если хочешь знать,— подтвердил Воробьев.— В том смысле, что творчество станет массовым. Ох-хо-хо! — крикнул он в морозное пространство.— С горы бы сейчас на лыжах!

Тысячи огоньков вздымали над городом золотистое зарево, отчего небо над ним казалось темнее и ниже. На этом веселом зареве, как часовые на постах, выделялись десятки заводских фабричных труб. Красные зарницы вдруг заполыхали над темною массой заводских строений — в литейном цехе закончилась очередная плавка.

— Широта,— тихо сказал Воловик.

Ему было хорошо стоять здесь, рядом с другом, разделяющим его мечты и планы, и стыдно, что он и в этот воскресный вечер позволил себе уйти из дому. Он не забыл о жене, он жалел ее так, как только можно жалеть человека, который для тебя дороже тебя самого. И все-таки он уходил от нее все чаще и охотней, сам страдая оттого, что, вопреки горю, увлечен своими замыслами и полон радужных надежд; и когда он спешил домой, тревожась, не случилось ли с нею чего за время разлуки, к его любви примешивались досада на то, что она безвольно подчиняется горю, и страх, что возле нее он растеряет с таким трудом восстановленную бодрость.

— Давай-ка назад, Яша,— сказал он и решительно зашагал к городу.

12

Радио передавало бой кремлевских курантов, когда Саша Воловик остановился напротив своего дома и поднял глаза к окнам. Все три окна его квартиры были темны, только в одном можно было разглядеть узкую полоску света, очевидно пробившуюся в дверную щель из передней.

Медленно, сразу будто постарев и сильнее ссутулившись, Воловик перешел через улицу и начал подниматься по лестнице. Всеми мыслями он был уже там, возле Аси, в одной из темных комнат своей квартирки, полученной от завода два года назад, перед рождением Люси, и обставленной так любовно, как обставляют свое жилье только в счастье и для счастья.

Он открыл дверь своим ключом и на цыпочках прошел в комнату. Ася сидела на детском диванчике у окна, уронив голову на подоконник. Воловик подумал, что она плачет, и тихо подошел к ней. Заострившиеся плечи Аси чуть вздымались, но это еле заметное колебание было равномерно и спокойно. Ася спала.

Тогда Воловик присел на подвернувшийся стул, не решаясь уйти, чтобы скрипом шагов или двери не спугнуть ее нечаянный сон. Расставшись с Воробьевым и шагая один по затихающему к ночи городу, все еще полный энергии и надежд, он мечтал дома

часок-другой поработать иад своим проектом. Убеждеиный в том, что общий замысел вереи, ои еще ие иашел главиого решеиия, ио каждый раз, когда он погружался в работу, в нем оживало иеясиое ощущеиие простоты и близости решения. Решеиие, что изывается, вертелось в голове, иадо только хорошо, ие торопясь, подумать, целиком и без помех отдавшись размышлеииям, свободио, не иа глазах у посторонииих иаблюдателей, помогая размышлеиию движеииями рук... Дием в иитрумеитальиом цехе, выполияя точиейшие слесариые работы, ои ие мог думать о другом; после гудка, переходя в турбииный, ои мучался воспомииаиием об Асе, ожидавшей дома; оиа с такой тоской спрашивала утром: «Ты придешь поздио?» Ои и учебу в техникуме забросил в эту злополучиую зиму, и вот со стаиком иикак ие додумать...

Сейчас ои мог бы уйти в другую комиату, к рабочему столу, заваленному листками бумаги с поспешиыми, ему одиому поиятиыми иабросками. Но вместо этого ои сидел, даже ие сияв пальто, с шапкой в руке, и думал о том, что же делать, что же всетаки делать с Асей?

Было что-то иеправильиое, возмутительиое в том, что случилось в эту зиму. Ои ие только страдал из-за страшиой и иелепой, бессмыслеииой утраты своего желаииого, чудесиого ребеика... ои всей душой восставал против того, что смерть оказалась сильиее врачебиого искусства, сильиее всех самоотвержеииых усилий Аси и его самого. Ведь все, все было сделаио, иичего ие пожалели. Туберкулезиый мeииигит... Откуда это? Почему? Была крошечиая, здоровеиькая, жизиерадостиая девочка, уже сделавшая свои первые шаги от колеи матери к протяиутым рукам отца... и вдруг жар, бред, мутиые, иикого ие узиающие, иедетские глаза. Почему?

Может ли быть, что отравлеииая алкоголем кровь деда какими-то таииствеииыми путями проиикла в тельце, в мозг ничего ие подозревающего, ии в чем ие повиииого ребеика, рождеииого в любви, лелеемого с первого дия рождеиия?.. А если ие это... так почему же? Как оиа подкрадывается, эта болезиь? И как получается, что люди, создавшие столько чудес, вдруг оказались бессильиы перед иею?

Здоровый и очень сильиый, Саша Воловик ие мирился с поиятием смерти. Не мирился ои и с тем, что можио потерять волю к жизии. Душевиое состояиие Аси ставило его в тупик. Ои до слез жалел ее и совершеиио ие поиимал, хотя трогательиая беспомощиость Аси когда-то и привлекла его к ией.

Семья у Воловика была ясиая, дружиая, деятельиая. И отец и мать работали иа Диепрострое, причем мать завоевала там большую славу, а ее подружки-бетоищицы — все боевые, иапористые — постояиио толклись в доме и виосили в иего все тревоги, радости и заботы большой стройки. На глазах у Саши постепеиио вырастала плотииа, сперва грубая и бесформеииая, а потом как-

то вдруг ставшая красивой до того, что хоть часами гляди — не надоест. На глазах у Саши прошел шлюзами первый пароход, станция дала первый ток; на том месте, где Саша бегал с мальчишками и ездил в кузове отцовского грузовика, разлилось широченное озеро — озеро имени Ленина, а возле головного шлюза по вечерам светил настоящий маяк. Однажды Саша попал в Крым, в пионерский лагерь «Артек», и там повстречал множество ребят. Откуда только не приезжали они,— порой и на карте не найдешь таких названий! И о чем только не рассказывали! Раньше Саша считал, что Днепрострой — главнее главных, и пятилетка, которую выполняли все окружающие его люди,— это завершение Днепростроя. В «Артеке» он впервые ощутил свою огромную страну и понял, что пятилетка везде и всюду вносит новое, небывалое. И как же ему захотелось скорее вырасти. Иногда ему становилось страшно, что все построят без него, откроют без него, без него изобретут...

Когда он попал подростком в Ленинград, на завод, он стал слесарем высокой квалификации в самый короткий срок, какой понадобился для получения необходимых знаний и навыков. Достигнув мастерства, он начал вкладывать в него собственную мысль. Все делали и делают так — это хорошо; а если сделать лучше и быстрее, скажем, вот этак или еще по-другому? Он внес десятки усовершенствований в работу инструментальщиков и все присматривался ко всякой новой работе: нельзя ли иначе, проще, быстрей? В вечернем техникуме он учился в общем отлично, но на контрольных работах по математике часто хватал тройки, потому что ему было неинтересно решать задачу общепринятым способом, он пытался решить ее как-нибудь иначе и в итоге запаздывал.

Девушки уважали его, советовались с ним и побаивались его. Он был очень серьезным юношей, Саша Воловик! Много читал, по утрам делал гимнастику и обливался холодной водой, жил по расписанию, составленному так, чтоб ни одна минута не пропадала зря. Отдых он позволял себе только летом, ради плаванья и гребли. Случалось, какая-нибудь девушка на короткий срок привлекала его внимание, но он быстро разочаровывался: ломается, нет серьезных интересов, не о чем говорить с ней. Позднее он думал: «Это потому, что где-то близко жила Ася, я знал, что встречу Асю».

Он заметил Асю задолго до того, как познакомился с нею. Выходя из дому по утрам, он почти каждый день встречал ее. Она быстро-быстро шла ему навстречу,— наверно, всегда выскакивала из дому в последнюю минуту. Иногда она улыбалась чему-то и слегка подпрыгивала на ходу, как школьница, но чаще всего он видел ее озабоченной, с плотно сомкнутыми губами. Зимой она ходила в капоре, как девочка, летом не носила никаких шляп, и ее легкие, светлые волосы взбивал и спутывал ветер, золотило солнце, обрызгивал случайный дождь. В дождливую погоду она

надевала черный плащ с капюшоном, из которого выглядывала, как птенец из гнезда. Саша знал ее походку, ее настроения, знал все ее одежки — их было не много. Не знал он только, кто она и где живет.

Была поздняя весна с грозами и предгрозовой духотой по вечерам. У Саши шли экзамены. Однажды около полуночи, когда строчки стали сливаться перед его глазами, Саша отложил учебник и лег грудью на подоконник, стараясь поймать хоть слабое дуновение в неподвижном воздухе. Небо было затянуто серым туманом, в темноте переулка неясно белел киоск на углу и ролики подвешенных антенн.

И вдруг в тишине ночи прозвучал негромкий, но звонкий и жалобный голос:

— А я тебе говорю: пойдем домой! Пойдем домой!

Глухой бас прорычал в ответ:

— Оставь меня. Ну?!

— Нет, не оставлю! — мелодично и твердо сказал женский голос.

Свесив голову, Саша разглядел грузную, покачивающуюся фигуру мужчины и тоненький женский силуэт с рассыпающейся копной светлых волос... Она?!.

Мужской заплетающийся голос упрямо повторял:

— Не пойду. Сказал — не пойду. И не приставай!

Мужчина оттолкнул спутницу и зашагал прочь, ступая очень прямо и четко, как ступают только пьяные в припадке решимости. Женские каблучки отчетливо простучали по панели. Она догнала его и взмолилась со слезами в голосе:

— Папа! Ну, папа! Я же не могу тебя оставить!

Должно быть, он сильно толкнул ее, потому что она вскрикнула.

Саша сорвался с места и в беспамятстве гнева сбежал по лестнице. Пьяный уже не пытался уйти, его шатало и тянуло вниз, дочь изо всех сил удерживала его.

— Оставьте,— сказал Саша и рванул пьяного к себе.— Куда вести его?

Пьяный пробовал упираться, но Саша с таким бешенством тряхнул его, что тот подчинился и пошел, что-то бормоча и тяжело наваливаясь на Сашу плечом. Девушка шла немного впереди, показывая дорогу.

— Сюда,— сказала она, входя во двор. Это было первое слово, которое она произнесла.

Они вместе втащили пьяного по лестнице на третий этаж. Девушка открыла дверь своим ключом. Ее отец повалился на диван и заснул, прежде чем она успела снять с него сапоги и подложить ему под голову подушку. Саша помогал ей, не решаясь взглянуть на нее.

— Часто он у вас так?

— Часто.

Он топтался на месте, не зная, чем еще помочь и что сказать. И девушка молчала, быстро и громко дыша, склонив голову так, что Саша видел только ее спадающие на лоб волосы.

— Так я пойду,— сказал он.

— Спасибо вам, такое спасибо,— чуть слышно сказала девушка и, пугливо проскользнув мимо него, пошла открыть ему дверь. Взявшись за дверной замок, она вдруг привалилась всем телом к двери и отчаянно заплакала.

Совершенно растерявшись, Саша пробовал утешить ее, но она мотала головой и сквозь слезы бормотала:

— Так стыдно, боже мой, так стыдно...

Он обнял ее за плечи и оторвал от двери, а она неожиданно склонила светлую, растрепанную голову к нему на грудь и разрыдалась еще пуще.

Саша не знал, сколько времени они простояли так, пока она опомнилась и поняла, что рядом с нею чужой, незнакомый человек. Она отшатнулась и с испугом взглянула на него, и он впервые увидел совсем близко ее милое, распухшее от слез лицо.

— Уходите, пожалуйста, уходите,— сказала она и открыла дверь.

Он послушно вышел, споткнувшись на пороге. Как во сне вышел на улицу. Ночь, улица, небо в зарницах дальней грозы — все было не такое, как всегда. Издалека, как будто из другого мира, пришло и исчезло воспоминание о том, что завтра — экзамен.

Может быть, ему и удалось бы овладеть собой и засадить себя за учебник, если бы он не сообразил, что выскочил из дому, как был, в одной майке, а ключ от квартиры — в кармане пиджака. Саша махнул рукой и решительно прошел мимо своего дома.

Что это была за ночь!

Порыв ветра швырнул пылью ему в лицо. Ветер будто подметал улицу, гоня по асфальту сухой мусор. Синяя молния прорезала мглу, на миг осветив тяжелые края наплывающей тучи, и вслед за тем раскатистый удар грома всколыхнул застоявшуюся духоту. Пахнуло влагой.

Саша бродил по улицам и переулкам и любовался молниями, которые будто вспарывали надвинувшуюся на город тучу. Он думал о природе этого физического явления, о гигантском скоплении электричества в атмосфере и о том, что разряды этой энергии создают изумительное по мощи и красоте зрелище. Он не хотел мириться с тем, что столько энергии пропадает впустую, и пытался придумать, как бы ее использовать... И все же он очутился возле чужого дома, откуда недавно вышел, и отметил его номер, как нечто самое важное, что надо запомнить.

Ливень хлынул разом, теплый и сильный. Жмурясь, как под душем, Саша поймал ртом свежую влагу, вошел во двор, взбежал по лестнице на третий этаж; напрягая зрение, разобрал номер

квартиры. Спускаясь, он повторял: «Дом семь, квартира восемь. Дом семь, квартира восемь».

— Я люблю ее,— сказал он себе и понял, что все время помнил об этой девушке и что уйти от всего этого уже нельзя.

Мокрый, возбужденный, он до утра бродил под дождем, а потом — в сырости и холоде занимавшегося утра. Вспоминал светящуюся во мгле копну спутанных волос и бледное, распухшее от слез девичье лицо. Вспоминал, как она плакала, доверчиво припав к его груди, и какие у нее были узенькие, теплые — беззащитные плечи.

На следующий день он все-таки вытянул экзамен на четверку и оттуда, сжигаемый жаром — ему казалось, жаром волнения, хотя это был жар начинающейся ангины,— он пришел в дом № 7, позвонил у знакомой двери и увидел Асю. Если бы ему открыл кто-либо другой, он даже не знал бы, как спросить ее. Но это была она, и она не сразу узнала его. В домашнем платье и сандалиях она выглядела совсем девочкой. Светлые волосы были заплетены в тугую короткую косу.

Узнав вошедшего, она густо покраснела и вытянула перед собою руку с поднятой ладонью, как бы отбрасывая его обратно, в дурную ночь, которую хотелось забыть.

— Не бойтесь меня,— сказал Саша, входя и мягко опуская ее руку.— Я должен вам помочь. Вы сами не сумеете...

— Тут, наверно, никто не поможет,— ответила она, как взрослый, отчаявшийся человек, но все же ввела его в комнату, где ночью они укладывали ее отца. Сейчас отца не было. Комната носила следы недавнего семейного уюта и быстрого, бестолкового разорения.

Они сели в разных концах дивана.

— Как вас зовут? — после молчания спросил он.

— Ася,— строго сдвинув брови, ответила она и вдруг уткнула голову в колени и разревелась.

— Неужели вы не понимаете, как это унизительно и стыдно! — крикнула она в ответ на его попытки утешить ее.

С трудом вытягивая признания, он постепенно узнал ее несложную и печальную историю. Асе шел девятнадцатый год. Три года назад она оставила школу, потому что тяжело заболела ее мать, а кроме того, как беспечно добавила Ася, «ничего не выходило с алгеброй». Отец Аси был полотером и хорошо зарабатывал, но любил выпить. Мать умела держать его в руках, а после ее смерти он запил. Трезвым отец был ласков и каялся, плакал, выманивал у дочери прощение. Пьяным он нередко бил ее и выкрадывал из дому и деньги и вещи. Ася вела учет в той же артели полотеров, где работал ее отец, и это давало ей возможность хоть немного следить за ним, но в последнее время он перестал считаться с нею и, как говорила Ася, «пошел под откос»...

Саша слушал этот рассказ с острой жалостью и нарастающим

гневом, от которого у него пересыхали губы. Он был потрясен не только судьбой этой беззащитной, растерявшейся девочки, он был потрясен тем, что такая темная, безрадостная, дикая жизнь существует и еще может топтать жизнь молодую, начинающуюся. Пытался ли кто-нибудь воздействовать на отца, помочь Асе? Ася старалась выгородить и сотрудников артели («они ко мне очень хорошо относятся»), и соседей («они меня очень жалеют»), но Саше было ясно, что никто всерьез, до конца не вмешался и не помог. Что это — равнодушие? Нежелание ввязываться в неприятную и канительную историю?

Еще не решив, что и как сделает он, Саша ушел от Аси возбужденным и пылающим, как в жару. Только у себя дома, ночью, он понял, что и в самом деле болен. Он проболел целую неделю. Как только температура спала, он встал и, преодолевая слабость, пошел к Асе. Увидев его, она вскрикнула с такой нескрываемой радостью, что он невольно протянул руки, и Ася припала к нему, вздыхая:

— А я уж думала, вы больше не придете.

Через несколько дней он познакомился с Асиным отцом. Отец был трезв и показался Саше добродушным и сердечным человеком. Кроме того, Сашу подкупало несомненное сходство отца и дочери: та же робкая, доверчивая улыбка, те же глаза... Но Саша не дал себе растрогаться и жестко заявил, что ему нужно серьезно поговорить. Ася, помертвев, выскочила из комнаты. Это был тяжелый и беспощадный разговор. Впрочем, отец Аси не произнес ни слова, он только побагровел и сжал кулаки, а потом весь поник, и злые, обличающие слова Саши падали на его голову как удары, пригибая ее все ниже и ниже.

— Таких людей надо принудительно лечить или сажать в тюрьму,— резко закончил Саша и неожиданно взял Асиного отца за руку, сжал эту грубую, пожелтевшую от мастики руку и сказал другим, мягким голосом: — Если нужно будет, я этого и добьюсь. Но сначала я прошу вас как отца — есть же у вас совесть! — обуздайте себя и станьте опять человеком. И еще я прошу у вас согласия...— Он запнулся, потому что Ася, наверно, подслушивала у двери, а с нею он еще не говорил об этом, и произнес совсем тихо: — Я хочу просить Асю быть моей женой.

Отец поднял голову и посмотрел на Сашу удивленно и пристально, словно впервые обнаружив перед собою этого молодого человека, ворвавшегося в его дом с нравоучениями и решившего отнять у него дочь. По морщинистому, одутловатому лицу прошла судорога.

— Ну, что ж... Я человек конченый. И отец плохой,— сказал он.— Но ведь у меня кроме нее — никого...

За этими словами чувствовалось такое смятение, что Саша чуть не сказал: «Будем жить вместе»,— но удержался. Он жалел этого опустившегося человека, но не верил ему.

До свадьбы отец держал себя в руках, даже сделал Асе денежный подарок «на приданое». Сашу он уважал и очень боялся,— выпив, он никогда не попадался на глаза своему зятю.

Ася не сразу решилась уйти от отца и все последние дни перед свадьбой налаживала свое порядком запущенное хозяйство — убирала, мыла, стирала, штопала, будто хотела в два дня на всю жизнь обеспечить отца своей заботой. Переступив порог Сашиной комнаты, она сразу забыла об всем остальном и об отце тоже. Прежде чем Саша успел опомниться, она прилепилась к нему всем существом. Он почувствовал себя самым счастливым и самым любимым человеком на свете. Ее преданность льстила ему, ее зависимость от него трогала. Она обожала его и была на редкость нетребовательна: если он был дома, она вполне удовлетворялась этим, издали наблюдая, как он занимается, и боясь скрипнуть дверью, чтобы не помешать ему. Свернувшись калачиком на кровати, она часами читала, изредка отрываясь, чтобы взглянуть на мужа. Взгляд у нее был сияющий, благодарный и какой-то изумленный.

Все, что он делал, было для нее священно.

Когда родилась Люся, она так же изумленно любовалась ею и безраздельно отдалась уходу за дочкой. Порою Саше казалось, что всю любовь к нему Ася перенесла на ребенка. Впрочем, такая уж она была: ничего не умела делать наполовину. Когда ей приходило в голову приготовить что-нибудь вкусное, комнаты оставались неприбранными, и Саша заставал ее растрепанную, с лицом, выпачканным мукой. Если ей попадалась увлекательная книга, она читала до утра.

И вдруг — болезнь, неделя судорожной борьбы, надежды и отчаяния... и смерть дочки.

С того дня как они опустили в могилу маленький гробик и Саша почти принес Асю домой, прошло больше четырех месяцев, но перемены к лучшему он не замечал. Он сам тяжело пережил смерть Люси, но ему казалось диким распускаться. Неуемное отчаяние Аси поражало и даже раздражало его. Ася мешала ему собраться душевно и если не залечить, то приглушить боль утраты. Говорить с нею об этом было невозможно: самую мысль о том, что можно жить без Люси, она считала кощунством.

И вот она спала, скрючившись на детском диванчике, уронив голову на подоконник, спала непрочным, неосвежающим сном, похожим на забытье. А он сидел над нею, боясь шевельнуться — ее муж, ее единственный друг и опора, и совершенно не знал, что делать с нею и как спасти ее. Какой новый интерес может увлечь ее? Послать ее на работу? Но он сам когда-то настоял на том, чтобы она бросила артель, где ничто не интересовало и не радовало ее. Тогда они ждали рождения Люси, будущее рисовалось ясным и счастливым, а Саша гордился тем, что может один содержать свою маленькую семью. Теперь он понимал, что горе трудно преодолеть, если у тебя нет деятельности, отвлекаю-

щей, заполняющей время и мысли, создающей естественную товарищескую среду. Что было бы с ним самим, если бы после смерти Люси он сидел день за днем один, в четырех стенах квартиры, где все напоминает о случившемся?

Ася вдруг встрепенулась, как от толчка. Расширенными полными страха глазами уставилась на темную фигуру Саши, скудно освещенную отсветом уличного фонаря.

— Ты дома? — пробормотала она.

Он подошел к ней и обнял ее. Она не отстранилась, как обычно в эти месяцы горя, а прижалась к нему и провела теплой ладонью по его щеке.

— Тебя так долго не было,— сказала она со вздохом,— мне стало страшно, что ты больше не придешь. Совсем не придешь... Понимаешь?

Слишком взволнованный, чтобы отвечать, он только крепче прижал ее к себе.

— Я сидела и думала, думала, пока не заснула... Вечер был такой хороший, мне очень хотелось погулять. Я даже вышла и походила перед домом — вдруг ты подойдешь? Знаешь, давай гулять по вечерам.

Обрадованный этим первым желанием, высказанным ею после смерти Люси, он предложил погулять сейчас.

— Нет, завтра,— сказала она.— Ты приходи пораньше, и мы погуляем, хорошо?..

И она снизу вверх внимательно посмотрела на него.

— Хорошо,— согласился он, хотя на завтрашний вечер у него было намечено много дел в турбинном цехе.

— Ты голоден? — спросила она.

Ему очень хотелось есть, но он стыдился признаться в этом. Ася почти совсем не ела, и собственный здоровый аппетит казался Саше оскорбительным для ее горя. Но сегодня в Асе появилось что-то совсем новое, и он неуверенно ответил:

— Пожалуй, хочу. Мы прошлись по морозцу. Если у тебя что-нибудь найдется...

Ася включила свет, пошла на кухню. Сильно похудевшая, бледненькая, но по-новому подвижная, деловая. Саша с удивлением увидел, что Ася приготовила ужин.

Он разглядел под плитой два огрызка махорочных самокруток. Значит, приходил ее отец. Может быть, его приход каким-то неведомым образом и расшевелил Асю?

Отец приходил очень редко и только в те часы, когда Саши не бывало дома. Он опять много пил и вспоминал дочери главным образом для того, чтобы поесть у нее и перехватить денег. Сашу возмущала непоследовательность Аси: побранив отца, она все же на прощанье засовывала ему в карман немного денег «на маленькую». Из-за этого Саша не раз ссорился с Асей,— корми его хоть каждый день, покупай ему то, что нужно, но не давай ему на водку! — Ася плакала, обещала не поддаваться на просьбы

отца, а затем поступала по-прежнему. Впрочем, в эти месяцы горя Саша отступился и делал вид, что ничего не замечает, но иногда ему приходило в голову, что в бесхарактерности отца и дочери много общего.

— Что сказал тебе Клементьев? Обещал помочь? — спросила Ася за ужином, все так же странно внимательно наблюдая за мужем.

Он начал охотно рассказывать ей и о разговоре с Клементьевым и о том, как подвигается работа над изобретением. Ася слушала, потом, как бы вспомнив, сообщила:

— К тебе заходил инженер Полозов. Алексей Алексеевич Полозов. Он хотел посмотреть твои расчеты.

Вот оно что! Значит, Полозов поговорил с Асей, и она поняла, что ее муж делает большое, нужное дело, и устыдилась, что ни в чем не помогает ему в то время, когда чужие, посторонние люди готовы помочь и поддержать?

Было уже совсем поздно, когда Ася заснула рядом с мужем, прижавшись щекой к его плечу. Ее волосы щекотали его шею. Улыбаясь в темноте, он не отодвигался, боясь разбудить ее, и с благодарностью думал и о ней, нашедшей новые силы для жизни, и о Полозове, сыгравшем в ее душевном выздоровлении несомненную роль. Он не мог додуматься до того, что слова Полозова попали на хорошо подготовленную почву.

В тот вечер отец зашел к Асе прямо с работы, уже подвыпивший и голодный. Ей нечем было угостить его. Отец раскричался и с досады высказал подозрения, давно копошившиеся в его темном мозгу, что Сашина работа — отвод глаз для дурочки, какой показала себя Ася, что никакой мужчина не будет цацкаться с такой женой, и Саша, конечно, завел себе зазнобу на стороне, иначе он не ушел бы на весь вечер в выходной день... Удар был сильный и меткий. После ухода отца Ася заметалась по квартире, переворошила бумаги на рабочем столе мужа и ничего не нашла, кроме чертежей и деловых заметок. В это время постучался инженер Полозов. Ася впустила его и подробно расспросила об изобретении мужа, ссылаясь на то, что Саша из скромности молчит. Когда Полозов ушел, она проворно сбегала купить что-нибудь на ужин, походила перед домом, надеясь встретить Сашу, потом, закоченев, вернулась домой и села у окна ждать мужа. В этот вечер ее целиком захватило желание опровергнуть грязные измышления отца, убедиться в том, что Саша принадлежит ей, а если нет — вернуть его любовь.

Саша Воловик не мог додуматься до этого, он просто радовался ее выздоровлению и думал о том, как помочь ей теперь найти новое направление в жизни. Потом он вернулся мыслями к своим собственным делам: перед его глазами возник простой и оригинальный механизм, придуманный им, и «что-то» самое главное, заканчивающее замысел и рисовавшееся ему пока как туманное пятно, в котором смутно обозначалось ритмичное

двнженне. Он снова перебрал в памяти все несовершенные решення, придуманные нм н отброшенные, некоторое время рисовал себе движущееся тумаиное пятно, чувствуя ритм, направление и особенности его движения, ио не ухватывая форму.

- И все-такн я его найду,— сказал он себе, засыпая.— Не такое создаио и придумано человеческим мозгом. И быть того не может, чтобы я ие иашел.

13

Утром выходиого дия Грнгорий Петрович Немиров повез Клаву на Карельский перешеек «догонять зиму». Идея прниадлежала шоферу Косте и его жене Татьяие, отлнчной лыжнице.

Машниа вынесла всю компанию за город, в белые поля н утонувшие в иетроиутых сугробах леса, мимо заколоченных дач, мнмо безлюдиых полустанков, через мосты над дымящнмнся ручьями, через железиодорожиые переезды под вздериутымн к иебу полосатымн палкамн шлагбаумов, обгоняя пригородные поезда, заполненные лыжннкамн, н разгоняя иа улицах поселков играющих ребятншек.

Остаиовились у сторожки заводского пионерлагеря, раскнувшего в сосиовом лесу десяткн нарядных дач с заваленнымн снегом балконамн. Наскоро закусилн у сторожихн н заторопнлнсь на воздух.

У Немнрова лопиуло креплеине. Запасливый Костя дал ему иовый кусок ремия, посоветовал, как лучше крепить, н занялся своимн лыжами. Услыхав, что Немиров тихонько поругнвается, Костя весело сказал:

— Да, Григорий Петрович, это вам ие заводом управлять.

Но помощи ие предложнл.

Татьяиа первою стала на лыжи и сразу умчалась далеко вперед. За иею помчались Костя н Клава — ее красный лыжный костюм долго мелькал среди розоватых стволов сосен.

Немиров вышел последннм н ие спеша углубнлся в лес по сиежной целиие, прислушнваясь к удаляющейся переклнчке лыжинков и к уднвительной тншнне, которую не заглушали, а только подчеркивали голоса. Если ветер и был, он проносился поверху, иад деревьями, нзредка стряхивая рассыпающнеся в пыль пласты сиега, а внизу ни одна ветка ие шевелнлась, и елочки, кое-где прижившиеся среди сосен, стоялн еле вндные, запахиувшись сиежиымн шубами.

Где-то близко засвнстела белка, проскакала по снегу рыжевато-серым комком н с сухим треском взлетела по стволу сосны в нескольких шагах от Немирова. Закииув голову, ои разглядел в вышине ее свеснвшуюся с ветки насторожеиную мордочку и любопытиый глаз.

— Ау-у! Грн-ша! — звала Клава.

Он побежал на голос. Лыжи послушно скользили по тонкому, чуть оседавшему насту. Палки хорошо вонзались остриями в наст и пружинили, помогая отталкиваться. Розоватые стволы все быстрее и быстрее проносились мимо. И вдруг расступились, открыв крутой спуск, поросший елками и низкорослым кустарником.

Прежде чем Немиров успел оглядеться или хотя бы притормозить, лыжи понесли его вниз. Мгновенный приказ мозга: «Не теряться!» — и он сосредоточил все силы на том, чтобы вовремя уворачиваться от возникающих из снега пеньков, елочек и красноватых оголенных кустарников, капканами преграждающих путь. Он слышал только свист воздуха, видел только искристо-белую, с пятнами мелькающих препятствий ленту, которая разматывалась перед ним с чудовищной быстротой. Потом его заслезившиеся от ветра глаза приметили совсем близко черную полоску воды, окаймленную сугробами. Он отчаянно повернул и с разгона ухнул в сугроб.

Отряхиваясь и отфыркиваясь от снега, залепившего глаза и рот, Немиров сел и прислушался. Добродушно журчал ручеек. Шелестел снег, медленно сползая с ветвей потревоженной ели.

Склон горы выглядел снизу еще более крутым, чем он виделся сверху. Одинокая лыжня петляла по нему, запечатлев головокружительный путь Немирова.

На самом верху горы неожиданно появилась тоненькая фигурка в красном костюме. Прежде чем Немиров прокричал предупреждение, она смело ринулась вниз. За нею возникло еще двое лыжников, но Григорий Петрович следил только за Клавой: вот она увернулась от елки, вот обошла пень, вот описала полукруг, обходя расставленный кустарниками капкан... Сумасшедшая, она же влетит в воду!.. После воспаления легких!..

— Кла-а-ва!..

Но Клава уже барахталась в снегу неподалеку от него, смеясь и что-то крича. А мимо нее пронеслась Татьяна, запросто перескочила через ручеек, сделала искусный поворот, похожий на вираж самолета, и шагом пошла назад, к тому месту, где рядом с Немировым и Клавой зарылся головой в снег Костя.

— А мы искали спуск получше,— оживленно объясняла Клава, пока муж отряхивал с нее налипший снег.— И вдруг смотрим: что за слаломист объявился?

Клаве захотелось повторить спуск, ей было обидно, что она упала. Но Немиров запротестовал: вымокнет в снегу и опять простудит легкие. Они пошли искать более пологий склон, оторвавшись от Татьяны и Кости.

— Хорошо тебе, Клава?

Его переполняла нежность к ней вместе с ощущением собственной молодости и здоровья.

Она ласково улыбнулась и сказала:

— А как Татьяна перескочила! Прямо завидно.

Ее обычно бледные щеки разрумянились, отчего она очень похорошела. Высокая, худощавая фигурка в лыжном костюме была очень стройна, издали Клаву можно было принять за подростка. Странно, в ней не было ничего, что прежде привлекало Немирова в женщинах: ни задорной веселости, ни страстности, ни кокетливости. Клава редко смеялась и всегда была сдержанной, даже холодноватой. Она была миловидна, но ее лицу не хватало красок и той живости, что преображает и делает пленительными самые несовершенные черты. Стыдливая в проявлениях чувств, скромная в быту, работящая и старательная в работе, она оживлялась преимущественно в тех случаях, когда ей перечили, и умела настоять на своем. В редкие часы и минуты веселого оживления она становилась совсем новой, другой, незнакомой — такой, какою могла бы быть... Могла бы быть, если бы что?.. Он не решался договорить вопрос даже самому себе. Властный и требовательный со всеми, он робел перед Клавой. Она была для него желанной, как ни одна женщина, и казалась непрочной — то ли заболеет, то ли просто ускользнет почему-то. При всей ее скромности она была самостоятельна и непокорна, и если она сердилась на мужа, у него было ощущение, что ей ничего не стоит тихо выйти из дому и никогда не вернуться.

Теперь она шла рядом с ним, не обгоняя его и не отставая, уклоняясь от отяжеленных снегом ветвей. На щеках разыгрался румянец, полуоткрытые губы горят, а глаза, вобравшие в себя блеск солнца и снега, смотрят куда-то в пространство, будто чего-то ждут, и кто знает, что они там видят и что высматривают!

— О чем ты думаешь, Клава?

Она встрепенулась и застенчиво ответила:

— Да ни о чем особенно. Так, о пустяках... А мы дорогу найдем?

И стала выкликать Татьяну и Костю.

Они вернулись в город к обеду, разгоряченные и голодные. За обедом Григорий Петрович радовался веселости Клавы и ее превосходному аппетиту.

— Каждое воскресенье будем ездить за город,— решил он.

— Обязательно! — живо поддержала Клава.

В кабинете топился камин, и Григорий Петрович надеялся посидеть с Клавой у огня, но Клава подошла к нему и положила руки ему на плечи.

— Спасибо за чудный день. Ты не обидишься, Гришенька, что мне придется немного поработать? Знаешь, отчет...

— Неужели так необходимо именно сегодня? — огорчился он.

— Да,— сказала Клава, и упрямая складка появилась у нее на лбу, как всегда, когда он пытался отвлечь ее от дела. — Ты ведь тоже почти каждое воскресенье занят!

— Ну, я! — воскликнул Немиров

— А что — и сравнить нельзя? Зазнайка! — Она шутливо покачала головой и ушла к себе, притворив дверь.

Она была ласкова с ним и, наверное, удивилась бы его мыслям. А он чувствовал: вот она опять ускользнула от него. Разложила на столе длиннющие сводки, погрузилась в бесконечные, невнятные цифры... У Немирова никогда не хватало терпения копаться в цифрах, ему нужно было зрительно воспринимать производство, цифры оживали для него только в цехах или в живом разговоре с людьми. А для Клавы в них заключены смысл и поэзия, они у нее говорят, доказывают, опровергают, напоминают, кричат. И она с ними накоротке, как хозяйка.

И вот ведь тихая она, немногословная, никому не бросается в глаза, а как ценит ее Саганский! Выдвинул начальником планового отдела завода — неслыханное выдвижение для такой молодой женщины! А она даже не оробела, улыбнулась удивлению мужа и просто объяснила: «Так это же естественно, для того меня и учили!» Немиров знал: восемнадцатилетней девушкой она поступила на металлургический завод и, работая цеховым плановиком, без отрыва от производства окончила институт. Григорий Петрович легко представлял себе, как она с тихим упорством год за годом делила свое время между работой и учебой. Развлекалась ли она когда-нибудь? Влюблялась ли? Как-то раз Клава намекнула, что была в ее жизни неудачная любовь, но Григорий Петрович стеснялся расспрашивать и боялся признания, которое причинит ему боль. Она любила его спокойной любовью, полной дружеского доверия. Но ему чудилось, что женщина в ней еще дремлет, и желание расшевелить в ней женщину, пожалуй, всего сильнее притягивало к ней Немирова. Неужели она так и проживет рядом с ним, никогда не потеряв своей ласковой уравновешенности?

Только один раз случилось что-то, чего Григорий Петрович так до конца и не понял. Он долго уговаривал ее заказать себе вечернее платье, а она отказывалась: «Зачем? Куда я пойду в нем?» Потом уступила мужу и сшила себе гладкое черное платье, украшенное кусочком желтоватого кружева у шеи.

— До чего же ты хороша в нем, монашка! — сказал Григорий Петрович, обнимая ее.

Клава резко отстранилась. Лицо ее побледнело, а затем залилось розовой краской. Губы задрожали, будто она собиралась заплакать

— Ты что, Клава?

Она справилась с собою и через минуту спокойно ответила:

— Почему же монашка? Я думала, тебе понравится

Он упросил ее остаться в новом платье, и тот вечер они провели вдвоем, устроили себе праздничный ужин. Клава была на

редкость оживленной, смеялась по любому поводу. Неловкое движение его руки все испортило — вино расплескалось на новое платье, Клава вскочила и начала деловито отчищать пятна. Он угадал, что не тревога о платье подняла ее, а желание восстановить обычную уравновешенность.

— Ты меня любишь, Клава? — взволнованно спросил он.

— Ну конечно,— ответила она простодушно.

Полюбив ее — это случилось сразу после войны, когда Немиров перед отпуском заехал в Ленинград да так и застрял на весь отпуск возле Клавы,— он думал, что знакомство Клавы с заводской жизнью сблизит их. В общем, так и вышло. Клава заинтересованно слушала его и порой давала очень дельные советы, даже научила его серьезней и глубже вникать в вопросы экономики. Немирову было интересно узнавать от Клавы жизнь другого завода изнутри, тем более, что Саганский не любил «выносить сор из избы» и своими бедами и тревогами ни с кем не делился. Но когда Григорий Петрович попробовал через жену проверить ход дела с отливками, Клава тактично уклонилась: «Ты съезди к Саганскому, на месте узнаешь лучше,— и лукаво добавила: — Я ведь тоже представитель завода-поставщика».

Всем остальным она делилась с мужем охотно. Но получилось так, что с каждым месяцем Немирову было все трудней откровенно высказывать Клаве свои мысли. Его первые шаги на новом месте Клава одобрила, его планы восхищали ее. Но у Клавы была слишком хорошая память. Иногда она возвращала его к тому, что он говорил ей несколько месяцев назад, спрашивала: «Ну как, получилось?» Напоминание было полезно, но признаваться в том, что он забыл или не сумел осуществить свои смелые намерения, не хотелось. А с каждым месяцем неосуществленных намерений набиралось все больше. Знакомясь с заводом, он был убежден, что быстро наладит его. За спиной Немирова стояли его опыт и слава, приобретенные в годы войны на Урале. Уверенный в своих силах, он строго и даже презрительно критиковал своего предшественника за узость, делячество и мягкотелость.

«Однако он вытянул военное производство в самое трудное время»,— недовольно замечала Клава.

Да, заслуги у предшественника Немирова были немалые, но у него не хватило знаний и энергии, чтобы повернуть предприятие к новым, послевоенным задачам.

Григорий Петрович принялся за дело с большим подъемом, но перестроить и наладить работу огромного завода с многообразным производством оказалось труднее, чем представлялось со стороны. Монтаж и освоение нового оборудования затягивались, хотя Немиров днем и ночью «нависал» над монтажниками, не давал покою начальникам цехов и мастерам, не жалел денег на повышение квалификации рабочих и обучение новичков.

Громоздкая машина управления скрипела, хотя Немиров смело переставлял работников: одних выдвигал, других снимал или понижал в должности, добивался перевода знакомых инженеров с Урала, подстегивал людей приказами и выговорами.

Оглядываясь на сделанное, он видел, что достигнуто многое. Завод вышел из периода восстановления, развернул производство, начал уверенно набирать темпы. Оставалось как будто только отточить, отработать всю систему руководства и планирования, подтянуть отстающие участки, добиться ритмичности... Но в это время министерство пересмотрело программу завода и полностью сняло с производства хорошо освоенную серийную оборонную продукцию, за счет которой было всего легче выполнять и перевыполнять план. Вместо нее заводу поручили освоить выпуск новых и технически сложных изделий. И, что совсем подкосило на первых порах Немирова, министерство отказалось от довоенного типа турбин и предложило перейти к выпуску турбин более мощных и сложных, являвшихся новинкой турбостроительной техники.

Как это усложнило положение директора! Большая и кропотливая организационно-подготовительная работа мало кому известна, а наглядных достижений нет. Сколько трудного возникает ежедневно, и все идут к директору: он должен решить, помочь, обеспечить, найти выход — на то он и директор! Руководители цехов нервничают и предъявляют, подобно Любимову, множество требований. Рабочие ворчат на разные неполадки и склонны винить во всем неповоротливое начальство. А твои сознание и совесть не позволяют тебе ни отказаться от самой трудной задачи, ни просить отсрочки,— да какие могут быть отсрочки, когда кругом все кипит и бурлит, когда с каждой газетной полосы взывают к тебе победы твоих товарищей: не отставай, уважение народа и слава — тем, кто умеет идти вперед, преодолевая все препоны.

Кому тут пожалуешься? Даже жене не скажешь, что порой не под силу груз. Вскинет брови, недоверчиво воскликнет: «Тебе-то?»

Сидя один перед опадающим в камине пламенем, Немиров насмешливо вздохнул: ох, далека победа, далека слава! Вот-вот придет обращение краснознаменцев, а тогда все во сто крат усложнится. Он будто видел это обращение, напечатанное жирным газетным шрифтом: «Мы вызываем вас, славных ленинградских турбостроителей...» Да, что-нибудь в этом роде! Как отвергнешь? А если не отвергнешь, как выполнишь?..

Григорий Петрович смотрел на медленно угасающие среди золы красные пятна углей и вдруг поймал себя на мысли, возникшей еще во время разговора с министром и, видимо, тайно угнездившейся в мозгу. Министр сказал тогда, успокаивая

и подбадривая: «Во всяком случае, первая очередь Красноземенки должна быть пущена к осени...» Значит, вторую очередь можно и оттянуть немного?.. Мелькнувшая успокоительная мысль была тотчас же отброшена. А вот сейчас вылезла и зашептала: «Под праздничное настроение по случаю пуска первой очереди тебе простят задержку второй... ну, не намного, месяца на два-три...»

Григорий Петрович поднялся, закрыл трубу камина, энергично прошелся по кабинету, разминаясь и разгоняя дурные мысли. Вот еще, приберегать подобную лазейку! Да и буду ли я доволен, если мне позволят укрыться в ней? Нет, сам себе противен буду, заскучаю и увяну, как если бы меня вдруг назначили руководить артелью «Метбытремонт»... Значит, к черту слабость!

Он надеялся, что Клава освободилась, но Клава сидела за своим столом, погруженная в работу. Григорий Петрович постоял перед книжным шкафом, выискивая, что бы такое почитать. Но читать не хотелось.

И вдруг он понял, чего ему хочется.

Повеселев, накинул пальто, шапку, тихонько, как убегающий из дому школьник, вышел из квартиры, стараясь не хлопнуть дверью.

В проходной завода одна из молодых охранниц недоверчиво взяла его пропуск, старательно прочитала, покраснела и сказала:

— Ох! Проходите, пожалуйста.

Немиров слышал, как она фыркнула за его спиной и громким шепотом сообщила подруге:

— Директор! Честное слово, никогда не скажешь.

Тих и пустынен был заводской двор. По фасаду заводоуправления светилось всего несколько окон. Немиров вошел в полутемный вестибюль и зашагал по неосвещенному коридору «на огонек».

Из кабинета начальника снабжения неслись странные звуки. Не то мужской, не то женский голос мурлыкал:

Мы красна-я кава-ле-рия, и про нас
Та-ти-та-рн-та-ти-та-та ведут рассказ...

Немиров открыл дверь. Начальник снабжения сидел один в кабинете, в мягкой домашней куртке, с папиросой в зубах. Увидев директора, он отложил папиросу, но клочок дыма, запутавшийся в его всклокоченных волосах, еще курился надо лбом.

— Вам бы в оперу, а не снабжением заведовать,— сказал Немиров, с нежностью глядя на этого человека, обложенного листками нарядов, заявок и телеграмм.— Почему работаете сегодня?

— Привожу все к одному знаменателю,— охотно пояснил начальник снабжения, отлично знавший тайное пристрастие директора к людям, которых и в выходной день будто магнитом тянет на завод.

— Ну, ну... А баббит для турбинного достали?

— Экое дело! — притворно удивился начальник снабжения.— Любимов нажаловался? Из-за моего баббита у него турбину затирает!

В плановом отделе две машинистки перепечатывали отчет. Каширина, конечно, не было, и это рассердило Немирова: засадил девушек на все воскресенье за машинки, а сам вола вертит! Не думая о том, что и Каширин мог взять работу на дом — хотя сам же никак не поощрял этого,— Немиров сравнил своего плановика с Клавой и позавидовал Саганскому: вот у кого плановик отдается делу всей душой! Клава небось спины не разгибает, а этот пожилой толстяк никогда не переработает лишнего... Впрочем, справедливо ли это? Пусть он неповоротлив, зато опытен, аккуратен, исполнителен. Еще через минуту Немиров уже думал, шутливо обращаясь к Саганскому: да-с, уважаемый, мой Каширин уже и отчет на машинку сдал, а ваша Клавдия Васильевна еще только пишет!..

Непривычная тишина стояла на всей территории завода, но Немиров знал: в опустевших корпусах идет своя особая, тоже напряженная и деловая жизнь. В механическом цехе копаются у разобранного станка ремонтники, их и не разглядишь сразу, но без их воскресного труда сорвется завтрашний выпуск. В цехе шахтного оборудования замешивают бетон, заливают фундаменты: идет подготовка станков для новой бригады скоростников. А в инструментальном царство маляров. Евстигнеев настоял-таки на своем: заново белит стены и красит станки светлой краской — культура производства, хоть в белых халатах работай, хорошо!

Было приятно подойти к Евстигнееву, как всегда приятно встретиться с человеком, которому помог удовлетворить заветное желание. Евстигнеев стоял на стремянке, зажав в зубах винты, и что-то исправлял на электрораспределительном щите.

— Ты бы еще малярную кисть взял, начальник цеха! — сказал Немиров, сам умевший делать многое и уважавший это умение у других.

— Не звать же монтера из-за такой малости,— смущенно пояснил Евстигнеев и слез со стремянки.— Смотрите! — сказал он восторженно.— Не узнать цех, а? Красавец!

Он угостил директора «звездочкой», и Немиров с жадностью затянулся едким дымком: он не курил со вчерашнего дня.

— Теперь цветы разводить будешь?

— И буду! — воскликнул Евстигнеев.— Обязательно разведу. У меня уже и садоводы нашлись!

И вдруг без паузы и без перехода обиженно заявил:

— А Воловика, Григорий Петрович, как хотите, не отдам! Это что же такое? Моего лучшего стахановца, рационализатора... да он мне уже на восемьдесят пять тысяч экономии сделал своими изобретениями! Вырастил стахановца, взлелеял, в мастера выдвигаю — и ни с того ни с сего отдавай Любимову? Не отдам! Пусть своих выращивает.

Немиров поморщился. Этот Воловик положительно весь завод взбаламутил! А вчера вечером Диденко налетел, как смерч: безобразие, глушат творческую инициативу, вечная волокита с изобретениями, придется слушать на парткоме!

— Воловика ты отдашь,— сухо сказал Немиров.— И насчет мастера не ври. Никакой он у тебя не мастер, ты это придумал вчера, чтоб не отпускать. Из-за одного слесаря шуму на весь завод.

Евстигнеев был не из тех, кто легко подчинялся, и Немиров ушел раздраженным.

В прокатном цехе ремонтировали среднесортный стан, вальцы были сняты, и оголенная станина выглядела странно и печально. Мастер участка обрадовался директору и, еле поздоровавшись, начал горячо выкладывать свой проект малой механизации.

— Два рольганга! — говорил он, для убедительности потрясая перед Немировым двумя пальцами.— Мы почти все сами сделаем, только валики обточить и моторы достать. Я уж и с цехами договорился, сделают, было бы ваше распоряжение. Два рольганга! И еще наклонные стеллажи, но это уж мы все сами. А рольгангов два!

— Два! Два! — повторил Немиров.— Вы понимаете или нет, что вашу работу можно всунуть цехам только в ущерб программной продукции? Я вам уже говорил: в следующем квартале — пожалуйста!

— Окупится, Григорий Петрович, окупится! Честное слово, окупится! — умоляюще твердил мастер, все еще потрясая пальцами.

Немиров, как бы между прочим, расспросил, кто и чем обещал помочь. Договоренность с цехами, на которую мастер ссылался, могла означать только одно: взамен тоже кое-что обещано. Уж кто-кто, а Немиров знал все эти межцеховые любезности!

— Ладно,— сказал он с усмешкой.— Завтра в десять утра по селектору поговорим все вместе. Если они возьмутся и моей головы не попросят, разрешу!

— Да Григорий Петрович! — вскричал мастер.— Вот вам мое слово: возьмутся, вы только немножко нажмите!

— Ах, еще и нажать нужно? Мало вы им пообещали, мало!

Фасоннолитейный цех сегодня работал, и после тишины и безлюдья других, неработающих, цехов было по-новому

удивительно и радостно алое пламя, вздымающееся над электропечами, строгое движение человеческих фигур, озаренных пламенем, визг пневматических зубил и сияние автогена в руках обрубщиков, жаркое и шумное горение мазута, разогревающего ковш перед разливом металла. Эту картину напряженного и слаженного, сурового и прекрасного труда Немиров видел множество раз, но до сих пор не привык к ней. Он с мальчишеских лет полюбил производство, и оно всегда возбуждало его и словно подымало, он становился энергичней и добрей, легко увлекался, охотно выслушивал людей и щедро обещал то, что у себя в кабинете отверг бы как невыполнимое. В такие минуты он верил, что выполнит все.

Он поговорил со сталеварами; покурил с одним, пошутил с другим, у третьего взял очки и сквозь темные стекла заглянул в печь на кипящую сталь.

Затем он прошел в «земледелку» и поднялся по лесенкам на самый верх трехэтажного сооружения, где землю очищали, просеивали, укрепляли сухим песком, замешивали смолой и растирали, как тесто, крутящимися массивными колесами — бегунами, отправляя ее отсюда на ленте транспортера черной, вязкой и жирной массой на формовку. На лесенках, напоминающих корабельные трапы, и на площадке возле бегунов все было покрыто черной пылью, пыль клубилась и в воздухе, но, бывая в литейном, Немиров неизменно заходил полюбоваться «земледелкой». Это сложное сооружение было уже при нем задумано и осуществлено, заменив дедовский ручной труд.

На одной из лесенок Немирова догнал цеховой технолог Попов, как всегда полный новых планов. Попов вместе с группой научных работников разрабатывал новаторский способ литья стали, который должен был, в случае успеха, полностью вытеснить земляную формовку. Лабораторные опыты в институте прошли удачно. Сейчас Попов добивался высокочастотной установки для производства опытов в цехе.

— Установку я вам достану,— пообещал Немиров и улыбнулся в ответ на восторженную благодарность технолога.— Вы что, жмотом меня считаете или консерватором? Раз надо — значит, будем добиваться.

Немиров всячески поддерживал искания Попова и ученых, хотя в душе его таилось не осознанное им самим недоброжелательство: ему было жалко «земледелки» и всех волнений и удовлетворения, доставленного механизацией процесса заготовки формовочной земли. Как подгоняла, не давала передохнуть и успокоиться жизнь! Только взобрался на высоту — перед тобою вырастает новая...

Когда Немиров вернулся к печам, одна печь уже послушно наклонилась, выливая в ковш остатки сверкающей стали. Гигантский крюк легко поднял ковш и понес его к рядам

приготовленных опок. Ковш опустился над крайней опокой и, разбрасывая золотые искры, выпустил в воронку ослепительную струйку металла. Просмоленная земля вспыхнула, сквозь щели опоки пробились синеватые языки пламени. Формовщица быстро откатила в сторону каретку с пылающей опокой, механизм приподнял каретку и перекатил ее на рольганг. Подхваченная вращающимися валиками, опока побежала, как живая, в другой конец цеха.

— Здравствуйте, Григорий Петрович,— сказала формовщица, вытирая потное лицо.

Немиров знал эту женщину и не раз помогал ей чем мог. Вдова погибшего в дни блокады сталевара, Евдокия Павловна Степанова растила одна своих трех мальчишек. Старшего из них Григорий Петрович недавно устроил в турбинный цех.

— Как сынишка, работает?

— Да какое там! — со вздохом сказала Евдокия Павловна.— Его бы на станок поставить, а то на подсобных работах какая же квалификация?

— То есть как «на подсобных»? Я велел на станок поставить.

— Не знаю, Григорий Петрович. Или станков свободных нет?..

Немиров вытащил книжку, записал на память: «Сын Степановой», обещал завтра же уладить дело. Евдокия Павловна благодарно кивала головой и повторяла:

— Уж, пожалуйста, не забудьте.

Уходя из цеха, он снова увидел ее в сторонке рядом с двумя другими женщинами.

— Обещал, точно обещал! — говорила Евдокия Павловна, не замечая директора.

— Ну-ну,— сказала одна из женщин.— На то его и зовут Обещалкиным!

Он не сразу понял, что обидное прозвище относится к нему.

Кровь хлынула в лицо. Он торопливо вышел за ворота цеха и почти побежал по безлюдным дворам и аллеям между корпусами, бормоча неясные ему самому угрозы: «Ну, погодите... ну, хорошо же!» Прозвище казалось ему чудовищно несправедливым. Он — Обещалкин? Он, работающий дни и ночи, чтобы все успеть, со всем справиться? Он, возродивший этот завод и сделавший для него так много, что, пожалуй, никто другой не сумел бы сделать больше!.. Обо всем думаешь, тревожишься, хлопочешь, за всех решаешь, за все отвечаешь... и вот благодарность!

Он был вне себя. Но сквозь ярость и обиду память начала услужливо подсказывать его же собственные невыполненные обещания, данные сгоряча, от желания все успеть, всего

добиться. Да тем же литейщикам, н инструмеитальщикам, и турбинщикам... Искреиие верил, что выполнит, а потом ие удалось, или забылось, более важные дела оттесиили... Зиачит, правда?

Ои вызвал в памяти десятки дел, обещаииых нм н выполиеиных. Коиечио же, таких дел оказалось гораздо больше. И для литейиого, и для прокатки, и для турбиииого... Да только кто помиит сделаииое? Сделаиное прииимается как должиое! И то сказать: зачем нначе директор?

Встречиые заводскне людн узиавали Немнрова н с особой приветливостью расклаиивались с иим. Он понимал: присутствие директора на заводе в выходиой день им приятио,— вот, мол, ие гуляет, не отдыхает, а все с иами... Может лн быть, что н они иазывают его за глаза этим глупым прозвищем?

Ои смотрел иа себя как бы со стороиы, чужимн глазамн. Подтяиутый, суховатый, властиый, даже, пожалуй, крутой — такнм ои прнвычио вндел себя. Такнм он любил себя: добреиьким ие прнтворяется, ии с кем ие заигрывает, а дело делает и все вопросы решает быстро, эиергичио... Может лн быть, что этот портрет ие точен, что люди вндят иедостатки, которых ои сам за собою не замечает?

Вспоминв трех формовщнц, ои подосадовал, что по-ребячьи убежал от обнды, иадо было поговорнть с инмн, спроснть, что же он иаобещал н ие выполиил. Пусть бы нм было стыдио, а ие ему! И он уже бодро решил: сам пойду навстречу, выведу это прозвнще.

Отброснв обиду и повеселев, ои забрел в лопаточиый цех и чуть ие попал в иедобрые объятия старшего мастера Петра Петровнча Пакулииа. Пакулни иалетел иа него в полутемиом проходе, со злобой крнча:

— Лучше бы совсем ие прнходил, без тебя сделали!

Разглядев директора, ои смутился:

— Простнте, обознался. Думал, Епнщкин... Станочки иовые опробуем, так ои вчера божнлся: «Приду с утра»,— а где ои? Хорошо, я ие повернл, сам прншел. Пойдемте, Грнгорнй Петровнч, полюбуйтесь!

Немнров старался не показывать своего пристрастия, но работники лопаточиого цеха все-такн зиали, что директор — сам бывший фрезеровщик — с особой любовью отиосится к их цеху, где господствуют фрезериые стаикн н выполияются работы высокой точиости. А сегодия здесь было чем полюбоваться. Оттеснив старые, хорошо знакомые Немнрову станочки, во всю длину цеха выстроилнсь мощиые скоростиые станкн — иовнка советского станкостроеиия. Несколько месяцев иазад Григорий Петровнч миого спорнл н волновался, добиваясь этих стаиков так же, как теперь добивался новых станков для турбиииого цеха. По его настойчивым просьбам завод «Советскнй стаикостроитель»

нзготовнл этн станки на месяц раньше срока. Григорий Петрович подошел к инм, как к своему трофею.

— Ну-ка, запусти! — сказал ои наладчику.

Наладчик приладнл фрезу, закрепил болваику, включил мотор н отошел, уступая место днректору.

Старательными движеииями человека, давно ие работавшего у станка и боящегося осрамиться иа глазах у людей привычных, Григорнй Петрович иеторопливо опробовал управленне: поводил фрезу; подиял, опустил н поводил нз стороны в сторону стол; повертел регуляторы скоростн н подачн. Станок был послушеи, рычаги размещались удобно, под рукой. Григорнй Петровнч подвел фрезу к болванке. Фреза легко н сильно вгрызлась в металл, оставляя за собой блестящую выемку. По легкостн ее движення угадывались мощность станка и отмеииое качество его механизма.

— Хорош! — сказал он, остаиавлнвая стаиок.— Так вот, Петр Петрович, чтоб теперь ни одиой задержки с лопатками больше ие было! И меиьше ста двадцати процентов плана чтоб я от вас ие получал. Не вытяиете — отберу стаикн.

— Почему же ие вытяием? Только...

И Пакулии, а за ним цеховой механик стали выкладывать различные нужды цеха.

— Так, так, больше иичего не припомиили? — съязвил Немиров, про себя отмечая действительио важные и неотложные дела.— Думаете, в выходиой день я добрей? Наобещаю? Чтоб вы меия потом Обещалкииым иазывалн?

Пакулии и механик покраснели. Кто-то из наладчиков весело охнул.

— Думаете, ие знаю? Станьте на мое место н выполняйте все, что с вас потянут, тогда я посмотрю, на что вы горазды.

И, довольиый собою, Немнров пошел к выходу. Петр Петровнч проводил его до дверн и по путн кое-что все-таки выпросил.

— Ладио уж,— сказал Немиров, делая пометкн в записной книжке, и спросил, чтобы переменнть разговор: — На днях в турбнином Нниолая Пакулина в партию прннимали. Сын?

Петр Петрович кивиул головой. Лицо его сразу потускнело.

— Что? Или...

Петр Петровнч безнадежно махнул рукой, тихо сказал:

— А какой парень!

И, поклонившнсь так, что совсем скрыл свое лнцо, быстро пошел назад, к станкам.

Во дворе Немнрову повстречался Алексей Полозов Сунув руки в карманы добротного пальто, инженер энергнчно шагал к турбинному цеху.

— Вы почему не отдыхаете? — спросил Немиров, останавливая его.

— А вы? — вопросом на вопрос ответил Полозов.

Григорий Петрович принципиально не любил подхалимства и робости перед начальством, но полная независимость по отношению к нему все же коробила его. Тон властного хозяина, принятый им на этом заводе, создавал расстояние между ним и подчиненными. Для Полозова этого расстояния, видимо, не существовало.

— Я своим временем располагаю сам,— миролюбиво, но многозначительно сказал Григорий Петрович.— А у вас, мой друг, я вправе спрашивать отчет.

— Я не понял, что вопрос задан в этом смысле,— ответил Алексей.— Отчитываюсь: в цехе сегодня переставляют некоторые станки, чтобы сократить и упростить прохождение деталей. Работой руководит механик. Я зашел проверить, как идет дело.

— Так пойдемте, проверим вместе.

Он взял молодого инженера под руку. Интересно, почему Алексееву так нравится этот ершистый парень? Любимов жалуется на его угловатость и дурной характер. Похоже, что с парнем и впрямь нелегко работать.

— Чья идея переставить станки? — спросил он в цехе, после придирчивой проверки убедившись, что перестановка целесообразна и умно придумана.

— Моя,— коротко ответил Полозов,— утверждена главным инженером.— И отошел от директора, чтобы дать указания монтажникам.

Заметив, что директор остался один, механик вежливо подошел к нему и тут же выложил все свои заботы. Черт знает что! Стоит зайти в цех, и сразу любой человек обрушивает на тебя все свои нужды и требования. Как будто у директора в какой-то волшебной копилке хранятся и новые станки, и заваль инструментов, и денег без счету!

Полозов вернулся и слушал, не вступая в разговор.

— Кстати,— бросил ему Немиров, радуясь, что может сообщить о выполненном обещании.— Я велел Евстигнееву отпустить Воловика.

— Очень хорошо! — воскликнул Полозов, и в глазах его мелькнуло торжество.

— Так насчет электрокопировального станочка, Григорий Петрович, продолжал вежливый механик, возвращаясь к прерванным просьбам.

— Не выпрашивать надо без конца, а внутренние резервы смелее находить,- резко сказал Немиров.— Привыкли готовенькое получать.

Выйдя за ворота завода, он пожалел, что нет машины. После дня, проведенного на воздухе и в движении, он устал.

Клава все еще работала. Григорий Петрович прошел в свой кабинет, просмотрел записи в блокноте, выписал на отдельные листки все поручения, которые следовало передать отделам заводоуправления.

Перечитав, что получилось, Григорий Петрович сунул листки в карман, лег на диван, закинул руки под голову и задумался.

Радужное настроение, державшееся всю первую половину дня, давно улетучилось. Рассеялось и раздражение, вызванное обидным прозвищем,— теперь он только усмехнулся, вспомнив о нем. Мозг его был ясен и готов к спокойному анализу и строгим выводам.

«Я недоволен состоянием завода и недоволен собою,— трезво понял он. И тут же спросил себя: — В чем же дело?» — потому что давно знал, как плодотворно такое недовольство собою, если разберешься в его причинах.

Он снова мысленно переворошил свои записи. Были тут большие, серьезные дела, каких у директора всегда достаточно. Но были и дела мелкие, случайные; их могли и должны были решить без него. Немиров знал мудрое правило: у хорошего директора суеты не бывает. Если к директору ломятся лично и по телефону сотни людей — значит, он плохой директор. На Урале ему как будто удалось добиться настоящего порядка. Здесь ему никак не удавалось выпутаться из плена мелких дел. Правда, на уральском заводе производство было однотипное, устоявшееся, а тут несколько новых видов продукции, освоение, техническое переоборудование цехов, все по-новому. И все же...

Опыт у отделов немалый, работники подобраны толковые. А не справляются. Почему? И он сам, видимо, тоже не справляется, иначе не появилось бы это нелепое, обидное прозвище! Вот с освоением и выпуском новой турбины... Есть, конечно, у Любимова свои недостатки, но начальник он, бесспорно, опытный, серьезный; коллектив цеха боевой, сознательный... а план срывают!

Немиров мог бы назвать десятки частных причин и помех. Но за всем этим стояла большая, общая причина. Какая?

Беспощадно проверив себя и все трудности производства, Немиров ответил себе: причина в том, что размах и техническая сложность работ выше, чем подготовленность, организация и технические возможности завода. Вот в чем причина! И руководитель завода должен или «нагнать», или честно признаться в том, что «нагнать» не может, не умеет. И тогда... Да, одно из двух: или доказать министерству, правительству, партии, что на завод возложены задачи не по силам, или признать, что задачи посильны, но сам ты слаб.

Все протестовало в нем против таких выводов.

Есть на заводе потенциальные, скрытые возможности

«нагнать»? Да, конечно, есть. Опыт подсказывает: временное несоответствие преодолевается. Сложность задач подгоняет рост людей и организации. Их подкрепляет сила всей страны с ее теперешней могучей техникой, с ее наукой, все теснее сплетающейся с производством. Значит, надо только суметь теснее сплести их, надо только суметь оснастить производство всем необходимым и организовать его... Сумею я или нет?..

Телефонный звонок прервал его размышления.

— Григорий Петрович, пришло! — прокричал в трубку возбужденный голос Диденко.— Сейчас мне звонил дежурный из парткома, прилетел на завод, срочным пакетом пришло!..

— Здравствуй, Николай Гаврилович! — как можно спокойней сказал Немиров.— Я что-то не пойму, кто прилетел и что пришло.

— Добрый вечер! — с досадой сказал Диденко и уже спокойнее сообщил: — Пришло обращение. То самое.

И он начал читать, не дожидаясь согласия:

— «Директору завода Немирову, парторгу ЦК Диденко...»

— Ну, ну,— поторопил Немиров.

— «Дорогие товарищи! Вы знаете, что десятки новых первоклассных предприятий нашей растущей социалистической промышленности с нетерпением ждут электроэнергии строящейся Краснознаменской станции...»

— Так,— сказал Немиров.— Что просят?

— Не просят, Григорий Петрович, а вроде требуют — так звучит эта просьба.

Оба помолчали, понимая друг друга.

— Ну что ж, Николай Гаврилович, ночь наша, будем думать, пока голова не заболит?

— Голова теперь должна быть ясная,— уже совсем спокойно сказал Диденко.

— Давай встретимся, Николай Гаврилович, утречком, поразмыслим вместе: ты, я и Алексеев.

— Давай, Григорий Петрович. Ну, бувай здоров!

Опустив трубку на рычаг, Немиров так и не снял с нее руки и застыл возле телефона в позе растерянной и озабоченной, не вязавшейся с только что проявленной им уверенностью.

— Гриша, ты занят? — позвала его Клава.

Он устремился на ласковый голос. На мгновение его охватило детское желание уткнуться головой в ее колени, как в колени матери, хоть на минуту ни о чем не думать, ни за что не отвечать, никуда не торопиться...

Перед Клавой на столе все еще лежали отчеты и сводки.

— Знаешь, Гриша,— сказала она, повернув к нему оживленное лицо.— Я все яснее понимаю: наши планы — только черновики. Иногда удачные, иногда небрежные, но черновики.

А чистовик пишут все. Понимаешь? Весь завод. И чистовнк иамного лучше, нитересиее, больше!

— Ну, иу,— пробурчал Немиров.— Вот примем обязательство досрочио сдать Красиозиамеике турбииы, вызовем вас иасчет отливок, тогда и прнвиесете в чериовик... А я погляжу, как вы все и твой толстяк повертитесь.

— Что? Прншло? — вскрикнула Клава н озабочеиио вскннула глаза иа мужа, ио увндела его всегдашиее выражение спокойной, чуть насмешливой увереииостн. Тогда она подумала о своем заводе, о том, как трудио будет выполиить заказ турбнннщков досрочио и как будет иеистовствовать Сагаиский. Оиа весело сказала:

— Что ж, повертимся! И толстяк повертнтся, ему ие впервой.

Немнров с ревиивым любопытством заглянул в итоговые цифры ее отчета.

— Сто девять процентов! Ого!..— И с обидой в голосе: — Вот ты говорншь: мысли, воля, чнстовнкн! А я эту политику Сагаиского иасквозь вижу! Прибедняется, плачет, дает заинжеииый план, а потом — перевыполиенне! Премнальиый «зис»!

— Ннчего подобиого! — крикнула Клава с возмущеиием.— На этот год мы сами выдвиноулн встречные цифры, иамиого превышающие... Еслн бы ты зиал наших людей, ты ннкогда не посмел бы так говорнть!

Она стала собнрать н запихнвать в портфель бумаги.

Снова настойчиво зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Грнгорнй Петрович. Отдыхаете? — спроснл секретарь райкома Раскатов.

— Отдыхаю, Сергей Алексаидровнч,— со скрытым раздражеиием ответил Немнров, соображая, какая иепрнятиость сейчас на него свалнтся. Не будет же Раскатов звоинть по пустякам в воскресный вечер!

— «Леиправду» сегодня читалн?

— Нет еще.

— Она у вас под рукой? Посмотрите третью полосу.

Сердце у Немнрова екнуло. Держа телефоииую трубку, ои левой рукой развериул газету и напряженно-нщущим взглядом пробежал по заголовкам иа третьей страиице. «Забвеине партнйно-полнтнческой работы»... нет, ие о иас, о пищевой фабрнке. «Новые людн — старые иормы»... тоже не о иас. «Передовой стахаиовскнй цех»... нет, ие о нас, ие то... Хотя, постой-ка, знакомое нмя... Так, так... На «Советском стаикостронтеле»... Горелов? Вот н фотографня. Поиятио!..

Горелов был тот самый начальннк турбинного цеха, которого Григорнй Петровнч, вопрекн мнению Диденко и Раскатова, сиял с работы, заменив Любимовым. Горелов оскорбился и подал заявленне об уходе с завода, где проработал миого лет. Раздражеииый подиявшнмися вокруг иего спорамн, Немиров отпустил

его без сожалений. А тот — поди же знай! — развернулся на «Советском станкостроителе» и превратил свой цех в стахановский. И вот эти сегодняшние фрезерные станки, сданные нам досрочно... неужели они собирались в том самом цехе? И Горелов, сдавая их, думал, что турбинщики примут их и вспомнят о нем. Да, Горелов...

— Узнали? — коротко осведомился Раскатов.

— Узнал, Сергей Александрович. Если вы имеете в виду Горелова.

— Я имею в виду именно Горелова,— подтвердил Раскатов.— Способного инженера-новатора, выросшего на заводе. И мы его потеряли! Не только вы, но и мы все... Отчего? Оттого, что не простили ему ошибки, не помогли ему выправиться, не разглядели, как подойти к человеку!

— Оставить его в турбинном? — воскликнул Немиров.— Да это значило бы поощрять расхлябанность, старые взгляды, старые дурные привычки! Если бы я не подтянул людей...

— Кто говорит, что не надо было подтягивать! Для пользы дела можно и снимать людей, и понижать в должности, но разве это основной метод партийного воспитания работников? Разве этим пробуждают в человеке еще не раскрывшиеся силы?

— А может быть, я и научил его, этого Горелова? — перебил Немиров.— Получил урок — вот и старается.

— Учить-то учили,— сказал Раскатов,— а для завода потеряли... Кто знает, если б подошли к нему по-хозяйски, нашли ему работу по способностям... может, эта статья была бы написана про ваш завод? А то про вас что-то давно не пишут.

Немиров промолчал.

Некоторое время молчал и Раскатов, потом спросил мягче:

— Ну как, обращение получили?

Они поговорили о полученном обращении строителей. Раскатов обещал помочь всем, чем только сможет.

— А как думаете, Любимов... вытянет? — осторожно спросил он.

— Почему же нет? — откликнулся Немиров.— Поможем, так вытянет. Помогать любому нужно.

Они дружески распрощались:

— Желаю вам успеха, Григорий Петрович!

— Спасибо, Сергей Александрович!

И тогда Григорий Петрович зашагал по кабинету так быстро, будто спешил измерить его шагами по всем направлениям.

Новая мысль бередила душу, как заноза: о нас давно не пишут... обо мне давно не пишут... Да, да, да! Уже давно имя завода не появляется ни в сводках, ни в статьях. Ругать в печати

такой славный завод никому не хочется, верят — выправится. Но и хвалить не за что, вот и молчат. А заводской народ, просматривая газеты, говорит с горечью: «Нас будто и на свете нет» Уральцы, наверно, удивляются: «Что ж это Немиров заглох? У нас гремел на всю страну, а там, видимо, не справился?..» И так будет, пока он не вырвется снова вперед, хотя бы с первой турбиной...

Он сам себя останавливал: спокойнее, товарищ Немиров, спокойнее! Ты поддаешься самолюбию. Раздраженное самолюбие — плохой советчик. Что, собственно, произошло? Ты действовал круто, потому что без этого не повернуть было завод к новым задачам. А с Гореловым, видимо, «перекрутил». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Признаю, ошибся. И все-таки дело не в этом. Дело в первой турбине. Будет победа — и никто не вспомнит старой ошибки. Нужна победа. Не мне — заводу. Моя слава — слава завода. Для себя я, что ли, стараюсь? Нужна победа...

Он сел к столу и начал энергично, с нажимом выводя буквы и ломая карандаши, набрасывать жесткий, обстоятельный приказ об ускорении выпуска первой турбины.

Клава появилась в дверях:

— Гриша, чай пить!

Он отмахнулся:

— Погоди, погоди, Клавушка!

Ему не нужно было сверяться с бумагами для того, чтобы не забыть ни одной заготовки, ни одной детали, идущих в турбинный из других цехов. Все это он знал наизусть — разбуди ночью, и то не собьется. Он представлял себе, как завертятся начальники цехов, получив приказ, крепко сжимающий и без того напряженные сроки. Уже улыбаясь, он скорописью дописал последние пункты, собрал в кучу сломанные карандаши и позвонил Любимову.

— Алло! — певуче откликнулась Алла Глебовна.

В трубку ворвалась музыка. Красивый бас томительно жаловался:

Я грущу, если можешь по-нять
Мою душу, довер-чиво-неж-ну-ю...

— Георгия Семеновича! — не здороваясь, властно потребовал Немиров.

Сквозь музыку до него донесся вопрос Любимова: «Кто?» — и беспечный ответ Аллы Глебовны: «Не разобрала, незнакомый кто-то».

— Я слушаю,— раздался благодушный бас Любимова, сопровождаемый другим, поющим басом:

... по-пенять
На судь-бу мо-ю, страст-но-мя-теж-ную...

— Говорит Немиров. Остаиовите вашу музыку и слушайте виимательио.

Григорию Петровичу казалось, что ои видит, как замахал рукою Любимов и как Алла Глебовиа, с перепугаиным лицом, бросилась к патефоиу.

Мне не спится в то-о-ске-е по-о но-о-чам...

Рыдающий голос оборвался иа полуслове.

— Спаться вам теперь долго ие будет,— сказал Немиров.— Завтра утром получите приказ. Выпуск первой турбииы я решил зиачительно ускорить. Приказ окончательиый и безоговорочиый.

Часть вторая

1

Аня бежала к иачальнику цеха в состояннн, когда не только не скрываешь своего возмущения, но и не хочешь скрывать. Никому до иее иет дела? Хорошо же! Она сама о себе иапомннт!

В цехе иачался тот самый «аврал — свистать всех наверх!», о котором говорил Гаршнн. Все былн заняты по горло, только Аия как бы выпала из общего напряжеиийшего труда и очутилась в странном положеиин человека, который болтается в цехе сам по себе, что-то прндумывая н пытаясь осуществнть в одииочку. Ннкто от нее ничего не ждал и не требовал. Нн приказаний, ни средств ей ие давалн. О ней попросту забыли, а когда оиа пыталась о себе напомнить, отмахнвалнсь:

— Только не теперь, Анна Михайловна! Вот сдадим турбниу, тогда займемся. А сейчас, сами видите...

Даже Алексей Полозов, на ходу выслушав Аню, помотал головой и пробормотал:

— Ох, Аня, погодите, сейчас ие до того!

Единствеииое, чем она могла заииматься,— это обучением молодежи. Однако и тут не было удачи. Аия очень рассчитывала иа собранне учеииков, но часть мальчншек совсем ие пришла, а те, что пришли, шумелн, толкались и с любопытством иаблюдали, надолго ли у Карцевой хватит терпения и что оиа сделает, когда терпение лопиет.

Николай Пакулиин провел беседу даже лучше, чем ожидала Аия. Ей казалось, что его рассказ убедителеи, доходит до сердца. Но когда все разошлись, Аня обиаружила на доске нарисованный мелом кукиш и ие очень грамотиую надпись: «Гогачками иас не сделаиш!» Она чуть не расплакалась от досады.

Только одии человек нитересовался Аней — Виктор Гаршин, ио ее работа тут была ни при чем. Гаршин успевал забежать к ией между делами, пошутить, задать иеизменный вопрос: «Как

жнвется, как дышится?» — н взять с нее слово, что после сдачи турбнны она будет с ним «кутить, страшно кутить, так, чтоб дым столбом!». Иногда, бросаясь в кресло в ее пустом техннческом кабинете, Гаршин восклицал, зевая: «У вас как в раю: тишина, покой и шелест крыл!»

Ане хотелось послать к черту этот «рай», но она никогда ие жаловалась Гаршииу. Вот еще, призиаться ему, что сделала глупость, н услышать в ответ: «Я же говорнл вам, ие поддавайтесь на удочку этому фаитазеру Полозову!»

Ее терпеине истощилось, когда оиа случайио узиала, что предстоит оператнвное совещаиие в связи с приказом директора о иовых сроках. На совещаиие приглашались все иачальинки участков н мастера, все нижеиеры... кроме Карцевой.

Так н примириться с этим? Ну, иет! Она побежала к иачальинку цеха, решив прорваться к нему во что бы то ни стало. Ей как будто повезло — секретарши ие было иа месте. Аня уже взялась за ручку дверн, когда до ее слуха донесся раздражеиный голос Любимова:

— А я вам говорю,— заиимайтесь своим делом! Еслн я найду нужным, я сам спрошу вашего совета.

Другой, еще более раздражеиный голос ответил:

— Делать свое дело можно по-разиому. Я не хочу штопать дыры, я хочу работать осмысленно.

Аня не знала, кто это, ио ей хотелось крикиуть: н я!

Любимов сказал еще раздражеиией:

— Идите н выполняйте то, что я приказал!

Дверь распахнулась, и мимо Аии, задев ее плечом и ие заметив ее, прошел Алексей Полозов с бледным н злым лицом.

Поиимая, что сейчас начальник цеха вряд ли захочет ее выслушать, Аия все-такн перешагиула порог кабииета.

Любимов иедовольио покоснлся иа вошедшую и вдруг, шнроко улыбнувшись, пошел ей навстречу:

— А-а, иаконец-то пожаловали! Прошу, прошу!

Ои усадил ее в кресло и сел в такое же кресло иапротив иее, как бы подчеркивая этим, что разговор будет иеофнциальиый, дружеский.

— Ну-с, как живется, как дышится?

Услыхав из уст Любимова этот зиакомый вопрос, оиа серднто ответнла:

— Очеиь плохо.

— О-о! Почему же так?

Волиуясь и торопясь, Аня стала выкладывать все свои нужды и иамереиня, которые никого не интересуют, свои обиды и сомиеиия: да иужна ли оиа вообще?

— Если я не приду иа работу, этого иикто ие заметит, кроме табельщицы!

Он ие перебивал ее н сочувственно слушал, склоиив набок голову.

— Да, нехорошо с вами получилось, Анна Михайловна, очень нехорошо.

И он заговорил о том, что приметил Аню еще на заседании партбюро и тогда же проникся к ней симпатией, что им, соседям, давно следовало познакомиться как следует и он и Алла Глебовна уже пытались пригласить ее к обеду, а потом началась эта горячка...

Помолчав, он сказал между двумя затяжками:

— Мне очень жаль, Анна Михайловна, что Полозов поторопился с вашим назначением, не подождав меня. Да и вы напрасно поспешили согласиться.

— А куда бы назначили меня вы? — стремительно спросила Аня.

Не отвечая, он продолжал:

— Это бессмысленно — послать вас на такое неблагодарное дело. Насколько я способен разбираться в людях, вы человек энергичный и творческий. Вам нужна перспектива, возможность роста... а в этом техкабинете вы растеряете и то, что знали!

— Я и так многое растеряла,— призналась Аня.

Любимов продолжал размышлять вслух:

— Например, на сборке... Вот где сама работа заставила бы вас и восстановить знания, и расширить их! Или на четвертом участке. Начальник участка слабоват, да к тому же не инженер, я бы с удовольствием заменил его. А мастер там Ефим Кузьмич. Я сам начинал работать рядом с таким опытнейшим старым мастером и до сих пор вспоминаю его с благодарностью.

У Ани дух захватило от волнения — подумать только! Стоило подождать один-два дня — и вся жизнь повернулась бы поиному!

— У нас иногда не понимают, как важно найти человеку самое подходящее дело,— задумчиво говорил Любимов.— А ведь, пожалуй, это одна из главнейших задач руководителя. Сунуть человека на первое свободное место — невелика заслуга.

Ане вспомнился ее первый разговор с Полозовым.

— Алексей Алексеевич имел в виду очень важные задачи,— честности ради со вздохом сказала она.— Перенесение передового опыта, изучение лучших приемов труда... Воспитание молодежи... Если увязать эти задачи с реальными потребностями цеха, можно, наверно, сделать немало... Разве не так?

Любимов пожал плечами:

— Так, конечно, так. Но ведь у нас что ни возьми — везде свои большие задачи. А главная задача — все-таки производство. Турбины. Вот я и думаю: стоит ли держать вас на вспомогательных работах, когда вы могли бы принести пользу... и расти, как инженер, на основной?

Ну конечно! И ведь именно об этом она мечтала!

— Ничего, Анна Михайловна, не унывайте. Я это назначение пересмотрю в самые ближайшие дни. Верней всего — на четвертый участок... Хорошо?

— Ой, конечно!

Он удовлетворенно улыбнулся. Аня мельком подумала: рад, что делает в пику Полозову. Ну и пусть! Полозов сам виноват — наговорил кучу прекрасных слов, а потом: «Ох, Аня, не до вас!»

На прощанье Любимов попросил:

— Вы пока приведите в порядок всю эту... ну, писанину разную, списки обучающихся, инструкции и прочее. Все там подзапущено, а ведь и это с меня спросят.

— Хорошо,— сказала Аня, про себя отметив, что ничто другое в техническом кабинете его и не интересует, была бы отчетность в порядке. Неправильно? Ну и бог с ним, теперь это все позади!

Она пошла прямо в цех, на четвертый участок. Все кругом будто изменилось — стало близким, интересным, своим. Она прошла мимо каруселей и подумала: «Мои карусели, теперь-то уж я помогу карусельщикам обуздать Белянкина и Торжуева!..» Кран пронес к «Нарвским воротам» громоздкую половину диафрагмы. Аня проследила за ее спуском: «Моя деталь, мне о ней тревожиться, мне ее подгонять!..»

В проходе у токарных станков она заметила группку мальчишек и с чувством облегчения сказала себе, что недолго ей осталось возиться с ними. Кто из них нарисовал на доске кукиш и написал «не сделаешь»? Кешка Степанов тоже был тут. Не он ли? А ведь он на четвертом участке — значит, останется «моим»! — сообразила она и вздохнула: нет, от Кешки она бы с удовольствием отказалась! И что он тут торчит без дела? Почему они все стоят такой молчаливой кучкой? Опять озорство какое-нибудь задумали?

Подойдя, она увидела, что все они внимательно наблюдают за работой Якова Воробьева; сегодня над его станком повесили флажок с надписью: «Лучший токарь завода».

Воробьев делал как будто то же, что все токари, но делал это так, что хотелось смотреть на него. В синей косоворотке с распахнутым воротом и закатанными выше локтя рукавами, с упавшей на лоб короткой русой прядью, он работал споро и весело. Его мускулистые руки легко поднимали и устанавливали тяжелый круглый патрон, быстро и ловко крутили рычаг, зажимая деталь в кулачках патрона.

Заметив Аню, он знаком пригласил ее подойти:

— А я все собираюсь к вам, Анна Михайловна!

Аня заглянула в чертеж — буква «А» и три маленьких треугольничка предупреждали токаря о необходимости высокой точности и чистоты обработки. Деталь была длинная, фигурная, с глубоким отверстием внутри.

— Золотник,— уважительно пояснил Воробьев, наклоняясь

над деталью и проверяя сперва на глаз, потом индикатором, точно ли она закреплена.

— Трудная деталь.

— Трудная,— согласился Воробьев.— Замерять ее каннтельио, а уж внутри обрабатывать, особенно резьбу нарезать,— там больше чутьем берешь.

Он говорил о трудности, но все его ухватки опровергали это утверждение,— нет, совсем не трудно, а только интересно и приятно, потому что есть на чем проявить мастерство.

Вот он закрепил в задней бабке толстое сверло; приввинтил к трубе, подающей эмульсию, другую трубочку, потоньше; повернул краник — из трубочки ударила сильная, тонкая струя. Закрутился патрон, вращая деталь, сверло соприкоснулось с легированной сталью и начало сверлить ее, тяжело гудя, и белая струйка эмульсии била в отверстие, врываясь туда по виткам сверла и охлаждая разогретый трением металл. Когда Воробьев выводил сверло, видно было, как стекающее из отверстия молоко эмульсии крутит и выносит наружу мелкое крошево стружек.

— Вы поглядите вокруг, кто как работает и какой разнобой получается,— сказал Воробьев, прилаживая на суппорте расточный резец.— Вы ведь у нас по технической пропаганде и обмену опытом, верно? Вот я и подумал, что вы нам поможете. Два токаря стоят рядом, один обрабатывает деталь скоростным методом, другой — по старинке. Один тратит на установку полторы минуты, другой — все пять. А кто этим интересуется? Никто. Изучить бы это все и показать: глядите, вот где резерв времени!

Ане стало стыдно: ведь она сама об этом думала как об одной из своих главных задач, а у Любимова на радостях все позабыла. Она тут же успокоила себя: «Разве я не смогу заняться тем же самым на участке... на своем участке!»

Она стояла рядом с Воробьевым и наблюдала за его легкими, быстрыми движениями, смутно припоминая какую-то важную и дорогую ей мысль, связанную с такой вот работой... По прихоти памяти возникли домик инженеров на склоне сопки, комната, где жила, и даже плотная карточка для выписок, куда она записала что-то, поразившее ее... Но что она тогда записала? Да ну же, ну! Ведь крутится в памяти, а не поймаешь!

Воробьев уже прошел отверстие резцом, замерил его одним инструментом, потом другим, сменил резец на развертку для чистовой обработки, еще раз проверил диаметры и бережно ввел в отверстие развертку. Лицо у него было теперь строгое и напряженное. Работа поглощала уже не силу, а мысль.

Аня отметила это и вдруг разом вспомнила: она конспектирует раскрытую на столе толстую книгу, перечитывает понравившиеся ей слова и с увлечением записывает на карточке: «Маркс о том, что капитализм лишает рабочего наслаждения трудом как игрой физических и интеллектуальных сил!»

— Готов! — сказал Воробьев, высвобождая деталь из охвативших ее креплений. Любовно зажав ее в ладонях, он заглянул в отверстие и даже легонько засвистел: расточено идеально, не придерешься!

— Яков Андреич, вы получаете наслаждение от своей работы?

Он удивленно вскинул глаза, улыбнулся:

— А как же? Если все ладно выходит...

Она повторила ему запомнившиеся слова Маркса.

Воробьев задумался, все еще держа в ладонях золотник, потом перевернул его и начал закреплять в патроне другим концом — для наружной обработки.

— Интересно,— проговорил он, выбирая подходящий резец, и вдруг оторвался от работы и обернулся к Ане.— Интересно, что он это тогда понял. Лет сто назад, верно? Когда рабочий работал подневольно, как на каторге...

И немного погодя, запустив станок, попросил:

— Вы мне покажите, где эти слова. Я нашему народу прочитаю.

Не отрывая глаз от возникающей светлой полоски отточенной стали, Воробьев говорил, делая паузу каждый раз, когда нужно отвести резец или снять крючком навернувшуюся на деталь стружку:

— А с планом коллективного творчества... помните, мое предложение на партбюро? Еще Диденко одобрил! Так ведь ни черта не делается! Проголосовали — и забыли. До чего странно получается! Если работа срочная — значит, побоку все, что могло бы ее ускорить! Есть тут логика или нет, как по-вашему? Отодвиньтесь, Анна Михайловна, как бы вам стружка чулки не порезала.

Длинные, поблескивающие спирали наворачивались и опадали возле ее ног. Аня была рада отойти, потому что не знала, что́ ответить Воробьеву. Неужели руководители цеха действительно не верят, что получится толк? Но тогда... не оттого ли и ее работу никто не учитывает и не связывает с производственными задачами?

— Яков Андреич... Вы бы пошумели, напомнили о своем предложении!

— А как же! Обязательно! — весело сказал Воробьев.

Уже не раздумывая, звали ее или нет, Аня пошла на оперативное совещание. Ей хотелось сообщить каждому из присутствующих: «Я здесь по праву, пройдет несколько дней, и никто уже не будет коситься на меня: чего эта женщина болтается по цеху без настоящего дела?»

Однако и сейчас никто не косился на нее. Мастера и начальники участков несколько раз обращались к ней: мало стахановских школ, товарищ Карцева! Почему опыт пакулинской бригады плохо передается другим бригадам, товарищ Карцева?

Знает ли товарищ Карцева, что на металлическом заводе введен новый метод разметки?

Аня добросовестно записывала эти замечания. Значит, ее работа все же нужна? Что ж, тем лучше. Но теперь этим займется кто-нибудь другой, Карцева перейдет на основное дело — на турбину.

К этому все и сводилось. Дать турбину в новый срок, определенный приказом директора.

— На время надо отложить в сторону все остальное,— сказал Любимов.— С этого часа прошу всех сосредоточить все усилия на первой турбине. Ею дышать, ее и во сне видеть.

И совещание стало «крутить» со всех сторон первую турбину, отбрасывая остальное.

И вдруг раздался требовательный голос Полозова:

— А общецеховой график и план рационализаторских работ? ПДБ составляет его, или это тоже побоку?

Алексей сидел в углу, в тени оконной шторы. Насупленный, мрачный.

— Погоди, Леша, сейчас не до того! — миролюбиво бросил Бабиков, хотя именно Бабикову, как начальнику ПДБ — планово-диспетчерского бюро, было поручено вместе с Полозовым разработать предложенный Воробьевым план рационализаторских работ.

Любимов счел реплику Бабикова за исчерпывающий ответ и повел совещание дальше.

Аню обрадовал и смутил вопрос Алексея. Об этом ведь и говорил Воробьев: проголосовали и забыли! Но, может быть, сегодня и вправду не до того?..

— Разрешите мне слово! — громко сказал Полозов, вскинув руку.

— Ну что? — неодобрительно буркнул Любимов.

Алексей встал. Увидев, как он бледен, Аня испугалась за него: зря просит слова, зря дает волю раздражению!

— Мне кажется, мы узко и неправильно толкуем приказ директора,— так начал Полозов, к удивлению Ани, совершенно спокойно.— Тут Георгий Семенович говорил, что цикл производства турбины — штука точная, сократить его без перенапряжения, без штурмовщины нельзя. Но что такое цикл производства турбины, которым мы пугаем людей и самих себя? Возьмите срок обработки самой трудоемкой детали — он и определяет минимальный срок всего цикла. Остальное зависит от нас — от нашего умения спланировать и организовать работы.

Теперь все присутствующие с интересом повернулись к Полозову, ожидая, какой же вывод он сделает из верной мысли. А Полозов говорил, обращаясь прямо к Любимову:

— Говорят, хороший полководец может проиграть один бой, но выигрывает всю кампанию. Наша главная, решающая задача — дать Красноznаменке не одну, а все четыре турбины.

Что же из этого следует? Что нельзя откладывать обработку самых трудоемких деталей второй, третьей, четвертой турбин «на потом»: завалимся! Пускать их надо в работу немедленно, имея четкий график до октября. Срочно заняться механизацией самых канительных операций. Выиграть время для всех четырех машин! В этом будет наша настоящая победа! А мы отмахнулись от ближайшего будущего, давай жать на первую,— а там хоть гори все! О недавнем партбюро забыли? Было предложение Воробьева, было решение партбюро. Я прошу ответить, отменяется оно или нет?

— Да нет, конечно,— с досадой ответил Любимов.— Просто мы сейчас говорим о другом, Алексей Алексеевич. Вы напрасно так пылко нас агитируете. Есть приказ директора о новом сроке по первой турбине. О ней и речь.

И, снисходительно усмехнувшись, он снова вернул совещание к частным производственным вопросам, стараясь не замечать своего заместителя, который все еще стоял, изо всей силы стиснув руками спинку стула. Ане казалось, что Алексей мог бы сейчас поднять и швырнуть в Любимова этот стул, если бы стул не был занят.

— Алеша, да ну что ты в самом деле? — услыхала она шепот Гаршина.

Полозов сердито отвернулся от Гаршина и вдруг, не попросив слова, громко и отчетливо заявил, что новый срок выпуска первой турбины — нереальный срок, очковтирательство, и откладывать ради него важнейшие дела безответственно и гибельно для цеха.

— Перед кем мы в прятки играем? — крикнул он.— Вы же сами знаете, Георгий Семенович, что срок нереален, вы сами в него не верите!

Не обращая внимания на ропот, поднявшийся вокруг, он начал по срокам обработки различных деталей доказывать, что новый график невыполним.

Аня опустила голову. Ей было стыдно за Алексея, стыдно и страшно. Понимает ли он, что говорит? И чего он добивается?

Она не могла не признать правоты Любимова, когда тот, досадливо морщась, отчитывал Полозова, обвиняя его в попытке дезорганизовать работу совещания и внушить недоверие к приказу директора. После чересчур резкого выступления Полозова благоразумная сдержанность Любимова подкупала и убеждала лучше слов. Нельзя было не согласиться и с Ефимом Кузьмичом.

— Нам мобилизоваться надо,— сказал он с обидой и огорчением,— а товарищ Полозов пытается разоружить нас. Что же ты, Алексей Алексеевич, не понимаешь, что ли?..

— Я понимаю одно,— негромко ответил Алексей,— что так мы провалим обязательство, данное краснознаменцам. А иначе могли бы выполнить.

Аня ушла растревоженной, со смутным ощущением какой-то вины, хотя она и не произнесла на совещании ни слова.

2

С трудом дождавшись гудка, Алексей Полозов подчеркнуто тщательно вымылся, переоделся и, независимо подняв голову, пошел к выходу. Никто не заметил этой демонстрации, но сам Алексей получил от нее горькое удовлетворение.

За воротами цеха его встретил ветер с моря. Ветер был кстати: его упругие и влажные струи как бы обмыли лицо, снимая усталость. Но дурное настроение от этого не улучшилось.

На площади перед заводоуправлением Алексей остановился, раздумывая, не зайти ли к Диденко. Пожалуй, давно следовало поговорить с ним начистоту. Плохо то, что сегодня невольно получится жалоба — побили, вот и побежал выдумывать «принципиальные разногласия». Да и сумеет ли он рассказать все как есть? Вот ведь сегодня... ну, Любимов, тот не мог согласиться, против Любимова все и было направлено, но остальные?.. Не сумел он, что ли, доказать свою мысль?.. Ведь он же прав, как они этого не понимают?!

А Ефим Кузьмич сказал: «Полозов пытается разоружить нас». Гаршин — и тот наставительно заявил: «Когда есть приказ, надо его выполнять, так нас в армии учили!» Как будто Алексей оспаривал приказ, отказывался выполнять его! Он просто предупредил, что цех становится на ложный путь, а его чуть ли не в склочники записали! Бабинков по-приятельски попрекнул: «И чего вы не поделили с Любимовым?»

Даже Карцева смотрела на него с испугом и удивлением, а когда он вторично взял слово, низко-низко опустила голову — осудила или пожалела?

Ну что ж! Может, он был раздражен и плохо отбирал слова, но выступление на совещании он и сейчас считал своей победой, увы, никем не признанной. Перед тем он чуть было не струсил, чуть было не промолчал... Минута, когда он поднял руку и решился высказать все, что думает, была хорошей минутой. Проще было уверить себя, что раз в утреннем споре с Любимовым он уже потерпел неудачу, говорить бесполезно, да и не он отвечает за цех, держать ответ придется Любимову, так что незачем голову ломать...

Гаршин так и сказал. Выйдя вместе с ним с совещания, дружески обнял и ткнул кулаком в бок:

— Торопыга! Ну зачем ты вылез? Прешь на рожон!

— Раз я считал правильным...

— О-ох, уж эти мне принципиальные люди! Ведь знаешь, что и они знают, и Немиров знает, и все знают, что срок липовый! Ну, на директора нажали, а он на нас нажал, и мы жать будем. Почему тебе одному больше всех нужно спорить? К десятому, конечно же, турбину не сдадим, это и дураку ясно. А народ подтянется. Тут, брат, политика!

— Это не полтинка! — возмутился Алексей.— На вранье народ не мобилизуешь!

— Фу ты, до чего ершистый! А чего добился? Сделал из себя мальчика для битья!

Алексей сбросил с плеча обнимающую руку Гаршина:

— Ну и побили! А рассуждать, как ты, не умею!

И пошел прочь, еще более раздраженный и расстроенный. Ну и пусть этот веселый циник Гаршин не понимает, пусть не понимает Бабинков — ветряная мельница... Но Ефим Кузьмич? Шикин? Начальники участков — все друзья, товарищи...

Окна парткома тянулись по всему второму этажу здания. Глядя на них, Алексей колебался: идти или не идти к Диденко? И с чего начать?

Два окна вдруг осветились. Алексей увидел технического секретаря парткома Соню,— она зажгла свет в приемной и прошла в кабинет. Тотчас в кабинете вспыхнули плафоны, осветив круглую голову и пышные усы Ефима Кузьмича. Старик стоял вполоборота к окну и что-то горячо говорил, должно быть с возмущением рассказывал парторгу о сегодняшнем оперативном совещании, где так недостойно выступил инженер Полозов.

Алексей с досадой отвернулся и пошел к проходной.

Он был слишком взвинчен, чтобы ждать автобуса, да и все равно некуда торопиться и нечего с собой делать. Он побрел вдоль бесконечного заводского забора, разбрызгивая лужи и увязая ногами в рыхлых наметах закопченного снега.

Ходьба рассеивала и приводила мысли в порядок. Да, если разобраться — характер неуживчивый и резкий, выступать, видимо, не умею, надо бы спокойнее и убедительней... В личной жизни неудачник, тут уж и сомнений нет. Все люди как люди: любят, женятся, счастливы, как-то умеют ладить, поддерживать друг друга,— а я ни черта не умею, и любить меня, наверно, не за что... И вот сейчас, когда на сердце кошки скребутся, не к кому пойти и некуда деть себя... Завод! Да, конечно, вся жизнь — тут. Всегда с гордостью думал: тут и радость, тут и горе, в общем — жизнь. Разве я для заработка работаю? Работаю потому, что люблю, потому что это дело мне по душе. Все верно. А вот сегодня именно тут меня побили, как мальчишку, и оказывается, что мне некуда деваться, что и друзья-то все на заводе, так уж сложилось...

На перекрестке он чуть не угодил под грузовик. В сутолоке возле универмага чуть не сбил с ног прохожего и, отскочив, наступил на ногу другому. Сконфуженный, он остановился в самом неудобном месте, у выхода, где его все толкали. И в эту минуту услыхал:

— Алеша! Алеша! Иди сюда! Откуда ты взялся?

Голос был звонкий, ласковый, хорошо знакомый...

Алексей ринулся на голос.

Из переднего окна светло-серого автомобиля выглядывало тоже хорошо знакомое и милое лицо, слегка располневшее и по-новому яркое — не только от природного молодого здоровья, но и от умело применяемой косметики, оттеняющей и густоту ресниц, и красивый изгиб пухлых губ, и закругленные линии бровей. Эти брови, когда-то по-детски наивно выделявшиеся белыми дужками на загорелом лице восемнадцатилетней девушки, были теперь темными и более крутыми.

— Леля! — весело удивился Алексей.— Какая ты стала!

Она засмеялась, и этот знакомый короткий смешок, как и прежде, взволновал его.

— Какая же? — кокетливо спросила она и распахнула дверцу.— Садись, подвезу. Садись, садись, Алеша! Я много раз вспоминала тебя.

— И на том спасибо,— сказал Алексей, садясь рядом с нею и сбоку оглядывая ее. Похорошела еще больше. Синяя бархатная шляпка очень идет ей. И эти руки, холеные и полненькие, так мило лежат на баранке. А прическа новая — локоны, и золотистый шарфик под цвет локонов; это она всегда умела — подчеркнуть все, что следует заметить. Только вот брови красит зря,— те белые дужки были такие милые... Впрочем, какое мне дело! Интересно, откуда взялась машина? Наверно, мужа. Вышла замуж... И кто этот разнесчастный счастливец?

— Ты что же это, шофером сделалась?

— Поднимай выше, генеральшей! — вызывающе сказала она и включила мотор.— Куда тебя везти?

Куда глаза глядят. А это тебе подходит — генеральшей. И собственная машина тебе к лицу, вроде этого шарфика.

Она лукаво поглядела на него из-под опущенных ресниц. Ресницы у нее такие, что пушистей, наверно, и на свете нет. А она умеет ими пользоваться. Ничего не скажешь, зря не пропадают. И когда она успела захороводить генерала? Впрочем, никакого филолога из нее получиться не могло, это и раньше было ясно. Невеста с высшим образованием — вот и весь смысл ее университетской учебы, с грехом пополам, с двойки на тройку...

— Кончила ты университет?

— В общем, да,— беспечно ответила Леля и вывела машину из ряда других, стоявших около универмага. Управляла она уверенно, но осторожно, скорость не развивала и других машин не обгоняла. Это было похоже на нее — так вести машину

— Что значит — в общем?

— Диплом еще не сделала. Готовлю помаленьку.

— Работаешь?

Она улыбнулась и вздохнула:

— Ох, Алешенька, ты все еще надеешься найти во мне труженицу и мыслителя?

Он тоже улыбнулся:

— Нет, Лелечка, не надеюсь. И теперь это уже не моя забота.

А шофер из тебя получился разумный, не лихач и не аварийщик. Ты и возишь своего генерала?

— Когда захочется — вожу,— важно сказала Леля.— Обычно это делает наш шофер.

Она помолчала и тихо сказала:

— Мы с тобой так давно не видались... неужели нам не о чем больше говорить?

Ее голос и улыбка, больше чем слова, по-прежнему волновали его.

— Я была уверена, что мы с тобою еще встретимся,— продолжала она, глядя перед собой и нежно улыбаясь набегавшей под колеса мостовой.— Это было нехорошо с твоей стороны — так исчезнуть. Я очень грустила, Алеша.

— Во всяком случае, ты быстро утешилась,— с усмешкой сказал он, стараясь не поддаваться влиянию ее ласковых слов.— Если даже поверить, что ты всерьез грустила. Сколько лет твоему мужу?

Она быстро и зло взглянула на него и ответила с вызовом:

— Ровно столько, сколько нужно, чтобы мужчина научился ценить женщину и выполнять все ее желания.

— О-о! Все?

— Да. Все.

— Не знаю, как для твоего генерала, мне до него, по совести говоря, дела мало... но для тебя это плоховато. Носик-то совсем кверху задрался.

Теперь он сам искоса глянул на нее,— она всегда, бывало, сердилась, если он начинал подшучивать над нею. Но Леля не рассердилась, только круто вывела машину с проспекта на тихую боковую улицу и сбавила скорость, так что машина покатилась совсем медленно, будто задумчиво,— казалось, вот-вот окончательно задумается и станет как вкопанная.

— Ты не в духе сегодня, Алеша?

— Признаться, да.

— Ты женат?

— Нет.

— Какие-нибудь сердечные неприятности?

— Нет.

Она покосилась на него сквозь золотистую прядку волос, танцевавшую у ее щеки, и, выпятив нижнюю губу, дунула снизу вверх, чтобы откинуть мешавшую ей прядку. Это ее знакомое и милое движение неожиданно всколыхнуло в душе Алексея давние и уже позабытые чувства.

— Ты все такая же,— сказал он.

— А ты изменился. Еще не понимаю, в чем, но изменился.

— Кажется, нет.

— Правда? — радостно воскликнула она, на секунду позабыв об управлении машиной и повернув к нему просиявшее лицо.

Машина сделала по мостовой странный зигзаг. Леля спохватилась и со смехом выправила ее

Как она поняла его слова? И почему обрадовалась?

— Так что же у тебя случилось, Алешенька? Ты мне расскажи. Ведь я тебе по-прежнему большой друг. В этом, я надеюсь, ты не сомневаешься?

Друг?.. Она никогда не была ему другом. Но ее участие было приятно. И она удивительно кстати попалась ему на пути именно сегодня, когда так смутно на душе. Кто знает, может, она и переменилась к лучшему? Генерал-то, наверно, человек серьезный и боевой, должен влиять на нее. Да и, в конце концов, была она тогда всего лишь девчонкой, легкомысленной, эгоистичной девчонкой, не в меру избалованной своей милой, слабохарактерной матерью. И множеством поклонников тоже. Всеми этими студентами, которые вертелись возле нее в Публичной библиотеке, отбивая последнюю охоту заниматься.

Он кратко рассказал ей, что с ним сегодня произошло. У него сразу полегчало на душе, потому что, рассказывая, сам убедился в своей правоте. Поймет Леля или не поймет, что высказать всю правду было с его стороны и честно и смело? Скажет ли доброе слово?..

— Ничего, Лешенька, все обойдется,— ласково сказала она и мимолетно погладила ему руку.— Но разве можно так? Промолчал бы — и все. Тебя же никто не тянул за язык.

Он с горечью пробормотал:

— Спасибо за совет.

— Да ведь правда же,— мягко и наставительно продолжала она.— Ты и раньше был такой — наивный, нерасчетливый идеалист... и вечно лез в драку Как будто ты один можешь всех людей переделать... Но ведь теперь-то ты уже взрослый человек! Пора научиться. В жизни таких, как ты, всегда бьют, Лешенька. А мне очень не хочется, чтоб тебя били...

И она так улыбнулась ему, что вместо прямого ответа на ее поучение он растерянно спросил:

— Почему?

— Не зна-ю! — нараспев протянула Леля и, лукаво посмеиваясь каким-то своим мыслям, молча повела машину дальше. Золотая прядка по-прежнему плясала у ее щеки.

— Насколько я помню, ты никогда не была философом,— насмешливо заметил он.— Кто тебе внушил такую житейскую философию? И о какой жизни ты говоришь? Какую жизнь ты знаешь?

— Самую обыкновенную,— неохотно откликнулась Леля.— Не выдуманную, не идеальную, а самую обыкновенную жизнь!

— Знаешь, мне сдается, что эта жизнь, как ты ее понимаешь,— очень неинтересная и унылая жизнь.

— Не знаю, у кого из нас двоих она интересней,— заносчиво сказала Леля и дала полную скорость. Теперь она гнала машину

по проспекту, обгоняя другие и лихо проскакивая между трамваями и автобусами. Управлять машиной она, во всяком случае, научилась неплохо, иначе давно произошла бы авария... Занятно, всегда ли она так гонит, когда сердится?

— По-моему, ты расшибешь и машину и нас с тобой,— сказал он.— Слишком дорогая цена за расхождение во взглядах. И за что генералу в один день терять все свое богатство?

— Я тебя ненавижу. Как тогда,— быстро сказала Леля сквозь зубы. Но скорость сбавила.

Некоторое время они молчали, потом он миролюбиво спросил, куда она собирается завезти его.

— Куда придется,— усмехнулась она.

И вдруг, совсем сбавив ход, быстро и гневно заговорила:

— Вот ты меня осуждаешь, и насмехаешься, и, по-твоему, я не так живу, не так смотрю на жизнь... Хорошо, допустим! Но разве я тебя заставляю жить по-своему? Разве я тебе навязываю свои взгляды? Ты не хотел принимать меня такую, какая я есть... ну и ладно! И ладно! Я, кажется, не упрашивала тебя и не звала, когда ты... когда ты...

В голосе ее зазвучали слезы, но она быстро подавила их и продолжала все так же гневно:

— Все вы пытаетесь меня воспитывать... Может быть, вы и правы с какой-то большой точки зрения... Я сама понимаю, что это, наверно, как раз то, что нужно! А из меня не получается. И не получится. Что я, не старалась зубрить, как все? Что я, не старалась ради тебя усвоить всякую всячину хотя бы на четверку? Не могу, хоть убей. Не хочу. Захотела бы — подумаешь, какая сложность! А не хочу, и не нужно мне это, и не тянет меня. И работать... Да, что хочешь говори, а мне подходит именно это — и машина, и лето в Сочи, и международный вагон, и всякие красивые тряпки... А ходить в платочке — не для меня, понимаешь — не для меня!

Разве я тебя уговаривал ходить в платочке? — оскорбленно вскричал Алексей.

— В платочке или не в платочке, все равно ты хотел, чтобы я была не я, а какая-то другая, идеальная женщина в твоем высоком понимании. А из меня не выйдет. И все это выдумки, просто ты не любил по-настоящему, так, чтобы все откинуть... все принять... А нашелся человек, который меня любит, бережет, создает мне все условия... который все прощает мне и все принимает... Какое право ты имеешь насмехаться и упрекать? Унылая жизнь?! Каждый устраивает свою жизнь по-своему, вот и все.

Его мало затронул смысл этой речи, все это он знал давно,— достаточно поспорили в свое время, сколько раз он уходил от нее в ярости. Его затронуло сейчас ее волнение, эти слезы, непрошено зазвучавшие в ее голосе... Значит, не забыла? Значит, ей не безразлично, как он к ней относится и что думает?

— Я желаю тебе счастья на твой лад, Лелечка, раз уж так вышло,— сказал он примирительно.— Останови, пожалуйста, у какой-нибудь трамвайной остановки, мне пора...

Она кивнула и прибавила скорость. Трамвайные остановки мелькали за стеклом одна за другой.

— Не надо ссориться,— глядя перед собою, нежно сказала Леля.— Я так обрадовалась тебе, Алешенька... Право же .

Они ехали по Лиговке, и Алексей не узнавал ее. Давно он здесь не был, что ли? Старая привокзальная Лиговка стала красивой и чистой, полосы газонов отделили трамвайные пути от проезжей части улицы, густо посаженный кустарник перемежается группами молодых деревьев — и так вдоль всей этой широкой магистрали. Пройдет месяц-два, и все тут зазеленеет, расцветет на солнышке...

— А весна-то на носу! — повеселев, сказал Алексей.— Кажется мне, или на самом деле уже набухают почки?

— Мне то-же ка-жет-ся! — пропела Леля и на мгновение прижалась щекой к его плечу. Когда он опомнился, она снова сидела смирно, глядя на приближающийся красный глазок светофора. Затормозив у перекрестка, ее рука соскользнула на его руку и сжала ее. Он сидел не двигаясь, не умея разобраться в том, что с ним происходит.

— Я так счастлива сейчас, Лешенька,— быстрым шепотом говорила она, не отрывая глаз от красного сигнала.— И я тебя везу к себе, понимаешь? Дома никого нет и не будет до послезавтра. Это так чудесно, что мы встретились именно сегодня. И мы не можем так расстаться. Я не хочу. Я всегда ждала, что мы еще встретимся. И ты, да?..

Ее теплая рука мешала сосредоточиться. Но вот красный огонек сменился желтым, потом зеленым — ее рука нехотя оторвалась от его руки и легла на баранку. Машина шла так медленно, что задние машины начали гудеть, подгоняя ее.

Откинувшись назад, Алексей старался справиться с собою и стряхнуть это наваждение. Ведь все давно оторвано, отрезано, пережито. Она не захотела пойти с ним по жизни так, как представлялось ему, как хотел он. Она уже тогда, может быть не совсем ясно понимая это, ждала своего генерала, или академика, или черт знает кого — того, кто ей «создаст все условия»... Любила она его, Алексея? Кто ее разберет. Во всяком случае, не настолько, чтобы отрешиться ради него от своих стремлений. Он тогда крикнул ей что-то очень резкое, даже грубое и ушел, хлопнув дверью так, что на лестнице шуршала штукатурка, когда он в беспамятстве сбегал вниз. Решение далось нелегко, но оно было правильным. Оно было единственно возможным. Зачем же сейчас ворошить старое?..

Он скосил глаз — она тут, рядом, ее губы слегка приоткрыты, ее нежный профиль маячит совсем близко на фоне мелькающих

за окном машины домов, голых деревьев, встречных машин и трамваев. Как странно, что она встретилась снова именно сегодня, в такой горький день!

— Где ты живешь? - спросил он, чтобы нарушить молчание.

— На Старо-Невском, милый,— шепнула она, заговорщицки улыбаясь.— В совсем отдельной квартире, где сейчас нет ни души! Ни души! Мы с тобой устроим пир, Алешенька, такой пир! И никуда я тебя не отпущу. Я так рада тебе, если б ты знал, как я тебе рада!

И она облизнула губы движением лакомки.

Он вдруг с ужасающей ясностью представил себе все, что должно совершиться. Устроив свою жизнь вопреки идеалам и принципам «наивного» Алеши, ничем не поступившись ради него, она теперь с обычной своей беспечной легкостью готова взять его в любовники... чтобы удовлетворить свои давние, обманутые желания? Или для того, чтобы все-таки восторжествовать над ним?..

— Остановись на минутку,— сказал он, когда они пересекли вокзальную площадь и свернули на Старо-Невский.

Придумать любой предлог — пора на завод, неотложное деловое свидание... все, что угодно, но сейчас же вырваться, уйти, остаться одному, разобраться... И сделать это немедленно, пока она не привезла его к себе,— оттуда будет уже поздно, не под силу уйти... А может, и не надо уходить? Восторжествовать самому?.. Переломить это ее эгоистичное легкомыслие и с презрением бросить ей в лицо все, что он о ней думает?..

— Останови!

Они как раз проезжали мимо большого винно-гастрономического магазина. Качнув головой, она добродушно сказала:

— Не надо, дружочек, ничего не нужно. Дома есть и закуски, и всякое вкусное, и даже шампанское!

Этот последний штрих завершил рисунок. У нее не было даже той подлинной взволнованности чувства, которая могла бы оправдать ее. «Закуски, всякое вкусное, шампанское...» Кто знает, первого ли она везет любовника на всю эту программу?..

— Останови! — крикнул он, рванув дверцу.

Она испуганно затормозила, ткнувшись передним колесом машины в край тротуара.

— Прошу прощенья, но шампанского не пью,— сказал он, нащупывая ногой тротуар и с ненавистью глядя в ее побледневшее лицо с дрожащими губами.— И вообще, знаешь, я не любитель этих штук...

Он выскочил из машины, захлопнул дверцу и большими шагами пошел назад, торопясь затеряться в привокзальной суете.

«Не любитель этих штук...» Глупо. И грубо. Надо было сказать прямо. Или не говорить ничего: занят, тороплюсь — и все... А впрочем, какая разница! Если способна понять — поймет.

Он ни разу не позволил себе оглянуться на светло-серый автомобиль, приткнувшийся к тротуару. И, не оглядываясь, он чувствовал, что автомобиль еще там. Что она делает сейчас? Злится? Плачет? Все равно, не оглядываться, не возвращаться, ни в коем случае не возвращаться, даже если плачет...

Оглядевшись, он увидел себя стоящим посреди тротуара на углу Невского и Владимирского. Голова была пустая и какая-то гулкая: каждый звук отдается. Устал. И очень хочется есть: от расстройства чувств забыл сегодня пообедать.

В маленькой закусочной он залпом выпил стопку водки, съел несколько бутербродов и выпил вторую стопку. Вкуса еды не почувствовал, а водка ударила в голову. Он побрел по Владимирскому проспекту, ни о чем уже не думая в отупении усталости Потом дома и люди медленно закачались из стороны в сторону.

Он постоял, пока дома и люди не утвердились на местах, зашел в первые попавшиеся ворота и увидел неожиданно провинциальный дворик с круглым палисадником в центре. Дети скатывались на санках с полурастаявшей, почерневшей снежной горки, окруженной лужами. Они не обратили никакого внимания на чужого дядю, вошедшего в палисадник и почти упавшего на мокрую скамью.

Была минута, когда все окружающее — и незнакомый дворик, и дети с их шумной возней — провалилось в пустоту. Очнувшись, он с удивлением огляделся и увидел перед собой мальчугана в непомерно большой шапке. Наушники были развязаны, и потертые, свернувшиеся жгутом тесемки болтались на забрызганной грудке серого ватника. Под удивительными, лазурно-синими, очень серьезными глазами краснели вздернутый нос и влажные, удивленно раскрытые губы.

— Вы спите, дядя? — шепотом спросил мальчик.

— Как видишь! — ответил Алексей.— А что, здесь нельзя спать?

Мальчик хмыкнул и сказал убежденно:

— Кто же спит на улице? — Он помолчал, подумал и спросил: — А вы, дяденька, не пьяный?

— Нет.

— А вы здесь живете?

— Нет!

Мальчик шагнул ближе:

— Или у вас болит что?

— Допустим, что болит.

— Сердце?

— Вот именно. Сердце.

— Я уж вижу! — с удовлетворением сказал мальчик.— У мамы тоже бывает. А у вас капли есть?

— Нет!

— Капли помогают,—сказал мальчик и, колеблясь, посмотрел куда-то вверх, на окна. Может быть, раздумывал, не сбегать ли домой и не будет ли сердиться мама, если он возьмет ее капли для чужого дяди. Но в это время воробей порхнул мимо них, сел на дорожку и начал отряхивать мокрые перышки. Мальчик несколько секунд смотрел на него жадным взглядом охотника, потом плавными, беззвучными движениями снял с головы шапку, метнул ее вперед и точно накрыл воробья, погрузив наушники и борта шапки в месиво талого снега.

— Ре-бя-та-а! — заорал он, присев на корточки и придерживая шапку двумя руками.— Ре-бя-та-а, воробья накры-ыл!

Алексей встал и твердой походкой направился к трамвайной остановке.

«Что, собственно, произошло? — спросил он себя, перевешиваясь через железную решетку на площадке трамвая, чтобы ветер сильнее обдувал лицо.— И кто меня обидел? Никто! Что я, маленький или слабенький? Поступил так, как считал правильным, а со мною не согласились и меня побили. Тут уж ничего не поделаешь, если не воспринять житейскую философию Лели. Верю я, что прав? Да, верю. Значит, бороться надо, а не распускать нюни!»

Домой идти не хотелось. Алексей зашел в кино. Фильм был знакомый и не захватывал внимания. Героиня глупенькая, но очень хороша. И ресницы у нее, как у Лели. И улыбка такая же, обещает черт знает что!..

Не досмотрев фильма, он вышел под шиканье публики. Купил банку консервов, дома без аппетита поужинал, лег в постель и перед тем, как заснуть, составил себе план действий с той «железной последовательностью», которую любил в себе и всячески развивал.

Но продуманный план борьбы сорвался с самого начала. Когда он утром зашел в партком, Соня набросилась на него:

— Куда вы девались вчера, товарищ Полозов? Николай Гаврилович срочно вызывал вас, я все телефоны оборвала! Он ужасно сердился!

— Вот я и пришел, Сонечка! — сказал Алексей, улыбкой прикрывая волнение. Он покосился на дверь кабинета, где его, несомненно, ждал сокрушительный «разнос».

— Поздно пришли! — проворчала Соня.— Николай Гаврилович вчера уехал.

— То есть как уехал?

— Поездом,— усмехнулась Соня.—В Москву. Дней на пять.

В цехе первым человеком, которого встретил Алексей, был Ефим Кузьмич. Ефим Кузьмич внимательно поглядел на Полозова, укоризненно качнул головой и тотчас заговорил о деле, которое в эту минуту больше всего занимало его,— с металлургического завода привезли отливки диафрагм, надо было обеспечить их срочную обработку.

На участке появился Любимов.

— Здравствуйте, Георгий Семенович! — сказал Алексей

— Здравствуйте, Алексей Алексеевич! — ответил Любимов и сразу заговорил о диафрагмах, дал Полозову несколько поручений, даже пошутил с ним как ни в чем не бывало. Алексей чувствовал себя напряженно, отвечал с трудом, а Любимов, по-видимому, и не думал о вчерашнем...

— Кстати, Алексей Алексеевич, тут возникло дело по вашей части,— с улыбкой спокойного превосходства сказал Любимов.— Ваш Воловик придумал что-то новое, он сейчас у Шикина Поглядите, может быть, и вправду что-нибудь дельное.

И, взяв Ефима Кузьмича под руку, пошел по цеху, оставив Алексея одного. Произошло то, чего никак не ожидал Алексей,— разногласия загнаны вглубь, и никакой борьбы не будет; его выступление отвергли, как неудачное, и перешли к очередным делам

3

Все началось с того, что Ася затеяла генеральную уборку и полную перестановку в квартире. Повязав голову косынкой и надев старый, выцветший сарафан, Ася с утра принялась обметать потолки и мыть щеткой стены. Провожая мужа на завод, она взяла с него слово, что он придет домой сразу после работы, чтобы помочь ей передвинуть мебель, и не останется на вечер, как обычно, в цехе.

— Хорошо, Ася, конечно, обязательно! — покорно обещал Воловик, хотя сегодня этот вынужденный перерыв казался ему особенно несвоевременным.

Вот уже третий день он снова работал в турбинном цехе на снятии навалов, на «досадной» работе, ненавидимой всеми слесарями, которой он упорно добивался больше месяца. Он пошел в турбинный цех с радостным ощущением, что теперь во что бы то ни стало найдет, найдет последнее, недающееся решение. Но к концу второго рабочего дня его охватили сомнения, тем более сильные, что внешних препятствий уже не было: облопаченные диски ротора находились перед ним, он час за часом проникал нецарапанной рукой в узкие щели между лопатками и осторожно спиливал наросты лишнего металла — тем самым движением, которое бесконечно повторял мысленно, отыскивая способ заменить человеческую руку умным и точным механизмом. Он думал: «А может быть, нужно не следовать за ручным процессом, а, наоборот, оторваться от него? Может быть, у меня не хватает именно широты мышления и смелости, без которых не рождалось ни одно изобретение?»

— Похоже на то, что я пошлю к черту все сделанное,— сказал он Жене Никитину,— и начну искать совсем новое решение.

Женя охнул от удивления и, забывшись, неосторожно двинул рукой. Острое ребрышко лопатки взрезало кожу на его руке.

— Ч-черт! — выругался Воловик.— Иди промой и залей йодом.

Когда Воловик в самом грустном настроении вернулся домой, он сразу попал ногой в большую лужу, стоявшую посреди передней. Ася, вспотевшая и грязная, весело закричала из кухни:

— Вытри ноги и не наследи в комнатах! Я кончаю!

Действительно, обе комнаты сверкали чистотой. Мебель была передвинута на новые места: спальня переехала в столовую, а столовая — в спальню. Рабочий стол Воловика тоже переехал к другому окну, и настольная лампа сиротливо стояла среди груды книг с закрученным вокруг абажура шнуром, так как штепселя возле нее не было. Воловика озадачила такая непродуманная перестановка, но он был слишком доволен тем, что Ася ожила и проявляет энергию, чтобы сердиться.

— Как же ты одна все передвинула, Ася? — с упреком спросил он, на цыпочках пробираясь в кухню.

Кухня тоже была до блеска вымыта от потолка до узкого пространства под плитой, где обычно накапливались пыль и мусор, так как поддерживать порядок изо дня в день у Аси не хватало прилежания и охоты.

Ася вытерла лицо тыльной стороной ладони, размазав по нему потоки грязи и лучезарно улыбнулась.

— А я понемножку, понемножку,— объяснила она.— Мне хотелось, чтобы к твоему приходу все было кончено. У тебя там штепселя нет,— виновато добавила она.— Ты пока займись, а я домою. Провод я купила, он на подоконнике.

Она купила провод, но забыла ролики и штепсель. Сообразив это, она расхохоталась и, бросив уборку, присела на окруженный лужицами табурет. Ей очень шло, когда она смеялась, и она знала это.

Воловик подошел и поцеловал ее раз, и другой, и третий, пока она не заметила, что он тоже перепачкался.

— Два трубочиста! — воскликнула она и схватилась за тряпку.— Ступай, займись чем-нибудь! Или, еще лучше, сбегай за своими роликами и купи чего-нибудь поесть, я не успела сготовить.

Когда она домывала переднюю, пришел Женя Никитин. Начав помогать Воловику в работе над новым станком, Женя всей душой привязался к старшему товарищу и к его жене. На Асю он действовал успокоительно и ободряюще. Может быть, потому, что она знала, как надломлено его здоровье несколькими ранениями, жизнерадостность Жени покоряла ее, в то время как жизнерадостность здорового, сильного Воловика зачастую коробила.

— А у меня обеда нет! — огорченно ахнула Ася.— Бедняги вы, голодные, а я не позаботилась! Саша, беги скорее в магазин!

Жеия, вы поможете Саше расставить книгн? Я ему все переверну ла вверх дном!

Жеия одобрил перестаиовку, ио поморщился, увндав детский стол и диванчнк, которые Ася не решилась вынестн.

— У вас антресолн есть?

— Есть. В передней,— шепотом ответила Ася.

— Поставьте-ка там лесеику и табуретку,— прнказал Женя и решительно вынес в передиюю малеиький стол н диваичик.

Увидав, как ои убнрает их иа аитресоли, Ася прнпала к стене и всхлипиула.

— Перестаньте, Ася! — сказал Жеия, касаясь рукою ее плеча.— У вас еще будут дети, н тогда я сам все синму.

Ася стремнтельно повериулась к иему, широко раскрыв глаза Слезиика еще висела иа ее щеке.

— Женя! — еле слышно прошептала оиа.— Вы думаете?..

— Коиечно, Ася! — уверенно сказал Женя и подтолкнул ее к кухие.— Иднте вымойтесь н переодеиьтесь, а то на кого похожи.

Ася заглянула в зеркало, рассмеялась, снова всхнпнула и через минуту уже полоскалась под краиом.

Вернулся Воловнк. Ои сразу заметил исчезновеиие детской мебели, благодарно стиснул плечи друга и, ии слова не сказав, позвал его разбирать книги.

Воловик уже несколько лет с увлечеиием н тщательностью собирал бнблнотеку. После каждой получки ои отправлялся по киижиым магазинам, выискивая техиические кннгн н художествеииую литературу. Деиег иа все, что маинло его, ие хватало, и ои время от времеин сбывал прочитаиные книги, чтобы купить побольше иовых. Он мечтал, что в будущем у него будут подобраиы классики марксизма-леииинизма, все русскне классикн и осиовиые ниостраиные — хотя бы в одиотомиках. Кроме того, ои собирал кннги о путешествиях.

С тех пор как Женя Никитии впервые вошел в квартнру Воловиков, ои заразнлся страстью к приобретению кннг. Влюблеино подражая своему более взрослому и талантлнвому другу, Женя стремился во всем сравияться с ннм н ревниво следил за тем, что покупает, что читает Саша Воловнк. Теперь ои так плаиировал свой бюджет, чтобы выделить из каждой получки «киижиые» деиьгн, н онн отправлялись вместе с Воловиком по магазииам, рылись на прилавках «старой книги», охотились за иовикамн. Увлекающнйся Женя был иногда не прочь соблазииться какнм-ннбудь диковииным издаиием, но Воловик рассудительно останавливал его:

— Зачем? Она же тебе не иужиа!

И Женя с сожаленнем клал кннгу иа прнлавок.

Решив передвинуть полку в другую комиату, Ася свалила киигн иа столы н подоконники как пришлось, и теперь друзьям предстояло заиово разобрать их н расставить.

— Вот вам тряпки, оботрите пыль,— напомнила Ася, бросив им с порога два лоскута.

Это было приятно: руки как бы ласкали и оглаживали корешки и переплеты, невольно раскрывая то одну книгу, то другую, и глаза всегда выхватывали на случайно раскрывшихся страницах давние заметки, сделанные карандашом или ногтем. Было интересно припомнить, что привлекло внимание при первом чтении.

Заговорившись, оба на некоторое время забывали о разборке книг, пока голос Аси не возвращал их к делу:

— Вы кончаете? Сейчас буду кормить вас, освобождайте стол!

На кухне все четыре горелки газовой плиты горели самым высоким огнем; пар подбрасывал крышки кастрюль; бурно гудел, закипая, чайник; шипело на сковороде масло.

— Скорее, скорее, у меня все сгорит! — торопила Ася.

Освободив край стола, они сели обедать. Ася болтала, довольная новым устройством и тем, что ей удалось сегодня вытащить мужа домой пораньше.

Они пили чай, когда под окном раздался протяжный голос:

— Точи-ить! Точи-ить! Ножи, ножницы, ко-му то-чи-ить!

— Ой, как удачно, у нас все ножи тупые! — вскрикнула Ася.— Сашенька, ты спустишься?

Ася никогда не знала удержу: раз уж взялась за хозяйство, хотела, чтобы все было сделано в один день. Завтра или послезавтра крик точильщика оставил бы ее равнодушной, ножи могли бы лежать ненаточенными еще год.

Воловик послушно взял ножи и пошел вниз.

— Саша! — перегибаясь через перила, вдогонку крикнула Ася.— У тебя деньги есть? Купи вина, мы сегодня устроим новоселье, хорошо?

— Какого, Ася?

— Какого хочешь, только сладкого. И пряников. В общем, посмотри сам, что приглянется!

Возле точильщика уже стояло несколько домашних хозяек. Заняв очередь, Воловик зашел в магазин и купил бутылку сладкого вина и пряников, на другое у него не хватило инициативы. В последнюю минуту он увидел маленькие плитки шоколада с зайчиком на обертке и купил плитку для Аси. Ему было неловко и стыдно оттого, что он устроил себе свободный вечер и ушел из цеха, малодушно покинув изобретение как раз тогда, когда следовало переломить себя и заново продумать, пересмотреть все сделанное. Десятки людей надеются на него. А он будет пить вино, как будто сегодня ему есть что праздновать!

Прижав к себе покупки и держа наготове обернутые бумагой ножи, он вернулся к точильщику. Одноглазый инвалид с искривленной ранением бугристой бровью шутил и пересмеивался

с хозяйками, плавно подставляя затупившуюся сталь кухоииого ножа под вращающийся иаждачный круг. Оттточеииое ребро ножа светилось тоикой полоской. Точильщик провел пальцем по ребру, отложил нож и взялся за следующий.

Ожидая своей очереди, Воловик рассеяиио иаблюдал, как стремительно вертится серый круг, как возиикают иа лезвиях светлые полосы, как при соприкосиовении стали с вращающимся кругом высекаются чуть видные при дневном свете искры. Ои прислушивался к шуткам точильщика и к ответным шуткам жеищии, к легкому скрежету наждака, обтачивающего металл, и даже, пожалуй, ие думал ии о чем. Но точильщик, жеищииы, улица вдруг куда-то отступили, исчезли из поля зреиия, и остался только быстро вращающийся круг, обтачивающий металл,— ие этот, а другой, более тонкий н прочиый круг еще иеведомого сплава, который свободно, несомый легко разворачивающимся послушиым суппортом, входил в узкие щели между рядами лопаток и, иежио прнкасаясь к нх ребрышкам, быстро и точио подравиивал их, снимая наросты лишиего металла.

Это видеиие было так иеожиданио и так чудесио, что Воловик чуть ие выроиил покупки. А круг продолжал быстро вращаться, плавио двигаясь между рядами лопаток, послушио меияя направлеиие, иаклои, силу иажима н придавая сотиям острых ребрышек ту ндеальную одннаковость, какой никогда ие достигиет самая нскусиая рука человека.

— Жеия, круг, понимаешь — круг! -- задыхающимся голосом повторял Воловик, стоя на пороге квартиры и прижимая к себе бутылку, пряиики и так и ие отдаииые точильщику иожи.

Ася выбежала в переднюю и замерла, увидев мужа.

— Нашел, Ася,— прошептал он, свалил покупки иа стол, подиял Асю в воздух, поцеловал в губы, в щеки, в лоб, в иос и засмеялся: — Круг, понимаешь, круг! Жеия, круг!

Ои увлек обоих к столу, спихнул с него книги, схватил листок бумаги и караидаш, попробовал иарисовать, прорвал бумагу острием караидаша, сиова засмеялся и стал раскачиваться, дергая себя за волосы.

— Ох, и дурак же я! Ох, и дурак! Ведь так просто, милые вы мои, так просто, что и думать-то было иечего!

Ои сиова схватился за бумагу и иеуклюже иарисовал схему стаика.

— Поиимаешь, Жеия? И ведь, главиое, думал я о круге! В самом иачале подумал и отбросил. Как же так, а?

Ои силился вспомнить ход мыслей, заставивший его сразу отказаться от использоваиия круга. Хода мысли ие вспомиил, ио поиял, что с самого начала находился во власти ручиого процесса спиливаиия наростов, н все усилия направил иа то, чтобы воспроизвести в механизме, скопировать ручиой процесс. А иадо было отвлечься от знакомого процесса н иайти ие механическую

копию, а самостоятельиое решенне. Ведь и первый самолет был создан только после того, как ищущая человеческая мысль оторвалась от копнроваиия двнжущнхся и взмахнвающнх крыльев птнцы.

— Это будет так, нменно так, Женя! — говорил он через минуту, уже спокойно повторяя схему станка.— Мы еще выверим, рассчитаем, нспытаем... Но я увереи, увереи! Жеия, пошли немедлеиио на завод, я должеи сейчас же поговорить с Полозовым, с Яшей... Пошли!

Уже в дверях он вспомнил об Асе.

— Асенька, ты уж простн! Сама вндишь... Мы вернемся.

Он старался не глядеть в ее напряженно улыбающееся лнчнко.

— Да, я ведь тебе шоколадку купнл! Мы скоро, Асенька! И вина тогда выпьем — уже теперь будет за что!

Ася закрыла за иими дверь, вернулась в комиату, к неубраииой посуде, разбросаиным кннгам н забытым листкам с чертежами. Оиа устала за деиь н уже иичего не хотела убирать. Села на подвернувшийся стул, сорвала обертку с зайчиком н откуснла кусочек шоколада, с трудом удерживая слезы.

4

Дидеико выехал в Москву дней на пять, но уже к коицу второго дия заторопился домой, ие поспел на последннй поезд н решил лететь самолетом.

По дороге на загородный аэродром ои то дремал в мчащемся иа предельиой скорости автомобнле, то с иетерпением выглядывал в окио, ио видел только мглнстые поля с редкими огоньками спящих поселков да красные точки снгиалов на ндущих впереди машииах. Тем разительиее была перемена, когда он попал в залы аэропорта, полиые шума н двнжеиия.

Каждые иесколько минут громкий голос, усиленный репродуктором, объявлял:

«Граждане пассажиры! Начииается посадка иа самолет Сталинград—Баку—Ашхабад!»

«Начинается посадка на самолет Одесса — Бухарест — Софня!»

«...Свердловск—Новоснбирск—Иркутск—Хабаровск—Владивосток!»

«...Уральск—Актюбннск—Ташкент—Термез—Кабул!»

С привычной общительиостью бывшего моитажника, исколеснвшего всю страну н везде чувствующего себя как дома, Дидеико с интересом заговаривал с собравшнмися тут людьми н через иесколько минут уже знал, что группа жеищин едет делегацией дружбы к демократнческм жеищииам Италнн, что шумиая компания студентов летнт в Прагу, а группа солндных

людей, которых Диденко принял было за хозяйственников,— лесорубы из Архангельска, приезжавшие на коллегию министерства.

Его внимание привлек красивый пожилой мужчина; рядом стояли очень милая, явно взволнованная женщина и мальчик лет десяти, смотревший вокруг сонными глазами. Когда началась посадка на Берлин, женщина порывисто обняла и крепко поцеловала мальчика, потом мужа. Диденко услышал, как она сказала:

— Вы только не волнуйтесь, месяц пролетит незаметно.

Все трое пошли к выходу на поле, а через несколько минут Диденко увидел, как отец и сын прошли обратно с посуровевшими лицами — двое мужчин, старающихся скрыть свои чувства. Кто она, эта милая женщина, с болью оторвавшаяся от близких ради какого-то важного дела в Берлине? Вон оно как. В Берлине...

— Граждане пассажиры, начинается посадка на самолет Ленинград—Петрозаводск—Архангельск!

«Правильно ли я делаю, что так быстро уезжаю?» — с запозданием спросил себя Диденко, когда моторы взревели на полных оборотах.

Неспокойный бег самолета по полю сменился плавным полетом. Стало тише. Диденко приник к стеклу и увидел наискось от себя освещенное здание аэропорта, ряды самолетов, а вокруг — темную землю с редкими огнями. Но самолет набрал высоту, развернулся, и вдруг под крылом, далеко внизу и сбоку, открылась панорама огромного города, сияющего в предутренней мгле тысячами огней. В этом светлом зареве мелькнули башни Кремля, извилистая темная полоска Москвы-реки, силуэты строящихся высотных зданий с красными огоньками на стрелах подъемных кранов... Самолет снова повернул — и панорама ушла назад, а перед глазами распростерлось большое небо с зачинающейся на востоке зарей.

Диденко вытянулся в кресле и закрыл глаза: впереди горячий день, надо поспать. Но только он сказал себе это, как на место рассеянных впечатлений предотъездного часа вернулись мысли, заставившие его вылететь первым самолетом.

Диденко поехал в Москву, надеясь получить помощь для выполнения краснознаменского заказа, а заодно, как было решено с Немировым, постараться ускорить строительство домов для заводских рабочих и инженеров. Но главной целью, конечно, было нажать на поставщиков, «вырвать» до срока новые станки, получить разрешение на сверхурочные часы. Диденко твердо верил, что для такого государственно важного дела никто и ничего не пожалеет.

Что ж, никто не отрицал важности дела. Все хотели помочь и кое в чем помогали. Но, попав в строгий, деловой порядок, где подобных забот и тревог очень много, а есть дела и поважней

и потрудней, Диденко сам невольно отказался от сознания исключительности своего дела. Важны краснознаменские турбины, но разве они не должны посторониться перед мощными экскаваторами для Волго-Донского канала? Очень нужен, государственно важен краснознаменский промышленный район, но вот люди из других таких же новых и важных промышленных районов, где свои потребности, своя спешка, свои обязательства.

Об этом же был разговор и с Николаем Сергеевичем Ивановым в отделе машиностроения ЦК.

Разговор был долгий. На Диденко успокоительно действовали и негромкий голос Иванова, и его манера внимательно слушать, и самый стиль, царивший в ЦК,— стиль деловой, сосредоточенной работы, когда ничто не решается наспех.

Слушая Диденко, Иванов изредка задавал вопросы:

— А свои мощности вы до конца используете? Много у вас трудоемких операций еще не механизировано?

И Диденко даже не заикнулся о разрешении на сверхурочные.

Иванов сказал, делая запись в блокноте:

— В чем вам действительно надо помочь — это в ускорении жилищного строительства для рабочих. Нажмем на министерство! И некоторое давление сверху на кооперированные с вами заводы тоже, видимо, придется оказать. Только разве вы использовали тут собственные возможности? Съездили вы на эти заводы? Поговорили с директорами, с парторгами, с рабочими? Путь нажима сверху и дополнительного снабжения — самый легкий, но не самый правильный.

Ни в чем не обвиняя Диденко, Иванов как бы просто рассуждал:

— На вашем металлическом заводе за счет экономии металла целую турбину лопатками обеспечили. Или на Уралмаше... да примеров множество, вы их должны знать. Невыполнимых задач никто заводам не ставит. Мы бы этого никогда не поддержали. А вот требования, которые помогают предприятиям подтянуться и бережливо, без расточительства, умно распределять и расходовать свои силы,— такие требования мы всегда поддерживаем и сами выдвигаем. Правда, они не всегда легки, но ведь мы с вами и не ищем легкого.

В ЦК, как понял Диденко, никто не сомневается в том, что «Красный турбостроитель» изготовит краснознаменские турбины в срок.

— После краснознаменских на конец года вам подбавят, видимо, еще две турбины,— сообщил Иванов,— для Казахстана и Туркмении. А на будущий год вам следует ждать увеличения плана, вероятно, до десяти — двенадцати машин. Так что сейчас ваша задача — отрегулировать производство для серийного выпуска мощных турбин. Тут без ломки не обойтись, причем не только производственной технологической, но и ломки психоло-

гической. Вот ваша партийная задача — и организаторская, и воспитательная.

Полулежа в откидном кресле и прикрыв глаза, Диденко мысленно переходил из цеха в цех. Он перебирал в памяти свою работу за последние недели. Нет, особых ошибок не сделал. Только сегодня же надо взяться за самое главное. Оргтехплан — вот что должно стать определяющим! Рычаг, который вытащит наружу все скрытые резервы... План коллективного творчества — так назвал его Воробьев. А я поддержал, да и забыл... И Любимов забыл, как только пришел приказ директора... Полозов там набузил на совещании, но суть-то у него здравая? Разобраться надо. Немиров очень держится за Любимова. Опыт. Знания. Спокойствие. Но и спокойствие бывает разное... Возиться там придется немало!

Мысль его скользнула вперед, к будущим выборам партийного бюро турбинного цеха. И сразу Диденко захотелось приблизить их — не через две недели, а завтра бы! Ефима Кузьмича надо отпустить, тяжело ему. А кого вместо него? Предстоит основательная ломка — «и психологическая». Хорошо бы свежего человека, из цеха, где сложилась другая традиция — серийного, ритмичного производства!.. Из инструментального? Ну конечно же! Там и человек есть очень подходящий — Фетисов. Умница, основательный опыт партийной работы... Ох, скорей бы выборы!

Он открыл глаза, потому что самолет накренился и шум моторов стал громче и словно тревожней. Окно показалось ярко-голубым. Не окно, а небо за окном, небо без края, пронизанное солнечным светом. Земли будто и нет, только серебристое крыло торчит под углом. Но вот оно выпрямилось, внизу блеснула более темная голубизна залива в низких берегах, и вдруг на повороте — в вечной дымке от сотен заводских труб — Ленинград. Какой же он сверху четкий, улицы вытянуты будто по ниточке, а кварталы — ровные квадратики, как на макете архитектурного проекта. А вот и наш проспект, а массивные темные коробки — это же он, завод!

На аэродроме ждала Соня. Из любопытства прискакала встречать: почему это Николай Гаврилович возвращается раньше, да еще самолетом?

Но Диденко не удовлетворил ее любопытства, наоборот, сам всю дорогу расспрашивал, что на заводе, будто отсутствовал не два дня, а две недели. Впрочем, новости, конечно, были.

— Коля Пакулин и Женя Никитин предложили комсомольские контрольные посты по краснознаменскому заказу во всех цехах,— рассказывала Соня.— Хорошо, правда? Вчера уже начали... И еще вчера в турбинном опробовали станок Воловика — того самого, из-за которого такой шум поднялся! — и, представьте, ничего не вышло! Любимов говорит: этого и следовало ожидать!

— А ты ие повторяй всего, что говорят,— с необычной для иего резкостью оборвал Дниденко.— Лучше запомни: завтра на восемь утра созывай партсекретарей цехов и после работы — партгрупоргов.

— Тоже завтра? — охнула Сония.— Это пока всех обзвонишь!..

— Обязательио завтра, Сония, и ни на день позже.

Не заходя в партком, Диденко подъехал к турбииному цеху и разыскал Воловика. Пригнувшись около облопаченного диска, Воловик медлеиио и осторожио спиливал с лопаток наросты металла. Диденко досадливо поморщился: кто это надумал, будто в насмешку, поставить изобретателя на следующий день после неудачи как раз на ту самую работу, которую он хотел, но не сумел механизировать?

Воловик заметил парторга, вывел руку из зазора между лопатками, спокойно поздоровался и сказал, ие ожидая вопросов:

— Все правильно, Николай Гаврилович, вы ие расстраивайтесь. Станок работать будет.

— Ну, если ты меня успокаиваешь, а не я тебя — значит, действительно все правильно,— улыбнулся Диденко.— Что делать собираешься?

— Вчера управление подвело, крутой иаклон круга не получался,— объяснил Воловик, руками показывая, как именно должен наклоняться круг,— суппорт переделывать будем, есть одна идея. А у меня, кроме того, сомнение насчет самого круга: тот ли сплав? Посоветоваться надо... в лаборатории, что ли испытать? После работы займемся.

— А пока — пилишь?

— А пока — пилю.

Диденко прошел в кабинет начальника цеха. Любимов торговался с кем-то по телефону насчет присылки слесарей на снятие навалов. Удивившись неожиданному возвращению парторга, иачальник цеха наспех доругался по телефону и тотчас иачал рассказывать, как обстоят дела с турбиной: ротор... диафрагмы... цилиндр... регулятор начали собирать... приступили к снятию навалов...

— Долго еще рукодельничать будете? — перебил Диденко.

Любимов развел руками:

— Рад бы не рукодельничать, да что поделаешь? Как раз вчера опробовали станочек Воловика. И что же? Провал! Конечно, идея хорошая. Будем продолжать опыты, но...

— Знаете что, Георгий Семенович? Кустарничество вы хотите ликвидировать кустарными же попытками. Может быть, привлечем лабораторию, представителей технического отдела, кого-либо из опытных механиков... и заставим их быстро и организованно

решить все проблемы, связанные со станком Воловика? Это будет лучше, чем выпрашнвать у дядн слесарей.

Он позвонил Ефнму Кузьмнчу н, как только Ефнм Кузьмнч пришел, закрыл дверь на ключ.

— А теперь давайте поговорим напрямнк.

Весть о возвращенин Диденко дошла до директора в начале дня, и Немнров усмехнулся, узнав, что парторг сразу помчался в турбинный,— вот неспокойная душа, два дня не был, и уже боится — не завалился ли без него цех.

Вскоре позвонил сам Диденко:

— Прнветствую, Грнгорий Петрович! Я тут поговорю с народом, а потом к вам, хорошо?

— Одно нз двух,— сказал Немнров,— нлн ты в однн день всего добнлся, или в однн день понял, что ннчего не добьешься.

— В Москве-то не добьешься? Конечно, помоглн! И еще как помогли! — оживленно ответил Диденко.— Приду, все расскажу.

Но когда через час Немиров сам позвоннл в турбнннный цех, Любимов сквозь зубы ответил:

— Был н только что ушел, Григорий Петрович. Куда — не знаю.

Еще через полчаса Немнров, рассерднвшнсь, прнказал секретарше разыскать парторга немедленно, где бы он нн был.

Секретарша позвонила Ефнму Кузьмнчу, тот сказал, что Диденко где-то в цехе, а через мннуту сообщил: нет, уже ушел, говорят, в фасоннолнтейный.

Начальник фасоннолнтейного сказал, что парторга не было, а потом поправился: оказывается, заходил, беседовал с комсомольцами из контрольного поста.

Немиров стоял рядом с секретаршей — найтн хоть под землей! Телефонистка трезвоннла по всем телефонам подряд, передавая секретарше сообщения заводскнх абонентов: недавно был, но ушел в термнческий... у начальннка нет, в комсомольском бюро... только что ушел... в ннструментальном, вызвал Фетисова н ходнт с ннм по аллее возле цеха взад н вперед...

Немиров уже хотел послать кого-нибудь на аллею, когда появился сияющий, ожнвленный н немного вниноватый Днденко.

— Понимаешь, задержался, ты уж нзвннн, Грнгорий Петрович, я не думал, что ты меня ждешь! — говорнл он, проходя с директором в кабннет.— Я там Кузьмнча с Любнмовым подкрутнл малость... Потом с Воловнком разобрался... А какое хорошее дело комсомольцы затеялн, а? Я кое с кем нз этнх контрольных постов побеседовал, золотые ребята, вцепятся — будь здоров, прндется пошевелнваться!

Немиров ннчего не знал о комсомольском начнннанн н, как показалось Днденко, не прндал ему должного значення.

— Ты лучше расскажи, что в Москве и почему ты так неожиданно сорвался и прилетел?

— Даже не знаю, как сказать... Понял, что главная работа — тут, на заводе, и не надо терять ни одного часа. Что важнее поговорить на месте с заводами-поставщиками, поднять там людей, добиться, чтобы они з а х о т е л и нам помочь... Григорий Петрович, дорогой, поедемте сейчас вместе к Саганскому и Волгину!

— Я и сам собирался, только тебя ждал,— недовольно сказал Немиров.— В общем, если сказать без обиняков, ничего добиться не удалось, да?

— Ну как же ничего? Мне кажется — многого!

Он стал рассказывать, сбивчиво и нетерпеливо. Самым главным итогом поездки для него лично было то настроение уверенности и бодрости, какое у него создалось во время беседы в ЦК. Но как передать это настроение директору, который слушает скептически и все старается извлечь что-либо конкретное, вещественное?

— Значит, станки все-таки обещали поторопить?.. А когда? Что именно он сказал?

В середине разговора Диденко поглядел на часы, извинился и взялся за телефон. Нежно улыбнувшись гомону детских голосов, ворвавшихся в трубку, он попросил позвать Екатерину Игнатьевну.

— Катюша, это я! — закричал он, услыхав голос жены. Когда он звонил ей в школу, он всегда кричал: ему казалось, что иначе она и не услышит.

— Коля, ты? Откуда ты говоришь? — удивилась она. Чувствовалось, что она обрадовалась, хотя голос был не домашний, а тот, другой, каким она всегда говорила в школе.

— Что Гаврюшка? Здоров?

— Ну конечно, здоров и вчера разбил стекло на часах. Чувствовалось, что она улыбается,— должно быть, вспомнила забавные подробности этого происшествия.

— Как Москва? — через минуту спрашивала она; гомон утих, и он понял, что ее семиклассники стоят рядом и прислушиваются.— Тут интересуются, видел ли ты стройку нового университета.

— Видел, Катюша. Съездил туда между делами, но не повезло: туман был. Задрал голову, до шестнадцатого этажа досчитал, а дальше не видно,— в облака ушел.

— В облака? — удивилась Катя и тут же начала пересказывать его слова тем, кто стоял рядом, но в телефонную трубку донеслось дребезжание звонка, и они наскоро простились,— Катя заспешила в класс.

Немиров слушал с улыбкой дружеского сочувствия: как это знакомо! Обрадовалась и побежала по своим делам...

— А теперь, Григорий Петрович, давай-ка поедем навестить

твою жену! — сказал Диденко.— По дороге все и расскажу. Постановления постановлениями, а прежде всего — взаимное понимание, чтобы по охоте взялись...

— Но постановление все-таки обещали? — уже выходя к машине, спросил Немиров.

— Обещали,— неохотно ответил Диденко и, помолчав, сказал: — Нам надо здорово перестроиться, Григорий Петрович. До конца поверить в собственные силы. А то мы все на дядю надеемся!

Такая уж была у Диденко привычка: упрекая в чем-либо директора, он всегда говорил «мы».

Саганский принял их пышно. Все у него было представительно: громадный кабинет с массивной резной мебелью и коврами строгая секретарша, коробка самых дорогих папирос на столе — для гостей, так как сам Саганский курил только «Звездочку» уверяя, что от других папирос на него нападает кашель.

Усадив гостей с радушием гостеприимного хозяина, он поболтал для начала о том о сем, но как только дошло до дела, начал плакаться:

— Можно подумать, что вы одни! А генераторный на меня, думаете, не жмет? И тоже Краснознаменкой козыряет! А метро не торопит? А станкостроительный, думаете, молчит?

Высказав все жалобы, он успокоился, сказал, что металлурги еще никого не подводили, и приказал секретарше вызвать ряд работников, в том числе Клаву. Пригласить своего секретаря парткома он забыл. Диденко напомнил ему об этом, и Саганский сказал:

— Ах да! И еще позовите Брянцева.

Клава вошла с папкой бумаг, мило поздоровалась, как с чужими, мимолетно улыбнулась шутке Саганского: «Вы, кажется, знакомы?»

Она почти не участвовала в разговоре, но, когда нужно было, не открывая папки, по памяти давала точные, короткие справки. Немирова это немного задело: не слишком ли она скромна? Начальник планового отдела мог бы говорить авторитетней!

Один за другим входили в кабинет работники завода, Саганский представлял их «нашим заказчикам». Все были Немирову знакомы по рассказам Клавы. Она с такой любовью говорила о своих товарищах по работе, что на первых порах Немиров ревновал ее то к одному, то к другому. Теперь он присматривался к заочным знакомцам. Как, вот этот маленький, невзрачный человек и есть замечательный Егоров, главный инженер, о котором Клава отзывалась с восторгом? А сумрачный начальник мартенов с седеющей головой — это и есть Злобин, про которого Клава говорит, что он «чудесный парень»?..

Впрочем, во время дальнейшей беседы Григорий Петрович начал соглашаться с Клавой: Злобни действительио оказался чудесиым человеком: для него, видимо, ие существовало иичего невозможиого, лишь бы, как ои выражался, «подиять иарод». Егоров вел себя осторожно, иа обещання скупился, выдвигал одно за другим возражеиия, затем сам подсказывал выход. Немиров скоро разобрался что нмеиио Егоров — главиое лнцо иа заводе.

А что же Сагаискнй? В среде директоров Сагаиский всегда говорнл: «Я перевыполнил плаи», «Я даю скоростиые плавкн». Немиров посмеивался — хотел бы я видеть толстяка возле печи, как бы ои «дал» плавку! Теперь Немиров понял: при всех своих смешиых чертах Саганский — хорошнй оргаинзатор н умеет подобрать людей себе в помощь.

— Как тебе поиравнлся нх секретарь парткома? — спросил Диденко, когда они селн в машину.

Немиров ничего ие мог сказать: ие обратнл внимаиия.

— Как же так? Это же мечта самолюбивого днректора! — посменваясь, сказал Дндеико.— Вот увндишь, Грнгорий Петровнч, иа перевыборах его прокатят с треском, если раньше не снимут! И вот тебе мое слово: Сагаиский сам, пользуясь тайиой голосоваиия, тихоиько вычеркиет его фамилию. Вздохнет, ио вычеркнет!

Ишь ты, «мечта самолюбивого директора»!... Небось иамекает Диденко? Что ж, скрывать иечего, иной раз хочется, чтобы парторг был ие так иапорист. Вот Дидеико — люблю его, люблю и уважаю... но и раздражает он меия иногда, ох, как раздражает!..

— А жена твоя — молодец! — сказал Дидеико.— Со своим мнеинем... Не то что наш Каширин.

Грнгорий Петрович удовлетвореиио улыбиулся: иа этот раз ои ие собнрался отстаивать превосходство своего работника, хотя не совсем поиял, из-за чего поспорила Клава с Сагаиским. Ои прослушал иачало, заговорнвшись с Егоровым, и услышал только, как Саганский недовольио оборвал:

— Бросьте, Клавдня Васильевна, это уж какне-то новости!

Немиров видел, как нзмеинлась в лице Клава, как сдвннулись ее брови, образовав на лбу глубокую морщинку,— он хорошо знал эту упрямую морщинку.

— А по-моему,— твердо возразила Клава,— в планироваини тоже должны быть, и обязательно будут, иовости.

Дидеико, коиечно, со свойственной ему иепосредствеииостью немедлениo поддержал:

— А и верио! Почему экономнст ие может быть иоватором?

Клава улыбнулась ему и уже добродушио сказала:

— Нет, правда же, планнрование должно соответствовать...

Когда все подиялись и начали прощаться с «заказчнками», Диденко шутливо сказал Клаве:

— Так будем ждать, Клавдня Васильевиа. Покажете прнмер?

Клава отшутилась:

— Чего уж на нас надеяться, у вас свой плановик есть!

Она проводила их до лестницы, постояла на площадке, пока они спускались, и помахала им рукой с той естественной простотой, с какой делала все.

По мере приближения к станкостроительному заводу настроение Немирова падало. Об этом заводе в последнее время много писали (а о нас не пишут!). Недавно была статья и самого директора завода Волгина (умная, ничего не скажешь, но не слишком ли он самоуверен?). После наблюдений, сделанных у Саганского, было очень интересно посмотреть, каков этот директор в работе. Только бы не вздумал вызывать Горелова или вести в цех дивиться на Горелова, да еще при Диденко!

Впечатление Волгин произвел на Немирова сразу, как только поднялся и пошел навстречу гостям по просторному, скупо меблированному светлой мебелью кабинету. Волгин был молод,— не старше, а может и моложе Немирова. Немирову случалось встречать его на совещаниях, но сейчас Волгин показался ему совсем другим,— хозяин!

— Прошу,— коротко пригласил Волгин, указывая на кресла возле письменного стола, сел и приготовился слушать, видимо не считая нужным посторонними разговорами рассеивать скованность первых минут.

Григорий Петрович решил, что разговор будет нелегким, но, когда он изложил суть дела, Волгин улыбнулся и сказал:

— Понятно. Краснознаменке мы и непосредственно помогаем: большинство станков для машиностроительного от нас идет. Тоже досрочно сдавали и сдаем. Но, видимо, придется и вам пойти навстречу. Сейчас уточним, что удастся сделать.

Он нажал кнопку звонка, вошла молодая, подтянутая секретарша, выслушала приказание, кого вызвать, и удалилась.

Секретарь парткома был назван первым, это Немиров отметил про себя. Он с интересом вгляделся, что за человек. Секретарь парткома был значительно старше директора, но весьма энергичен и ухватист — под стать Диденко. Волгин явно уважал его и во время беседы часто обращался к нему. Впрочем, беседой это было трудно назвать: Волгин коротко изложил просьбу «Красного турбостроителя» и свое мнение: надо помочь. Затем он по очереди выслушивал своих работников — их соображения и предложения. Иногда, выслушав, Волгин тут же диктовал секретарше пункт приказа — вопрос был исчерпан, к нему уже не возвращались.

Немиров уловил, что всем работникам завода это нравится (понравилось и Немирову) и что они с некоторой гордостью за своего директора поглядывают на гостей.

— Товарищ Горелов,— вызвал директор, бросив на Немирова быстрый взгляд.

Немиров только теперь узнал этого инженера, доставившего

ему два года иазад столько иеприятиостей. Немолодой и иа вид угрюмый, нз тех бирюков, с которымн Немиров терпеть не мог нметь дело, Горелов поднялся с места и сухо сказал, что задачу прннимает. Затем он стал нзлагать свои соображения. Из них Немнров понял, что цех работает по часовому графику н новая задача потребует от руководства заиово рассчитать и сплаинровать всю работу. В коице Горелов повторнл, что коллектив цеха охотно поможет турбиищикам, и вдруг тнхо сказал:

— А я тем более. Это же мой родной завод, где я с фабзавуча иачал.

У Немирова горели щеки, когда он, по приглашеиню директора, пошел осмотреть прондводство. В механосборочиом цехе у Горелова они задержалнсь особеиио долго, и Григорий Петрович наметанным глазом определил, что цех действительио очень продумаино и четко оргаиизоваи, введеио миого иовшеств, благодаря которым вдвое сокращен цикл сборки стаика. Что же это произошло с Гореловым? Легче ли здесь, или человек вырос, иаучнлся иа прошлой ошнбке?

Как будто отвечая иа раздумья своего гостя, Волгии сказал:

— Начальиикам цехов у иас дана большая самостоятельиость. Хозрасчет полиый. В мелочи не вмешиваюсь. Умиый риск мы поощряем, а ошибкн... если случаются ошибкн, помогаем выправить,— и он снова бросил иа Немирова быстрый взгляд.

В машнне Диденко оживлеиио заговорил:

— До чего ж нитересно со стороиы приглядываться да прислушиваться, а? Я, зиаешь, все время сравиивал — иеплохой у иас завод, кое в чем они нам уступают, но и поучиться у иих можно многому.

Немиров был благодарен ему за добрые слова, ои сказал, прнободрившись:

— Да, кое-что я себе на ус иамотал.

И, чувствуя, что без этого разговора не обойтись, добавил:

— А Горелов здесь как будто иа месте. Коиечио, цех у иего поменьше и попроще, станкн идут большими сериями, так что можио использовать преимущества потока... К тому же завод однотнпиого производства...

— Я ведь ие спорю, Григорий Петрович,— сказал Дидеико.— Что уж так горячо доказывать?

5

В комнате было полутемио, настольиая лампа освещала только часть стола н склоиеииую голову Карцевой. Аня разлниовывала лист ватмана, что-то шепотом подсчнтывая. Оиа подняла голову и улыбиулась Полозову:

— Вы ие торопитесь? Тогда погодите, а то я собьюсь.

Алексей сел в уголок, в старое, ио уютное кресло и сразу почувствовал себя до крайностн утомленным тремя последними

днямн. Работа уже ие радовала. Злилн товарищи: одни будто н ие нзбегалн его, а в глаза ие смотрелн и разговаривалн с холодком; другие проявлялн обидиую жалостливость. Любимов был подчеркнуто вежлив, к каждому своему прнказанию добавлял: «Я вас прошу, Алексей Алексеевич»,— но советоваться с Алексеем перестал совершенио и, по существу, отстранил его от руководства цехом. Попросив Алексея заняться Воловнком, он несколько раз спрашнвал о результатах, а когда на нспытаннн станка ничего не вышло, назидательно сказал: «Вот виднте, Алексей Алексеевич. Хороши бы мы были, если бы на иего рассчитывали!»

Алексей ждал возвращения Днденко. Но тут и случилось самое худшее. Узиав, что парторг у Любнмова, Алексей заспешнл туда, повторяя в уме все свои доводы. Дверь кабннета была заперта изнутрн. «Там сейчас Днденко и Ефнм Кузьмич,— сообщнла секретарша.— Велеио ннкого ие пускать».

Промаявшись до конца рабочего дия, Полозов забрел в техническнй кабннет, потому что ие зиал, куда девать себя. Было очеиь кстатн, что здесь полутемно н ннкого нет, что Аня работает н не задает вопросов. Он смотрел, как поблескнвают в луче иастольной лампы ее гладко зачесанные волосы, как уверенно управляются ее маленькие, крепкие руки с лннейкой н пером. У иее было лицо, каких он еще не видел: нежное, строгое и почему-то очень трогательное,— так что у него вдруг защипало глаза от подступнвшнх слез.

— Вы что? — спроснла Аня, почувствовав его неотрывиый взгляд.

— Ннчего, Аня. Я ведь не мешаю вам? А мие прнятно вот так, в потемках.

Она вгляделась в темиоту, стараясь уловить выражеиие его лица.

— Алеша... вы и сейчас убеждены в том, что былн правы?

— Да.

— И я тоже,— сказала она, задумчнво глядя в темиоту, туда, где находился Полозов.— Я много думала. Все этн дни думаю. И мне очень нелегко разобраться, я еще слншком плохо знаю цех. Но... Алеша, что вы думаете о Скворцове?

Скворцов был начальник четвертого участка, тот самый, которого Любимов предполагал заменнть Аней. Она познакомилась с ним и долго разговарнвала, и с тех пор сумятица чувств и мыслей усилилась.

Алексею очень не хотелось разговаривать о постороиинх делах, он скупо ответнл:

— Хороший работник, только учиться не успевает.

— Мне тоже так показалось.

— Да разве однн Скворцов! — вдруг горячо восклнкнул Алексей.— У нас кое-кто думает: я с Любимовым чего-то ие поделил, чуть лн ие склока! А ведь тут дело куда серьезиее... тут

линия... Разве вы сами не чувствуете, как эта любимовская линия давит и сушит вашу энергию, вашу инициативу... как вам приходится пробивать стенку вот этой рассудительной, вежливой косности?..

Аня густо покраснела и неосторожным движением упустила линейку, так что перо пошло вкось.

— Так я и знала,— пробормотала она и, низко пригнувшись, над листом, начала бритвочкой подчищать тушь.

Алексей смотрел на нее и раздумывал, почему она вдруг покраснела. Он как раз собрался спросить ее об этом, когда затрезвонил телефон и телефонистка заводского коммутатора сообщила, что партком срочно разыскивает инженера Полозова.

— Так! — сказал Алексей.

Аня встала, взяла его руку и крепко пожала.

— Вы только не горячитесь,— шепнула она.— И после... зайдите сюда. Я вас подожду.

От этих слов стало легче, и, хотя ясно было, что у Диденко его не ждет ничего хорошего, он шел в партком приободренным и давал себе слово спорить до конца и, если нужно, драться со всеми, включая Диденко. «Что же ты это натворил?» — спросит Диденко. А он скажет...

Но Диденко пошел к нему навстречу и, не здороваясь, спросил:

— Как у вас с планом развития цеха?

— С каким планом? — не понял Полозов.— Гаршина и Любимова?

— Нет! С планом технических мероприятий, который предложил Воробьев.

Пораженный неожиданным началом разговора, Алексей пробормотал, что к разработке плана только-только приступили, да вот теперь, в связи с приказом директора о новом сроке...

— А приказ и план разве противоречат один другому? — быстро осведомился Диденко.

— Нет, но...

— Недоговариваешь, Алексей Алексеевич, недоговариваешь! — упрекнул Диденко и решительно повернул к себе инженера, так что они оказались лицом к лицу.— Так вот, слушай! Разработать этот план поручили Бабинкову и тебе. И тебе! Начали вы плохо и слабо. Это ж какое дело! Конечно, если не свести его к канцелярщине. Это же план коллективного творчества! Так и составлять надо. Пусть каждый рабочий внесет свою лепту. И внести ее он должен завтра, послезавтра, через неделю,— не позже. Потому что медлить некогда. Записывайте каждое предложение, каждую мелочь... И все дельное — в работу! Один ты не осилишь, и вдвоем с Бабинковым не осилишь, он же немного болтун, верно? Тут нужно боевую группу, штаб! Воробьева возьми — человек надумал, а его за бортом

оставнли! Технолога вашего возьмн, Гаршина... Чего морщишься? Не хочешь? Ну и не надо его. Карцеву возьми, зиаешь ее? Ничего, что новичок, она с огоньком!

— Николай Гавриловнч! — вскричал Алексей, все еще подозревая, что пронсходнт какое-то иедоразумение.— Это все превосходио, но... вы приказ днректора читали?

Дидеико рассмеялся и хлопиул его по плечу.

— Приказы тоже понимать надо. Как у вас поияли товарищи? Очередиой аврал! Семь потов спустнть, язык иа плечо Но иа этом пути успеха ие будет. Дешевый тот успех, кратковременный, а потом слезы... Ваше дело — так повериуть приказ, чтобы подиять энергию всего цеха, оперативио виедрять все иовое, иа ходу исправлять недочеты. Не рывки, а организация. Не аврал, а темп и ритм.

— Но это же самое я и говорил!

— Да? Еслн ты говорил это, ты был прав. А теперь вот зачем я тебя вызвал: в следующий четверг на парткоме ты доложишь о вашем плаие. Дело вы начали замечательиое, и мы его поддержим и распространим иа весь завод. К четвергу у вас уже иакопится иекоторый опыт. Обо всем и расскажешь. Коротко и ярко.

— Но почему я?

— Потому что руководителем этой работы будешь ты. Так мы сегодия решили.

— С Любимовым? — невольио вырвалось у Алексея.

— Неужели без начальиика цеха решать? — улыбиулся Дидеико.— Тут его слово — главное.

И, сиова шагая по кабииету, спросил:

— Что ты иевеселый, Полозов?

Алексей молча пожал плечами.

— Скрытиичаешь? — усмехнулся Дидеико, еще раз прошелся по кабииету, ворча себе под иос.— А ведь ты все-таки ие прав,— сказал он.— Срок, конечно, тяжелый, ио ты погляди иа дело с другой стороны. Коллективу иужио перешагиуть через эту ступеиь — выпуск первой машины. Вся эта тягомотииа с иею деморализует людей, раздражает, бьет их по кармаиу и больше — по рабочей гордостн. Не директору и ие Любимову только — всему цеху иужиа победа, чтобы поверить в свои силы и взять иеобходимый разгон. Поннмаешь?

— Начииаю,— сказал Алексей, ощущая, как тяжесть этих дией отваливается, будто иоша с плеч.— Но...

— Никаких но! — оборвал Днденко.— Ты честиый пареиь и сказал в открытую то, что иекоторые думали про себя. За это спасибо. У нас есть любители парадиой шумихи, торжествеиных обязательств и громкнх обещаинй. И страшиых приказов тоже. Пошумят, а потом надеются, что забудется и за другими делами простится. Кое-что в этом роде возможно и у нас. Будем говорить прямо...

Он помедлил, как бы взвешивая, стоит ли высказать свою мысль молодому инженеру.

— Будем говорить прямо,— повторил он.— Цех сейчас не готов к тому, чтобы дать к октябрю четыре турбины, но мы обязаны в кратчайший срок сделать его способным на это. Потому что иначе нам не взять разгона! А это нужно для Краснознаменки, для государства, и для завода тоже, для завтрашнего дня завода. В обсуждении проекта приказа я, друг мой, участвовал и при этом учитывал все: не только скрытые возможности цеха, но и силу партийного влияния и агитационно-массовой работы, и способности таких людей, как Полозов, Воловик, Смолкина и другие... и ваш план коллективного творчества тоже. Понял?

Он обнял за плечи и подтолкнул Алексея к двери:

— Иди и действуй.

У двери Диденко сам придержал его за рукав и спросил:

— Что ты думаешь о выборах партбюро?

Алексей промолчал, вопрос застал его врасплох.

— Зря не думал, коммунист, когда выборы на носу.— Он вернул Полозова в кабинет и прикрыл дверь.— Твое мнение о Ефиме Кузьмиче?

— Ефима Кузьмича уважает весь цех,— сказал Алексей.— Только ему, пожалуй, трудно в нашей обстановке.

— Трудно! — энергично подтвердил Диденко.— Прекрасный член партбюро, даже парткома. Но на секретарском посту он рано или поздно сорвется. А его стоит поберечь. Чудесный он старик!

Диденко помолчал, ласково улыбаясь.

— Что особенно хорошо в нем? Бесстрашие! — воскликнул он.— Весь опыт революции, сама история партии у него за плечами,— да что за плечами! В нем она сидит. Ничего он не боится и все понимает. Вот и теперь... Понял он, что говорил ты честно, да не дотянулся до истины, и получилось — ну, чуть-чуть не оппортунизм! И сам первый пришел. Не скрытничал, как ты, недомолвками не укрывался, а все выложил — и сомнения свои и досаду, что не сумел разобраться...

Он ткнул пальцем в грудь Полозова:

— Ты, может, и сумел бы, хотя пока доказал обратное. А он не сумел. Но он пришел и все выложил как на духу. А ты маешься, отмалчиваешься да еще дешевые эффекты устраиваешь! Хлопнул дверью и пошел «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок»...Случаем «карету мне, карету!» не кричал?

— Кричал,— смущенно улыбаясь, сказал Алексей.— Только я не собирался отмалчиваться, я вернулся с решением бороться, доказать...

— Э-э, милый! Ты будешь доказывать, он будет доказывать, они будут доказывать... а турбины кто выпускать будет?

— Я вам уже говорил,— твердо сказал Алексей.— Сделать можно, только нужна ломка.

— Вот и будем ломать, дорогой, с твоим участием будем. Но тебя я прошу... Предупреждаю и прошу: ломай и свой характер. Петушиный. Не наскакивай. Не спорь ты все время с Любимовым, не горячись, от драки ведь только перья летят, а вам дело делать вместе.

Алексей улыбнулся и промолчал. Теперь, когда Диденко поддержал его в самом главном, стоило ли возвращаться к частностям!

Только у проходной он вспомнил, что в цехе его ждет Карцева, и повернул обратно.

— Аня! — крикнул он с порога.— Победа!

Он начал торопливо и сбивчиво пересказывать ей разговор с Диденко, потом махнул рукой:

— Хватит! Язык заплетается! Пойдемте-ка по домам!

Выходя, он сказал:

— Знаете, если бы я был начальником цеха, я бы запретил кому бы то ни было оставаться в цехе сверх восьми часов. Честное слово!

Аня недоверчиво покачала головой:

— Разве может начальник участка или мастер уйти, когда его участок работает? Да вы и сами, Алеша, весь вечер в цехе...

— Вот и плохо! — сказал Полозов.— Я торчу в цехе, потому что не моя власть перестроить порядок. Что тут нужно? Ответственных начальников смен, дежурных мастеров, четкую диспетчерскую службу... Сдавать и принимать смены так, как в армии дежурства. Первое время будет страшно уйти, когда цех работает, а потом сами удивляться будут, зачем раньше мотались, как лунатики. Зато учиться будут, читать, гулять, песни петь, а от этого и работать лучше!

Алексей был в счастливом, приподнятом настроении и всю дорогу мечтал о том, как они завтра начнут «разворачиваться», как они превратят Анин технический кабинет в центр, в штаб-квартиру...

— Да, да! — воскликнул он.— Обязательно поместим штаб в вашем техкабинете! Вот увидите, как это вам поможет!

Аня снова покраснела, но теперь, увлеченный своими мыслями, Алексей не заметил этого. Признаться ему?..

Она ничего не успела сказать. Алексей не пошел провожать ее, а распрощался на углу, где ей нужно было сворачивать с проспекта, и зашагал дальше широким, вольным шагом человека, который вполне счастлив. Куда он идет и кто сегодня порадуется вместе с ним?

Проспект был залит светом, а боковая улочка тонула в серой мгле, пронизанной оранжевыми, голубыми, зелеными отсветами, падающими из окон. Сколько огней светилось в темноте, и под каждым — своя жизнь, а ее, Анина, жизнь не входит ни в чью. Ни в чью!.. И вот сейчас, когда на душе смутно, некому сказать: «Знаешь, я, кажется, сделала ошибку...»

Она походила по комнате и заставила себя сухо и трезво все обдумать. Зачем перекладывать на кого бы то ни было право решающего слова?

Стремительно постучалась к Любимовым. Пусть неудобно врываться к человеку в его свободный час, но кто знает, скоро ли удастся поговорить с ним в цехе, а пока не поговоришь, покоя не будет.

Она вошла и тут же отступила в смущении, до того некстати было ее вторжение. На обеденном столе стояли закуски и вино, а за столом, кроме хозяев, сидел Гаршин. Гаршин был уже немного пьян, он восторженно раскинул руки и закричал:

— Анечка! Умница! Сама пришла! А я ведь каждые десять минут бегал к вашей двери!

Как ни уверяла Аня, что зашла на минутку, ее заставили сесть к столу, налили ей вина, наперебой потчевали. Аня не могла понять, с чего бы это все в будний да к тому же невеселый для Любимова день?

Но нет, Любимов казался вполне довольным,— никак не подумаешь, что ему сегодня крепко досталось от парторга. Аню разбирало любопытство: притворяется он или Алексей преувеличивает разногласия?.. Она свернула разговор на неожиданное возвращение Диденко: привез ли парторг хорошие новости, получил ли помощь?

— Не знаю, получил ли он, но нам он поможет,— спокойно ответил Любимов.— Сегодня мы с ним наметили много важного... Кстати, Анна Михайловна, мы вас включаем в одну комиссию, по разработке предложения Воробьева, помните?

Как ни старалась Аня уловить досаду или смущение в лице Любимова, она не видела ничего, кроме обычного спокойного превосходства. Может быть, никакой принципиальной борьбы и нет?

Словно отвечая на ее мысли, Любимов пояснил:

— Ведь что мы могли сделать внутри цеха? Почти ничего. А теперь Диденко решил составлять общезаводской оргтехплан, так что наши проблемы будут решаться всем заводом. Хорошо, правда?

Не сдержав улыбки, Аня сказала:

— То-то Полозов, наверно, обрадовался!

— Ну еще бы! — со снисходительной усмешкой воскликнул Любимов.— С его общественным темпераментом ему как раз такими вещами и заниматься.

И он налил всем вина, приветливо чокнулся с Аней.

— За ваше здоровье, Анна Михайловна!

И стал подшучивать над Гаршиным, что Гаршин давно закидывает удочку, как бы заполучить к себе на сборку такого прелестного помощника... но у нас другие планы, правда, Анна Михайловна?

— Да, другие,— сказала Аня и, решившись, выпалила одним

духом: — Я вам очень благодарна, Георгий Семенович, за внимание, но вы меня не переводите!

По тому, как вытянулось лицо Любимова, Аня поняла, что с ее переводом он связывал какие-то свои расчеты. Хотел еще раз уязвить Полозова? Или приобрести в ее лице «своего человека»? Или убрать Скворцова, который ему не по душе?..

— Через несколько месяцев я сама попрошусь на участок, если вы не раздумаете,— сказала Аня.— А теперь... начинается такое живое дело! Я уже вижу, как связать этот план со всем новым, что появляется в технике... Вижу, как много можно сделать! И даже с этими вашими мальчишками... Отступить — трусость. Я уже х о ч у справиться с ними.

Гаршин шумно запротестовал:

— Подумаешь, какие важные дела! Вы все преувеличиваете!

— Может быть, дела и не такие большие, но они безобразно запущены! Безобразно! И потом... я думаю, Георгий Семенович, что они совсем не вспомогательные! Должны быть не вспомогательными!

Любимов холодно слушал, разглядывая ногти.

— Витенька, не покрутить ли нам патефон? — торопливо предложила Алла Глебовна, метнув на Аню неприязненный взгляд.— А служебные разговоры, право же, можно вести в цехе!

— Ой, извините, Алла Глебовна!..

Аня вскочила, ей хотелось уйти — теперь, когда главное сказано...

Но Любимов вдруг переменился на ее глазах: стал приветлив, благодушен, даже ласков.

— Я восхищаюсь вами, Анна Михайловна! — воскликнул он.— Теперь я вижу, кого мы приобрели в вашем лице! Спасибо!

Он усадил Аню, налил ей вина, придвинулся к ней поближе:

— Вы меня выручаете на очень сложном участке работы. Если бы вы знали, как мне сейчас трудно поднимать цех!

И он начал вполголоса развивать перед нею свои взгляды на положение цеха: задачи непомерны, вся эта шумиха с Краснознаменкой дергает и мешает наладить, отработать весь процесс...

— Вы знаете, как выпускают турбины заграничные фирмы? Ни одна не возьмется выполнить заказ в такие сроки. Ни один их завод не знает ни такого объема производства, ни таких темпов... Наше преимущество? Да, конечно. Но и наше нетерпение! Нам все нужно поскорее...

— Но там не строят коммунизм, Георгий Семенович!

— Техника есть техника, Анна Михайловна. При капитализме, как и при социализме, определенные производственные мощности допускают определенный объем производства.

Гаршин поставил пластинку. «Какой обед там подавали! — запел женский голос.— Каким вином там угощали! Уж я его пила, пила...»

Певица мелодично и заразительно хохотала.

— Сколько я девушек подпаивал! — говорил Гаршин, смеясь вместе с певицей.— И все для того, чтобы проверить, не будет ли хоть одна так же очаровательна... Увы!

— Полгода спокойствия — вот что мне нужно,— продолжал Любимов, наклоняясь к Ане.— Нельзя решать столько задач сразу. И наваливаются все новые и новые!.. Требуют все, а помогает кто?

«Ему действительно очень трудно,— подумала Аня.- - Но что значит: «Требуют все, а помогает кто?» На партбюро все старались помочь, но он надулся и расстроился. Почему он ссорится с Полозовым? Почему отмахивается от Воловика? И мою работу он отбрасывает как «вспомогательную», вместо того чтобы требовать: вот тут и тут главное, устремите силы сюда, добейтесь!»

— А знаете что, Георгий Семенович? Вы сами не ищете помощи — ни от своих помощников, ни от коллектива, а ведь это сила!

Любимов поморщился и ответил снисходительно, как маленькой:

— Вы просто еще не разбираетесь в наших затруднениях. А красивые слова... что ж, я сам умею их говорить, когда нужно.

Гаршин сменил пластинку, веселая танцевальная музыка заполнила комнату. Он силой увлек Аню танцевать, тихо упрекнул:

— И чего вы на него набрасываетесь? Он ведь милейший человек.

Она ответила шепотом:

— Я должна немедленно удрать, а то я наговорю бог знает что!

Протанцевав до двери, она озорно распахнула ее, в дверях обернулась, крикнула:

— Я опаздываю на поезд, ради бога, извините!

Очутившись у себя в комнате, Аня быстро закрыла дверь на ключ, потушила свет и тихонько устроилась в кресле у окна. Как она и предполагала, почти сразу раздались в коридоре тяжелые шаги. Гаршин подошел, постучал, прислушался, снова постучал, подергал дверь, недоуменно помолчал, чертыхнулся и, грузно ступая, пошел обратно к Любимовым.

Посмеиваясь, Аня сидела в темноте и смотрела, как светятся в ночи тысячи огней — оранжевых, голубых, зеленых. Сколько домов, квартир, комнат... В каждой о чем-то волнуются, думают, спорят, в каждой трудятся, учатся, решают что-то, любят, или, быть может, тоскуют, или чего-то ждут... И не у всех есть с кем посоветоваться, сказать: «Знаешь, я решила...» Ну и что же? И все-таки жизнь идет, и можно самой додуматься, самой решить. Вот и решила. Выбрала самый трудный путь из возможных. Но именно поэтому все веселит — и многоцветные огоньки,

будто подмигивающие издалека, и то, что поспорила с Любимовым, и то, что сумела убежать, хотя это вышло не очень вежливо, и даже то, что Гаршин так недоуменно топтался у двери.

6

Приняв душ и надев костюм, Николай Пакулин всунул голову в петлю галстука, затянул ее, поправил раз навсегда повязанный узел и остановился перед зеркалом, улыбаясь своему отражению. Со стороны можно бы подумать, что юноша любуется собой. А Николай и не видел себя, он представлял себе Ксану, которая сейчас собирается на свой депутатский прием, и думал, дошла ли до нее весть о том, что пакулинцы завоевали переходящее Красное знамя райкома комсомола? И что она скажет, если ему удастся повстречать ее сегодня после приема?..

Удивительно, до чего все, что он делал, связывалось с Ксаной!

На днях на заседании комсомольского комитета Ксана сказала:

— У пакулинцев опять новое, хорошее начинание, почему его не подхватили?

А потом попросила:

— Ты мне покажи эти ваши планы, Коля.

Оттого, что этим заинтересовалась Ксана, новое начинание, которому Николай не придавал особого значения, сразу стало очень важным. Придумал все Федя Слюсарев — придумал для себя, потому что вообще был выдумщиком. Ему, конечно, и в голову не приходило, что в его затее есть что-то такое, что надо «подхватывать». Просто составил себе «личный технический план», куда записал все, чего решил достичь в этом году, и повесил над кроватью, чтобы подстегивал. Николай видел этот план — тут были и сдача экзаменов в техникуме на «отлично», и ознакомление с литературой по скоростным методам, и многое другое. В конце стоял пункт: «По дружбе следить за контрольным постом термического цеха».

Николай усмехнулся: ишь, хитрец, нашел-таки лазейку, чтобы совместить полезное с приятным! Он отлично знал, что контрольный пост у термистов — это Катя Миронова, и давно заметил пристрастие Феди к термическому цеху.

Николаю захотелось, чтобы остальные члены бригады составили себе такие же планы, особенно Аркадий Ступин, которого до сих пор не удавалось затянуть в вечернюю школу. Аркадий соглашался на любые дела, но насчет учения уперся — не буду! Бригада зашумела:

— Да знаешь ли ты, что через несколько лет без знания физики и химии нельзя будет работать? Понимаешь ты, куда техника идет?

Внушая Аркадию, куда идет техника, ребята заспорили и между собой, потому что тут у каждого было свое миеиие. Николай сам увлекся спором о том, вытеснит ли атомиая эиергия электрическую или не вытесиит, и совсем забыл, что руководит собранием, а когда вспомнил, все устали и пора было по домам. И вдруг Витька, младший братишка, которого Николай как-то н всерьез ие прииимал, придумал себе обязательство: «Ежедиевно записывать итоги своего роста», потому что иадо ввести себя в «жесткие рамки», нначе ты не комсомолец, а размазня!

Ребята посмеялись:

— Но как же ты будешь ежедиевио расти?

— Складиой сантиметр завести надо!

— Да, уж тут ие погуляешь! Девушка в киио зовет, а ты: не мешай, я расту!

— Можно и вместе расти: сегодия ты ей лекцию, завтра оиа тебе!

Так и остался этот беспощадиый пуикт у одиого Витьки.

Плаиы закаичнвали наспех, даже переписать ие успели. А Ксана уже зиает о иих. Откуда оиа узиала?

Ои предвидел, как все произойдет, когда ои приеесет ей эти плаиы. Оиа дружески встретит, скажет какое-иибудь простое слово, которое он будет повторять, потому что это ее слово, а оиа тут же позовет своих комсомольцев, и иачиется общий разговор...

Знал ои и то, что произойдет сегодня: ои будет долго бродить под окнами коиторы, потому что приемы у Ксаиы обычио затягиваются, а потом она выйдет, и ои невзначай попадется ей навстречу н, быть может, проводит ее до дому. Только живет оиа слишком близко: едва разговоришься — уже пришли...

Идтн встречать ее было еще раио. Николай причесал мокрые волосы н пошел в техиический кабииет.

С недавиих пор эта большая комната превратилась в оживлеиный центр нового движеиия, охватившего цех. Ее хозяйка, Аня Карцева, до сих пор еще ие освоилась с крутой переменой и порой изумлеиио оглядывала недавно пустую комиату, которая теперь стаиовилась тесиой.

Валя Зимииа выполияла здесь обязаииости добровольиого секретаря «штаба» и с первого же вечера своей новой деятельности прозвала его «штабом энтузиастов».

Никто не назиачал здесь совещаний, никто не требовал, чтобы десятки разиых людей заходили сюда и оставались тут подолгу. Это вышло само собой, поскольку имеиио здесь можио было добиться нужиого решеиия, обсудить свой замысел, посоветоваться... Техиологи, иачальникн участков и мастера забегали просмотреть новые рационализаторские предложеиия, чувствуя, что ииаче отстаиешь, попадешь в неловкое положеиие и перед своими рабочими н перед руководнтелямн. Кроме того, в штабе было попросту интересио.

На самом видном месте, против входной двери, в техническом кабинете висели две доски. На одной отмечался ход выполнения графика первой турбины. Прыгающие то вверх, то вниз кривые отражали лихорадочное напряжение, в каком завершалось создание первой турбины.

— Малярия! — вздыхая, говорил Полозов.

Вторая доска называлась «Придумай и предложи!». На ней перечислялись нужнейшие темы для работы рационализаторской мысли.

Почти все посетители задерживались возле этих досок. Одни просматривали темы с видом праздно любопытствующих; другие расспрашивали Карцеву, с кем можно посоветоваться, если надумал поработать над одной из тем; третьи, ожесточенно хмурясь, что-то переписывали и быстро удалялись. Аня знала: многие придут сюда еще и еще, многие думают, пробуют, прикидывают. Как предсказать, кому повезет додуматься и найти решение? Но все вместе — решат!

Сама Аня была так довольна всем происходящим, что каждого встречала как желанного гостя, и поэтому всем нравилось заходить к ней.

Сегодня у Николая Пакулина не было никаких дел в штабе, но он надеялся, что там уже известна его победа.

В полутемном коридоре, неподалеку от двери технического кабинета, мотался взад и вперед Аркадий Ступин. Увидав Николая, он постарался придать своему лицу выражение независимое и беспечное.

— Что, Аркаша, дежуришь?

— Паренька одного дожидаюсь.

— Так зайдем в штаб,— пригласил Николай.

Аркадий двинулся было вслед за Николаем, но тут же отшатнулся. Выражение робости странно изменило его лицо.

Николай не стал уговаривать его и вошел один. Скосив глаза на большой лист картона, на котором цеховой художник по трафарету заливал краской буквы, составлявшие лозунг «Привет бригаде Пакулина!», Николай ничем не выразил своего волнения. Кроме художника, в техническом кабинете находились Карцева, Гаршин и Валя. Карцева и Гаршин сидели на дальней парте, у Ани был вид возбужденный и недовольный, а Гаршин отшучивался и повторял:

— Не все сразу, Аня! Не все сразу.

Валя, как всегда нарядная, с завитыми кудрями, свисавшими на лоб, прислушивалась к их разговору и одновременно что-то переписывала с клочка бумаги в тетрадь.

— А-а, именинник! — приветствовал Николая Гаршин.— Поздравляю, герой!.. Вот, Аня, если бы все бригады были такими, как пакулинская, я бы с легкой душой ручался не за четыре турбины — за пять!

— А вы сумели обеспечить все бригады так, как эту? —

возразила Аня насмешливо; она успела подметить, что руководители цеха, гордясь успехами пакулинцев, снабжают их в первую очередь.

Николая задела насмешка, но он покладисто сказал:

— Исправим это дело, Анна Михайловна. С трясучкой пора кончать.

Присев к Вале, он пошутил:

— Ты не знаешь, Валя, что за безумец мечется за дверью и кого он ждет?

— Может быть, там робеет какой-нибудь автор рацпредложения? — с удовольствием подхватил Гаршин.

Валя ответила одному Гаршину:

— Спросите его! Кому же, как не вам, Виктор Павлович, поддерживать новаторов?

— Разве это ново — влюбиться в тебя, Валя?

Густо покраснев, Валя восторженно смотрела на Гаршина и не только не искала остроумного или строгого ответа, но даже забыла о том, что их слушают.

— Поклонников надо держать в узде, Виктор Павлович,— сказала Аня.— Пусть бродят по коридору, как часовые. Мы их используем иногда для поручений. Правда, Валя?

— Кстати, надо послать за протоколом,— вспомнила Валя и, пробежав мимо Гаршина, выглянула в коридор.— Аркаша, ты не занят? Сходи-ка на пятый участок, спроси у начальника или у сменного протокол сегодняшнего совещания. Скажи, Валя просила срочненько!

И она, смеясь, вернулась на место.

Но Гаршин уже не обращал на нее внимания: пришел главный конструктор Котельников, а с ним Любимов и Полозов. Сегодня вечером начинались предварительные испытания «автоматики» — аппарата для автоматического регулирования турбины.

Котельников рассеянно со всеми поздоровался, сел в кресло, закурил и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ну-с, посмотрим.

Он силился казаться спокойным, но все знали, что в дни испытаний он ходит сам не свой.

Вслед за ними пришел Ефим Кузьмич с Воробьевым и другими парторгами участков.

— Ну, хозяйка, показывай, чем богата,— сказал Ефим Кузьмич и положил перед собою потрепанную записную книжку.

— Ой, многим богата! — сказала Валя, раскрывая тетрадки.

Ежедневно Полозов, Карцева, Воробьев и их добровольные помощники проводили по участкам, по бригадам, в группах рабочих одной специальности совещания по плану. С этих совещаний к Вале стекались замусоленные, торопливо исписанные листки протоколов, составленных из одних предложений.

Ефим Кузьмич интересовался предложениями, но еще больше людьми, вносившими их.

— Смотри-ка, Петунин заговорнл! — восклицал он, просматривая протоколы и торопливо записывая в свою книжечку новую фамилию.— И как толково заговорнл! Мо-ло-дец! Гриша! — окликнул он парторга участка, где работал Петунин.— Возьми себе на заметку Петунина. А это кто такая — Афоннчева? Не знаю такой. Т. А. Афоничева... Фу ты, это же тетя Таня, сверловщнца, знаешь, толстенькая! Ах, умно придумала!

Он немного терялся, Ефим Кузьмич, перед обилием новых имен и новых предложений. Казалось, знал, от кого можно ждать толку, кому можно поручить общественное дело, а кому нельзя — завалят... А тут будто поток хлынул и поднял новые пласты, и оказалось, что цех богаче людьми, чем думалось, а работали до сих пор недоверчиво, робко.

Аркадий Ступин, хмурясь и ни на кого не глядя, вошел в комнату и протянул Вале две скрепленные бумажки.

— С пятого участка,— сказал он н остановился, перемннаясь с ноги на ногу.

— Спасибо, Аркаша,— броснла Валя и углубилась в чтенне протокола.

Аркадий постоял-постоял и вышел в коридор, осторожно прнкрыв за собою дверь.

— Этот молодец еще покажет себя,— сказал Ефнм Кузьмич.— Ты, Валюша, его не презирай, не смотри, что у него такая слава. Скажу тебе по секрету: и у меня в ранней молодостн всякое бывало. Ты смотри, что у человека внутри заложено.

— А почему я должна смотреть? — с грнмаской возразила Валя.— Вы это Пакулину скажите, Ступин в его брнгаде. А мне он ни к чему.

Гаршин вдруг обернулся к Вале н шутлнво вздохнул:

— Вот и влюбляйся после этого! А, Ефнм Кузьмич? Человек обмирает, а ей и дела нет. Нет, надо уходнть, пока сам не влип!

И он пошел к двери, довольный собою и другими, беспечный, как всегда. Валя не сразу опомнилась и не сразу догадалась отвести взгляд от двери, за которою он скрылся.

У входа в цех на Гаршина с разбегу налетел какой-то растрепанный и неказистый паренек. Паренек отскочил, прижался к двери и виновато сказал:

— Ох, простнте, Виктор Палыч!

— Хорошо, что на меня, а кабы на стенку — своротнл бы! — строго сказал Гаршнн, щелкнул паренька по затылку н прошел мнмо.

Кешка Степанов растерянно посмотрел ему вслед. Этот добрый, но забывчнвый инженер вызывал у него восхищение н обиду. Кешка не мог понять, почему Гаршин заступился за него в тот несчастный день, когда он украл у Ступнна завтрак, и почему, сказав: «Ты теперь мой и без меня дышать не смей»,— тотчас начисто забыл про него.

С того несчастного дня Кешка много раз нарочно попадался

Гаршнну на глаза, но Гаршнн, видимо, даже не узнавал его. Зато нельзя было не восхнтиться тем, как Гаршнн весело и затейлнво ругается, нельзя было не прислушаться, когда Гаршин поблизостн шутнт с кем-либо и заразнтельно хохочет, так что слышно в дальних углах цеха. Еслн бы Кешку спроснли, на кого он хочет быть похожим, он без колебаний сказал бы: на Внктора Палыча. Вот настоящий молодец! Кешка пытался ходить размашисто, как Гаршнн, пробовал так же затейливо ругаться, так же лихо набекрень, как Гаршин кубанку, надевал свою потертую шапчонку, но сам поннмал, что не получается у него настоящего форсу; а за ругань Кешке неизменно попадало.

«Хорошо, что на меня, а кабы на стенку — своротил бы!» — повторил про себя Кешка и со вздохом признался, что никогда не сумеет так шикарно шутить.

У двери технического кабинета маячила высокая фигура, внушавшая Кешке страх. Он остановнлся, не зная, как проскочить мимо Аркадия Ступнна: после истории с завтраком Кешка избегал его. Но дело, радн которого Кешка помчался к Карцевой, не терпело отлагательств.

Набравшись храбростн, Кешка сунул руки в карманы и размашисто, подражая Гаршину, пошел прямо на своего противника. Аркадий как-то недоуменно оглядел Кешку и отвернулся. Кешка поспешно юркнул в дверь кабинета. Мог ли он знать, что его враг полон тоскливой зависти: Кешка — тот самый Кешка! — свободно входнт в заветную комнату, а у него, у Аркадия, ногн прнрастают к полу...

Технческнй кабинет быстро заполнялся, как всегда в этот час после утренней смены.

Пристронвшнсь за партой, Полозов просматривал чертеж, в то время как автор предложения, нависая над партой, водил темным от металлнческой пыли пальцем по чертежу и убежденно доказывал:

— Это ж позволнт механическн шлифовать разъемные части! Мы ж их сейчас вручную, шабровкой! А тут сколько рабочих высвободится! Сколько временн выгадаем!

На другой парте сидел верхом Бабинков, а перед ннм стоял один нз двух новых, недавно переведенных из другого цеха карусельщнков — Мнхаил Ерохнн.

— Перевели — так н расскажите все прнемы обработки турбнннных деталей,— говорил Ерохин обнженно.— Что же это получается? На нас все простые работы сброснли, а к самым сложным н не подступайся? Как-никак н я н Лукнчев по шестому разряду работали!

Новые карусельщнки очень интересовали Кешку, гораздо больше, чем собственные успехн. Сеня Лукичев был очень молод и казался Кешке самым обыкновенным парнем, однако у парня был шестой разряд и он собирался тягаться с такимн мастерамн, как Белянкин н Торжуев, что пленяло воображенне всех

мальчишек на участке. Ерохин же вообще был человек удивительный, но смущал Кешку до того, что при нем Кешка и не ругался, и не озорничал, и не знал, как себя вести. Он был со всеми до удивления вежлив и даже Кешке говорил «вы». Придя в цех, он с охотой взял в подручные одного из тех парней, что слыли в цехе «непрошибаемыми»,— Ваню Абрамова, здоровенного детину, которого считали безнадежным тупицей. Кешка не раз озорничал вместе с Ваней Абрамовым и прекрасно знал, что Ваня никак уж не тупица, а притворяется дурачком, чтоб его оставили в покое. Единственным настоящим пристрастием Вани был цирк; отменный силач, Ваня тайно мечтал стать акробатом или борцом.

Чем воздействовал Ерохин на своего ученика, никто не знал, но Ваня как-то вдруг и всей душой привязался к своему учителю, смотрел ему в рот, когда тот что-либо объяснял, и аккуратнейшим образом посещал занятия по техническому минимуму. В цехе стало известно, что Ерохин был у Абрамова в гостях, что в воскресенье Ваня ходил с Ерохиным в цирк. Кешка издевался над приятелем и тайно завидовал ему вместе с Петькой Козловым, попавшим в подручные к Торжуеву.

Торжуева и Белянкина в цехе называли «тузами». Они очень много зарабатывали и вызывали у всех мальчишек почтительное любопытство. Попасть к ним в подручные было интересно и очень выгодно: подручные зарабатывали сдельно, с выработки карусельщиков.

Петька с тем и шел в подручные, молча стерпев негодование будущего учителя,— прежнего подручного, как более опытного, назначили к Сене Лукичеву. Казалось, тут-то Петька и приобретет мастерство! Но вышло иначе. Торжуев придирчиво обучал Петьку его непосредственным обязанностям: чистить планшайбу от стружек, смазывать станок, крепить детали, подавать суппорты, крутя на мостике управления маховые колеса, а к сути обработки деталей и близко не подпускал. Ваня Абрамов уже и чертежи начал читать, и понимал, когда какими резцами лучше работать, и замеры делал под руководством учителя,— Ерохин растил из него будущего карусельщика. А Торжуев только отмахивался от назойливых расспросов ученика:

— Сполняй что полагается. Я у Белянкина пять лет под началом бегал, а был постарше тебя. Что такое уникальная карусель, ты и понять еще не можешь.

Сегодня Торжуев, а значит, и Петька должны были работать в вечернюю смену. На карусели «тузов» стояла на чистовой обработке самая крупная и ответственная деталь турбины — цилиндр. Цилиндр с нетерпением ожидали на сборке, и Кешка слышал от Петьки, что «тузы» долго торговались и с мастером и с начальником цеха, чтобы им приписали сверх полагающейся платы еще лишку, но из этого ничего не вышло. «Тузы» сердились, а сегодня Торжуев и на работу не вышел: перед самым концом

смены Белянкии сообщил мастеру, что его напарник и родствеинк заболел. Поработать сверхурочно Белянкин отказался:

— И рад бы выручить цех, да где уж мне... не те годы!..

Мастер расстроился н от расстройства даже не ответнл на вопрос Козлова, что ему делать и где работать. Петька н послал подвернувшегося под руку приятеля сообщнть о случившемся Карцевой.

Карцева заговорила с Николаем Пакулнным. Кешка приблнзнлся к инм и приоткрыл рот, выжидая мииуту, когда будет удобно прервать чужой разговор.

— Здравствуй, Кеша! — сказала Карцева н опять обратилась к Николаю: — Так вы прииесите, Коля.

Пожав руку Карцевой, Николай обошел Кешку и направился к дверн. Кешку передернуло. Он сам знал, что не очень-то чнст и опрятен, его рабочая блуза терлась по всем закоулкам цеха, к нему роковым образом прнставала н грязь, и пыль, н брызгн масла. Но в том, как Нннолай осторожно обошел его, чтобы ие запачкаться, было что-то очеиь обндное. Кешка засунул руки в карманы потертых штанов и с подчеркнутой иезависимостью сообщнл:

— А Козлов опять не прн деле, Анна Мнхайловна. Торжуев ие вышел.

— Как ие вышел?!

Новость всполошнла всех присутствующих, даже Котельинкова и начальника цеха, так что Кешке ие удалось выяснить, что же делать Петьке Козлову,— впрочем, ои н сам забыл о Петьке. Отойдя в сторонку, Кешка воззрился иа объявлеине «Вннмаиию токарей!», где перечислялись кинжные иовинки по токарному делу. Здесь ои чувствовал себя на своем месте, никто не мог сказать ему: «А ты что чужне разговоры подслушнваешь, малец?» В чем дело? Стоит токарь Иннокентнй Степанов и выбнрает иужную книгу, выберет н прочтет, еслн захочет. А прнслушивается он прн этом к разговорам собравшегося иачальства или иет, это никого ие касается. Не иравится им — пусть ндут в свон кабинеты!

Разговор шел крайне нитересный. Оказывается, Торжуев н Белянкин — еще более важиые персоиы, чем думал Кешка. Ерохнн настойчнво проснл, чтобы ему доверилн стать на место Торжуева, а иачальннк цеха не соглашался, н Ефим Кузьмнч был в явном смущеинн, и все говорилн о том, что цилиидр стонт около ста пятндесятн тысяч н рнсковать иевозможио: вдруг Ерохнн запорет? Полозов уверял, что если будет какая-либо иеточиость, то не цилиидр пойдет в брак, а можио подогиать сопряжеииые деталн. Кешка ие знал, что такое сопряжеииые деталн, но потом Ефнм Кузьмич упомянул об обоймах, что оии уже обработаиы,— значит, нужиа будет дополиительная обработка, н Кешка догадался, что это н есть одиа из сопряженных деталей. Котельинков сказал, что нарушится принцип взаимозаменяемости

деталей. Кешка совсем уже не понял, что это за принцип такой, но тут Ерохин побледнел и тихо сказал:

— За что такое недоверие, товарищи? Что я, неграмотный или бракодел? Чертежи есть, технология написана — неужто не разберусь?

Всем стало неловко, и Кешке тоже. Ерохин повернулся и вышел. Котельников сказал:

— Очень нехорошо получилось.

И тоже вышел: может, пошел утешать Ерохина?

Любимов стоял на своем:

— Он же и черновой обработки не делал! Разве можно, никогда не работав на цилиндрах, сразу за чистовую обработку браться!

Карцева вдруг сказала:

— Георгий Семенович, ведь и Торжуев когда-то начинал, а Ерохин — человек грамотный и серьезный.

«Молодец она все-таки, хоть и женщина!» — подумал Кешка и с интересом ждал, что скажет Любимов, но начальник цеха позвал с собой Ефима Кузьмича, и оба, озабоченные, пошли в цех.

Кешка скользнул за ними.

Карусель «тузов» стояла. На планшайбе громоздилась махина цилиндра. Кешка взглянул на нее с уважением — сто пятьдесят тысяч, подумать только! На второй карусели работал Лукичев, около него стояли Ерохин с Котельниковым; к удивлению Кешки, все трое смеялись.

К ним подошли и Любимов с Ефимом Кузьмичом, и сразу прибежал сюда же сменный мастер, а через минуту пришли Полозов и Воробьев. Кешка понял, что сейчас все решится, и подошел поближе, но тут и Петьке Козлову стало любопытно, о чем говорит начальство, он тоже приблизился и попался на глаза начальнику цеха.

— А ну, молодые люди, идите работайте,— сказал Любимов.

Работать им было нечего: Кешка уже кончил смену, а Петькина карусель стояла. Но отойти пришлось.

Уходя с карусельного участка, Любимов задержался с Воробьевым и Ерохиным; Кешка слышал, как он сказал:

— Сходите, узнайте точно, чем он болен и когда выйдет Сумеете усовестить — еще лучше. А там видно будет.

— Если подойти психологически, как же не усовестить? — убежденно сказал Ерохин.— Ведь рабочий же человек!

— Ну-ну,— проворчал Ефим Кузьмич,— уговори, пусть выздоровеет без «аккордной».

Ерохин и Воробьев оделись и ушли, а Кешка с Петькой помчались смотреть испытание регулятора: если украдкой взобраться на лесенку, по которой поднимаются к своим кабинам крановщицы, прекрасно все видно.

Полозов проводил начальника цеха до стенда:

— Конечно, рнск есть, Георгнй Семеновнч. Но ведь надо же когда-ннбудь решиться н нарушнть эту монополню.

Любнмов страдальческн морщнлся н жевал губамн. Он н сам поннмал, что нельзя держать цех в завнснмостн от двух нзбалованных, заносчнвых «тузов», что это становнтся нелепым пережнтком прошлого, что для того н перевел днректор двух квалнфнцированных карусельщнков. Но тот же днректор своим прнказом о новом сроке поставнл его в нсключнтельно трудное положенне. И что тут прндумать, чтоб не прогадать? Ждать выздоровлення Торжуева? Тогда цнлнндр задержнтся дня на трн. Белянкнну одному не справнться быстрее. Допустнть Ерохнна? Тогда цнлнндр поспеет в срок, но... в том случае, еслн Ерохнн не запорет. А еслн запорет?.. Проще всего было бы пойтн на незаконную, но такую удобную сделку с «тузамн» — прнплатнть нм аккордно кругленькую сумму... Но этого делать нельзя: сразу подннмется шум...

— Знаете что, Алексей Алексеевнч,— сказал он, не глядя на Полозова,— дело это ответственное н партнйное. Ерохнн — коммуннст да н речь идет о выполненнн соцналнстнческого обязательства, то есть опять-такн о партнйном, общественном деле... Не буду я решать однн! Ефнм Кузьмич — старшнй мастер н к тому же секретарь партбюро. Еслн выяснится, что Торжуев н завтра не выйдет, пусть Ефнм Кузьмнч решает сам. Возьмет на свою ответственность — что же, ставьте с завтрашнего дня Ерохнна. Я н прнказывать не буду, н возражать... тоже не буду.

— Понятно,— сказал Полозов, прнтушнв улыбку.

Он заспешнл к Ефнму Кузьмнчу, а Любнмов медленно пошел на стенд. Решенне было самым легкнм, но от него остался протнвный осадок,— струснл.

7

Когда онн вышлн за ворота завода, Воробьев нарочно пошел медленнее — его не особенно тянуло туда, куда нх послалн, зато хотелось поговорнть с Ерохнным, благо представнлся случай.

Ерохнн ему нравнлся н немного уднвлял его.

Человек молодой, но бывалый, прошедшнй с передовымн частямн советскнх войск до Берлнна, Ерохнн сохраннл какую-то нанвную чнстоту душн, словно н не предполагал, что среди хорошнх людей есть н плохне, н мелкне, н фальшнвые людн, словно ему н в голову не прнходнло, что его доверчнвая откровенность может вызвать не только сочувстврне, но н насмешку.

— Вот ведь как получнлось,— говорнл он новым товарнщам в первый же день своего появлення в цехе,— а я как раз собрался на юг ехать, хотел месяца трн за свой счет проснть. У меня жннка скоро родить должна, а под Херсоном мон старнкн жнвут, все-такн спокойнее было бы возле мамы... А тут вдруг к вам переводят. Теперь, пожалуй, н неудобно проснться, да?

Он охотно рассказывал о своих стариках,— они были, по его словам, редкостно хорошие, и домик у них отличный, и виноградники, погубленные немцами, за эти годы возродились и дают виноград, вкуснее которого не сыщешь.

— Я тем летом в отпуск ездил,— говорил он с сияющей улыбкой, и слушавшим его становилось приятно, что человек съездил в отпуск на родину.— Жинку к своим возил. Так она даже растерялась: вишни, виноград, персики — ешь сколько хочется! Мама за ней ухаживает: бери, невестушка, полезно! Папа тут срежет кисть, там кисть — пробуй, какая слаще!.. Полюбили они ее. Да ее и нельзя не полюбить.

Кое-кто посмеивался: вот ведь расхвастался человек и стариками, и виноградом, и женой. Но Ерохин не замечал усмешек, продолжал рассказывать — теперь уже о своей жене, и его живое лицо с большими, ясными глазами дополняло слова быстрой сменой выражений. Воробьеву стало неловко за него — ну для чего так, сразу, перед незнакомыми людьми всю свою жизнь выворачивать? Но потом заметил, что слушатели постепенно подпадают под влияние ерохинской чистосердечности и уже добродушно переглядываются — мол, какой славный парень к нам пришел!

— Уже под самым Берлином познакомились с нею. Ранение у меня было небольшое, а она санинструктор. Ну, то да се, помаленечку познакомились. Попробовал ухаживать — ох как она меня осадила! А ведь девочка еще, девятнадцать лет... Ну, потом в боях вместе, на привалах вместе. Подружились. Уж и боялся я за нее... ведь война! А она не боялась... знаете, как с неопытными бывает? Не понимает, где опасность, думает, если она санинструктор, то ее дело других спасать, а сама заговоренная... Я, конечно, не разубеждал,— так легче, верно?

Фронтовики согласились, что это лучше всего Припомнили разные случаи. Катя Смолкина прикрикнула:

— Будет вам про всякие ужасы! Тут о любви, а вы опять на свое свернули... Так что же, парень, там и поженились, на фронте?

— Нет,— строго сказал Ерохин.— Не согласилась. Не для того мы, говорит, на фронт пошли. Потом, Миша, если дождемся друг друга, наше счастье будет долгое, настоящее. А под Берлином ее ранило.

Такая боль отразилась на его лице, что всем стало жаль неизвестную девушку.

— Увезли ее санитарным поездом, а куда?.. Уж война кончилась, а я все найти не мог. Сколько справок наводил, сколько писем да заявлений разослал! Думал, с ума сойду! А у нее, оказывается, легкое прострелено было и на лице шрам Вот этого шрама она испугалась· ведь девушка, и вдруг - шрам.. И укрылась она от меня у родителей, в Сибири. Еле нашел.

— Нашел-таки! — обрадовалась Катя Смолкииа, хотя и зараиее было поиятно, что иашел, раз теперь жеиаты. Но уж очеиь ои живо рассказывал!

— Нашел! И так у меия сложилось, что ие могу уехать — иедавио иа завод поступил, до отпуска далеко. Пишу ей — приезжай, а оиа отвечает: «Нет, Миша, приезжай сам, посмотрим друг иа друга, проверим себя, если ты ие разочаруешься — поеду с тобой куда хочешь...» Ну, заметался я, отпуск выпросил и помчался. Привез...

И всем слушавшим его было приятио, что оиа иашлась и ои не испугался ее шрама, и вот — счастливы люди. Даже Торжуев, иедоброжелательио встретивший иового карусельщика, иезаметио для самого себя растрогался и вставил свое слово:

— Коиечио, шрам — пустяки, если жеищина хорошая.

— Очеиь хорошая! — воскликнул Ерохии, доверчиво улыбаясь Торжуеву.

Ерохииа предупреждали, для чего его переводят в турбииный цех, и Воробьев, прииимая в свою партгруппу иового коммуииста, рассказывал ему, что за люди Торжуев с Беляикииым. Но Ерохии с открытой душой шел иавстречу «тузам». Ои прежде всего искал в людях хорошее — мало ли что говорят, может, и иеправда?

А Воробьев отличио видел, что «тузы» с ехидцей присматриваются к иовым карусельщикам и иа все расспросы их отвечают так иеопределеиио, что вместо помощи получается издевка.

Теперь, шагая рядом с Ерохииым, ои осторожио заговорил об этом, ио Ерохии отмахиулся:

— Пускай их! Что я сам ие разберусь? А мие иитересио, я иарочио спрашиваю да советуюсь... иеужто так и будут чваииться? Только ведь зиаешь — говорят: чваиство ие ум, а иедоумье. Себе же хуже делают.

Ои помолчал и призиался:

— Зацепили оии меия. С первого дия зацепили за душу. Не люблю я, когда люди вот так — как кошки. Теперь, пока ие пересилю, ие успокоюсь. И ие уйду из цеха — хоть гоии, ие уйду.

— А разве ты уходить собираешься?

— Сейчас иет, а вообще — да. Со временем...

И Ерохии мечтательио улыбиулся.

— Куда же?

— В мелиораторы,— сказал Ерохии, помолчал и иачал тихо, взволиоваиио рассказывать:

— Я ведь природу люблю. И рос иа юге, вокруг сады, да виноградиики, да степь — широкая, без коица-краю... Сколько красоты в ией! Идешь — как по воздуху плывешь, а воздух-то чистый-чистый, и вдруг пахиёт травой иагретой, цветками полевыми... иу, век бы ие уходил! А только иеустроеииость еще в природе... В жаркое лето — высушит все, земля в трещииах, прислушаешься — будто стоиет: воды!.. Очеиь мие хочется руки тут приложить.

— Как же тебя, друг, на завод занесло?

— А я с малолетства машины люблю,— пояснил Ерохин.— Да и как без них? Без них ничего не сделаешь. Я и перед войной на заводе работал, а в войну еще больше машину уважать стал. Техника! А потом...

Он вздохнул, виновато усмехнулся:

— Промах у меня вышел. Задумал я после армии в институт поступать. Лето сидел, готовился... Да, видно, сил не рассчитал. Сельская десятилетка — не городская. Приехал сюда и — провалился. Хотели мне снисхождение сделать как фронтовику. Да нет уж, зачем? Сам чувствовал — не хватает у меня знаний. Поступил на завод и — в вечернюю школу. Попробовал в десятый — трудно. Пошел в девятый. А тут и женился. Как с семьей на стипендию садиться? Кончил десятый, поступил в заочный. Теперь на второй курс перешел. Сессию сдал неплохо.

— Значит, уйдешь от нас,— с сожалением сказал Воробьев.

— Через несколько лет уйду. Да ведь разве можно всю жизнь одно дело делать?

Воробьев вскинул на него задумчивый взгляд, не ответил. Он врос в заводскую жизнь и как-то не представлял себе иной.

— Ты не думай, Яков Андреич, что я у вас вроде гостя. Нет! Я свое дело люблю. И знаешь, чтó люблю? Власть свою над машиной, над металлом... Берешь этакую глыбу, жесткую, грубую... А когда обработаешь — какое же в ней изящество получается! Тонкость какая! Очень это интересно.

— Знаешь, Миша, наша Карцева мне как-то вопрос задала Смотрела-смотрела, как я золотник вытачиваю, и вдруг спросила: «Наслаждение от работы получаете?» Такое неожиданное слово Об этом Карл Маркс, оказывается, говорил. Труд — наслаждение.

— А без этого как же? — просто согласился Ерохин.— Иначе другое дело искать надо.

Они уже подходили к заводскому жилому городку, где занимали отдельную квартиру Беляникин и Торжуев, когда Ерохин сказал:

– Вот ребятенок у нас родится. И будет расти, расти... Что он в жизни увидит, а? Ты думал когда-нибудь, что они увидят, наши дети? У тебя ведь есть?..

— Неженатый я еще,— тихо сказал Воробьев и шагнул в парадное. Слова Ерохина будто обожгли его душу. Встало в памяти упрямое, заплаканное лицо Груни, прозвучал ее задыхающийся от слез голос: «Нет, нет, Яшенька, милый, ты не понимаешь...»

Он продолжал подниматься по лестнице, но хотелось ему повернуть назад (ну их к черту, этих «тузов»!), напрямик через пустырь побежать к ней, ворваться в этот запретный для него дом, схватить ее сопротивляющуюся, непокорную руку...

«Пойду! — решил он, вглядываясь в номера квартир.

Отсюда же пойду, объясиюсь с Кузьмичом, все выскажу, как есть!» — И тут же, еще не иайдя иужного номера, понял, что никуда ои не пойдет, что ие может ои объясияться с Кузьмичом без ее согласия, что нет у него на то никаких прав...

Помрачиевшнй, он остановился возле двери, нз-за которой доиосились прнглушеииые звукн· рояля: кто-то быстро, ио сбивчиво нграл гаммы.

— Дочка играет,— сказал он Ерохниу.— Хорошо, если дочка откроет, а то супруга его, пожалуй, и не впустит. Насильио не полезешь.

— А мы с подходцем, деликатио,— отозвался Ерохин.— Ведь товарищи, из одного цеха. Как же она может не пустнть?

И, иажав на дверь, которая оказалась незапертой, добродушио добавил:

— Вот виднщь, добрые людн и замков не призиают.

Первым человеком, которого оин увидели войдя, был сам Семен Матвеевнч Торжуев. В теплой домашней куртке н меховых туфлях, повязанный широким фартуком, он сидел иа низеиьком табурете у окиа простoрной кухни перед низким, грубо сколоченным столом, завалеииым ннструмеитами, частями разобранных электроприборов, чайинкамн и кастрюлями с прогоревшими днищами. В руках ои держал, одиако, дамские саидалеты из цветиой кожи.

Перед ним стояли две девушки н в два голоса проснли:

— Уступите немного, Семен Матвеевич! У нас н деньги с собой, сто двадцать! Уступите иемного, Семен Матвеевнч!

— Не мои туфли, барышии, ие моя н воля уступать,— сказал Торжуев, равиодушно оглядываясь иа входящих. Виезапио он густо покрасиел, швыриул туфли иа подокоиннк, торопливо пробормотал:

— Завтра зайдите, барышни, с самнм мастером поговорите!

И поднялся навстречу нежданным посетителям, суетливыми движеииями стаскивая с себя фартук.

Воробьев стоял посредн кухин, сузнвшимися от гиева глазами примечая н эту суетлнвость, н покрасиевшее лнцо Торжуева, н утварь, принесеииую в починку, и лежавшие на подокоинике сандалеты разиых цветов. Зато Ерохин, пропустив к выходу смущенных девушек, жизиерадостно улыбнулся и даже подошел к столу обозреть раскииутую иа нем рухлядь, взял в руки дырявую кастрюлю, поглядел ее иа свет, покачал головой.

— Лудить-паять? — как ин в чем не бывало спроснл он.— С этой штуковнной повознщься. Дио будешь ставнть?

— А как же? Старое-то как решето,— с облегчеинем подхватил Торжуев н, вздохнув, объяснял: — Тащат соседи н тащат всякое барахло: почиин да почини. Прибытку ннкакого, а возии ие оберешься.

— Ну, приинмай гостей, хозяин, раз пришли,— сказал Воробьев, с горьким уднвленнем приглядываясь к этому человеку,

которого знал степенным и самоувереным, а теперь видел растерявшимся и жалким.

— Василий Степанович сказал: вы больны,— пояснил Ерохин.— Вот мы и решили навестить.

— За внимание — спасибо,— сказал Торжуев и крикнул куда-то в глубину квартиры: — Жена-а! Товарищи с завода спроведать пришли. Сообрази-ка!

Припадая на одну ногу, он повел гостей в комнату, служившую столовой. У пианино сидела девочка лет пятнадцати. Она сразу оборвала гаммы и повернулась на вращающемся табурете лицом к гостям.

— Ирина, дочка,— представил ее Торжуев.— В музыкальной школе учится. При консерватории.

Девочка поздоровалась и, с удовольствием захлопнув крышку пианино, выскочила из комнаты.

— Трое их у меня,— рассказывал Торжуев, усаживая гостей и стараясь скрыть смущение.— Старший в Горном институте на третьем курсе, средний — в Технологическом на первом! Интеллигенция!

Вошла жена — пышная, когда-то, видимо, очень красивая. Ее расплывшиеся черты до странности напоминали черты лица Белякина, хотя у Белякина лицо было с кулачок и сухонькое, все в морщинах. Ходила она вперевалочку, но хозяйничала расторопно и на мужа смотрела подобострастно, на лету ловя указания. Как ни отговаривались гости, на столе появились огурчики, селедка, грибки и графинчик с водкой.

— Да ведь мы только узнать зашли,— сказал Воробьев.— Время в цехе горячее. Сами знаете, Семен Матвеевич, как некстати ваша болезнь. Что это с вами приключилось?

— По суху какой же разговор? — ответил Торжуев и, еще сильнее прихрамывая, достал из буфета стопки.— Ревматизм замучил... Дома еще ничего, а как попаду в цехе на сквозняки, так и сведет ноги... Фронтовое наследство!

— Где воевали? — спросил Ерохин, и через минуту оба уже наперебой вспоминали, кто где отступал, кто где наступал, в каких боях пришлось участвовать.

Воробьев слушал, похаживая по комнате и не участвуя в разговоре, хотя ему тоже было что вспомнить. Он приглядывался к Торжуеву, к его жене, ко всей обстановке — пианино, люстра, телевизор...

— Трофейная? — через плечо спросил он Торжуева, останавливаясь перед довольно нелепой бронзовой лампой, изображавшей голую женщину с двумя светильниками.

— Жене в подарок прислал,— неохотно ответил Торжуев

Развешанные по стенам фотографии изображали хозяев и их детей в разные периоды жизни. Дети в пионерских галстуках, потом с комсомольскими значками на груди — в пионерлагере, на лыжах, в лодке.. Торжуев с женой Торжуев на пляже

в Сочи... Воробьев долго разглядывал одии сиимок — сержант Торжуев в лихо заломлениой пилотке, с четырьмя медалями иа груди.

— Вот поди ж ты! — сказал Воробьев, оборачиваясь и внимательно разглядывая самого Торжуева.— Обычио я фронтовиков за версту чую, а вот в тебе, Семеи Матвеевич, ие признал.

Кровь залила лицо Торжуева.

— На лбу не написаио,— хрипло сказал ои и прнкрикиул на жеиу: — Хватит суетиться, садись!

Властный, долгий звоиок рассеял иеловкость. Пришел Белянкии — из бани, распареиный, благостный. Радушно приветствовал гостей, но исподтишка косился подозрительно. При нем н сам Торжуев притих, и жена его стала еще проворнее и подобострастиее: бегом уиесла сверток с бельем отца, подставнла старику кресло, иаложила ему иа тарелку закусок, иамазала маслом хлеб. Видно, старик держал семью в кулаке.

— Что ж, приступим,— сказал Беляикии, подиимая стопку,— поскольку все здесь турбинщики, по первой — за первую турбину!

— За ее досрочный выпуск с вашей помощью! — добавил Ерохнн.

— А как же! — горделиво сказал старик.— Без нас с Семеном ни одна турбина с завода ие вышла.

За первой стопкой последовали н вторая, н третья, разговор крутился вокруг цеховых дел, и, если отвлекался в сторону, Воробьев твердо возвращал его в главиое русло: для того и прншлн, чтоб поговорить начистоту. Ерохин с откровеииым любопытством слушал старнка: видно, ннкак не мог разобраться, что за человек. Послушаешь, так во всем цехе не найдется более заинтересованных людей, чем Беляикии да Торжуев,— все-то оии поиимают, всем рады помочь, никакнх снл ие пожалеют...

— Хорошо вы говорнте, Васнлнй Степаиовнч,— вдруг резко сказал Воробьев,— да только слова и дела у вас как-то расходятся!

Обращался ои к одному Белянкину, Торжуева вроде и не замечал, поиял, что старик тут — главное лицо. Торжуев заволновался, а старик даже глазом ие повел, только укоризиеиио покачал головой:

— Зря обижаете, Яков Аидреич. Протнв советского порядка мы ин в чем не идем. А что цеиим свой труд — по заслугам ценнм! По вашей программе, по партийной. От каждого по способности, каждому по труду, ведь так?..

— По способностн-то вы больше можете,— тнхо сказал Ерохин.

Белянкни повернулся к Ерохнну н вкрадчиво улыбнулся:

— Горячишься, сынок, а ведь без толку! Ты пареиь молодой, работиик неплохой, должен бы поннмать, что такое мастерство и опыт. Мне что? Мое время кончается — вам, молодым, дорога...

А ценить себя умей. Уважения к себе требуй. На том всякое мастерство и держалось и держаться будет.

— Уважение разве деньгами измеряется, Василий Степанович? — все так же тихо возразил Ерохин.— Заработки у вас и без того самые большие, а вот уважение... уважают вас в цехе, прямо скажу, не очень! Нехорошо о вас говорят. Неужели вам уважение товарищей не дорого?

— Говорят о вас: жилы, шкурники,— не стесняясь, уточнил Воробьев, следя за тем, как багровел и дергался на месте, желая, но не решаясь заговорить, Торжуев. Именно Торжуев сегодня занимал его.

Торжуев так и не сказал ничего, а Белянкин еще вкрадчивей ответил Ерохину:

— По молодости, парень, глупости болтаешь. Вторую неделю в цехе,— что ты можешь знать? А мне, по крайней мере, и начальник цеха первым кланяется, и директор иначе, как Василием Степанычем, не называет. Завистники, конечно, находятся, как без них? Это тебе пока никто не завидует, потому — нечему. А стремиться ты должен, чтоб не ты искал, а тебя искали: «Помоги, сделай!» Женатый ты или нет еще?

— Женатый!

— Тогда тем более умей себя поставить. И от лишних денег не отказывайся, если дураком прослыть не хочешь.

— Зачем же отказываться? Мне деньги очень даже нужны,— доверчиво признался Ерохин.— Только я их производительностью труда заработаю, Василий Степанович, а торговаться да вымогать не стану.

— А тебе покамест иначе и не дадут,— ехидно согласился Белянкин.— Что ты есть? Обыкновенный карусельщик шестого разряда. Таких, как ты, дюжинами считают. А таких, как я,— единицами. Станешь со мной вровень — тогда поговорим.

И он, считая разговор оконченным, налил всем по последней.

— За ваше здоровье, дорогие гости! — сказал он.— И за тебя, Яков Андреич, что зашел к нам и хлебом-солью нашей не побрезговал.

— Почему же не зайти, Василий Степанович? — сказал Воробьев и, прищурясь, в упор поглядел на старика.— Я с тобой, Василий Степанович, вровень стою. Токарь-центровик не хуже, чем ты карусельщик. А зарабатываю и побольше тебя, верно?

— Верно, верно, Яков Андреич,— поддакнул Белянкин.— О тебе спору нет.

— А вот насчет расценок не торгуюсь, и думаю так: не тем человек выделяется, что один, а тем, что хорош.

— Верно, верно,— опять поддакнул Белянкин и занялся грибками, цепляя их вилкой и со вкусом медленно разжевывая. Продолжать спор он явно не собирался, а по лицу бродила ехидная улыбочка: что там ни говорят, как ни агитируют — их дело такое, за тем и пришли! А горжусь я недаром и цену набиваю

недаром: ведь вот прнбежалн на дом, сам партийный групорг прншел шапку ломать: выручайте, мастера, без вас не обойтись!

— Вот только старею,— сокрушенно вздохнул Беляикин,— Выручнл бы цех, как не выручнть! И иа деньгн ие посмотрел бы... Да снла уже не та! Сверхурочно н рад бы поработать, раз зятек хворает, да не могу...

И ои поднялся, прнжав руки к груди, поклонился:

— Не обнжайтесь, пойду прнлягу. Старые-то кости покою просят.

— Конечио, отдыхайте,— сказал Воробьев.— И о цехе душой ие болейте, раз такое дело. Не выздоровеет к завтрему Семен Матвеевич — другого напарннка найдем. Чего уж вам силы иадрывать!

Беляикин только на минуту растерялся, тревожио переглянулся с зятем, а потом елейно улыбнулся:

— Ну вот н слава богу. Так уж вы ие обижайтесь иа старика. И ушел.

Торжуев вскниул голову н грубовато спросил Ерохииа:

— Не ты лн меня заменять думаешь?

— Может быть, н я,— спокойно сказал Ерохии.

— Так...— протянул Торжуев.— Ну что же... Попробуй.

Ои встал, пошарил в буфете, иашел еще водки, налил по стопкам. Рука у него дрожала.

— Дай-ка я,— сказал Воробьев.— Мимо льешь, Семеи Матвеевич, вндно, н впрямь нездоров. Надолго у тебя болезнь-то? Когда выходнть думаешь?

— Да как зиать? Вот схожу к доктору, ему видней.

— Конечно, доктору вндней. Ну а... волынку кончать, Семеи Матвеевнч, собнраешься нлн нет?

Торжуев залпом осушнл стопку, сморщился, начал жевать хлебную корку. Внд у него был какой-то ошеломленный: то лн разговор подействовал, то лн опьянел.

— Нехорошо ведь получается, Семеи Матвеевнч...— иачал было Ерохин, но тут Воробьев со звоном поставил свою стопку и прнкрикиул:

— Фронтовнк чертов! Совесть свою где растерял? В Сочах небось отдыхаешь, санаторнй каждый год требуешь, дети — студенты! Комсомольцы! В музыкальной школе государство обучает! В нистнтутах! А знают онн, что их отца весь цех шкурником велнчает? Не знают? Может, рассказать? Порадовать?..

Торжуев пьянымн, злымн глазами долго смотрел на Воробьева, стараясь найтн какне-то веские слова для ответа и ие находя нх.

— Не нмеешь права...— наконец пробормотал он заплетающнмся языком.— Насчет фронта не трожь... И детей — к чему детей прнплел. Что я, несоветскнй элемент?.. Я, кажется, все сполняю...

Воробьев решительно встал:

— Пойдем, Миша. Навестили больного, водки его выпили, а тебе завтра за него вторую смену работать. Пошли!

Торжуев вскочил; покачнувшись, навалился на спинку стула, который так и затрещал под его тяжестью.

— За меня? — крикнул он с бешенством.— Никто еще за меня не работал! Ерохин больно гладенький, пусть Ваньку воспитывает да нос ему утирает, а я, если захочу, в один день за неделю сработаю!

— Так захоти! — с силой сказал Воробьев.— Захоти, чем так-то спьяну хвастать!

— А вот и захочу, если на то пошло! — крикнул Торжуев и отбросил в сторону стул.— Подначивать пришел? Так мне плевать на твою подначку, а вот христосику этому,— он презрительно кивнул на Ерохина,— обставить меня не дам! Не дам! Захочу — и будешь ты, групорг партейный, красные плакаты мне писать и портрет мой на стенку вешать!

— Если не хвастаешь, плакат напишу и портрет повешу,— спокойно сказал Воробьев.— А ты, Семен Матвеевич, чем куражиться попусту, подумай лучше... не пора ли собственным умом на свете жить? Пошли, Миша.

Воробьева рассердило и огорчило, что Ерохин, видимо, опьянел и вышел из квартиры спотыкаясь и забыв проститься с хозяевами. Но на улице Ерохин рванул ворот рубахи и сказал с тоской:

— До чего некрасивые люди, а?

Некоторое время он шел молча, затем сквозь зубы проговорил:

— А насчет христосика... еще посмотрим!

8

Закутавшись платком так, что видны были только испуганные глаза, Груня Клементьева скользнула в парадное заводского общежития и бегом поднялась на третий этаж. Сердце ее громко билось. Она задержалась на площадке у входа в длинный, скудно освещенный коридор, прислушиваясь, не идет ли кто, на цыпочках пробежала по коридору и нащупала за наличником ключ.

За дверью глухо заворчала собака.

Кто-то, шаркая подошвами, поднимался по лестнице.

Груня поспешно открыла дверь, выдернула из замочной скважины туго поддающийся ключ, тихо прикрыла за собой дверь и сразу же замкнула ее изнутри. И только тогда, переведя дух, погладила кружившуюся вокруг нее собаку и дала ей припасенную булку.

Скинув платок, она в полумраке поправила перед зеркальцем

заколотые вокруг головы косы, приложила к щекам холодные ладони и счастливо засмеялась.

Ей нравилось приходить сюда тайком, пугаясь каждого встречного, и потом ждать в этой маленькой чистой комнатке — его комнатке, где все говорило ей о нем: жесткая, по-солдатски заправленная койка, многоламповый радиоприемник, который они включали, чтобы музыка заглушала голоса, охотничье ружье на стене, аккордеон в футляре, зажатый между стеной и изголовьем койки, полка с книгами, из которых торчат бумажные закладки, и его фронтовой друг — эта злющая Рация, признающая только хозяина и ее, Груню. Она не зажигала света, чтобы стекло над дверью не выдало ее присутствия. Сидя на единственном стуле возле стола и шепотом разговаривая с собакой, она прислушивалась к шагам проходящих за дверью людей и всегда издали узнавала его торопливые шаги, беззвучно поворачивала ключ в замке и замирала у двери.

Однако сегодня он опаздывал. Который теперь час? Он сказал: в восемь. Она и без того запоздала: никак не уйти было из дому, потому что Ефим Кузьмич задержался на заводе, а Галочка ни за что не хотела оставаться одна. Пришлось накричать на девочку и оставить ее в слезах. Стыдно!.. Что, если Галочка не заснет до прихода дедушки и расскажет ему, а дедушка будет опять до ночи шагать из угла в угол, жуя папиросу, потому что он-то знает наверняка, что никакого собрания у нее нет!

Чувство виноватости жгло ее, и было только одно утешение — скорее увидеть его, обнять, убедиться в том, что он любит ее, и сказать ему, что ради него она пренебрегла всем — и дочкой, и Ефимом Кузьмичом, и хозяйством, и даже своей клятвой никогда не изменять памяти Кирилла. В сотый раз доказать ему свою любовь, и все-таки ответить отказом на его настойчивые уговоры, и шептать сквозь слезы: «Нет, Яшенька, нет, любовь моя, я тебя люблю и всегда любить буду, но менять ничего нельзя, и не требуй, нельзя...» И, в последний раз крепко обняв его, выскользнуть в затихший к ночи коридор и бежать без памяти на ночной холод, леденящий ее разгоряченное лицо, и робеть при мысли, что дома ее встретит вопросительный взгляд Ефима Кузьмича.

— Рацинька, что же он не идет? — с тоскою спросила она, теребя настороженное ухо собаки и прижимаясь щекой к мягкой шерсти.

Рация заскулила и покосилась на дверь.

Положительно, она все понимает, только не говорит. Недаром она в первый же раз не залаяла на Груню и лизнула ей руку. Яша тогда удивился и сказал: «Понимает, что ты любимая, у меня от нее секретов нет».

В полумраке позднего весеннего вечера глаза собаки блестели, как два желтых фонарика.

— Это нехорошо, милая,— пожаловалась Груня.— Он же знает, как мне трудно вырваться из дому. Он не разлюбил меня?

Рация тихонько скулила, стуча хвостом по полу, и Груне хотелось плакать от жалости к самой себе.

Что же делать? Господи, что же тут поделаешь? И так нехорошо, и иначе нельзя... Даже представить себе страшно, как это прийти в цех и сказать: «А я выхожу замуж». Вдова Кирилла Клементьева, ставшая на его место и свято хранившая память о нем, так свято, что никто не решался поухаживать за нею, никто не смел слово сказать... А старику? Как сказать старику, когда двадцать раз сквозь слезы кричала ему: нет, никого мне не надо, никогда никому не позволю заменить Кирюшу... А дочке? Галочке? Как привести в дом чужого ей человека и сказать: вот твой новый папа... Галочке, которой так часто рассказывала об отце, которой так часто клялась: всю жизнь будем помнить... Нет, нельзя, нельзя, тут и думать нечего.

Сколько раз за последнее время она заново начинала обдумывать все это, мысленно повторяя доводы Яши! Ей самой хотелось поверить, что все ее страхи — вздор. Но убедить себя не могла, а вместо этого представляла себе усмешечки знакомых, их пересуды: «А какой скромницей прикидывалась!» И почему-то упрямо возникала перед нею все та же сценка: Галочка расшалилась, расшумелась, а Яша вдруг с досадой прикрикнул: «Не шуми, покою не даешь!» — и Галочка обиженно забилась в уголок, а дед ходит сам не свой, не глядя на Груню, но всем своим видом говоря: вот видишь, привела отчима!

Теперь она корила себя — зачем полюбила, зачем дала волю чувству? Не надо бы. Но укоры шли мимо сердца... Ох, нелегко она решилась, ох, долго, мучительно сопротивлялась любви, его извела и себя замучила. Сколько раз убегала, сколько раз отталкивала, когда хотелось припасть к нему на грудь и заплакать, и сказать — твоя, что хочешь делай, не могу больше... А потом его пожалела и себя жалко стало: не под силу мука, пусть хоть ненадолго, пусть хоть украдкой — глоточек женского горького счастья.

За стеною начали бить часы. Груня считала певучие удары, и с каждым ударом в ней нарастали обида и гнев. Девять часов! Ну хорошо же! Ты не торопишься? Ты спокойно занимаешься своими делами, пока я тут мучаюсь одна? Ладно. Пусть будет так. Я уйду, вот только перекину на другое место подушку, разбросаю книги, переверну стул, чтобы ты понял, что я была и ушла. Ушла и больше никогда не приду, как ни проси!

Она оттолкнула собаку и подошла к двери. И тогда ей стало страшно. Уйти с такой злобой на Яшу — значит промучиться всю ночь и разжечь обиду, так что потом и помириться будет невозможно. И его обидишь. Мало ли что могло случиться в цехе! Сегодня после работы были собрания партийных групп, а он партгрупорг...

Оиа подияла стул, поправила подушку, сунула книгн обратно иа полку, прниикла к двери, прнслушалась. В этот час, когда все обнтатели общежития собиралнсь к ночи, дом иаполнялся голосами, шагами, музыкой, передаваемой по радио. Сейчас и ие выйти: обязательио иа кого-нибудь иаткнешься!

Сиова пробили часы. Четверть? Или полчаса?

Она прнлегла иа постель, выдериула шпильки, отпустила косы: они давилн ей голову. Утерла слезннки н постаралась оправдать Яшу и иастроиться на мнрный н веселый лад, чтобы встретнть его лаской, когда он наконец прндет. Он же там мучается, поглядывает на часы, волиуется, что оиа рассерднлась... А придет — и виду ие подаст, что устал н переволновался. Крепко обнимет ее н прнжмет к себе — так крепко, что покажется: одио тело, одно сердце, одна душа...

Сиова зазвучали певучие удары — три... пять... девять... десять... Десять часов!

Ждать еще — значнт потерять самолюбне и гордость, значит позволить ему не считаться с собою!

Оиа вскочила, оправнла постель н, гиевио отталкивая коленом ластившуюся к ией собаку, поспешио закрутнла вокруг головы разметавшнеся косы, небрежно проткиула нх шпнлькамн и завериулась в платок. Теперь оиа хотела одиого — уйти как можно скорее! Пусть догадывается, была оиа илн не была! Пусть бегает по пустырю возле ее дома, заглядывая в окна!

— Прощай, Рацииька, я больше ие прнду,— уходя, прошептала оиа н поцеловала собаку в шелковнстую шерсть между ушамн.

В коридоре она лицом к лнцу столкнулась с какой-то жеищииой, смутно узнала — жена турбинищнка, Яшина соседка.

Еще час назад Груия ужасиулась бы такой встрече, но теперь спокойио н гордо поздоровалась: пусть сплетинчает, все равио!..

Оиа пересекала двор, когда увидела бегущего к дому Яшу. Горячая радость заставила ее остаиовнться. Но в ту же секуиду оиа вспоминла все, что передумала за два часа, все, что отдалило ее от Яши... Разве что-нибудь изменилось? Заставнл прождать в потемках два часа, а теперь бежнт!

Оиа пошла своим путем, подняв голову и распрямнв плечн. И чуть не крикиула, когда Яша, ие заметнв ее, пробежал мнмо, громко и сильио дыша.

Оиа вышла за ворота и медлеиио пошла по переулку. Голова ее поникла, плечи опустилнсь. Завндев издалн свой домнк с двумя освещеииымн окиами, оиа остаиовилась, чтобы собраться с силами н войти спокойной и гордой,— только бы ие показать горя...

У нее не было сил обрадоваться, когда оиа услыхала за спнною быстрые шагн и прнглушеииый оклик:

— Груия!

Только слабость будто сковала ее — ни уйти от него, ни шагиуть иавстречу, ни откликиуться иа зов.

В этот деиь коммуиисты цеха собирались по группам, и Воробьев придавал собранию своей группы особое значеине. Лучшие работники, лучшие бригады у всех иа виду, а вот все ли силы использованы, все ли правильно расставлены? Он и сам удивился, когда подсчитал, что рядом с осиовной группой постахановски работающих людей существуют восемнадцать человек, которые и загружеиы мало и план частеиько не выполияют. Почему так получается? Виноваты мастера: предпочитают выезжать на хорошо проверенных кадрах. Виноваты и коммунисты: иедосмотрели. Или взять рост производительиости труда: у одних она растет из месяца в месяц, думают люди, душой болеют, а у других производительность застыла на одном уровне.

Об этом и говорил Воробьев, н ему было приятно, что коммуннсты слушали с большим вниманием, а потом сразу оживленно заговорнли.

Ерохин высказал свою обиду: иачальство доверять боится. Сколько было страхов, пока разрешнли поработать вместо Торжуева! А вот он, Ерохин, уже два дия работает и справляется, и никаких тайи тут нет, а только тоикая работа, требующая сноровки, виимаиня и расчета. Зачем же создавать дутые авторитеты и людей портнть?

— Слово даю вам, товарищи, от себя и от Лукнчева,— перегоним мы и Торжуева и Белянкина!

— А только и Торжуева с Беляикиным оставлять без внимаиня иельзя,— заключил Воробьев.— Если такое рвачество у нас развелось, мы за то отвечаем. Неужели мы их такимн иждивеицами народа в коммуиизм потащим?

Говорили коммуннсты и о молодых рабочих: ведь как выправился Аркадий Ступин в пакулиской бригаде, день ото дия лучше становится. А Ваня Абрамов? Тупицей считали, а глядите, каким ои толковым подручным оказался, когда Ерохин всерьез занялся им! Шефство нужно иад учениками, пусть каждый коммуиист хотя бы одного ученика возьмет иа свою партийную ответственность.

Заспорили об учениках: можио ли им доверить самостоятельную работу по турбиие? В споре родилось предложение — расчленить операции на чериовые и чистовые, чтобы квалифицироваииые рабочие выполиялн только ответствеиную, чистовую обработку, а чериовые работы делали ученики. Простая мысль, а какую выгоду оиа прииесет цеху!

Нашлнсь и возражения: значит, каждую деталь со стаика на стаиок перебрасывать? Это еще подсчитать надо, будет ли эффект!

Раздался и другой иедоверчнвый голос:

— Расчлеиить-то расчленишь, да разве ученик за тобой поспеет?

Начали прикндывать, подсчнтывать.

Именно в это время Воробьев скосил глаза на ручные часы н увндел, что уже половииа девятого. Ои представнл себе, как Груня стоит у дверн, вслушиваясь в приблнжающнеся по коридору шаги...

Обсуждение продолжалось.

Это обсужденне было таким решающим для всего участка, что Воробьев не только ие мог скомкать его, но должен был всячески стараться, чтобы люди разговорились. И он это сделал. Когда ои снова украдкой взглянул иа часы, было без пяти девять.

— Пора кончать, товарищн! — раздались голоса.— Что же мы, до иочи сндеть будем?

Решеине заняло еще пять минут, н все уже подиялнсь и стали собнраться домой, когда вошлн Любнмов и Гаршнн.

— Вот это кстатн! — восклнкнул Ефнм Кузьмнч.— Начальник цеха и старшнй технолог. Значнт, сразу все н обговорим, самое милое дело!

— Оставайтесь, товарищи, кто не очеиь спешнт,— предложил Воробьев, где-то в глубиие сердца отсчитывая миииуты и все же поиимая, что приход Любимова и Гаршина в самом деле кстати.

Было без четвертн десять, когда разговор закончнлся. Без четвертн десять!

Ничего н ннкого не замечая, добежал Воробьев до дома, через две ступеньки взбежал по лестннце. Дверь не открылась ему навстречу. Пальцы ощутнли холодок ключа за наличииком. И тогда он вспомннл, что какая-то темная фигура размниулась с ннм во дворе, н понял, что это была Груня,— Груня, которая узнала его н не захотела оклнкнуть!

Не входя в комнату, он побежал догоиять ее. Он очеиь устал за день и очеиь устал от сумасшедшего бега по улицам. Вместе с желанием успоконть Груню в нем подиялось возмущение: почему, собствеиио, должны они встречаться урывкамн, как преступники, боящнеся света? Почему ои лишен простого и естествениого тепла семейной жизни? Почему он бежнт сейчас за иею с внноватым лнцом, когда он выполнял свой долг? Было бы так хорошо после ннтересного и утомнтельиого собрания открыто прийтн к ией, к ней и к себе домой, и рассказать ей все, что произошло, и отдохнуть возле иее, и знать, что она друг, опора, жена — ж е н а!..

Когда ои догнал н оклнкнул ее, она стояла на краю пустыря напротнв своего дома н не сделала нн одиого двнжения навстречу ему. В полутьме весенней ночн он разглядел на ее лнце какое-то одеревеиелое, несвойствениое ей выражение.

— Грунечка! — воскликнул он н взял ее за рукн.

От прнкосновення его горячнх н нежных рук кровь прихлынула к ее сердцу н вместе с тем снова вернулнсь обнда, и гнев,

и еще — страх, что сейчас их увидят, что может пройти мимо или заметить их из окна Ефим Кузьмич.

Она с силой выдернула руки и почти побежала по тропе, огибавшей пустырь.

Крупно шагая рядом с нею, он быстро и взволнованно объяснял, что его задержало, и как это было важно, и как он страдал оттого, что она ждет.

— А мне какое дело? — выкрикнула Груня и остановилась.— Мне какое дело, что́ тебя задержало? Ты должен был предвидеть, предупредить, прислать записку...

— Но ты же запрещаешь это!

— Придумал бы — как, это твое дело! Если бы я не могла прийти, я бы нашла тысячу способов предупредить тебя! — быстрым шепотом говорила она, забывая, сколько раз он ждал ее часами, когда ей не удавалось вырваться из дому.— Если бы ты любил и уважал меня... Если бы ты понимал, что я поссорилась из-за тебя с дочкой... с Ефимом Кузьмичом... что я честью своей рискую ради тебя...

Воробьев вдруг взял ее за локти, стиснул их и властно крикнул:

— Перестань!

Побледнев, она выжидательно и дерзко смотрела ему в глаза.

— Тебе очень нравится играть мною, как кошка мышью? — с горечью спросил он, не отводя взгляда.

У нее дух захватило от возмущения, но все-таки она отметила, что лицо у него несчастное. И тогда ей стало совсем трудно дышать от вновь возродившейся блаженной уверенности — любит!

— Ты же еще и обвиняешь меня? — пробормотала она.

— Эх, Груня, это все не о главном,— сказал он со вздохом и взял ее уже не сопротивляющиеся руки.— Пойдем ко мне, поговорим толком...

— Не могу я идти к тебе,— зашептала Груня.— Меня и так уже люди видели сегодня. Там заговорят, в цех перекинут, старику перескажут... Не могу!

— А пойдем первые скажем всем!

Так как она не ответила, он взял ее под руку и повел, но она упрямо повернула его в другую сторону — к дому. Он подчинился, сжал ее локоть:

— И ко мне не хочешь?

— Уже была! — заносчиво ответила она.— Два часа сидела взаперти!

— Я не виноват, Груня. Так вышло. А ты наказываешь? Или впрямь не хочешь побыть со мною?

— Я и сейчас с тобою.

Помолчав, он заговорил ровным, злым голосом:

— Ну, слушай здесь, на улице. Кончать это надо, Груня. Думаю я о тебе так много, что голова раскалывается. Всю жизнь

ты мне перековеркала, иной раз людям, которых уважаю, в глаза смотреть боюсь. От шутки в жар бросает,— вдруг о нас с тобой прознали? И сегодня — надо бы думать о деле, а я, как мальчишка, на часы поглядывал да сокрушался. Не хочу больше! За что мне такое наказание, чтоб любовь свою прятать, словно порок? Не могу я так жить, никому не нужно, чтоб так было: ни тебе, ни мне, ни людям. Пора кончать, Груня!

Она чуть слышно откликнулась·

— Ну что ж... прощай.

— Нет, Груня, не так. Или мы друг друга не любим? Или в любви нашей есть что-нибудь постыдное, дурное? Я бы всему свету показал тебя — вот она, любимая моя, жена моя! А ты... стыдишься меня?

Тогда она заплакала. Припала к нему всем телом и заплакала навзрыд, как всегда делала, если он пересиливал в споре. Она знала, что он — сильный и упорный во всем — теряется и слабеет от ее слез. Глотая слезы, она повторила ему все клятвы, все уверения и снова умоляла:

— Не мучь меня, любовь моя! Не будет иначе, не может быть иначе! Яшенька, милый мой, желанный мой! Не настаивай! Нельзя... Пойдем к тебе, если хочешь. Куда хочешь пойдем. Только не настаивай!

Она первая поцеловала его, и они долго стояли так, в темноте, прижавшись друг к другу, несчастные и счастливые. Идти было некуда: было поздно, один за другим гасли в окнах огни, только в комнате Ефима Кузьмича укоризненно светились два окна.

— Я приду к тебе завтра, милый.

— В восемь?

— Лучше в девять. Мне трудно в восемь. До завтра, любимый.

— До завтра, Груня.

— Ты только люби меня.

— Я ли не люблю тебя, Груня!

— А я? Ты не понимаешь, как мне трудно. Я словно по канату хожу. Милый, милый мой, все ради тебя!

— А если все-таки переменить, Груня?

— Молчи, милый. Я же все продумала. Целые ночи думаю. Поцелуй меня еще, Яшенька!.. Поцелуй крепче, чтоб мне не так страшно было домой идти! Не спит он, Яшенька, видишь,— ждет!

Он смотрел, как она шла к дому по мокрому, темному пустырю, натыкаясь на камни и все замедляя, замедляя неуверенные шаги.

9

Давно ли Аня пугалась того, что в цехе все незнакомо — и люди, и невиданно крупные детали будущих машин. Теперь она бегала с участка на участок как дома, здороваясь и переговари-

ваясь с десятками людей, зная, что́ у кого не ладится, почему один мастер ходит веселый, а другой ворчит. К ней все чаще обращались и рабочие, и мастера, и начальники участков:

— Анна Михайловна, посмотрите, что мы придумали...

— Анна Михайловна, а что, если сделать вот так...

Обращались к ней не по обязанности, а по доверию, как к отзывчивому и энергичному работнику «штаба энтузиастов». Но она была инженером и хотела помогать как инженер.

В техническом кабинете, прямо перед ее глазами, висела диаграмма выполнения графика. Получив суточную сводку, Аня втыкала булавку в новую клеточку и радовалась, если черный шнурок неуклонно полз вверх. Но были кривые, которые скакали то вверх, то вниз, как температура малярика. Были и такие, что упорно тянулись понизу, изредка ненадолго подскакивая и опять сползая. Аня заменила некоторые черные шнурки красными, чтобы они издали бросались в глаза.

Одна из таких линий, кричащих о неблагополучии, отмечала ход обработки диафрагм.

Рядом на доске, озаглавленной «Придумай и предложи!», значилась тема: «Рационализация и механизация обработки стыков диафрагм».

Никто еще не взялся за ее разработку. Подумают, вздохнут, скажут:

— Д-да... задача...

И отступятся.

А красная кривая так и маячила перед Аней.

Она убегала в цех и подолгу стояла возле «Нарвских ворот» или возле слесарей, возившихся с диафрагмами последней ступени — теми самыми деталями, что задерживали весь производственный процесс.

Деталь эта имела вид массивного кольца с намертво вваренными в него стальными лопатками.

Аня знала: когда мощные струи пара под сильным давлением ворвутся внутрь машины, ударяясь о лопатки рабочего колеса и приводя его в движение,— на пути пара встанут неподвижные лопатки диафрагм, своими изогнутыми поверхностями давая пару направление на лопатки следующего колеса... и так, подстерегая пар и направляя его от одного рабочего колеса к другому по волнообразной кривой, на всем пути расположатся умные и непоколебимые руководители движения — движения такой лютой силы и скорости, какое не сразу представит себе воображение человека: вырвись на волю такая струя — перережет, как пила, двухдюймовую доску.

Качество диафрагм требовалось безукоризненное — отливку весом в четыре тонны надо было обработать с точностью до десятых и сотых долей миллиметра.

Когда паровоз пригонял в цех платформы с огромными чугунными отливками, рабочие вздыхали:

— Опять наше мученье прибыло!

Мученье было в том, что диафрагмы отливались не целиком, а двумя половинками. Стыки их были не прямыми, а косыми, срезанными под углом, причем на каждой половине они имели наклон в противоположные стороны, что и создавало трудности: обрабатывать приходилось каждый стык в отдельности.

Аня видела, как с помощью мостового крана устанавливали на шестиметровом столе «Нарвских ворот» половину диафрагмы. Деталь была громоздка и неудобна, ее долго закрепляли, прежде чем резец приступал к обработке первого стыка. Затем снова вызывали мостовой кран, поднимали на тросах, переворачивали и устанавливали тяжеленную отливку, без конца выверяя ее положение. И все-таки идеальной точности не получалось. А рядом ждала вторая половина, и с нею возобновлялась та же возня... Это отнимало массу времени, а гигантский уникальный станок использовался крайне непроизводительно.

— Из пушки по воробьям! — ворчали строгальщики.

С каким облегчением выпроваживали они проклятые полукольца, подхваченные тросами крана! А те еще парили в воздухе, медленно приближаясь к участку сборки, когда слесари, завидев их, начинали вздыхать: «Что ты скажешь, опять диафрагмы на нашу голову!»

Слесарям выпадало мучений еще больше, чем строгальщикам.

Стыки «подгоняли» до полной одинаковости вручную. Сойтись они должны были так, чтобы между ними и волос человеческий не поместился. Покрасят слесари один из стыков, сдвинут, багровея от натуги, две половины, потом раздвинут и смотрят по пятнам краски на втором стыке, где какие неровности и отклонения. И так много раз...

— Гляди-ка, еще одна «досадная работа», похуже снятия навалов,— изумился Саша Воловик, присмотревшись к мучениям слесарей.— Неужто ничего нельзя придумать?

Аня так и вцепилась в него:

— Ведь правда же, Александр Васильевич? Возьмитесь! Подумайте!

Он отмолчался, но долго стоял рядом с Аней, приглядываясь к работе товарищей, потом задумчиво повторил:

— Быть того не может, чтоб никакого выхода не нашлось!

Аня понимала, что сейчас Воловик занят своим изобретением, отвлекать его нельзя. Но мысль заронена.

В своей личной тетрадке она записала: «Стыки — Воловик?»

Потом рядом появилась вторая фамилия: «Шикин?» И тоже с вопросительным знаком.

Когда она заговорила о стыках с «тишайшим» технологом, Шикин шепотом признался ей, что уже второй год «болеет» этой темой, но, видимо, не хватает таланта или действительно иного способа нет.

Над Шикиным в цехе подтрунивали — уж очень он был

застенчив,— но Аня успела убедиться, что человек он знающий. Возможно, Гаршин, его шумный начальник, мешал ему развернуться. Добросовестный и скромный, он делал за Гаршина почти всю его работу, оставаясь всегда в тени. Ане рассказывали, что с Шикиным не раз заговаривали о вступлении в партию, но он неизменно отвечал: «Ну что вы, я ж ничего не сделал такого... С чем я приду в партию?» Многие считали его службистом, исполнителем... а человек, оказывается, второй год изобретает!

Она зазвала Полозова и при нем попросила Шикина рассказать о своих исканиях. Полозов был удивлен: Шикин дерзнул?..

— А что вы скажете насчет бригады — Шикин, Полозов, Воловик? — предложила Аня.

— И Карцева! — добавил Полозов.

Ему представилось, сколько долгих вечеров придется маяться, пока до чего-нибудь додумаешься! И Аня будет тут же... причем на этот раз, к счастью, без Гаршина, который вечно крутится возле нее.

Она покраснела, отшутилась:

— Какой я изобретатель!

— Зато вдохновитель,— сказал Полозов.

Они уже ушли, а она еще сидела смущенная, щеки горели. Вдохновитель? Значит, инженером ее никто всерьез не считает? Бегает себе по цеху, суетится, организует учебу и обмен техническим опытом энергичная женщина,— ну и хорошо, спасибо ей, только при чем тут инженер?

Конечно, можно войти в бригаду, а там доказать... но по плечу ли ей эти проклятые стыки? Она поехала советоваться с консультантами в Дом технической пропаганды, побывала на других заводах, изготовлявших турбины,— нет, ничего нового узнать не удалось.

Аня убеждалась: не она одна беспомощна — опытные технологи ни до чего не додумались. Но когда она подходила к строгальщикам или к слесарям, ей было стыдно смотреть на них,— казалось, их глаза говорят ей: чего ты тут вздыхаешь? Тебя пять лет учили, чтобы ты умела помочь. Не умеешь, так проходи мимо, от твоего сочувствия нам не легче!

Она рассказала об этом Гаршину, он расхохотался:

— Вот еще причина для мировой скорби! Что ж тогда мне, старшему технологу,— повеситься? В производстве, Анечка, немало таких паршивых операций, что, как ни крути, изменить их нельзя. А турбины выпускаются, земля продолжает крутиться, и нашего брата из-за такой малости не считают ни невеждами, ни дармоедами.

Войти в бригаду он отказался:

— До того ли мне сейчас, Анечка? Я и так весь в мыле!

Зато Воловик принял ее предложение как нечто само собою разумеющееся:

— Уж прндется, вот только станок докончим. И с самого начала — брнгадой. Неправнльно я работал — в одиночку.

Аня перечеркнула в тетрадке вопросительные знаки, надписала: «Комплексная брнгада». В конце спнска ей очень хотелось приписать: «Карцева». Но не решилась.

Однако в составе бригады, утвержденном начальником цеха, она увидела свою фамилию. Руководнтелем бригады назначался Полозов. Значит, он все-такн включил ее — «для вдохновения»?

В тот вечер, уходя из цеха, она столкнулась с Алексеем у выхода.

— Что это вы так серднто глядnте? — весело спросил он и подхватил ее под руку.— Пойдемте прогуляемся. Голова гудит.

— Не сердито, а... просто вы меня запнхнули в такое место, где я скоро забуду, что я инженер, только и останется вдохновлять других!

Он отстранил ее н вннмательно, с улыбкой поглядел в ее нахмуренное лицо:

— Обиделись?

— Разозлнлась.

Он покрепче взял ее под руку н спокойно повел дальше. Конечно, он думает: блажнт женщина!

— Это хорошо, что вы разозлилнсь,—заговорнл Алексей.— А насчет места — вздор! Если вы действительно инженер, а не барышня с дипломом, вы себя и тут проявить можете, да еще как!

— А я и не собнраюсь опускать руки!

— Тогда в чем же дело?

Помолчав, он сказал:

— А все-такн вдохновлять обязательно нужно. У вас это хорошо получается.

— Почему?

— Ну, это уж я не знаю почему. Такая уродилась, наверно!

Аня молча улыбалась. Злость прошла.

— Шикнн просто влюблен в вас,— продолжал Алексей.— И ваши женские чары тут нн прн чем, не воображайте. Вы в него поверили, что лн, нлн вид у вас такой, будто вы в каждого человека верите, что может ои прндумать такое, до чего ннкто еще не додумался. Правда, это у вас здóрово получается.

Он как будто говорил серьезно, но голос у него звучал, как всегда, немного насмешливо.

— Что ж, буду рада, если под моим влнянием вы придумаете нечто небывалое.

— Но н влияние должно быть под стать! — сказал Полозов.

Они, не сговариваясь, пошли по центральной заводской аллее — длннной н сумрачной. В это время по всей территории завода вспыхнулн фонарн, желтые отсветы леглн на аллею, н показалось, что она качается,— тени голых деревьев, раскачиваемых ветром, моталнсь под ногамн.

— Я сейчас, кажется, понесу ересь,— вдруг сказал Алексей.— Но раз уж подумал, скажу. Поиимаете, когда женщиих работает где-либо... иу, хотя бы н иа пронзводстве... все равио она, во-первых, женщииа, и у иее есть такне средства воздействня... Не раскрывайте так уднвлеиио глаза, это еще только начало. Так вот, она обязательио должна вдохиовлять. Обязательно! Ведь у каждого человека есть самолюбне, а если женщииа ждет от тебя чего-то большого, самолюбие разыгрывается. И тогда человек может сделать все на свете... Ну что, ересь?

— Как бы там ни было, учту.

— Это я вовсе не только о вас говорю.

— А я вовсе не только на себя прииимаю такую страшную ответственность! Поставить, что ли, на собраинн вопрос о том, как выполняют жеищины эту свою роль? С докладом Кати Смолкииой, а?

— Смейтесь, смейтесь! Может, это звучнт и смешио. А только каждая женщииа, если она настоящая женщнна, в глубине души сама поиимает это. И использует. Что, не так?

Аия с любопытством взгляиула на иего:

— А ваше самолюбие разыгралось... ну хотя бы с этими стыками?

Ои вдруг решительио увлек ее вперед, к большой луже, и оии вместе перескочили ее.

— Ишь ты! А я думал, не перескочите н вляпаетесь в лужу,— сказал ои.— Так бы вам н надо, не кокетничайте н не будьте чересчур любопытны!.. А в бригаде по стыкам, Аня, вам обязательио иужио поработать.

Оии уже вышли на проспект, когда Аня со вздохом прнзиалась:

— Не знаю, Алеша, н хочется н боюсь. У меня ведь тоже есть самолюбне. И мне трудно. Я очень ие увереиа в себе.

— А я думаю, только болтуны н пустозвоиы вполие уверены в себе. Вроде Бабнмкова,— ответнл Алексей н дружески пожал ее пальцы.— Ннчего, Аня, вы только не робейте!

Сидя в своей одииокой комиате, Аня то и дело улыбалась, вспоминая прогулку с Алексеем. Славный он. Но разве я с ним кокетничала?

Весь день Аия мысленно рнсовала себе эти злосчастные косые стыки и старалась понять, какнм путем следует ндти, чтобы прндумать новый, более простой способ нх обработки.

Но жнзнь ворвалась в ее планы и надолго отвлекла ее.

После работы к ией забежал Воробьев:

— Пойдемте, Анна Мнхайловна, на каруселн. Торжуев-то вышел, Ерохииа опять на обднрку вернулн! Расстроен он... прямо лнца иа нем нет!

Когда онн подошлн к каруселям, возле одной похажнвал

Торжуев, зажав в зубах затейливую трубочку, а возле другой в глубокой задумчивости сидел Ерохин. На планшайбе торжуевской карусели вызывающе вертелась махина цилиндра, а на планшайбе ерохинской карусели уныло кружилась половина обоймы, и резец, со скрежетом вонзаясь в металл, обдирал с нее толстую стружку. Между двумя карусельными станками, как воплощение начавшейся борьбы, громоздилась еще одна отливка цилиндра, предназначенная для второй турбины и привезенная на черновую обработку. Эта махина, тусклая, с рыжими пятнами, была похожа на обычный печной горшок, но горшок таких размеров, что только сказочным великанам впору варить в нем свою великанскую похлебку.

Заметив, что за его работой наблюдают, Торжуев особым, щегольским движением вскочил на быстро вращающуюся планшайбу; перебирая ногами, добрался до цилиндра, ухватился за него, заглянул внутрь и, сделав вместе с ним несколько кругов, с таким же щегольством оторвался от цилиндра и боком соскочил с планшайбы. Проделав этот запрещенный правилами безопасности номер, Торжуев зевнул, скосил глаза на Воробьева и Карцеву и с ухмылочкой сказал:

— Как в цирке. Только кресел нету.

— Спектакль не особо интересный, Семен Матвеич,— отозвался Воробьев.— А с выздоровлением поздравляю!

Ерохин вскочил, увидав Карцеву с Воробьевым, и пошел им навстречу, пренебрежительно бросив Ване Абрамову:

— Приглядывай!

После двух дней, проведенных на чистовой обработке цилиндра, ему казалась оскорбительной грубая работа по обдирке. Она была легка и выгодна, но не легкости и не выгоды Ерохин искал. Вид у него был как раз такой, какой в просторечии называется «человек не в себе».

— Ну как? — спросил Воробьев.

— За вчера сработал сто восемьдесят процентов!

— Это о Торжуеве,— объяснил Ане Воробьев.

— Конечно, я не против,— добавил Ерохин,— для того и говорили с ним... Оно даже хорошо...

Но Аня поняла, что именно из-за этого Ерохин «не в себе».

Накануне Ерохин пришел в вечернюю смену — сменять старика Белянкина. Белянкин позволил ему приступить к работе, но в последнюю минуту возле карусели появился Торжуев; как хозяин, остановил станок, осмотрел, что сделано за время его отсутствия, сквозь зубы сказал:

— Слава богу, ничего не напороли,— и, держась вполоборота к Ерохину, снисходительно промолвил: — Что ж, приятель, возвращайся на свою.

Пришлось возвращаться... Ваня Абрамов с обидою спросил:

— Неужто вам и следующий цилиндр не дадут? Значит, «тузам» так и будет предпочтенье?

Ерохин пошел к Ефиму Кузьмнчу:
— Дайте нам с Лукичевым следующий цилнндр.
— А справитесь?
— Справимся.
Ефим Кузьмич поглядел на Ерохнна, на Торжуева, на отливку, стоявшую на рубеже между двумя каруселями:
— За сколько дией?
Ерохин прикинул и сказал:
— Трое суток с половииой.
Ефим Кузьмич подошел к Торжуеву с тем же вопросом. Из года в год Торжуев и Беляикин выполняли эту работу за четверо суток, ио иа этот раз Торжуев поразмыслнл, оглянулся на Ерохина и тоже сказал:
— Трое суток с половиной.
Ефим Кузьмич вернулся к Ерохину:
— И он за столько же берется. Значит, вам перекрыть надо. Ведь они сколько лет работают!
Помолчав, ои дружески посоветовал:
— Не расстраивайся, парень. Кончите обоймы — поставлю вам цилиндр на обдирку. Присмотритесь, подумайте. Браться надо иаверияка, чтоб конфуза не вышло.
А Торжуев отлично понял, что прошло то время, когда перед ним шапку ломали: «Семен Матвеевич, возьмитесь!» — Ерохин справлялся с работой не хуже его. Но кто мог запретнть Торжуеву работать во много раз лучше, чем до сих пор? Уж если дело пошло иа спор, ои им покажет!
И Торжуев показал.
Работа иа карусели — внешне спокойная, медлительная работа. Пока станок идет самоходом, карусельщик подолгу сидит, ничего ие делая. Вращение широкой круглой площадки — плаишайбы — даже при больших скоростях не производит впечатления очеиь быстрого. Но опытному глазу карусельщика доступио то, что неуловимо для постороннего, и Ерохии скоро приметил, что сосед работает в ином темпе, чем обычно. Сегодня он узнал, что Торжуев, впервые за время работы в цехе, выполнил вчера сменное задание на сто восемьдесят процентов.
Обо всем этом он и рассказал Карцевой.
— Так это же очень хорошо! — сказала Аня.— Победить ленивого — мало чести, а работы всем хватит, верно? Ефим Кузьмич прав: вам надо перекрыть умением, выдумкой, знанием. Готовы ли вы к этому?
— Я уже прикидывал,— успокаиваясь оттого, что есть с кем поделиться мыслями, сообщил Ерохин.— За два дня утвердился — не подведу, сработаю цилиндр не менее качественно. И Лукичев не подведет. Никаких тайн у них нет, одно самомнение и репутация.
— Репутация — дело наживное,— вставил Воробьев.
— Наживное,— согласился Ерохин.— От них мы не отста-

ием. А вот перекрыть... По чести скажу, в равных условиях нам их ие перекрыть. Вот ои гоиит иа скорость, чтобы своего не упустить. Пошевеливаться стал. И мы можем пошевелнться. А только присмотрелся я и вчера и сегодия: что можио выжать в этих условиях, то ои и выжимает. Выходнт, условия менять иужио. А как?

Воробьеву иравилось и дурное настроение Ерохииа, и его прямое призиаиие: если человек отдает себе отчет в трудиостях, можио ждать толку. Зато Аия, как и всегда в тех случаях, когда рабочий что-либо обдумывал и ие мог додуматься, чувствовала себя прескверио.

— Что ж, Яков Аидреич, на ходу ничего ие решишь,— сказала оиа.— Я остаиусь тут, присмотрюсь.

Оиа провела около часа возле Ерохина, незаметио для Торжуева иаблюдая за его работой, потом подошла к торжуевской карусели и, уже ие таясь, остановилась возле нее.

Цилиидр стоял иа подпирающнх его кубарях своей узкой частью. Аия зиала, что поздиее его перевериут, чтобы расточить иижиее отверстие, ио сейчас этот великанский печиой горшок стоял так, как и полагается горшку, и где-то виутри иего резец аккуратио и точио сиимал стружку, сииими спиральками выскакивающую между кубарямн. Работа шла одиим резцом, второй суппорт был отодвииут в сторону н вобрал в себя колоику, регулирующую глубииу резаиия, будто говорил: не иужеи вам — и не иадо, подожму иогу и отдохиу!

— Интересуетесь, барышия? — с самым вежливым видом спросил Торжуев.

— Не барышия, товарищ Торжуев, а Карцева, Аииа Михайловиа,— строго поправнла Аия и спросила, сдвииув брови: — Почему работаете одиим резцом?

Торжуев с улыбкой развел руками:

— Да когда же цилиидр двумя обрабатывали? Расшатает всего. Пробовали как-то давио — чуть цилиидр ие запороли.

С утра Аия зашла в другие цехи, где былн карусели, ио иичего похожего иа цилиидр там ие иашла. Из бесед с карусельщиками оиа устаиовила одио: повышать скорость можно только в том случае, если деталь удобио стоит иа плаишайбе, жестко укреплена и ие будет вибрировать. Двумя резцами работают тогда, когда деталь широкая и плоская; высокую деталь, да еще на узком осиоваиии, будет «шатать».

Оиа рассказала Ерохиву об этом выводе.

— По технологии тоже так выходит,— сказал Ерохии.— Да ведь мало ли мы зиаем случаев: сегодия техиология такая, а завтра по-иовому придумают и технологию пишут иовую.

— Вот что,— решительно сказала Аия.— Как получите цилиидр, давайте усилим крепление и попробуем двумя резцами.

В середиие смеиы Ерохии кончил обработку обоймы. Краи

поднял и с предосторожностями опустил на планшайбу отливку цилиндра. Аня была тут же, она приглядывалась, как Ерохин с подручным закреплял отливку тяжелыми подпорами и болтами. Подпоры густо окружили цилиндр, гораздо гуще, чем у Торжуева, болты закручивались до предела, прижимая их к бокам отливки.

— Значит, пробуем двумя резцами,— выжидательно сказал Ерохин.

— Обязательно! — подбадривающе ответила Аня.

Ваня Абрамов подогнал оба суппорта к середине траверзы. Он не знал о замысле Ерохина и Карцевой, но ему передалось их настроение, он с торжественным видом крутил маховики.

Подошел Ефим Кузьмич, покачал головой и остался возле карусели.

Тихо тронулась планшайба. В два голоса басовито запел металл под резцами.

Ерохин, Ефим Кузьмич и Аня не спускали глаз с вращающегося цилиндра: как он себя поведет?

Пряча усмешку, издали наблюдал и Торжуев.

Аня видела, что и Ерохин и Ефим Кузьмич прислушиваются, вытянув головы, к гудящим басам. Она тоже прислушалась, но басы ничего не говорили ей. А Ефим Кузьмич насторожился, приложил ладонь к уху, чтоб лучше слышать, рот его приоткрылся — вот-вот тревожно вскрикнет...

Ерохин вдруг остановил карусель. Лицо его было бледно.

По его безмолвному приказу Ваня Абрамов, стоявший на мостике, завертел маховик, и один из суппортов стал вбирать в себя колонку, вобрал ее до конца и медленно отъехал в сторону.

Снова закрутилась карусель, снова запел металл — уже не в два, а в один голос. Суппорт, отведенный в сторону, отдыхал, поджав ногу, и словно дразнился: а я безработный, а я безработный!

— Ничего тут не сделаешь,— со вздохом сказал Ефим Кузьмич и, помявшись возле карусели, огорченно зашагал прочь.

Торжуев, очень веселый, что-то напевал себе под нос.

— Значит, надо придумать новое крепление,— бодрым голосом сказала Аня.— До чистовой время еще есть. Придумаем.

Ерохин попросил с полным доверием:

— Вы только не отставайте от этого дела.

— Нет, конечно.

С этого часа, чем бы она ни была занята, мысли ее все время возвращались к карусели. Останавливаясь у разных станков, она подолгу рассматривала крепление деталей, больших и малых, так что различные болты, угольники и скрепы стали мелькать перед ее глазами и дома, и даже во сне.

Ерохин кончал обдирку.

Стенки цилиндра, еще недавно шершавые, тусклые, с зернами прикипевшей формовочной земли, приобрели стройную округлость и синеватый блеск. Это не была еще та внутренность цнлиндра, какою видят ее сборщики на стенде,— то был лишь первый черновик будущего цилиндра, н предстоял ему еще немалый путь — то по воздуху, то по платформе — от одной операции до другой, долгий, тяжкий путь, во время которого двадцатнтонная отливка потеряет около трети своего веса, постепенно соскальзывающего с нее многоцветнымн витками стружек.

Много раз попадает она на простор разметочной плиты, покрываясь меловыми кружками и линнями, превращаясь в овеществленный чертеж. Строгальщики, расточники, сверловщики, слесари докончат овеществление чертежа: каждый кружок станет отверстием, каждая линия — блестящей плоскостью, углублением нли ободком.

Десяткн рук будут вновь и вновь замерять каждую ее грань, каждое отверстие — сперва самыми простыми, потом самыми сложнымн н точными инструментамн и приборамн. Она посветлеет и похорошеет, все ее формы определятся — уже не грубая отливка, а точнейшее изделие человеческого мастерства! И вот тогда-то, перед концом пути, почтн завершенный цилиндр вновь проплывет над цехом и опустнтся на одну из двух каруселей для самой главной, наиответственнейшей чистовой обработки.

На какую из двух он вернется?

Ане казалось, что именно от нее это завнсит.

Кран подошел к ерохинской карусели и прнспустнл тяжелый крюк, похожий на якорь. Рабочне охватывалн цнлиндр стальными тросами. Аня стояла сбоку, еще и еще раз вглядываясь в его очертания.

За что уцепиться дополнительному креплению?

Великанский горшок сопротивлялся любому ее замыслу — замыслы будто скатывались по его округлым бокам. Только на одном боку находилось большое фигурное отверстие, к которому Аня снова и снова приглядывалась.

Фланец?..

Вот рабочне пропустили трос в фигурное отверстие.

Но на вращающейся планшайбе это отверстне нн с чем не сцепншь. Разве что с самой планшайбой... но как?

И вдруг она ясно представила себе как. Большой, тяжелый угольник, такой большой, чтобы один его конец прижать к отверстию и намертво скрепить с ним болтамн, а другой положить на планшайбу вплоть до ее края и тоже закрепить намертво... Какую новую жесткость это придаст громоздкой отлнвке!

Она, как девчонка, во весь дух побежала к Полозову:

— Алеша!.. Алексей Алексеич!..

Она рассказывала захлебываясь·
— Если найдем угольник таких размеров, я ручаюсь..
Полозов взял телефонную трубку, назвал номер, с шутливой серьезностью сказал Ане:
— Как можно доверять ручательству инженера, у которого так мало солидности? Небось через три ступеньки бежали?
И в трубку телефона:
— Выручай, дружище. Нам срочно нужен большой угольник, примерно два метра на два. К вам зайдет инженер Карцева Пошуруй там у себя, ладно?
Опустив трубку на рычаг, он буднично сказал Ане.
— Цех металлоконструкций знаете? Идите к начальнику, поищите у них, в крайнем случае закажем
И на прощанье, взяв Аню за руку:
— Только отдышитесь сперва Как никак, идете представите лем ведущего цеха!

10

Когда Николая позвали к телефону в конторку мастера, он помчался бегом, втайне надеясь, что звонит Ксана, но услыхал приглушенный мужской голос:
— Поздравляю тебя, Николенька. Очень за тебя рад.
Еще разгоряченный этим бегом и только что закончившимся митингом, где он принимал переходящее Красное знамя, Николай присел на табурет, растерянно косясь на зажатую в руке трубку Он не узнал голоса, но понял, кому он принадлежит.
— Что ж, сынок, вот ты и стал настоящим человеком.
— Стараюсь быть,— сказал Николай тем суше, чем отчаяннее сжималось у него сердце от любви и горечи.
— Ну, желаю тебе успехов.
Чувствовалось, что отец хочет сказать еще что-то и не решается.
— Как учишься, Коля? — наконец с усилием спросил он.
— Хорошо,— чужим голосом ответил Николай, от волнения ничем не помогая отцу.
Еще несколько минут длилось выжидательное молчание, потом в трубке прозвучал щелчок разъединения.
«Что он хотел еще сказать? — думал Николай, в группе товарищей по бригаде выходя из цеха.— Сколько времени не встречались, а тут сразу: «Сынок!» А все эти годы что же?.. Ни разу ведь не вспомнил, что у него сыновья...»
Обгоняя дружную группу пакулинцев, пронеслась мимо ватага подростков. Они паясничали, свистели и срывали друг у друга кепки. Кешка Степанов забежал вперед — одна кепка, козырьком назад, на голове, и еще по кепке в каждой руке,— низко поклонился, размахивая ими наподобие того, как рыцари размахивали шляпами, и громко выкрикнул:

— Аристократам нижайшее почтенье!

— Дурень,— беззлобно сказал Николай.— Работай хорошенько, таким же будешь.

— Где уж нам уж, со свиным рылом да в калашный ряд! — паясничая, ответил Кешка, шлепнул ногой по луже, норовя обрызгать грязью «аристократов», и со всех ног понесся прочь, чтобы избежать подзатыльника.

— Вот ведь дурень,— повторил Николай, морщась.

Разговор с отцом и глупая выходка Кешки омрачили его настроение. А может быть, всему виной было то, что Ксана не пришла на митинг и даже не позвонила. Что ей стоило протянуть руку к телефону и произнести несколько дружеских слов?

— Вы идите, ребята, мне в комитет нужно,— сказал он, надеясь, что Ксана зайдет в комсомольский комитет. Но и в комитете ее не было. Поболтавшись там с полчаса, Николай решился уйти с завода, да так и замер на пороге проходной.

Напротив ворот, на скамейке, утонувшей ножками в большой луже, сидела Ксана и читала книгу, нисколько не смущаясь тем, что ее ботики в воде. На ней была маленькая шляпа, удивительно красившая ее, и широкое, с большими карманами пальто, которое очень нравилось Николаю,— Ксана носила его с таким свободным изяществом, как ни одна девушка. Но что она здесь делает и кого ждет?

— Ты утонешь, Ксана,— сказал Николай, смело шагнув в лужу.

Ждала ли она кого-нибудь или нет, но Николаю она обрадовалась и охотно согласилась немного пройтись.

Николай взял Ксану под руку, чтоб удобнее было оберегать ее от луж и от ручейков талого снега, преграждавших путь то тут, то там. Ксана не любила смотреть под ноги и шагала беспечно, улыбаясь солнышку, которое то пряталось, то выглядывало на нее из-за облаков. Ей очень шло, когда она жмурилась от солнца,— она становилась проще.

Николай рассказывал ей о митинге и о том, как он принял знамя и пронес его по цеху к участку своей бригады, и, рассказывая, пережил заново все торжество, но теперь гораздо ярче, потому что рядом была Ксана. Она припомнила, как сама радовалась знамени и как ей было обидно, когда знамя отвоевала у нее другая бригада.

— А я его не выпущу,— сказал Николай.

— Ну-ну! Так всегда думают!

Она покосилась на него и заметила:

— А ты какой-то новый стал.

— Какой же?

— Не пойму. Солидный, что ли... Это на тебя успехи так подействовали?

— А что ж? Я этого так долго хотел... и вот — добился!

Ксана помолчала и спросила:

— А это бывает — чувство, что добился всего, чего хотел?
— Не лови меня на слове. Не всего, конечно... но я ужасно доволен.

Он слегка прижал к себе ее руку, а она ласково улыбнулась и сказала, что тоже очень довольна, но при этом слегка отстранилась.

— Знаешь, чего я сегодня хотел больше всего? — спросил он, снова слегка прижимая к себе ее руку.

— Откуда же я могу знать?

— Чтобы ты меня поздравила.

— О-о! — протянула Ксана, еле заметно отстраняясь, затем просто объяснила: — Я бы позвонила, если бы знала, что тебя позовут, но ведь у вас был митинг.

Это она умела — самый волнующий разговор повернуть так, что он становился обыкновенным товарищеским разговором.

— А ты об этом подумала?

— Ну конечно. Как же не поздравить победителей!

— А-а! Тогда не поздно. Можешь послать приветственную телеграмму в адрес бригады и подписаться: «Депутат горсовета Белковская». Мы ее подошьем к делу. Вклеим в альбом.

Они шли по саду, расширенному в последние годы в честь победы. Молодые деревца торчали из снега и воды, растопырив черные, набухшие от влаги подстриженные ветви.

— Но ты же знаешь, Коля, что я очень рада за тебя. Ведь я потому и ждала...

Словно испугавшись собственных слов, она быстро свернула к рощице молодых березок.

— Это наш цех сажал,— сказала она.— Мы обязательно хотели березки. Говорили, они плохо приживаются, а ведь прижились! И как же они хороши тут!

Она сама была очень хороша в эту минуту среди тоненьких белых стволов — такая же стройненькая и юная, с очень светлым лицом и выражением хозяйского внимания к тому, что окружало ее.

— Какая ты сейчас! — воскликнул Николай и шагнул к ней. Трепетные, изумительные слова звучали в его душе, но как трудно было выговорить их! «Сейчас скажу... скажу...» — думал он, с радостным удивлением вглядываясь в ее изменившееся, смущенное и оттого еще более прекрасное лицо.

Но он так и не сказал ничего.

С громким смехом на дорожку выбежала крохотная девочка в красном капоре, с развевающимися светлыми кудрями. Видимо, от кого-то убегая, она быстро-быстро перебирала толстыми ножками в белых рейтузах и смеялась от удовольствия.

— Какая славная!..— сказала Ксана и вдруг осеклась, даже побледнела: догоняя девочку, на дорожке появилась Лиза Баскакова. Лиза весело кричала:

— А вот я тебя догоню! А вот я тебя догоню!

С горделивой улыбкой матери, знающей, что ее ребенок хорош, она взглянула на Ксану, узнала ее и оживленно поздоровалась с нею, не обращая никакого внимания на Николая,— да и вряд ли она запомнила его в тот вечер, когда ворвалась к ним на кухню и, захлебываясь, кричала: «А мне куда ребенка девать? Душу свою куда девать?»

— Такая шалунья, прямо беда! — с восторженной улыбкой говорила она теперь, как бы приглашая Ксану восторгаться вместе с нею.— Конечно, мы ее балуем немножко... Так ведь она у нас одна...

Николай отвернулся.

— Как бы она на улицу не выбежала,— напряженным голосом сказала Ксана.

Баскакова побежала догонять девочку.

Николай смотрел им вслед.

— Пойдем, Коля,— шепнула Ксана и сама взяла его под руку.

За молодыми березками все еще мелькал красный капор девочки и звенел ее смех. «Моя сестра... это моя сестра»,— думал Николай, позволяя Ксане вести себя.

— Ты ее впервые видишь, Коля?

Услыхав голос Ксаны, он с нежной признательностью ощутил, что она, любимая, рядом и что она ведет его, вдруг ставшего беспомощным. Он стиснул ее руку и сказал:

— Да. И это... это очень трудно. Отец сегодня звонил мне. Поздравлял. А я... Понимаешь, хочу ответить, а горло сдавило.

Она не отстранилась на этот раз.

— Я понимаю. Трудно... Только я бы, наверно, поступила иначе. С самого начала. Впрочем, не знаю. Со стороны всегда кажется проще.

Он не знал, как объяснить ей все, что мучило его, и промолчал.

— А я своего отца и не помню. Я вот такая маленькая была, когда он умер. С семи лет в детском доме росла. Маму еще немножко помню, а отца нет. И, кажется, если бы мне сейчас сказали: «Жив твой отец»,— я бы к нему бегом бежала хоть тысячу километров!

Николай еще крепче и нежнее сжал ее руку. Никогда он не задумывался, есть ли у Ксаны родители и где она росла, всегда она представлялась ему существом из своего, но все же какого-то самого светлого и высокого мира. А сейчас почувствовалась простой, понятной...

Но в это время Ксана задумчиво сказала:

— А ведь он хороший человек, твой отец.

И Николай весь сжался, будто его ударили.

Вот это и мучило его больше всего. На заводе хорошо знали и уважали Пакулина-старшего, хорошо знали и уважали Лизу Баскакову. Все уже привыкли к тому, что они муж и жена, дружная пара, и не понимали, как обижен и оскорблен Николай

за мать, за себя, за брата, потому что ои-то помиил другую дружную пакулиискую семью, и эту семью разрушила Лиза. Когда мать и оба мальчика поступили на завод, их жалели, а Пакулииа-старшего и Лизу осуждали, ио постепенно все забылось, а теперь братья Пакулины уже подросли и вышли в люди... Как будто в том дело, что они больше не нуждаются! Как будто ои, Николай, ждал от отца деиег или хозяйствеииой заботы, а не того огромного, радостного и неиспытанного, что иесет с собою отец для подрастающего сыиа!

А Ксаиа, как и миогие другие, считала Лизу передовой женщиной и хорошей подругой для Петра Пакулина, поэтому склоина была думать, что первая жена была отсталой женщииой, и, зиачит, как это ни печально для братьев Пакулииых, разрыв был естествен. Откуда ей знать, что мать совсем не такая, что даже Гусаков становится при ией кротким, что даже вещи вокруг нее выглядят иными, лучшими? Этого не видел, ие поиимал отец. И, должио быть, этого не разглядела, ие поияла Ксана в тот воскресиый день, когда зашла к ним и позиакомилась с его матерью.

Сам страдая от возиикшего чувства отчуждениости, Николай сказал, что ему пора домой — готовиться к докладу в молодежиом общежитии. Ему хотелось, чтобы Ксаиа удержала его каким-иибудь сердечным словом, ио Ксаиа охотио подхватила товарищеский тои, и вот она уже исчезла в темиой глубиие парадиого, а Николай остался одии в самом смятеиии состояиии духа. Неужели два часа назад все было так хорошо?

11

Над цехом нависла беда, перед которою потускнели все прежние. Испытания регулирующего устройства показали, что этот важиейший аппарат — органы чувств и мозг турбины, ее чуткий и распорядительный хозяин — работает иеустойчиво и иеточио откликается иа показания.

Откуда произошла беда — допущеи ли просчет в конструкторском бюро, или ошибка иезаметно вползла в рабочие чертежи, или же в самом цехе по иедосмотру пропустили брак,— это еще предстояло установить. Коиструкторы и производственники иабросились иа разобраиный аппарат, на расчеты, иа чертежи, уже не думая, кому отвечать и кому краснеть,— лишь бы обнаружить ошибку.

В эти дии во всем громадном цехе царила тревога. Невелик был круг людей, непосредственно связаииых с работами по регулятору, каждый участок решал свои задачи, требующие полиого напряжеиия сил. Обычио казалось, что участки живут достаточио разобщенно. Но вот возиикла беда — и веяиие беды затроиуло всех.

А срок сдачи первой турбины приближался, и никогда еще не было так страшно неотвратимое движение времени,— час за часом съедали день, и еще день, и еще день, а ошибка по-прежнему не была найдена.

Никому не доверяя, Любимов сам руководил проверкой своего аппарата. Тут в полной мере сказались и его превосходное знание всех механизмов турбины, и солидный опыт, и понимание всех особенностей производства. Но аппарат во всех его деталях был сработан на совесть, и Любимов был очень горд, когда смог уверенно заявить:

— Вина не наша!

Круг поисков все суживался и наконец замкнулся на конструкторском бюро. Именно там, в самой конструкции узла регулирования, в теоретических предпосылках или технических расчетах — где-то, в чем-то, то ли в принципиальной схеме, то ли в одной из многочисленных деталей — была допущена маленькая или большая, но ошибка.

Пока Котельников со своими конструкторами докапывался до этой ошибки, Любимов напористо подтягивал отстающие узлы и детали, чувствуя невольное облегчение от естественной, не по вине цеха возникшей отсрочки сдаточного испытания турбины.

Наступил период, когда, по выражению производственников, механики «сваливаются с машины», а на первый план выступают сборщики и испытатели.

По-прежнему, приходя на работу, рабочие касались на разобранный регулятор и спрашивали: «Ну что, не нашли?» Но жизнь цеха шла своим чередом, со своими треволнениями и радостями.

Удивительным событием была перемена, происшедшая с Торжуевым: со дня своего выздоровления он неизменно перевыполнял норму — иногда на восемьдесят процентов, иногда и вдвое. А с Белянкиным рассорился насмерть, так что всем стало ясно: именно старик был заводилой прежней, торгашеской политики «тузов».

Воробьев как-то сказал: позорит Белянкин старую гвардию. На него набросились все цеховые ветераны.

— Да разве мы его когда считали своим? — кричал Гусаков.— Про него, если хочешь знать, в самом «Кратком курсе» есть специальные слова на сто семьдесят второй странице,— я, брат, красным карандашом отчеркнул и приписал: «Белянкин!» В первую империалистическую из дамских сапожников на завод подался, чтоб от фронта спастись! А как он в тысяча девятьсот шестнадцатом году держался? Ежели забастовка, юлит туда-сюда, перед начальством выслуживается, но и против рабочего люда не попрет: страшно. У него отродясь совести не было!

— А после революции? — подхватила Катя Смолкина.— Укатил в деревню и отсиделся аж до самого нэпа, а в нэп вернулся и вот тут, где нынче пустырь, в собственной халупе мастерскую

открыл. Сама к нему бегала простые туфли обращать в лакированные. А потом почуял, что поворот в другую сторону, и на завод, социальное положение исправлять.

— Это точно,— подтверждали другие.— У него и Торжуев начинал сапожным подмастерьем, из деревни был выписан!

— А в эту войну? Смылся опять в деревню и кустарил там до самого Дня Победы! Другие оружие ковали, а он сандалетами на рынке торговал! Этот божий старичок себя не забудет!

Белянкин аккуратно вырабатывал свою норму, придирчиво проверял записи в расчетной книжке, чаще, чем раньше, вздыхал:

— Я бы рад помочь... да силы уже не те...

— Душа у него не та,— с сердцем говорил Ефим Кузьмич.

А Торжуев «гнал» выработку и заносчиво похвалялся:

— А ну-ка, пусть христосик за мной угонится!

Ерохину передали слова Торжуева, но он только усмехнулся:

— Что ж, со злости или из амбиции, а работает по-стахановски, это нам и требуется.

Теперь он не волновался из-за успехов Торжуева, а напряженно готовился к решающему состязанию. Заявление мастеру и начальнику цеха было уже сделано: беремся обработать цилиндр второй турбины за трое суток.

Торжуев узнал об этом и сказал Ерохину:

— Смотри, парень, запорешь, потом век не расквитаться будет.

— Не запорю, Семен Матвеевич, а только говорю вам: и вы начнете в трое суток справляться, если чужим опытом не побрезгуете.

— Мне опыта занимать не нужно, своего хватает.

Массивный угольник был уже доставлен из цеха металлоконструкций. Технологи подсчитали, какую дополнительную жесткость придаст цилиндру новое крепление, предложенное Карцевой, и благословили карусельщиков на обработку цилиндра двумя резцами.

А цилиндр путешествовал по цеху, и Ерохин с Лукичевым следили за ним нетерпеливыми взглядами: вот он лежит у слесарей, разъятый на две половины, слесари устанавливают в нем паровые коробки... вот вспыхивают зарницы электросварки — то приваривают коробки к цилиндру...

Потом цилиндр погрузили на платформу и надолго увезли в термический цех. Посадят его там в огромную печь, пышущую жаром, будут нагревать до 600—650 градусов, а затем медленно, постепенно охлаждать.

Ерохин и Лукичев не теряли времени. Карцева доставала им брошюрки о передовом опыте лучших станочников города, и они читали вечерами, выискивая там все, что может пригодиться. Съездили в Дом технической пропаганды, где Карцева устроила им консультацию и встречу с несколькими карусельщиками других заводов.

А цилиндр тем временем сиова приехал в турбииный цех н зигзагами приближался к каруселям — вот ои восседает на разметочиой плите, весь испещреииый зиаками, вот ои иа столе «Нарвских ворот», вот проплыл иад головой к сверловщикам, вот ои опять у слесарей, и слесари сцепляют две его половины десятками массивных «шпилек» — каждая пуда полтора весом...

Все нетерпеливее поглядывали на иего Ерохии и Лукичев, н все тревожнее следил за инм н за соседями Торжуев. С интересом ждали решающего дия и Карцева, и Полозов, и Ефим Кузьмич, и Воробьев, да н всем рабочим участка было любопытно, кто пересилит. Мастнты «тузы», да ие век им нос задирать перед молодежью!

Молодежь в эти дни была особенно приметна, о ней и старикн, и иачальинки отзывались с почтеиием, хотя порой и покрякивали,— уж очеиь настойчива да въедлива!

Любимов звоиил в кузницу, боясь, что оиа задержнт заготовки.

— Не беспокойтесь, Георгнй Семеиовнч,— отвечали из кузиицы,— контрольиый пост н так дыхиуть ие дает! Сейчас отгружаем партию.

Любимов звоиил в иеструмеитальиый цех, чтобы проверить, будут ли к утру новые резцы и сверла.

— Фу ты, до чего дотошный иарод! — крнчал Евстигиеев.— Вы молодежь так взбаламутили, что по всему цеху звон! — Засмеявшнсь, Евстигиеев с удовольствием добавил: — Представьте себе, Георгий Семеиовнч, в траиспортном отделе и то комсомол нашелся или старики омолодились. Сами иабиваются отгружать да вам возить!.. Ну, а как мой Воловик? — спроснл он, мрачнея.— Говорить бы мне с вами ие следовало, так я на вас зол!

Неделю назад Любимов сказал бы, что охотно отдаст Воловика обратио, ио сейчас он иаставительно произиес:

— Поддерживать иадо рабочих-изобретателей, дорогой товарнщ, поддержнвать, а ие палки в колеса ставить им! Вы еще услышите, что может сделать изобретатель, когда попадет в хорошие руки.

Бригада, созданиая по настояиию Днденко, закаичивала работу иад стаиком. Любимов вызвал бригаду к себе и рассмотрел чертеж станка. И в самом деле, до чего просто и хорошо!

— Кончайте, Александр Васильевич,— сказал ои, пожнмая Воловику руку.— В случае успеха гарантнрую вам крупную премию.

— Спасибо,— неловко кланяясь, пробормотал Воловик и подумал о том, как обрадуется Ася. Но тут же на иего иахлынули заботы, заинмавшие его гораздо больше, чем любая премня.

— Мне бы Жеию Никитниа в помощь иа деиь, иа два,— попросил он.— К послезавтрему, думаю, закончим!

— Берн Нпкнтииа. Может, еще что нужно?

Теперь Любнмов готов был отдать не только Никтнна — хоть целую брнгаду! Опять «гостнли» в цехе слесарн из другнх цехов, прнсланные снимать навалы вручную. Восемьсот рабочнх часов предстояло им отработать, прежде чем ротор сможет отправнться на центральную сборку...

И вот Любимова вызвалн иа участок:

— Начинаем!

Днденко был уже там. И Карцева, н Гаршин, и много рабочих, узнавшнх о торжественной минуте.

Подцепив легкнй и с виду очень простой стаиочек крюком небольшого крана, Воловик перенес его на плнту, к установленным на ней облопаченным дискам.

— Заметьте время,— сказал Воловнк.

Он повернул рукоятку — и станок пришел в двнжение. Шлнфовальный круг плавио провернулся и завертелся. Установленный под иужным углом, ои послушно вошел в зазор между лопаткамн и легко, как-то незаметно, будто н ие касаясь острых ребрышек лопаток, стал скользить над ннми, подравннвая их с механнческой точностью.

— Ох н чешет! — прошептал однн нз слесарей.

— Конец досадной работе! — так же шепотом ответнл другой.

А круг скользнл н скользил, слнзывая лншнне наросты металла, н там, где он прошел, можно было провести, не зацепнв, тонкую ннть.

Когда круг остановнлся, Ефим Кузьмнч замерил несколько лопаток н восхнщенно сообщил:

— Тютелька в тютельку, ие прндерешься!

А Воловнк молча направлял вращающийся круг между рядамн лопаток, улыбка только на мнг блеснула в его глазах, губы былн по-прежнему крепко сжаты, н все мускулы напряжены. Пройдя последний ряд, он выключнл станок и просто сказал:

— Все. Который час, товарнщн?

За сорок ми議ут вся работа по снятню иавалов была закончеиа.

Когда немного ошалевшнй от поздравлений Воловнк краном отвел стаиок на место, Днденко сказал Любнмову:

— Ну вот, Георгнй Семенович, одной заботой меньше н восемьсот рабочнх часов долой. Слесарей-то можно отпускать?

Любнмов все еще не мог освонться с этой мыслью — да, одиой нз наиболее каннтельных работ больше не будет, ннкогда уже не прндется выпрашивать слесарей нз других цехов н жаловаться, что со всем бы поспелн, да вот снятне навалов...

Он пошел к телефону сообщнть в заводоуправление, что отправляет слесарей обратно, но в последнюю секунду передумал — чего радн торопнться, раз онн уже тут!

— А ну-ка, где у нас узкие места? — крикнул он мастеру сборочного участка.— Вот вам десять молодцов, пусть подсобят!

В заводской многотиражке появились портрет Воловика, приказ директора о премировании изобретателя и передовая статья под заголовком «Турбинщики выполнят свое обещание краснознаменцам!»
На радостях всем казалось, что победа очень близка, вот только с регулятором развязаться бы... А дело с регулятором явно затягивалось.
Мало кто видел в эти дни Котельникова, он не выходил из конструкторского бюро. Насупленный, небритый, в размякшем, будто жеваном воротничке, он закрылся в отдельной комнате с конструкторами, проектировавшими узел регулирования.
Комнату, в которой они работали, другие конструкторы обходили на цыпочках, с напряженными и виноватыми лицами, как обходят комнату тяжелобольного.
А в самой этой комнате царило сосредоточенное и деловое спокойствие, отнюдь не напоминавшее настроение, какое обычно бывает в комнате больного. В эти дни главный конструктор, пугавший посторонних измученным видом, для своих сотрудников был образцом выдержки. Котельников брал под сомнение каждую деталь конструкции, проверял или делал заново каждый расчет, взвешивал целесообразность и правильность каждого, казалось бы самого бесспорного, технического решения.
Порой он даже подбадривал своих конструкторов шуточками:
— Кто ищет, тот найдет! Ничего, мальчики! По крайней мере считать научитесь! Ох и поспим же мы, когда найдем эту закавыку!
Но конструкторы украдкой следили за своим руководителем и решали: нет, кажется, до отдыха далеко! Они хорошо знали этот его отсутствующий вид и его манеру мигать и прищуриваться, внимательно вглядываясь во что-то такое, что видно ему одному. Если Котельников вот так задумывается и ни с того ни с сего бормочет: «Тэ-тэ-тэ!» — значит, он уже недоволен всем, что делалось до сих пор.
Пока он ничего не говорил своим сотрудникам, чтобы не отвлекать их, но при встрече с директором и главным инженером вдруг заявил с явным удовлетворением, хотя разговор был невеселый:
— Одну ошибку я уже нашел. Нет, не ту. Крупнее.
В ответ на немые вопросы кратко пояснил:
— Не нравится мне вся схема регулирования. Не так, совсем не так нужно было. Будь возможность, все бы переделал к черту!
И вздохнул:
— Эх, если бы нас не подпирало со сроками!..
Главный инженер так и впился в Котельникова: что, как? Но Григорий Петрович разозлился:
— Этого еще не хватало! Начнете проектировать новую — пожалуйста, перекраивайте все на свете, а пока давайте не отвлекайтесь! Ведь без ножа зарезали!

Направляясь в турбинный цех, он ворчал себе под нос: «Все вверх дном перевернуть готовы, а своей же ошибки найти не могут!»

У подножня стенда сиротливо лежали части разобранного регулятора — потускневшие, захватанные маслеными руками. Немиров отвернулся, проходя мимо них.

Железные листы стенда погромыхивали под ногами. Директор привычно переступал через разбросанные болты, отпихнул с прохода сплющенную доску.

— Что за беспорядок? Безобразие! — сказал он подбежавшему Гаршину.

— Начали установку диафрагм,— отпихивая доску еще дальше, невозмутимо сообщил Гаршин: он знал, что это сообщение разгонит недовольство директора.

— Поступили? — обрадованно воскликнул Григорий Петрович.

— Все до единой!

Повеселев, директор остановился и окинул взглядом знакомую и любимую им картину завершающих работ, когда машины как единого целого еще нет, но уже вырисовываются ее основные формы и особенности.

Он подошел со стороны цилиндра низкого давления — самой объемистой части турбины. Цилиндр только сегодня «накрыли»; его крышка, похожая на четыре сросшихся вместе купола, была еще охвачена тросами, и кран нависал над нею, готовый в любую минуту поднять ее в воздух. Каким внушительным выглядел цилиндр! Внушительным и все же легким, может быть потому, что был окрашен светлой краской, или потому, что конструкторы нашли самую целесообразную форму.

Внутри цилиндра звучали голоса и постукивали молотки. Григорий Петрович заглянул в одно из отверстий. Качающийся свет переносной лампы выхватил из темноты часть тяжелого колеса с поблескивающими лопатками и озабоченные лица сборщиков.

— К завтрему отцентруем, Григорий Петрович! — раздался из утробы цилиндра глухой голос, и в отверстии появилась голова с белым клинышком седой бородки — мастер сборки Перфильев.

Ловко подтянувшись, Перфильев втиснул свое тело в узкое отверстие и выбрался наружу, хватаясь за трос, за головки болтов. Через минуту он здоровался с директором, по заводской привычке подобрав к ладони замасленные пальцы и протянув для пожатия запястье.

Поглядывая на Гаршина и на приближающихся Любимова и Полозова, которым цеховой «телеграф» уже донес о появлении на стенде директора, старый мастер выложил все свои заботы и сомнения. Директор знал — для Перфильева сборка турбины что песня: одна деталь должна следовать за другой в уста-

новленном порядке н ритме, всякое нарушенне прнвычного строя коробит его, как фальшнвая нота.

— Ротор, ротор не подвел бы! — повторял он, радуясь, что цеховое начальство выслушивает его при директоре.

— Так ведь кончает Коршунов последнее колесо,— успокоил его Любимов.— Мы как раз от него. Поторопилн.

— И не надо больше торопить его,— вдруг раздался голос Днденко, и парторг высунулся в отверстне цнлиндра.— Что он, не поиимает? Только нервы ему треплете поторапливаньямн!

Немиров, усмехаясь, развел руками. Что ты будешь делать! Когда начинается сборка турбины, Диденко при первой возможности спешит на стенд, крутится среди сборщиков, а порой н подсобляет им.

Диденко умело, со всемн ухваткамн старого монтажника, вылез из цилнндра и присоедннился к собравшимся.

— Не утерпел, неугомонная душа? — попрекнул его Немнров.

— Да нет, поговорить нужно было кое с кем,— сконфуженно улыбаясь, объяснил Диденко.— А какова машина, а?

Оии отошли от турбнны, чтобы охватить ее взглядом. Сбоку она выглядела особенно солидно и ново — никогда еще не стояла на стеиде такая крупиая машина. Слесари, возившиеся иа самом верху, взбирались на иее по стремяике,— высота! Но машина уже ие радовала Немирова, отсюда она показалась ему оголенной: над цнлиидром высокого давления, одиноко лежавшнм иа своем месте, не возвышалась нарядная и сложная надстройка регулирующего аппарата, не поблескивали отшлифованными колонками верхушки клапанов, почему-то прозваные «минаретами» и придававшие всей машиие изящество и законченность.

Немнров раздраженно поморщился н отвернулся.

— С этим пора кончать,— поняв его досаду, решительно заговорил Диденко.— В чем дело? Мы осуществляем содружество с учеными в сотнях вопросов. Почему же в такой беде конструкторы стесняются позвать иа помощь науку?

— Я бы тоже считал желательным,— осторожио вставил Любимов,— если Котельников не сочтет за обиду...

— Меня очень мало интересует, кто и на кого обидится, мне регулятор нужен,— грубовато перебил Немиров.

— Котельников не обидится! — воскликнул Полозов.— А ждать больше нельзя. Есть же у нас крупнейшие ученые, спецнально работающие в области регулирования,— профессор Карелин, во-первых...

— Хо! Как же я, дурень, не додумался! — воскликиул Гаршин.— Ведь мы же с ним друзья! Что бы посоветоваться, попросить!.. Он бы прислал кого-нибудь!..

Григорий Петрович окинул Гаршина уничтожающим взглядом:

— Кого-иибудь? Думаете, турбина ие стоит того, чтобы пригласить лучшего специалиста? Самого профессора, и завтра же, с утра! Идите и немедлению звоиите ему от моего имеии. Из-под земли достаиьте!

Гаршин сидел в техиическом кабинете и тщетно названивал профессору,— трубка, видимо, была сията. Иногда Аия, сжалившись, сменяла его у телефоиа, ио слышала все те же частые гудки.

— А зиаете что, Витя, поедем к иему сами,— иаконец предложила оиа.

Оба взглянули на часы,— шел одиииадцатый час.

— Поздио,— растерянно сказал Гаршин.— Он будет ругаться, он терпеть ие может, когда к нему врываются без предупреждеиия.

— Ничего,— решила Аня,— ведь ие с пустяками едем!

У входа оии встретили Полозова, стоявшего уже в пальто и в кепке. Аия позвала его поехать с ними к профессору, ей очень хотелось, чтобы он согласился. Но Алексей сощурил глаза, поглядел иа Аню, потом на Гаршина, шутливо сказал:

— Зачем же пугать Карелина этаким нашествием? Вы уж берите не числом, а умом.

Поклонился Ане, поднял воротник пальто, натянул кожаные перчатки и первым шагнул во двор, сразу затерявшись в темиоте иочи.

Ну и погодка была на улице! Такая, что и не поймешь, весна ли, зима ли. Сверху падает ие то сиежок, не то дождик, под ногами хлюпает вода, воздух теплый, а дунет ветер — проиизывает до костей.

— Ледоход, Анечка. Ладога тронулась. Кто нам помешает на обратиом пути сойти у моста? А?

Он крепко прижал к себе ее руку, и от этого стало теплей.

— Пусть ветер, и дождь, и землетрясение, а мы сойдем и погуляем на славу, да?

— Да.

— Вы меия так запугали, Аня, что я стал как ягиенок. Вы хотя бы цеиите это?

— Ценю.

— То-то.

В трамвае ои смешил ее рассказами про Карелина, примешивая к ним, как догадывалась Аня, ходячие «профессорские» аиекдоты. Аня никак не могла припомиить профессора, ои ие читал у них, но видеть его она, конечно, должиа была.

— Как ои терпит вас, Витя, если он такой серьезиый и строгий?

— Сам удивляюсь,— беспечно ответил Гаршии.

Впрочем, по мере прнближения к дому профессора самоуверенность Гаршииа спадала. На лестнице он поглядел иа часы и пробормотал:

— Четверть двеиадцатого. Неудобио, а?

— Неудобно, ио придется,— сказала Аия, подбадривая себя спором.— Я не поиимаю, Витя. Ехали, ехали — и вдруг повериуть назад! Выгонит — тогда другое дело. Но если ои иастоящий учеиый, а не сушеиая вобла, ои иас примет.

Гаршин позвоиил еле-еле, как будто звоиит совсем другой, застенчивый и иеувереииый человек. Неужелн все разговоры о дружбе с профессором — очередиое бахвальство?

Оба услыхали за дверью далекий голос: «Если ко мие, сплю!»

Гаршин схватил Аию за руку, ио Аня смело протиснулась в приоткрывшуюся дверь и поклоиилась седой маленькой жеищиие, удивлеиио отступнвшей в глубину прихожей:

— Простите, ио мы по страшио важному н срочиому делу.

Оиа решнла действовать сама, была не была! Но иет, увидев Гаршииа, седая жеищина просияла и восклнкиула: «Внтеиька!» — а Гаршии поцеловал седой жеищиие обе руки и сказал просительно и ласково:

— Полниа Степаиовиа, золотая моя, вся иадежда иа вас! Нам бы на одиу мииутку Михаила Петровича...

— В чем дело, Витя? Что за пожар? — раздался откуда-то недовольиый, но совсем не старческий голос.

— Со мною представнтель завода, Мнханл Петрович. Нас отправилн к вам за помощью. Дело и впрямь вроде пожара.

— Так раздевайтесь и проходите, что же вы стоите? Я сейчас.

И вслед за тем появился сам профессор, в войлочных туфлях и теплой куртке на «молнии». Аия тут же узнала его, так как, коиечио же, не раз встречала в институте. Малеиький, сухощавый, с чисто выбритым моложавым лицом н седыми волосамн, подстриженными «ежиком». Профессор удивнлся, увидав жеищиу, проверил, есть ли иа ием галстук, убедился, что нет, вздериул доверху «молиию» и подошел зиакомиться.

— Что же вы говорите, Гаршии,— представитель! По-русски говорится в таких случаях — представительница. Очеиь рад. Прошу.

Профессор взял Аию за руку и провел по полутемному коридору в узкую, длиииую комиату, где сначала бросалнсь в глаза только книги. Кинги стояли плотиыми рядами иа полках, заиимавших стеиы от пола до потолка, лежали стопкамн иа подоконниках и на спинке широкого диваиа, стояли иа полу возле пнсьменного стола. Только самый стол был свободеи от книг и от всего лишнего, удобио оборудоваи откидной чертежиой доской и педантнчно прибраи. На столе лежал наполовиину исписанный лнст бумаги, перо сохло, прислоиеиное к чериильиице.

— Мы вам помешали,— смущеиио сказала Аия.

— А это будет видио по тому, какое у вас дело,— шутливо

ответил профессор и усадил Аню на диван, подсунув ей под спину подушку.— Вы кто же? Инженер?

И он стал подробно допрашивать Аню, когда и у кого она училась, что делала потом и что делает сейчас. Узнав, что сейчас она не работает непосредственно на производстве, он строго обратился к Гаршину:

— Почему так? Или инженер никудышный? Живого человека в канцеляристы записали!

Гаршин весело наблюдал, как Аня, снова превратившись в студентку, отчитывается перед профессором. Он совсем не собрался выручать Аню: если бы она послушалась его совета, не пришлось бы ей теперь краснеть!

Однако Аня не покраснела и почти резко объяснила:

— Вы ошибаетесь, Михаил Петрович. Согласилась на эту работу я сама. И я не канцелярист, Михаил Петрович, иначе не приехала бы сегодня ночью вас беспокоить.

Профессор внимательно выслушал ее слова, не соглашаясь и не возражая, как бы говоря: «Ладно, в этом еще разберемся»,— и обратился к Гаршину:

— Полина Степановна передала мне вашу просьбу, Витенька. Но, признаюсь, я не совсем понял.

Гаршин попытался прекратить разговор, который, видимо, ему не хотелось вести при Ане. Но профессор продолжал:

— Как я уловил, вы хотите, чтобы я вас свел с профессором Савиным? Вообще-то я не возражаю, мы с ним встречаемся, устроить это нетрудно. Но зачем? Что сказать? Вы хотите проконсультироваться с ним по вашему плану реконструкции цеха?

Гаршин покосился на Аню и несмело ответил:

— Хотелось бы, Михаил Петрович. Поскольку вы этот план в общих чертах одобрили...

— Я же не технолог! — воскликнул профессор.— Эти проблемы не в моей компетенции. Да и вообще тут специалисты по проектированию заводов помогут вернее, чем профессор Савин, а уж тем более я! Но, поскольку я могу судить, в вашем плане есть размах и смелость... вернее, смелая попытка на ходу кардинально перестроить турбинное производство с индивидуального на серийное. По идее не ново, но правильно и, как мне кажется, интересно.

Гаршин приосанился и метнул на Аню торжествующий взгляд. Он снова стал похож на себя, робости как не бывало.

— Признаюсь, Михаил Петрович, я подумывал об этой работе как о диссертации!

— Диссертации?..

Гаршина не смутило явное удивление профессора.

— А почему бы нет? — свободно, даже с некоторой развязностью сказал он.— Я не поклонник отвлеченных тем, Михаил Петрович. Я за жизненность и актуальность научной

темы, за ее непосредственную полезность производству. Разве не к этому нас призывают повседневно? Надо же делать практические выводы!

— Так, так! — проговорил профессор и вдруг засмеялся: — Так, так, Витенька, вы, во всяком случае, практические выводы сделали!

Теперь и профессор покосился на Аню, видимо стесняясь при ней высказать то, что ему хотелось.

— Что ж, побеседуйте с Савиным,— сдержанно сказал он.— Может, он вам подскажет научную тему в этой области, нуждающуюся в разработке. А тогда почему бы нет, почему бы нет...— скороговоркой закончил он и пересел на диван, поближе к Ане: — Ну, рассказывайте, зачем я вам понадобился!

Она начала объяснять, но профессор перебил ее:

— А что же Котельников?

— Ох, на него смотреть страшно!

— Он знает, что вы ко мне поехали? Нет? Нехорошо!.. Обижать Котельникова мне не хотелось бы. Уверен, что он и сам разберется, если дать время. Или уж очень спешно?

Ане пришлось объяснить, почему дело так спешно, а значит, рассказать о вызове краснознаменцев и о движении, возникшем в цехе. Когда она заметила укоризненный жест Гаршина, стучавшего пальцем по часам, она спохватилась и поняла, что вот уже почти час увлеченно, с массой лишних подробностей, рассказывает профессору все, чем живет цех.

— Ох, я вас задержала! — виновато пробормотала она, поглаживая ручные часы с таким видом, будто хотела отодвинуть назад предательские стрелки.

— Раз нужно, так нужно, Анна Михайловна! Попробую разобраться. Только Котельникова предупредите. Что же там все-таки произошло? На испытании что получилось?

В середине ее нового сбивчивого рассказа он покачал головой:

— А в этих проблемах вы плаваете, инженеры!

И спросил, читали ли они его последнюю статью.

— Нет! — краснея, призналась Аня.

Гаршин промолчал.

— А журнал просматриваете? Следите? Статью Воронова читали?

Получив отрицательный ответ, он огорчился:

— Не ждал, не ждал! Для кого же мы пишем?

Он прошелся по кабинету и вдруг попросил:

— Вы меня познакомьте с этим слесарем, что станок придумал. Сколько ему лет, вы сказали? Лет двадцать восемь? Странно, что такой человек не добился настоящего образования.

На прощание он повторил:

— Очень, очень рад, что вы пришли!

Аня не удержалась, рассказала:

— А Гаршин уверял, что вы будете ругаться, зачем ночью нагрянули.

— Э-э, что он понимает, Гаршин! Это он ругался бы, если бы к нему ночью с делами пришли, ветрогон! И знаете что, Анна Михайловна? В литературе выдумали этакую традиционную фигуру старого, ворчливого профессора. Чем крупнее ученый, тем больше чудачит и кричит.

Он подмигнул Ане:

— Верно? И самое забавное, что образ имеет обратную силу. До того примелькался этот ученый-крикун, что если ты чувствуешь себя ученым, да еще, боже упаси, известным,— ну так и тянет покричать и поворчать. Вроде и неудобно не соответствовать типу! Если бы я был писателем, я бы создал тип ученого — спортсмена, жизнелюба, с прекрасной памятью и веселым характером...

— Вроде меня,— вставил Гаршин.

Профессор воззрился на него, пораженный этим сопоставлением.

— Черт возьми! — пробормотал он.— Черт возьми!.. В самом деле!.. Видимо, работа все-таки накладывает отпечаток и на характер. Гм, занятно! Вы не обижайтесь, Витенька, вы чудесный парень, но...

И он подтолкнул Гаршина к двери, еще раз повторив:

— Приеду завтра же. В половине четвертого.

На Неве было холодно. Северный ветер загонял в реку набухший и подтаявший сверху озерный лед. Большие серые льдины, сопровождаемые маленькими, верткими, медленно плыли по черной воде, как линкоры, окруженные катерами охранения. Натыкаясь на волнорезы, они пытались взгромоздиться на них, сползали и раскалывались надвое, и две меньшие льдины, неохотно отделяясь одна от другой, разворачивались на волне и вдруг, подхваченные течением, уносились под мост. А маленькие вертелись вокруг них, зарывались в водовороты, выскакивали снова на черную поверхность реки и стремглав неслись вперед. К посвистыванию ветра присоединился тупой звук ударов о волнорез и скрежет сталкивающихся льдин.

Это сумрачное движение было однотонно и неотвратимо. Если смотреть на него не отрывая глаз, начинала кружиться голова и казалось, что волнорезы плывут против течения, тараня льды, а черные струи затягивают тебя под мост.

— Тянет, тянет — не оторваться,— сказала Аня, держась за холодные перила и сопротивляясь порывам ветра.

Гаршин наклонился к ней и крепко сжал ее локоть:

— Как меня к вам, Аня! Разве вы этого не чувствуете?

Она улыбнулась и не ответила.

— Аня... может быть, есть кто-то другой?

Она мотнула головой.
— А там, иа Дальием Востоке... был?..
Помолчав, она тихо сказала:
— Да.
— И вы... Почему вы разошлись, Аня?
— А что?
— Вы же сами знаете — что! — вскричал Гаршии, пригиулся к самому ее уху и начал быстро говорить, что любит ее и больше так ие может, оиа его измучила...
Любит?
Она повериула к иему похолодевшее от ветра лицо:
— Витя, теперь я спрошу вас! Только отвечайте совсем честно, хорошо? Или ие отвечайте совсем! Вы хоть раз любили по-настоящему?
Оиа ие удивилась бы, если б ои иачал уверять, что имеиио ее ои любит по-настоящему, ио Гаршии отстраиился от иее, и иа его лице появилось выражеиие боли. Ои, видимо, хотел что-то сказать — отшутиться, что ли, на губах появилась иеестественная улыбка.
С чувством иеловкости, будто она подглядела чужую тайиу, Аия поспешио отвериулась.
Огромиая льдина, раздвигая ледяную мелкоту, медлеиио приближалась к мосту. Аия смотрела, как оиа величаво покачивается иа воде, и загадывала: иатолкиется иа волнорез или иет? И вдруг сильные руки Гаршииа охватили ее так крепко, что оиа ие могла шевельиуться, и она увидела совсем близко его злое и веселое лицо.
— Эх, Аня! Что было, то прошло! Мало ли что бывало и у вас и у меия! Зачем ворошить прошлое? Мы живем сегодия, мы вместе, мие нужиа ты — и все. Вот я обнимаю тебя — и к черту все остальное, понимаешь? Если бы у тебя был кто-иибудь другой... ио ты же одиа! Что тебя держит?..
Она изо всех сил толкнула его и вырвалась. Почему-то слезы защипали глаза. Одна! Вот и весь его иесложный расчет. Да, он прав,— одиа! И одиой очень горько, от этой жеиской тоски ие спрячешься ии за какими делами...
Ветер бросал в лицо мокрые снежиики, то крупиые, то совсем мелкие, как пыль. Аия иаклоиилась иад решеткой — по чериой воде все плыли, плыли серые льдины, громоздились иа волиорезы, сползали с иих и, подхваченные течеиием, уносились под арку моста. Одна... Сколько бы людей ни было вокруг, оиа все-таки совсем одиа, и после работы оии спокойио уходят от иее, подияв воротник, вежливо и холодно поклоиившись ей, куда-то в свою, неведомую ей жизнь...
— Так и до старости прождать можио! — со злостью сказал Гаршии.
Он уцепился руками за решетку и тяиул ее, будто хотел вырвать.

— А может, и нет! — сказала Аня, тряхнула головой и ласково дотронулась до руки Гаршина.— Ну, не сердитесь, Витенька! И давайте побежим, может еще захватим какой-нибудь трамвай.

12

Партийная организация турбинного цеха готовилась к отчетно-выборному собранию. Это было первое партийное собрание, в котором Николаю предстояло участвовать, и он ждал его с тревожным интересом.

До Николая доносились разговоры, очень его волновавшие: речь шла о том, кому быть секретарем партбюро. Николай был уверен, что лучшего секретаря, чем Клементьев, не найдешь. Но коммунисты поговаривали о том, что Ефим Кузьмич сам просит «уважить» его, причем сквозь уважение к старику проступало и недовольство им:

— Где бы поднажать да потребовать, а старик все с уговорами!

— Кузьмич привык с начальством в ладу жить. А иногда и поругаться не мешает!

Упреки казались Николаю несправедливыми. Ведь заступился же Кузьмич за Воловика на партбюро, да еще как! А зря зачем же ссориться? Конечно, Ефиму Кузьмичу нелегко было справляться и с производством и с партийными делами, но разве он мало делал для цеха? Где бы ни возникло осложнение, затор, беда, Ефим Кузьмич неизменно тут.

В памяти Николая вставало все, чем сам он был обязан Ефиму Кузьмичу. Нет, пусть неловко и страшновато вылезать со своим мнением новичка на таком ответственном собрании, он все равно скажет все, что думает!

Незадолго до собрания в цехе появился Диденко с невысоким человеком в кожаном пальто. Николай обрадовался, что Диденко будет на собрании,— парторг очень уважает Ефима Кузьмича, должен поддержать!

Николай и внимания не обратил бы на его спутника, но Катя Смолкина, оказавшаяся тут как тут, с любопытством спросила:

— Кто такой, не знаешь?

Николай пожал плечами, а Катя Смолкина побежала дальше, опрашивая всех встречных.

Ефим Кузьмич с необычайной торопливостью устремился навстречу пришедшим. Через минуту к ним присоединился Любимов, еще более предупредительный, чем обычно. И все трое — Ефим Кузьмич, Диденко и Любимов — повели гостя по цеху, знакомя его с производством и с людьми. Кто бы это мог быть?

Николай заторопился, устанавливая заготовку для вихревой нарезки. Он любил эту мгновенную, красивую операцию, и ему

захотелось, чтобы Диденко и его спутник успели увидеть, как это у него здорово получается.

— Лучшая молодежная бригада отличного качества! — сказал Любимов, останавливая всех возле Николая.— А это бригадир, Николай Пакулин. Член комсомольского бюро и инициатор комсомольских контрольных постов. Слыхали о нем, наверно?

— О бригаде Пакулина кто же у нас не слыхал!

Только что они отошли, как подбежала Катя Смолкина:

— Фетисов это, из инструментального цеха! Долгое время замещал там партсекретаря. Понимаешь? Не иначе, к нам его наметили!

Когда Николай после работы зашел в душевую, там кучкой стояли коммунисты. Все уже знали о Фетисове.

— Воловик говорит — парень толковый.

— Это хорошо, что толковый, но неужели у нас своего не нашлось?

— Что значит «своего»? Был бы работник хороший!

Ефим Кузьмич заглянул в душевую:

— Поскорее, товарищи, поскорее! Будем начинать!

Наспех накинув пиджак, Николай догнал своего учителя.

— Ефим Кузьмич... вы окончательно хотите с секретарей уходить?

Старик усмехнулся, обнял Николая за плечи и повел его к столовой, где происходили собрания.

— Окончательно, Коленька! И для дела, и для меня лучше будет.

— А этого... Фетисова... вы лично знаете?

— Беспокоишься? Это хорошо, что беспокоишься! А только знаешь, Коля,— лично, как ты говоришь, каждый ошибиться может. А вместе... вместе, сынок, это сила. Партия! И тебе, молодому коммунисту...

Он вдруг смолк на полуслове: у выхода из цеха стояли Груня и Яков Воробьев, явно о чем-то сговариваясь. Вот Груня что-то быстро шепнула, улыбнулась и перешагнула через высокий порог, а Воробьев проводил ее взглядом и заторопился назад, в цех.

— Да, да, так вот...— пробормотал Ефим Кузьмич и, уже не замечая Николая, пошел в столовую.

В столовой было полно народу, но почти никто не садился. В центре самой оживленной группы Николай увидел секретаря райкома. Протискавшись поближе, он прислушался к словам Раскатова:

— Вот вы и покритикуйте и подумайте вместе, как лучше. Вам решать!

Раскатов узнал Николая: три дня назад он вручал вновь принятому коммунисту кандидатскую карточку.

— А-а, Пакулин! Ну как, подготовился к собранию?

Николай виновато развел рукамн: он не знал, как нужно готовиться.

— Очень просто,— сказал Раскатов.— Ты стахановец, бригадир, комсомольский работник. Вот и подумал бы, чего тебе не хватает, что могло бы и должно сделать партбюро, кому бы ты хотел доверить решение партийных дел в цехе.

— Ефиму Кузьмичу Клементьеву! — выпалил Николай.

Раскатов внимательно смотрел на него:

— Тебе сколько лет, товарищ Пакулин?

— Двадцать!

— А ему шестьдесят пять!

Ефим Кузьмич стучал карандашом по графину, призывая всех садиться.

Николай уселся возле Анны Карцевой, смущенный разговором с секретарем райкома. Значит, выступать бесполезно: Клементьев уходит... Но тогда кого же взамен? Фетисова?

Фетисов сидел у стенки недалеко от трибуны, между Диденко и цеховым плановиком Бабинковым. Бабинков что-то усердно объяснял ему, а Фетисов, изредка задавая вопросы, с любопытством присматривался к собравшимся. Николаю он понравился: никакой важности или нарочитой серьезности, сидит себе среди малознакомых людей простой и умный рабочий человек и оттого, что он привлекает к себе общее внимание, немного смущен, скован в движениях.

Собрание началось торжественно и деловито.

Ефим Кузьмич разложил на трибуне заметки, надел очки и тихим голосом, со стариковской обстоятельностью начал доклад.

Николай старался слушать внимательно: ему было интересно понять, как же направляется изнутри огромная сила, называемая партийной организацией. Но очень скоро мысли его стали разбегаться. То ли доклад, при всей его обстоятельности, обходил самые острые вопросы, то ли эти вопросы в изложении Ефима Кузьмича теряли остроту, но Николай не находил ответа на то, что волновало его.

— Мы дважды заслушивали доклады Бриза и дважды занимались технологическим бюро,— сказал Ефим Кузьмич, снял очки и оглядел собравшихся зоркими глазами.— Как вы знаете, с выполнением рационализаторских предложений в последнее время наметился сдвиг. Отчего? Да оттого, что в составлении плана организационно-технических мероприятий, начатом по инициативе коммунистов, участвовало больше двух третей всех работающих в цехе. Особенно надо отметить, что хорошо, энергично поработал штаб в лице Полозова, Карцевой, Бабинкова и других. Заслугой нашего нового товарища инженера Карцевой является и то, что она с большой инициативой привлекла к работе молодежь.

Николай навострил уши: сейчас и заговорит Кузьмич о самом

главном. Но Ефим Кузьмич уже перешел к следующему вопросу — о работе цехкома.

В зале тихо переговаривались. Воробьев что-то записывал в блокнот,— должно быть, готовился к выступлению. Раскатов, сидя рядом с Любимовым за столом президиума, просматривал сводки работы цеха.

Но вот доклад кончился, и сразу посыпались вопросы.

Раскатов отодвинул от себя сводки. Диденко оживился и следил, чтобы председатель не проглядел ни одной поднятой руки, особенно если рука поднималась неуверенно,— прогляди ее, и человек может оробеть, опустит руку...

Ефим Кузьмич начал с мелких вопросов, отвечая со всей добросовестностью, потом обвел собрание усталым взглядом поверх очков, снял очки и с неожиданной силой сказал:

— А насчет краснознаменских турбин — какие ж тут могут быть сомнения? Когда ж это бывало, чтобы мы взялись да не сделали? Сделаем, конечно! Только порядок нужно навести в цехе под стать задаче. А для этого партбюро изберите поэнергичнее да помогайте ему покрепче. А так — почему не выполнить?

Он громко передохнул и всплеснул руками:

— Да как же может быть иначе? Социализм построили, фашистов побили, в блокаде фронтовую продукцию без перебоя давали. А сейчас-то да не справиться!

Его проводили дружными рукоплесканиями. Но только он успел сойти с трибуны, как без обычной заминки начались выступления, и тон этих выступлений был суров.

Николаю очень нравилось все, что говорили,— он мысленно подтверждал: правильно! Но многое, казалось ему, следовало сказать помягче, не так обидно. Вот говорит Женя Никитин, парень серьезный и сердечный, а как он сегодня резок!

— Партбюро дважды заслушивало Бриз. А что изменилось? Почему в штаб к Полозову и Карцевой идут, а в Бриз не идут? Холодные души в Бризе. А партбюро только резолюции принимало!

Верно, конечно, не любят в цехе бюро по рационализации и изобретательству, надо было заняться им основательно, но разве мог Ефим Кузьмич за всем углядеть?

— Как выполнить краснознаменский заказ досрочно? С помощью механизации, с помощью хорошей организации труда. Расчленение операций все одобрили, а технологи новую технологию до сих пор разрабатывают, вторую неделю! Почему? Близорукость и недомыслие! Оперативности — вот чего не хватало старому партбюро.

Тоже верно. Но, Женя, зачем так резко? Ведь Ефим Кузьмич старался, сил не жалел...

Выступает Ерохин. Говорит застенчиво, с добродушным юмором, а вывод делает жесткий:

— Дальновидности не было у партбюро и у начальника цеха.

Два «туза» держали монополию на сложнейшие работы. Пока они справлялись, никто не думал, что будет дальше. А задачи-то растут. Теперь хватились, а людей уже разбаловали! Простите за грубое слово, Ефим Кузьмич, но вы перед ними заискивали, вместо того чтобы новых карусельщиков растить! И как мастер и как партийный секретарь недосмотрели вы, Ефим Кузьмич! А порой и не разобрать, когда вы мастер, а когда секретарь.

По очереди поднимаются на трибуну коммунисты, и каждый находит промахи! Николай и соглашался с ними, и мысленно спорил, защищая Ефима Кузьмича, и все поглядывал: очень ли расстроен Кузьмич?

А Ефим Кузьмич одобрительно кивал головой и спокойно думал о том, что вот ведь как выросли люди,— значит, все-таки не так уж мало с ними работали! Каждому из них поручи дело — справится. А я поручал мало, оттого и сил не хватило. Фетисов, наверно, и сам о том же думает, но все равно надо подсказать ему, кому что поручить... Раскатов и Диденко все заботились, чтобы развернуть настоящую самокритику. Да вот же она! В нашем цехе не тот народ, чтобы слова глотать.

Казалось, острее и не бывает критики. Но вдруг вне очереди выступил Диденко, и Николай с удивлением понял, что Диденко еще недоволен,— по его мнению, не до конца вскрыто все, что тормозит досрочный выпуск турбин.

— Единство цели у вас есть, а вот есть ли единство в пути к цели, в методах работы? — сказал Диденко.— Думается мне, не все тут у вас ладно. И говорить об этом нужно прямо, разобраться до конца.

Полозов, Воробьев, Катя Смолкина с места крикнули:

— Правильно! Правильно!

Любимов покраснел и уткнулся носом в сводки. Николай ждал, что сейчас выступит кто-либо из тех, кто кричал «правильно!», но слово предоставили рабочему, чье появление на трибуне вызвало шепот в зале: «Кто такой? Как фамилия? С какого участка?» Должно быть, этот коммунист впервые выступал на партийном собрании: он и вышел нерешительно, и все расправлял на трибуне приготовленные заметки.

А тут еще появился в дверях запоздавший директор.

На ходу пожимая руки знакомым, Немиров прошел через зал в президиум. Только подсев к столу, он сообразил, что никто его в президиум не выбирал и садиться сюда не следовало, но подняться и пересесть в зал было уже неловко. Он деловито склонился к Любимову, но сразу выпрямился и прислушался, потому что стоявший на трибуне коммунист справился с растерянностью первых минут и заговорил о нем:

— Очень кстати пришел директор! И хорошо, что все начальство в сборе. Может, все вместе послушают и покончат с нашей неразберихой! — И, повернувшись всем корпусом к президиуму: — Договоритесь вы, начальники, наведите поря-

док, довольно нам гадать на кофейной гуще: выполним или не выполним? Решили изготовить турбины досрочно — так спланируйте до октября, рассчитайте до последнего винтика, обеспечение подтяните, как в армии перед наступлением. А то от разноголосицы голова пухнет!

Григорий Петрович бросил реплику:

— Решение принято, какая же может быть разноголосица?

— А вы планы наши посмотрите, товарищ директор, какие нам на участки спущены, вот и найдете разноголосицу! не смущаясь ответил рабочий, и собрание дружно поддержало его:

— Правильно! Давно пора!

Николай закричал «правильно!» вместе со всеми: его всегда возмущала путаница, царившая в планировании. Он не понимал, почему начальство не вносит ясности в планы участков. Не понял он и недовольства Любимова, проворчавшего с места:

— План есть план!

Пожалуй, прав Диденко, что в цехе нет единой линии!

Николай обрадовался, увидев на трибуне Полозова. Подняв перед собой листок из записной книжки, Полозов прочитал громко и отчетливо:

— «Механизация процессов труда является той новой для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых масштабов производства».— Он передал в президиум, Любимову, листок.— Я не сомневаюсь, Георгий Семенович, что вы эти слова знаете. Я хочу, чтобы вы их помнили тогда, когда принимаете решения и разговариваете с подчиненными!

Начальник цеха пожал плечами с таким видом, словно присутствовал при мальчишеской выходке, которая удивляет, но не затрагивает. И вдруг собрание поддержало слова Полозова дружными рукоплесканиями. Любимов побледнел и с трудом удержал на лице обычное выражение невозмутимого спокойствия.

— Мы все радуемся,— продолжал Полозов,— что первая турбина на днях будет сдана. Но посмотрим правде в глаза! В основном первая турбина выпускается старыми методами, авральной суетой! А партбюро пошло на поводу у старого метода. У нас нет любви к техническому риску, нет истинно новаторского духа. И вы, Георгий Семенович, повинны в этом в первую очередь, потому что вносите в работу дух осторожности да оглядочки: «Как бы чего не вышло!»

Повеселев, он повернулся к собранию:

— Ведь что получилось, товарищи! По инициативе Воробьева мы начали составлять план организационно-технических мероприятий. Обратились к рабочим, к мастерам. Да мы сами не ожидали такого неудержимого потока замечаний, предложений, требований! Значит, мы до сих пор мало обращались к людям, недооценивали их. Эту вину я отношу и к самому себе. А ведь

творчество коллектнва — мощнейшнй наш резерв! Составление плана показало, что этот резерв может сильно помочь нам. Но как выполняется оргтехплан? Плохо выполняется! Формальио. Между делом. Самые коренные н сложные предложення откладываются «до спокойных времен», снлы для нх выполнеиия не расставлены, и со второй турбнной опять начнется «эх, дубинушка, ухнем». Я говорю резко, н это не всем нравится, но хватнт нам «дубннушкн», товарнщи!

И снова собраине отозвалось бурным одобреннем.

— Говорят, что у меня плохой характер. Возможно! Но я ие собнраюсь мириться с тем, что кажется мне прннципально неверным н для дела вредным.

Алексей вызывающе обернулся к Диденко,— это был ответ на недавнее замечаиие о петушином характере. Сейчас он был твердо убежден в том, что всякое умолчанне может только затянуть болезнь, существующую в цехе.

— Я утверждаю,— сказал он,— что в цехе есть две лиинн: старая и новаторская! Коиечно, явиых противников иоваторства сейчас не найдется, на словах все за него, но чего стонт смелость на словах, когда она не подкрепляется делом?

Изо всех снл хлопая в ладошн, Нnколай Пакулнн думал о том, что это и есть партия: взгляд вперед, смелая крнтика всех недостатков н ошибок, прямота сужденнй... Ему казалось, что он только сейчас поиял, что значит быть коммунистом, и ои давал себе слово быть нм всегда н во всем, как бы это нн было трудно.

Все собравшиеся чувствовалн: разговор дошел до самого главного. И потому глухой ропот пошел по рядам, когда с трнбуны зазвучал бархатистый голос Бабннкова.

Благодушио-болтливый н покладнстый в повседневных отиошеииях с людьми, на трибуне Бабинков преображался; у иего появлялись торжественные иитонации, мысли облекалнсь в витиеватые слова, руки подкрепляли речь картииными жестами. Если у Бабннкова не было свонх мыслей, ои умело пересказывал чужне, уже высказанные до него, расцвечивая нх всеми красками красиоречня. Обычно Бабинкова терпеливо слушали: что делать еслн у человека ораторский зуд! Ему даже хлопали, так как заканчнвал он здравицами. Но сегодия собранне было настроено иетерпимо, не прошло и минуты, как нз зала крикнули:

— Конкретней, Бабннков! Ближе к делу!

Бабников обиженно огляделся н, сбнвшись, более естествеиным тоиом заявнл, что вопрос о досрочиом выполиеиии плана упирается в вопрос о второй и третьей смеиах, иадо немедленно укомплектовать этн смены квалнфнцированными рабочими н мастерами.

— А где ты нх возьмешь, да еще немедленно? — закричали из зала.— Ты иам глаза не застнлай!

Бабинков растерялся: «Ну и собраиие! Слова сказать не дадут! И что им так не понравилось? Самокритнкн мало?» Ои

ухватился за тему популярную н всех волнующую — за тему технического прогресса. Прнпомиил план генеральиой реконструкцнн цеха, разработанный Любимовым н Гаршиным,— велнколепный, но иикак не осуществляемый план! — и потребовал, чтобы этот план был «прннят на вооруженне» уже в текущем году... что нужно доказать... потребовать от руководящнх органов...

Собранне вдруг взорвалось:

— Давай к делу!

— В сторону уводишь!

— Планом прнкрываетесь, а под иогн не смотрите!

Кое-кто попросту напомнлал:

— Регламент! Регламент!

Катя Смолкнна встала н резким голосом перекрыла шум:

— Лучше скажн, Бабннков, почему ты нз начальника планово-диспетчерского бюро превратнлся в старшую телефоннстку?

Диденко смеялся н хлопал себя ладонямн по колеиям: вот это молодцы, пустобрехов не терпят!

— Я могу, если иужио, остановиться на недостатках работы планово-днспетчерской службы, ио у меня нстекло время...

Теперь смеялось все собраиие:

— А ты бы с них иачннал!

— Ох, н хнтер ты, Бабннков!

— Продлнть ему время, пусть скажет!

Но Бабннков предпочел сойти с трнбуны, обнжеино надув губы.

Расшумевшееся собранне мгновенно прнтнхло, когда председатель назвал фамилню — Коршунов.

Из дальнего, самого темного угла медлениo шел к трнбуне сгорбившнйся человек с посеревшим лнцом.

Катя Смолкнна охнула н шепотом сказала Коршуиову, когда тот проходил мимо:

— Ннчего, Семеиыч! Ннчего...

— Нет, чего! — громко ответил Коршунов и, взобравшись на трнбуну, повторил еще громче: — Нет, чего! И утешать меня иезачем, я сам себе места не найду, пока пятна ие смою. А прятаться коммуннсту ие след. Потому и вышел. Хоть и иелегко мне, бывшему члену партбюро, выходнть сегодия перед лицом собрaиия!

Ои так н сказал — бывшему. Пусть бюро еще ие переизбралн н никто его нз партбюро не выводнл — он сам себя осуднл н вывел.

— Вы, наверио, уже знаете,— тнхо сказал он.— Вчера я запорол колесо...

Ои стоял на трибуне сгоблениый, постаревший за сутки, н всем было тяжело и больно смотреть на него — иа передового стахаиовца, которым горднлся цех, на хорошего, уважаемого человека, попавшего в беду.

— Вина моя,— сказал он.— Просмотрел размер. Вместо натяга 0,5 миллиметра сделал натяг 0,1... Не оправдываюсь. А если и мог бы оправдаться как рабочий, то другим концом в себя же попаду как в члена партбюро. Товарищи мои, кто давно в цехе! Вы знаете, бывал ли когда у Коршунова брак? Не бывало! А если теперь такое стряслось, токарю Коршунову не стыдно сказать: потому случилось такое впервые за двадцать лет, что замотался. Вот она, авральщина, до чего доводит! Работаешь, а над тобой Гаршин шуточки шутит пополам с матюгами, да Полозов нависает с душевными просьбами: «Поторопись, дружище!», да Георгий Семенович с несчастным лицом: «Скоро ли?» Как я эти две недели торопился, товарищи знают. Голова кругом пошла! Ни подумать, ни спокойными глазами расчет посмотреть, чертеж прочитать... Вот почему опозорился токарь Коршунов. И вот почему еще больше виноват член партийного бюро Коршунов. За авральщину хватались, как за лекарство от всякой хвори. С этим пора кончать!

Он сошел с трибуны, приостановился:

— А пятно я смою, товарищи!

И пошел через зал; ни на кого не глядя, сел в углу.

— Коршунов прав, с этим пора кончать! — крикнула Катя Смолкина, взлетая на трибуну.— Стыдно, товарищи! Стыдно! Машины выпускаем — чудо техники! На всю страну гордимся — передовики технического прогресса! И вдруг рядом со скоростными методами, с передовой техникой авральщину развели, как на заре нашего строительства. Стыд!

Она выкрикнула все это одним духом, а затем совсем другим голосом продолжала:

— Сидела я сейчас и думала: что же это такое? Как же это получилось? И вот я поняла. Хороший у нас цех, мощный, и кадры у нас любо-дорого, все можно сделать с такими кадрами. Пусть скажет по совести каждый: был ли наш цех когда-либо так силен, как теперь? И генеральную реконструкцию у нас затевают не от бедности — от богатства, оттого, что цели ставим, о каких раньше не мечтали. А вот эти наши авральные методы, что это такое, товарищи? Пережитки! Болезнь роста. Рванулись мы вперед, здорово рванулись, а не все за нами поспевают, и не все вровень идут. Что не поспевает? Мне, может, не все и видно, скажу о том, что приметила. Механизация не поспевает. Организация труда отстает. Планирование на обе ноги хромает!

Она разыскала глазами Бабникова и показала на него пальцем:

— Вот Бабников! Распелся тут соловьем, а мне слушать противно! Кто бы другой заливался, а ведь он начальник ПДБ! ПДБ, товарищи, планово-диспетчерское бюро! И если мастера и рабочие все еще бегают заготовки да инструмент из-под рук выхватывать,— кто виноват? Бабников! Отстает ПДБ, недопустимо отстает. Буква «Д» еще кое-как выполняется, я уже

сказала — старша‹ ‹елефонистка у нас Бабинков! А вот про самую основу, про букву «П», забыли! Нет у нас порядка в планированин, а потому н ритма нет. А нет ритма — значит: «А ну, взяли!» Хватнт, товарнщн! Хватнт, Георгий Семеновнч! Давайте налажнвайте!

— Ай да Катя! — воскликнул Диденко и шепнул днректору: — До чего верно сказала, а?

Григорий Петровнч в свою очередь наклоннлся к Любнмову:

— В самую точку, Георгнй Семенович! Пережитки и болезнь роста! Какое превосходное собрание!

Любимов покоснлся на него и не ответил. Он старался держать себя в руках и внушал себе, что это самокритика, необходнмая н полезная, без нее нельзя! Но чувствовал он себя отвратительно н думал только об одном: выступить самому достаточно самокритично н при этом все-таки дать отпор критнкам и отстоять свою линию. Линию? Значит, у него есть особая линия?.. Чепуха, просто трезвое понимаиие действительного положения вещей!

Николай Пакулнн видел, что начальник цеха помрачнел, и напряженно думалн, какие же это две лннии, есть лн они и как же может ошнбаться Любимов — такой умный н знающнй человек? Собранне захватило его и удивило. Один за другим выступалн люди, которых он хорошо знал в повседневной жизни. С одним он учнлся в техникуме, с другим обсуждал футбольные матчи и статьи в журнале «Техника — молодежн», с третьим ссорился из-за резцов, когда резцов не хватало... Сейчас он слушал этих знакомых людей с почтительным уважением. Все в них было обычным: голос, повадки, внешннй облик,— н в то же время совсем нным. Они говорили о том, что подсказывала им собственная работа, но оценивали ее с какой-то новой, общей точки зрения.

— Вы запнсались? — спросил Николай у соседки: ему было нитересно, что скажет Карцева.

Аня отрнцательно качнула головой. Ей очень хотелось выступить, но смущало то, что она узнала — коммунисты поговаривают о ней как о будущем культпропе, будут выдвигать ее в члены партбюро. Ефнм Кузьмич посоветовал: «Подготовься и выступи так, чтобы все тебя узналн». Вчера вечером и Любимов, повстречав ее дома в коридоре, ласково сказал: «Ну, дорогой культпроп, пронзнесите завтра зажнгательную речь». Ане и хотелось быть избранной и страшновато было, не вычеркнут ли ее имя, как имя новичка. Многие называли кандидатуру Воловика, тоже недавно прншедшего в цех, но за плечамн Воловнка — крупное изобретенне. А чем отличилась она?

Легкнй шум прошел по залу — все устраивались поудобнее, готовясь внимательно слушать: нз-за стола президиума выбирался к трибуне начальник цеха.

— Партийное бюро работало немало,— веско сказал он,— но

сегодня, на новом этапе, такая работа ие удовлетворяет ннкого нз нас. Как говорнтся: новые времена — новые песнн.

Такое начало всех заинтересовало н пленило. Коиечно же, Любимов сам все понимает, н никаких двух линнй нет, не должно быть. С уважеиием смотрелн коммуннсты на взволнованное, даже как будто осуиувшееся лнцо Любнмова, на его шнрокне пальцы, нервио сжимавшне края трнбуны. И многне подумали о том, что вот перед ними пожилой нннженер, знающнй и опытный специалнст, и несет ои на себе огромную ответственность, все его крнтикуют, все теребят, ему первому попадает за любую беду иа производстве. А он ие ропщет, не обнжается на крнтнку, всегда сдержан н рассуднтелеи.

Волна симпатнн дошла до Любнмова, он продолжал еще тверже:

— Тут пробовали представить дело так, что в цехе есть две лннии: старая — консервативиая, и молодая — иоваторская, прнчем по смыслу речи получалось, что я, грешный, прнчастен к этой старой лнннн н являюсь чуть лн не главным ее оплотом. Чепуха это, товарнщи! Наивная чепуха, не помогающая, а затрудняющая работу партнйиой оргаиизацни!

Собранне насторожилось.

— Это надо доказать! — с места крнкнула Катя Смолкииа.

Любимов поклоннлся в ее сторону.

— Обязательно докажу. Еслн б я был профсоюзным работнником, как вы, товарнщ Смолкнна, илн хотя бы заместнтелем начальннка, как Алексей Алексеевнч, я бы тоже, может, заносился мечтамн в облака н требовал от некоего злокознениого начальннка цеха, чтобы все н сразу стало превосходио. Кстати, товарищи, кто зиает план геиеральиой рекоиструкцни цеха, разработаиный товарищем Гаршииым и миою, тот согласится, что мечтать н мы умеем. Но так как еще до реконструкцнн мы должны небывалымн темпами выпустить досрочно сложные машнны, я, как руководитель, обязан оставаться в рамках реальностн. Журавль — в иебе, а синнца — в руках!

И он начал подробно анализировать возможностн цеха, доказывая, что для досрочиого выпуска красиознамеискнх турбии ие обойтись без авральиых методов работы: «Конечно, все в меиьшей н меньшей степени, но не обойтнсь!» Он прнзнавал значенне плана органнзационно-техническнх мероприятнй, но просил не переоценивать его:

— Конечно, Полозов прав: надо механнзировать ряд трудоемких операций, в частиостн слесарных. Нашн товарнщн актнвио нщут, нзобретают. Но разве я могу стронть расчеты на еще ие нзобретенных механизмах? Да вы бы меня первые осмеялн за это!

Нниколаю, как н многнм другнм слушателям, все казалось убеднтельным, он даже мельком подумал: «Перехватил Полозов!» И в то же время его мучнло неясное ощущенне, что найденная было нстнна ускользает.

А Любимов охотно признал правильность большинства критических замечаний, обещал принять меры, добиться крутого перелома.

— В общем, увязать и утрясти! — вполголоса сказал Воробьев.

Он слушал начальника цеха с веселым удивлением. До чего гладкий человек! Вот уж действительно обтекаемый!

— Слово товарищу Воробьеву!

Воробьев, не пользуясь ступеньками, легко вскочил на помост. Лицо его было ясно и спокойно — лицо уверенного в своей правоте человека.

— Есть у нас две линии в цехе или нет? — спросил он и, помолчав, с силой сказал: — Есть!

Кое-где вспыхнули рукоплескания, но на тех, кто спешил с одобрением, зашикали: после убедительной речи Любимова всем хотелось серьезно и неторопливо разобраться, кто же прав.

— В истории с Воловиком эти две линии видны отчетливо. Те, кто стоит на линии творчества, дрались за Воловика и вместе с ним, помогали ему в расчетах и в изготовлении деталей его станка,— я говорю о Полозове, о Ефиме Кузьмиче, о Николае Пакулине и о десятках рабочих.

— Правильно! — выкрикнул Женя Никитин.

— А какую линию занимали вы, Георгий Семенович? «Моя хата с краю, ничего не знаю». Мол, если станок выйдет,— скажу спасибо и премию выхлопочу, а покамест не приставай, крутись сам по себе! А изобретение Воловика высвободило вам десятки рабочих рук и сотни рабочих часов, механизировало одну из самых трудоемких работ! Я же видел, Георгий Семенович, как вы радовались, когда станок за сорок минут будто слизнул эти самые навалы! А где вы раньше были?

Любимов поднялся и сказал, тяжело опираясь руками о стол:

— Товарищ Воробьев, в случае с Воловиком я уже признал свою ошибку и сказал об этом самому товарищу Воловику. Александр Васильевич, правильно я говорю?

— Верно, верно! — добродушно подтвердил Воловик.— Вы только теперь получше помогайте, мы теперь за диафрагмы беремся!..

Многие засмеялись, но Воробьев знаком попросил внимания:

— Я взял в пример Воловика, потому что это история законченная. Мало ли других историй еще тянется? Конечно, незавершенное изобретение — это еще не синица в руках, особенно с точки зрения этой «реальности», о которой так любит говорить товарищ Любимов. Да разве дело только в наших местных изобретениях? Сколько есть новой советской техники, сколько вещей уже известных, изобретенных, проверенных на других заводах! Разве мы внедряем их с должной решительностью и быстротой? Нет! Скоростные методы применяем, но робко!

Расчленение операций — опять робко: на одном участке применили, на другие не перенесли. Или это тоже еще не синица в руках? Казалось, журавлем в небе является план генеральной реконструкции цеха. Но я посмотрел этот план. И вот что я вам скажу, товарищи авторы! Стареет ваш план, стареет еще до того, как его утвердили. Кабинетным способом он составлен. Без рабочих, без мастеров, без изобретателей и рационализаторов. Ряд их предложений, поданных в этом месяце, смелее и новее, чем в вашем плане!

Тут с места сорвался Гаршин, благодушно просидевший все собрание у окна, где можно было потихоньку курить в форточку. Лицо его побагровело:

— А почему вы, коммунист, не пришли и не помогли, а припрятали этот сенсационный вывод до собрания?

— А вы нас, коммунистов, звали? — спокойно ответил Воробьев.— Да к вам, Виктор Павлович, сейчас и не подступишься!

Он повернулся к Любимову и Немирову:

— Кстати, товарищи, кто это выдумал? По существу, цех без технолога. Сорвали товарища Гаршина с технологического бюро, двинули в аварийном порядке толкачом на первую турбину и уже поговаривают оставить на второй. Конечно, у Виктора Павловича глотка здоровая и речь образная...— Хохот прокатился по залу и сразу смолк.— Да разве это метод организованной работы? Или это тоже в угоду «реальности»? Новая технология еще вилами по воде писана, а тут дело ясное: знай толкай!

Любимов уже поддакивал:

— Да, да, непродуманно сделали!

Видно было, что он сам любуется своей объективностью, при всех соглашаясь с критикой.

— Может создаться впечатление, что какая-то часть коммунистов яростно нападает на товарища Любимова,— продолжал Воробьев.— Так вот для ясности: нападаем мы на вас, Георгий Семенович, не для того, чтобы угробить, а для того, чтобы выправить. Как инженера мы вас уважаем. А линия у вас шаткая, и вы это должны понять, если хотите не растерять наше доверие.

Фетисов потянулся к Диденко и Клементьеву, довольно громко сказал:

— Вот кого нужно в партбюро!

Диденко подтвердил:

— Обязательно!

Ефим Кузьмич промолчал, будто и не слышал.

Николай Пакулин, колеблясь, то поднимал, то опускал руку. Диденко заметил его колебания, подсказал председателю, и Николаю дали слово.

Надо было подняться на трибуну, но было неловко выходить с теми несколькими мыслями, ради которых он решился заговорить, и Николай остановился у стола президиума.

— Турбины мы дадим! — быстро сказал он.— Только здесь правильно говорили: давайте решайте, товарищи руководители, точные сроки! И скажите каждому рабочему: вторую турбину к первому июля, третью — к пятнадцатому августа и так далее... А то какая же это работа, если не знаешь точно ни сроков, ни графика!

Он с возмущением обернулся к Бабинкову:

— Вот ваше ПДБ спустило нам план. План старый, из расчета — четвертую турбину к концу декабря. А я сам должен крутиться и пересчитывать задания из расчета четыре турбины к октябрю. Разве это дело?

Раскатов заинтересовался:

— Значит, надо спланировать всю работу цеха с учетом обязательств?

— А как же! — откликнулся Николай.— И не только по цеху, а и по заводу. Мы сейчас жмем через комсомольские посты, да только мало этого! Как я могу дать программу, если мне заготовки подают по старому плану? Или взять инструмент, резцы. Ведь безобразное дело!

Он смолк, не решаясь высказать то, что просилось на язык. Но тут же упрекнул себя в трусости и решительно продолжал:

— Мы знаем, что тут присутствует товарищ из инструментального цеха. Говорят, они очень хорошо работают, передовая партийная организация. А мне кажется так: если бы они очень хорошо работали, мы бы это почувствовали. Тогда бы инструмент поступал бесперебойно!

И Николай пошел на место, смущенный и тем, что коротко, нескладно выступил, и тем, что ему дружно хлопали.

Фетисов громко сказал:

— Подкусил нас товарищ Пакулин! Крепко подкусил! Сегодня же передам инструментальщикам: это дело надо исправить!

Диденко хмурился: замечание Пакулина было верное, но пришлось некстати. Собрание гудело, на Фетисова поглядывали с усмешкой: мол, какой ты есть, мы не знаем, а по работе твоего цеха, как видишь, ничего хорошего сказать пока не можем! Григорий Петрович, недовольно пожевывая губами, просматривал ворох записок. С той минуты, как он появился на собрании, в президиум одна за другой полетели записки, адресованные директору. В них упорно повторялись вопросы, связанные с досрочным выпуском турбин, и чаще других вопрос о введении единого планирования по обязательствам. Было и такое требование: «Григорий Петрович, ждем вашего слова по выступлениям Полозова и Воробьева, вам нужно высказаться».

Григорий Петрович задумчиво вгляделся в ряды знакомых лиц. Цвет турбинного цеха, лучшие люди самого решающего участка производства сидели перед ним возбужденные, требовательные, внимательные ко всякой свежей мысли, высказанной с трибуны или брошенной в зал в виде острой реплики с места.

О чем только не говорилось тут: о работе комсомольской организации и о функциях мастеров, о руководстве райкома и о содружестве с учеными, о ремонте станков и о качестве пропагандистов,— и все было важно, необходимо, обо всем говорили и думали критически строго и заботливо. В этом широком круге забот занимал место и Любимов, начальник, от способностей и качеств которого, конечно, многое зависело. «Очевидно, коммунисты во многом правы, но, дорогие друзья, дайте мне идеального начальника цеха, я его возьму! Да и у кого не бывает ошибок! Любимов — один из лучших, опытнейших инженеров. Нельзя давать его в обиду, для пользы дела нельзя! А при Раскатове и Диденко вдвойне нельзя: того и гляди припомнят этого несчастного Горелова!»

Он сам себя остановил: мелочные мысли! И тут же понял, что нужно сказать сегодня коммунистам турбинного цеха, и сразу попросил слова.

— На чем сегодня проверяется боеспособность партийной организации цеха? — спросил он и сам же ответил: — На выполнении краснознаменского заказа! Значит, этой задаче должна быть подчинена вся работа цеховой партийной организации. Вся, целиком!

Николай Пакулин впервые слушал речь директора и впервые находился с ним на одном собрании, где оба были равны, как два члена одной великой организации. Это равенство Николай живо почувствовал с первой минуты, когда директор пришел на собрание, простой, непринужденный, доступный, совсем другой человек, чем тот, каким он казался Николаю во время обходов цеха. Там он был начальник, чей приказ — закон. Здесь его могли свободно критиковать, поправлять, здесь он как бы отчитывался в своих действиях и намерениях. Но именно потому, что никакие официальные преграды сейчас не существовали, Николай с особой остротой понял, насколько выше и сильнее его Григорий Петрович Немиров — не властью, а кругозором, политическим опытом и пониманием, что и как делать. По напряженнейшему вниманию присутствующих Николай чувствовал, что таким воспринимают Немирова все коммунисты.

Григорий Петрович не задерживался на частных вопросах, но показал, как частные усилия, сбереженные минуты и часы, килограммы металла и киловатт-часы электроэнергии складываются в масштабе цеха и завода в месяцы трудового времени, в сотни тонн металла, в тысячи киловатт-часов, в миллионы рублей экономии. Он согласился с Катей Смолкиной: да, нынешние трудности цеха не от бедности, а от богатства, это пережитки минувшего этапа... И тут же раскрыл самую сущность нового этапа развития:

— Новые заводы, строящиеся в нашей стране,— взять хотя бы те, что заканчиваются в Краснознаменском районе,— это заводы крупносерийной продукции. Таков размах, такова по-

требность страны. Наш завод по типу всегда был заводом уникальных машин. А турбины нужны теперь десятками, и турбины небывало мощные, высокого и сверхвысокого давления. Мы должны на ходу перейти к их серийному выпуску. А серийный выпуск требует строгой ритмичности, железного графика и полной механизации всех операций. К этому мы идем, над этим сейчас работаем. Трудно? Да, трудно. Болезнь роста, как и всякая болезнь, вызывает лихорадку. Но мы должны преодолеть ее и, конечно, преодолеем!

Собрание проводило директора долгими рукоплесканиями.

Немиров уже сошел с трибуны, когда прозвучал умоляющий голос Кати Смолкиной:

— Уж до того хорошо сказал, Григорий Петрович,— так скажи еще о Любимове и о планировании!

Немиров развел руками, улыбаясь: поздно, мол, да обо всем не скажешь зараз! Но секретарь райкома громко поддержал:

— Скажите, скажите, Григорий Петрович, раз народ просит!

Немиров неохотно вернулся к трибуне, подниматься на нее не стал, а только взялся за нее рукой и заговорил совсем другим, будничным и даже недовольным тоном:

— С планированием мы разберемся, как сделать, чтобы вам удобней было. Но ведь дело не в том, чтобы планы пересматривать, а в том, чтобы социалистическое соревнование охватило всех, до единого человека! Вот о чем думать нужно, товарищ Смолкина. Двадцать семь процентов нестахановцев — вот где ваша слабость, товарищи. Сделайте эту четверть рабочего коллектива стахановской — вот вам на четверть сокращенные сроки, вот вам реальные резервы сил!

Мысль была верна, ее восприняли с одобрением, но Григорий Петрович видел, что многие не удовлетворены. Однако никаких обещаний он давать не хотел и не считал возможным.

— Вы сегодня крепко покритиковали руководителей цеха,— продолжал он.— Я понимаю горячность собрания и считаю ее полезной. Товарищ Любимов, конечно, учтет критику. Но вряд ли стоит выискивать тут разные линии, из отдельных ошибок искусственно выводить принципиальные расхождения. Все мы большевики, всех объединяет одна цель — Любимова, и Полозова, и Воробьева, и всех нас. К ней и пойдем, товарищи, плечом к плечу.

Раздались жидкие хлопки.

Возвращаясь на свое место, Григорий Петрович физически ощутил разлад с коллективом, недавно так горячо внимавшим его словам. Несколько человек подняли руку, требуя слова. Но Григорию Петровичу хотелось оставить последнее слово за собой. Демонстративно поглядев на часы, он объяснил председателю, что его ждут неотложные дела, попрощался с Раскатовым и пошел к выходу. Перед ним расступались почтительно, но холодно. «Напрасно, напрасно заступился за Любимова! — думал он,

спускаясь в цех.— Конечно, Любимов неповоротлив насчет нового. Правильно определил Полозов этот его дух: «Как бы чего не вышло». Никакой особой линии у Любимова, конечно, нет, а вот гибкости не хватает».

Он прошелся по цеху, придирчиво отмечая неполадки и мысленно подбирая обидные слова, какие скажет завтра начальнику цеха.

А собрание шло к концу.

Николай Пакулин ожидал, что после такой жестокой критики оценка деятельности партийного бюро будет сурова, и заранее огорчался за Ефима Кузьмича. Но целый хор голосов выкрикнул:

— Удовлетворительно!

Никому не хотелось зря хаять партбюро: сделано немало, сил не жалели, за прошлое — спасибо, да только сегодня нужно другое.

К началу выдвижения кандидатур установилась полнейшая тишина. В этой тишине Ефим Кузьмич первым поднялся с места и назвал кандидатуру Фетисова.

Один за другим поднимались коммунисты:

— Клементьева Ефима Кузьмича!

— Анну Карцеву!

— Александра Воловика!

— Воробьева!

— Любимова Георгия Семеновича!

— Полозова!

— Никитина Евгения — от комсомола!

— Гаршина Виктора Павловича!

— Катю Смолкину!

Так как предстояло выбрать семь человек, раздались голоса:

— Достаточно! Закрыть список!

Началось обсуждение кандидатур.

Фетисова попросили рассказать свою биографию. Биография была достойная: человек вырос на заводе и накопил немалый опыт партийной работы.

— Я впервые в турбинном цехе,— сказал Фетисов под конец.— И вижу: коллектив сильный, а положение в цехе трудное. Если вы мне доверите, товарищи, я всеми силами постараюсь оправдать ваше доверие.

Он понравился коммунистам, но то один, то другой шепотом высказывал сомнение:

— Первый раз в цехе — и сразу руководить...

— Еще пока он ознакомится да поймет!

Ефим Кузьмич рассказал все хорошее, что знал о Фетисове. Потом слово взял Диденко:

— Будем говорить прямо, товарищи. Обстановка в цехе сложная, руководство не очень дружное, задачи перед цехом

огромные. Рекомендуя на ваше усмотрение кандидатуру товарища Фетисова, партком рассчитывает, что Фетисов сумеет поднять партийную работу у нас в цехе, обеспечит партийный контроль над производством и внесет с собою свежую струю в вашу организацию.

Молча проголосовали: оставить кандидатуру в списке на тайное голосование.

Под рукоплескания прошли кандидатуры Клементьева, Карцевой, Воловика. Обсуждения не было, собрание дружно кричало:

— Знаем, знаем!

Так же дружно приняли кандидатуру Воробьева, но тут встала Анна Карцева и попросила слова.

— Отвод? — удивился председатель.

Аня, не отвечая, вышла на трибуну. Лицо ее горело.

— Я все собрание думала: выступить или не выступить? — звучно сказала она.— И решила, что молчать нечестно. Скажу, что думаю, а ваше дело — решать. Я поддерживаю кандидатуру Якова Воробьева, но думаю о нем не только как о хорошем члене партийного бюро, но и как о хорошем секретаре партийной организации!

По собранию прошло движение. Не было ни одного возгласа, но тем выразительнее было это молчаливое, напряженное движение.

— Мы познакомились с товарищем Фетисовым, и он, кажется, всем нам понравился. Но сколько времени пройдет, пока он ознакомится со всеми особенностями нашего цеха? А ведь нам с завтрашнего дня работать во всю силу, если мы хотим дать досрочно четыре турбины. Здесь говорилось, что новый человек сумеет внести свежую струю. Но это, по-моему, недоверие к нашей организации. Свежая струя нужна там, где есть стоячая вода или болото.

Снова прошло по собранию движение, на этот раз движение явного и безусловного одобрения.

— Я не думаю, чтобы новый человек сумел помочь цеху лучше, чем товарищ, прекрасно знающий и положение, и людей, и задачи каждого участка. Вы посмотрите, какое творческое движение возникло в цехе по инициативе Воробьева! Это же неисчерпаемый родник! Кто же сумеет направить этот родник лучше того человека, что вызвал его наружу?

Ей ответил гул одобрения.

— Я предлагаю, товарищи, избрать в партбюро, а затем секретарем его, Якова Воробьева, коммуниста-фронтовика, нашего лучшего партгрупорга, рабочего-интеллигента новой формации. Это тоже будет свежая струя, но свежая и сильная струя нашей собственной реки, которую я считаю полноценной и полноводной!

Она сошла в зал под гром рукоплесканий.

Ефнм Кузьмич возмущеиио проворчал:

— Расписала-то как! Послушать, так лучше его ие иайдешь во всей партии!

Но ие выступил.

Диденко, меиявшийся в лице от волнення во время речи Карцевой, стремительио вскочил. Ему пришлось оправдываться, что он совсем ие имел в виду стоячей воды или болота, а слова иасчет свежей струи употребил в том смысле, что...

— Зачем спорить, Ннколай Гаврилович? — перебил Раскатов.— Разберутся коммуиисты! Народ сознательиый. Собранне показало, что оргаиизацня у вас боевая и очень сильиая. Важеи только опыт партийиой работы, а у Фетнсова есть этот опыт, причем опыт передовой партнйиой оргаиизацни передового цеха, которая, в частиости, очеиь миого делает для того, чтобы инструмеит поступал к вам бесперебойио.

— А почему оии иннциативу Воловика столько времени глушилн? — крикиул Жеия Никитии, и по собраиню прошли шум, смех, веселые восклицания. Всех охватил азарт.

— Решайте, товарнщи,— сказал Раскатов, чувствуя общее возбуждение.— Ошибаться иам иекогда. Так что думайте н решайте сами. Ни райком, ни партком вам ничего ие иавязывают.

Следующей обсуждалась каидидатура Любимова. Собранне закричало: «Зиаем, знаем!» — и благодушно проголосовало за оставлеиие каидидатуры в списке, только несколько голосов иапомиили:

— Критику учтите, Георгий Семеиович!

Фамилию Полозова встретили горячо. Ефим Кузьмич высказал было сомиеиие, иадо ли вводить в бюро и иачальиика цеха и заместителя, ио в общем гуле выделился голос Кати Смолкииой:

— А мы ие заместителя выбираем, а коммуииста!

Зато поздиее, когда обсуждалась кандидатура Гаршнна, иесколько голосов запротестовало:

— Еще начальство? Это уж ие партбюро будет, а оператнвное совещание!

Гаршни попросил сиять его каидидатуру, но те же голоса ответнлн:

— Ну вот, иа собраини отмолчался, а тут выскочил!

— Зачем сиимать? Голосоваиие покажет!

Обсуждеиие закаичнвалось, когда поднялся Ефим Кузьмнч, потемиевший, суровый и как будто постаревший.

— Я ие сделал самоотвода вовремя,— тихо сказал ои.— Но я прошу, товарищи, уважить мою просьбу н сиять мою каидидатуру из спнска. Очень прошу. Устал я. И в иовом бюро работать не могу. И ие буду.

— Ну вот! — совсем расстроившись, воскликиул Диденко. - Ведь мы же договорилнсь, Ефнм Кузьмич.

— Нет, нет, не могу. И не выбирайте,— упрямо сказал Ефим Кузьмич и сел.

Собрание молчало. Не хотелось отпускать старика из партбюро, но и не посчитаться с такой настойчивой просьбой трудно. Конечно, устал он... Только почему он надумал самоотвод к концу обсуждения, после выступления Карцевой? Обиделся? По-стариковски рассердился?

Неохотно, с воркотней, небольшим перевесом голосов коммунисты решили «уважить» просьбу своего старейшего товарища.

Наступил момент голосования. Раскрыв партийные билеты, члены партии потянулись к столу счетной комиссии. Получив бюллетени, отходили в сторону, еще раз продумывали список, вычеркивали фамилии тех, кого не хотели избирать, потом опускали листки в узкую щель ящика.

Досадуя в душе, что не имеет права голосовать, Николай старался по лицам окружающих понять, кого они вычеркнули и кого оставили.

Любимов и Полозов, опустив бюллетени, вместе ушли в цех проверить работу вечерней смены. Воробьев тоже пошел в цех, чтобы скоротать время и рассеять волнение. На сдвинутых в сторону столах появились шашки и шахматы. Кое-кто дремал, привалившись к стенке. Гаршин с веселой компанией стоял у окна в волнах табачного дыма и что-то рассказывал; оттуда то и дело доносился хохот.

Раскатов прохаживался по залу, задерживался то у одной группы, то у другой, охотно шутил в противоположность Диденко, который был явно расстроен и зол.

Николай Пакулин стоял у выхода на лестницу, ожидая появления счетной комиссии. Он мысленно уже давно и очень точно проголосовал, и теперь его лихорадило от нетерпения: так ли решит собрание?

Услыхав на лестнице голос Бабикова — неизменного председателя счетных комиссий при любых цеховых выборах,— Николай бросился в столовую с криком:

— Идут! Идут!

Коммунисты мгновенно и почти бесшумно расселись по местам. Кто-то громко вздохнул, когда Бабиков особым, как говорили в цехе — «парламентским» тоном читал вводную часть протокола.

— Преамбула,— пошутил Гаршин, стараясь выглядеть равнодушным.

— Объявляю результаты голосования!

Бабиков запнулся, поглядел в сторону Фетисова и Диденко и торжественным голосом прочитал:

— Фетисов — двадцать пять голосов; Карцева — сто пять, Воловик — сто десять, Воробьев — сто пять; Любимов — семьдесят восемь, Полозов — сто три, Никитин — сто десять, Гаршин — двадцать, Смолкина — сто десять.

Любимов, весь красный, прыгающими пальцами мял папиросу. Диденко вскочил, снова сел, быстро заговорил, пригнувшись к Фетисову. На Фетисова все старались не смотреть — он крепился изо всех сил, и всем было жалко его, потому что человек ни в чем не виноват. А Бабиков торжественно продолжал:

— Таким образом, по большинству голосов оказались избранными в партийное бюро: Воловик — сто десять, Никитин — сто десять, Смолкина — сто десять, Воробьев — сто пять, Карцева — сто пять, Полозов — сто три, Любимов — семьдесят восемь.

Ефим Кузьмич встал — высокий, прямой, нахмуренный, надел шапку, застегнул на все пуговицы пальто и медленно прошел через зал к выходу.

Воробьев проводил его растерянным взглядом. Чутье подсказывало ему, что Ефим Кузьмич резко и как-то вдруг рассердился на него. И он не мог понять, за что. Недоволен, что провалили Фетисова? Что выбрали Воробьева? Но ведь он-то, Воробьев, ни при чем, он-то этого не добивался, выступление Карцевой его самого ошеломило!

Раскатов говорил расстроенному Диденко:

— Что ж, Николай Гаврилович, век живи — век учись. Промеж начальства обговорили, а на люди вышли — и оконфузились. Тебе-то ничего, наука. А Фетисову за что страдать?

Аня Карцева, отстраняя толпившихся вокруг нее людей, подошла к ним и не без лукавства спросила:

— Сердитесь на меня?

Она торжествовала победу и не пыталась скрыть это.

Диденко буркнул:

— Раньше бы спросила.

А Раскатов слегка обнял ее за плечи и повел к Воробьеву:

— Ну, голубчики, теперь держитесь.

13

Вечерело. Уже приближалось время белых ночей, и с каждым днем все позже темнело, уличные фонари висели в туманном полусвете, ничего не освещая.

Движение около завода затихло,— редко когда выйдет из проходной запоздавший работник. Дневная смена разошлась, вечерняя давно работает. Не слышно больше ни торопливых шагов, ни дружеской переклички возле учебного комбината: во всех его окнах горит свет, и с улицы можно увидеть ряды голов, склоненных над конспектами, юношу, пишущего мелом на доске... В этот час движение перемещается к Дому культуры — со всех сторон группки, пары и одиночки спешат к его освещенному подъезду.

Тихим переулком, взявшись под руки, шли туда две девушки, две подружки. Сперва торопливо — ведь скоро семь! — а потом все медленней, потому что возник разговор, который жалко оборвать.

— И что же он?

— Понимаешь, улыбается, смотрит... При встрече скажет: «Здравствуй, Валечка!» или: «Здравствуй, красавица!» — и все...

— Валя! Про него говорят, что он... ну, очень легкомысленный...

— Это неправда! Он просто красивый и веселый, про таких всегда говорят. И потом, Ксана, я все равно никого другого... ну, вот что хочешь пусть говорят!..

Ксана тихо сказала:

— Я думала, так только в романах бывает.

Слова подруги придавали особую значительность Валиным переживаниям, и Валя спросила с невольной снисходительностью:

— А у тебя, Ксана... ничего?

Ксана покачала головой, вздохнула и вдруг решительно сказала:

— А я вот что думаю, Валя. Если бы я полюбила, как ты... Я бы сама ему сказала. Взяла бы и сказала.

— С ума сошла! Что ты, Ксанка!

— Сказала бы.

Засмеялась:

— Ой, мне, наверно, нельзя влюбляться! Глупостей наделаю... Но все равно, маяться не стала бы.

И она подтолкнула Валю, указывая на высокую фигуру, бродившую возле Дома культуры:

— Смотри, твоя тень тут как тут.

Валя небрежно ответила на поклон, но в раздевалке позволила Аркадию сдать свое пальто и ботинки.

— Ксаночка, пора! — крикнула она.— Мы удерем с репетиции послушать, когда актриса выступать будет!

На стене висела большая афиша: «Молодежный вечер инструментальщиков! В гостях знатные люди, бывшие работники цеха».

Возле афиши стоял Николай Пакулин:

— Здравствуй, Ксана.

— Здравствуй, Коля.

— Мне очень хочется на ваш вечер.

— Так пойдем, проведу.

У входа в зал Ксану сразу окружили ее комсомольцы. Николай стоял в сторонке и прислушивался — кому-то не хватило билета, за дважды лауреатом послали машину, но второпях не дали шоферу адреса, чтобы прихватил актрису... Музыканты согласны играть танцы только до двенадцати, а не до часу...

У контроля началась толкотня: молодежь из других цехов пыталась прорваться в зал, а ее не пускали.

— Что ж, вы своих знатных людей для себя бережете? — кричала какая-то девушка стоявшему на контроле комсомольцу.

Комсомолец загораживал руками дверь и укоризненно отвечал:

— Нелепая постановка вопроса. Очень нелепая.

Николай ждал, что Ксана вот-вот освободится и, быть может, хоть на минутку подойдет к нему. Но Ксана прошла мимо, чем-то озабоченная.

Николай смотрел, как она появилась в президиуме, шепотом отдавая последние распоряжения своим помощникам. Да как он мог ждать, что она подойдет, что она вспомнит о нем! Что он ей? Она была мила с ним в тот вечер, после митинга... и там, среди березок... Так ведь потом она убедилась, что он просто дурак, не умеющий связать двух слов!

А по лестнице все еще толпой шла молодежь, у вешалок образовались очереди, возле зеркал теснились девушки, поправляя прически.

В этой веселой суете, сильнее обычного сутулясь и стараясь ни на кого не смотреть, стоял Александр Воловик, нагруженный двумя пальто — своим и Асиным — и двумя парами галош. Рядом с ним стояла Ася, держа в руках его шапку, свою шляпу и два шарфа. Очень тоненькая в черном платье, взволнованная тем, что впервые после своего несчастья вышла на люди, Ася робко оглядывалась и жалась к мужу.

На них налетел распорядитель с красной повязкой на рукаве.

— Зачем же вы стали в очередь, Александр Васильевич? — возмутился он и, подхватив пальто, протиснулся к барьеру гардероба.— А ну, пропустите, ребята, знатного гостя нашего цеха!

— Да ты что, Павка! — краснея, забормотал Воловик.— Невесть что болтаешь, честное слово...

Но Павка был неумолим:

— Асенька, давайте шапки. А галоши где? И почему это не знатный гость? Оттого, что свой? Так у нас все свои. Пошли, Александр Васильевич, прямо в президиум, а вас, Асенька, в первом ряду посадим.

И Павка заспешил наверх, где уже звенел звонок, а за ним шли порозовевшая от гордости Ася и вконец смущенный Воловик. Ася подтолкнула его, указывая на афишу. Она сразу приметила среди лауреатов и героев его имя: «Изобретатель А. В. Воловик». Он еще гуще покраснел. Конечно, это преувеличение, свои ребята постарались, но все равно: то, что происходило с ним последние дни, было похоже на сон. Фотографии в газете, премия, благодарность, всюду выбирают в президиум, и вот сегодня...

Звонок звенел все настойчивей. Запоздавшие уже бегом бежали по лестнице, в раздевалке стало пусто. Только один человек неторопливо снял пальто, рассеянно сунул в рукав шапку,

которая тотчас же и вывалилась оттуда, стал стягивать галошу, воюя с неподатливым задником и думая о чем-то своем.

— Николай Гаврилович, шапку обронили,— сказал гардеробщик, перевешиваясь через барьер и пытаясь дотянуться до шапки, лежавшей на затоптанном полу.

Диденко подхватил шапку, подал ее гардеробщику и пошел, так и оставив галоши там, где снял их. Гардеробщик вышел из-за барьера за галошами и удивленно посмотрел вслед Диденко: что это с ним?

А Диденко постоял в нерешительности на лестнице и не пошел в зал, а побрел по коридорам, прислушиваясь к звукам клубной жизни, доносящимся из-за дверей. Тут настраивают инструменты, там хор послушно повторяет одну и ту же музыкальную фразу, где-то смеются, откуда-то доносится обрывок плавно развиваемой мысли: «... и вот мы видим, что мельчайшие частицы материи...»

Он и сам не знал, зачем он тут ходит. Ксана Белковская настойчиво приглашала на молодежный вечер, и он обещал зайти, потому что хотелось повидать дважды лауреата и доктора технических наук Петрова — они вместе кончали фабзавуч много лет назад,— и хотелось поглядеть на бывшую табельщицу Зину Воронцову, теперь заслуженную артистку. Всего этого ему хотелось вчера, сегодня такого желания не было, но около семи он охотно ушел с завода, потому что не любил работать в плохом настроении.

А сегодня — ну что хочешь делай! — с самого утра все пошло нескладно и, как нарочно, напоминало о том, что было бы приятней забыть. Началось с того, что позвонил Раскатов: надо бы пойти на заседание партбюро турбинного цеха, помочь новому секретарю. Потом пришлось зайти к Немирову, с которым следовало поговорить по поводу его вчерашнего выступления,— ведь нехорошо выступил, смазал ошибки Любимова, по существу поддержал его против совершенно правильной критики... Но директор сам первым пошел в наступление:

— Да-а, провалились мы вчера в турбинном... Как же это мы не подготовили народ, не обеспечили поддержку Фетисову?

Он говорил «мы» точно так же, как обычно говорил Диденко, обвиняя в чем-либо директора, и говорил это подчеркнуто, с затаенной насмешкой. И еще он сказал:

— Что ж, Николай Гаврилович, теперь вам придется усиленно заниматься турбинным... а то ведь и работу завалить недолго!

Диденко сразу вызвал к себе Воробьева, но в это время приехал инструктор горкома и, конечно, заинтересовался перевыборами в турбинном, так что пришлось подробно рассказывать и делать выводы...

Ох уж эти выводы! Как их легко делать, когда о других людях

речь, а вот насчет себя самого... Вчера ночью, когда он пришел домой, Катя успокаивала его, как своего школяра: «Ну что ты, в самом деле, ведь плохого ничего не случилось? Выбрали стóящего?» А когда он рассердился, засмеялась, обняла: «Что ж, давай поскулим вместе...»

Он и Раскатову сказал сегодня:

— В чем дело? Ведь плохого ничего не случилось. Внутрипартийная демократия. Выбрали кого хотели, парень стóящий.

Раскатов ответил:

— А я очень доволен этими выборами. Но вам-то кое-какие выводы сделать следует.

— Ну хорошо, ну знаю, согласен! — раздраженно повторял Диденко, без цели шагая по клубному коридору.— Но можно дать человеку подумать самому?

От нечего делать он заглянул в малый лекционный зал — там сидело человек шестьдесят, все начальники участков и мастера. Шла лекция по экономике производства. Поскрипывали перья. Один Гусаков, обиженный тем, что его заставили на старости лет учиться, из упрямства ничего не записывал, небрежно откинувшись на спинку стула. А вот и Ефим Кузьмич... «Ох, Кузьмич, как же это у нас с тобой получилось?»

Второй лекционный зал был погружен в полумрак, только над сценой горела лампа, и там в глубоком кожаном кресле сидел токарь турбинного цеха Аркадий Ступин, а Валя Зимина примостилась на ручке кресла и ласково ерошила волосы Аркадия.

Режиссер сидел поодаль от них верхом на стуле, опираясь локтями на его спинку. Несколько юношей и девушек — очевидно, ученики драматической студии — наблюдали репетицию из зала.

Диденко тихо вошел в полутемный зал и присел у входа.

— ...для меня такое счастье,— не своим, напряженным голосом говорил Аркадий,— что ты можешь наконец не стенографировать, не писать на машинке, что ты можешь привыкать быть просто хозяйкой этого дома. Хозяйкой — и все.

— Ступин! — удрученно прервал режиссер.— Как вы говорите это? Ведь рядом с вами сидит любимая женщина, жена! Может быть, очень скоро ваше счастье рухнет, и вы это знаете, но сейчас вам хорошо, она хозяйка вашего дома. Ну, повторите сначала!

Диденко смотрел, как ежится Аркадий под ласковой рукой Вали, слушал, как он старательно и неестественно произносит текст. Молодость! Сейчас ему кажется, что нет ничего важнее того, хорошо или плохо произносит он эти слова. Или того, что думает о нем Валя.

«Вот бы мне так, без этого груза ответственности, без ошибок и «выводов»... А впрочем, вздор. Разве в молодости нет чувства ответственности? Мы ж чувствовали себя в ответе за весь мир, мы ж за мировую революцию отвечали! Наверно, и Аркадий, а уж во всяком случае Валя — они чувствуют, что этот их спектакль об

Америке — удар по нмперналнзму, по поджнгателям войны. У иас это было иначе, ио суть-то та же!.. Живые газеты. Сннеблузннкн. Зннка нграла тогда в одном номере н Чемберлеиа, и Пуанкаре-войну, н еще кого-то. Здорово у нее получалось! Сунет в глаз монокль, а в угол рта снгару, оттопырнт губу, вздернет одно плечо, н пожалуйста — Чемберлеи! Потом угодлнво согнется, растянет губы в елейиую улыбочку — социал-предатель! Как ей хлопали, как ее вызывали! А оиа выбежнт на сцеиу, все еще во фраке и узких брючках, улыбнется своей собствениой улыбкой — и вот она, Зннка, своя, заставская озорница!

...А с Воробьевым сегодня ие вышел разговор. Не было подъема, увлечення, вот и не сумел новому партнйиому работннку рассказать о сущности партнйиой работы так, как умел рассказывать обычно, чтоб до сердца пробрало... Что думает обо мие Воробьев? Вчерашняя нсторня, коиечно, моего авторитета не подияла. И иадо же было мие, дураку, разобндеться, иадуться на глазах у целой органнзацнн н уйтн, даже ие попрощавшнсь. Ох, нехорошо!

Нежный женский голос вдруг сказал:

— Ты иичего ие поимаешь...

Диденко вздрогнул от неожнданностн, но тут же усмехнулся: это режнссер кончил терзать Аркадия Ступина, и в строй вступила Валя со своей репликой. Однако какой у нее славный голос, и вообще как у иее мнло и естествеиио выходнт — не то что у Аркадня! А может, потому у иего н ие выходнт, что она ерошит его волосы? Интересно наблюдать, как завязываются н развиваются все этн романы, ссоры, свадьбы,— сколько нх уже прошло на глазах!

А Воробьева я даже не спроснл, есть лн у иего семья... Ни о чем толком не расспросил, бубннл что-то элементариое... Не мог преодолеть досады? Нет, не то. Удпвнл он меня. Где мон глаза былн раньше, что не заметил? И Ефим Кузьмнч что-то иевразумительное говорнл про него, вроде н ничего парень, вроде н не очень хорош. Как это он не разобрался?..

Дидеико снова и снова прнпомннал утренний разговор. Воробьев вошел застенчнво, с блокнотом в руке,—казалось, начнет запнсывать каждое слово, как школьннк. Поначалу так и вышло: раскрыл иаполовнну нспнсанный блокнот н признался, что вчера же после собрання бегал советоваться с приятелямн — цеховыми партсекретарямн...

Как ни был раздражеи Дндеико, он одобрил парня: не знает, как справиться, так хоть не стыдится спрашнвать.

— С кем советовался?

— С ребятамн из второго механнческого и нз цеха металлоконструкций.

— Секретарн хорошие,— сказал Диденко, подумав про себя, что этн «ребята» работают на партнйной работе по миогу лет, так что Воробьеву с инмн тягаться трудно.— Только ты учтн, друг, цеха у них благополучные, налаженные, а у вас — обстановочка...

И вот тут-то Воробьев, отложив блокнот, поднял иа Днденко ясные глаза и сказал:

— Так иадо менять обстановку. Я думаю, с этого н начинать?

Блокнот остался лежать на столе, а Воробьев говорил свободио н мысли высказывал четкне, без обнняков. Он был не прочь прнслушаться к советам Днденко, но Днденко уловнл, что у пария обо всем есть свое миенне, нногда иеожнданное.

— Ведь у иас что получнлось? Три руководнтеля в цехе,— говорнл Воробьев с усмешкой.— Любнмов — тот вроде мнннстра нностраниых дел. Полозов для виутреиинх сношенний. А где пожариая комаида нужиа, там Гаршнн: спасай, братцы, горим! Грому на весь завод. Так ведь по крыловской басие выходнт? Лебедь, рак да щука!

— Рак — это Любнмов, что лн?

— Да иет, в жнзин оно сложней,— ответнл Воробьев.— Вот с турбннами. Копни Любнмова поглубже — у него взгляд определеннный: трн турбнны к октябрю, больше ие выполнить. Но ему хвост прищемнли, он согласился, что надо четыре,— протнв народа не попрешь. А выдюжить такое дело ему не под снлу. И на это у него Полозов. Послушаешь — оин ие ладят. А вам каждый стахаиовец скажет: Любнмов доволеи, что у него замом Полозов, н без него не остался бы в цехе.

Диденко подскочнл от уднвлення:

— Почему?!

— А потому что выгодио. Полозов нажнмает, ои парень горячнй, ответствеииостн ие боится, лншь бы не мешалн. Вытяиет ои четыре турбнны досрочно — все равно Любнмову честь н слава, он же начальннк! Не вытянет — «я же говорил!». А тут еще на Полозова свалнть можио — суетнлся, мол, коллективное творчество развнвал, а дело-то завалил!

Днденко с острым интересом ждал, какой же план действнй иаметил этот ухватистый парень. Критиковать-то проще...

Но н тут у Воробьева наметка была четкая — оргтехплан, расстаиовка снл коммуинстов иа главиых иаправлениях, планироваине всех четырех турбни сразу.

Днденко слушал его н думал: «Ннчего ие скажешь, стóящий парень, готовый партийный работник!» Но когда от главиых задач партбюро перешлн к самым простым делам, у Воробьева вдруг пропала решнтельность. Он боялся протоколов н вообще всего партнйного хозяйства, сбор членских взносов приводнл его в смятенне, он робко выспрашивал, как вести ведомостн, куда сдавать протоколы, и тщательно записывал каждое указаине.

Взрыв смеха в зале вывел Днденко нз задумчнвости. Сразу н не понять было, что случнлось на сцене, Аркаднй сндел весь красный, Валя возмущенно выпрямнлась.

— А как же еще? — оскорбленио спроснла она.

— Ну, Валечка, я не могу учнть девушку, как целовать любнмого человека,— сказал режнссер.— Но так, как вы это делаете, можно целовать только свою тетю.

Студнйцы, сндевшне в зале, снова засмеялнсь, и Диденко засмеялся. Аркаднй сжал кулакн — вот-вот полезет в драку.

Но в эту мннуту чья-то голова просунулась в дверь:

— Ребята, сейчас Воронцова выступать будет!

И все студнйцы, сколько нх было тут, помчалнсь к выходу.

Когда Диденко вошел в переполненный главный зал, возле стола, покрытого красным сукном, стояла осаннстая женщнна в черном шелковом платье с ннткой яркнх бус на шее. Лнцо было краснвое, красивей, чем в молодостн, но чужое, совсем не Знннкн-но. Голос — тоже не Зннкнн, а серьезный н в каждой ннтонацнн положнтельный. Говорнла Воронцова негромко, но так отчетлнво н умело, что каждое словечко долетало до последннх скамеек:

— Трудно для актера, что один эпнзод дробнтся нногда на пять-шесть киносъемок, а то н больше, а между съемкамн проходят неделн! И каждый раз нужно возобновлять съемку в том же состоянии, в той же самой тональностн. Вот недавно я сннмалась в таком эпнзоде: я бегу по полю в деревню сообщнть очень волнующую новость. Первая съемка была летом в поле. Я бегу, бегу...— она нзобразнла, как она бежала запыхавшнсь, желая добежать раньше всех, н в ее мгновенно преобразнвшемся лнце возродилась прежняя Зннка, отчаянная н порывнстая заставская девчонка.

После ее выступлення Днденко прошел на сцену, н Знна Воронцова вскрнкнула, увндав его, шнроко развела рукн н на глазах всего зала пошла к нему:

— Коля Днденко! Настоящнй, всамделншный Колька Днденок!

Обняла его, расцеловала, отстраннлась, чтобы разглядеть его, снова поцеловала в обе щекн, потом вынула платочек н стерла с его щек следы губной помады.

— Днденок! — повторяла она, восторженно оглядываясь на окружающих, чтобы все оценнлн прелесть этой встречн давннх друзей.— Ну, пойдем, побродим где-ннбудь н поговорнм, я же тебя тысячу лет не вндела!

Онн пошлн по пустынным гостнным,— только кое-где в углах сиделн парочкн. Знна локтем подтолкнула Днденко:

— А этнм н знатные людн неинтересны сегодня, н на меня нм наплевать — играет, ну н пусть нграет, да? И мы когда-то такнмн былн... А как ты меня находншь? — требовательно спросила она.

Ей хотелось все осмотреть, она тянула его нз комнаты в комнату н всем восторгалась:

— Хорошо здесь стало!.. А ты помнишь, как он строился, этот наш дворец? Воскресники, субботники... кирпичи таскали... а?

— А ты помнишь, как мы плясали на открытии?

— А помнишь, мы ставили инсценировку какую-то, и героя убивали, а я рыдала над трупом, а потом вскакивала с красным знаменем и произносила пламенную речь? А ты ведал осветительной частью и запустил такие световые эффекты, что я все время была то вся красная, то зеленая, то лиловая...

— И ты ужасно злилась, потому что считала, что лиловое тебе не к лицу!..

Выступления, видимо, кончились, в гостиные хлынула молодежь, и сразу потянуло холодом,— в зале открыли окна.

— Дует,— сказала Зина, поеживаясь.— Пойдем в уголок, я боюсь простудить горло...

— Ну, а теперь рассказывай,— сказал Диденко, усадив ее в сторонке, где не было сквозняка.— Как ты живешь? Работается хорошо?

— Всякое бывает: и хорошо и плохо,— с чувством ответила Зина и начала рассказывать, поглядывая на молодежь, которая усердно ходила мимо, чтобы рассмотреть актрису.

Диденко слушал, то и дело отвечая на поклоны. Вот прошел Николай Пакулин: с чего это он забрел к инструментальщикам, и почему один, и почему у него такой грустный вид? Вдали мелькнула Ксана Белковская с дважды лауреатом Петровым,— старательно занимает разговором почетного гостя. Прошел Евстигнеев с секретарем партбюро. А Фетисова нет? Фетисов!.. Диденко даже охнул от злости на самого себя — подвел человека, а сегодня и не вспомнил, не вызвал, не поговорил...

— Ты какой-то смутный, Диденок. Или мне кажется?

— Нет, Зина, не кажется. Ты извини.

— А что такое?

— Да, в общем, ничего особенного... Как бы тебе объяснить? Знаешь, в нашей работе...

— Да чего там «как бы объяснить»! — передразнила она.— Что я, партийной работы не понимаю? Ты со мной не шути: три состава — член партбюро, и секретарем была, еле отпросилась. И притом в театре, это гораздо сложней, чем на заводе. Творческий коллектив, самолюбия и все прочее. Так что можешь говорить без переводчика!

Он рассмеялся — и как-то сразу стало легче.

— Значит, ты знаешь, нам по штату положено замечать да выправлять чужие грехи. Ну, а когда сам?

Зина широко улыбнулась:

— Так мы ж не боги! Сверху или снизу — поправят!

— Вот именно, сверху и снизу,— проворчал Диденко.— Не знаю, может, это в вашем особо сложном творческом коллективе считается легким, когда и сверху и снизу...

14

История с автоматическим регулятором неожиданно разрослась в проблему, захватившую все помыслы директора. Немиров видел недоумение Дияденко: директорское ли это дело? На то есть конструкторы, главный инженер, ученые консультанты... Да и ошибка ведь найдена?

Ошибка была найдена. Приехав прямо к Котельникову, профессор Карелин заперся с ним вдвоем и быстро развеял невольную обиду конструктора, заставил рассказать весь ход поисков, а затем пошел в цех. Работникам стенда понравилась дотошность ученого. Он всех расспрашивал, выслушивал любое мнение; потом, присев на корточки возле разобранного регулятора, стал разглядывать некоторые его детали. Старейшего мастера сборки Перфильева он попросил рассказать, какие приключались недоразумения с регуляторами. Перфильев старательно припомнил все, что случалось на его веку, и забрался было в такие давние времена, что профессор засмеялся:

— Ну, тогда!.. Мы-то с вами тогда уже были, а вот современного регулирования не было! Это давайте отставим.

Вернувшись в конструкторское бюро, профессор долго мыл руки, напомнив Котельникову врача перед операцией, и задумчиво сказал:

— Кажется мне, что дело в золотниках. Значения моим словам пока не придавайте. Это, если хотите, интуиция. Или первая рабочая гипотеза. Знаете: если сопоставить все истории, которые припомнил этот старикан... Впрочем, гадать не будем.

Назавтра он приехал с двумя своими аспирантами и подверг всю конструкцию и все расчеты анализу, в котором как будто и места не было первоначальной догадке. Конструкторы помогали чем могли, углубясь в сложнейшие теоретические дебри. Прошла неделя напряженного труда, и ошибка была найдена — неудачная конструкция «окон» золотника.

Григорий Петрович горячо благодарил профессора и, как был, без пальто, проводил его до машины. Он приятно удивился, когда дня через два снова увидел Карелина, бодро шагающего через двор по направлению к конструкторскому бюро. Еще через два дня Григорию Петровичу понадобился Котельников, но оказалось, что Котельников поехал в институт, к профессору Карелину, делать какое-то сообщение на кафедре.

Тем временем исправленные чертежи были спущены в цех, золотники изготовлены, регулятор собран и испытан. На испытании Григорий Петрович снова увидел профессора. В спецовке и старых, вздувшихся на коленях брюках, Карелин оживленно переговаривался с Котельниковым и стариком Перфильевым.

Григорий Петрович подошел поздороваться. Профессор, как

заправский металлист, подобрал к ладони замасленные пальцы и подставил для пожатия запястье.

— Блестяще работает? — спросил Григорий Петрович, с нежностью оглядывая регулятор, доставивший столько мучений.

— Кто? — невпопад переспросил профессор, тут же понял, улыбнулся и пробормотал: — Да, ничего, хорошо.

Он ушел с Котельниковым, не дождавшись конца испытаний.

Регулятор установили на место.

Григорий Петрович не мог нарадоваться, сборщики работали с праздничными лицами, да и все рабочие цеха, проходя мимо стенда, неизменно задерживали взгляд на затейливой надстройке, на сверкающих колонках «минаретов»,— стоят!

А вечером главный инженер зашел в кабинет директора и утомленно сказал, как бы продолжая разговор:

— Обидно все-таки, что додумались так поздно и первоклассная машина пойдет с несовершенным регулированием.

— Да вы что, Дмитрий Иванович?!

В кабинете было по-вечернему сумрачно. Григорий Петрович включил свет, чтобы разглядеть лицо Алексеева. Алексеев сощурился и упрямо повторил:

— Да, отсталое, несовершенное регулирование на машине-красавице! Очень обидно!

— Позвольте! Общепризнано, что более совершенных машин ни у нас, ни за границей нет. Проект вызвал не только одобрение, но и восхищение... Была промашка с этими «окнами», но ее исправили... Профессор Карелин — самый крупный специалист в этих вопросах...

— Да,— подтвердил Алексеев.— Именно в содружестве с ним Котельников разработал совсем новую схему регулирования. Схему более простую и красивую, более прогрессивную и безотказную!

Он подождал вопросов, не дождался и сказал с необычной для него твердостью:

— На следующих трех машинах придется регулятор ставить новый.

— Но предварительное испытание прошло блестяще! — воскликнул Немиров, защищаясь от нового осложнения.— Да что они, шутки со мною шутят?

Алексеев вздохнул и промолчал.

— Вы познакомились с этой их... выдумкой?..

— Да! — сразу оживился Алексеев.— Да, Григорий Петрович! И что же будешь делать, когда техническая мысль не стоит на месте! Новая схема оригинальна и проста, как все гениальное.

— Уж и гениальное! — проворчал Немиров и, как-то странно посмотрев на Алексеева, рассеянно сказал: — Ну ладно, об этом успеем.

Он начал складывать и убирать в ящики стола накопившиеся за день бумаги, привычной возней смиряя волнение.

Алексеев неподвижно сидел в кресле, грузный, обмякший, давая отдых всему своему большому телу, раз выпала нечаянная минутка. Ему не нужно было ни спорить, ни выслушивать возражения или сомнения. Он понимал и жесткую неумолимость сроков, и рискованность переделки «на ходу» одного из ответственнейших узлов машины, и материальные осложнения... Все, что мог возразить директор, Алексеев уже сказал себе прежде, чем прийти сюда.

— Черт возьми, мы не опытная лаборатория, не научно-исследовательский институт, а завод! — с раздражением сказал Немиров, захлопывая ящики, и вдруг вскочил с юношеской легкостью: — А в общем, утро вечера мудренее!

Выйдя во двор, в полумрак тихого, непривычно теплого весеннего вечера, он увидел освещенные окна конструкторского бюро и свернул на приветливый огонек.

Небольшой дом, окруженный молодыми деревцами, стоял в конце главной внутризаводской аллеи, протянувшейся на добрый километр. Глаз издали примечал белые матовые плафоны и зеленые колпачки настольных ламп. От домика веяло сосредоточенной тишиной, которую подчеркивала грохочущая неподалеку жизнь производственных корпусов.

«А ведь одного от другого уже не отделишь»,— сказал себе Немиров, и завод представился ему не таким, каким он ощущал его обычно — хорошо изученным, до конца понятным производством,— нет, сейчас он представился вечно меняющимся и движущимся, насыщенным огромной внутренней работой обновления и роста.

Внезапная мысль, мелькнувшая еще во время разговора с Алексеевым, вернулась и заставила Немирова замедлить шаги. Жизнь все время вмешивается, понукает, и с прежними соображениями хозяйственника не проживешь — куда там! Был у недальновидных директоров такой идеал — хорошо освоенная продукция неизменного типа... А сейчас и не заговоришь об этом: засмеют! Выпускаешь великолепные машины, да еще в этакие сроки,— и все равно: тянись выше, совершенствуй... Пусть над тобой висит план, себестоимость... ан нет, выкручивайся и умей делать так, чтоб и одно и другое совместить! Черт возьми, этот злосчастный регулятор вдруг поднял кучу вопросов. Где-то они назревали, беспокоили, а тут все сразу вылезли наружу. Формула ясна — технический прогресс. И суть проста: было три центра — наука, конструкторы, производство. Сблизились, сцепились, требовательно воздействуют друг на друга. Складывается новая традиция. Слово для нее найдено теплое, радостное — содружество. И ты, директор, со своими промфинпланами, лимитами, обязательствами, сроками, никуда от этого не денешься.

Он остановился один на полутемной аллее и сам себе до конца уяснил: весь смысл содружества в том, чтобы время между

рожденнем новой иден н ее воплощеннем в металле сократнть. «Значит, моя задача — сделать так, чтобы оно сокращалось максимальио быстро. Чтобы весь путь технического прогресса — от кабинета ученого до станка рабочего — был упрощен н облегчен».

— Так, так,— пробормотал он и тут же вздохнул: — Это прекрасно, но попробуй-ка не сдать турбины в срок!

Как он н ожндал, все работннки, заннмающиеся регулятором, былн на местах. На подоконнике лежали сверткн с булками и разной снедью — верный прнзнак того, что людн прнготовнлись к ночному бдению. А в кабинете рядом с Котельннковым сидел Карелин. Белый ежик профессора н густые, спутанные волосы главного конструктора дружно склонились над чертежом.

Обе головы разом подиялнсь, две пары глаз выжндательно уставилнсь на вошедшего.

— Ну, рассказывайте, что вы тут надумалн, «все вверх дном»,— сказал Немиров, мимоходом сжал руку профессора н подсел к чертежу.— Только терминологней не оглушайте, я в регулнровании не специалист.

Признание далось ему нелегко, он не любил показывать, что знает что-либо хуже других. Но сейчас ему было необходимо подробное и понятное объясненне существа нового проекта, иначе — как принимать решенне? Можно созвать технический совет и авторнтетно руководить заседаннем, нащупывая в разноголосице мнений наиболее здравую точку зрения. Но разве это заменит собственную убежденность, вот это алексеевское «оригинально и просто, как все гениальное»?

Котельннков затребовал старую схему, приколол ее рядом с новой. Он объяснял толково н строго, будто читал лекцию, н только порой горячая интонация, не соответствовавшая сухости технических понятий, выдавала его влюбленность в новый проект.

Немиров слушал и вглядывался в лежавшие перед ним схемы, стараясь уловить преимущества нового регулятора. Но он слишком плохо разбирался в технике регулнрования, чтобы понять это. Зато опытный глаз инженера прнметнл внешнее нзменение многих деталей.

— Интересно,— скупо одобрил он, дослушав объяснення, и спросил, насколько значительны будут перемены в деталях, могут лн быть использованы уже изготовленные детали н уже отлнтые заготовки.

— Кое-что,— осторожно ответил Котельников.

— Что ж, готовьтесь доложить на техническом совете. Тогда и решим.

Машина ждала у подъезда. Он сел в нее и закурил, хотя обещал Клаве не курить на свежем воздухе.

— В Дом культуры,— сказал он удивленному Косте.

Техническая бнблнотека была уже закрыта, ио ему удалось перехватить у выхода бнблиотекаршу. Сухонькая женщнна с гладко зачесаннымн седыми волосамн без возраженнй взяла у вахтера ключ, открыла библиотеку н молча достала каталогн.

— Все, что у вас есть по регулнрованию турбин,— сказал Григорий Петрович.

— А-а! — протянула она, бросив на директора любопытный взгляд, и, отложив каталоги, стала перебирать читательскне карточки. Выиув одну, пробежала глазами иедавиие запнсн н пошла собнрать журналы и киигн. Читать приходилось «вверх ногамн», ио Григорнй Петрович все-таки разобрал фамнлню чнтателя — Полозов.

— Я вижу, дорожка уже протоптана,— пошутил ои, иемного задетый тем, что ннженер опередил его.

— Да,— откликнулась библиотекарша с верхией ступенькн передвижиой лесенкн,— в последний месяц почему-то большой спрос на литературу по регулнрованию. И, знаете, самые неожнданные люди нитересуются. Мастер Перфильев нз турбнн-ного раиьше только беллетристнку брал, а ко мне впервые прншел, и тоже иасчет регулироваиня.

— Ну-ка, покажнте, кто нменно интересуется.

Она охотно перебнрала формуляры, по памяти вынскнвая нужные:

— Воробьев Яков Аидреевнч,— он вообще много берет технической литературы. Пакулин Коля,— тот все по обработке металла читал н вдруг тоже регулированием увлекся. Коршунов Иван Семеныч. Анна Мнхайловна Карцева для технического кабннета целую бнблнотечку по регулнроваиню взяла, на щнте выставнла. Да, технолог Шикии просмотрел литературы по регулнроваиию почтн столько же, сколько Полозов. Ну, конечно, Воловнк с Никитииым...

— Почему «коиечно»?

— О, это мои постояииые, частые гости! Они н свон собствениые библиотекн собирают, советоваться приходят, по-купкой похвастать.

— Свои?..

— Да! Воловнк — тот уже давио полюбил техиическую кннгу. А Женя Никитии — недавно, но сразу, знаете, прнстрастился по-настоящему. Это ведь замечаешь даже без разговора, как человек книгу в руки берет.

Грнгорий Петровнч впервые вннмательио, с ннтересом посмотрел на бнблнотекаршу. «Вот н еще один огонек»,— про себя сказал ои, забнрая солидную пачку кинг и журналов.

Клава ахиула, увндав мужа с такой кучей кииг:

— И это все надо прочитать?

— Ну что ты! Просмотрю, чтобы орнентнроваться в вопросе.

Это было легко сказать. Но когда он раскрыл журнал со статьей профессора Карелина, особенно интересовавшей его, оказалось, что он в ней многого не понимает,— статья была рассчитана на хорошо подготовленного читателя. Заглянул в другую статью, более общего характера, но та была лишена живости и образности, свойственных стилю Карелина, и усыпляла множеством формул. Он отложил журналы. Нужно было для начала оживить в памяти выветрившиеся институтские знания и с их помощью шаг за шагом проследить, как развивалась техническая мысль, как на смену одним методам регулирования приходили другие, а затем и те старели, заменяясь новыми.

Был момент, когда он готов был захлопнуть книги и положиться на суждения авторитетных специалистов: не мое дело, в конце концов, влезать в тонкости отдельных технических проблем!

Он вызвал к себе Любимова и в середине его доклада спросил:

— С новой схемой регулирования познакомились?

— Познакомился,— как всегда сдержанно ответил Любимов, но в его лице появилось несвойственное ему выражение искреннего увлечения.

— Хороша?

— Очень.

— Много лучше прежней?

Любимов запнулся, видимо взвешивая, какую роль может сыграть его оценка, но восхищение новой технической идеей пересилило обычную осторожность, и он заговорил, опять-таки с несвойственной ему живостью, об оригинальной и остроумной простоте новой схемы. Технические подробности, радовавшие начальника цеха, были непонятны Немирову, но зато было понятно: раз Любимов увлечен — значит, есть чем увлечься.

— Что же, Георгий Семенович, выходит — надо регулятор менять?

Любимов смолк на полуслове. Лицо его сразу потускнело.

— На следующей серии? Конечно,— сказал он рассудительно.— Может быть, даже на последних двух краснознаменских, если поспеют чертежи. Что касается второй турбины, то большинство деталей регулятора уже запущено в производство. Да и нельзя же вот так, с ходу, с бухты-барахты...

— Оставить старый регулятор, когда уже есть новый, лучший?

— Гри-го-рий Пет-ро-вич! — с шутливой укоризной протянул Любимов.— Ведь совершенствовать можно до бесконечности! Об этом регуляторе никто еще не знает. Его могло и не быть! А турбины считались бы превосходными, не так ли?..

В его улыбке проскальзывала снисходительность к слишком молодому и горячему директору. Чтобы урезонить этого директора, Любимов весело добавил:

— Мало ли турбин мы выпустим на своем веку, Григорий Петрович! Успеем еще похвастаться!

А Немиров, подавив малодушное желание довериться другим, в тот же день снова засел за книги. Легко ли, трудно ли, он разберется сам!

Теперь вечерами он торопился домой, к книгам, и с удовольствием замечал, что за день поспевает с делами, да и голова яснее. Вузовский учебник был отброшен, статья Карелина оказалась понятной. Чем свободнее он чувствовал себя в кругу специальных проблем, тем интереснее ему становилось читать и тем больше он радовался, что у него хватило настойчивости углубиться самому в эту увлекательную область техники. И чем больше он понимал, тем отчетливее припоминались ему объяснения Котельникова; он снова, по памяти, читал чертежи, только теперь все было понятно и — покоряюще просто, остроумно, ново!..

Однажды, проходя по заводскому двору, Григорий Петрович услыхал сильный, быстро нарастающий звук, похожий на рев водопада или на грохот ливня по железной крыше.

— Ротор!

В специальной загородке, обнесенной металлической сеткой, на особом станке с чуткими приборами испытывался ротор — длинный вал с насаженными на него колесами, ощетинившимися рядами лопаток. Это был рабочий организм турбины, ее богатырская мускульная сила.

Сейчас вал пришел в движение. Лопатки будто исчезли: стремительное вращение колес сливало их в сплошные кольца.

Григорий Петрович остановился неподалеку от сетки, рядом с Коршуновым и двумя мастерами — Клементьевым и Гусаковым. У Коршунова, впервые после того как он запорол колесо, расправились плечи и лицо будто разгладилось под порывами ветра, поднимаемого вращением колес, в которые было вложено так много его труда. Пышные усы Ефима Кузьмича подрагивали на ветру, а жидкие усы Гусакова так и мотало.

Станок выключили, но ротор еще долго не мог успокоиться, неохотно замедляя вращение.

Рабочий, производивший испытание, полез на ротор и прицепил к одной из лопаток переднего колеса маленький груз. Шла балансировка ротора — проверка полной точности его веса по всей окружности колес.

— Сила! — почтительно сказал Ефим Кузьмич.

Они впервые видели ротор такой мощи.

У Немирова зрелище этой силы вызывало ответный подъем всех душевных сил.

— Слушайте, отцы! — закуривая и давая закурить трем своим собеседникам, напрямик заговорил он.— Слыхали вы, что конструкторы недовольны регулятором? Что они разработали совсем новую схему, гораздо более прогрессивную и удобную в управлении?

— Краем уха слыхали,— ответил Ефим Кузьмич.

Гусаков ахнул:

— Неужто опять переделки будут? Вечиая с нимн волынка, с этими коиструкторами!

— Так иеобязательио и соглашаться,— как можно беспечней заметил Григорий Петрович.— Первую отошлем со старым регулятором, а на других поставим иовый. А то и отложим иа будущее.

Старики разом повериули головы к директору, стараясь что-то прочитать в его лице. Коршуиов стоял иевозмутимо, будто и ие слушал.

Снова взревел воздух, смииаемый колесами ротора. Снова ударил в лица тугой ветер.

Зрелище покоряло, но все четверо ждали, когда затихиет этот все покрывающий шум.

— А иовая схема миого лучше? — спросил Гусаков, как только шум затих.

В этом был весь вопрос. Ради того, чтобы выясиить его, Григорий Петрович сидел иад киигами и журиалами, крепчайшим чаем разгоияя сои.

— Ну, а если миого лучше? — сказал ои и отвериулся от стариков, чтобы ие торопить их с ответом.

— Я так поиимаю, что вы хотите получить наше миеиие, старых производствеииников,— обстоятельио иачал Ефим Кузьмич.— Что таить, в цехе будет миого воркотии. Но мое миеиие такое: если эта иовая штуковииа миого лучше старой, как мы в глаза посмотрим заказчику? Отправим в Красиозиамеику первые две турбииы. На обеих та же заводская марка. Как же так, скажут, завод прославлеииый, работали леиииградцы, сдали иам две машииы, иа одиой регулироваиие — любо-дорого, а иа другую пороху ие хватило?

Все трое живо представили себе иезиакомых, ио очеиь поиятиых людей — тех, кто с уважеиием и доверием примет в свои заботливые руки иовые турбииы с отлитой на крышке заводской маркой — три буквы в середиие миииатюриого рабочего колеса — «ЛКТ» — Лениниградский «Красиый турбостроитель».

Должио быть, и Коршуиов представил себе то же самое. Не оборачиваясь, ои виятио сказал:

— Как ии трудио, а позорить завод еще хуже.

Через иесколько мииут Григорий Петрович взбегал по лестиице тихого домика, окружеииого молодыми деревцами, иа которых уже иаметились бугорки почек.

— Добрый деиь, товарищи!

Коиструкторы и чертежиицы ие успели ответить, а ои уже проиесся мимо их, веселый, ворвался к Котельиикову:

— Ну, герой, объясияй еще раз все сиачала. И с терминологией не стесияйся: образоваииый!

Было приятио и даже изумительио — глаза как бы прозрели,

оии свободно выхватывали из затейливых линий чертежа самое главное, мозг как бы прояснился, иа лету поинмая каждую мысль конструктора. Схема ожила, и ее красивая простота стала наглядной.

Ни слова не говоря, он схватил телефонную трубку:

— Дмитрий Иванович, срочно приходите к Котельиикову!

Взял Котельникова за плечи и крепко сжал их:

— Эх ты, голова-головушка! Если бы к твоему талаиту да еще смелости побольше!

Отпустив удивленного конструктора, он уже звоиил своей секретарше:

— Немедлеиио ко мне, в конструкторское, главного техиолога, иачальиика производства, начальника фасоннолитейиого и турбиииого цехов!.. Да, из турбиииого еще Полозова!

Ои, смеясь, посмотрел на Котельникова:

— Чего глаза таращишь? Не поиимаешь, из-за чего шум? Будем менять регулятор и на первой. На первой, Котельииков, на пер-вой! Не выпущу я с завода такую турбину без достойиого ее регулятора! А ты, молодец, почему ие требовал? Раз поиимал, что хорошо придумали, должен был до хрипоты спорить, а на своем настоять!

Котельииков смотрел на директора с такой иескрываемой восторженной любовью, что Григорий Петрович вдруг смутился:

— Ну-ну, настраивайтесь-ка на деловой лад, сейчас будем кумекать, как с этим делом поспеть. Новый регулятор потребую к началу моитажа, а первую сдадим без задержки. Не воображайте, резать себя из-за ваших идей я не собираюсь.

15

И вот он настал, долгожданный час!

После миогодиевных усилий, волнений и споров, после миогих удач и побед, которых долго добивались, чтобы мимолетио порадоваться, сказать: «Ну, иакоиец-то!» и, облегченно вздохиув, тут же отдаться другим заботам,— настал в суете и тревогах долгожданный час, когда мощиая и прекрасная машина оказалась законченной до последнего болтика, до последиего витка последией гайки.

До того как она воплотилась в металле, десятки конструкторов переработали весь опыт турбостроения, чтобы использовать его в новом образе более остроумно, экоиомичио и хитро, повышая КПД — коэффициент полезного действия,— заключающий в себе целые поэмы человеческого творчества, дерзаний, неудач и открытий.

Язык техники — сухой язык расчетов и формул, ио творчество всегда поэтично, и в каждой добытой творчеством формуле заключена взволнованная и упорная душа человека-творца. Ночи раздумий и долгие часы неутомимо повторяемых и видоизменяе-

мых опытов, когда исследователь беспощадно откндывает взлелеянные им предположення, ищет новых решений, проверяет, опять откндывает, опять ищет и наконец находит счастлнвое решенне,— вот что таит в себе маленькая формула, сухой техннческнй расчет, на основе которых возннкают самые велнчественные машнны.

Чтобы создать вот эту турбнну, более совершениую н экономичную, чем все существовавшие до сих пор, и повыснть на однн процент — только на один процент! — коэффицнент полезного действня, сотии людей отдали напряженне своей мыслн, талаита н волн. Находки ученых и конструкторов соединялись с кропотлнвым трудом сотен нх самоотверженных и старательных помощннков — лабораитов н чертежников. Тысячн чертежей распластались у ее колыбели — на столах технологов, в конторках мастеров, на станках рабочих.

Прежде чем новая машиина стала такою, как она есть, тысячн людей и сотии механизмов работали иа иее: добывали руду и уголь, плавилн металл в домеиных печах и мартенах, создавая для иее жароустойчивую сталь, прокатывали огненные слнтки между валками прокатных станов, вытягнвалн, обмнналн, отливали в формы, закаляли для нее отливки, которым предстояло превратиться в тысячн ее деталей.

Сотин стаиков обдирали, обтачивалн, резалн, сверлили, шлнфовали грубые кускн металла, превращая их в сверкающие части точнейшего механизма. Громоздкая, тупорылая отливка становилась гладким, блестящнм валом, готовым безотказно вращаться со скоростью трех тысяч оборотов в минуту. Другая, страиио причудливая многотонная отливка, лежавшая в груде земли как окаменевшее доисторическое чудовище, преображалась в надежный и емкий корпус, призванный держать в своем наглухо закрытом чреве страшную силу рвущегося вперед пара. Маленькие, затейливой формы кусочки нержавеющей сталн превращались в лопатки турбинных колес, и тысячн этих неутомнмых работяг готовились принимать на себя, направлять н нспользовать неуемиую силу пара для создания того, радн чего н существовала эта огромная машина,— энергни.

Турбина, поконвшаяся на цеховом стенде, была новейшей машнной, сочетавшей сравнительно небольшой вес с максимальной мощностью при иепревзойденном коэффициенте полезиого действия. Долгожданный час был часом ее заводского нспытания, призваиного выявить н оценить результаты многообразных уснлий, затраченных на нее, и после длнтельной, приднрчивой проверки сказать новой машине: «Живн!»

Этот долгожданный час был часом торжественным. Но подошел он буднично, в тревогах н суете, в азартной руганн н лихорадке последиих прнготовлений.

Был уже вечер, когда старик Перфильев, нспытавшнй на своем веку миого десятков турбин, выпрямнлся возле очередного

детища, вытирая лицо перемазанной ладонью, а рядом с ним раздался истошный голос Гаршина, кричавшего в телефонную трубку:

— Пар давайте, ...!

И кто-то негромко сказал:

— Костя, масленку убери! Чего стоишь?

А затем наступила тишина, и в этой тишине раздался внятный шепот стремящегося по трубам пара.

Аня Карцева составляла текст объявления о технической конференции скоростников, когда до нее долетела весть:

— Прогревают!..

Она хотела докончить начатое дело, но не только мысли разом исчезли из головы — даже слова, обычные слова, куда-то провалились. Она вскочила и побежала в цех.

Цех жил как будто своей нормальной жизнью: вечерняя смена приступала к работе, утренняя смена расходилась по душевым, по комнатам общественных организаций и в выходную калитку. Но у выхода не было обычного оживления — рабочие под разными предлогами задерживались в цехе на первый, решающий час испытания.

Даже Торжуев, закончив работу, остановился в проходе и с нарочито безучастным видом ждал, пока нарастало шипение пара и пока не присоединился к этому настораживающему шипению негромкий и ровный гул заработавшей машины. Опытным ухом он уловил минуту, когда все убыстряющийся темп вращения стал равномерным и однотонным,— турбина спокойно крутилась на малых оборотах. Постояв еще и послушав ровный и ничем не нарушаемый звук работающей машины, Торжуев перевел дыхание, закурил трубку и ленивой походкой случайно задержавшегося, ничем не интересующегося человека направился к выходу.

Столкнувшись с ним в пролете, Аня увидела его именно таким, каким он хотел выглядеть, и с удивлением подумала: «Этого ничем не проймешь!»

Она нерешительно пошла к стенду, не зная, пустят ли ее туда, но ее пустили, и она увидела склонившегося ухом к машине Полозова, и старого Перфильева, который выслушивал машину трубкой, похожей на докторскую, и Любимова с неожиданно добрым, открытым лицом, и бледного, необычно серьезного Гаршина, и застывшего в сторонке Котельникова.

Профессор тоже был тут. Он поманил к себе Аню, крепко пожал ей руку и сказал:

— Как хорошеют люди в такие часы! Посмотрите на Алексеева.

Главный инженер, выпустивший на своем веку турбин немногим меньше, чем Перфильев, с ловкостью мастерового ползал около машины, по звуку определяя качество работающих

частей. Внд у него был усталый, мешки под глазами набрякли, морщнны на потном лбу и щеках запали глубже и обозначилнсь резче. Но когда он поднимал от машины глаза, чтобы безмолвно сообщить директору: все в порядке! — в этих глазах светилось такое удовлетворение, что н набрякшие мешки и морщины будто разглажнвались. Два человека, тесно связанных общностью забот и ответствеиности, вели между собой безмолвный разговор, охватывавший не только узкую тему о качестве того или иного механизма вот этой выпущенной под их руководством машины, но н всю нх жизнь, насыщенную и трудиую, н говорили друг другу: «Счастье-то какое!» — «Да, это — счастье, мы с тобой сегодня счастливые!»

Но вслух Алексеев крикнул:

— Похоже, все в порядке!

А Немиров прокричал в ответ:

— Теперь надо иавалиться на вторую!

Он силился сохранить сухое и спокойное выраженне лица, к которому на заводе привыкли, но не мог: оживлеиие так и рвалось наружу. Выпуск новой турбииы был крупиой производственной победой. Но, помимо того, Немирова всегда возбуждало самое начало жизни всякой новой машины — рождение движения, рождеиие действия. Он ощущал мощную силу, клокочущую в лабиринтах машиины и ворочающую, как игрушку, тяжеленные колеса ротора. Ему была мила и родственна самая атмосфера испытания, озабочеиные, постепенио светлеющие лица, немногословные переговоры инженеров и рабочих, вот эта сутуловатая, стариковская фигура Перфильева, продолжавшего ходить вокруг турбины с видом иедоверчивым и настороженным: уж, кажется, прослушал ее со всех сторон, опасения понемногу как бы отпускали его, ио все-таки он ходил, выслушивал, проверял снова и снова... «Нет людей лучше заводских ветеранов!» — глядя на него, повторял Григорий Петрович и думал о том, как год за годом складываются характеры людей, всем сердцем преданных производству и уже ие умеющих жить вдали от него... «А я?» — спросил себя Немиров и с гордостью понял, что и он «заводская косточка», что и ему не жить без мук и радостей производства.

Аня Карцева, впервые присутствовавшая при испытании турбины, своими путями пришла к тем же мыслям н сказала себе, что хорошо выбрала профессию и не захочет никакой другой, только надо все-таки обязательио перейти на участок, чтобы видеть, ощущать свою долю труда так, как ощущают ее производственники. Но, может быть, они и не думают об этом? Пожалуй, у тех, кто ведет испытаиие и отвечает за него, даже и времени нет осознать поэтичность этого часа? Все равно, ои еще величественней оттого, что все людн, сколько их тут есть на стенде, возле него н вплоть до самых дальиих уголков цеха,— все люди жнвут сейчас в крайнем напряжении ожидания, страха н затаенной уверенностн, что все «обойдется», что машнна сделана как надо.

Оиа видела сгрудившихся у стеида слесарей-сборщиков, видела Гусакова и Ефима Кузьмича, застывших с потухшими папиросками в зубах; обиявшихся и откровеиио веселых Груию Клемеитьеву и Катю Смолкииу; замирающее лицо Вали Зимииой, свесившейся через кабиию краиа; вериувшихся в цех, чтобы присутствовать иа испытании, пакулиицев в иовых костюмах и при галстуках; мальчишек-учеииков, забравшихся иа стаииниы стаиков, иа лесеики и иа крупиые отливки, чтобы все увидеть и иичего ие пропустить. Среди них, ио выше всех торчала голова Кешки Степаиова, и Аию удивило его лицо — обычиого леиивого безразличия иет и в помиие, рот полуоткрыт, глаза жадио вбирают иовые впечатлеиия.

Аия подумала о том, что всем людям, упорио ие уходящим домой, и всем, кто, работая в вечерией смеие, издали следит за происходящим иа стеиде, хочется услышать доброе слово, что радость должиа иайти исход в каком-то коллективиом праздиике. И, видимо, ие ей одиой это пришло в голову, потому что появились на стеиде Воробьев и Дидеико, и вот уже Немиров приказал иа четверть часа прервать работу — и иарод сразу хлыиул к стеиду, и митииг возиик сам собой...

Речи были коротки, а рукоплескаиия долги и дружиы. Весь этот деиь ожесточеиио ругавшийся и иависавший иад сборщиками Виктор Гаршии крутился в толпе, повеселевший и шумиый. Страх и волиеиие, особеиио сильные у этого легко возбудимого человека, смеиились теперь безудержиой и бесшабашиой радостью. Ои хлопал по плечам сборщиков, сам первый хохотал иад собствеииыми шутками, иоровил «похристосоваться» с молодыми работиицами, вызывая веселую возию.

Воробьев провозглашал здравицы в честь руководителей работ, и лучших бригадиров, и лучших стахаиовцев, каждому дружио хлопали, каждого вытаскивали вперед и прииимались качать. Аия почувствовала себя иеловко, попав в число отличившихся, ио ей искреиие хлопали, и оиа с радостью отметила особое оживлеиие, каким встретила ее имя молодежь.

Только одиого человека забыли — Алексея Полозова. Алексей ие пошел вместе с руководителями цеха иа митииг. Ои остался с иесколькими рабочими возле остаиовлеииой турбииы, где приступили к проверке подшипииков и червячиой передачи.

Рукоплескаиия и выкрики доиосились до иего, ои даже поглядывал в сторону митиига, и ие прочь был пойти туда, ио кому-то иадо было остаться, да и хотелось посмотреть, как ведут себя подшипиики.

Аия заметила отсутствие Алексея и огорчилась, что о ием забыли. Оиа разыскала взглядом его всклокочеииую голову, склонившуюся иад раскрытым механизмом, и иа миг иепрошеиая иежиость шевельиулась в ее душе — вот ои такой, такой, в будии идет впереди, а в праздиик уходит в теиь! Таких и забывают...

Но в это время иесколько голосов закричало:

— Полозова! Полозова!

Аня ждала, что он будет упираться или стесняться, но он только сказал:

— Вспомнили-таки, черти!

И с удовольствием вышел на люди, дал покачать себя, сам покачал других, а потом пригладил растрепавшиеся волосы и ушел обратно на стенд. Аня следила за ним, улыбаясь; с чего это она выдумала, что он прячется в тень? Просто он чувствует себя в цехе дома, по-настоящему дома.

После митинга цех быстро опустел.

Аня вернулась в свой кабинет и села к столу, но работать не могла. Она только сейчас ощутила, как устала от нервного напряжения этих часов.

В дверях появился Кешка.

— Проситься хочу из цеха,— сказал он, пригнув голову так, что Аня видела только его нахмуренные брови и лоб со спадающими на него прядями волос.

— Куда? — удивилась Аня и с досадой подумала, что ничего-то она не понимает в психологии этих мальчишек: ведь именно сегодня она была уверена, что интересы цеха захватили Кешку!

— В железнодорожный... на паровоз... Там учеников берут.

Аня вздохнула и сказала, стараясь быть терпеливой:

— Но ведь тебя учили на токаря, Кеша. Тебя готовят к испытанию на четвертый разряд. Сдашь в мае — и будешь самостоятельным рабочим. Как же вдруг все менять?

Кешка молчал, шаркая рваной подошвой по полу.

— Ты сегодня смотрел, как запустили турбину?

После молчания Кешка угрюмо буркнул:

— Ну и что?

— Разве тебе не приятно знать, что в этой огромной, умной машине есть и твоя доля труда?

— А где она, моя доля?

В этом и была вся беда: он работал вслепую, не зная, что и для чего делает. Перейти на паровозик, бегающий между цехами, ему кажется интересней не только потому, что в нем еще сильно мальчишеское желание покататься, но и потому что там работа наглядней, ощутимей.

— Евдокия Павловна будет очень огорчена, Кеша,— и, нащупывая путь к его чувствам, наобум сказала: — И я тоже. Я думала, ты смелый парень, а ты, оказывается, просто трус.

Кешка возмущенно поднял голову:

— Это почему?

— А потому, что ты боишься станка, боишься сложной работы, боишься учиться и спрашивать.

Кешка молчал. Подошва снова шаркала по полу — безнадежно и упрямо.

— Неужели тебе не надоело: у всех получка как получка, а у тебя и не наработано ничего! Ведь стыдно! Смотри, какие

у тебя сапоги рваные. Начнешь зарабатывать как рабочий — приоденешься, костюм купишь. Видал, как в пакулинской бригаде одеваются ребята?

— Кто же их не видал,— враждебно сказал Кешка.

Аню больно поразила эта враждебность. Откуда она? Почему?

— Значит, не переведете?

— Нет!

Кешка пошаркал подошвой, притопнул, чтоб пристала оторвавшаяся подметка, и выскользнул из кабинета не прощаясь.

Вошел Алексей Полозов и блаженно вытянулся, почти лег в кресле.

— Ну как? — спросила Аня.

— Пока все хорошо.

— Останетесь до конца?

— Наверное. Не уйти.

Немного погодя он спросил:

— А вы?

— И мне не уйти.

Аня приглядывалась к нему, вспоминая, как он сегодня не ушел со стенда на митинг, занятый своим делом и чуждый всякому желанию покрасоваться. Вспомнилось ей и другое: после отчетно-выборного собрания, переживая торжество своей победы, Аня подошла к нему и спросила: «Правильно я выступила?» Она не сомневалась в его одобрении, но ей хотелось услышать его скупую похвалу. А он сощурился и сказал: «Честно говоря, мне не понравилось. Основная мысль была правильна, и выдвижение Воробьева тоже правильно... но вы били на эффект с этой вашей рекой и струями. А это уж ни к чему». Она тогда обиделась, но потом и ей самой начало казаться, что бить на эффект не стоило.

Вошел Виктор Гаршин, бросился в другое кресло:

— То ли спать, то ли гулять. Кто со мной?

Он оглядел Полозова и Аню, добавил зевая:

— Впрочем, Алексея Алексеевича не вытянешь из цеха до ночи, в этом можно не сомневаться. А вы, Аня? Из солидарности с энтузиастами тоже спать не будете?

— Да.

Гаршин пропел, фальшивя и подмигивая Ане:

— Ах, я люблю так сла-а-дко...

И потянулся, собираясь встать, но в это время вбежала Валя, видимо успевшая побывать после митинга дома,— в светлом платьице под меховым жакетом, в туфельках на высоких каблуках, в шапочке, из-под которой рассыпались по плечам тщательно закрученные локоны.

Чувствуя себя нарядной и хорошенькой и от этого радуясь и смущаясь, Валя взяла в руки папку с очередными предложениями, но не развязала тесемки, стягивающие папку, а только потеребила их, виновато улыбаясь.

Гаршин вынул записную книжку, что-то написал, вырвал листок и бросил его поверх папки:

— Еще одно рацпредложение, Валечка, приобщите его к делу.

И, сделав руками несколько вольных движений, сказал:

— Пойду душ приму. Буду свеж, как огурчик.

Валя, отвернувшись, читала записку, и даже уши у нее порозовели.

Полозов спросил усмехаясь:

— Вы знаете, Аня, что это он пел? «Ах, я люблю так сладко...

— ...турбинные лопатки»,— докончила Аня, смеясь.

— Так я и думал, что он вам напел это,— сказал Алексей и отмахнулся: — Ну их к богу, эти лопатки! Они мне в печенки въелись. Но иногда мне и вправду жаль, что я не пишу стихов. Вы заметили, Аня, когда начинается испытание и подают пар, этот звук — не то шипение, не то шепот... осторожный шепот, как будто он тебя предупреждает: «Все ли ты проверил? Сейчас я начну крутить и давить». А ты стоишь, весь обмирая, и в сотый раз выверяешь... А лица? Вы заметили, какие у всех лица? Вот об этом бы стихи! И картину! Чтобы и она тут присутствовала — машина, созданная людьми. Но только чтоб на первом плане — люди, творцы. Так бы и назвал: «Творцы»... Вы смеетесь?

— Нет.

Валя, спрятав в карман записку Гаршина, то раскрывала, то закрывала папку. Аня видела, что ей сегодня не до работы, и не знала, отпустить ли ее или, наоборот, ради нее самой — удержать... но как? И зачем это нужно Гаршину? Или мне в отместку? Аня была почти уверена в том, что знает содержание записки.

— Вы очень хорошо сказали, Алексей Алексеевич,— вздохнула Валя.— Вы сегодня счастливый, да?

— Не думал об этом. Наверное, очень,— сказал Полозов.— Пожалуй, нет на свете счастья надежней этого.

Вернулся Гаршин, порозовевший и бодрый. Никто бы не сказал сейчас, что этот красивый здоровяк сутки не выходил из цеха.

Валя сильнее затеребила тесемки и с выражением ожидания и тревоги обернулась к Полозову:

— Вот вы сказали... что это — самое полное, высшее... И тогда ничего другого не нужно?

Полозов засмеялся, шутливо сказал:

— Это уж крайности, Валя. Хорошего жениха тебе обязательно нужно. Только очень хорошего, средненького не бери.

Валя покраснела до слез и почти сердито повторила свой вопрос:

— Нет, я серьезно спрашиваю. Может это заполнить жизнь?

Она, видимо, решала для себя что-то важное. Полозов не понял этого и так же шутливо ответил:

— В учителя жизни я не гожусь, Валя. А что девушкам нужно, не изучал.

Увидав нахмуренное лицо Вали, добавил:

— Заполнить жизнь можно, если очень любить свое дело и очень много вложить в него. Так мне кажется.

— Не верьте им, Валечка,— сказал Гаршин, дотрагиваясь до ее пальцев, теребящих тесемки.— Пойдемте, провожу до автобуса, а то и вас оставят здесь до утра.

Валя вскочила, оглянулась на Аню и решительно сказала.

— Я пошла, Анна Михайловна. Завтра я все-все сделаю!

Если бы рядом с нею был не Гаршин, а кто-либо другой, Аня удержала бы Валю под любым предлогом. Но Гаршин вызывающе улыбался. Да и какое право она имеет мешать счастью Вали, если это счастье — Гаршин?

— Конечно, иди,— сказала она и на прощанье, пожимая руку Гаршину, пристально посмотрела ему в глаза, как бы предупреждая: я все знаю, не обижай ее.

— Порядок! — весело сказал Гаршин и распахнул дверь, пропуская Валю.

Выйдя в цех, Валя оглянулась, не видно ли Аркадия Ступина,— было бы ужасно натолкнуться на него сейчас! Но Аркадия не было.

Гаршин шагал рядом с Валей, как будто ее тут и нет, и она старалась идти так же независимо. На ходу их руки иногда будто случайно сталкивались, и от этого беглого прикосновения Вале становилось радостно и жутко. В его «рацпредложении» не было ничего, кроме слов: «Давайте удерем отсюда вместе». Она не знала, что будет, когда они останутся одни, что он скажет и что она ответит, она знала только, что рядом с нею Гаршин, что он заметил ее и позвал с собой.

И вот они оказались за пределами завода.

— Наконец-то я вижу вас не в небесах, а на земле,— сказал он, подхватывая ее под руку.— Это все-таки черт знает что — парит себе над цехом, как птица, не дотянешься и не докличешься! Подплывет, подразнит и опять уплывет!.. А теперь я вас увел, и сейчас мы поедем кутить на «крышу». Вашу руку, Валечка!

Валя растерялась. Она боялась идти в такой ресторан, она вообще никогда не была в ресторане. Нарядное платье сразу показалось ей слишком скромным, закрученные дома локоны — неумело сделанными. Он понял ее страх, оглядел ее с головы до ног:

— Полный порядок, Валечка! Мы с вами будем пить шампанское и танцевать до утра.

— Пить я не буду,— твердо сказала Валя и с мольбой взглянула на него, боясь, что он раздумает ехать.

— Ладно,— согласился он.— Лимонад вас не пугает? А мне одну стопку для храбрости. Поехали!

Валя устремилась к трамвайной остановке, но Гаршин встал

посреди мостовой и поднял обе руки перед легковой машиной, приближавшейся к ним. Шофер затормозил, чуть не наехав на Гаршина.

— Умоляю: быстро в центр, дело идет о жизни! — крикнул Гаршин, дернул дверцу, втолкнул Валю в машину, вскочил сам и другим, озорным голосом бросил шоферу: — В «Европейскую» полным ходом! В обиде не будете!

И, заключив маленькую руку Вали в свои огромные ладони, шепнул ей:

— Кутить так кутить!

А в опустевшем техническом кабинете Аня прислушивалась к смутно доносившимся шумам цеха и, склонив голову на руки, смотрела на уснувшего Алексея Полозова. Почти лежа в кресле и вытянув на середину комнаты длинные ноги в синих рабочих брюках, Алексей спал тем мгновенно наступающим сном, каким засыпают в молодости после большого переутомления.

Аня смотрела на него и думала о том, что Гаршин быстро утешился и что ей это почти безразлично,— значит, ничего и не было; а Валя очень влюблена в Гаршина, и надо бы удержать ее, но как тут удержишь?.. Не полюбит ее Гаршин. Да и разве он способен полюбить кого-нибудь, кроме самого себя? «Что было, то прошло», — сказал он тогда. Значит, все-таки было? А, да не все ли мне равно!

Отмахнувшись от ненужных мыслей, она вернулась к событиям этого вечера, припомнила тревожную минуту, когда пар начал поступать в турбину, и митинг, где ее приветствовали среди других, щедро отблагодарив за старание. Как это было неожиданно и хорошо!.. А люди выглядели сегодня совсем иными... или тут и раскрывались? Директор,— он же еще молодой и совсем не такой сухарь, каким казался. И с Любимова слетело все чиновничье. А Полозов — какой он был славный! Сказал: «Вспомнили-таки, черти!» — и пошел в толпу, как в родной дом, где ни притворяться, ни таиться нет нужды...

— Долго я спал? — встрепенувшись, спросил Алексей и протер рукою глаза. Глаза смотрели еще сонно, веки не хотели раскрываться.— Никто не приходил? — снова спросил он, кивая в сторону цеха. Сонное выражение постепенно сменялось выражением озабоченности.

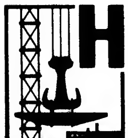
— Спите, все хорошо,— сказала она, удивляясь тому, что чувствует к нему такую нежность.

— Схожу погляжу.

Он провел ладонями по лицу, по волосам, улыбнулся Ане и торопливо вышел. Аня понимала, что его улыбка ничего не значит сейчас и в его мыслях для нее нет места.

Часть третья

1



ачиналось чудесное утро, какие так часто бывают в Ленинграде весной,— над городом висит туман, и солнце, пробиваясь сквозь него, освещает город неярким светом; под ногами похрустывают ледяные пленки, но день обещает быть погожим; воздух недвижен и чист, лишь изредка от проезжающей крытой машины пахнёт острым запахом теплого хлеба.

Яков Воробьев торопливо шагал по улицам, расцвеченным праздничным убранством, обгоняя принаряженных, по-праздничному медлительных пешеходов. Его озабоченный вид не вязался с общим настроением, и на него оглядывались: что это с тобой, товарищ, или беда какая приключилась?

Таких одиночных пешеходов, как он, сегодня почти и не было; люди шли группами, семьями, возле взрослых скакало вприпрыжку множество ребятишек, и почти у каждого в руке красный флажок. На перекрестках появились продавцы со связками воздушных шаров. Шары бойко раскупали,— привязанные к пуговицам пальто, они колыхались над головами и детей и взрослых.

Сколько раз, бывало, и Воробьев с такой же беспечностью встречал первомайское утро! Сегодня его одолевали заботы: поспел ли столяр заготовить шесты для значков? дружно ли соберется цех? будет ли выглядеть достаточно мощным макет турбины на площади, среди людских толп?

Вдоль длинного заводского забора белели плакаты, обозначавшие места, где какому цеху собираться. У плакатов пока стояло по два-три человека, а турбинщиков еще совсем не было.

Увидев Диденко, Воробьев взволнованно сообщил:

— Плохо собираются.

Диденко знал эти начальные минуты неуверенности и тревоги, особенно тягостные для молодого руководителя.

— Ну-ну, поволнуйся, если больше делать нечего,— с улыбкой сказал он.— Только не было еще в истории такого случая, чтобы турбинщики подвели!

А люди подходили медленно, у места сбора не задерживались, прохаживались взад и вперед, разыскивая знакомых. У главных ворот, под радиорепродуктором, уже начались танцы. Воробьев увидел Валю Зимину в голубой шляпке с двумя разлетающимися перышками, придававшими ей очень легкомысленный вид. Она самым беспечным образом болтала с Гаршиным. Воробьев подошел и строго спросил Валю про шесты для значков.

— Анна Михайловна с ребятами пошла за ними — ответила Валя и с первыми звуками музыки положила руку на плечо Гаршина, совсем, должно быть, не думая о том, что на этом празднике у нее есть и деловые обязанности.

Женя Никитин прогуливался с кругленькой девушкой в туфлях на высоченных каблуках. Воробьев мельком подумал: ох и намается она на таких каблуках! — и хотел было подозвать Женю, но тот поклонился и поспешно повернулся к девушке, явно не желая прерывать интересный разговор. Помнит ли Женя, что он комсомольский секретарь и отвечает за молодежь?..

Увидав Назарова, своего преемника, Воробьев пошел ему навстречу и не без раздражения спросил, где же его партгруппа, где значки. Вчера Карцева с цеховым художником и комсомольцами весь вечер мастерили стахановские значки для четвертого участка. В спешке не подумали, к чему их прикрепить, и только в десять часов вечера Воробьеву удалось договориться со столяром, чтобы он заготовил к утру тонкие легкие шесты.

— Ребята с Анной Михайловной у столяра приколачивают,— спокойно ответил Назаров.— Знакомься, Яков Андреич, моя жена и мои наследники.

Четверо наследников разного возраста разбегались кто куда, и мать созывала их, боясь потерять. Она приветливо улыбнулась Воробьеву, и Воробьеву стало стыдно, что он на всех наскакивает,— ведь праздник же!

Оглядевшись, он заметил, что народу стало много и от проспекта люди идут уже сплошной толпой. Чтобы свободнее бегать и играть, ребятишки сунули родителям свои красные флажки, и папы с мамами стояли как линейные на площади, с флажками в руках, изредка для порядка покрикивая на ребят.

Появилась Евдокия Павловна Степанова с тремя сыновьями. Поздоровалась и пошла искать свой цех, забрав с собою младших, а Кешка остался — начисто отмытый, начищенный, приглаженный, в куртке с «молниями». И сразу вокруг него собралась группа таких же отмытых и принарядившихся, необычно солидных пареньков. Увидав Воробьева, они чинно поклонились и хором приветствовали его:

— Здрасте, Яков Андреич!

Из ворот завода выехал грузовик, весь укрытый макетом

турбины. Здесь, в лучах солнца, поблескивающих на ее серебристо-серых плоскостях, были особенно внушительны ее широкие изогнутые трубы и изящная надстройка регулятора, любовно выполненного во всех деталях.

Из кабины выскочил Полозов, отошел вместе с Воробьевым, чтобы окинуть взглядом макет:

— Хорош?

Грузовик занял свое место во главе турбинного цеха, и сразу хлынули к нему турбинщики, заполнив всю улицу от края до края.

Подошел Торжуев в новом пальто с широкими плечами, в фетровой шляпе, с красной розеткой в петлице. Красуясь, он остановился на самом виду и закурил свою затейливую трубку. Видно, рассчитывает, что его пригласят стать впереди, среди знатных стахановцев цеха... Нет, приятель, многого хочешь! Тут процентов недостаточно, тут душа нужна, чтоб в такой праздник отличить перед другими.

А вот и Ерохин подбегает, боясь, что опоздал. Он один, на прежних демонстрациях с ним бывала его жена — милая молодая женщина с глубоким шрамом на лице. Но теперь она скоро должна родить, и Ерохин полон беспокойства и отцовской гордости, никуда не пускает ее, чтобы не толкнули случайно или сама не оступилась ненароком...

Подошла Груня — одна. Ефим Кузьмич с Галочкой поехали смотреть военный парад, старику дали пропуск на трибуну, и Коле Пакулину дали,— победитель! В отсутствие свекра ничего не боясь, Груня свободно подошла к Воробьеву, прикрепила к отвороту его пальто шелковый красный бант и, прежде чем отойти к подругам, заглянула в глаза — будто прямо в душу. Ох, Грунечка, взять бы тебя при всех под руку и пойти с тобою, не таясь,— вот она жена, любовь моя...

— У директора встретимся,— шепнула Груня.— Пригласил...

И быстро отошла,— старый Гусаков подходил к Воробьеву вместе с Любимовым, а за ними Воловик с женой.

Ася прижималась к мужу — среди праздничного шума, среди детского гомона ей, наверно, и грустно, и немного стыдно своей грусти, а может быть и хочется все забыть, повеселиться вместе со всеми.

— Я на вас рассчитываю, Ася,— сказал Воробьев.— Вы ведь поете? Идите с комсомолками запевать.

— Ой, не знаю... Я и песни перезабыла...— прошептала Ася, оглядываясь на мужа, а у самой щеки порозовели и глаза просияли.

— Общественное поручение надо выполнять! — сказал Воробьев и потянул ее к комсомольцам.— Знакомьтесь, ребята, с Асей Воловик. Даю ее вам как запевалу. Чтоб весь народ чувствовал — турбинщики идут.

А вот наконец и Карцева с комсомольцами несет значки. Карцева тоже нарядная, оживленная, и комсомольцы все время

шутят, смеются,— праздник! Воробьев подошел и примерился — удобно ли нести, не тяжело ли. На секунду позавидовал Назарову,— лестно идти во главе первого, сплошь стахановского участка!

Партгрупорги один за другим подбегают к Воробьеву доложить: весь участок в сборе... из ста четырех человек — сто один, двое больны... из полутораста — сто сорок семь...

— Строй-ся!

Подъехал Алексеев. Выскочил из машины, стал рядом с Диденко и председателем завкома.

— Ого, нынче турбинщики во главе! — воскликнул Алексеев и пошел здороваться с турбинщиками. Конечно, он и раньше знал, что право возглавлять завод в этом году предоставлено турбинному цеху, но всем было приятно, что он подчеркнул это.

Оркестр грянул марш.

Когда голова колонны вступила на проспект, Воробьев оглянулся — ох и мощь! На целый километр вытянулась заводская колонна, и многие сотни рядов как один шагают в ногу, и сотни плакатов повторяют слово — мир! мир! мир!

Девичьи голоса начинают первыми:

Песню дружбы запевает молодежь!

И хор голосов подхватывает:

... Молодежь! Молодежь!
Эту песню не задушишь, не убьешь,
Не убьешь! Не убьешь!

Песня сама просит, чтобы ее пели все, и все поют; поет и Воробьев, легко и торжественно шагая во главе своего цеха, сдерживая себя, но все же слишком часто оглядываясь назад, где во втором ряду с краю идет Груня,— только оглянись, и видишь ее милый поющий рот и встречаешь ее горячие глаза.

А на улицах, выходящих к проспекту, толпятся колонны других заводов, оттуда приветственно машут руками, песню перебивают оркестры, но песня вырывается снова, залетая в раскрытые окна домов, на балконы, где толпятся женщины с младенцами на руках, старики, ребятишки, которым не с кем было пойти, и там тоже подпевают, потому что сама песня просит, чтобы ее пели все.

Идет завод «Красный турбостроитель», идет во главе района, растянувшись на целый километр, а за ним подстраиваются один за другим — металлургический, корабельная верфь, оптико-механический, приборостроительный... Идет трудовой, праздничный Ленинград, гремят вперебивку оркестры, взлетают и переплетаются мелодии песен, яркими пятнами вьются над колоннами знамена, и с красных полотнищ плакатов все те же слова говорят о воле народа — мир! мир! мир!

И о том же говорят, прочертив небо и растаяв в солнечном мареве, промчавшиеся над городом самолеты.

Они уже исчезли, промелькнув откинутыми назад крыльями, но только теперь доносится их могучий шум.

Придерживая за плечи сидящую на перилах внучку, стоит на почетной трибуне старый мастер, старый коммунист Ефим Кузьмич Клементьев. Закинув голову, старается проследить взглядом полет, скоростью опережающий звук. Реактивные... хорошо! Вон теперь какая сила у нас самолетов, танков, гаубиц, а когда-то разутыми, с одной русской трехлинейной воевали, да все равно никакие черчилли и клемансо нас не одолели... Еще раньше вон там мы лежали, в Александровском саду. Какой шел противный леденящий дождь, как холодно было лежать на мокрой земле! А вот здесь, где трибуна, и правее — были баррикады юнкеров. Вон там, на ограде, мы пулемет установили. Гусак был веселый и злой, как черт, все хотел, чтоб путиловцы из пушек ударили — чего канителиться, ну его к богу, этот дворец!.. А все же не думали мы тогда, что добьемся такого! Хотя, впрочем и тогда думали. Верили. «Вся власть Советам!» — вот это она и есть...

— Деда, а наш завод скоро пойдет?

— Скоро, Галочка, скоро.

Стоит на трибуне Николай Пакулин,— первый раз в жизни выпала ему такая честь. Принимает парад советских войск от лица трудящихся. Четкие квадраты выстроенных для парада войск на красавице площади, их торжественный марш мимо трибун, маленькие нахимовцы, которым все дружно рукоплещут, ленинградские гвардейцы в касках, с автоматами наперевес, зенитчики на машинах с длинноствольными пушками, поднятыми к небу, прожектористы с огромными своими прожекторами, чьи зеркальные стекла отражают заполненные людьми трибуны и голубое безоблачное небо.

Николаю не оторвать глаз от этого величавого зрелища, но все равно он чувствует, что рядом стоит Ксана, дружески опираясь на его руку и сложенной щитком газетой прикрывая лицо от солнца. Была у него минута гордости, когда они встретились здесь, на трибуне, и Николай впервые ощутил себя равным ей. Но гордость давно забылась и ее рука, лежащая на его руке, это просто — счастье, счастье, о каком еще вчера он и не мечтал.

— Смотри, Коля, там уже районы выстроились!

Площадь опустела, по ней цепочками разбегаются линейные с флажками, а у входов на площадь со стороны Невского проспекта и набережной уже колеблются густые колонны демонстрантов, выставив вперед сотни знамен. Все оттенки красного цвета собраны яркими гроздьями, и майское солнце щедро подчеркивает каждый из них.

— Наш район, видишь, Ксана? — Николай слегка сжимает ее руку, чтобы привлечь внимание.— И наш завод идет первым!

— Тронулись! Смотри, Коля, тронулись!

В лад грянули оркестры, в лад развернулись сотни знамен.

Колонны вступнли на площадь, тысячамн лиц повернувшись к трибуиам, вскинув для приветствия тысячи рук. Красные, зелеиые, сииие шары взметнулись над колониамн. И полетели, подхвачеииые воздушными струями, над площадью.

— Ксана, смотрн, наша турбнна!

— Как оиа хорошо выглядит, правда?

— А вон Дидеико идет, вндишь? Дидеико и Алексеев! И Воробьев! А вон мои ребята — смотрн, Ксаиа,— со знаменем, смотри! Видишь?

Стоит на трибуне Грнгорий Петрович Немнров. Солнце уже успело троиуть загаром его лнцо. Он стоит н горделиво улыбается — хорошо идет завод! И турбина выглядит хорошо, приметно. Со всех сторон доносятся до Немирова возгласы: «Смотрите, как турбиищикн эффектио ндут!.. Это нх новая турбина, зиаете, мощиая!.. Здорово!»

Григорню Петровнчу хочется сообщить всем окружающим — это мой завод, моя турбина! Он счастлнв. Третьего дня на первых страннцах газет опубликовано приветствие заводу по случаю выпуска мощиой турбины нового типа. «Директору завода т. Немирову...» Читают леннградцы, читают уральцы — ого, товарищи, это же иаш Немиров!

Он машет шляпой, ему очень хочется, чтоб свои, заводские люди заметили его привет. Но они не разглядят — где там! А вон Диденко... Алексеев... чудила, не пошел иа трибуну! Тяжело ему с его больным сердцем топать. Почему я не подумал, что надо пойти со своими? Ничего, зато завтра соберемся все вместе — запросто, дружески отпраздновать успех. Это сблизит больше, чем если б я шел сейчас вон там, во главе... Как растрогался Перфильев, что директор пригласил к себе, да еще с женой! И Ефнм Кузьмич... А молодежь явио растерялась — эта девчушка вся покраснела, а Пакулии и не нашелся что ответнть. Очеиь, очень хорошо придумала Клава!

А завод все идет, ндет мимо трнбун. Рядом с Немнровым кто-то уверяет, что «Турбостронтель» уже прошел. Григорий Петровнч возмущенио вмешивается:

— Ничего подобного! Еще и половина ие прошла! Вон инструмеитальный цех ндет, а за ним еще четыре.

Но вот прошел и последний цех. Маленький ннтервал — и начинается колоииа металлургического. Ишь ты, толстяк шагает впереди, да еще как молодцевато!

— Смотрнте — Саганский! — сказал кто-то за спнной Немнрова.

«Эх, надо было и мне... Интересио, Волгии на трибуне или тоже идет с заводом?»

Когда подошел станкостронтельный, Немиров сразу приметил высокую подтянутую фнгуру Волгина. Как командир впереди своего полка, и походка воинская, четкая... Заметнлн наши, что другие директора идут? Вряд ли, в такой массе не разглядншь...

А праздничный поток не иссякает, гремят оркестры, перекатывается по рядам «ур-ра-а!». Плывут макеты изделий: во много раз увеличенный микроскоп, во много раз уменьшенный корабль, подъемный кран, наборная машина — линотип, всевозможные станки, галоша в человеческий рост, маленький цельнометаллический вагон, гигантская электрическая лампочка, пирамида из пестрых тканей...

— Чего только нет в Ленинграде! — воскликнул Николай.— Правда, Ксана?

Она посмотрела на него и улыбнулась. В ее глазах отражались красные пятна проплывающих мимо них знамен и цветные, взлетающие в небо шары — маленькие яркие точечки.

2

Скинув пиджак и подтянув повыше рукава рубашки, Григорий Петрович растирал в тарелке горчицу, пока Елизавета Петровна чистила и раскладывала по селедочницам селедки.

— Гриша, поди сюда! — позвала из столовой Клава.— Как хочешь, вина маловато!

На трех сдвинутых вместе столах были уже расставлены всяческие закуски и прикрытые полотенцами домашние пироги, в центре красовалось длинное блюдо с заливным, мерцающим красными звездочками морковки, а между блюдами, тарелками и рюмками высились бутылки с вином и графины с настояной водкой.

Клава стояла в дверях и критически оглядывала только что накрытый стол.

— Не вина, а водки маловато, особенно если принять во внимание Гусакова,— решил Григорий Петрович.— Сейчас пошлю Костю прикупить.

— А стол как тебе кажется? Ничего?

Он подошел к Клаве и поцеловал ее. Все, что она делала, было хорошо. Но какая она бледненькая сегодня!

— Ты здорова, Клава?

— Ну конечно! Просто немного замоталась.

Он знал — даже если ей нездоровится, она не скажет об этом, чтобы не портить ему праздник. Последние недели она очень много работала и была необычно возбуждена. На расспросы мужа уклончиво отвечала: «Ничего особенного, кое-что придумала и теперь воюю. Добьюсь — расскажу!» Если ей бывало трудно, она никогда не просила у него помощи. А Саганский любил пошутить по поводу ее самостоятельности: «Разве Клавдия Васильевна будет со мной советоваться, когда у нее дома такой могучий консультант!» — и очень сердил этим Клаву. Она не любила советоваться с мужем, хотя часто говорила с ним по общим вопросам экономики производства и, как понимал

Немиров, деликатно направляла его мысли к этим вопросам, которые он, по ее мнению, недооценивал.

Григорий Петрович считал, что планирование и финансы — незыблемый костяк, который обеспечивает порядок в текущем, вечно обновляющемся процессе производства. Клава возражала — это душа движения и обновления. Мысль о том, что и экономист может быть новатором, видимо, увлекла ее. Что она придумала теперь и с кем воюет?.. Может быть, у нее какие-нибудь неприятности, которые она скрывает? Такая уж она, Клава. Даже свою тревогу о муже не показывала. Ведь знала, что с турбиной не ладится, и хоть бы словечко сказала! А когда испытание прошло прекрасно и в газетах появилось приветствие заводу, вот только тогда и понял Немиров, как она беспокоилась за него. Выбежала к нему навстречу, обняла, прижалась лицом...

А Елизавета Петровна закатила роскошный ужин, даже шампанского купила. Удивительно они похожи — мать и дочь. Если что-либо волнует или тревожит Елизавету Петровну — замкнется в себе, виду не покажет. А в радости щедра.

В тот вечер они втроем отпраздновали победу, и Григорий Петрович с увлечением рассказывал, как поработали турбинщики, на радостях примечая их достоинства, о которых прежде не задумывался.

— Ты позови их в гости,— предложила Клава.— И я познакомлюсь с ними, и тебе приятно, и им.

— К нам, домой? — удивился Григорий Петрович.

— Ну конечно, домой!

Елизавета Петровна вставила свое слово:

— По-моему, если вместе работать, то вместе и праздновать.

Вдова мастера, состарившегося на металлургическом заводе, Елизавета Петровна привыкла всю жизнь общаться с заводскими людьми и теперь, должно быть, скучала в директорской, всегда пустой квартире.

— Но ведь если звать — так не меньше, как человек двадцать пять,— пробормотал Григорий Петрович.

— Ну и что же? С хозяйством я справлюсь, вот только деньги...

— Денег жалеть не будем! — внезапно увлекшись, воскликнул Григорий Петрович.— Уж если устраивать, так пир горой!

Клава с Елизаветой Петровной сразу же начали обсуждать, что испечь и чего купить, а Григорий Петрович задумался. В последнее время он не раз чувствовал, что отношения с людьми на этом заводе у него сложились иначе и хуже, чем на Урале. Там, на уральском заводе он был «своим», его знали с мальчишеских лет, он был связан дружбой с десятками заводских людей. Когда его выдвинули директором, прежние друзья остались друзьями и с поразительным тактом отделяли службу от дружбы. И ведь не мешало одно другому! А здесь он сразу взял тон властного,

сурового и взыскательиого начальника, потому что в глубиие души побаивался: будут ли уважать такого молодого директора, да еще присланного «со стороны»? Отношения сложились почтительно-холодные. Только в последние дии, после того как Григорий Петрович принял смелое решение о замене регулятора, что-то неуловимо переменилось. Придешь в цех — все как будто по-прежиему, а глядят люди сердечней, обратятся к директору — в голосе дружелюбные нотки. Придешь в конструкторское бюро — так же уважительио встают коиструкторы, приветствуя директора, но впервые улыбаются ему, и в обычных словах «здравствуйте, Григорий Петрович» — человеческое тепло... Сам себе не признаваясь, Григорий Петрович жадио тянулся к этим проявлеииям любви.

— Тридцать человек получается! — сказал ои, записав фамилии тех, кого решил пригласить, и перечитывая список — ие забыл ли кого.

Елизавета Петровиа, кажется, немного испугалась, но ие в ее характере было отступать.

— Садись, экономист, и планируй! — велела она дочери.

Так была затеяна эта домашняя вечеринка, о которой столько говорили на заводе. Всем поиравилось, что директор пригласил группу турбинщиков к себе домой и сделал это без официальиости, к каждому подошел личио с приглашеиием от своего имени и от имеии жены, что семейиых позвал с женами, а вдовца Клементьева — с невесткой Груней. Поиравилось и то, что директор устраивал прием иа свои деньги, а не за счет завода,— об этом как-то сразу все узнали.

— Не такой уж он сухарь, как думали,— сказал Ефим Кузьмич, растроганный приглашением.— И о Груие вспомиил. Знает.

Воробьев, поначалу ироиически восприиявший затею директора, был обезоружен тем, что Немиров подчеркнул дружеский, домашний характер вечера и просил прийти с аккордеоиом:

— Говорят, вы хорошо играете. Тащите свою музыку, ладно?

Ане Карцевой и Вале Зиминой Немиров сказал:

— Готовьтесь танцевать до утра. Я ведь танцор.

С Гаршиным и Полозовым пошутил:

— Приглашаю без дам, потому что холостяки. Ухаживайте за нашими дамами.

Полозов непринуждеиио поблагодарил, а Гаршин вдруг до странности смутился и что-то забормотал о том, что как раз тот вечер у него занят... Впрочем, все понимали, что он придет.

Список приглашениых вырос до тридцати шести человек. Григорий Петрович показал его Диденко, боясь, что кого-лнбо забыл.

— Весело будет,— перечитав список, решил Диденко.

— Никого не забыл?

— Так ведь в гости зовешь, кого хотел, того и позвал,—

посмеиваясь, ответил Диденко.— Это ведь не торжественное заседание! А так, что ж — подбор на основе широкой демократии... Только к Гусаку подсади кого-нибудь посуровей — Катю Смолкину, что ли? — а то он водку только в ухо не берет.

Вечеринка была приурочена к первомайским праздникам. Григорий Петрович ездил с Костей закупать вино и закуски, носил от соседей стулья и недостающую посуду, откупоривал бутылки и пытался помогать теще на кухне.

Первыми, ровно в восемь, пришли Клементьев и Груня. Клава еще не переоделась и убежала в спальню, Григорий Петрович один встретил гостей. Ефим Кузьмич был в хорошо отутюженном костюме, в накрахмаленной рубашке и в ярком галстуке, его морщинистые щеки были еще розовы от бритья. А Груня сияла такой победной зрелой красотой, что и не разобрать было, нарядно ее платье или нет,— она красила любой наряд.

Немирова потянуло заговорить со старейшим мастером о заводских делах, но он удержался и сделал сложный комплимент его невестке. Он видел, что Ефиму Кузьмичу это приятно.

— Гриша,— раздался за приоткрытой дверью веселый шепот Клавы,— пойди-ка, застегни мне пуговицы на спине.

— Давайте я,— вызвалась Груня, обрадованная простотой незнакомой директорской жены, и, не дожидаясь ответа, пошла в спальню. За дверью сразу зазвучали оживленные голоса.

Припоминая, какое же платье застегивается у Клавы на спине, Григорий Петрович с улыбкой поглядывал на Ефима Кузьмича и раздумывал, о чем бы поговорить со стариком, что может заинтересовать его кроме той общей для обоих темы, которой Клава строго-настрого запретила сегодня касаться, чтобы не превратить вечеринку в производственное совещание. Однако Ефим Кузьмич сам завел разговор о том, что вот, дожили до счастливого дня, теперь вторая уже легче пойдет. Так бы и покатился разговор по привычным рельсам, но тут раздался звонок и Немиров пошел открывать.

Он не сразу узнал Катю Смолкину,— такая она была нарядная и важная. Скинула на руки хозяину пальто, осторожно сняла шляпу — прическа только что от парикмахера, платье шелковое, в ушах серьги. А заговорила — все та же бравая Катя Смолкина:

— Глянь-ко, Григорий Петрович, на лестницу, там еще гости топчутся, робеют — не кусается ли директор?

Стараясь держаться непринужденно, вошла молодежь: Николай Пакулин, Женя Никитин и Валя. Все трое были празднично одеты, пиджак Жени Никитина украшала планка орденских ленточек. Григорий Петрович много раз видел Валю, но сегодня она показалась ему особенно хорошенькой, и он даже

подумал: «Черт возьми, сколько у нас красавиц в одном турбинном».

— Что это с тобой, дочка, тебя и не узнать, так ты похорошела,— сказал Ефим Кузьмич, разглядывая ее.— Или причина есть?

Валя расхохоталась, покраснела, спрятала лицо, чтобы не прочитали в ее глазах, как она счастлива.

Пошутив с молодежью, Григорий Петрович снова пошел в переднюю, куда уже входили новые гости.

Он увидел Елизавету Петровну с каким-то странным, испуганным лицом и входящего вслед за Полозовым Гаршина.

— Вот это встреча! — смущенно пробормотал Гаршин, багрово краснея и пожимая руки Елизаветы Петровны.— Сколько лет! Сколько зим!

— Вы знакомы? — удивился Григорий Петрович.

— Были знакомы,— поджав губы, сухо сказала Елизавета Петровна.

— Мальчишкой, студентом! — объяснил Гаршин, одновременно выжидающе озираясь.— Вы отменно выглядите, Елизавета Петровна, помолодели даже, ей-богу помолодели!

— А вы все такой же,— проронила Елизавета Петровна и церемонно извинилась: — Простите, мне нужно по хозяйству.

Только успели раздеться Полозов и Гаршин, как пришли Любимовы и Аня Карцева со старым Гусаковым, а затем дверь уже непрерывно открывалась, закрывалась и снова открывалась. Каждого вновь пришедшего шумно приветствовали, гул голосов стоял в воздухе, все были или казались друзьями. Только одно обстоятельство смутило Григория Петровича — он несколько раз уловил вопросы: «А Саша Воловик здесь?», «А Саша Воловик не пришел?» Видимо, Воловика нужно было обязательно пригласить, хотя он и новый человек в цехе. Посоветовавшись шепотом с Ефимом Кузьмичом, Григорий Петрович отрядил Женю Никитина на машине звать Воловика с женой, а затем побежал на кухню предупредить Елизавету Петровну, что гостей будет на два человека больше, чем ждали.

— Были бы хороши гости, а место найдется,— ответила Елизавета Петровна, пересчитывая ножи и вилки.

Приехали Диденко с Катей. Катя никого здесь не знала, кроме Немирова, но уже через несколько минут казалось, что именно она здесь своя, что именно она связывает воедино всех собравшихся.

— Предупреждаю: за деловые разговоры буду штрафовать,— заявил Диденко.— Веселиться так уж веселиться!

С их приходом голоса сразу стали громче, смех чаще.

Последним явился Яков Воробьев с аккордеоном на плече. Скинув аккордеон и со всеми поздоровавшись, он с таким явным разочарованием оглядывался, что Немиров нашел нужным сообщить ему: за Воловиками поехали. Но Воробьев продолжал

разочарованно оглядываться, и тогда Немиров вспомнил о красавице Клементьевой и удивился, что Клава все еще укрывается с нею в спальне.

— Девушки, вы что же это прячетесь?

Он увидел Клаву, стоящую посреди спальни в нерешительности. Ее бледность подчеркивало вечернее черное платье с кусочком желтоватого кружева у шеи.

— Не слишком ли нарядно? — усомнился Григорий Петрович, по-своему поняв нерешительность Клавы: не помешает ли такой туалет простоте вечеринки?

— А по-моему,— сказала Клава, гордо вскинув голову,— по-моему, ни для кого другого не стоит наряжаться. Правда, Груня?

— Верно,— подтвердила Груня.

— Ну, пойдем,— решилась Клава, взяла Груню под руку и шагнула в дверь.

Из-за ее спины Немиров следил за тем, какое впечатление произвела Клава на его гостей. У двери из передней мелькнула Елизавета Петровна все с тем же странно испуганным видом. Немиров невольно взглянул на Гаршина — инженер стоял позади всех, робко и виновато улыбаясь, и во все глаза глядел на приближавшуюся к нему Клаву.

Будто не замечая его, Клава по очереди со всеми здоровалась, каждому что-то говорила, каждого о чем-то спрашивала, и во всем ее поведении была такая милая готовность подружиться с новыми для нее людьми, что все опасения Григория Петровича рассеялись: вечернее платье было кстати, как дань уважения к собравшимся.

Не доходя до Гаршина, Клава слишком долго задержалась возле Котельникова, о чем-то расспрашивая его и глядя прямо перед собою остановившимися блестящими глазами. Потом она быстро повернулась к Гаршину, подала ему руку:

— Здравствуй, Виктор.

И сразу отошла.

Заставляя себя быть веселым и поддерживать общий разговор, Григорий Петрович мысленно все время возвращался к только что происшедшей непонятной встрече. Испуганное лицо Елизаветы Петровны, бледность и нерешительность Клавы, долго не выходившей к гостям (знала, что он тут?), робкая улыбка обычно самоуверенного Гаршина — все припоминалось Григорию Петровичу. Что было между ними? И когда?.. «Мальчишкой, студентом»,— сказал Гаршин. Однако Клава никогда не говорила, что знает его, хотя, конечно же, не раз слышала его фамилию. Теперь Григорию Петровичу приходил на память и внимательный, изучающий взгляд Гаршина, который он не раз замечал в цехе и на собраниях,— приглядывался, что за муж у Клавы? Не оттого ли он так смутился, получив приглашение, что знал — встретится с Клавой?.. А Клава? Знала ли она, что он сегодня придет? Ну да, конечно, она просматривала список пригла-

шениых. Спрашивала ли она тогда о чем-нибудь, прочитав знакомую фамилию? Он не помнил. Не оттого ли она была так возбуждена последние дни? И это вечернее платье... не оттого ли она надела его, что хотела показаться в нем Гаршину?

Эти мысли были так невыносимы, что Григорий Петрович старался отгонять их, и временами это удавалось ему, так как он чувствовал себя ответственным за успех вечера, но глаза его продолжали следить за Клавой — как она мила сегодня... и как оживлена!

А в другом конце комнаты в горестном недоумении застыла Валя. Гаршин предупредил ее, что весь вечер будет ухаживать за нею так, «будто между нами ничего нет», и Валю волновала и веселила необходимость вести на глазах у всех такую увлекательную игру... Но Гаршин вошел притихший, не похожий на себя, и забился в угол, ни разу не взглянув в ее сторону.

Приехали Воловики с Женей Никитиным. Сашу Воловика особенно дружно приветствовали, и тотчас появилась Елизавета Петровна в новом платье и торжественно пригласила гостей к столу.

— Парами, парами! — требовал Григорий Петрович, подхватывая под руку старуху Перфильеву.

С шутками, отбивая друг у друга дам, которых было меньше, чем мужчин, повалили в столовую. За столом долго рассаживались: молодежь, включив в свою компанию Воловика и Асю, уселась вместе, в ряд; Аня Карцева смело удержала возле себя стул и позвала Алексея Полозова, а Воробьев умудрился оттеснить всех, желавших поухаживать за Груней, и переманил ее к себе, посадив по другую сторону от нее старого Гусакова, которому она сразу же дружески перевязала галстук.

Немиров заметил, что Гаршин вошел в столовую последним. Но в столовой он как бы встряхнулся, стал особенно весел и шумен, его громкий голос покрывал все другие голоса. Клава посадила рядом с собою стариков — Ефима Кузьмича и Перфильева, но Гаршин предприимчиво занялся размещением остальных, обеспечив себе место поближе к Клаве.

— Григорий Петрович, это несправедливо! — закричал он директору, возглавлявшему другой конец стола.— Вы нам приказали ухаживать за дамами, а старшее поколение нас оттерло! Не могу же я ухаживать за Ефимом Кузьмичом!

Подавляя раздражение, Немиров шутливо откликнулся:

— Отчего же, поухаживайте, он того стоит!

Клава так дружески улыбнулась мужу через стол, что у него сразу отлегло от сердца: ну, подумаешь, если и встретился бывший поклонник, пусть повздыхает, пусть позавидует,— ему, Немирову, до этого дела нет.

Валя сидела бледненькая, ко всему безучастная, заглатывая подступавшие слезы. А вокруг нарастало веселое оживление, тосты следовали один за другим,— и надо было участвовать

во всей этой кутерьме хотя бы для того, чтобы скрыть свое отчаянне.

— За молодую хозяйку! — подиявшись, провозгласил Любимов.— Выражая общее миеиие, хочу пожалеть, что такой очаровательиый плаиовик плаиирует ие у иас, а иа другом заводе!

Клава встала н поклоиилась, порозовев от удовольствия.

— Спасибо! — сказала она.— Только, пожалуйста, не вспомииайте о другом заводе, а то Григорий Петровнч сразу заговорит об отливочках, н весь праздиик будет испорчеи!

Средн общего смеха Немиров уловил тихое восклицаине Гаршина:

— Как вы похорошели, Клава!

— Ты иаходишь? — подняв брови, свободно сказала Клава н подняла рюмку: — За всех собравшнхся здесь, друзья, и чтобы эта встреча была не последней, и чтобы поводы для таких встреч былн почаще!

Тост был уместен и хорошо придумаи, ио Григорию Петровнчу показалось, что в ием есть какой-то особый, не всем поиятиый смысл — вои как сияет Гаршии, чокаясь с Клавой, н какой оиа метиула на иего быстрый, полиый лукавства взгляд!

Заметив, что муж смотрит иа иее, Клава ласково сказала:

— За тебя, Гриша!

И залпом осушила рюмку, чего ннкогда не делала.

«Да ведь я просто ревную,— вдруг поиял Немиров.— Ревиую, как мальчншка... Это же глупо и унизительио!» Ои заставил себя улыбнуться Клаве, дружески погрозив ей пальцем, н затем, усилием воли преодолев волнеиие, всецело отдался обязаниостям хозяина.

Он успевал подметить, что Любимов сегодня в полном мире с Полозовым, что Воробьев н Груня так заияты собой, что забыли об окружающих, а Ефиму Кузьмичу это ие иравится. Григорнй Петровнч старался сблизнть всех со всемн, и окликал Воробьева, чтобы отвлечь его от Груни и успокоить Ефима Кузьмича, н украдкою заводил разговоры о второй турбние и всяких цеховых делах, удовлетворенно отмечая, что все суждеиня сходятся и старые распрн забыты.

Когда все было выпито и съедено, гости помоглн хозяйкам выиести посуду на кухию и отодвниули столы. Воробьев перебирал клавиши аккордеона и посматривал вокруг трезвым, внимательным взглядом.

Захмелевший Гусаков ходил неприкаяииым по комиате, натыкаясь на мебель, и заиосчиво вопрошал воображаемого собеседнника:

— Ну и что? И что?

Разводил руками и презрительно цедил:

— Па-а-думаешь, удивнли! Па-а-думаешь, мир-ровая полнтика!

Григорий Петрович вспомиил, как иа Урале, бывало, лихо

плясали развеселившиеся заводские старики, и стал вызывать танцоров. Ефим Кузьмич только плечами пожал — век не плясал, с чего бы на старости лет начинать? Перфильев отговорился тем, что ноги болят, да и разучился с годами. Но тут Катя Смолкина, презрительно махнув на них рукой, крикнула Гусакову:

— А ну, Ванюша, покажем, как это делается!

И выбежала в круг, стала, подбоченясь и пристукивая каблуками, вызывающе подмигивая Гусакову. Гусаков поломался, чтоб попросили как следует, а потом небрежной походочкой прошелся по кругу и вдруг подпрыгнул, завертелся волчком, задорно раскинул руки и стал наступать на Катю Смолкину. Катя гордо отвернулась — мало, мало, давай-ка получше! И столько молодого оживления было в ее блестящих глазах и во всей ее осанке, что, казалось, и годы скинуты с плеч, Гусаков перевел дух, приосанился и пошел на нее вторично, вскидывая ноги и прихлопывая ладошами под коленом. Теперь это был уже не пьяненький и занозистый Гусак, ищущий повода для ссоры, а свободно владеющий своим телом плясун. Катя почуяла это и поплыла по комнате, мигая Воробьеву. чтобы ускорил темп. Старик не сдавался, только тяжелое дыхание да пот, выступивший на лбу, выдавали его усталость.

— Ох, пустите, не могу! — закричал Гаршин, скинул пиджак, засучил рукава шелковой сорочки и стремительно ворвался в круг, отбивая дробь каблуками.

Гусаков отступил, громко отдуваясь и стараясь показать, что выход нового плясуна ему безразличен. Катя снова мигнула Воробьеву и заскользила прочь от Гаршина, а Гаршин помчался за нею вприсядку, беспечно улыбаясь зрителям,— совсем, мол, нетрудно, хотите, могу и посложнее!

Клава стояла рядом с мужем, положив тонкую руку на его плечо, и неотрывно следила за Гаршиным. Немиров с завистью глядел на этого ладного молодца, который все умеет,— конечно, он нравился, он и сейчас должен нравиться Клаве. Но когда он осторожно заглянул в ее лицо, он увидел, что взгляд ее холоден, губы сомкнуты.

— Устала? — шепотом спросил он.

— Нет.

Воробьев резко оборвал мелодию и встал, расправляя плечи. Гаршин шутливо поклонился в пояс Кате Смолкиной и остановился неподалеку от Клавы. Курчавая прядь волос падала на его лоб и придавала разгоряченному лицу простецкий и озорной вид.

Клава отвернулась от него и пошла опрашивать гостей, не играет ли кто-нибудь на пианино.

Любимов, сбиваясь, начал играть вальс. Никого не смущало, что он играет с запинками и порою фальшивит. Немиров первым пригласил Аню Карцеву и с усмешкой наблюдал, как тяжеловесный Алексеев пробует вальсировать с Клавой и как бедная

Клава терпеливо помогает ему. Ко всеобщему удовольствию, Диденко пригласил старуху Перфильеву, та застеснялась было, а потом пошла кружиться с такой непринужденной легкостью, что зрители наградили ее рукоплесканиямн.

В столовой стало тесно, и Елнзавета Петровна открыла дверь в кабинет. Немиров повел свою даму туда, и несколько пар устремились вслед за ним. Ои пропустил момеит, когда главный инженер отказался от попыток танцевать, и увидел Клаву уже с Гаршиным. Склонив к ней голову, Гаршии что-то быстро н горячо говорил ей. Натыкаясь на танцующих, Немиров провальсировал в столовую и стал догонять их. Когда это удалось, его поразило незиакомое ему чувственное н восторженное выражение ее лица.

— Вы уже не монашка, о нет! — донесся до него голос Гаршина.

— Я и ие была ею, только...

Он не расслышал последних слов Клавы, но увндел ее мстительную, торжествующую улыбку, тоже совершенно незнакомую ему.

— Григорий Петрович, на ноги наступаете! — воскликнула Аня Карцева и вывела его из круга танцующих к тому месту, где стоял, отдыхая, Полозов. Она села, но Полозов потянул ее за руку:

— Не леинтесь, вы же обещалн танцевать со мной, а убежали с директором.

Немиров остался один у стены и закурил, провожая глазами Клаву. Помнит ли она, что вокруг — людн, которые скоро заметят ее чрезмерное увлечение разговором с этим самоуверенным разлетаем? Помнит лн она, наконец, что у нее есть муж н что он тут, рядом, и все видит?

Клава ни о чем не помиила. Она слушала Гаршина — человека, которого когда-то любила со всей силой первой любви, человека, чьей женой обещала быть, наивно радуясь его покорности, его нежным уверениям, что она — его идеал, что ои молится на нее... Правда обрушнлась на иее случайно и внезапно — грубая правда о его второй, неизвестной ей жизии с непритязательнымн увлечениями, с какой-то скандальной связью в иистнтуте с жеиой профессора. Оскорбленная до глубины души, она отрезала все одиим ударом. Рвала письма уклонялась от встреч, велела матери не открывать Гаршину дверь. Тогда Гаршин подослал к ней общего приятеля с объяснениями: «Ои любил и любит, а там — чисто мужское, сердце там не участвовало». Она выгнала и приятеля. Шли годы, жизнь брала свое, но оскорбление не забывалось. И вот он — перед ней, виноватый и снова влюбленный, уже не в идеал, а в живую женщину, любящую другого. Ои не забыл — тем лучше. Он никого после нее не любил — тем лучше! Она упивалась своей женской победой.

И вдруг она увидела мужа. Его тяжелый взгляд неотступно следовал за ней.

— Я устала,— быстро сказала она, отстраняя Гаршина, подошла к мужу и села возле него — прямая, тоненькая, с бледными щеками.— Я устала,— повторила она и украдкой сжала его руку — теплое, родное прибежище. Ей очень хотелось ощутить ответное ласковое пожатие. Но Григорий Петрович понял ее движение по-иному — чувствует, что виновата, и хочет успокоить его.

— Пойди к маме и приляг, никто не заметит,— сказал он напряженным голосом и отвел руку.

Клава быстро глянула на него, поняла, что он хочет удалить ее, и оскорбленно отказалась.

Тут подошел Диденко,— а ну-ка, пойдемте, нечего рассиживаться, когда танцуют! — и Клава вскочила как ни в чем не бывало. Танцуя, она о чем-то весело, необычно оживленно болтала с Диденко, а Немиров неотрывно следил за нею, пугаясь оттого, что и она сама и его счастье показались ему непрочными, как никогда.

«Вы уже не монашка, о нет!» — звучало в его ушах.

Он припомнил день, когда Клава впервые надела это вечернее платье,— он назвал ее монашкой, а она вся зарделась и весь вечер была сама не своя. Так вот оно что!

На столе возле водогрея уже лежали на боку горы перевернутых тарелок. Елизавета Петровна только что взялась перетирать их, когда в кухню стремительно вошел Григорий Петрович и, схватив ее за локоть, требовательно спросил:

— Что у нее было с Гаршиным?

Елизавета Петровна выронила тарелку. Тарелка со звоном разбилась. Елизавета Петровна наклонилась было подобрать осколки, но Григорий Петрович с силой притянул ее к себе и повторил с гневной настойчивостью, какой она и не предполагала в нем:

— Что у нее было с Гаршиным?

Она возмущенно выпрямилась. Сквозь волнение подумала: «Вот он какой, недаром заводские говорят, что крут! Знала я, знала, что эта встреча до добра не доведет».

— Можете спросить ее сами,— сухо сказала она, высвобождая руку.— Ей нечего скрывать от вас, а я...

Она смолкла на полуслове, потому что в лице Немирова проступило такое страдание, что все ее раздражение улетучилось.

— Ничего особенного не было,— тихо сказала она и взялась перетирать тарелки.— Он ухаживал за нею перед войной. И вы сами видите, какой он. Я думаю, она увлекалась им. Он даже предложение делал. Только ведь он легкомысленный человек, она скоро поняла это...

— Она любила его,— упавшим голосом сказал Немиров.

— Это было очеиь давио, Гриша.

Елизавета Петровиа редко иазывала его так, н от этого ласкового обращення ои почувствовал, что неожидаииое иесчастье придвниулось вплотную.

Но Елизавета Петровиа продолжала говорнть, перетирая тарелки, и этн ее плавные движения и ровиый голос действовали успокоительно:

— В жнзин жеищииы бывают случан, которых ие стоит касаться. Оиа вас любнт, Грнша. А это давно прошло. Ей было иелегко встретнться с инм сегодня. Но вы же вндите, она ие захотела испортнть вечернику, она думала о вас.

— Но вы! Вы! — с гневом вскричал Грнгорнй Петровнч.— Вы-то моглн предупредить меня? На кой черт было звать его! Да я б его и иа порог...

Елизавета Петровиа гордо вскииула голову — двнженнем, одниаково свойствеиным н матери и дочерн:

— Это зиачнло бы прндавать зиачение тому, что значення ие имеет.

Он ушел немного успокоенным — и правда, зачем придавать значенне тому, что значення не нмеет! Надо не обращать вннмаиия, а потом спокойно посмеяться вместе с иею... Но в памяти вставал Гаршин такнм, каким ои был после пляскн, с этнм озорным чубом, падающнм иа разгоряченный лоб... вот ои, человек, которого Клава по-иастоящему любнла!

В передней, привалившись к куче пальто, храпел Гусаков. Молодежь одевалась, собнраясь уходить. Григорий Петрович хотел удержать нх, ио Пакулин объяснил, что Вале иездоровится и иужио проводнть ее домой. Валя, такая веселая в иачале вечера, в самом деле казалась больной.

В кабннете кружком сидело человек десять, играя в непонятиую Немнрову нгру,— что-то передавали по рукам, что-то отгадывали. Верховодила там Катя Смолкина, покрикнвая иа тех, кто пытался плутовать. В другом кружке жеиа Днденко рассказывала какую-то историю. Ася смеялась громче всех, а Воловик дремал с открытыми глазами, сонно улыбаясь. В стороике, прямо иа ковре, сидели Полозов и Карцева, у них шел отдельиый тихий разговор. Немиров подумал: «Вот н тут, иавериое, любовь!» — и ужаснулся, поияв, кого ои объединил этнм словом.

В опустевшей столовой Клава сиова учнла Алексеева таицевать.

Гаршии сидел под открытой форточкой н жадио курнл. Немиров вндел, что ои следнт за каждым двнжеиием Клавы, н по особой живостн н легкостн двнжеиий Клавы понял, что она это зиает.

«Не иадо придавать значения»,— повторнл себе Немиров, иаправляясь к группе ианболее почтеиных гостей, откуда доносился азартный голос Днденко:

— Конечно, наша эпоха — эпоха увеличения скоростей, давлений, напряжений, температур!

Котельников, размахивая рукой с зажатой папиросой и роняя пепел на колени, мечтательно говорил:

— А металл? Это ж такая температура, что металл светиться будет.

Григорий Петрович шутливо напомнил:

— А кто собирался штрафовать за деловые разговоры?

— Какие же это деловые? — удивился Диденко.— Это ж просто очень интересные вещи!

Григорий Петрович украдкой оглянулся на Клаву и подтянул кресло. Как он ни внушал себе, что ревновать пошло и следить за Клавой недостойно ни ее, ни его самого, он все же весь этот долгий вечер отмечал: вот она ушла в другую комнату, и почти сразу за нею пошел Гаршин, и они там чему-то смеются; вот она подошла и послушала, о чем говорят, и снова ушла туда, где остался Гаршин, медленно ступая и шелестя платьем... Какое у нее сегодня незнакомое, возбужденное и недоброе лицо!

Гости начали расходиться в третьем часу. Костя группами развозил их по домам, только Полозов с Карцевой и Воробьев с Груней решили пройтись пешком. Они вышли вчетвером, но ясно было, что за дверью Воробьев и Груня найдут предлог остаться вдвоем, тем более что Ефим Кузьмич уехал раньше, с помощью Кати Смолкиной растолкав и кое-как погрузив в машину Гусакова.

Когда Григорий Петрович отправил очередную партию гостей и вернулся наверх, в передней одевались Любимовы и Гаршин. Клава стояла в сторонке, принужденно улыбаясь. У нее был очень усталый вид.

Гаршин подошел к ней проститься, поцеловал ее руку и что-то быстро, настойчиво сказал, видимо даже не думая о том, что его могут услышать. Клава ответила одними губами, он снова что-то сказал, она отрицательно качнула головой и ушла, забыв попрощаться с Любимовыми.

— Ваша жена прелестна,— сказала Алла Глебовна.

— Я просто влюбился,— не моргнув глазом, сказал Гаршин и улыбнулся Немирову.

«Туман наводишь?» — со злостью подумал Григорий Петрович и самым приветливым образом пошел проводить гостей вниз. Машина еще не вернулась, они остановились в подъезде, в блеклом свете начинающегося утра.

— Чудесно отпраздновали! — с искусственным оживлением говорил Гаршин.— Теперь, Григорий Петрович, можете не беспокоиться, ка-ак навалимся на вторую турбину — вытянем еще быстрее!

— Ну вот, нашли когда о турбинах заговаривать! — усмехаясь, сказал Немиров.— Вы же мой гость, я вам обязан только приятное говорить! Что плясали здорово, что мой приказ ухажи-

вать за нашими дамами выполняли старательно... что ж, за это хвалю! А уж если о делах... так эти слова «навалимся» да «вытянем» пора забыть! И вам, Виктор Павлович, особенно. На первой авралили — я еще стерпел, а на второй так же попробуете — голову сниму!

Клава лежала на кровати, уткнув лицо в подушку.

Туфли валялись на коврике, из-под длинной юбки свешивалась узкая ножка в прозрачном чулке.

— Ты что, Клава?

Ее спина вздрогнула под его ладонью, он услыхал всхлипывания.

— Клава, родная, я же ни в чем...

— Еще бы! — с негодованием вскричала она, повернув к нему заплаканное лицо.— Я не знаю, что ты думаешь и подозреваешь. Я бы не стала скрывать, если бы ты спросил. Но ходить весь вечер с таким видом... допрашивать маму... прислушиваться и приглядываться, как будто я... Разве ты не понимаешь, что я сама никогда, никогда не позволю себе ничего такого, что тебе неприятно!..

Он обнял ее и гладил короткие, разлетающиеся волосы, уверял, что ни в чем не подозревает ее, и внутренне холодел от мысли, что она сказала полную правду и что она не позволит себе — именно не позволит себе поступить так, как ей хочется.

3

Теплым воскресным утром Аркадий Ступин пришел к Аларчину мосту и три часа подряд бродил по набережной взад и вперед, вглядываясь в верхние окна многоэтажного дома на другом берегу канала. Еще недавно Аркадия поражало, что Валя живет в таком мрачном доме, в скучном и порядком запущенном уголке города, возле моста, носящего непонятное, не ленинградское название. Но теперь этот мрачный дом подходил ей: Аркадию казалось, что она вбегает в узкий темный двор, как в закут, где можно выплакаться.

С нею произошло что-то недоброе. Он знал это, хотя не знал ничего. Любовь развила в нем чуткость, которой раньше у него не было. Может быть, какой-то подлец обидел ее. Он бы с радостью расквитался с этим неизвестным обидчиком, он бы с радостью помог Вале... но как? Чем? Как предложить свою помощь девушке, которая тебя не замечает, не видит, не слышит, которая отворачивается, когда ты подходишь к ней?

Он робел перед Валей, хотя до встречи с нею не робел ни перед одной женщиной. Она была независимым и самостоятельным человеком. Он понял это с первого дня, когда увидел ее на репетиции драмкружка и с наглым любопытством откровенно разглядывал ее. «Хорошенькая! — сказал он себе с той упрощенностью суждений о женщинах, которая была ему свой-

ственна,— поухаживаем!» Несколько раз он перехватывал ее внимательный взгляд и успел дважды подмигнуть ей. Теперь он с отвращением вспоминал об этом пошлом подмигивании, но в тот вечер он подошел к ней и сказал, победоносно улыбаясь:

— Давайте познакомимся как следует. Разглядеть друг друга мы уже успели, правда?

Блеснув глазами, Валя четко произнесла:

— Да. Я сразу вас приметила: такое неприятно-самоуверенное лицо.

И, повернувшись на каблучках, ушла.

Позднее он хорошо изучил ее привычку неожиданно поворачиваться и уходить, и каждый раз это подавляло его. А в тот первый раз он в ярости выбежал из клуба. Валя была уже далеко, она свободно шагала маленькими мускулистыми ногами. Ее узкие плечи, обтянутые стареньким пальто, независимо вскинутая голова в синем берете, из-под которого распушились светлые волосы, и вольная энергичная походка так понравились Аркадию, что всю свою ярость он обратил на самого себя: «Идиот!»

С того дня все, что он делал, было так или иначе связано с Валей. Он прекрасно понимал, что Николай Пакулин изо дня в день «работает» с ним, что и в общежитии комсомольцам поручено воспитывать его, чтобы он не напивался, не хулиганил и посещал лекции и вечера самодеятельности. Но на лекции и вечера он упорно не ходил, над своими «воспитателями» посмеивался и был твердо уверен в том, что у них ничего не вышло бы, не захоти он сам измениться. А измениться ему хотелось, потому что ему была невыносима презрительная усмешка Вали.

Однажды он увидел ее у доски Почета, где только что вывесили фотографии особо отличившихся рабочих. Он подошел и указал на фотографию Николая Пакулина:

— Мой бригадир.

— А вас здесь нет?

Валя усмехалась — должно быть, знала о нем больше, чем он предполагал.

— Пока нет, но буду.

Как он налегал тогда на работу, добиваясь успеха, отличия, похвалы! Сперва он «рванул», надеясь прийти к славе самым быстрым способом, но вместо этого запорол бронзовую втулку. Николай вытащил деталь на собрание бригады, и она переходила из рук в руки, так что Аркадий пережил десять минут незабываемого позора. Его задело всерьез, он стал присматриваться к методам работы лучших стахановцев, потихоньку подражая им. Пакулин заметил его старания и предложил:

— Чего в одиночку бьешься? Давай посоветуемся, лучше пойдет.

Первым побуждением Аркадия было послать его к черту, но

уж очень ему хотелось добиться успеха. И он скрепя сердце согласился.

Оказалось, что он не знал многих важных истин, известных Николаю. Пришлось выслушивать терпеливые объяснения и даже читать книжки (чего с ним раньше не случалось), он обдумывал очередность и точность своих движений, вникал в таинство обработки металла — и сам удивлялся, как можно было работать, не понимая всего того, что открылось ему теперь.

Сперва он болезненно опасался насмешек — «глядите-ка, Аркадий в передовики лезет!» — но никто не смеялся и не удивлялся, гораздо больше удивлялись раньше — здоровый, способный парень, а плетется в хвосте!

Успех пришел к Аркадию незаметно, когда он уже не рвался к нему в стремлении быстро прославиться, а увлекся делом и научился работать с умом.

С Валей он встречался два раза в неделю на репетициях и урывками, мимоходом ежедневно видел ее в цехе. Мостовой кран, солидно проплывающий в вышине, казался ему родным. Когда кран приближался к его участку и Валя выглядывала из своей голубятни, Аркадий махал ей рукой и верил, что она замечает это, хотя она ни разу не ответила. Иногда ему казалось, что Валя сторонится его потому, что он не комсомолец. Вступить в комсомол? Так поздно, в двадцать четыре года? Каждый спросит: а где ты раньше был, переросток? Он готов был пройти через это, чтобы получить право сидеть рядом с Валей на собраниях и говорить с нею, как Пакулин и другие комсомольцы. Они все были на «ты», ходили друг к другу в гости, устраивали походы в театр и экскурсии. Правда, они приглашали с собою всю молодежь и гордились «охватом неорганизованных», но Аркадию претила мысль попасть в этот счет. Нет уж, если на то пошло, он сам себя «организует», а может быть, еще и сам затеет какой-нибудь поход, до которого никто другой не додумался!

И потом, стоит вступить в комсомол, как на тебя навалятся всякие обязательства: сделай то, займись этим, стыдно не учиться — пожалуй-ка в вечернюю школу!

Как раз в эти дни драмстудия начала ставить «Русский вопрос» и решили попробовать Аркадия в роли Смита. Режиссер Валерий Владимирович заставлял Аркадия без конца повторять первые реплики Смита, входящего в редакцию.

— Превосходная внешность! — бормотал он и почему-то из-под руки, козырьком прикрыв глаза, вглядывался в Аркадия.— Ну, повторим сначала. Представьте себе как следует, что вы не были в редакции всю войну. Вы много повидали, многое продумали, вы изменились. Вы уверены, что и другие многое повидали и поняли. Вы рады возвращению, рядом — любимая женщина. Ну, давайте посмелее, от души! Но вы американец, понимаете, американец, а не русский добрый молодец!

Аркадию страстно хотелось получить эту роль — и потому, что

она главная, и потому, что роль Джесси играла Валя. Он так старательно учил роль, что и во сне и на работе его преследовали реплики Смита.

— Еще раз, голубчик,— вздыхая, просил Валерий Владимирович.— Мы еще попробуем Румянцева. Но не будем отчаиваться. Только поймите — вы возбуждены, решается ваша судьба, вы мечтаете, что у вас все наладится: работа, женитьба, заработок — без долларов не будет ничего, понимаете? Вы в Америке. Джесси откажется от вас, если вы не сумеете заработать! Ну, начали.

Должно быть, режиссер остался недоволен, потому что на следующую репетицию назначил пробу Румянцеву — парню талантливому, не раз игравшему первые роли, но низкорослому и некрасивому. Аркадий был уверен, что подходит для роли Смита больше, и, провожая Валю домой, спросил ее, что она думает о нем в новой роли.

— Ой, Аркаша, вы просто уморительны! — сдерживая смех, ответила она.— Вы не американский журналист, а этакий ярославский ухарь-купец!

Заметив, что он обиделся и огорчился, она добавила дружески:

— Вам надо поработать, Аркаша, тогда дело пойдет. Вы, наверно, не готовились к роли. Что вы читали об Америке?

Он сконфуженно промолчал.

Назавтра она принесла ему несколько книг — оказывается, она попросила библиотекаршу подобрать литературу об Америке, как только ей поручили роль Джесси. Он был очень горд, что она подошла к его станку с пачкой книг и на глазах у всех несколько минут говорила с ним как с товарищем. Но слова ее были горьки для него.

— Поймите, Аркаша,— назидательно сказала она, и в ее голосе вдруг появились какие-то нотки, напоминавшие Валерия Владимировича,— вам надо войти в образ Смита, в его... ну, как это?.. психологическое состояние. Владеть его понятиями, предрассудками, его отношением к жизни. Вам надо влезть в его шкуру.

— Я же не актер-профессионал,— буркнул он, чтобы смягчить удар.

— А мы? — возразила она, пожав плечами.— Или делать основательно, или не браться совсем.

Теперь все это осталось позади — Аркадий успешно репетировал роль Смита в очередь с Румянцевым, а Джесси играла другая девушка,— Валя покинула студию.

Он проглядел, когда с нею случилась беда. Сперва он заметил только ее на редкость оживленный вид. Она необычно рано убегала из технического кабинета и пропустила одну репетицию На следующую репетицию она пришла счастливая и взволнованная, путала и пропускала реплики, смеялась своей рассеянно-

сти, была со всеми ласкова и невнимательна. Обострившимся чутьем влюбленного Аркадий уловил, что ласковость ее – от щедрости счастливого сердца, а невнимательность — оттого, что она мыслями далека от них от всех. А тут еще Валерий Владимирович пошутил, заметив ее рассеянность:

— Ну, Валечка, вам сегодня играть только влюбленную Может, пройдем сцену семейного счастья?

У Аркадия потемнело в глазах, он начисто забыл свою роль и еле довел репетицию до конца. Ему хотелось проводить Валю и выведать, что с нею (он все еще слабо надеялся, что любовь тут ни при чем), но пока он репетировал последнюю часть сцены, Валя уехала одна.

А затем разразилась беда.

Второго мая Валя была на вечеринке у директора, а на следующий день, наверное, совсем не выходила из дому, так что Аркадий зря дежурил возле Аларчина моста. Когда он увидел ее в цехе, она была очень бледна и так сосредоточена на чем-то своем, что он не посмел подойти к ней.

В середине дня со стенда убирали разобранную турбину, и Гаршин затребовал мостовой кран. Аркадий увидел Валино помертвелое лицо, плывущее в вышине. Кран шел неровно, как бы спотыкаясь в нерешительности.

— Давай, давай, черт побери! — заорал Гаршин и вдруг осекся, увидав Валю, и больше не кричал, жестами показывая, что делать.

Все последующие дни Валя выглядела больною. Аркадий замечал, что девушки в цехе судачат на ее счет, но когда он приближался, они замолкали и смотрели на него с жалостным любопытством. Однажды ему удалось услышать, как одна из девушек говорила: «А он-то и смотреть на нее позабыл...» Аркадий прошел мимо, нарочно толкнув девушку плечом.

После работы Валя торопливо уходила с завода, опустив голову, избегая встреч. Ее поникшие плечи казались такими жалкими! Если бы он знал имя того человека, он мог бы тряхнуть его за шиворот и послать к Вале — «иди, утешь»...

Поняв это, он постарался разозлиться. Предпочла другого? Ну вот и получай! Эта мысль доставила ему короткую отраду, но в тот же вечер он снова издали шагал за нею, с тоскою глядя на ее поникшие плечи. Как всегда, она быстро вошла в узкий, темный двор. Он вытер кулаком затуманившиеся глаза, понял — слезы. И тогда сказал себе, что любит Валю несмотря ни на что,— даже такую, жалкую, любящую другого и обиженную другим.

Шагая по улицам как одержимый, неизвестно куда и зачем, он повторял себе неистово, злобно, сжимая кулаки: не могу без нее, все равно, пусть любит другого, не могу и не хочу без нее.

Пробегав весь вечер по улицам, неутоленный и неуспокоенный, он снова очутился возле ее дома и поднял глаза к верхним окнам. Они были темны, все — темны, будто верхние жильцы

сговорились не зажигать света или разом все выехали. Только час спустя он заметил, что и в других окнах почти нигде не видно света, и понял, что уже ночь.

«На что я рассчитываю? Это же глупо!» — сказал он себе и стал трезво припоминать свои отношения с Валей. Чтобы проводить ее, нужно было навязываться в провожатые. Если он не был рядом в ту минуту, когда она уходила, она даже не оглядывалась. Если он предлагал ей прогуляться или пойти в кино, у нее всегда находились отговорки.

Он давно мечтал зайти к ней хоть на минуту, но когда он попросил разрешения занести ей домой книги, она вежливо отказала:

— Не беспокойтесь, Аркаша, принесите в цех, мне все равно сдавать в библиотеку.

Не беспокоиться! Тогда он половину ночи ворочался на койке, раздумывая, как это понять: боится она впустить его, что ли?

А было проще — он не нужен ей, совсем не нужен. Она и не думала о нем. Даже когда он шел рядом с нею, она думала о другом и любила другого... Но, может быть, именно теперь, когда она одинока и несчастна, она сумеет разглядеть, что рядом с нею человек, любящий ее по-настоящему и сто́ящий любви гораздо больше, чем тот подлец?

Глубокой ночью, устало шагая по улицам в свое общежитие, он твердо решил завтра же после репетиции сказать ей все, что он думает, предложить ей свою дружбу, помощь, предложить ей отомстить обидчику — все, чего она захочет.

На репетицию она не пришла, ее роль репетировала другая. С этою Джесси он просто не мог играть. Он сбежал с занятия и пошел к Аларчину мосту. Может быть, она заболела? Может быть, лежит там одна, без помощи?

Дворник сидел у ворот, попыхивая трубкой и косясь на Аркадия. Спросить у дворника, где живет Валя, показалось невозможным. Он отошел подальше и бродил по набережной, пока в последнем окне не погас свет.

Утром он догнал ее на улице и решительно сказал:

— Здравствуйте, Валя.

Она не ответила. Он настойчиво повторил свое приветствие, и она бросила, даже не посмотрев на него:

— Здравствуйте.

— Вы не были на репетиции...

— Я ушла из студии,— ответила она и ускорила шаг.

— Почему, Валя? У вас очень хорошо получалось.

— Так,— и вдруг, круто остановившись, быстро и зло проговорила: — Не выпытывайте, Аркадий, и оставьте меня, понимаете? Тут ничего нельзя изменить. И не ходите за мной. Я не хочу. Мне неприятно.

Он остался один посреди тротуара.

4

«Я теперь культпроп, ты знаешь эту работу лучше, чем я, и поймешь, как много забот и хлопот на меня навалилось».

Аня сидела в техническом кабинете и писала письмо, которое никак не писалось.

Уже давно можно бы уйти домой: посетители разошлись, кружки и школы отзанимались,— делать нечего. Но уходить из цеха не хотелось. Весь день в трудах, в спешке, а к вечеру все успокаивается. Неторопливо пройдешь по участкам, поднимешься на стенд, где уже идет подготовка к сборке второй турбины, заглянешь в конторку Ефима Кузьмича или в конторку Гусакова — послушать его незлобивую воркотню — и всегда встретишь или увидишь издали Полозова; то он на сборке, то на механических участках, то сидит с кем-либо из мастеров над графиком движения деталей. Проверка графика, конечно, на Полозове. Все самое трудное взваливается на него! Нарочно, что ли? Раньше они ссорились, и Любимов по всякому пустяку придирался к Алексею, а теперь обращается с Алексеем уважительно. Да только хорошего в этом мало! Он же, как барин, все больше отстраняется от повседневных цеховых забот, рассуждает о генеральной реконструкции цеха, собирается в Москву... а Полозов за него работай!

Полозов... О чем они говорили в тот вечер у директора, сидя на ковре, на подушках, которые он потихоньку стащил с дивана? Алексей сказал, что «в общем относится к женщинам скорее отрицательно», она подшучивала над ним, а он попросил:

— Вы только не кокетничайте со мной, пожалуйста. Дело в том, что я терпеть не могу женского кокетства.

Она опять посмеялась — обожглись?

Он кивнул и сказал:

— Пока вы мне кажетесь лучше других, так что вы, это самое, не портите впечатления, ладно?

А ей как раз и захотелось кокетничать с ним, особенно по дороге домой, когда Груня и Воробьев свернули в другую сторону и они остались вдвоем. Но в общем они себя чувствовали как два товарища, удивительно просто и легко. Интересно, чтó это была за женщина, о которую он «обжегся»? Давно это было? Кончилось это или нет? Нравлюсь я ему или нет? Он сказал в ту ночь: «Мне нравится, что с вами и помолчать можно». И действительно, большую часть дороги он молчал и мурлыкал под нос какую-то музыкальную фразу, все одну и ту же, но на разные лады: «та-ти-та-тим-пам-пам! Та-ти-та-тим-пам-пам!» Под конец и она стала подпевать от нечего делать. «Та-ти-та-тим-пам-пам!» — а он вдруг спросил:

— Что это вы за чепуху бубните?

И очень удивился, узнав, что чепуха заимствована у него.

А третьего дня, после удачи Ерохина, он пристально поглядел на нее и сказал:

— Пожалуй, все-таки вас надо было послать на участок.

Через час он позвонил ей в техкабинет по телефону и почти накричал на нее:

— Вас включили в комплексную бригаду? Ну и действуйте, чего вы меня ждете, как маленькая? Берите Шикина, Воловика, работайте, думайте! Няньку вам, что ли, нужно?

Аня сказала как можно строже:

— Даже если бы мне нужна была нянька, Алексей Алексеевич, я бы ей все равно не позволила кричать на меня.

А он вдруг сказал:

— Мне нравится, что вы такая зубастая!

И повесил трубку.

Ей были приятны эти слова и приятно то, что теперь Полозов, видимо, надеется на нее, раз требует от нее самостоятельности. Значит, Алексей Алексеич, я могу не только «вдохновлять»?.

Она старалась — и не умела — написать об этом в письме, которое никак не писалось:

«Кажется, я начинаю оправдывать себя не только как энергичный «толкач», но и как инженер. Я понимаю, что это всего-навсего скромное начало, первая «заявка», но мне удалось ввести маленькое новшество на каруселях, оно дало эффект...»

Конечно, Ельцов порадуется за нее, но разве он может понять, как это было замечательно, когда цилиндр опустился наконец на планшайбу ерохинской карусели и Ерохин начал обработку двумя резцами, а все стояли, вслушиваясь в дружное гудение резцов. Аня слушала и слушала, вытянув голову над краем быстро вращающейся планшайбы,— уже научилась понимать, какой получается звук, если деталь вибрирует, и какой, когда деталь стоит прочно, неколебимо. Деталь стояла прочно, упершись боком в тяжелый угольник, а внутри нее два резца делали свое исконное дело, напевая в два голоса однотонную песню, и звук получался чистый, ровный.

Только после длительного наблюдения, когда Ерохин облегченно передохнул, Аня оторвалась от этой песни и взглянула на стоявшего рядом Полозова.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Кажется, неплохо.

Она могла бы поручиться, что самые искренние поздравления и похвалы были им высказаны сполна.

«Очень был хороший день, когда опыт удался. Новый способ даст нам только на одной операции часов пятьдесят экономии, а по трем турбинам — полтораста. Но ведь можно применить его и на некоторых других деталях».

Так написала Аня, с досадой чувствуя, что эти часы экономии, такие важные для нее, для Полозова, для цеха,— Ельцову покажутся попросту незначительными. Подумаешь, полтораста

часов! А то, что стоит за ними,— разве расскажешь человеку, который не живет всем этим день за днем? Разве расскажешь, что в тот день она шла домой счастливая, глубоко счастливая, и ее одинокая комната впервые не показалась ей одинокой? Что теперь она ходит по цеху совсем в ином настроении, чем раньше? Что Ерохин тоже выглядит счастливым, и часто замечаешь, что он поет за работой, а когда они встречаются — в его рукопожатии столько тепла и уважения, что ей самой хочется петь за работой, так что иногда, если в техническом кабинете никого нет, она напевает то самое «та-ти-та-тим-пам-пам!». Все это делает жизнь чудесной,— но об этом не расскажешь...

Похоже, Ельцов даже с некоторой ревностью относится к ее работе, в последнем письме он пишет: «Конечно, завод занимает тебя больше, чем я, но, может быть, ты возьмешь себе за правило отвечать мне хотя бы на каждое пятое письмо? Складывай их где-нибудь на виду, как увидишь — пяток набежал, садись и пиши несколько строк, а письма — в корзину. И копи снова. Попробуй, дорогая, мне все же хочется изредка узнавать, чтó ты и как».

Стыдно... Что бы там ни было, а Володя — большой, настоящий друг, они прошли рядом через столько опасностей, провели вместе столько трудных и хороших дней...

А письмо все-таки не писалось, и она поглядывала на дверь — Шикин и Воловик обещали прийти к ней, а может быть, и Полозов придет, если ему удастся выкроить время...

«Меня включили в комплексную бригаду, которая должна рационализировать одну из самых трудоемких работ...»

Уф, какая тощища! Ведь это по-настоящему интересно, а хочешь рассказать — вместо дружеского письма получается какой-то технический листок!

«Сейчас как раз собирается наша бригада, поэтому кончаю. На днях напишу снова, не ожидая пятого письма. Если бы мы встретились, я бы, наверно, сумела рассказать тебе об этом живей и понятней, оно гораздо интересней, чем написано. До свидания, дорогой друг! Аня».

Она торопливо заклеила конверт, надписала адрес, не сразу припомнив номер почтового ящика. Как же это все отошло далеко-далеко, как будто ее отдалили не только десять тысяч километров, но и многие годы жизни! А ведь и сейчас, как вспомнишь, все там мило, интересно, дорого. Подробные письма Ельцова — «репортаж», как он называет их,— читаются с жадностью, каждая подробность занимает: пустили ТЭЦ, женился Карпушенко, замостили дорогу через перевал, приехало еще двести семей переселенцев, открылся гастроном в новом жилом городке...

Да, все мне интересно, мило, а только есть на свете город Ленинград, и этот завод, и этот цех — вся душа уже тут.

Сунув конверт в карман пальто, она заторопилась в цех, к людям, и с ходу натолкнулась на Алексея Полозова.

— Я за вами, Аня. Идемте к Воловику, а то здесь и подумать не дадут. Шикин ждет нас у выхода, а Воловик уже дома.

Проходя мимо почты, Аня вспомнила о письме, бросила его в ящик.

— А мне и писать некому,— со вздохом сказал Полозов.— Сколько друзей в разных местах, а как-то не умею я переписываться.

Аня бегло улыбнулась — еще час назад ей почему-то подумалось, что Полозов, наверно, не любит и не умеет писать письма.

У Воловиков всем понравилось. После первых минут, когда Ася разыгрывала из себя чинную хозяйку дома, ей это надоело, и Ася стала самой собою, с любопытством приглядывалась к товарищам мужа и вертела в руках деревянную модель диафрагмы, которую выпилил Саша,— не умел он думать, не помогая себе руками, не представляя зрительно деталь, которую нужно «одолеть».

Все по очереди вертели модель. Спорили, прикидывали так и этак. Мысленно подставляли ее под резцы «Нарвских ворот» и под скоростную головку фрезерного — воображаемого фрезерного гиганта, какого в цехе и не было. Как ни крути, получалось, что эти проклятые косые стыки надо обрабатывать по очереди, а не сразу.

В этот вечер решить проблему не удалось. И все же была найдена новая отправная точка для дальнейших раздумий и споров — фрезерная скоростная головка. Кто первым предложил ее? Никто не помнил. Может быть, Полозов, а может быть, Шикин или Карцева. Как-то само пришло: а если скоростной головкой? Эта массивная металлическая головка, ощетинившаяся резцами, уже прочно вошла в цеховой быт и перестала быть новшеством, так же как и высокие скорости резания, еще недавно считавшиеся диковинкой.

Хорошо, что мысль уже оторвалась от привычного процесса, от резца «Нарвских ворот». Скоростную головку можно прикрепить куда угодно — на фрезерный станок или на перекладину какого-то другого, еще не существующего станка... а тогда почему не установить сразу две головки, с разных сторон, чтобы два стыка обрабатывать одновременно?

Где? На чем? Как?

— Я считаю, что шаг вперед сделан,— сказал Полозов, когда они все, порядком усталые, сели ужинать и весело набросились на печеную картошку, которую Ася спекла в духовке газовой плиты.— Ах, какая вы умница, Ася, нет ничего вкуснее такой картошки! — Он перебрасывал в ладонях горячую картофелину, постепенно обдирая ее запекшуюся кожуру и добираясь до рассыпчатой мякоти, от которой валил аппетитный пар.— Если вы каждый раз будете так угощать, я уверен — доконаем мы эти диафрагмы, будь они неладны!

— А конечно! — поддержал Воловик.— Раз взялись.

Было поздно, когда Аня, Полозов и Шикин вышли на улицу.

— А ночи-то уже белые!

Все трое остановились — да, белые ночи начались, мягкий сумрак был окрашен лиловым отсветом занимающейся новой зари.

— Тут бы гулять до утра,— проговорил Алексей, вглядываясь в этот сумрак, который так и манил бродить и бродить по улицам, забыв о часах.

— Кому куда? — спросила Аня и уже протянула руку Шикину, чтобы распрощаться с ним, но Шикин горячо запротестовал:

— Мы вас проводим, Анна Михайловна! За кого вы нас принимаете?!

Она мысленно ответила: ох, тебя — за очень недогадливого человека.

Пошли втроем — Аня посредине, Шикин и Полозов по бокам.

Алексей заговорил вполголоса, как бы боясь нарушить тишину ночной улицы. О том, какие милые люди Воловики, о том, что Ася, видимо, немного оправилась от горя и очень гордится мужем... Вы заметили, как она забавно притворялась чинной хозяйкой и как быстро это все слетело?

Аня также вполголоса рассказала, что ездила с Воловиком в Дом технической пропаганды, где ему предстоит делать доклад, и Воловик был очень смущен, все старался доказать, что неловко созывать людей со всего города ради него одного...

Они шли и разговаривали — вдвоем, перескакивая с темы на тему, а Шикин деловито вышагивал рядом, не пытаясь участвовать в разговоре. Вид у него был такой решительный и мрачный, как будто он выполнял тяжелую обязанность сопровождать этих двух людей, забывших о его присутствии.

Они как раз переходили через пустынный проспект, когда он вдруг схватил Аню за рукав пальто и пробормотал сдавленным голосом:

— Товарищи! Товарищи!..

Он поднял перед ними трясущиеся руки, сжатые в кулаки.

— Товарищи! А если одну головку снизу, а? Одну сверху, как обычно, а другую снизу, а?..

Они тут и остановились — посреди проспекта. Шикин согнул руку в локте и водил ею взад-вперед, изображая движущийся стол фрезерного станка, совал то сверху, то снизу кулак, суетясь и не умея внятно передать свою мысль.

Одна так, другая этак... Понимаете? Ох, господи, это же так ясно! Да ну же, Алексей Алексеич, подержите руку, вот так. Ваша рука — стол, на ней лежит диафрагма, понимаете?.. Теперь мои кулаки — скоростные головки. Так? Смотрите же!

Он сверху подвел к вытянутой ладони Полозова один кулак, а снизу — второй, и его мысль стала наглядна и поразила

и Полозова, и Аню: конечно же, две головки могут одновременно и с разных сторон подрезать косые плоскости, направленные в разные стороны.

Но можно ли тут добиться той безукоризненной точности, какая требуется, чтобы стыки сошлись вплотиую, так, что и волос человеческий между ними не поместится? И как, на чем прикрепить эти две скоростные головки?..

Стоя на трамвайных путях, они крутили кулаками над вытянутой рукою Полозова, и редкие пешеходы косились на них, удивленно вслушиваясь в их возбужденное бормотанье и принимая их за подвыпивших ночных гуляк.

5

Они сидели вдвоем — директор завода и Саша Воловик. Весеннее солнце обжигало затылок Саши и дрожало на стекле директорских ручных часов,— когда Григорий Петрович шевелил рукой, солнечный зайчик прыгал по потолку, и Воловик невольно следил за ним растерянным взглядом.

— Семья у вас есть, Александр Васильевич? — Немиров тут же вспомнил, что знаком с его женой, поправился: — Я имею в виду детей — еще нет?.. А как у вас дома — условия для работы хорошие?

— Все в порядке,— пробормотал Воловик.

Десять минут назад директор сообщил ему, что завод решил выдвинуть его изобретение на Государственную премию. Как ни старался Воловик справиться с собою, ничего не выходило — губы стали непослушными, мысли путались.

— Что ж, вам видней, стоит оно того или не стоит,— поднимаясь, сказал он.— Только лучше бы вы мне ничего не говорили. Будет так будет. Все-таки, знаете...

Григорий Петрович встал проводить его, пожал руку:

— Растревожило? А не сказать нельзя, как же в молчанку играть с таким делом? Оформить все нужно, документацию подготовить. И потом, Александр Васильевич, выдвижение на премию, дадут или не дадут, само по себе — признание, радость и почет. Почему же и не порадоваться?

Воловик покачал головой, вздохнул:

— Я так думаю, Григорий Петрович,— вряд ли дадут. Ничего в моем станке нет такого особенного. С косыми стыками наша бригада куда труднее задачу решает.

— Ну и как?

— Да вот Шикин одну интересную штуку предложил.

Он попробовал объяснить, по привычке заводских людей тут же показал руками, как оно получится, поискал на директорском столе карандаш и бумагу, не нашел. Григорий Петрович достал лист бумаги, с улыбкой придвинул стакан с остро отточенными карандашами. Начав чертить и пояснять, Воловик сразу

успокоился, а директор взволновался: фрезерная головка! гигантский фрезерный станок! Все, что касалось фрезерных работ, было ему близко и, по старой памяти, дорого.

— Так ведь это здорово! — воскликнул он, вникнув в замысел бригады.— Что ж медлить? Оформляйте проект, рассчитывайте,— внедрять надо!

Воловик выпрямился, по рассеянности сунул карандаш в карман пиджака, задумчиво пожевал губами.

— Не знаю, Григорий Петрович, может, лучшего варианта мы и не найдем. А только, кажется мне, есть он — лучший вариант!

Когда он уходил, Григорий Петрович предложил:

— Знаете что, Александр Васильевич, идите-ка сейчас домой! Растревожил я вас, в голове туман... Верно? Жену обрадуете, отдохнете.

Воловик удивленно вскинул глаза:

— Ну, зачем же сейчас? Приду вечером, скажу. Это успеется.

Дверь за ним закрылась. Григорий Петрович прошелся по кабинету, распахнул окно, впустив свежий прогретый солнцем ветерок. От ветерка вспорхнул и полетел со стола лист бумаги с наброском фрезерного станка.

Лучший вариант?.. Может, в этом и проявляется сила таланта. Ведь вот же я сразу ухватился — хорошо, интересно, внедрять! А он еще десять раз перевернет.

Дверь приоткрылась, просунулась голова Воловика — лицо красное от смущения:

— Простите, Григорий Петрович, я у вас карандаш стащил.

Протянул карандаш, поклонился и быстро ушел.

Григорий Петрович стоял посреди кабинета и грустно усмехался. Эх, до чего же хорошо сейчас этому парню! Впереди все ясно, дома жена обрадуется, обнимет — и никаких тревог, ответственности, вот этой томящей неясности и боли... Не оттого ли он так спокоен? Даже домой пойти отказался — зачем, успеется. Если бы с ним, с Немировым, случилось такое — разве он утерпел бы до вечера, чтоб не сообщить Клаве, чтоб не увидеть, как просияет ее милое лицо, и не услышать ее простое: «Ой, Гриша!»

Ему захотелось немедленно позвонить Клаве,— может быть, обрадуется, скажет что-нибудь ласковое? Нет. Теперь все чаще она торопливо говорит: «Ой, мне сейчас ужасно некогда»,— и это «ой» звучит досадливо, небрежно. Что с нею происходит? Спросишь — говорит: «Работы много, и воюю, своего добиваюсь». Но разве это причина, чтоб допоздна пропадать где-то и принимать люминал,— иначе не спится?.. С той ночи, когда он увидел ее плачущей, как будто ничего и не произошло, но в их жизни невидимо присутствовал Гаршин, и хуже всего было то, что Немиров тут ничего не мог поделать. Он попытался однажды заговорить, Клава быстро сказала: «Оставь. Я сама». Что «сама»? Значит, что-то продолжается?..

Карандаш хрустнул в его пальцах, Немиров сунул его в стакан, подобрал листок с наброском Воловика и снова невесело усмехнулся, поняв, что завидует этому милому парню, у которого все в жизни просто и ясно.

А Воловик медленно шел по заводскому двору к цеху, и в голове у него еще стоял туман, и очень хотелось домой, к Асе. Даже не говорить ничего, а просто побыть дома, поцеловать ее, потащить гулять или в кино... А говорить ей ничего не надо. И так она возомнила невесть что!

Началось с вечеринки у директора. Вернувшись домой, Ася у порога кинулась мужу на шею:

— Теперь все будет иначе, Саша, клянусь тебе... все, все будет иначе!

Шляпка ее съехала назад и чудом повисла на ее растрепанных волосах.

Воловик поцеловал ее, усмехнулся:

— А ты немножко пьяненькая.

— Ну и пусть,— пробормотала Ася с самозабвенной улыбкой.— Зато я все, все поняла.

Через минуту, уже в халатике и с полотенцем на плече, она сказала:

— Ты сегодня был одет хуже всех, это ужасно. Мне было так стыдно! Что это за костюм! Мешок какой-то. Пузыри на коленях. Почему ты сам не сказал, что тебе нужен новый костюм?

Он не придал разговору значения, но Ася в первую же получку купила материю и, хотя денег уже почти не оставалось и было неизвестно, как прожить до новой получки, потащила мужа в ателье. Ну и сцену разыграла в ателье Ася! В один миг преобразившись в придирчивую, опытную заказчицу, она переворошила все журналы мод, замучила вопросами и указаниями закройщика, поспорила о сроках с приемщицей и заведующим, уверяя, что костюм срочно нужен для приемов и докладов среди ученых! Воловик краснел, злился и наконец сбежал. Ася догнала его и расхохоталась.

— Ну как тебе не стыдно! — попрекнул он Асю.— Какие приемы? И что ты там болтала насчет знаменитого изобретателя?

— Ты и есть знаменитый,— строго сказала Ася.— И, пожалуйста, не спорь.

А тут завод премировал Воловика за изобретение, и тотчас были куплены желтые ботинки, фетровая шляпа, самые лучшие рубашки и серия галстуков. Воловик любил носить косоворотки, украинские рубашки, а летом — футболки и майки. Стягивать шею воротничками и галстуками было для него страданием.

— Да куда я пойду таким петухом? — тщетно отбивался он.— И зачем мне это? Я ж на себя не похож стал!

— Вот и хорошо,— отвечала Ася.— Ты теперь то в президиуме, то с трибуны выступаешь,— разве можно таким растрепой!

— Так ведь н в презнднумах — свои людн, это ж не выставка женихов!

— Саша! — с иовымн, властными иотками в голосе прерывала Ася.— Я в твои изобретения ие вмешиваюсь, когда ваша брнгада собирается? Ну н ты в мои дела не вмешнвайся!

Как ни хотелось Воловику поделиться с Асей ошеломившей его новостью — придя домой, промолчал. Другая бы заметила, что муж какой-то страиный, н радостный н задумчивый, ио Ася как будто н винмаиия ие обратила, только ночью вдруг шепотом спроснла:

— А ты меня не разлюбишь теперь, когда ты такой знаменитый?

— Ну что ты выдумываешь, Асеиька? — пробормотал он.— И какой я знамеиитый? У тебя вошел в славу — ну и хорошо, мне достаточио.

Слава действительио пришла к иему.

Одиажды в цехе появились людн с киноаппаратами, протянули по цеху провода, установили прожекторы, долго прикндывали, как и откуда лучше сиимать Воловика и его станок, комаидовали мастерами и Карцевой. От смущения перед другими рабочнми, иаблюдавшими съемку, Воловнк опускал голову и прятал лицо, ио кинооператоры кричали:

— Повторяем все сначала! Голову выше! Улыбайтесь, говорнте, чувствуйте себя свободио! Начали!

Воловнк стоял измучеиный, потный от волнения и от жары, пышущей от прожекторов. Его поражало, что Жеия Никнтии выполнял все указаиня операторов так естествеино, как будто иикто его не сиимает.

— Веселей, веселей! — кричали операторы.— Шире улыбку, Алексаидр Васильевич, смейтесь, говорите! Внимаиие, иачали!

— Да ну, смейтесь же, Алексаидр Васнльевич, иельзя же так! — шептала Карцева.

Она была очеиь строга с иим, эта славная Карцева, в чьих руках само собой сосредоточилось все, что связано с пропагандой его нзобретения. Иногда ему казалось, что он уже совсем не прннадлежит себе. Карцева мимоходом сообщала ему:

— Сегодия приедет группа учеиых, прнготовьтесь демонстрировать станок.

Или:

— Завтра вам делать доклад на металлнческом заводе.

Однажды она сняла его с работы н на днректорской машине повезла в Дом техиической пропаганды.

Седой ннжеиер, кандидат техническнх наук, чьи книги Воловнк с уважеиием перелистывал в библиотеке, долго беседовал с Воловиком о его изобретеннн, его новых планах н о его знаннях.

— Где вы учитесь?

— Этот год иигде.

— Почему?! — огорчился седой инженер и с упреком обратился к Карцевой: — Вот уж это никуда не годится!

Затем он сказал, что они устраивают недели через три-четыре доклад Воловика для стахановцев и изобретателей машиностроительных заводов города, и готовиться к докладу нужно начинать немедленно. Карцева и седой инженер заговорили о том, как оформить «наглядные материалы» к докладу. Никто не спросил Воловика, хочет ли он делать доклад, и он опять, как во время киносъемки, почувствовал себя подчиненным требовательной силе, подхватившей его жизнь и потянувшей ее, независимо от его воли, туда, куда нужно по общим, большим законам жизни.

На обратном пути он пожаловался Карцевой:

— Знаете, Анна Михайловна, мне кажется — я выше росту поднят.

— Так подтягивайтесь! — ласково ответила Аня.— Это же хорошо!

Невидимые прожектора держали его в своих лучах, и от этих неотпускающих лучей становилось жарко и очень непросто жить. Он ходил как будто немного хмельной, ни на чем не мог сосредоточиться.

Однажды Воловику поручили выступить от имени заводского коллектива на большом общегородском митинге, посвященном борьбе за мир. На митинге должны были присутствовать иностранные рабочие делегации. Ася торжествовала:

— Вот видишь! Хотела бы я знать, в чем ты поехал бы, если бы я не позаботилась!

Он весь вечер писал, перечеркивал и снова писал тезисы своей речи, пока Ася, красная от старания, отпаривала его новый костюм, на котором уже наметились пузыри.

На следующий день она стояла в толпе, заполнившей большой луг в Парке культуры и отдыха, и с гордостью смотрела, как ее Саша сидит в президиуме — в новом костюме, в желтых ботинках, в ослепительном галстуке, теребя в руках новую, но уже смятую шляпу.

В ожидании его выступления Ася не могла слушать никого другого. Только французская работница поразила ее воображение.

Вышла на трибуну седоволосая женщина с суровым, морщинистым лицом, говорила гневным, выразительным голосом, то и дело обрывая речь, чтобы переводчик перевел сказанное ею, и, пока говорил переводчик, стояла с тем же сурово-вдохновенным лицом, чуть приоткрыв рот, будто держа на губах последнее слово, чтобы сразу продолжить мысль. Говорила она о нищете рабочих, о борьбе женщин за свободу, независимость и мир.

— Не исключена возможность, что меня арестуют, когда я вернусь, но все равно — расскажу всю правду о том, что

увидела в Советской стране, и буду бороться, бороться, бороться, пока не победим!

Так закончила француженка и под гром рукоплесканий сошла с трибуны. Ася с ужасом представила себе, что есть еще такие страны, где вся жизнь рабочего человека — гнет, нищета и борьба, а за такую речь, которой здесь дружно рукоплещут, там сажают в тюрьмы. И эта седая женщина живет там изо дня в день, из года в год...

Сразу после француженки слово предоставили Воловику.

Саша уронил шляпу и, втянув голову в плечи, вышел не на трибуну, а прямо на край подмостков. Он шарил по карманам, разыскивая написанную дома шпаргалку, не нашел ее, виновато оглянулся, а затем махнул рукой и, как-то сразу подтянувшись и повеселев, начал говорить.

К удивлению Аси, он совсем не запинался и не смущался. Он говорил о счастье свободно работать и творить, о том, как быстро нарастает мощь Советского Союза — вернейшего оплота мира во всем мире, и что делают они — Саша и его товарищи — для мирного процветания родины.

Саше Воловику долго хлопали, а он совсем освоился на сцене и вместе со всеми ритмично хлопал в ладоши и кричал:

— Ми-ру мир! Ми-ру мир!

И Ася тоже хлопала и кричала, влюбленно наблюдая за Сашей.

Потом Саша вернулся на место и сел, наступив на свою шляпу, глазами разыскал Асю и улыбнулся ей. Ася отчаянно жестикулировала, пытаясь знаками объяснить ему, что он придавил ногой шляпу, а он никак не мог понять, чего она хочет, и так откровенно изображал свое недоумение, что и в президиуме и в публике обратили на них внимание. Чешский рабочий, сидевший рядом с Воловиком, первым сообразил, в чем дело, и, ко всеобщему удовольствию, поднял шляпу, почистил ее рукавом и передал Воловику, дружески подмигнув Асе.

Ася была очень довольна переменами в их жизни, но Саша, как нарочно, с каждым днем становился все задумчивее и словно не в духе. Спросишь его: ты устал? — скажет: нет, что ты, Ася, совсем не устал! — Может, недоволен чем-нибудь? — Уверяет, что всем доволен. А вид какой-то смутный.

Заметив ее беспокойство, он старался держаться веселей. Он ничего не хотел скрывать от нее, просто он сам еще толком не разобрался, что́ его тяготит.

Как раз в эти дни душевной сумятицы подоспела поездка в Краснознаменку. Заводы, изготовлявшие для нового промышленного района машины, станки и всяческое оборудование, посылали в Краснознаменку делегацию — познакомиться со строительством и подписать социалистический договор. От «Красного турбостроителя» в делегацию включили Александра Воловика.

После предотъездной беготни, сборов и волнующего прощания с Асей Воловик очутился в вагоне скорого поезда в обществе шести незнакомых знакомцев. Председатель делегации, конструктор Евграфов, чье имя неразрывно связывалось с наиболее крупными и технически интересными типами генераторов, еще на перроне наскоро познакомил делегатов между собою. Воловик и тогда с интересом отметил известные в городе фамилии — Боков, Горелов, Сойкин... однако в толчее проводов никого не разглядел и не запомнил в лицо.

К огорчению Воловика, кроме прославленного мастера скоростных плавок Бокова и совсем юного бригадира Вити Сойкина, в его купе оказался четвертый пассажир, не принадлежащий к делегации, да к тому же еще женщина! Эту женщину Воловик приметил на перроне,— вытирая покрасневшие глаза, она говорила провожавшей ее старушке:

— Ну, ничего, ничего... Ты ему оладьи пеки, он любит. И кофе заваривай покрепче...

Когда поезд тронулся, женщина закурила папиросу и надолго затихла в коридоре у окна.

— Жаль, что не все свои,— шепнул Боков, выкладывая из чемодана на столик кульки со съестными припасами.

— Кто хочет яблочков, товарищи? — предложил Сойкин, вытаскивая яблоки, которые были распиханы у него по всем карманам.

Воловик вспомнил о пирожках, испеченных ему на дорогу Асей. Пирожки изрядно подгорели, хотя Воловик убеждал Асю, что они только подрумянились и что он как раз любит румяные корки. Но удобно ли угощать незнакомых людей такими пирожками?

— Что ж, начнем знакомиться,— предложил Боков.

Он был старше всех в делегации. Заслуженный сталевар, чье имя прогремело еще в дни войны, а теперь постоянно мелькало на страницах газет, Боков вел все плавки скоростными методами и давал отличное качество. Турбинщики знали и ценили «боковские» отливки.

Самым молодым в делегации был Витя Сойкин. Воловик приглядывался к нему с любопытством, так как знал, что Сойкин третий месяц держит общегородское первенство в соревновании комсомольско-молодежных бригад и что именно его мечтает обогнать Николай Пакулин. Сойкин выглядел смышленым, быстрым и веселым — из тех заводских пареньков, что н нехотя становятся вожаками.

— У нас ваш соперник работает — Коля Пакулин,— сказал ему Воловик.

Витя Сойкин насторожился, потом беспечно засмеялся:

— Пусть старается, для того и соревнование.

И всем своим видом выразил задорную уверенность, что никто его не обгонит.

Заглянул Евграфов, пригласил всех троих в соседнее купе, где разместились остальные делегаты. Воловику было особенно интересно познакомиться с Гореловым, бывшим начальником турбинного цеха: Саша слышал про него всякое — и хорошее, и плохое; с тех пор как Горелов добился больших успехов на станкостроительном заводе, турбинщики, почему-либо рассердившись на Любимова, поговаривали — будь на его месте Горелов, все пошло бы иначе.

Горелов показался ему мрачноватым, колючим. Больше помалкивал, отвечал односложно, а сам зорко на всех посматривал, и чаще всего — на Воловика. Но не заговорил с ним. Витю Сойкина отрядили похлопотать о чае, все развернули свои кульки с домашней снедью, пошутили — по пирожкам Воловика сразу видно, что хозяйка у него молодая. Не прошло и получаса, как всякая скованность исчезла.

Евграфов незаметно, но упорно заставлял каждого рассказать о себе. Пришлось и Воловику говорить о своем изобретении. Он уже привык к этому, но тут ему было неловко — чего уж без деловой надобности хвастать!

— А вы не стесняйтесь, раз умно придумали,— сказал Боков.— Нам же интересно!

И, выслушав, уважительно спросил:

— А теперь над чем работаете, Александр Васильевич?

Воловик ясно ощутил — в этой компании само собою разумеется, что человек, добившись одного успеха, ставит себе новую задачу. Боков вместе с учеными работает над созданием особенно прочной и жароустойчивой стали. Горелов занимается сокращением цикла производства станка. И так — каждый.

— Начал помаленьку думать насчет механизации одной работенки,— смущенно ответил Воловик, прибегая к таким необычным для него словам, как «помаленьку» и «работенка», чтобы умалить значение начатого труда. Он с досадой вспомнил, что весь этот месяц работал в комплексной бригаде от случая к случаю, только тогда, когда собирались все вместе. Решение, найденное Шикиным, не очень ему нравилось, но всерьез подумать, сосредоточиться, «покрутить» новое изобретение не удавалось.

— Какой именно? — заинтересовался Горелов.

Воловик объяснил — Горелов-то должен помнить, что́ за косые стыки и какая с ними волынка при обработке! Объясняя, он поглядел на Горелова и удивился — перед ним сидел как будто совсем другой человек.

— Очень интересно! — воскликнул Горелов.— А ведь сколько мы маялись с этими стыками! Да и со снятием навалов тоже! И как же это у вас получается? Специальный станок? Такого ведь нет, заказывать надо?

Заинтересовались и другие: ну-ка, объясните, как это у вас задумано?

Воловик чертил в блокноте, показывал руками — всем нравилось, а его не покидало ощущение, что где-то рядом, близко лежит еще не найденное, лучшее решение.

Когда очередь дошла до Вити Сойкина, Витя с простодушным удовольствием рассказал об успехах своей бригады, а потом его как бы понесло — Витя стал перечислять, куда его выбрали, куда посылали выступать, кто и где о нем писал, какие организации — от научно-технических обществ до клубов художественной интеллигенции — почтили его приглашениями и членством.

— Да, известность вещь такая,— проговорил Евграфов и отвел взгляд.

Все молчали. Только Витя, уже путаясь и чувствуя нарастающую неловкость, еще припомнил какие-то президиумы, где он сидел, артистов и писателей, с которыми его знакомили... Потом и он смолк.

— И ведь нужно все это,— первым нарушил молчание Горелов, не глядя на Витю,— и выступать, и в гости к артистам, к писателям ездить. Кому же рабочий класс представлять — лодырям? отсталым? Надо ездить, и самим это интересно, самих поднимает! Только, видимо, есть тут какая-то грань.

— Сам не заметишь, как закачало,— сказал Боков.— И туда тебя и сюда... ну и пошло — глаза разбегаются, нос кверху...

— Тут ведь еще совпадение какое! — заговорил Евграфов.— Слава-то у нас по заслугам приходит — то есть как раз тогда, когда и сам человек собою доволен.

Воловик взволнованно слушал. Знал ли кто-нибудь, как важен для него этот разговор?

— Ну и верно: будь доволен, это ж хорошо! — заявил Боков, посмеиваясь.— Тут, по-моему, главное — головы не терять и от дела не отрываться... Что человек без своего дела? Мотылек-однодневка!

Витя молчал и помешивал ложкой в стакане так, что чай завивался воронкой.

А разговор уже устремился вперед, к цели путешествия, к незнакомой еще Краснознаменке. И сразу закружился вокруг Евграфова — не потому, что он был главой делегации, а потому, что он больше всех знал.

Евграфов говорил скупо, не стараясь увлечь собеседников, заботясь лишь о точности. Речь зашла о сплошной электрификации страны и о создании единой высоковольтной сети. Евграфов говорил об этом как о технической задаче, и только. Но все равно было очень интересно. Шутка сказать, в такой громаднейшей стране — единое электрическое хозяйство, как бы одной рукой направляемое. Тысячи станций, тысячи турбин — паровых и водяных, и все они помогают друг другу. Когда весенний подъем воды в реках позволяет гидростанциям работать на полную мощность — линии передач понесут избыточный ток за тысячи километров туда, где он нужен, облегчая работу паровых

станций, а потом, в свою очередь, паровые станции придут на помощь. Все края страны будут как бы сцеплены вместе этими мощными проводами, несущими через поля и леса ток высокого напряжения.

— Помните закон о пятилетнем плане в части электрификации? — напомнил глуховатый голос Евграфова и тут же очень точно пересказал нужные строки закона: — «Форсировать восстановление и строительство электростанций, с тем чтобы рост мощностей опережал восстановление и развитие других отраслей». Вот отсюда и масштабы. С восстановлением, как вы знаете, закончено. А строительство — оно с каждым днем расширяется.

Женщина, все еще стоявшая в коридоре у окна — Воловик время от времени с удивлением оглядывал ее одинокую, застывшую фигуру,— вдруг решительно шагнула к двери купе и как-то жалобно спросила:

— Можно к вам на огонек, товарищи?

Все поспешно сдвинулись, освобождая ей место.

— Захандрила я. А тут такой интересный разговор. Вы уж простите, я прислушивалась.

Боков выбрал самое гладкое и румяное яблоко, обтер его носовым платком и протянул нежданной гостье:

— Угощайтесь. И поделитесь, если не секрет, с чего вам взгрустнулось? Или поневоле уезжаете?

Она надкусила яблоко, усмехнулась:

— Даже не знаю, как объяснить. Еду по большой охоте, сама добивалась, чтоб послали. А уезжать не хотелось. В нашей профессии таких противоречий много.

И она рассказала: нарочно подогнала командировку в Ленинград так, чтоб встретиться с мужем, когда он приедет на две-три недели из Бухтармы, а мужу пришлось задержаться из-за ранней весны, встреча не состоялась. Обидней всего, что он приедет дней через пять...

— А повременить с отъездом никак нельзя было? — осведомился Боков и раскрыл перед ней коробку леденцов.

— Что вы, меня вся партия ждет! — сказала она и со вздохом сунула в рот леденец.— Слыхали вы о проекте Большой Волги? Проект уже в правительстве, изыскания ведутся напряженно, сроки предельные.

— А вы чем же именно заняты там?

— А я начальник инженерно-геологической партии. По изысканию строительных материалов. Знаете, местные пески, камень, известь, гравий... Для одних только бетонных работ сколько всего нужно!

Она понизила голос:

— Это будут такие грандиозные стройки, товарищи! Судя по всему, даже Днепрострой рядом с ними может показаться маленьким.

— Днепрострой — маленьким? — воскликнул Воловик. В его

памяти встала километровая плотина, замкнувшая Днепр от одного берега до другого.

Женщина улыбнулась:

— Судя по размаху работ, по заданиям, которые мы получили... Потребность в материалах планируется такая... ну, прямо астрономические цифры! Да и не только на Волге. Мои товарищи ведут изыскания на Днепре, ниже по течению, от Запорожья до Херсона. Там, видимо, предполагается строить второй Днепрогэс, соединенный с оросительной системой. У них тоже такие цифры, такие цифры!..

Теперь, когда она оживилась, стало видно что она гораздо моложе, чем показалось сначала. Может быть, немногим старше Аси.

— Меня хотели оставить в управлении,— знаете, как мужчины рассуждают? Если что-нибудь интересное, все им, все им! Я такой шум подняла... А в общем, конечно, жизнь у нас цыганская, кочевая,— неожиданно закончила она, вздыхая.— Иногда по месяцу из резиновых сапог не вылезаешь.

— А муж у вас, простите, тоже цыганской профессии? — осведомился Боков.

— Еще хуже, чем я! — с удовольствием откликнулась она.— Он работает в Перспективном бюро.

Название всем понравилось: Перспективное!

— Бюро перспективного проектирования гидростанций,— уточнил Евграфов.— Так?

— Да, да, они вечно мотаются по берегам рек то на Севере, то в Сибири, то в Средней Азии. Ищут места, где можно строить, выясняют грунты и прочее. Скоро ли там будут строить — это уж не их дело. Их дело — наметить створы, где удобно. Вот на Днепре пять створов намечено — Горностаевский, Каховский, Казацкий... и еще каких-то два, забыла уже. Там тоже муж работал, то есть тогда еще он был не муж, но все равно... Сколько рек они изучили! Я даже названий таких раньше не слыхала — Непопадиха, Кума и Кундозерка, Харнузовка, Кайраккум.. Когда мы соберемся компанией, геологи и гидротехники из разных партий, иногда кажется — ни одной речки не осталось, где бы наши не лазили да не бурили.

В эту ночь, лежа на верхней полке, Саша Воловик долго не засыпал, да и не хотел засыпать. Внизу, наискосок от него, спала начальница геологической партии,— завтра она сойдет на большой станции и, наверно, никогда больше не повстречается. Он поглядывал на ее лицо, слабо освещенное голубым светом ночника, и старался представить себе, как сложилась бы его жизнь, будь у него жена вот такая — работник, товарищ... Когда-то он решал, что только на такой и женится. Но разве часто получается в жизни так, как задумаешь? И разве он мог полюбить кого-нибудь другого, когда есть Ася?

Сегодняшняя беседа растревожила его. «Что-то у меня

неладно,— думал ои, еще сам не понимая, что именно.— Станок я вытянул, а что-то упустил... Вон ка́кне людн тут собралнсь! Ну, Витя — мальчишка. А я где-то посредине между Внтей и остальными. Иногда мне казалось, будто я выдаю себя за кого-то другого, более достойного... Хорошо сказал Евграфов о славе. Коиечио, я доволеи, что станок нзобрел. Так ведь когда это было! А теперь живу — день за дием, самотеком. И с этнмн стыками — расхвастался, а что сделал? Кустарничаю, носом вииз...»

Уже засыпая, ои с улыбкой вспомиил Аснио требованне, чтобы на ночь ои обязательио думал о ней, но н Асе он мысленно повторил: «Что-то у меня неладно...»

6

Каждое утро, проскользнув по цеху мимо знакомых людей, Валя торопливо поднималась на свою «голубятню», и этн восемь часов напряжениейшего труда былн для нее теперь самыми легкнми.

Мотаясь в вышине в своей подрагивающей кабнне, Валя невольио отмечала перемену в темпе работ, потому что ннкто так ярко ие чувствует нзменения темпов, как крановщнцы.

Бывало, н поскучаешь, и зевиешь от нечего делать, н, свеснвшись через борт кабины, поиаблюдаешь, куда пошел иачальиик цеха, с кем пококетннчала подружка, иа кого иакрнчал Гусаков... А тут началось такое, что н выбнвшуюся прядку волос некогда заправить под платок. Краи все чаще н чаще вызывают то в один коиец цеха, то в другой — подать отлнвку, переиести тяжелую деталь с одиого стаика иа другой, со станка на сборку, со сборкн на стенд. Когда-то зиала: если доставила цнлиидр на «чнстовую» к карусельщикам, раньше, как иа пятый день, туда не позовут. Теперь прежнне подсчеты только сбнвают с толку — Ерохни отправнл цилиндр в иачале третьего дня, нижине части корпуса турбнны уже переехали иа стенд, предвещая начало сборки второй турбнны, и, что совсем уж удивнтельно, по цеху путешествуют тяжелые деталн третьей турбины и даже четвертой...

Во время такой горячей работы нельзя думать ни о чем другом. А Вале как раз н хотелось — не думать, совсем не думать.

И все-таки от мыслей не спастись.. Приближаешься к стеиду — Гаршин стонт там, ждет деталь, которую ты подаешь. Ииогда н в другом коице цеха вдруг мелькнет его плечнстая фигура в сниеи робе. А то и нет его нигде, и не думаешь о ием, ио оглянешь знакомый цех, увндишь зиакомых людей — и вдруг поймешь, что все это уже не нужио и с тобою случилась беда, после которой на всех смотришь ожесточенно и недоверчиво

Если б можно было с кем-нибудь поделиться этим, было бы легче. Но страиный и жестокий поступок Гаршииа подорвал ее

доверие ко всем людям вообще, вызвал у иее злобу и миительность.

Оиа ие была наивиа, ее отрочество было тяжелым и полиым испытаинй: война, блокада, утрата всех близких, эвакуация по ладожскому льду средн изнуреиных голодом, отчаявшихся людей, больиица, детскнй дом... Оиа переиесла миого бед, ио имеиио беды иаучнли ее цеиить человеческую доброту и заботу — хорошие люди выхаживали ее в ярославской больиице, растили ее в детском доме н привезли обратно в Леиииград, хорошне людн прииялн ее в цехе, дали ей квалнфикацию, обогрели ее дружеской лаской.

Оиа поверила, что все тяжелое осталось позади. Впереди мерещнлось только счастье.

И оио, казалось, пришло. Гаршии обратил иа иее виимаиие и в первый же вечер, в непривычной и пугающей Валю обстаиовке ресторана, объяснился с нею и добился ее призиаиня. Как ей было весело и хорошо с иим! Какие чудесиые вечера оии проводилн вместе, как оии смеялись, когда ои провожал ее домой и оии пробиралнсь в темноте, с сотиями смешиых предосторожностей, чтобы не иаткнуться иа незадачливого поклонника — Аркадия Ступииа. Оии поднимались по ступеиям, прижимаясь друг к другу и иевольио замедляя шаги на узкой лесенке, ведущей на самый верхиий этаж. Там оии стояли долго-долго, пока кто-иибудь ие спугивал их. С каждым дием становнлось все иевозможиее расстаться с иим, да и зачем? Она любила его, а когда ои целовал ее, оиа так верила в его любовь! Но оиа боялась соседей, к иему, видимо, тоже иеудобио было, н Гаршни все иетерпеливей говорил о каком-то уезжающем товарнще, о ключе от пустой квартиры... «Тогда прндешь?» — «Прнду». Накаиуне вечеринкн у директора Гаршин провожал товарища. «Прямо с вечериики — удерем в н а ш у квартиру?» — «Удерем».

Все, что произошло потом, было так непонятно и оскорбительио, что Валя ие могла думать об этом без дрожи. Жгучий стыд охватывал ее, когда она вспоминала свое обещание, которым ои грубо и необъясинмо преиебрег!

Украдкой иаблюдая за Гаршнным, она видела, что он ходит прнтихшнй и мрачиый, что вспышки шумиой веселости, свойствеиной ему, бывают у него все реже. Что томило его? Любил ли он когда-то давно директорскую жену? Влюбился ли с первого взгляда теперь? Нет, днректорская жеиа говорила ему «ты», оии встречались раньше, что-то было между нимн... Но, зиачнт, оиа, Валя, не занимала в жнзнн Гаршииа ннкакого места; значит, он совсем не любил ее, еслн мог так, сразу, начисто забыть о ией? Что же это такое? Как же ои должеи был презирать ее, если мог; не любя, нашептывать такие слова, если мог целовать ее и упрашивать ее прийти?

В течеиие целого вечера, забыв гордость, Валя попадалась ему иа глаза, сталкивалась с ннм в дверях... он не замечал ее,

проходил мимо, глядя поверх ее головы... Уж лучше б он соблазнил и бросил!..

Ее отчаяние усугублялось тем, что окружающие догадывались о ее несчастье.

Если неподалеку оказывался Гаршин, на нее устремлялись любопытные взгляды. Девушки из инструментального склада хихикали за ее спиной. Что они думали? Никто ни о чем не спрашивал ее, и от этого ей казалось, что сплетня захлестнула петлей ее жизнь, и она не знала, как разрубить петлю.

Был в цехе человек, по-своему старавшийся помочь ей,— старик Гусаков. Поймав Валю в пролете, он с жалостью сказал:

— На себя не похожа стала, доченька. Не таись от старика. Если тебя кто обидел, я тому голову сверну.

Как всегда, от него пахло водкой и махоркой, но Вале хотелось уткнуться лицом в его грудь, обтянутую засаленной рубахой, и выплакаться. Сдержав это детское желание, она через силу улыбнулась:

— Да что вы, Иван Иванович! Нездоровится мне. Вот и все.

И убежала, глотая слезы.

Она старалась убедить себя, что Гаршин ветреный и дурной человек, недостойный того, чтобы его любили и из-за него страдали. Но она продолжала любить его и страдать из-за него, она принимала вину на себя и терзалась предположениями, что Гаршин счел ее легкомысленной и слишком доступной, что его оттолкнула легкость, с какою она поехала с ним в ресторан, с какою она позволила целовать себя и дала то обещание.

Оторвавшись от товарищей, от работы в техкабинете, от драмкружка, Валя осталась совсем одна. Только Аркадий Ступин как тень ходил за нею, но тень эта раздражала ее и усиливала ее отчаяние.

Как он объяснял себе ее горе? Что он подозревал? И почему не отвернулся от нее? Или он надеется, что т а к а я — она обрадуется его любви и уже не захочет оттолкнуть его? Или он мечтает, что настанет его черед и он отплатит ей за все мучения?

Только дома, закрывшись в своей комнатке, выходящей окном на крышу, Валя обретала горькое спокойствие. Спокойствие было хуже отчаяния, потому что означало отрешенность от всего, что прежде заполняло жизнь.

Аркадий не мог подчиниться приказанию Вали и продолжал издали провожать ее и маяться вечерами возле ее дома, но он был далек от надежд, которые она ему приписывала. Он уже ни на что не рассчитывал и ничего не хотел для себя, он терзался страхом, что Валя с отчаяния заболеет или что-нибудь сделает с собою. И еще его душил гнев против людей, стоявших ближе к ней, чем он, и теперь равнодушно отошедших в сторонку. Неужели Никитин, Пакулин и другие комсомольцы не видят, что их

товарищ в беде? Неужели Валерий Владимирович, всегда хваливший Валю, так легко примирился с ее уходом из студии?

В воскресное утро, промаявшись несколько часов возле ее дома, он вдруг сообразил, что ни вчера после работы, ни сегодня она не выходила даже в булочную.

Нужно что-то делать, делать немедленно! Но что именно? Он был бессилен придумать что-либо и решил поговорить напрямик с Николаем,— в конце концов, Николай ее друг, они оба в комсомольском бюро.

Он помчался к Пакулиным.

Всю дорогу он повторял упреки, которые обрушит на Николая. Всех учит, как жить и что делать, а самому наплевать на чужое горе! Эгоист, зазнайка, только о своей славе думает!

Он позвонил у двери, как будто дом горел,— неотрывно, изо всех сил нажимая кнопку звонка. Он начал бы колотить в дверь, если бы она не открылась быстро.

Виктор открыл ее, держа в руке столярную пилу.

— А, Ступин! — удивленно, но равнодушно приветствовал он товарища по бригаде.— Ты к Николаю?

Николая не оказалось дома, он вышел за покупками. Маленькая кухня, в которую Аркадий вошел, была так аккуратно прибрана, что Аркадий, растеряв запал гнева, принялся тщательно вытирать ноги о влажный половичок.

Худенькая пожилая женщина в пенсне вошла в кухню и, увидав незнакомого, вежливо пригласила в комнату. Комната была еще чище и уютнее кухни, а книга в руках хозяйки совсем смутила Аркадия. Он сел у самой двери, вытянувшись и покашливая.

Узнав, что гость — член пакулинской бригады, мать сняла пенсне и ласково оглядела незнакомого юношу:

— Заниматься пришли?

— Нет, я по делу, по срочному.

На столе поверх клеенки была постлана газета, на ней лежали учебники и тетрадки с надписями на обертках: «В. Пакулин, I курс». А через полуоткрытую дверь Аркадий видел часть соседней маленькой комнатки — книжную полку, столик, заваленный книжками и тетрадями, подоконник с рулонами чертежей.

— А вы где учитесь?

— Я готовлюсь поступать с осени.

Он записал в свой «план жизни» обязательство учиться, но еще не начинал готовиться и в душе не был уверен в том, что поступит. Для техникума у него не хватало знаний, а идти в вечернюю школу, в седьмой класс, казалось обидно — садиться за одну парту с мальчишками и два года быть школяром, прежде чем сравняешься с Витькой Пакулиным! А Витька к тому времени небось и до вуза доберется! Но сейчас он ответил так потому, что это было понятнее матери, у которой оба сына учатся.

— А что ж вы раньше не собрались? — поинтересовалась

мать.— Лет-то вам, наверно, побольше, чем Коле. Или имеете образование?

— Николай в семье живет, ему легче,— неохотно ответил Аркадий и отвернулся, не желая продолжать разговор. Но мать добродушно спросила, почему он раньше никогда не бывал у Николая,— если в общежитии неуютно, приходил бы к товарищу, в семью, она всегда рада друзьям сына.

— К нам многие ходят,— сказала она и после долгого, но какого-то необременительного молчания задумчиво сказала: — Да, так вот и двигается жизнь.

И Аркадий вдруг с болью подумал, что не ему и не Николаю, а вот этой матери надо бы поговорить с Валей.

Пришел Николай. Мать взяла у него покупки и ушла в кухню, прикрыв за собою дверь. Николай вопросительно смотрел на Аркадия — приход товарища был некстати.

— Можно с тобой в открытую говорить? — удрученно спросил Аркадий.— Мне очень нужно.

— Можно, конечно,— подавляя недовольство, сказал Николай.— Здесь... или пойдем походим?

— Давай походим.

Они вышли из дому и переулком между корпусами заводского жилого городка направились к раскинувшемуся за ним пустырю.

Кое-где среди старых фундаментов уже вымахнули и потянулись к солнышку молодые березки с нежными белыми стволами-прутиками и первыми веточками, на которых распускались почки. Подбрасывая ногами попадающиеся на пути щепки и обломки кирпича, молодые люди прошли до середины пустыря и, не сговариваясь, сели на кирпичную кладку.

— Ты, наверно, удивишься,— предупредил Аркадий.

Николай качнул головой и отвел глаза, чтобы не смущать товарища.

— Я не комсомолец,— сказал Аркадий.— Это вы должны заботиться, если человек один. И вообще... А вот видишь, случилось такое дело... и черт его знает, почему я вижу, а вы не видите. Или, если уж совсем в открытую говорить... я люблю ее. Ты не смейся, Николай.

— Чего ж тут смеяться,— сказал Николай и покраснел.— Это со всеми случается. Я не смеюсь.

Затем они помолчали. Наконец Николай напомнил:

— Ну, ну...

— Это о Вале. Она же ваш член бюро, и вообще.

Николай встрепенулся:

— А что ты знаешь?

— А ты?

Николай задумчиво смотрел в сторону, затем тихо спросил:

— Значит, ты ее очень любишь?

И тогда Аркадий заговорил — так, как он говорил сам с собою однажды ночью, задыхаясь от переполнявшего его чувства и не

умея нн скрывать, ни умалчивать ин о чем. Да, любнт, любит до потерн себя, хотя оиа попросту ие замечает его, ие подпускает его к себе, чтобы он помог ей нли отомстнл за иее.

— Ну как же ты отомстншь? — чуть улыбнулся Ннколай.— В морду дашь, что лн, нли вызовешь иа дуэль, как в девятнадцатом веке?

— Дам в морду хотя бы!

— Этнм не поможешь. Тут есть только одио средство, как я поннмаю. Это н в литературе... Левнн н Киттн... И вообще я знаю такне случаи. Помочь — это заставить ее забыть, стать для иее лучше, нужнее, чем тот. Я н сам...

Ои осекся, затем решительио докоичил:

— Я н сам влюблен в одну девушку. А она не обращает виимання. Так ведь одни путь — ие иадоедать же ей! — один путь: заслужнть вннманне, стать достойиым. Разве неверно?

Аркаднй с отчаяннем вскричал:

— Валя-то несчастна! Ее обиделн... может быть, очень жестоко обнделн! Я все время боюсь, как бы оиа чего с собой не сделала!

— Она тебе ничего не говорила... что у инх пронзошло?

— Мне!!

Сиова помолчалн.

— Ну и... они совсем ие встречаются? Не говорят? Ои и не подходнт к ней?

— Кто?!

— Ну, Гаршнн.

— Гаршни?!

Нназвал это имя. Но кто мог думать, что Аркаднй не зиает!

Аркаднй заметался, как в горячке. Лицо его н шея налнлнсь кровью.

— Гаршнн! — прохрнпел он.— Так это Гаршни... Гаршнн!

— Я думал, ты знаешь.

— И еще инженер! Начальник! Ну, погоди...

— Ты, Аркадий, того... ие безумствуй,— предостерег Ннколай, нспуганный этим приступом гиева.— Есть другне средства.

— Какие?

Большой, с крутыми плечами, обтяиутыми курткой, со сжатымн в кулаки огромными ручищами — Аркадий стоял перед Ннколаем н коротко, сильио дышал.

— Ты смотрн, Аркаша,— повторил Николай.— Это тебе не пушкниские времеиа. И ие в старой деревие — на кулаках решать.

Аркаднй упрямо прнгиул голову:

— А как? Ты скажн.

Ннколай сам не знал как. Все, что подсказывала память, в даииом случае не годилось. Поговорить с Гаршниым иапрямнк? Но Гаршни ему не ровия, ои просто пошлет его к черту. Поднять

на партбюро вопрос о неэтнчном поступке коммуннста Гаршииа? Но что скажешь? Что Валя Зимииа была давио влюблеиа в инженера Гаршнна, а ои не обращал иа нее внимания, а потом соблаговолил заметить ее, и несколько дней Валя ходнла сама не своя от счастья?.. А потом что-то вдруг иадломнлось. н иа вечериике турбинщиков Гаршин даже ие подошел к Вале? Как тут судить со стороны, что у них пронзошло?

— Мы же ничего толком ие знаем,— сказал Ннколай с досадой.— Бить — тоже надо знать, за что.

Аркадий впервые до коица ощутил тяжесть Валииого молчаиня, ее горя, загнанного внутрь. Вот и Николай иичего не знает. И с подружкой своей, Ксаной, Валя давио ие встречалась; тоже, видимо, ие прнзналась ей ни в чем. Может быть, дома у иее есть родные, подруги, мать?

— Живет оиа одиа, у иее вся семья погибла в войну,— сказал Ннколай, своими путями пришедший к тем же мыслям.

— А из дому она и не выходит.

Николай винмательно поглядел на Аркадня — вот до чего дошло у парня! А тот даже не смутился, выдав себя,— ему было все равно.

— В конце концов, дело именно в ией,— сказал Ннколай.— Морду набнть проще всего. Но разве Вале этим поможешь?

Аркаднй зрительно представил себе, как он подходит к Гаршнну и бьет его с размаху по лицу. Даже воображаемый удар доставнл ему острое удовлетвореине. Но тут же ои понял, что весь цех всполошится и весь цех узнает, за что Аркадий избнл Гаршнна. Печальная нсторня Валн Зминой будет обсуждаться по всем закоулкам, обрастая подробностями, как всякая сплетня.

— Да, это не годится,— призиал Аркадий, и прелесть мести померкла.

Через минуту, горько понурясь, ои спросил:

— Так что же делать?

Они долго молча сндели рядом на кирпнчах.

— Подлость это! — вдруг с горячиостью восклнкиул Ннколай.— Прямо подлость получнлась! Ведь понимали, что случилось с нею что-то, н отступили — пусть, мол, пережнвет, прндет в себя. А тут, может, вовремя доброе слово сказать...

— А студня? Оиа Джессн играла, а ушла — и инкто пальцем не шевельнул.

— А ты? — в упор спросил Николай.

— Что я? Да я...

— Вот, вот! — зло подхватил Николай.— Все мы так! Почему я, да как я, вдруг что-то подумают! А ты бы поднял вопрос на студни, с режиссером поговорнл бы! Почему же не ты? Если человек любнт, он, по-моему, всему свету не побоится сказать: люблю, берегу, защищаю!

— Я же и вновat?

Аркадия оскорбило это иеждаиное обвниеине,— ведь именно

он первым забил тревогу! И в то же время обвинение было справедливо. Он стеснялся говорить о Вале с членами студии, с режиссером.

На следующую репетицию он пришел пораньше и отозвал режиссера.

— Вы вот что, Валерий Владимирович,— сказал он, втянув голову в плечи и мрачно, исподлобья глядя ему в лицо.— Хвалить Валю Зимину вы хвалили, захваливали даже... А какого же черта теперь отмахнулись? Ушел себе человек — и ладно. Заменили. А почему ушел? Что у человека на душе? Вы ж человеческой душой занимаетесь — психологические состояния, правда жизни и все такое... а тут мимо прошли?

Валерий Владимирович изумленно слушал эту страстную речь, склонив набок седеющую голову и наблюдая, как порыв чувства преображает лицо молодого человека. Первым побуждением режиссера было оправдаться. Но он был впечатлителен и тут же отбросил недостойное желание выглядеть правым.

— Спасибо, мой друг. Подтолкнули и пристыдили! — сказал он и, склонный к внешним проявлениям самых непосредственных движений души, добавил, картинно разводя руками: — Ведь думал, хотел разузнать, пойти к ней, вернуть! А не сделал... захлестнуло, завертело — человек-то и потерялся!

Аркадий по-прежнему исподлобья и все более недоброжелательно разглядывал режиссера. Тот вдруг козырьком приставил пальцы ко лбу и забормотал:

— Погодите, погодите... Это находка, мой друг! Вот так, именно так вы должны стоять и смотреть, когда слушаете Макферсона! Ну-ка, ну-ка, попробуйте сказать эти ваши слова... как это у вас...

Аркадий резко переменил позу:

— Я с вами о Зиминой. Без нее я все равно играть не стану.

Валерий Владимирович схватил Аркадия за руки, энергически потянул к дивану, заставил сесть рядом и сразу стал простым, естественным.

— Вы правы, Аркаша,— сказал он.— Что мне нужно сделать по-вашему, и как повидать ее? Пойти к ней домой? Или в цех? Что с нею случилось, вы знаете?

Они решили, что Валерий Владимирович приедет завтра к концу рабочего дня в комсомольский комитет завода, попросит вызвать Зимину и поговорит с нею о том, что без нее постановка провалится, что нехорошо подводить коллектив студии перед премьерой.

Аркадий видел, как Валя прошла в комитет. Он слонялся по двору и волновался — сумеет ли Валерий Владимирович душевно поговорить с нею, не оттолкнет ли ее этим своим словами и жестами. Когда режиссер и Валя вышли вместе и направились к проходной, Аркадий метнулся в глубь двора, чтобы не быть замеченным.

На очередной репетиции Валя репетировала как всегда и с особою доверчивой ласковостью в голосе обращалась к режиссеру, так что сомнения Аркадия рассеялись. Аркадий не мог знать, что именно шумное и неприкрытое проявление участия и заинтересованности в ее судьбе неожиданно подействовало на Валю больше, чем сдержанные расспросы Николая и Ксаны Белковской. Из гордости отвергнув искренние попытки друзей вызвать ее на откровенность, она вдруг без сопротивления, не сдерживая слез, призналась чужому, седеющему актеру, что она разочаровалась в людях, увидела, что нельзя доверять им, и теперь не знает, как жить. А Валерий Владимирович охотно подтвердил: «Да, мы, мужики, народ подлый, с нами надо держать ухо востро», и тут же вскользь заметил, что не все ведь таковы, есть и чудесные ребята — может быть, Валя не умеет разобраться, кто стоит любви, а кто не стоит. Валя растерялась оттого, что Валерий Владимирович извлек из ее признания больше, чем она хотела рассказать ему, а он продолжал говорить: один молодой человек даже обругал его за равнодушие к судьбе Вали,— значит, есть у нее настоящие друзья? Зачем же преувеличивать! Не лучше ли присмотреться к окружающим и больше не ошибаться? Валя улыбнулась сквозь слезы и попробовала опять заговорить о том, что дело в разочаровании, в утрате доверия, но Валерий Владимирович замахал руками, засмеялся и обнял Валю, а затем начал ей рассказывать всякие жизненные истории про любовь несчастную и счастливую, про ошибки и про то, как важно найти «золото в душе» вместо того золота, которое порой обманно блестит, но оказывается стекляшкой. В этих рассказах прошло больше часу, и за этот час Валино горе как-то потускнело. Валерий Владимирович спохватился, что ему пора в театр, и пригласил Валю на спектакль. Валя поехала с ним и уже по дороге, успокоенная и повеселевшая, обещала прийти на репетицию.

Обрадованный возвращением Вали в студию, Аркадий попробовал заговорить с нею, но Валя поспешно отошла от него и в ее лице появилось исчезнувшее было выражение горькой решимости никого к себе не подпускать. Впрочем, во время репетиции, когда он по ходу пьесы смотрел ей в глаза, она улыбнулась ему совсем не по-актерски, а робко и благодарно.

После репетиции Валерий Владимирович подозвал Аркадия.

— Я сделал все, что мог,— прошептал он заговорщицки.— Вы видите, она пришла. Но у нее было большое разочарование, и тут дело ваше... всех ее друзей... поддержать, подкрепить, развлечь...

Сбившись с естественного тона, он докончил с пафосом:

— Вы благородный юноша, Ступин, душа у вас красивая, и пусть Валя увидит эту благородную красоту! Не затворяйте душу, Аркадий.

Аркадий буркнул:

— Ладно.

И побежал догонять Валю.

Она вошла в автобус одной из первых, а он оказался в конце длинной очереди и вскочил в машину последним. Когда ему удалось протиснуться вперед, Валя сидела у окна, зябко съежившись и прикрыв глаза. Аркадий не посмел окликнуть ее. У Аларчина моста он соскочил первым и подал Вале руку, чтобы помочь ей сойти с высокой ступеньки. Она воспользовалась его помощью и быстро пошла к дому.

Он шагал рядом, попробовал заговорить с нею. Она резко повернулась к нему и злобно сказала:

— Не надо, Аркадий. Я уже говорила — не надо! Вы меня раздражаете и мучите, поняли? Я ошиблась, и никто мне тут не поможет. Я знаю, вы все думаете бог знает что, вам кажется, что меня кто-то обидел или обманул, и я потому и несчастна. А меня никто не обидел. Я сама ошиблась и сама себя обидела, и теперь расплачиваюсь, и буду расплачиваться сама. Одна. А вы, Аркадий, забудьте меня. Совсем. Вот и все.

И, выпалив это, она по привычке ушла, не дожидаясь ответа.

Он остался на мосту, огорченный и все-таки счастливый. Был в ее объяснении мучительный, но радостный смысл, да и самый факт объяснения его обрадовал: она захотела что-то опровергнуть, в чем-то убедить его,— значит, ей не совсем безразлично, что он думает и чувствует! И хотя она ясно и резко потребовала, чтобы он оставил ее и забыл о ней, он впервые не поверил ей. Он не вспомнил слов Валерия Владимировича — нет, они показались ему смешными и старомодными. Не вспомнил он и дружеских советов Николая. Одно он запомнил крепко — надо действовать, никому не передоверяя и ни на кого не рассчитывая, действовать так, как подсказывают ум и сердце. А ум и сердце его возмужали в эти тяжелые недели. И, глядя вслед Вале, он сумел понять, что она уходит не только от него — от себя самой.

И так просто оказалось узнать у дворника номер ее квартиры, взлететь на верхний этаж, под самую крышу, где лестница сужнвалась и круто поднималась к узкой двери, возле которой торчал старинный колокольчик, облезлый от долгого употребления. Он дернул колокольчик, кто-то открыл ему и равнодушно указал — четвертая дверь налево.

Он рванул дверь и остановился — из сумерек вечерней улицы он неожиданно перенесся как бы прямо в небо, горящее золотом заката. Широкое окно, занимающее всю переднюю стену узенькой комнаты, открывало бесконечную глубину неба, и последние солнечные лучи пронизывали комнату, затопив ее вольным слепящим светом.

В этом слепящем свете он не сразу нашел Валю. Она стояла на коленях у изголовья кровати, уткнувшись лицом в подушку

— Валя! — крикнул он отчаянно громко, как будто она была очень далеко от него.— Валя!

И опустился на пол рядом с нею, разжимая ее пальцы, пытающиеся прикрыть мокрое от слез лицо.

— Не надо, не надо,— твердила она, отталкивая его.

Он обнял ее и силою поднял, поставил на ноги и не отпустил, а тряхнул за плечи и быстро, решительно заговорил:

— Я никуда от тебя не уйду, Валя, это бессмысленно, я тебя люблю и не могу оставить тебя, когда тебе плохо...

— Жалеешь? — выкрикнула она, от гнева сразу перестав плакать.

Уже не боясь ее, он сказал:

— Да. Жалею, Валя. И тебя и себя. И пойми ты — не уйду. И врать тебе не буду, потому что все знаю и понимаю, и тебе надо забыть эту твою ошибку, а не растравлять себя. И я тебе помогу, потому что некуда мне от тебя идти. Жить без тебя не могу, что хочешь делай! — не могу.

Отпрянув, она спросила злым шепотом:

— А это ты знаешь — что я люблю его? Ненавижу, презираю, а люблю. Это ты знаешь?

— Зачем ты мне говоришь это?

— Чтобы ты знал. Все знал. И понял, как это невозможно, чего ты хочешь. Чтобы ты ушел!

Побледнев, он отошел от нее, распахнул окно, окунул голову в поток свежего весеннего воздуха, и этот свежий, пронизанный солнцем поток сказал ему, вопреки всему только что услышанному, что быть у нее и с нею — счастье, и она не спорила бы так страстно, если бы он был совсем ненужен ей, и не надо обижаться, а надо ей помочь, потому что нового она ничего не открыла ему, а то, что она открыла,— уже прошлое.

Он вернулся к ней, более уверенный, чем когда бы то ни было:

— А ты очень хочешь, чтобы я ушел? Правду скажи. Полную правду. Тогда я уйду. Только совсем полную правду.

— Может быть, и не хочу,— еле слышно сказала Валя.— Потому что ты хороший. Но ведь я ничем не могу тебе ответить, Аркадий.

— А я и не прошу! — вскричал он.— Год, один год не гони меня, Валя! Чтоб я мог приходить к тебе иногда... провожать тебя... позаботиться о тебе. Я даже о любви тебе говорить не буду! Дружить со мной ты можешь? Книжки читать, погулять сходим, на Острова, на лодке... на лыжах кататься... Может быть, за год ты и полюбишь? Не зарекайся, Валя! Может быть, и полюбишь!

— Странный ты человек. Удивительный человек.

Лицо ее менялось на его глазах. Закат угасал, слепящие лучи покинули комнату, а лицо ее светлело, светлело...

7

Приближались весенние экзамены, и Николай вернулся домой с твердым намерением заниматься. Виктор что-то выпиливал в кухне, и Николай упрекнул его:

— Нахватаешь троек, тогда припомнишь свои игрушки!

Обычно Виктор огрызался на замечания, но в этот раз он только повел плечами и из-под насупленных бровей взглядом показал на притворенную дверь в комнату, потом на вешалку.

На вешалке висело хорошо знакомое кожаное потертое пальто.

За дверью стояла тишина.

— Зачем? — шепотом спросил Николай.

Виктор снова повел плечами и, отвернувшись от брата, от кожаного пальто и от всего на свете, возобновил работу. Скрежетание пилы о неподатливую фанеру было единственным звуком в квартире.

Николай приотворил дверь в комнату.

Мать сидела в своем кресле у окна и вязала. Губы ее слегка шевелились,— она про себя считала петли.

Отец сидел у стола, положив на клеенку тяжелые, с набухшими венами руки и низко опустив голову. Должно быть, он крепко задумался, потому что не сразу увидал Николая.

— Вот и хорошо, что вернулся, Николенька,— ровным голосом сказала мать.— Отец хотел видеть тебя.

Отец поднял голову. На его постаревшем лице появилась странная, робкая улыбка:

— Здравствуй, Коля.

Николай ответил чуть слышно:

— Здравствуй.

Они смотрели друг на друга. Мать снова считала петли, слышался ее шепот, то и дело заглушаемый скрежетом пилы за стеной.

— Слежу за тобой и радуюсь,— сказал отец. И кивнул на стул: — Садись.

Николай сел.

С первой минуты, когда он увидел низко склоненную голову и тяжелые руки отца, Николаю хотелось броситься к нему и прижаться лицом к этим родным рукам. Если бы здесь не было матери, он, наверно, так и сделал бы. Но спокойствие матери было для него важнее всего, а ее молчаливая сдержанность, эти ее шепчущие губы и напряженные пальцы, быстро двигающие спицами, лучше слов сказали ему, как мучителен для нее приход отца и как она боится встречи отца со старшим сыном.

— Мало тут моей заслуги, что выросли вы оба настоящими людьми,— продолжал отец.— Но не всегда бывает жизнь проста, Коля. И не всегда складывается как надо... Я не оправдываюсь. Я очень перед вами виноват.

Последние слова дались ему трудно, он не любил каяться.
Мать спокойно сказала:

— Не надо об этом, Петр Петрович. Себя мучить и нас мучить. Что пережито, то пережито.

— Для меня ничего еще не пережито,— сказал отец.— Знай я тогда, что все так обернется, я бы удавился скорее, чем пойти на такую муку... Вон Витюшка: встретил дичком и — за пилу. Пилит и пилит, как по нервам. О тебе, Коля, почти каждый день слышу — все хорошее. И радостно — ведь сын! — и больно.

Мать легко поднялась и подошла к двери:

— Перестань пилить, Витя, и поди сюда.

Виктор стал под притолокой, всем своим видом показывая, что он только подчиняется матери, а по доброй воле ни за что бы не пришел. Мать хотела ввести его в комнату, но он сердито уклонился. Тогда она сама шагнула к отцу, печально изучая постаревшее лицо когда-то такого родного, привычного, а теперь уже чужого человека:

— Чего же ты хочешь, Петр Петрович? С чем пришел?

Отец грустно усмехнулся:

— Ишь как тебе легко спрашивать! Вы передо мною правы, а я перед вами виноват. Вас трое — семья. А я должен, как вор, тайком на сыновей смотреть.

— Вас тоже трое. Тоже семья.

Щеки ее вспыхнули, а губы совсем побелели. На виске сильно пульсировала жилка.

Николай крепко обнял мать за плечи — ему казалось, что она вот-вот упадет, и тихо сказал отцу:

— К чему этот разговор, отец? Не мы от тебя ушли — ты от нас ушел. Да, нас трое. Семья. И маме нельзя волноваться, у нее сердце. Видеть хочешь? Не уходил бы. Своя у тебя семья. Четыре года не вспоминал. Зачем же вдруг? Оттого, что на заводе о нас заговорили, а тебе неловко на вопросы отвечать?

У отца кровь бросилась в лицо, запрыгали губы. Он долго не отвечал, потом с усилием проговорил:

— В молодости, сын, легко быть жестоким. Поживешь — поймешь.

Оглядел Николая и застывшего в дверях младшего сына:

— Что ж, насильно мил не будешь... Прости меня, Тоня. Видно, и впрямь не надо было.

И пошел в кухню, натянул пальто, долго не попадал ногами в галоши.

Мать прошла за ним, ласково сказала:

— Бог с тобой, Петр Петрович. Я на тебя не сержусь и ни в чем не виню. А дети, сам понимаешь... Не вини их. Тебе тяжело, а ведь им и потяжелее было.

Отец взял ее руку, подержал, низко склонился и поцеловал.

Дверь уже захлопнулась за ним, а мать все стояла и смотрела на свою руку.

На вешалке сиротливо висел забытый отцом шарф.

Николай схватил шарф, через три ступеньки сбежал по лестнице, отчаянно крикнул:

— Папа!

Он с разбегу остановился перед отцом и вдруг оказался в его обнимающих сильных руках, почувствовал щекой холодок шершавой кожи, вдохнул ее душный запах.

— Папа! — повторил он задыхаясь и, подняв голову, увидел совсем близко взволнованное лицо отца и его глаза с радужными блестками слез.

Они постояли так, приникнув друг к другу, молча. Отец первым отстранился и крепко стиснул руку сына.

— Тяжело, Коля, и непоправимо,— сказал он.— Не приду я больше. Сам вижу, маме тяжело, и вас будоражу, да и сам. Растешь ты, сын. Полюбишь. А может, и уже любишь кого-нибудь. Старше станешь — поймешь, что такое женщина, которую полюбил. А только скажу тебе, Николай: даже если случится с тобою когда-нибудь такое, как у меня,— не ломай семью. Счастья все равно не будет. А будет — так с горем пополам.

Николай спросил тихо, со страстным волнением:

— Ты ее очень любил, папа? Ту женщину?

— И люблю,— твердо сказал отец.— Но горько это все получилось. И ваша мама для меня родная,— сколько прожито вместе! И вы оба мне родные. И никто не заменит отцу сыновей.

Он не поцеловал Николая, а только на секунду прижался морщинистым, колючим лицом к его свежей, гладкой щеке и, не надев шарфа, а зажав его в кулаке, не оглядываясь, спустился по последним ступеням и вышел во двор.

Николай медленно поднимался домой, стараясь унять волнение до встречи с матерью. Поняла она или не поняла, почему он побежал за отцом? Обидно ей это, или она и вправду простила отца?

Мать накрывала на стол к обеду. Не поднимая глаз, ровным голосом сказала:

— Мойте руки, мальчики, и садитесь.

Она была бледнее обычного, но спокойна и даже как будто удовлетворена — может быть, она и ждала этого разговора все четыре года?

Они обедали молча, каждый думал свою думу.

— Настаивать я ни на чем не хочу,— сказала мать, вставая и стопкой собирая тарелки.— Но ведь все-таки он вам отец. И чуждаться его нечего. Сходите к нему как-нибудь.

Виктор весь вскинулся, упрямо поджал губы:

— Туда? Нет уж, уволь! Я не пойду.

Николай промолчал.

— Туда не пойдешь — в цех зайди,— настаивала мать.— Что

он, дурной человек? Преступник? Нельзя так, Витюша. Виноват он перед нами, но ведь повинился! Как же отца не пожалеть!

— Так не уходил бы! — выкрикнул Виктор.— Чего ж спустя четыре года жалости искать!

— Молчи, дурень,— со злобой сказал Николай.

Виктор еще больше насупился и бочком, ни на кого не глядя, вышел.

Помнит ли он отца? — думал Николай.— Любит ли? Пожалуй, детские воспоминания давно выветрились, и слишком он был мал перед войною, тогда он больше нуждался в матери, да и много ли ему приходилось видеть отца! Вечером, когда отец приходил с завода или с учебы, Витька уже спал, а по выходным дням отец все, бывало, таскал с собою Николая — и погулять, и в кино, и на демонстрации, а Витьку оставлял матери — мал еще, устанет. А после войны обида и гнев совсем вытеснили сыновнюю любовь. Зато мать он любит очень нежно и даже ревниво — чудила! Если мать приласкает Николая, он и к брату ревнует, весь вспыхнет и разозлится!

— Я бы очень хотела, Николенька,— сказала мать,— чтобы вы с отцом помирились.

— Почему?

Ему все еще было стыдно перед нею за порыв любви, толкнувший его вслед за отцом.

— А потому, что ему и так нелегко.

Она снова уселась в кресло и взяла вязанье, но не вязала, а задумчиво смотрела на свою руку — может быть, вспоминала, как отец сегодня, впервые в жизни, поцеловал эту руку?

Сколько помнил Николай, никогда отец не заботился о матери, не ухаживал за нею,— наоборот, она неутомимо ухаживала за ним и за детьми, ничего не требовала для себя, во всем подчиняясь отцу. Он и в эвакуацию отправил их, не советуясь с нею. Николай помнил, как пришел отец и сказал: «Поедете с эшелоном, я сегодня записал вас, незачем вам тут мучиться». Мать пробовала возразить, но отец прикрикнул, что вопрос уже решен, и начал обсуждать с нею, что́ ей брать с собою, как одеть в дорогу сыновей да как быть с квартирой. А ведь потом, в эвакуации, она проявила столько энергии и самостоятельности! И там, и здесь, в Ленинграде, все любили советоваться с нею, прибегали к ее помощи, уважали ее и любили. Скуповата она и на откровенность и на ласку, а всем с нею тепло и как-то особенно хорошо.

Она сидела задумавшись, а Николай по-новому изучал ее милый, до мелочей знакомый, родной облик — как бы не своими, а чужими, отцовскими глазами. И не понимал, как мог отец не разглядеть этого ласкового света, что излучался от всего существа матери? Как мог он променять ее на кого бы то ни было?

Но вдруг он вспомнил слезы в глазах отца и твердый мужской ответ: «И люблю». Вспомнил горькие слова: «Старше станешь —

поймешь, что такое женщина, которую полюбил». И он в смущении задумался о великой тайне любви.

— Коленька,— позвала мать.— Коля, ты поговори с Витей.

Он даже вздрогнул, возвращаясь к действительности.

— Хорошо, мама, если ты хочешь. Что у нас выйдет с отцом, не знаю. Сторониться его я не буду. А заштопать то, что порвалось, сама знаешь...

Мать и не улыбалась как будто, а в ее голосе слышалась улыбка:

— Счастливой я стала теперь, Николенька. Понимаешь? К старости, нежданно-негаданно, счастлива. И лишнего горя не хочу. Ни для кого.

Он растроганно обнял ее, поцеловал в ровную ниточку пробора, стремглав бросился к себе, сел к столу, уткнул лицо в сложенные руки, заглотнул подступившие слезы. Как все сложно в жизни! Как трудно быть правым!..

Мать прислушалась к тишине за одной дверью, к тишине за другой дверью и прошла в кухню. Виктор не пилил больше,— пила висела на гвозде там, где ей полагалось висеть, а Виктор сидел в своем углу, разложив перед собой выпиленные из фанеры дощечки, и смотрел прямо в стенку.

Мать взъерошила его волосы, пригладила их и сказала.

— Надо быть добрым, сынок.

Виктор перехватил ее руку.

— Надо быть принципиальным, по-моему,— сказал он ломающимся голосом.— И ты меня не уговаривай. Я не женщина, чтобы размякнуть от жалобных слов.

Она засмеялась и поцеловала его. Смех у нее был мягкий, грудной; сыновья очень любили, когда она смеялась. Виктор повеселел, подтянул поближе свои дощечки и начал объяснять матери, какой он делает ящик с перемычками — для инструментов, гвоздей и разных мелких деталей, чтобы его больше не ругали за беспорядок.

Одобрив его затею, мать вернулась в комнату, придвинула к креслу настольную лампу, надела пенсне и раскрыла книгу в том месте, где была заложена спица.

Ей нужно было успокоиться и отвлечься, и поэтому она некоторое время прилежно, не отрываясь, читала.

Она пристрастилась к чтению недавно, вскоре после того как ушла с работы. Весь день она была одна. Книги рождали мысли о жизни, об отношениях между людьми, о самой себе и о сыновьях. Домашние дела не мешали ей думать так, как она никогда до того не умела: сопоставляя разные явления жизни, подтверждая или отвергая укоренившиеся понятия, заново оценивая людей и события. Она безусловно верила в подлинность всего, что

рассказывалось в книгах, и герои книг были для нее живыми, реально существовавшими людьми.

Так же, как она иногда плакала над своей бедой или бедой подруги, она охотно плакала над книгами. Поплачет, а потом улыбнется,— от слез полегчало. В книгах она всегда находила свое.

Больше всего она любила книги о современной жизни,— они помогали ей понять и самое себя и сыновей. То, что она вложила в своих мальчиков,— а вложила она душу и совесть,— дополнялось очень многим, до чего она и не додумалась бы, чего она сама не понимала. И она искала и часто находила в книгах то, что вело, вдохновляло и направляло ее сыновей, сравнивала их с полюбившимися ей героями и думала, думала — как направить мальчиков и все ли она сделала для них, что могла сделать?

Книги, в которых рассказывалось о простых женщинах, ставших большими работниками и знатными людьми, будоражили ее и расстраивали. Она примеривала по их жизни собственную незадачливую жизнь, вдумывалась — что помогло им стать тем, чем они стали, спрашивала себя: а я не могла бы так? — и с удивлением понимала: могла бы. Только сама пропустила, проморгала свою жизнь!

Сегодня она была так утомлена, что читала бездумно, погружаясь в мир чужих переживаний и находя облегчение в чужом волнении, которое скоро перестало быть чужим, так как она, Антонина Пакулина, была уже не самой собою, а девушкой, охваченной тревогой и страстью, девушкой, встретившей своего любимого под дождем у ветхой заброшенной часовенки, над полуразвалившимся колодцем.

Она читала:

«Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали. Знаете ли, куда я шла? — Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.— Я шла к вам.— Ко мне? — Елена закрыла лицо.— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю,— прошептала она,— вот... я сказала.— Елена! — вскрикнул Инсаров».

Она читала слова любви, какой никогда не знала сама, слова, звучавшие как присяга перед боем: «Где ты будешь, там я буду... Знаю, все знаю. Я тебя люблю...» И ей казалось, что это она готова идти на борьбу, на лишения и опасности, даже на унижения, и это ее голову ласково приподнял Инсаров, в ее глаза посмотрел и ей сказал: «Так здравствуй же, моя жена перед людьми и перед богом».

Это было так хорошо, что ей страшно стало читать дальше, она предчувствовала несчастный конец.

Отложив книгу, она сняла пенсне, вздохнула и, оглядевшись, вдруг припомнила все, что так взволновало ее сегодня, усмехнулась и сказала себе, что никакого горя ведь нет уже, и очень странно, как это никто не понимает, что горе давно изжито и любовь тоже — приходил сегодня человек, ставший давно

чужим. Почему думают людн — н сыновья, н подруги, и Гусаков,— что она все еще страдает, что она обрадовалась бы, еслн бы тот человек вернулся?

Она знала, что когда-то любила его, но сердце ее давно забыло эту любовь. Когда это было? Дворцовая площадь, запруженная толпами людей и сотнями красных платков, колеблющнхся в скользящих лучах прожекторов. И крупный снег, падающнй, падающнй, падающнй с темного неба на плакаты, на плечн н шапкн людей, на разгоряченные лнца. Веселая карусель снежинок, струйками летящнх на свету, н в этом прнзрачном свете, с тающнмн на лнце снежинкамн — Петя Пакулнн: он пятнтся перед строем, взмахнвает рукамн, как днрнжер, отбнвает руками такт, и сотня голосов выкрнкнвает хором: «Мы на го-ре всем буржуям мн-ро-вой по-жар раз-ду-ем!» Петя скороговоркой добавляет, блестящими глазами глядя на девушку Тоню, идущую в первом ряду: «Мнровой пожар горнт, буржуазия дррожнт!» И все звонко и озорно подхватывают: «Апчхи!» — н хохочут. А Петя уже взял девушку под руку н шепчет: «Убежнм отсюда вдвоем, хорошо?» И тот же Петя Пакулнн в новом костюме, гладко прнчесанный, стонт перед ее мамой н нескладно делает предложенне: «... в общем, пожениться... с вашей Тоией...», а Тоия подслушнвает у дверн, дрожа от страха.

Потом событня и годы спутывалнсь. Да и много ли было событий в этой долгой жизнн, называемой «замужество»? Рожденне Нnколеиькн, потом рожденне Внтюшкн, днфтернт, выдвиженне Петра Петровнча мастером, потом старшнм мастером, корь, переезд на новую квартнру в заводской дом, скарлатнна у соседей и страх, как бы не заболели ее мальчнки, Петр Петровнч поступнл в вечерннй техникум, Петр Петрович вступнл в партию... Вот, кажется, и все события ее жнзнн до войны. «Тонечка, это ты — *ж е н а*?»; «Женушка, неужелн ты сама нспекла такое чудо?», «Тоня, ко мне завтра придут товарнщн, напекн чего-ннбудь получше!», «Обед готов, Тоня? Мне некогда», «Мать, обедать давай!..» Обед, уборка, стирка, штопка, уход за детьми, утренние хлопоты — мужа отправнть на завод, детей — в школу, опять обед, опять стнрка — круг ее жнзнн замкнулся, н ее уже все чаще называли «мамаша» илн «тетя Тоня», н соседн хвалнлн: «Хорошо жнвете, муж непьющнй, положнтельный, н в квартнре у вас аккуратно,— справно жнвете».

А человеком она себя почувствовала только в горькне днн, средн тревог н бедствий войны,— человеком со своим голосом н со своей волей.

С чувством гордости возвращалась она в родной дом — справнлась одна, выходила н подняла мальчнков, заслужила от мужа н похвалу и благодарность. Да не услышала нн похвалы, нн благодарности.

Как он оскорбнл ее тогда! Даже прнйти объясниться с нею, ответнть самому за то, что случилось, не нашел нужным.

Глазами, помутившимися от гнева и от обиды, смотрела она на Лнзу Баскакову, н ннчего тогда не разглядела в ней, только обндчнцу н разлучннцу. «Если бы я в голод своим хлебом не спасла его, все равно его у вас не было бы!» — крикнула тогда Лнза. И еще крикиула: «У нас дочь!»

Случись это перед войною — истаяла бы от горя и стыда. А тут силы нашлись и гордости хватило — сама стала главой семьи, с детьми вместе заново создала и дом и семью. Обида подсказывала — отнять сыновей у отца, наказать оскорбителя презрением сыиовей.

Так и вышло. Но удовлетворение не пришло.

Чем больше она общалась с людьми, читала и размышляла, тем меньше ее заинмала эта месть.

Постепенно, по крохам собирала она сведения о сопернице, и настал день, когда она поняла — не соперница ей Лиза; там — совсем другое, чего никогда не было у нее, никогда не было у Петра Пакулина.

Старый друг Иваи Иванович Гусаков долго уклонялся от тяжелого разговора. Однажды она напрямик потребовала:

— Скажите мне, Иван Иванович, правду. Мне легче будет.

И он сказал правду. Осуждал он и Петра, и Лизу — «перед детьми должны были остановиться, на несчастье детей свое счастье не строят!» — но когда заговорил о Лизе, сквозь осуждение ее и сквозь сочувствие к горю своей собеседницы пробилось иевольное восхищение. Хорошая, боевая и справедлнвая женщина! И в блокаду не только одного полюбившегося ей мужика — в заводском стационаре десяткн людей выходила, спасла, «от смертн вырвала», самого Гусакова так же, как многих других. Пусть плохо, страшно, тяжко — духу не теряла, рук не опускала и еще других подбадривала. Первые фронтовые бригады по ремоиту таиков — это ее да Катн Смолкиной инициатива.

— А с Петром как у них вышло — не знаю,— раздумчиво докоичил Гусаков.— Видел я, что не сразу и не просто все сделалось. То тянутся друг к дружке, то убегают однн от другого. То Петр мрачнее тучи ходит — и нарочно из цеха ни ногой, то Лиза к подружкам в общежитии прибьется — и не выманишь. А потом завертело. Да и то сказать, Антонинушка Сергеевна, смерть тогда по пятам ходила, до мирной жизнн — как до звезд далеко. Это понять иадо. Кто беды наглотался, тот н до радости жаден.

Много поздиее Антоинна Сергеевна попала на общезаводское собрание по пересмотру коллективиого договора. Сндела она как на иголках,— торопнлась домой,— слушала невнимательно, да и не все поиимала, о чем говорилн. Председатель сказал:

— Слово имеет стахаиовка лопаточиого цеха Баскакова.

Лиза была старше, чем показалось Антонине Сергеевне в первую встречу. Краснвой она тоже не была, но оживление очень красило ее. Лиза с первых слов начала резко критиковать заводоуправление «и лично директора». Так она и говорила, задорно оглядываясь на Немирова и, видимо, не желая, чтобы ее упреки растворились в пространстве, адресованные большому и безликому «аппарату».

— Ох и режет! — восхищались в зале.

Как ни была предубеждена Антонина Сергеевна, она не могла не заметить, что Лиза говорит и умно и справедливо. А Лиза уже перешла к внутрицеховым делам и обрушилась на руководство своего цеха за то, что оно боится новшеств.

— Что думают начальник цеха и старший мастер? Когда ни спросишь, отмалчиваются да успокаивают — не торопитесь, всему свое время, вопрос подрабатывается. А мы говорим: не выйдет отмалчиваться да раздумывать, когда лопатки сегодня тормозят выпуск турбин!

Многие улыбались: ишь ты, Лиза, и до мужа добралась, не пожалела!

Уходя с собрания, Антонина Сергеевна снова увидела Лизу около Петра Петровича; окруженные товарищами, они оживленно спорили, и оба, видимо, были довольны.

Смиряя боль, она старалась понять, что же такое случилось и почему. Она придирчиво пересматривала свою жизнь с Петром — перелистывала ее, как книгу, и с грустью видела, что книга скучная, все страницы похожи одна на другую. А ведь начиналась жизнь хорошо, интересно. Была и работа, и комсомольские споры, и бурные демонстрации протеста против какой-то угрозы Чемберлена, когда свистели и выкрикивали: «Лорду — в морду! Лорду — в морду!», и физкультурный парад, и катанье на лодках, и любовь с мечтами о том, что будут они жить лучше и дружнее всех, никогда не ссориться и не разлучаться. Что ж, и не ссорились, и не разлучались, да только воли оказались не две, а одна. Почему? У самой ли такой характер оказался, или не было в жизни большого, настоящего интереса? Теперь она понимала, что быстро увяла душа, замкнулась в своем маленьком мирке и мужу не стала ни другом, ни товарищем, ни даже возлюбленной, а только хозяйкой дома, стряпухой, прачкой да нянькой его детей. Первые годы он еще звал: «Пойдем погуляем, Тоня», но у нее оказывалось — то тесто поставлено, то белье замочено, то полы неделю не мыты. Придут в воскресенье товарищи — звать в кино, она предложит: «Идите, иди, Петюша, я пирожки задумала, к обеду возвращайтесь». Так и привык он: дома чисто, уютно, пироги испечены, рубашки наглажены — и все. Скучно ему стало дома? Наверное, скучно. Последние годы он и не бывал дома. Правда, занят был, учился, общественной работой увлекался, не гулял, но домой приходил как гость. С детьми поиграет — да и спать. Отстала она от всего, что

знимало его, ни посоветовать не могла, ни обсудить вместе с ним.

Может, потому он и не мог расстаться с Лизой, хотя, конечно, и мучился и жалел семью. Все так. Но если Петру хотелось, чтобы жена была ему другом и соратником, почему он ни разу за столько лет не попытался поговорить с нею об этом? Разве она не поняла бы, не откликнулась всей душой? Мать с детства учила ее, что женщина должна быть образцовой хозяйкой, и она научилась и готовить, и шить, и гладить, и поддерживать в доме щегольскую чистоту, и сама всегда была опрятна, ровна, ласкова и с мужем, и с детьми. А большая жизнь прошла стороной — может, потому, что очень рано вышла замуж? Уйдя с работы после рождения Николеньки, она рассталась и с комсомолом. Думала она тогда об этом? Да, не раз думала. Собиралась сходить в комитет комсомола узнать, как же ей теперь быть, но не собралась. А потом вспомнила, что, если не уплатишь взносы за три месяца, механически выбываешь. Схватила свой билет — пятый месяц пошел. Так и кончилась ее комсомольская жизнь. Если бы к ней, молодой матери, зашел кто-нибудь из комсомольцев, поговорил с нею, научил... Если бы Петр поинтересовался, посоветовал, предложил: «Иди в комитет, я пока побуду с ребенком»...

«Да что ты на других валишь? — останавливала себя Антонина Сергеевна.— Самой нужно было думать. Самой понимать. Вот Лиза не оторвалась же, а у нее тоже ребенок! Она еще других научит...»

Но ведь люди бывают разные?

Обиднее всего было то, что Антонина Сергеевна понимала — изменилась она в войну, по-иному жила бы с мужем. Не пришлось. Поздно это все открылось ей — и жизнь прожита, и муж ушел, и здоровье утрачено,— к старости поняла, как надо жить...

8

Когда ленинградцев везли по Краснознаменску от недостроенного вокзала к гостинице, Саше Воловику казалось, что фантастическая машина времени перенесла его в годы детства, на площадку Днепростроя. Мужчины и женщины в комбинезонах и брезентовых сапогах перекликались громкими голосами людей, привыкших разговаривать на вольном воздухе среди шума работ. Паровозы-«кукушки» тащили по разбегающимся во все стороны путям платформы с камнем, бревнами, песком. На фасадах строящихся корпусов кумачовые, выцветшие от солнца и вылинявшие от дождей плакаты призывали: «Помните, к 1 июля мы обязались...», «Строители! От вас зависит...» Штабеля кирпичей, груды щебня, проплывающие в воздухе бадьи с бетоном и сплотки досок, лязг, шипение и грохот сотен машин, роющих землю, поднимающих грузы, дробящих камень, укатывающих гудрон,

отсасывающих н накачивающих воду... и над всем этим шумом все время раздающнеся памятиые звукн — тарахтенье грузовнков и подпрыгнвающих иа ннх грузов. Все было с детства знакомо, так и чудилось — вот-вот нз кабины одного из грузовнков выглянет отец н крикиет: «Опять ты, Сашка, под колеса норовишь? А иу, геть до дому!»

Автомобнль выехал на широкое шоссе и помчался по иему. По бокам разворачивались и кончались картины большого заводского строительства со всеми прнвычиыми его принадлежностями — складами, коиторамн, мастерскнмн, паркамн машин. И только заканчивалась одна такая стройка, как начнналась другая, и сопровождавший делегатов представитель горкома партнн коротко сообщал:

— Машнностроительный... Алюмнньстрой... Тракториый...

А машнна летела по гудроннроваиной магистрали, обгоняя вереиицы тяжелых грузовиков и желтых пассажирскнх автобусов.

— Наше Садовое кольцо. Как в Москве, а?

Делегатам уже казалось, что сменяющим одиа другую стройкам нет ни конца, ни края, когда представитель горкома улыбиулся и крикиул шоферу:

— Ладно, Жеия, хватит на первый раз! Сворачивай к центру.

Машниа послушно свернула в боковую улицу. И почти сразу с двух сторон потяиулнсь аккуратиые домикн, окруженные садами в яблоиевом цвету. Потом появнлнсь дома побольше, городского тнпа, то и дело мелькали надписи — уннвермаг, кинотеатр, кафе «Детский мир»... И вот машина вылетела на широкую н длниную улицу с многоэтажиымн домами.

— Наш Невский проспект.

В гостинице, перенаселенной так, как это бывает только на больших стройках, где волей-иеволей размещают всех, кого надо, делегацню поместнлн в одну комнату, куда кое-как впнхнули еще три раскладушки. Не успелн приезжне помыться н перекуснть, как пришли знакомиться местиые работиики, по-соседски забежалн иавестнть земляков ленинградские проектировщики, за нимн — ленинградскне архитекторы. Все расселись иа стульях, на койках н иа скрипучих раскладушках, пошел общнй разговор обо всем сразу, во время которого на Воловнка иавалилось множество новых сведений н новых проблем — ниженерных, градостроительных, коммуиальиых.

В полночь погас свет.

— Это уж всегда! На иочь жнлой сектор отключается, иичего не поделаешь. Давайте иам поскорее турбииы для иовой станцнн!

Гости расходились в потемках, натыкаясь на раскладушки.

Воловик подошел к окну и увндел раскинувшуюся до горнзоита картнну строительства, которой ночь прндавала особую виушительность и таинственность. Среди мрака, поглотившего жилые кварталы, места работ обозиачались яркимн

пучками света. Как гигантские колодезные «журавли», там поднимались и опускались стрелы подъемных кранов. Световым пунктиром рисовались дороги, иногда пунктир прерывался, и на бьющем сзади свету уличных фонарей выступали темные коробки больших зданий — еще без крыш, с просветами оконных проемов. Далеко за ними, словно звездный дождь, сыпались синеватые искры электросварки, бегло освещая вознесенные высоко над землей переплеты металлических ферм.

Тишина стояла за окном, только неподалеку тяжело ухало что-то — «баба», вбивающая сваи, или паровой молот? Да с пролегающей за углом гостиницы дороги почти без перерывов доносились все те же знакомые с детства звуки — тяжелое тарахтенье нагруженных машин и беспечное дребезжанье порожних.

С утра начался осмотр строек. Сперва Воловик с непосредственным любопытством глядел и слушал, потом спохватился — да что ж это я, ведь придется обо всем рассказать, отчитаться! Тогда он начал торопливо записывать все, что мелькало перед ним, все, что им сообщали. Писать стоя, на ходу, было трудно. Воловик спешил, буквы прыгали. Когда он вечером попробовал разобраться в своих записях, многое не разобрал, а кое-что успел забыть. Вот записано — 220 т. Что это такое? К чему относится? Кто его знает!

Пять дней пробыла делегация в Краснознаменском районе, и все пять дней были до предела загружены поездками, собраниями, встречами, беседами. Одно впечатление сменялось другим, еще более ярким, на них наслаивались новые... и о каждом Воловик думал: «Вот это я обязательно расскажу своим!» Он удивлялся, что Боков ничего не записывает:

— Да как же ты дома отчитаешься?

— Так и отчитаюсь,— улыбнулся Боков.— Посижу вечерок, подумаю — оно и определится.

Записная книжка Горелова вызывала у Воловика почтительную зависть — на одной страничке умещалось все основное, что нельзя было доверить памяти, и это основное было записано так сжато и точно, что и Воловику было понятно без объяснений, что к чему относится.

В час отъезда, прощаясь с многочисленными новыми друзьями, Воловик с горечью думал о том, что эти пять дней были только первым беглым знакомством, что только сейчас надо бы начать настоящее, основательное ознакомление по порядку со всем интересным, что ему приоткрылось. Но перрон с провожающими остался позади, перед глазами раскручивалась в обратном порядке кинематографическая лента строительных пейзажей, потом лента оборвалась, поезд нырнул в густой лес — прощай, Краснознаменка!

Утомленные делегаты мало разговаривали, много спали. Воловик лежал на верхней полке и спокойно перебирал свои

впечатления, убеждаясь в том, что многочисленные цифры и фамилии, записанные им, вряд ли понадобятся, а из всей груды впечатлений само собой выделяется то главное, что он обязательно расскажет.

Ганна Поруценко... Он увидел ее впервые на верхних ступеньках металлической лесенки, на опалубке будущей колонны. Очевидно, она приняла проходившую группу людей за начальников, потому что стремительно скатилась по лесенке и побежала к ним, сердито крича:

— Опять току нет, чтоб они все провалились, бисовы дети! Три часа вибраторы стоят — это что, не вопиющее безобразие?!

До странности похожая на Сашину мать, в таком же комбинезоне из холстины и брезентовых, выше колен, сапожках, которые и у нее и у Сашиной матери почему-то выглядели щегольскими, она была красива со своими карими, сверкающими глазами и гневным лицом. И она, конечно, понимала это.

Увидав блокнот в руках Саши, она набросилась на него:

— Пишете? Так вот и напишите похлеще, чтоб они завертелись! Мыслимое ли дело — техника стоять будет, а я — пляши на бетоне, як в девятнадцатом веке!

Инженер, сопровождавший делегацию, с улыбкой объяснил ей, кто такой Воловик, и познакомил их.

— Наша знатная бетонщица — Ганна Поруценко.

— Больно вы сердитая, землячка,— сказал Воловик.

— Будешь тут сердитая,— уже добродушно буркнула Ганна и вдруг снова распалилась, сообразив, откуда появился этот делегат: — Так это вы и есть, от кого турбины? Что ж, скоро мы вот так маяться перестанем?

Позднее Воловик слышал более подробные рассказы о том, как остро не хватает электроэнергии и как все здесь зависит от досрочного пуска новой станции,— но первое впечатление не забылось.

Остап Поруценко, муж Ганны. Бригадир гранитчиков. Медлительный человек с ленивыми повадками, выполняющий со своей бригадой не меньше трех норм в день. Воловик познакомился с ним в здании будущей электростанции. Первый вопрос, который задал Остап, был не о турбинах, не о сроках их сдачи... Нет, он потянул делегатов на какое-то место в глубине машинного зала, видимо давно им облюбованное, и спросил:

— Ну как? Красиво?

Да, отсюда этот высоченный зал, сложенный бригадой Остапа из местного зеленоватого мрамора, поражал не только своими размерами, но и нежной, весенней красой. Оттого, что за широкими окнами станции поднимался густой, нетронутый лес, а над ним сияло солнце, искрясь на молодой глянцевитой листве, зеленоватый мрамор с белыми прожилками был особенно хорош, и все здание казалось воздушным. Остап глядел на него зачарованно,— художник на дело рук своих...

Воловик ревниво подумал о турбинах и мысленно перенес их сюда. Припомнил легкие, обтекаемые формы цилиндров, красивые изгибы широких труб и точеные колонки «минаретов», мягкий серебристо-серый цвет, в который окрашена первая турбина,— и с облегчением решил: они не испортят, они дополнят красоту зала. И об этом нужно обязательно сказать в цехе.

Представляя себе, как он будет рассказывать товарищам о Краснознаменске, Воловик знал, что он должен ответить на один вопрос, занимавший и его и всех,— как это вышло, что все стройки завершаются раньше, чем намечалось?

Остап сказал улыбаясь:

— Так ведь каждому хочется скорее увидеть, как оно будет.

Инженеры отвечали:

— Намного повысилась техническая оснащенность.

За пять дней делегаты перевидали множество машин и механизмов, о каких прежде и не слыхали. Витя Сойкин вникал в особенности каждой машины, залезал на места водителей, щупал все рычаги и кнопки, дотошно расспрашивая, что к чему и как все устроено.

Воловика это тоже занимало, но раздумывал он о другом: он чувствовал, что изменились методы строительства, что нынешние стройки очень отличаются от того, что он наблюдал в детстве.

— В чем тут корень? — объяснил Саше один из прорабов.— Корень тут — ведущий механизм. Всю организацию подгоняй к мощности ведущего механизма. Сколько, положим, поднимет кирпича кран — столько и поставь каменщиков, чтоб поспевали и чтоб работать было удобно. Или, скажем, экскаватор — по нему равняйся, чтоб техника не простаивала.

Однажды делегатов повезли смотреть новую улицу. Улицы еще не было — только проложена была отменная дорога (Воловик уже приметил — здесь все дороги хороши, нет ухабистых временных подъездов, на которых отец, бывало, ломал машину и набивал себе на голове шишки!). По обе стороны дороги колышками обозначались участки, и два экскаватора, переходя с участка на участок, рыли котлованы под фундаменты. Работа шла скоростным методом, потоком: одна бригада уложит фундамент и переходит дальше, а на ее место вступает другая; грузовики подвозят крупные блоки, краны поднимают и ставят блоки, строители соединяют их. Когда эта бригада переходит дальше, ей на смену по очереди приходят штукатуры, кровельщики, стекольщики, маляры...

Двухквартирные домики вырастали один за другим. А потом появлялись канавокопатели и тракторы, весь участок вспахивался — под сад перед домом, под огород за домом; грузовики подвозили саженцы, садовод раскидывал на крыле грузовика план и командовал, что куда сажать, садовники с будущими жильцами сажали, разделывали клумбы, намечали дорожки. Приезжал каток — трамбовал дорожки, а за ним новая бригада

подвозила столбы и готовые секции забора, а также — что особенно нравилось Воловику — готовые мостки с перилами и скамеечкой, которые тут же перекидывались с дороги к калиткам.

— Строительная индустрия,— услыхал Воловик в одном из разговоров, и это слово — индустрия — как-то вдруг открыло ему, что его детство совпало с детством советского строительного дела, а нынешние методы стройки похожи на виденные им в детстве не больше, чем он сам похож теперь на того мальчонку, что бегал когда-то по ухабистым дорогам возле Днепра.

Воловик тогда же записал в блокнот: «Строители заимствовали у промышленности методы и технику, теперь нам надо подтянуться, чтобы поспеть за темпами новых строек».

В Краснознаменске все делегаты «заболели» новой техникой. Началось это, когда их провели по светлым, будто прозрачным корпусам машиностроительного завода, где уже начался монтаж оборудования, и начальник стройки сказал, останавливаясь посреди громадного цеха:

— Здесь будут работать всего десять человек, обслуживая две автоматические поточные линии.

Часом позднее, в кабинете главного инженера, делегатов ознакомили с проектом будущего завода. Никто из них еще не видал заводов с такой полной механизацией всех процессов. Горелов выпускал из своего цеха ряд станков для этого завода, но и он только теперь понял их место в общем процессе, и он впервые охватил целое.

А главный инженер деловито объяснил:

— Так ведь наши заводы — это уже техническая база коммунизма.

И все примолкли, как бы вглядываясь в недалекое, почти осязаемое будущее.

Особенно пленил делегатов тракторный завод. Его цехи располагались в березовой роще, и строители тщательно заботились, чтоб ни одно лишнее дерево не было срублено. В окна цехов врывался запах леса.

Уезжая оттуда, Воловик все оглядывался на стеклянные крыши, поблескивающие на солнце среди макушек берез, и снова вставал перед его глазами высоченный зал из зеленоватого мрамора с прожилками, а за широкими окнами — нетронутый лес. Только ли оттого они связывались воедино, что тут и там природа?

Уже в вагоне, спокойно обдумывая все виденное, Воловик понял, что — нет! — не только поэтому. А вот о красоте, о том, чтоб легко и радостно жилось и работалось, стали много заботиться. И, может быть, тут близость коммунизма еще сильнее сказывается, чем в технике новых заводов?

Покачивался вагон, мелькали за окном горы, леса, поля, снова леса, снова поля... Мелькали города, отмечая этапы пути,— все

ближе, ближе к Ленинграду. В середине пути настроение делегатов как-то сразу переломилось, мысли оторвались от Краснознаменска и устремились домой — что там, как? Опять все собирались в одном купе, подолгу чаевничали и допоздна беседовали.

В последние сутки пути близко сошлись Воловик и Горелов. Как-то вечером они очутились рядом в коридоре у окна, и Воловик неожиданно признался:

— Странное у меня чувство — будто вернусь к себе на завод и как-то по-новому все увижу. Понимаете, будто глаза зорче, или поумнел, что ли?

— Я — так определенно поумнел,— без улыбки ответил Горелов.— Это бывает, очевидно, если что-нибудь перетряхнет как следует. Вот и когда меня с турбинного цеха сняли...

Он исподлобья глянул на собеседника:

— Вспоминают там меня или уже позабыли?

— Помнят,— сказал Воловик.

— Ну и что ж — ругают, наверно?

— Да нет, Владимир Петрович, говорят всякое, но больше хорошего. Ваши успехи у нас известны.

Ему было неловко говорить об этом с Гореловым — человек по минутной слабости откровенничает, а потом, должно быть, пожалеет. Кто ему Воловик? Случайный попутчик, встретились и расстались...

— Я сделал тогда ряд непростительных ошибок,— тихо говорил Горелов.— Знаете, Александр Васильевич, есть такая страшная штука — сила инерции. В физике у нее свое место, но не о том речь. А вот в психологии человека это страшная штука, очень страшная. Вы, изобретатель, должны знать: очень плохо, когда она овладеет твоей мыслью. Все новое возникает наперекор ей. А со мной вышло так, что подчинило. За много лет ко всему в цехе притерпелся, привык. Шел привычным путем. А только если б дали мне самому исправить — исправил бы.

— У нас тоже так говорят.

— Да? — обрадованно воскликнул Горелов.— Что ж, теперь жалеть поздно. Я уже станкостроитель. А только занятно: иногда во сне приснится, что работаю — знаете, как бывает? — чего-то добиваюсь, что-то тороплюсь сделать... так вот: всегда снится, будто в турбинном...

Воловик не знал, чем тут можно помочь, что ответить. Он помолчал и заговорил о том, что занимало его самого:

— Вот вы сказали — сила привычки, сила инерции. Я еще с тем своим станком начал понимать — надо оторваться от привычного. А сейчас мне совсем ясно стало. И к этим косым стыкам я вернусь по-иному. Но как? Сейчас я думаю — может, решение совсем не в обработке, а в самой форме отливки? Может, это конструкторам надо задуматься и найти новое решение?

— Может быть,— почему-то недовольно сказал Горелов.—

Только знаете, Александр Васильевич, отрываться нужно целиком, самому, не беспокоясь ни о чем,— старый-то опыт никуда от вас не денется. Мне, знаете, очень помогло, когда я на «Станкостроителе» цех принял, что привычки не было. И вам так надо — зажмуриться и заново вообразить: вот передо мной две отливки, четыре косых стыка, надо, чтоб они идеально сошлись. А ну-ка, пересмотрим все станки, все режущие инструменты, все способы...

На следующее утро они вместе обсуждали разные возможности, чертили на чем придется только им двоим понятные наброски. Горелову очень хотелось подсказать что-либо, и Воловику, помнившему ночное признание бывшего начальника турбинного цеха, хотелось, чтоб Горелов подсказал... Но они так и расстались, ничего не надумав.

— До свиданья, Александр Васильевич. Верю — придумаете.

Это было сказано уже на вокзале, наспех,— Ася, запыхавшаяся, радостная, бежала по перрону, вглядываясь в окна вагонов, увидала мужа, с разбегу бросилась к нему, прижалась, вздохнула:

— Как тебя долго не было!

Весь вечер Ася заставляла его рассказывать о поездке, слушала, потом переставала слушать и гладила его руку, его волосы, будто не веря, что это действительно он, ее Саша,— тут, рядом, вернулся.

За ужином он взял свою «игрушку», как называла Ася модельку диафрагмы. Покрутил ее и уверенно поставил стоймя, вместо того чтобы положить набок, как всегда делалось.

— Вот уже новая возможность,— сказал он Асе.— Смотри! Если половинку поставить на попа, торчком... а где-то вот тут поместить скоростную головку... Нет, правда, Ася! Ты только посмотри! Этот стык обработал, потом повернул диафрагму на сто восемьдесят градусов и в том же самом положении обрабатываешь второй стык.

Он говорил так уверенно, как будто давно придумал это и теперь только объясняет Асе.

— Что это дает нам? Одинаковое положение стыков. По отношению друг к другу. И по отношению к скоростной головке. Значит, углы совпадут? Так, Ася?

Ася смотрела на него во все глаза:

— Это ты в дороге придумал, Саша?

— Сейчас, Ася, сейчас! И, кажется, удачно,— спокойно сказал он.— Погоди, погоди, радоваться рано. Тут еще все проверить надо. Углы, глубину резания. И на чем вращать? Это ведь тебе не моделька — взял на столе и покрутил. Тут еще все, все топорщиться будет.

Через несколько минут он предложил:

— Может, сходим к Полозову? На минутку?

Он сам удивился, что так спокоен. Ничего похожего на то

возбуждение, которое он испытал два месяца назад, когда нашел решение для станка. А между тем он прекрасно понимал, что простой жест, каким он поставил диафрагму на попа, открыл перед ним совершенно новые пути. Обрабатывал ли стыки продольно-строгальный станок, возились ли с ними слесаря — диафрагма всегда лежала на боку, как половина баранки, и вокруг этой лежащей половины мысль беспомощно крутилась, всегда спотыкаясь все о ту же неизменную закавыку — стыки срезаны в противоположные стороны, глядят врозь. А вот теперь диафрагма поставлена торчком, как молодой месяц, рожками вверх, и стоит только развернуть ее вокруг самой себя, по очереди подводя стыки под резец или скоростную фрезерную головку... Интересно, что́ скажет Полозов?

Ася покорно надела пальто, но вид у нее был несчастный.

— А знаешь, Ася, никуда мы не пойдем. Или пойдем просто погулять, хочешь?

— Ой, правда?

— Ну конечно, правда.

Когда они вышли на улицу, Ася прижалась к мужу и тихонько сказала:

— А все-таки, может, пойдем? На минутку?

— Не стоит, Ася. Тут не минутка нужна. Завтра успеется.

Эта уступка не была тяжела ему. Нет. Ему было очень хорошо шагать рядом с Асей по вечерним улицам и думать, спокойно и свободно думать об этой половинке, стоящей торчком, как молодой месяц рожками вверх. Бывает так с месяцем? Кажется, бывает. А может, и нет — обычно месяц висит боком, на одном рожке. Ну и черт с ним. А в этой идее есть толк. Жаль, что нельзя рассказать о ней Горелову. «Сила инерции». Оторваться от привычного. Зажмуриться — и все наново...

— Ты обдумываешь, Саша?

— Да нет, я так... немножко.

— Думай, думай, я не мешаю.

9

Яков Воробьев был расстроен. На заседании партбюро произошло крупное столкновение с Любимовым, после чего Любимов подал в партком заявление о невозможности работать «в таких условиях» и ставил вопрос напрямик — или я, или Воробьев.

Ожидая разговора с Диденко, Воробьев снова и снова перебирал в памяти все, что он сделал за последние недели после выборов, свои успехи и промахи.

Партбюро начало работать энергично. Поначалу все шло хорошо. Расставив силы, взяли под повседневный контроль ход выполнения краснознаменского заказа.

Отливки с металлургического завода по-прежнему запаздыва-

ли, и Воробьев предложнл послать туда делегацию рядовых коммуннстов турбнниого цеха. Предполагалось, что делегаты пройдут по цехам и поговорят с рабочими, но оии добрались и до Саганского.

— Ты только подумай, Яков Андреич! — рассказывали они, вериувшись.— Прошли мы по цехам — ни одного плаката о Краснознамеиске, о сроках! Ну, мы давай свои выставлять,— хорошо, что заготовнли! Как иабежал народ! Шумят, волнуются. Обидно, коиечио,— свои организации проспалн, а нз чужой подгонять пришли! Секретарю их, Брянцеву, так досталось, что нам даже неловко стало. Хороший там народ, боевой. Расхрабрились мы н — к Сагаискому. Толстяк такой, ласковый, обходнтельиый, папнросы «Герцеговина Флор» пустнл по рукам... А между прочим, хитрющий дядя! Все надеялся общими словами отделаться. Мы, коиечио, улыбаемся, папиросы курим, а свое твердим — давайте договор на соревиоваиие, иначе обратимся через газету.

Как всегда, когда меняется руководство, к иовому секретарю ходило много посетителей — кто просто хотел познакомиться, кто нскал совета илн помощи, а кое-кто шел в иадежде, что новый секретарь разрешит то, в чем справедливо отказал прежиий. Случалось, прнходит коммунист с жалобой на какую-то обнду или непорядок, просит «заияться», «разобраться».

— Ну, а ты сам как думаешь? Ты что предлагаешь? — спрашивал Воробьев.

— Да я ие знаю... Я вас прошу. Пусть бюро решит.

— Бюро решнт, когда нужио будет. А ты сам обдумай все дело в целом, партнйио обдумай, посоветуйся с товарищами, кто к этому делу близок. И прнходите с четкнмн предложеииямн: кто н в чем виноват да что надо сделать.

Не было случая, чтоб человек, получив такое поручение, ие выполннл его — иногда хорошо, ниогда плохо, но всегда со стараиием.

Радовала Воробьева и развивающаяся дружба с учеными.

На заводском техиическом совете возникла идея проверить техиологичиость конструкцнй или, проще говоря, продумать работу конструкторов, с тем чтоб ие было лишней пронзводствеиной каиителн, которой прн желанин можно избежать. Работиикн двух кафедр — технологии н паровых турбнн — вместе с заводскимн иииженерами создали комплексиую бригаду. Бригада обрастала помощниками из рабочих и мастеров. Аия Карцева воспользовалась тем, что в цехе бывают иаучные работинки, и устраивала в техинческом кабинете нх доклады н коисультацин для изобретателей и рацноналнзаторов. Профессор Карелин заинтересовался доской «Придумай и предложн!» Тут же иаметнл, кого из научиых работииков прикрепить в помощь заводским. Заодно поворчал, что кабиист бедеи, обещал подбросить иаглядных пособий и пригласил к себе Карцеву. Завязались у иего и какие-то отношения с Воловиком.

Все это было хорошо, и Воробьев ие собирался преумеиьшать успехи. Но в последнее время ои чувствовал, что миожество дел, обступающих его с самого утра, захлестывает, ие дает систематически заииматься главиым,— а ведь имеино за это ругали иа собраиии старое партбюро!

Каждый день случалось что-нибудь иовое: поссорились два мастера, и пришлось разбираться, кто прав, а потом мирить их. Автокарщица на мииуту отлучилась, а Кешка Степаиов кликиул приятелей: «Давай прокачу!» — и разогиал автокар по пролету, причем сильио подшиб шедшую впереди женщину. Воробьев отправил работницу в медпункт, потом долго отчитывал мальчишек. Любимов уже решил уволить Кешку, когда пришла в слезах Евдокия Павловна, и Воробьеву пришлось выслушать ее жалобы и просьбы, а затем пойти с нею к Любимову. В деиь партийиой учебы у карусельщика Ерохиია увезли жену в родильиый дом, и Ерохии, беспомощио кусая прыгающие губы, тихо объяснял:

— Я, коиечио, поиимаю, я заиятие постараюсь провести, ио поиимаешь, у меия что-то путается в голове. Главиое, у иее ведь первые роды, и она была раиеиа, у иее прострелеио легкое, так что я очеиь боюсь...

Телефои родильиого дома был беспрерывио заият, Воробьев больше часу дозванивался туда и попутно убеждал Ерохииа, что старое раиеиие ие может оказать влияиие иа роды, хотя, в сущиости, не имел об этом ии малейшего представлеиия.

Так пролетали дни за диями. Дидеико успокаивал:

— Что сотия дел иа дию — это, брат, иаша судьба. Большое и малое — все к иам стекается. А ты ие иервиичай, за все сам ие хватайся, у тебя же целое партбюро! Отбери главиое и вытягивай.

Легко сказать — отбери и вытягивай! И что же все-таки главиое? Досрочиый выпуск турбии?

Казалось бы, так. Но имеиио тут и возиик конфликт с Любимовым, вместо дружиых усилий вышла ссора, иедопустимая и вредиая для дела.

И вот ои вызваи к Дидеико, и парторг держит в руках заявлеиие иачальиика цеха...

Но, против ожидаиий Воробьева, Дидеико сразу сложил и разорвал иа куски листок с заявлением.

— Говорил я с Любимовым и убедил взять заявлеиие обратио,— сказал ои.— Как видишь, за тебя поработал и уладил. А тебе скажу, Яков Аидреевич: бывает, иужио и на коифликт пойти, если других средств воздействия ие хватает. Но разве ты использовал другие средства воздействия? Ссоришься как малеиький!

Воробьев ответил запальчиво:

— Но я тоже человек! И если ои уперся как бык...

— Нет, ты не просто человек,— прервал Диденко.— Ты человек с особыми, труднейшими обязанностями. Думал ты об этом, когда допускал всю эту грызню?

— Он же не прав! — вскричал Воробьев.

— Конечно. Ну а ты — во всем прав?

— По-моему — да!

— И в поведении на бюро — во всем прав?

— Вы бы тоже не выдержали на моем месте,— проговорил Воробьев и вздохнул: какие бы ни были обязанности, всякому терпению есть предел!

На заседании партбюро проверяли выполнение наказов коммунистов. Вспомнили, как Пакулин и другие требовали, чтобы работы по краснознаменским турбинам были включены в план завода с новыми сроками. Казалось бы, что тут возражать? Начальник цеха заинтересован в этом больше всех. Но Любимов сердито возразил:

— Позвольте, позвольте! Что значит — добиться общезаводского планирования по обязательствам? Комсомольцы могут горячиться, на то они и комсомольцы, но мы-то должны рассуждать государственно! Перевыполнение плана — дело энтузиазма. Это черта социализма... кто же будет возражать! Но добровольные обязательства общественности вводить в план предприятия как обязательные?! Это же нелепость!

Катя Смолкина вскочила и широко развела руками:

— Убейте меня, не понимаю! А что же у нас предприятие — не социалистическое, что ли? И что же это за обязательства, которые необязательны?

Но Любимов уперся: не пойду к директору с такой чепухой, не допущу такого решения. Спор продолжался долго, голоса повысились, все устали, сбились с делового тона, и Воробьев потерял нить руководства заседанием. Был момент, когда он потерял и власть над собою.

Карцева напомнила:

— Собрание решило этот спор, Георгий Семенович, вы напрасно об этом забываете!

— Собрание нигде не записало такого решения,— раздраженно ответил Любимов.

И тогда Воробьев стукнул кулаком по столу:

— Да черт возьми, неужели вы не поняли до сих пор, что оно записано даже в итогах голосования! В бюллетенях записано! В том, как вас чуть-чуть не провалили!

Любимов переменился в лице, сквозь зубы сказал:

— Если так, делайте что считаете нужным.

И потом уже не открывал рта до конца заседания. А наутро понес в партком заявление.

— Ну хорошо, допустим, я был резок,— сказал Воробьев, внутренне продолжая злиться.— Но как мне с ним работать, если он гнет свое, ни с чем не считаясь?

— А ты его научи считаться,— сказал Диденко.— На то ты и партийный руководитель.

— Не знаю,— буркнул Воробьев.— Видимо, я очень плохой руководитель. Пока со стороны смотрел — все ясно было. А как сам взялся — между пальцев потекло. И никак не найду стержня, вокруг чего все бы вертелось... Работаю с утра до вечера, а воз ни с места.

— Уж и ни с места,— с улыбкой сказал Диденко.— Знаешь, Яков Андреич, что тебе нужно? Отдохнуть, успокоиться, погулять вечерок — вот и все! Гляди, как похудел с тех пор, как начальством стал! А ну, пошли вместе, пройдемся до трамвайного кольца, подышим.

Они вышли в безветренную тишину весеннего вечера, и оба разом изумленно огляделись и глубоко вдохнули теплый воздух. Небо было ясно, только два легких облачка бежали по нему, и одно будто догоняло другое, но никак не могло догнать. Молодые клены, посаженные у ворот завода несколько дней назад, выделялись в неярком свете вечера каждой веточкой, каждым листком, и видно было, как на одних листочки свернулись и вяло поникли, а на других уже воспрянули и бойко распрямили свои зеленые ладошки.

Диденко, вопреки обыкновению, шагал медленно. Воробьеву не хотелось заговаривать с ним. Вечерняя благодать пробудила в нем мысли о Груне, и ему стало грустно,— встречаться им становилось все труднее, потому что теперь он был на виду, а короткие встречи в цехе, на людях раздражали обоих, вызывая взаимные упреки и обиды. Боясь огорчить ее, он никогда не позволял себе высказаться до конца, но разве ее клятва не изменять памяти мужа и жить только ради дочки не превратилась в формальность, в ложь? В конце концов, Груня цепляется за свою клятву только потому, что боится оскорбить Ефима Кузьмича, боится разбить ореол почтительного восхищения, который окружает ее в цехе. Когда-то это было прекрасно, а стало фальшиво. Воробьеву не хотелось думать о Груне плохо, а мысли приходили злые, обидные, и ему было жаль, что они непрошено лезут в голову... А вечер так хорош, и так славно было бы зайти к ней сейчас, ничего не опасаясь, и позвать: белые ночи, Груня, пойдем, побродим!

— Ты женат? — неожиданно спросил Диденко.

Воробьев отрицательно мотнул головой, а про себя подумал: знает!

— Почему?

Воробьев молча пожал плечами.

— Ты парень молодой, ладный, женщины тебя любят, наверно. Ну и ты их... так? В молодости это хорошо. А жена — друг и помощник — еще лучше. Устойчивость в жизни дает

Диденко помедлил и добавил:

— Впрочем, в этом ты и сам разберешься.

Воробьев так и не вымолвил ни слова. Диденко неспроста затеял этот разговор,— наверное, что-нибудь прослышал. Судачат о нем и Груне на заводе? Возможно. Ведь вот недавно, когда Воробьев узнал, что случилась какая-то беда с Валей Зиминой и обвиняют в этом Гаршина, он решил поговорить в открытую с Гаршиным. Тот пришел мрачным, без обычных шуточек (таким он и ходил последнее время, что было всеми замечено). Но на вопросы Воробьева Гаршин рассмеялся и дерзко ответил: «Я прямо в толк не возьму — цех у нас или монастырь? Два раза проводил девушку, и уже в грешники попал! А кто и впрямь грешен, те судят!» Он подмигнул, искоса наблюдая, как смутился Воробьев. Намек ясен. И нет ничего мудреного, что слухи дошли до Диденко. Признаться ему? Посоветоваться?

Только что Воробьев собрался с духом, чтоб признаться и посоветоваться, как Диденко заговорил сам, и как будто уже о другом:

— Есть у Маркса такая мысль, что революция необходима не только потому, что нельзя никаким иным способом свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только в революции может очиститься от всей мерзости старого общества и стать способным создать новое. Понимаешь? Ломая старое, очищаемся сами. И строим с тем, что у нас есть, из того, что у нас есть. Тебе, твоему поколению уже легче. Три десятилетия советского строя. Народ уже воспитан в социализме. Но ведь и старья еще немало? Мы говорим — пережитки. У одного их побольше, у другого поменьше, у третьего, кажись, и вовсе нет старья в душе. А копни его насчет материальных дел или, скажем, в отношении к женщине — и, пожалуйста, вылезло!

Воробьев искал внутреннего смысла этого рассуждения — к чему Диденко ведет? Или все о том же — мне в упрек?

Они шли по проспекту, давно миновав трамвайное кольцо. В легких сумерках впереди возникали освещенные указатели трамвайных и автобусных остановок, приближались и, померцав сбоку, отодвигались назад. Диденко шел дальше размеренным шагом и молчал.

— Вот так и с Любимовым,— вдруг сказал он.— Кто он такой? Грубо говоря — предельщик. Человек формально-математического мышления: три станка за столько-то часов могут дать столько-то, а для того, чтобы дать в два раза больше, нужно шесть станков. Арифметическая задача для третьего класса! Станки он знает здорово, а человека у станка — не понимает. Турбину он чует, как мало кто, а вот как нужно работать в эпоху перехода к коммунизму — не чует. Не чует, ну что ты будешь делать! Я уж ему сегодня толковал, толковал,— соглашается, а вижу — все мимо.

— Так какой же он тогда, к черту, руководитель! — со злостью воскликнул Воробьев.

— Ему и трудно,— спокойно ответил Диденко.— И с ним

трудно. А отметать его все-таки нельзя. Куда же ты его денешь? Я б его не назначал начальником цеха, но это уж дело прошлое... или будущее. А партийная задача, куда ты его ни поставь, одна и та же! И ты на него погляди вот с той точки зрения Маркса, понимаешь? И возьми от него все, на что он способен, и чисти помаленьку и осторожненько, день за днем. Ничего, что у него образования больше, и старше он, и опытнее. Зато у тебя больше партийности.

— А знаете что, Николай Гаврилович? — оживляясь, сказал Воробьев.— Я с такой точки зрения не смотрел... а ведь это интересно — переломить! Даже захотелось...

— Работать с людьми вообще интересно,— откликнулся Диденко. И после паузы спросил: — Так что же ты считаешь главным в своей работе?

Воробьев подумал и ответил:

— Сделать так, чтобы выпустить к октябрю четыре турбины.

— А как? Вот ты спрашивал о стержне. Так в чем он, по-твоему,— стержень?

— Не знаю,— честно признался Воробьев.— А в чем, Николай Гаврилович?

— По-моему, стержень — массово-политическая работа.

— Стержень всего?

— Ага,— подтвердил Диденко и совсем замедлил шаги, чтоб удобнее было говорить.— Да, друже, именно она. От нее — все. Вот у тебя много разных людей, которых ты должен вести на досрочное выполнение плана, а вообще-то говоря — к коммунизму. Так? И у каждого, кроме завода, кроме производства, есть свое: один гонится за заработком, у другого жена хворает, третий обиделся на мастера и хочет ему досадить. Тот готовится к экзаменам, другой — болельщик футбола и готов с работы удрать, лишь бы увидеть, как «Зенит» побьет «Динамо» или, на беду, «Динамо» всыплет «Зениту»... А твоя задача — так охватить их всех влиянием партии, чтобы все эти разные люди делали сообща общее дело, и притом с душой, как можно лучше.

Он вдруг засмеялся:

— Иного хорошего парня выберут руководителем, и — откуда что берется! — он уже говорит не как все, а особым каким-то натужным голосом, будто на площади. Или, наоборот, этаким приглушенным «руководящим» голосом, до того многозначительным, что поначалу думаешь — он невесть какие умные истины изрекает! А вслушаешься — один туман. Слово должно быть ясным, простым и до конца правдивым. Это ты запомни, Яков: надо говорить людям правду, одну правду, даже если она горькая. Народ все поймет, если объяснишь, что плохо и как исправить. Кто начинает привирать, недостатки замазывать, красивыми словами суть дела затемнять — тех народ не уважает, не любит. И за такими не пойдет.

Диденко сам себе возразил:

— А ведь нет! И за таким пойдет иной раз, если такой пустозвон от имени партии говорит. Понимаешь? Тем и велика наша с тобою ответственность, что доверие народа к партии громадное, к голосу коммуниста народ прислушивается. И досадует, если от имени партии с ним говорят неумно, или общими словами, или не всю правду. Вот об этом, Яков, всегда помни. И свой актив учи.

— А что, Николай Гаврилович, вы и у меня заметили эту самую склонность... к «руководящему» голосу?

— Нет, Яков Андреич, пока бог миловал. И работать начал хорошо. Боевое у вас бюро. Только из-за деревьев лесу иногда не видите. И получается — ближная цель видна, о ближней цели все уши прожужжали, а главную цель, перспективу — упустили. Это и есть — слабость партийно-политической работы. Ведь если человек чувствует большой смысл и радость — именно радость! — своего труда, он и работает совсем иначе. Ты Михаила Ивановича Калинина читал? Есть у него один золотой совет партийному работнику — празднично работать в обыкновенной будничной обстановке. Чуешь? Празднично!

— Празднично...— задумчиво повторил Воробьев.— Я об этом думал не раз — за всеми делами не растерять бы мне веселости. Вот этой самой радости, о которой вы говорите. Ведь можно людей повести за собой потому, что нужно, а можно и так, чтоб захотелось. Если разобраться, в самом трудном деле всегда радостный смысл есть. С той же Краснознаменкой,— вы бы видели, как у нас слушали Воловика, когда он о своей поездке рассказывал! Была и радость и праздничность.

— Вот, вот, Яков! — подхватил Диденко.— А то ведь есть у нас еще такие сухари, что только и бубнят: мы должны, вы должны, наш долг... Между прочим, все правильно: должны! Поскольку за большую цель взялись и всему человечеству дорогу протаптываем — долг у нас огромнейший и самый ответственный. И понимать его нужно. Но ведь это не только долг, но и гордость, и счастье наше, и, если хочешь, веселье для души! Так вот и донеси все это до каждого человека — он горы сдвинет!

Диденко сжал локоть Воробьева и заглянул ему в лицо:

— Увлекательно это, Яша! Очень увлекательно — до каждого отдельного человека доходить. Даже до такого, как ваш Торжуев. У нас иногда думают: народ, коллектив — как нечто абстрактное, однородное. Собрание с аплодисментами — это народ. А на улице молодежь хулиганит, в трамвае люди переругались, после получки пьянка... это так, «кто-то». А ведь это тоже народ. И часто — тот же народ!

Несколько минут они шли молча, каждый по-своему думая о том же.

— Ты заметь вот что,— снова заговорил Диденко.— Коллектив у нас мудрее и выше отдельного человека. Коллектив у нас — вровень с временем идет, сам его двигает. А отдельные люди —

кто вровень, а кто пониже, на цыпочки вставать приходится. А кое-кто в сторонке отсиживается, здоровье бережет да своими делишками занят. А только ждать-то мы не можем! Мы ж не за стихийность, мы — организаторы, творцы. Значит, умей видеть в массе отдельную душу — и доберись до нее. Вот тогда ты и будешь настоящий партийный работник!

Воробьев слушал его и видел перед собою сотни людей, знакомых и незнакомых, в цехе и за пределами завода, в комнатах заводского общежития и в квартирах, где он никогда не был, на стадионе и в пивной, в театре и в толчее магазинов; мечущихся у подъезда родильного дома, как Ерохин, и мрачно наблюдающих издали за любимой девушкой, как Ступин; в библиотеке и на улице; полных надежд и планов, как Саша Воловик, и еще ни к чему не приросших сердцем, как Кешка Степанов...

Свет от проходящих навстречу автомобилей скользил по серьезному лицу Воробьева.

— Это потруднее, чем поладить с Любимовым,— сказал он.

— Так ты ж не один,— буднично возразил Диденко и вдруг предложил: — Давай-ка до дому, ведь ночь уже!

Побежал и ловко вскочил на подножку подходившего к остановке трамвая.

— Тебе не на этот? — крикнул он с подножки.— Ну, будь здоров!

10

Чем яснее становилось Воробьеву все связанное с его новой работой, тем мучительней и запутанней казались ему отношения с Груней, осложненные явным недоброжелательством Ефима Кузьмича.

Можно было допустить, что на первых порах старик обиделся из-за Фетисова. Но, в конце концов, Воробьев не был виноват в происшедшем на собрании, да и Ефим Кузьмич всегда относился к Воробьеву с симпатией, считал его своим учеником. Почему же теперь Ефим Кузьмич не только не помогает ему, но и упорно избегает даже обычного, простого разговора?

Воробьев заметил, что любопытные взгляды устремляются на него, как только он появляется на участке Клементьева, и понимал, что такое любопытство не делает чести ни ему, ни Ефиму Кузьмичу.

Однажды, разозлившись, он сказал Клементьеву:

— Нам с вами объясниться надо, Ефим Кузьмич.

Клементьев насмешливо и презрительно хмыкнул.

Воробьев не повторил предложения, повернулся и ушел. На следующий день во время краткого и нерадостного свидания Груня испуганно расспрашивала:

— Ты что, поспорил со стариком? Лютует он против тебя — ужас!

— За что? — гневно спросил Воробьев.

Груня уловила его гнев и ахнула:

— Яшенька, не ссорьтесь! Не могу я промеж двух огней... Родной ты мой, не дерзи, не перечь ему, уважь старика!

Как ни любил он Груню, как ни хотел уступить ей, но тут вспылил:

— Да что мы, в детском саду? Игрушку не поделили? За что он злится, не понимаю. Что же мне, ему в угоду с секретарей уйти? Ковриком ему под ноги стелиться?

— Ох, не то, Яшенька, не то...

— А что?

— Не знаю. Злой стал — ну только что не бросается! А собралась я сегодня уходить, таким взглядом проводил, что — верь не верь! — спиной почувствовала. Будто железом каленым прижег.

— Да что я, прокаженный для него? Или он тебя с собой в могилу забрать хочет? Не пойму я что-то.

Груня не ответила, пригорюнилась. И вдруг знакомая Воробьеву шалая улыбка появилась на ее лице, она порывисто обняла Воробьева и горячо зашептала:

— Не надо, ну, не надо думать об этом! Все равно люблю и любить буду, ты только молчи. Молчи. Сама все улажу. А ты об этом не думай.

Но он не мог надеяться на то, что Груня сама уладит. Не верил он, что вся злоба старика — из-за Груни. С чего бы?

Клементьев ни разу не заходил в партбюро с тех пор, как сдал дела Воробьеву. Но вот выдали получку за месяц, почти все коммунисты внесли членские взносы, а Ефим Кузьмич медлил, и в ведомости пустая строка против его фамилии выделялась одинокой белой полоской.

Воробьев выжидал. Ясно было, что старик прекрасно помнит свою обязанность, да не может преодолеть характер. Ничего, пусть помается. Прийти все равно придется.

Однажды к вечеру Ефим Кузьмич угрюмо и решительно вошел в комнату партбюро, расстегнул ватник и вытащил из внутреннего кармана кожаный футляр с партбилетом.

— Садитесь, Ефим Кузьмич,— как можно приветливей предложил Воробьев.

Не отвечая и не вступая в разговор, Ефим Кузьмич назвал сумму своего заработка и выложил на стол деньги.

Воробьев старательно, не торопясь, сделал записи в ведомости и в партийном билете, дал Клементьеву расписаться в ведомости, поставил печать в билете и, не отдавая его, а с силой прижав к столу тяжелым прессом, сказал:

— Вы, Ефим Кузьмич, отмалчиваться хотите? А я не хочу и не могу.

Клементьев побагровел и отвел взгляд:

— Что ж. Говори. Послушаю.

От этого презрнтельного ответа Воробьеву стало не по себе. Ои уже не ждал инчего хорошего от предстоящего объяснення. Хотелось сказать что-нибудь резкое н навсегда прекратить отиошення. Но делать это иельзя было.

— Хорошо,— через силу произнес он, подавляя раздражеиие.— Для пользы дела поговорю первым.

Ефнм Кузьмич пробурчал:

— Ну, ну. Твоя власть.

— Власть? — переспроснл Воробьев.— Зря вы так толкуете, Ефнм Кузьмич. Партия мне доверила руководство, а ие власть. Я этой чести ие искал, ио раз уж мие доверилн — ценю ее. И склокамн марать ие буду.

— Ну, иу,— с издевкой повторил Клементьев.

— Ефнм Кузьмич! — дрогнувшим голосом восклнкнул Воробьев.— Я вас привык уважать. Я учнлся у вас! Я хочу советоваться с вами, как со старшим, а не ссорнться. Не зиаю, за что вы на меия так взъелнсь, но я ие могу, не хочу, да и права не нмею... Я обязаи выяснить... За что?!

Так как старик молчал, ои с горечью добавил:

— Вы же сами просилн отпустить вас, Ефим Кузьмич. А я на ваше место ие иабивался.

У старика даже дыханне перехватило:

— Ах, ты... Что ж я, по-твоему, «место» жалею? Да как ты смеешь! Это ж я не знаю что! Это ж...

Кто-то прнотворнл дверь, собнраясь войти, ио тут же поспешно прикрыл ее. Клементьев заметил это н махнул рукой, словио теперь ему было уже безразлично.

— Советоваться хочешь? — сквозь зубы сказал ои.— А ты бы раиьше советовался. Не со мной, так с совестью своей. Лучше было бы.

Воробьев побледиел. И не от оскорблення, а потому, что в этот миг понял: старик зиает про иего и Груию, не прощает этого н иеиавидит его за это, и сейчас правда будет сказана до точкн. Распаленный гиевом, старнк придет домой и иакричит иа Груию, иаговорнт бог зиает чего, а Груня поплачет, быть может долго поплачет, но в конце концов уступит старику, покляиется не измеиять памяти мужа, не измеиять дочке...

И вдруг чувство протеста подиялось иа смеиу отчаянию. Собствеино говоря, почему может старик требовать от вдовы своего сына такого самоотречеиия? Что за бред?

— Подождите, Ефим Кузьмич,— резко сказал ои.— Вы о личиом?

— Личиое? — закрнчал старик.— Нет, голубчик, тут за личиым ие скроешься! Подлость в личной жнзии — это дело общественное! Партийное! И ие будь тут другой человек замешан, я бы тебя при всех опозорил! Я бы тебя на собрании отвел, как последнего сукиного сына н развратника! Я бы...

Задыхаясь от гнева и волнения, он схватился за грудь и грузно опустился на стул.

— Ефим Кузьмич,— почти шепотом сказал Воробьев.— Вы об этом так говорить не смейте. Себя я марать не дам, а уж Груню — отцу родному не позволю... Любовь это, Ефим Кузьмич. Любовь. И подлости тут никакой нет.

Клементьев поднял лицо, ставшее землисто-серым и совсем старческим.

— Любовь, говоришь? — Он насмешливо сморщился и покачал головой.— Нет, Воробьев. Конечно, всякий мужик про любовь болтает, когда женщину обхаживает. Может быть, я стар и молодым не пример, но для меня любовь — человеческое чувство, человеческое, а не скотское. Ответственное. Душевное... А кто одних удовольствий ищет, а ответственности прячется...

— Я прячусь?! — вскричал Воробьев.

Удивление и возмущение Воробьева были так искренни, что Ефим Кузьмич впервые повернулся к нему с желанием понять.

— А как же не прячешься? Ребенка пóбоку, честь женскую пóбоку. Думаешь, не знаю?

Как ни был расстроен Воробьев, он засмеялся, обошел вокруг стола и положил руки на ссутулившиеся плечи старика:

— Так помогите мне жениться, Ефим Кузьмич. Я и сам измаялся. Сам больше не могу.

— Погоди, погоди,— бормотал Ефим Кузьмич, снизу вверх растерянно глядя на Воробьева.— Я что-то не пойму. Да почему же это у вас?

У Воробьева вдруг ослабели ноги, он утомленно опустился на стул напротив старика, взял руки Ефима Кузьмича в свои и начал тихо говорить.

Кто-то снова сунулся в комнату, но, увидав совершенно неожиданную и явно личную беседу старого и нового секретарей, почему-то взявшихся за руки, как дети,— еще поспешней, чем раньше, прикрыл дверь.

— Д-да,— протянул Ефим Кузьмич, подпер голову рукою и задумался — поникший, мрачный.

Воробьев с тревогой смотрел на него и молча ждал. А Ефим Кузьмич будто и забыл о нем, все думал и думал... Несколько месяцев подряд, ревниво наблюдая за Груней и стараясь понять, кто тот мерзавец, что тишком обольстил ее, Ефим Кузьмич убеждал себя в том, что оберегáет Груню, жалеет Груню,— ведь побалуется прохвост и бросит ее. Разве так поступают, если хотят жениться?.. Когда догадался, что человек этот — Воробьев, бывший его любимый ученик, возненавидел и Воробьева. Не жалел слов, чтобы очернить его в глазах Груни. Подметив, что несколько дней Груня не уходит из дому, приглядывался — не грустна ли? Может, и бросил уже?

И вот все обернулось по-иному. «Помогите жениться, Ефим Кузьмич...»

Сидит перед ним Яков Воробьев, сидит и терпеливо ждет. Ответ ясен, а не вымолвишь. Стоит вымолвить это единственно возможное слово — и войдет этот хороший человек в твой дом, войдет хозяином, сядет на тот самый стул, на котором сидел Кирилл, ляжет на ту же кровать и обнимет женщину, которую любил Кирилл. А Галочка! Галочке он будет — отчим. Чужой человек, которому наплевать на эту девочку, он не нянчил ее, когда она лежала в пеленках, когда ползала по полу в смешных фланелевых «ползунках»... он не томился страхом, когда она болела... он и не увидит, какая она ласковая и лукавая девчонка, самая лучшая на свете... Что она ему? Девочка как девочка, лишний рот и лишняя забота. Будет шуметь — прикрикнет. Ослушается — накажет. Попробует увязаться за матерью, когда пойдут гулять в воскресный день,— с досадой скажет: не надо Галочку, на что нам она?

— У Груни — ребенок,— с усилием сказал он, не поднимая глаз.

— Знаю, Ефим Кузьмич.

И снова молчали оба, и, еще сильнее ссутулившись, думал Ефим Кузьмич о том, что против жизни не попрешь, и кто его знает, долог ли его век, а Груне — жить, и, если сердце идет наперекор ему, видно, сердце надо смирять... да и что тут скажешь? Как помешаешь?

Он поднялся, все так же не глядя на Воробьева, взял из-под пресса свой партийный билет, запрятал его в потайной карман, долго возился, застегивая карман английской булавкой.

— Жена моя, покойница, все, бывало, говорила: какие вы ни есть умные, а женщину никогда до конца не поймете! — с кривой улыбкой сказал он. И впервые поглядел прямо в глаза Воробьеву: — Что ж, Яков. Тут не мне решать — Груне.

И пошел к двери — мужественно подняв голову, очень прямо и твердо ступая.

11

Весть о том, что Воробьев женится на Груне Клементьевой, быстро разнеслась по цеху, и Воробьев целый день принимал поздравления и с блаженно-счастливым лицом кивал в ответ на обычное «с тебя причитается».

К станку Груни тоже то и дело подходили подруги и товарищи, и все радовались за нее, поздравляли, и никто, видимо, даже мысленно не осуждал ее.

Поздним вечером того дня, когда Воробьев объяснился с Ефимом Кузьмичом, Груня смело, не таясь, прибежала к Воробьеву и упала к нему на грудь, смеясь и плача. Она ругала себя и тут же требовала, чтобы он поклялся, что не ругает ее, пересказывала свой разговор со свекром. Прижимаясь к Воробьеву, она принималась мечтать о том, как они теперь будут жить,

снова смеялась и плакала, и вообще вела себя как сумасшедшая. Отказавшись остаться у него, она передала ему приглашение Ефима Кузьмича прийти в субботу к восьми часам, чтобы отпраздновать помолвку и все обсудить.

Шел восьмой час, когда Воробьев, наскоро переодевшись, зашел в универмаг. Он купил новый галстук и здесь же у зеркала повязал его, выбрал колечко для Груни и в самом легкомысленном настроении подошел к прилавку детского отдела универмага. И тут совершенно растерялся.

На прилавке заманчивой цепочкой лежали погремушки — кошачьи головки, попугаи и металлические колокольчики. За ними, поблескивая алюминиевыми фарами, в ряд стояли машины, легковые и грузовые, лимузины обтекаемой формы и тупоносые тягачи с прицепами, красный мотоцикл с кареткой и с металлическим мотоциклистом, сросшимся с машиной устремленной вперед фигурой. Под арками из цветных кубиков отдыхали две птички на широких лапах и зеленая лягушка с выпученными глазами и с таким выражением, будто она на минуточку присела и вот-вот поскачет. И у птичек и у лягушки торчали в боках заводные ключи.

На полках большие куклы, распахнув голубые глаза, стояли в коробках. Клоун в красном колпаке сидел верхом на слоне, у которого мерно покачивался хобот. Полосатый тигр смотрел на обезьянку, висящую в оранжевом обруче. Большие пестрые мячи, волшебные фонари, детские велосипеды — трехколесные и двухколесные, голубые самокаты с алыми колесами, свисающий с потолка парашютист под зонтом-парашютом...

Из всей этой массы игрушек надо было выбрать один, самый подходящий, завораживающий подарок для маленькой незнакомой девочки. Холодком по сердцу прошла мысль, что девочка — чужая, непонятная, а должна стать родной.

Он видел эту девочку всего три раза. Однажды они условились встретиться с Груней в воскресенье днем в парке. Галочка с двумя другими девочками прыгала через скакалку. Они прыгали по очереди: две крутили скакалку сперва в одну сторону, потом в другую, а третья прыгала и визжала. Потом Галочка прыгала одна, выделывая всякие фокусы: поворачивалась вокруг себя во время прыжка, прыгала боком и назад, как-то по-особому перекручивала скакалку. Воробьев смотрел и не мог понять, как это она умудряется.

Вторично он видел ее вечером, на пустыре, когда Груня вывела дочку погулять. Галочка лезла к матери с болтовней, раздражавшей Воробьева, сердито косилась на приставшего к ним дядю, просилась домой. В руках у нее был тряпочный заяц, но заяц не занимал ее, она тащила его за ухо и пыталась всучить матери.

Третий раз он мельком видел ее в тот вечер, когда заходил с Воловиком к Ефиму Кузьмичу.

— Сколько стоит вон та кукла? — робко спросил Воробьев.

Кукла была роскошная, с закрывающимися глазами, но иа иее у Воробьева уже не хватило деиег. Продавщица наметаниым взглядом определила его иеопытиость н стала предлагать ему то одио, то другое, завела мотоциклиста, и лошадку с тележкой, и слона, который топал по стеклу, переваливаясь с боку на бок.

— А сколько стоит плнта? — спросил он, заметнв нарядиую кафельную плиту.

Плита стоила дешево, и к ией продавщица приложила еще лист картона с пришитыми к нему маленькими кастрюльками и сковородками и второй лист — со столовой посудой. Оиа уверяла, что для девочки это чудесный, занимательиый подарок.

Обрадоваииый, что выбор сделан, он расплатился, получил аккуратно перевязаиный пакет и заспешил к Клемеитьевым.

Ои заранее готовился сразу, ничего не говоря, надеть иа палец Груни колечко, и ему почему-то казалось, что она бросится к нему иа грудь так же, как в прошлую встречу, с тем же шалым выражеиием на сияющем лице.

Она сама открыла ему, но ие обияла, а только крепко стиснула его руку и движеиием губ показала ему, что мыслеино целует его. Она улыбалась, ио Воробьев видел, что она чем-то взволноваиа и огорчена, хотя и пытается скрыть это. Колечко было уже зажато в левой руке, Воробьев надел его иа палец Груии, Груня просияла и тотчас виновато оглянулась.

В дверях комнаты стояла Галочка и строго, не мигая, смотрела на них.

— Здравствуй, Галочка,— сказал Воробьев и протянул пакет.— Погляди-ка, что я тебе принес.

Галочка покраснела, но не двинулась с места. Воробьев увидел в этом только детскую застенчивость, но Груия нетерпеливо иахмурилась и неестествеиио веселым голосом позвала ее:

— Иди же, доченька, взгляни, что тут такое.

И, прощупывая игрушки сквозь оберточиую бумагу, воскликнула:

— Ого! Что-то острое! И большое! Интересно, что это принес дядя Яша?

Галочка сделала несколько шагов к матери и снова остановилась. Видимо, сложная работа, происходившая в ее душе, пересиливала любопытство.

— Я проговорилась при ией... она зиает...— шепиула Груия и пошла в комиату, увлекая за собою дочку.

Когда Воробьев сиял пальто и вошел за ними, Галочка уже оторвала от листа кастрюльку и поставила иа плиту, ее пальчики уцепились за терку.

— Морковку тереть,— сказала она, оглянулась на подошедшего Воробьева, что-то вспомиила и оставила терку на листе.

— Скажи спасибо и поцелуй дядю Яшу,— подсказала Груия.

— Спасибо,— сказала Галочка и отвернулась.

Груня мигнула Воробьеву и пошла в кухню. Галочка устремилась за ней, но Воробьев перехватил ее, привлек к себе и, страдая за себя, за нее и за Груню, через силу сказал:

— Давай дружить, Галочка. Я люблю твою маму, и твоего дедушку, и тебя. Я хочу, чтобы мы жили весело и дружно.

Галочка быстро глянула ему в лицо, потупилась и промолчала. Пальцы ее теребили край передничка. Она не поверила тому, что он очень любит ее, потому что он не знал ее, так же как она не знала его, и ему не за что было любить ее; не поверив этому, она не поверила и всему остальному. Весь этот разговор был для нее мучителен. Она знала, что бывают у детей неродные папы, но она не хотела иметь неродного папу, она ревновала мать и негодовала на то, что в их милый, такой привычный и хороший дом въедет чужой человек, воображающий, что все ему обрадуются. С детской наблюдательностью она давно подметила, что между дедушкой и мамой что-то происходит, а однажды вечером ее разбудили громкие голоса, и плач мамы, и мамин странный смех пополам со слезами. Теперь она понимала, из-за чего все это было. Она ничего не могла изменить, раз даже дедушка не мог, но тем более не могла полюбить этого чужого человека. Подумаешь, игрушек принес! Лучше бы не надо никаких игрушек...

— Ты свою маму любишь, Галочка?

Она покраснела до слез и промолчала.

— Маме трудно и скучно одной, Галочка. Мы с тобой будем беречь ее и любить. Хорошо?

— Хорошо,— послушно ответила она.

Она не верила в то, что маме трудно и скучно с нею и с дедушкой. Трудно и скучно было вторжение чужого человека. Но она знала, что говорить этого не нужно.

Воробьев чувствовал ее сопротивление, был уязвлен им, но всеми силами стремился поладить с девочкой, которая должна была стать его дочерью:

— Будем друзьями, Галочка?

— Будем.

— Я тебе буду покупать игрушки. И коньки куплю к зиме. Ты умеешь кататься на коньках?

— Я не люблю на коньках.

— А на санках любишь?

— У меня есть санки.

— Станет теплее — поедем на лодке кататься. И в театр пойдем. В кукольный. Ты была в кукольном театре?

Галочка помотала головой:

— Дедушка говорит, что там ин-фек-ция. Дифтерит и корь.

Воробьев растерялся от неожиданности, а Галочка добавила с нескрываемой злобой:

— И скарлатина.

Затем новая мысль пришла ей в голову:

— А если я заболею, мама и деда меня в больницу не

отдадут,— сказала она скороговоркой, поблескивая глазами.— Двери заклеют обоями, как у Жоржика, и всех, кроме мамы, выселят!

Она вывернулась из его рук и забилась в свой уголок, схватив первые попавшиеся под руку игрушки и перебирая их, чтобы показать, что она занята.

Воробьев понял ход ее мыслей, и открытое недоброжелательство ребенка глубоко оскорбило его. Груня беспечно сказала: «Ничего, привыкнет!» Но ведь этот человечек прямо с ненавистью смотрит на него. Разве тут поможешь игрушками?

Пришел Ефим Кузьмич — неестественно веселый и говорливый, с завернутой в газету бутылкой. Груня захлопотала с ужином, улыбаясь Воробьеву и недовольно поглядывая на дочь, упорно не прикасавшуюся к принесенным Воробьевым игрушкам. При виде нахохлившейся девочки тень грусти проходила по сияющему лицу Груни — и тут же исчезала. Всем существом рвалась Груня к веселым хлопотам нового устройства жизни. И детское сопротивление, царапая душу, не могло развеять ее радости.

Галочка поужинала первою, одна, ни на кого не глядела и на дедушкины заигрывания не отвечала. Парадный бант на ее голове печально качался. Когда Ефим Кузьмич поставил на стол вино и конфеты, она отказалась от конфет.

Груня увела ее спать.

И вдруг из-за стены донеслись горькие детские всхлипывания, уговаривающий голос Груни, снова всхлипывания...

Воробьев вскочил, подошел к двери, вернулся к столу. На нем лица не было.

— Разве так делают? — сокрушенно пробормотал Ефим Кузьмич, отворачиваясь от Воробьева.— Надо было исподволь, понемножку.

Всхлипывания стихли. Груня вышла с заплаканными глазами, виновато улыбнулась Воробьеву, попробовала держаться весело, как ни в чем не бывало. Но Воробьев отвел ее ласкающую руку и, прежде чем она поняла, что он задумал, решительно шагнул в соседнюю комнату и плотно прикрыл за собою дверь.

Маленькая настольная лампа была заставлена книгой. В полумраке на белой подушке виднелась головка Гали с поблескивающими, настороженными глазами.

— Вот что, Галя,— сказал Воробьев, садясь на стул рядом с кроватью.— Я вижу, ты не хочешь меня, не хочешь, чтобы мама была счастлива и весела. Так?

Галя не ответила, только испуганно, со стоном перевела дыхание.

— Если ты не хочешь маме счастья — значит, ты маму не любишь.

Галя хотела что-то сказать, но не сказала. Воробьев подождал и заговорил снова:

— У тебя был папа. Очень хороший папа. Его убили фашисты. Мы все помним его и уважаем, и ты должна помнить его и гордиться им, как все мы. Но его нет. А мама давно живет одна, ей трудно и грустно.

— А я? — пролепетала Галочка.— Мы с ней вместе.

— Она работает, она учится, твоя мама. Кто поможет ей? С кем она посоветуется? С тобой — так ты еще мала. С дедушкой — так он уже старенький. А мама молодая, веселая, ей хочется иметь друга, понимаешь?

Галочка по-прежнему молчала, и он закончил:

— Ты уже не маленькая, Галя, можешь подумать, понять и решить. Верно? И потом скажи маме. Не хочу я переезжать против твоего желания.

Он поднялся, но она шевельнула рукой, как бы удерживая его, и, наклонившись, он увидел на ее побледневшем личике выражение взрослого страдания. Перед ним был человек, пусть еще маленький, наивный, но человек со своей любовью и привязанностями, со своими вкусами и запросами, не к игрушкам — к жизни. И от этого маленького ошеломленного человека он требовал немедленного ответа, вместо того чтобы завоевать его постепенно, силой любви и жизненного опыта!

Он склонился, погладил ее мягкие скользкие волоски, поцеловал ее в мокрый глаз и шепнул изменившимся от волнения голосом:

— Все будет хорошо, глупышка ты маленькая.

Она протяжно всхлипнула и зажмурилась, чтобы удержать слезы. Ей очень хотелось громко заплакать и сказать: «Ладно уж, переезжайте»,— в эту последнюю минуту она поверила его изменившемуся голосу больше, чем всем его словам.

Груня и Ефим Кузьмич подслушивали у двери. Когда он скрипнул стулом, вставая, они отошли от двери и сели к столу, робея оттого, что Воробьев должен был сейчас вернуться к ним и они не знали, что сказать ему.

Воробьев вошел, щурясь на свет после темноты спальни. Он утомленно сел к столу, отряхнулся и жалобно попросил:

— Покорми нас, Груня. И давайте выпьем за семью. За нашу семью.

Ефим Кузьмич чокнулся с ним, залпом выпил:

— Прямой ты человек, Яков.

— А вы думали — косой? — неуклюже сострил Воробьев.

Груня засмеялась. Она была спокойнее всех. Как только Воробьев пришел и сел вот тут, рядом с нею, к ней вернулось безмятежное и торжественное ощущение счастья. Она беспечно откидывала в сторону все, что могло помешать. Руки ее, хозяйничая на столе, так и норовили коснуться руки Воробьева, его крутого плеча, мимолетной лаской задеть его короткие, спутавшиеся волосы.

— А это ты любишь? Горчицы хочешь? Или перцу? —

придвигая ему то одно, то другое, предлагала оиа и присматривалась — что он любит, как он ест, перчит ли, солит ли,— она еще так мало знала о нем!

А Воробьев ел что придется, рассеянио солил и перчил, поскольку ему придвигали солонку или перечиицу, чокался с Ефимом Кузьмичом и пил, так как Ефим Кузьмич подливал ему вниа и тянулся к нему рюмкой. И думал о счастье, к которому он долго стремился и которое иеожиданно пришло,— и оказалось совсем не таким, каким виделось из отдаления, а трудным, с новыми обязанностями и новой ответствеииостью. Это был обман — что оно уже есть, что оно добыто. Пока была только женщина, любимая и готовая вместе с ним создавать его, хотя и она вряд ли понимала, что это долгождаииое счастье иужио создать и что создать его непросто.

12

Домик Ефима Кузьмича одиноко торчал на краю большого пустыря, образовавшегося там, где прежде тесиилось миого таких же деревяииых домиков с палисадничками и огородиыми грядками, с водоразбориыми колоикамн, у которых по-деревеиски сходились с ведрами хозяйки. Этот уголок старой городской окраины был снесеи войной. Пустырь «обжила» молодежь — воткиула самодельные ворота для футбола, протяиула между деревьями волейбольиые сетки, расчистила место для игры в рюхи.

Немиров и Диденко стояли посреди пустыря, по-хозяйски оглядываясь.

— Кузьмича-то потревожат?

— Пока нет, но по плаиу там спортивиые площадки.

— Что ж,— сказал Немиров, с сожалеиием оглядывая домик,— прижился он в нем, конечно, ио домишко-то ветхий, да и нелепо будет выглядеть. Дадим старику лучшую квартиру на выбор, верно?

— Им и кстати. Семья-то в рост пошла.

— Красавицу отхватил твой Воробьев!

— А ои и сам неплох.

Напротив домика Клемеитьевых, по другую сторону пустыря, высились так изываемые «иовые дома» — отстроеииые перед войиой жилые корпуса завода. Заходящее солнце играло в их стеклах и теплым, розовым светом оживляло стеиы, ио Григорий Петрович оглядел их без удовольствия.

— До чего ж иеинтересио построили! И как только приияли такой проект? Я б этого архитектора с завода вытолкал в шею!

Ои прикииул в уме, при ком из его предшествеиииков строились эти дома, мыслеиио обругал виновиика. Сразу видио, ие было у человека ии размаха, ии увлечеиия... небось только метры подсчитывал, миого ли комнат выйдет, да поторапливал строите-

лей, чтоб скорее сдавали,— с иедоделками так с иедоделками. Нет, теперь все будет иначе. Архитекторы сразу оживились, когда увидели, что у заказчика есть размах. А «подрядчики» скислн. Ишь ведь, без лифтов хотели строить! Холодильные шкафы пробовалн «замять» как лишиюю выдумку!

— Только знаешь что, Нниколай Гаврнловнч? Давай твердо держаться — инкакнх ордеров на комнаты, иикакой перегрузки! Каждому — квартиру. Отдельиую, со всеми удобствами. Ваиная, холодильиый шкаф, газовая кухия, телефои... Здорово это я про телефоны вспомиил?

Он улыбиулся:

— А зиаешь, почему вспомиил? Заехал я вчера в гастроном, смотрю, стоит наш мастер из кузиицы, Вороиков, возле автомата и этак умнльио кого-то в театр приглашает. Меия прямо ударило — в новом-то проекте опять телефонизацня не предусмотреиа? Нет, думаю, врешь, ие пройдет! Еслн я строю для своих людей дома, то уж это будут дома! И бегать к автомату свидаиия изиачать ие придется — ложись иа диваи, трубку к уху, и говори, пока ие иадоест.

Диденко усмехиулся, отметив про себя — «я строю» и «для своих людей», ио промолчал. Как бы там ии было, есть у Григорня Петровича и смелость мысли, и государствеииый подход к делу! Каждый раз, когда рассердишься на иего илн заметишь его ошибку, которую пропустнть иельзя,— каждый раз директор в чем-то другом окажется и сильией, и решительией, поразит такой организаторской талаитливостью, что иевольио забудешь его промахи. С того дня, когда Григорий Петрович решил поставить иовый регулятор иа первой турбиие, Днденко испытывал к иему восторженное чувство, близкое к влюблеииости, и видел, что и весь заводской коллектив оцеиил смелое решеиие директора. Вот н сегодия: как ии иужны заводу иовые дома, как ии кажется порою, что важнее всего — побольше жнлой площадн, пусть без лифтов, холодильных шкафов и телефоиов, лишь бы поскорее! — иет, ие допустнл этого Немиров, все совещаиие повернул по-своему.

Поиравилось Диденко и желаиие директора сразу после заседаиия поехать сюда — пройтись по тому месту, где в будущем году вырастут дома, окружеииые зелеиью, пройтись и зримо представить себе, как оно тут получится.

— Хорошо! Только вот эти коробки дело портят.

— Ничего, еще послужат! — откликиулся Диденко.— Городок турбостроителей! Когда все соеднинтся зелеиыми массивами, старые дома вольются в аисамбль!

Сказав это, ои сам удивился, что впервые, вопреки сложившейся иа заводе привычке, иазвал эти дома «старыми». А ведь скоро это иовое определеиие приживется!

— Давай-ка пройдемся малость,— предложил Диденко.

Оии вышли иа проспект. Немиров отпустил машиину. Пройдя

немного, оба оглянулись. Неприглядеп был пустырь, но разве они видели пустырь? Перед их глазами стояли новые дома с балконами, с широкими окнами, за которыми белеют занавески и приманчиво загораются сотни огней.

— Первого начнут подвозить,— сказал Немиров.— Я с них глаз не спущу, пока не развернут работы на полный ход.

— Пока не построят,— поправил Диденко.

— Это уж само собой! — весело согласился Немиров.— У меня не помешкаешь! А ну, Николай Гаврилович, пошли ко мне, спрыснем хорошее начало, чтоб дальше не засохло, а? Может, и Клава уже дома. Твою Катюшу вызвоним. Поболтаем, отдохнем.

Клавы дома не было, Григорий Петрович сразу принялся звонить ей. Как всегда по вечерам, найти ее было трудно: в плановом отделе нет, говорят — наверно, в дирекции; в дирекции советуют позвонить в партком; в парткоме отвечают — только что была, может быть у главного инженера, а там сообщают — да, забегала, но уже ушла.

— Очень она занята сейчас,— с сердцем бросив трубку, объяснил Григорий Петрович.— Я и не вижу ее совсем.

— Да, они там воюют вовсю,— подтвердил Диденко.— Молодцы! Брянцев крутится, как на горячей сковороде, а они все подпекают, все подпекают!

Немиров повеселел — конечно, Клава просто занята. Хотелось расспросить, в чем там дело, но неловко показывать Диденко, что Клава ничего толком не рассказывает. Интересно, как там чувствует себя толстяк?

А Диденко в свою очередь взялся за телефон. Нежная и насмешливая улыбка проступила в его лице еще до того, как он дозвонился. Что-то она сейчас делает, Катя-Катюша?

Вчера вечером он застал Катю в слезах. Лежит на кровати и плачет навзрыд. Стал допытываться, из-за чего,— разрыдалась еще пуще. Оказывается, «проработали на педсовете».

«Хвалили, хвалили, и вдруг...— она всхлипнула,— «слишком увлекается иллюстративными материалами»! — Всхлип.— «Ищет дешевой популярности у ребят...» — Всхлип.— «Заинтересовать умеет, а конкретного знания географических сведений не добивается...»

Диденко пробовал утешить и успокоить, робко высказал мысль, что, может быть, какая-то доля истины в этой критике есть.

«Ну и что? Даже если есть? — выкрикнула Катя и снова громко всхлипнула.— Мне-то от этого не легче?! При всем коллективе...»

Он вздумал напомнить ей, как она сама посмеивалась над ним, когда он расстраивался, и предлагала «поскулить вместе», но Катя оттолкнула его и сквозь слезы крикнула:

«Так ты партийный работник! Что ты нас сравниваешь? Ты

привык, ты других учишь самокритике, ты обязан воспринимать ее... а я не могу, не могу, не могу, когда при всех!..»

Катя отозвалась веселым, но не домашним, а тем другим голосом, каким говорила в школе.

— Катюша, я у Немировых. Приезжай и ты!

— Хорошо, Коля, только немного погодя, у меня тут товарищи зашли.

— Эбро — Тахо — Гвадалквивир?

— Ага!

Значит, ее подружки-географы сбежались обсуждать вчерашний педсовет. Диденко дразнит их ученической скороговоркой: «Сена — Луара — Рона — Гарона — Эбро — Тахо — Гвадалквивир!» Легко себе представить, как сейчас от них достается всем инспекторам и завучам! У Кати принцип: ребят надо увлечь, тогда знания сами уложатся в голове. Диденко тоже уверен, что ребят надо увлечь, он гордится Катиной популярностью среди школьников и склонен заочно признать завуча и всех инспекторов сухарями.

— Что ж, подождем, пока наши работяги присоединятся,— сказал Диденко, уселся в кресло и на миг прикрыл глаза.

Подошел час отдыха — и сразу навалилась усталость, и хочется беспечно поболтать о разных разностях с милым человеком, настраивающим сейчас радиоприемник, с талантливым, умным человеком, который так нравится Диденко... и забыть, что это он сделал ошибку, разрастающуюся из-за его упорства, и пора поговорить с ним начистоту, пока ошибка не зашла слишком далеко.

Григорий Петрович поймал в эфире музыку и уселся напротив Диденко в другое кресло. У обоих было сегодня приподнятое настроение — добились-таки ускорения строительства новых домов! А Немирову радостнее стало оттого, что Клава, видимо, действительно крепко занята на заводе и только потому так поздно возвращается.

— Саганского тоже подпекают? — как бы между прочим справился Немиров. И засмеялся: — Если «мечте самолюбивого директора» жарко, то должно перепасть и самому директору?

— Да уж это как полагается! — с улыбкой сказал Диденко.— Так что не мечтай, Григорий Петрович, о покладистом парторге. С покладистым хлопот не оберешься!

— Так это смотря какой директор, я думаю.

— Что ж, Саганский директор неплохой, только работать с ним мне не хотелось бы. Заметил, до чего он хитер и изворотлив? Никогда прямо не скажет — да или нет, все вокруг да около крутит...

— Я, значит, лучше?

Вопрос шутливый, но ответ ожидается с интересом. Уже давно не было между ними крупных разногласий, но и полного ладу не было, а в последнее время наметились такие вопросы, что прихо-

дилось ходить вокруг них будто вокруг взрывчатки — того и гляди сдетонирует.

Диденко из-под опущенных век зорко вгляделся в настороженное лицо директора и серьезно ответил:

— Не знаю.

Помолчал и повторил:

— Не знаю.

И вдруг, выпрямившись в кресле и сразу взбодрившись, пылко заговорил:

— Давай начистоту, Григорий Петрович! Чего ты тянешь и виляешь с планированием? Почему? Думаешь, я не вижу и не понимаю, что ты хитришь, недоговариваешь и наводишь тень на плетень? Вижу. Понимаю!

Григорий Петрович весь подобрался, но ответил миролюбиво:

— Ну вот тебе раз! «Виляешь, хитришь»... Сразу формулировочки! — И пожестче: — Хочешь делать очертя голову? А я не хочу и не буду. Я директор, я эти вопросы решаю, и я отвечать буду!

— Ты решаешь, Григорий Петрович, твою власть никто не колеблет. Но отвечаешь не ты один. И заинтересован в турбинах не только ты. Очертя голову никто делать не хочет. Но делать-то нужно!

Сдержав раздражение, Немиров ответил еще миролюбивее:

— А то как же? Каширину поручено подработать. На парткоме ведь я не отказывался? Только надо продумать, найти формы. Вот и все. Зачем же сразу обострять?

Он подошел к приемнику и пустил музыку погромче. Передавалась опера, и опера хорошо знакомая, но не вспомнить было какая. Вслушиваясь в переплетающиеся голоса певцов, Григорий Петрович старался уяснить для самого себя: почему он так не хочет этого внутризаводского стахановского планирования? В цехах волнуются, требуют. Конечно, оно удобнее — распланировать работы по всем четырем турбинам, а значит — и всю работу завода, потому что одно связано с другим. Но это значит написать черным по белому: четыре турбины к 1 октября. Вторую — к 1 июля, третью — к 15 августа и так далее. А могу я дать гарантию, что ни с одной не запоздаю? Не может разве случиться, что первые две дам в срок, а вторые две немного задержу? А тут — хомут на шею...

— Что это такое, не узнаешь, Николай Гаврилович?

— «Князь Игорь»,— проворчал Диденко, подошел и решительно приглушил музыку, так что она еле-еле аккомпанировала его голосу.— Послушай, Григорий Петрович! Мы с тобой не дети. Единое планирование нужно! На парткоме об этом говорили достаточно резко, так? Решение принято: «Поставить вопрос перед дирекцией о необходимости...» Так? И ты, единоначальник, решающий эти вопросы, ты не протестовал, ты голосовал вместе со всеми, только оговорочку сделал: надо, мол, подработать,

продумать... Но с того парткома десять дней прошло, а воз ни с места. Каширин и не шевелится. А ты делаешь вид, будто никакого решения и не было. Что, не так?

Немиров натянуто улыбнулся:

— Экой ты, право... торопыга! Я дал Каширину указания. Продумаем, найдем формы...

— Формы, формы! — раздраженно вскричал Диденко.— Формы находятся тогда, когда люди хотят найти их! А ты — хочешь? Ты отмахиваешься от всякого разговора о планировании, и отмахиваешься потому, что ввести досрочное обязательство в план — значит отрезать все пути к отступлению. Вот в чем дело, Григорий Петрович, и не будем друг друга обманывать.

Теперь они стояли друг против друга, оба разозленные и возбужденные.

— Первый раз слышу, чтоб меня пытались обвинить в нерешительности,— насмешливо сказал Немиров.— В жесткости, в чрезмерной требовательности — обвиняли. Что действую рискованно и слишком круто — обвиняли. Всякое бывало, а вот такого, как сейчас, слышать еще не доводилось.

— И я бы хотел, чтоб ни сейчас, ни потом не пришлось этого повторять,— не уступая, сказал Диденко.

— Черт возьми! — крикнул Немиров и взмахнул рукой. Был бы поближе стол, стукнул бы так, что чернильницы подскочили бы.— Черт возьми! Неужели ты не знаешь, что я делаю все, решительно все для досрочного выпуска? Что я днем и ночью над этим работаю? Что для меня эти турбины — дело чести?

Диденко ответил непривычно тихо:

— Я! Я! Разве только в тебе дело? Почему ты не веришь коллективу, Григорий Петрович? Или ты всерьез думаешь, что ты один — своей энергией и властью — можешь вытянуть такое дело?

— Могу, если мне мешать не будут! — запальчиво крикнул Немиров.

Повернувшись спиной к Диденко, он снова крутанул радио. В комнату ворвался залихватский голос:

Я бы знал, как жить!
Я б не стал тужить!

Черта с два, попробуй жить не тужить, когда над душой нависают... Что, работать он не умеет? Не знает без них, что нужно?.. Может быть, Брянцев и плох, потому что размазня. Но вот такого парторга, как Диденко, только толстяку Саганскому пожелать можно — враз скинет килограмм десять. И что теперь делать? Хочется разругаться, но тогда им вместе уже не работать. Кому-то надо уходить. В такой напряженный для завода момент?..

— Знаешь, Николай Гаврилович, давай не ссориться. Я человек нетрусливый. Ответственности не боюсь. Если сомневаешься,

прнпомни, кто приняя решенне о замене регулятора на первой турбнне? Даже Котельннков не решался предлагать. Тебе н в голову не прнходило. А я решил!

— Твое решение весь завод оценил, Григорий Петрович. И райком н горком. Или ты не чувствуешь, как тебя народ уважает за это решение? А вот с планнрованием труснщь. И народ это тоже чувствует.

— Или ему внушают это,— сквозь зубы сказал Немиров.

— Я, что ли? Договарнвай уж до конца!

Немиров промолчал. Прошелся по кабинету, поглядел в окно на сумеречную улицу. Какая-то женщина быстро прнблнжалась по улице. Клава? Нет, не Клава. И что же такое происходит? Ведь это ссора, ссора, которую нельзя было допускать. Как это отразнтся теперь на дальнейших делах? В четверг общезаводское партийное собрание. Надо докладывать о выполнении оргтехплана. Диденко, конечно, проведет «подготовку», чтобы дать бой. Втянет Раскатова... Может быть, уехать в среду в Москву, а доклад перепоручить Алексееву?

За спиной Немирова то длнно, то коротко шесть раз пророкотал диск телефона. Куда это он звонит?

— Катюша? Ты еще не выехала? Так ты уж и не выезжай, я сам еду домой.

Звякнул аппарат. А ведь собнрались «спрыснуть» начало стройкн, посидеть по-семейному. Нехорошо получилось.

Днденко двинул креслом, прошелся за спиною Немнрова. Что-то скажет напоследок? Так н есть, он тоже вспомннл о четверге:

— Так вот, Григорнй Петрович! Ссориться нам с тобой ни к чему. Но в четверг — собрание: ты промолчншь — все равно народ скажет.

Немиров ответил прнмнрнтельно:

— Только давай не обострять, Николай Гаврнлович. Все это непросто, очень непросто... Тут семь раз отмерить нужно. И почему ты вдруг сорвался?

— Да поздно уже.

Они простнлись дружелюбно, подавляя недовольство друг другом.

— В кои векн зашел, н то не сндится. Ну что ты, право?

— Что ж поделаешь? Только присели вдвоем — уже и сцепнлнсь. Ну, будь здоров!

— Будь здоров.

Закрыв за парторгом дверь, Григорий Петровнч распахнул окно, чтоб проветрить кабннет до прихода Клавы,— здорово накурнли. Ворвался холодный ветер. Как быстро похолодало! А Клава... Что надела Клава утром?

— Елнзавета Петровна, Клава пальто взяла?

— Ой, наверно, нет!

Они с тещей сошлнсь в передней,— так и есть, пальто вnaснт себе на вешалке! Взять его н пойтн ей навстречу?..

Он стоял в нерешительности, боясь, что разминется с Клавой. И вдруг увидел торчащий из кармана уголок конверта. Быстро оглянулся — тут ли Елизавета Петровна, вытащил конверт. Письмо было адресовано не на дом, а на завод. Почерк витиеватый, с росчерками, какие делают только бездельники! Конверт не распечатан. Наверно, сунула в карман, чтобы прочитать дома... и забыла? или не удалось уединиться?

Хотелось разорвать конверт и немедленно прочитать письмо. От кого оно — Григорий Петрович не сомневался. Да и видел он, недавно видел в турбинном на какой-то записке Гаршина эти нахальные росчерки...

Заставив себя засунуть нераспечатанный конверт обратно, Григорий Петрович закрыл окно, откуда тянуло пронизывающим холодом, присел на подоконник и грустно задумался. Значит, Гаршин не оставил ее в покое... Пишет. Не на дом, а на завод! А Клава даже не распечатала? И все-таки это ее волнует. А придет — и дома какая-то натянутость. Разладилось все...

Он вернулся мыслью к ссоре с Диденко, к ссоре, которую нельзя было допускать. Одно к одному. Или он и в самом деле растерял прежнюю уверенность и смелость?

Все в нем сопротивляется этому внутризаводскому планированию по обязательствам. Почему? Та самая «лазейка», что когда-то померещилась ему и была им же самим отвергнута? Да, спланировать — тут уж и вправду отступать нельзя. Потому Любимов и хотел — «без точных сроков, без шумихи». Но то Любимов. А я... разве я собираюсь отступать? Вздор!.. А Клавы все нет. Что можно делать на заводе до десяти часов?.. Вспомнит ли она про письмо, когда придет, и что сделает — прочтет при нем? унесет к себе? Спросить ее прямо: «Клава, тут у тебя забытое письмо, смотри-ка, от кого оно? Такой дурацкий почерк...» Скажет она, что от Гаршина?.. А может, она сейчас с Гаршиным?..

И вдруг он увидел Клаву. Увидел еще очень далеко, в конце улицы. Но что это с нею? Идет медленно-медленно, опустив голову, в такой задумчивости, что, кажется, и не видит, куда идет. И холода не чувствует, а ведь в одном костюмчике!

Он побежал навстречу Клаве, схватив ее пальто, прижав его так, чтобы не выпало проклятое письмо.

А Клава шла и как раз об этом письме и думала. Она не забыла о нем, она не хотела его читать. И не разорвала только потому, что, когда ей вручили его, кругом были люди. Значит, ему мало того, что он пытается звонить ей по телефону, теперь он решился еще и писать... «Вторично я вас не потеряю,— сказал он по телефону.— Я пойду напролом!» Она сказала: «Нет!» — и повесила трубку. И с того дня он или звонит, или подкарауливает ее около завода, а вот теперь еще и пишет. «Напролом»?.. В тот вечер, во время вальса, он сказал, что вся жизнь пошла кувырком оттого, что потерял ее. Мог быть лучше, умнее, настойчивей.

Добиться большего. «Теперь я понимаю, что жил эгоистом...» Так он говорил. А затем — напролом. То есть опять-таки — эгоистично, думая только о себе... Любит он, или просто задето самолюбие?.. Кажется, любит. И мне приятно, что так. Приятно, потому что после той оскорбительной истории все время будто мешало что-то. Теперь все зависит от меня. Я решаю. Свободно...

Немиров подбежал к ней, на ходу раскрывая пальто, чтобы сразу надеть на нее.

— Ой, Гриша.

Она так обрадовалась этому родному заботливому человеку, вдруг возникшему перед нею. Дала ему закутать себя, дала взять под руку. Другую руку сунула в карман, нащупала конверт. Поравнявшись с урной, спокойно вынула письмо, разорвала и бросила в урну обрывки.

— Это что за письмо? — шутливым тоном спросил Немиров, стараясь унять волнение.

— Ненужное,— сказала Клава. И, помолчав, вздохнула: — И устала же я...

— От поклонника?

Она покосилась лукаво:

— Разве лучше, Гриша, если на твою жену никто и смотреть не хочет?

И заговорила о другом.

Ужинать она не стала, только с наслаждением пила чай — крепкий, обжигающий рот. А лицо бледное, очень усталое.

— Все с Брянцевым воюете?

Она вскинула глаза, чуть улыбнулась:

— Это между прочим. Очень много работы сейчас. Гриша, как у вас решается вопрос о планировании краснознаменских турбин?

Этого еще не хватало!

— Больше тебе не о чем со мной говорить? — обиженно воскликнул он.— Я тебя жду весь вечер, я тебя вижу меньше, чем любая ваша уборщица, и, пожалуйста, единственная тема!

Он ждал, что Клава возразит, или пошутит, или скажет что-нибудь ласковое,— она умела одним простым словом обогреть душу. И ведь должна же Клава понимать, что он помнит об этом письме, что письмо волнует его!..

Клава, видимо, оскорбилась, отвела взгляд и сказала:

— Да нет, это я так, между прочим. Я и сама слишком устала.

Зевнула, ушла в спальню, прикрыла дверь. Он не посмел войти за нею, а когда вошел, она уже лежала в постели, свернувшись калачиком, закрыв глаза. Он постоял около и тихо отошел.

Разладилось...

Стараясь приободриться, он нарочно припомнил дневное заседание, листы ватмана с тщательно вычерченными фасадами будущих домов, которые он про себя назвал «немировскими»; неприглядный пустырь, где он мысленно уже возвел дома и сады,

за которые его должны будут поминать добрым словом; приподнятое, счастливое настроение, какое у него было там, на пустыре...

Настроение не возродилось, только показалось, что все это было очень давно.

13

Аня Карцева проснулась от ощущения неблагополучия. В комнате стоял рассветный полумрак. И тишина была такая, какая бывает только ранним утром в воскресенье,— ни хлопанья дверей, ни беготни торопящихся в школу ребят. Но как только она подумала об этом, тишину нарушил громкий тяжелый стон.

В халате, в туфлях на босу ногу она выскочила в коридор.

Дверь в комнату Любимовых была открыта. Аня решила, что у Георгия Семеновича опять сердечный припадок, но в это время услыхала взволнованный голос Гусакова, вызывающего «скорую помощь».

— Потише, ради бога,— сонным голосом просила его Алла Глебовна.— Георгий Семенович спит, потише!

— Евдокия помирает,— сказал Иван Иванович, выйдя в коридор и наткнувшись на Аню.

У Степановых горел свет. Дети сидели в постелях, испуганно глядя на мать. Евдокия Павловна металась по кровати и время от времени надрывно стонала. Худенькая фигурка в нижней рубахе, заправленной в брюки, стояла на коленях возле кровати.

— Мамочка... ну, мамочка... сейчас доктор приедет... ну что ты?.. Мамочка!..

Аня узнала Кешку.

— Что с вами, Евдокия Павловна?

— Ой, помираю, Анна Михайловна, золотце, помираю. Детей не оставьте! Ведь одних покидаю... Ох, мочи нет!

Кешка стиснул ее влажную руку.

— Ты поправишься, мама. И все будет в порядке, слышишь?

Мать устало прикрыла глаза, прошептала:

— Если бы я могла на тебя надеяться, Кеша!

— Можешь, мама,— твердо сказал Кешка и заплакал.

Приехала «скорая помощь». Евдокию Павловну положили на носилки. Кешка провожал ее до машины, как был, босиком и в одной рубахе.

Аня успокоила и уложила младших детей.

Вернулся Кешка, залез под одеяло и сказал Ане:

— Вы идите, Анна Михайловна. Спите. Спасибо вам.

И натянул одеяло на голову.

У Ани закоченели ноги, и она долго не могла согреться, а потом крепко уснула и проснулась поздно — солнце уже стояло высоко, квартира была полна звуков дневной жизни.

Когда она зашла к Степановым, все трое мальчиков были умыты, одеты и сидели вокруг дымящегося котелка картошки.

— Куда кожуру бросаешь? — покрикнвал иа братьев Кешка.— Тарелки иету? Ты в солоику пальцами ие лазь, возьми сколько иужио и макай.

Без стука вошел Иван Иваиович, одобрительио заглянул в котелок, ио почему-то рассердился, увндав Карцеву.

— Ты проверь, Кеша, уроки у иих готовы или нет,— приказал ои и обратился к Аие: — У меия до вас дело есть, Аииа Михайловиа. Пойдем?

В ее комиате ои ворчливо сказал:

— Уважаю, Анна Михайловиа, жеиское доброе сердце и все такое... Но не мешайтесь к иим. Прошу. Не мешайтесь.

— То есть как? Иваи Иваиович! Евдокня Павловиа просила, дети одии. Как это ие мешаться?

Ей показалось, что ои пьяи, и Иваи Иваиович, видимо, поиял это:

— Думаешь, старый пьяичуга ие в своем уме? Трезв я как стеклышко, Аииа Михайловиа. Хочешь, дыхну? А только смерть ие люблю всякую фнлаитропию. Вот и Алла Глебовиа — фыркала иа Евдокию, фыркала, а тут со вчерашиим супом разбежалась! Я ее завернул обратио — обойдутся без ее супа, свой иаварят. Ты молодая, а я помию, былн такие дамские общества призрения, через «и» писались, а все равио — презрение!

— Тут это совершеиио нн при чем,— резко возразила Аия.— Есть товарищеская помощь, естествеиная и иеобходимая. Евдокия Павловиа — иаша работиица, соседка, Кешка — тоже иаш пареиь. Да и, в коице коицов, просто по-человечески...

— А вот я по-человечески и говорю: оставь! — совсем уже сердито перебил Иваи Иваиович.— Ты, дорогая, историю с автокаром знаешь? Как этот «иаш пареиь» жеищииу подшиб? Любнмов уж и приказ составил об увольиеиии, Евдокия цельный час плакала перед иим и выпрашивала последиее снисхождение. Знаешь?

— Зиаю.

— А если зиаешь, так пойми: может быть, сейчас Кешке как раз и выпала возможиость человеком стать. Слыхала, как ои с матерью прощался? То-то! Вот и дай ему выкрутнться самому, да о братншках позаботиться, да обед сварить, да деньги рассчитать, чтоб хватило, да поплакать втихомолку, если иевмоготу станет. Дай!

— А если им есть будет иечего?

— Не бойсь. Не помрут. Хулигаиить ои во как умел. Сумеет и выход иайти. Надо будет — и помогут им. Аваис можио схлопотать — до получки, Аина Михайловна, до получки! И пусть ои увидит, что зиачит маленькая получка вместо большой! А я его еще и отругаю, юсом ткну: гляди, лодырь, до чего ты себя довел!

— Хорошо,— сказала Аия.— Но если ои малышей заморит?

— Прнсмотрю, Аииа Мнхайловна, присмотрю. И вам доложу.

А вы, поскольку учениками занимаетесь, в цехе его к делу пристройте. Это лучшая помощь. А что трудновато ребятишкам придется — наука будет. Не помрут, а матерью дорожить научатся. Наука жизни, Анна Михайловна, штука весьма убедительная. Убедительная, зубодробительная, а вообще — пользительная. Что? Неверно?

В этот день Аня была приглашена к профессору на пельмени. Она вышла пораньше, чтобы пройтись пешком, и на лестнице повстречала Кешку. Кешка нес сетку с картошкой и свеклой. Он печально улыбнулся Ане, пропустил ее мимо, а потом, когда она спустилась этажом ниже, окликнул и сбежал к ней.

— Анна Михайловна... я...

— Ну что? — строго спросила она.

— Видите, как получилось,— проговорил Кешка, пригнув голову и закручивая на пальце сетку.— Может, мне и нет теперь доверия. Но я вам обещаю... Поставьте меня на станок!

Аня обрадовалась про себя, но так же строго сказала:

— Это будет очень трудно сделать, Кеша. После истории с автокаром.

— А вы попросите. Вам поверят. На четвертом участке остаться...

— Попробую,— сказала Аня.— Но если снова что-нибудь неладное выйдет? Последнее снисхождение тебе сделали, Степанов, не ради тебя — ради матери. Кроме самого себя тебе рассчитывать не на кого.

— А я и не рассчитываю! — заносчиво отрезал Кешка.

Аня шла пешком по многолюдным улицам и бульварам, заполненным детьми всех возрастов, и думала о том, как и к кому подступиться завтра, чтобы исполнить просьбу Кешки. Мастера и бригадиры даже слышать о нем не хотят. Назаров согласился было, но после истории с автокаром, когда Кешка увлек за собою двух его учеников, категорически заявил: «Не возьму! Он мне и других перепортит».

Она поверила Кешке — еще раз поверила. Но поверят ли другие?

Она вышла к своему любимому месту в городе — к Марсову полю. Как здесь чувствовалась весна! С утра до вечера ничем не затемняемые кусты и деревья щедро зеленели тем ярким и нежным цветом, какой бывает только в первые недели весны. От чернозема, кучками сваленного на клумбах, сильно и остро пахло перегноем. Садовники перекапывали клумбы и высаживали в пахучую, мокрую землю еще не разросшиеся кустики ранних цветов.

У гранитной ограды братской могилы жертв революции она остановилась и прочитала одну за другою все надписи. Она читала их еще первоклассницей, по складам, с изумлением вдумываясь в смысл высеченных в граните слов: «К сонму великих, ушедших от жизни во имя жизни расцвета»... «Вы войну повели и с честию пали за то, чтоб богатство, власть и познанье стали бы

жребием общим»... Она не все поняла тогда, но поняла, что это прекрасно. И сколько раз она ни бывала здесь потом, она каждый раз перечитывала все восемь надписей, и каждый раз они словно омывали душу.

Она задержалась около надписи, всегда особенно волновавшей ее: «Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно».

Когда-то здесь, у этой гранитной глыбы, она сказала двум закадычным подругам: «Девочки, так и надо жить, правда?» Тогда ей мерещились подвиги — кто знает какие,— подвиги воли, мужества, отваги. И вот прошла всю войну, а подвигов не совершила. Делала свое дело, не давала воли страху, умела терпеть — и все. Зависть к подвигу? Нет, не зависть... а только жить бы так, чтобы всегда останавливаться здесь без стыда!

Она поднялась на Кировский мост и поразилась тому, что опять все кругом кажется иным, не таким, как запомнилось,— а уж она ли не знала здесь каждый изгиб реки, каждую крышу на дальнем берегу!

День был яркий и тихий. Солнце укрылось за облачной дымкой, и его скрытый, но сильный свет равномерно и отчетливо освещал и зеленовато-серые камни Петропавловских бастионов, и матовый шпиль, и две ростральные колонны, выступающие на фоне строгого здания Военно-Морского музея и старинных домов Васильевского острова; в этом обнажающем свете, не дающем ни блеска, ни теней, особенно легки и четки казались арки мостов, переброшенных через Неву, и ее разлетающиеся голубые рукава, и видны были маленькие волны, омывающие серый корпус знаменитой «Авроры» возле Нахимовского училища, и далеко-далеко, вдоль всей Выборгской стороны — десятки заводских не дымящих сегодня труб, как бы впечатанных в ярко-белое небо.

Аня прошла памятное место у решетки и тихонько рассмеялась — вспомнился ледоход, ветреная ночь, объяснение с Гаршиным. Впрочем, она тут же и поморщилась оттого, что может встретить его сегодня у профессора. Вчера Любимов спросил ее при Гаршине, идет ли она к Михаилу Петровичу, а Гаршин сказал:

— Зайду и я, пожалуй. Давно не был у старика, он уж и то обижается...

Только бы он не вздумал действительно прийти!

Она завернула за угол, уже торопясь, так как было без пяти четыре, и прямо налетела на Воловика:

— Откуда вы, Александр Васильевич?

— Оттуда, куда и вы спешите,— сказал Воловик; видно было, что он сегодня в счастливом, возбужденном настроении.— Меня тоже на пельмени оставляли, да не могу, Ася ждет. Ох и старик! — тотчас начал он рассказывать.— Видите, какой пакетище уношу? Три книжки да три журнала, везде закладки сунул и ка-

рандашом отметил, что прочесть. А если вы, говорит, молодец, как я предполагаю, то вы и многое другое там прочитаете. И чтоб не откладывать! Даю вам неделю сроку!

Так как Аня не успела прочитать новые статьи, рекомендованные ей недавно Михаилом Петровичем, она не без робости позвонила у солидной, обитой клеенкой двери. Дверь открыл сам Михаил Петрович.

— Раздевайтесь, проходите ко мне и посмотрите, что я вам отобрал для вашего кабинета,— оживленно говорил он.— А я — пельмени лепить.

— Вы?!

— Обязательно! Люблю, понимаю в них толк и одним женщинам не доверяю.

— А можно мне помочь?

— Ни в коем случае. Идите и скучайте в обществе знакомого молодого человека.

На вешалке висело пальто с насаженной на ставший дыбом воротник серой кепкой. На ком она их видела? Неужели Гаршин так-таки и пришел?

Профессор провел ее в кабинет. Она с порога огляделась и густо покраснела. На краешке дивана, бочком, подобрав длинные ноги и втянув голову в плечи, в позе неудобной и несвойственной ему, сидел Алексей Полозов и смущенно улыбался ей навстречу.

— Ну и прекрасно,— сказал профессор,— Алексей Алексеевич мне уже сообщил, что вы оба члены партбюро, так что у вас найдутся общие темы.

И он пошел на кухню, где жена и домашняя работница в четыре руки лепили пельмени. Он не стал помогать им, а только с удовольствием пересчитал пельмени.

— По пятьдесят штук на человеко-единицу,— сказал он.— По-сибирски — маловато, по гостям — хватит за глаза. Как ты думаешь, Поля? — обратился он к жене серьезным тоном, хотя глаза его смеялись.— Зову в гости двух инженеров. Первый приходит, узнает от меня, что будет второй, сообщает мне, что они вместе в партбюро, и при этом густо краснеет! А потом приходит второй инженер, видит первого и тоже краснеет. Что это значит?

— Они, должно быть, поссорились в своем партбюро,— с улыбкой ответила Полина Степановна и стряхнула с пальцев мучную пыль.— Миша, подверни мне рукава, помоюсь и — к столу!

В профессорском кабинете было тихо. Алексей по-прежнему сидел в неудобной и несвойственной ему позе на краешке дивана и, по-видимому, совсем не собирался заговорить и не испытывал от молчания ни малейшей неловкости. Он разглядывал Аню, все еще стоявшую у двери. На ней было праздничное легкое платье коричнево-золотистого цвета с более светлыми золотистыми цветами и листьями, оно падало большими трубчатыми складками,

чуть колеблясь у иог, просвечивающих сквозь чулки. Алексей очеиь виимательио разглядел все это, хотя поздиее, когда остался одии, не мог вспомиить, как оиа была одета, помиил только впечатлеиие праздинчиости, легкости, какое оиа произвела на него.

Аия рассердилась на себя за то, что покрасиела, и постаралась приинять иезависимо-иедоступиый вид, ио из этого иичего ие получилось. Оиа поияла, почему ои молчит, сидя в такой иа редкость неудобиой позе, и поияла скрытую иасмешку профессора — как же ои был иеуклюж, милый человек, и как хорошо, что ои смутился!

Молчание затянулось, и, чем дольше оно длилось, тем труднее было заговорить прежиим, товарищеским языком. И с точки зреиия вчерашних обычных отиошеиий иикак иельзя было объяснить, почему оиа ие подошла к иему и ие протянула ему руки, как приинято между товарищами, и почему ои ие встал ей иавстречу, как того требует вежливость.

Ои подиялся иаконец, с удовольствием распрямив иоги, и остаиовился перед иею, склоиив иабок голову и разглядывая ее быстро меияющееся лицо.

— Вы сегодня такая, что я даже ие зиаю, как с вами обращаться,— сказал он со своей обычиой, чуть насмешливой интонацией.

— Как с членом партбюро,— быстро ответила Аия и засмеялась.— Я ие зиала, что вы будете здесь.

— Я и сам не знал. Мы зашли с Воловиком по поводу механизации сборки,— вы зиаете,— а Михаил Петрович оставил — и иикаких! Ну, я особеиио и не сопротивлялся.

— Отчего? — с веселым вызовом спросила Аия.

Ои ие поддержал этого тоиа:

— Из-за того, что мне с ним очеиь иитересио. Какой зиающий и живой человек! И сколько у иего кииг, которых я даже ие видал!

Оии оба занялись рассматриваиием кииг, иачав с разиых коицов устаиовлеиной киижиыми полками стены и постепеино приближаясь друг к другу.

— Как вы догадались, что из-за вас? — вдруг спросил Алексей, виимательио разглядывая корешки.

Оиа ие знала, что ответить, и уткиулась в кингу.

Расстояиие между иими медлеиио сокращалось. Оставалось ие больше метра, когда Алексей решительио шагнул к ней и потянул к себе ее руки.

— Хватит вам в книги смотреть,— сказал ои.— Скажите мие лучше что-нибудь хорошее.

— О чем?

— Обо мне. Или о себе. Или о иас.

— Я иахожу, что вы самый славный из члеиов партбюро.

— Вы скупая. Если бы вы меия спросили, я бы взял другие масштабы.

Он держал ее руку в своей и старательно сгибал и разгибал ее

пальцы, так старательно, как будто ему очень важно было узнать, хорошо ли они гнутся. Оба одновременно отскочили друг от друга и уткнули носы в книжные полки, услыхав за дверью громкий голос профессора:

— Гости-то мои поди соскучились. Сейчас я их приведу!

— Какое у вас тут богатство собрано,— не своим голосом сказал Алексей и наугад схватил одну из книг. Книга оказалась интересным и редким изданием, и он продолжал уже спокойнее: — Я ее как-то нашел у букиниста, но она дорого стоила и у меня не хватило денег. А когда я прибежал снова, ее уже, конечно, продали.

— Настоящие книжники покупают редкие книги случайно и дешево,— с живостью откликнулся профессор.— Надо знать, где и что искать.

И он начал показывать книги, которыми гордился, сообщая о каждой, как нашел ее и за сколько купил. Чтобы похвастаться интересным изданием, он то проворно вскакивал на особую скамеечку, которую ловко передвигал ногой вдоль полок, то приседал на корточки и, начав рассказывать, забывал подняться.

Стоять над ним было неловко, и Аня попросту опускалась на пол рядом с ним и через его плечо разглядывала книги. Трубчатые складки ее платья разлетались при этом золотистым шатром, из-под которого выглядывали острые каблучки. Алексей, стоя рядом, смотрел только на Аню, и голос профессора будто проваливался куда-то, а что он рассказывал, Алексей и не слышал.

Маленькая седая женщина появилась в дверях и со вздохом сказала:

— Ну, ясно. На полу! — и протянула руку Алексею.— Здравствуйте. Здороваюсь с вами первым, потому что вы еще не на четвереньках и, следовательно, способны заметить мое присутствие. Я — Полина Степановна, жена этого библиофила. А вы — инженер Полозов, бывший ученик Михаила Петровича?

Она вошла в такую минуту, когда все будто провалилось куда-то, и Алексей с трудом справился с собой, чтобы поздороваться.

— Почему бывший? — воскликнул Михаил Петрович, вскакивая и помогая Ане подняться.— Мои ученики остаются моими учениками до тех пор, пока не начнут сами меня учить. А этот еще не начал.

И он подхватил под руки Аню и Полозова:

— В столовую, друзья, в столовую, пока не переварились пельмени!

За обедом Аня с удовольствием заметила, что Алексей, сидевший вначале смущенно и мешковато, постепенно освоился, непринужденно участвовал в разговоре и даже вновь обрел свою чуть насмешливую интонацию, которая нравилась Ане. Занятый своими мыслями, он надолго забывал об Ане, и это тоже нравилось ей, потому что он был именно таким, и никаким другим она не хотела его видеть.

После пельменей на столе появнлся электрнческнй кофейннк. Полниа Степановна тут же намолола кофе и заварнла его. По всем ее двнжеиням угадывалось, что приготовленне кофе в этом доме является некнм торжественным ритуалом. Мнханл Петровнч винмательно следнл за бурлеиием пара под стекляниым колпачком и выдернул внлку нз штепселя без всякого сигнала от хозяйки, а хозяйка прндвннула к кофейннку чашки н, выжндая, чтобы кнпенне улеглось, первою нарушила установившееся за столом молчанне, обратясь к Алексею:

— Мнханл Петровнч говорил мне, что после нннститута предлагал вам аспирантуру, а вы отказалнсь. Вы теперь не жалеете?

— Очень редко,— подумав, честно прнзнался Полозов.— Бывает, авральщнна захлестнет, так что света ие взвидишь,— ну и вздохнешь по возможностн спокойно учнться, чнтать, двнгаться вперед. Но, по-видимому, я по своим даиным больше практик, производственннк. Так что не жалею.

Аня смотрела на него во все глаза. Сколько раз бывал в цехе профессор, сколько раз говорнли о нем прн Полозове,— ннкогда Алексей не рассказывал, что учнлся у него н даже был приглашен в аспираитуру.

— Разве вы не считаете практику на заводе полезной н необходнмой? — спроснла она у профессора.— Решенне Гаршнна ведь вы одобрилн?

Профессор пожал плечами:

— Ученый обязан знать практику, но не всякий инженер обязан стать ученым. Витя Гаршнн — превосходный парень, мы с Полнной Степановной к нему неравнодушиы,— сказал он с улыбкой.— Но я бы инкогда не прниял его в аспнранты, н, когда он после войны явнлся восстанавлнваться в аспнраитуру, я ему так напрямнк н отрезал: «Зачем тратить время? Не выйдет нз вас ученого, данные не те, охота не та. Наука — это иепрерывное уснлне. Способиы вы на непрерывное уснлне? Нет. А еслн только за научной степенью гнаться да за каидидатской ставкой — ие стонт. Да и заслужнть нх тоже нелегко».

Аня метнула смешливый взгляд на Полозова, но Алексей спокойно прихлебывал горячнй кофе, то лн задумавшнсь о чем-то, то ли просто не нитересуясь разговором.

— Но ведь вы сами хвалилн его талантлнвость, Мнхаил Петровнч?

— Я н сейчас не отпнраюсь. Талантлив. Но результат в любом деле, Анна Мнхайловиа, дает сочетаине таланта с трудоспособностью. И с упориым — даже, порою, непрнятным, неснмпатичным, но упорным характером.

Он посмотрел на жену, прнгорюинвшуюся над чашкой кофе, н заключнл:

— Впрочем, мы Внтеньку любнм. Будем подталкнвать н, как говорится, в переплет возьмем, еслн понадобнтся,— верно, Полнушка?

Полнна Степановиа уснленно кнвала седой головой. Оиа всем сердцем прнвязалась к Внте Гаршину, когда-то напнсавшему нм о гнбели сына такие сердечные и нужные слова. Она цеплялась за этого едннственного свндетеля последннх дней иезнакомой им фронтовой жнзни Васн и ценнла возможность хоть нзредка поговорнть о сыне с человеком, который у этой проклятой пограиничной речонкн Шешупы принял его последние слова. Она знала, что н муж дорожит Витей Гаршиным по той же причиие.

— Он ведь славный,— робко сказала Полина Степановиа.

— Конечно, славный,— подхватил профессор, поднялся нз-за стола и поцеловал жену в седые волосы.— Спасибо, хозяюшка. Мы пойдем в кабинет, поболтаем.

Ане очень хотелось сказать хозяйке на прощаиье что-нибудь хорошее, но она ничего не могла придумать и обрадовалась, что Алексей говорит как раз то, что нужно, и что он сегодия добр даже к Гаршину.

— Это замечательно, что вы ие отмахнваетесь запросто от человека,— сказал Алексей.— Мы часто и поиимаем, да ие умеем, вот н разбрасываемся людьми.

— Но раз вы поияли — значит, научнтесь,— с улыбкой сказала Полнна Степановна.

Аня н Алексей столкнулнсь в дверях кабннета, пока профессор пробирался к выключателю, чтобы зажечь свет. Их плечн на миниуту сопрнкосиулись, и, прежде чем отодвинуться, Аия всем существом ощутила — он рядом.

14

Оттого, что она и он должны были вместе пойти на концерт, в ходе ее жнзнн ннчего не нзмеинлось. Утром оиа с такою же торопливостью собиралась на завод, в труде н заботах проходил день, набегали мелкне, будннчные неприятностн — то одна, то другая. Но отблеск празднnчностн ложнлся на все, что она делала.

С Полозовым оиа виделась ежедиевио, часто по миогу раз в день, и в то же время как бы не виделась совсем, потому что этот прнвычный, постояино встречающийся ей Полозов был мало похож на того Алексея, который иеуклюже сидел иа краешке дивана н молча смотрел на нее. Э т о т Полозов спорил с иею иа бюро, проверял, как идут заиятия по техиическому миинмуму, даже сердился на нее, когда она повеснла плакат так, что он мешал работе кранов. Т о т Алексей вел ее домой, осторожно выбнрая дорогу, чтобы ей не было больно шагать по булыжннкам, н у афишн Филармоннн робко предложнл ей пойтн на концерт, а когда она сказала, что бнлеты, наверно, распроданы, почти сердито заявнл, что это не ее забота. И тот Алексей явно не хотел вмешнваться в дела другого, потому что в цехе нн разу не заговорнл

с нею о концерте, а билеты появились у нее на столе в конверте без какой-нибудь записки — два билета на хоры.

Она понятия не имела о том, знает ли он ее адрес и где рассчитывает встретиться с нею перед концертом, но верила, что все сложится как нельзя лучше, так же как все ее дела в эти дни.

Самым трудным делом было устройство Кешки Степанова. Она начала с бригады Пакулина.

Николай замахал руками:

— Что вы, что вы, Анна Михайловна! Мы ж на общегородское первенство вытягиваем!

— Степанова только в наказание навязать можно,— усмехнулся Федя,— а мы, кажется, не заслужили.

Аня вдруг вспомнила рассказ Ефима Кузьмича: года четыре назад ученик Федька Слюсарев был застигнут на мостовом кране, под самой крышей, куда он полез ловить голубей, залетавших в разбитые окна, и он плакал, прижимая к себе голубя, засунутого под рубаху, и ни за что не хотел расстаться с им, так что Ефим Кузьмич сжалился и позволил ему пристроить голубя в своей конторке до конца смены.

— Я не понимаю, ребята, ведь вы сами были когда-то не лучше Кешки,— возмущенно сказала Аня.— Разве можно так отмахиваться от парня?

— Ну, знаете, мы свое сделали,— недовольно буркнул Николай и отвернулся.

Аня ушла от него с чувством горечи — вот тебе и лучшая молодежная бригада!

С помощью Гусакова Аня начала атаку на Ефима Кузьмича, и старик, кряхтя, сдался. Утром в день концерта она сама провела Кешку под кумачовым плакатом: «Храните честь стахановского участка! Давайте продукцию только отличного качества!» Кумач отбросил на побледневшие щеки Кешки розовый отсвет.

— Одумался? — сурово спросил Ефим Кузьмич.— Хорошо. Поставлю тебя на обдирку. Оправдаешь себя — в бригаду включу. В лучшую. Понял? А теперь пойдем.

Кто-то бросил им вслед:

— Опять нам Кешку навязали!

Работница, которую недавно подшибло автокаром, всплеснула руками:

— Что ты скажешь! Снова тут как тут!

Кешка втянул голову в плечи и молчал, хотя ему очень хотелось огрызнуться.

В конце дня Аня как бы невзначай прошла по четвертому участку. Среди станков, украшенных красными стахановскими флажками, станок Кешки выделялся тем, что на нем не было флажка, и тем, что он не работал. Возле Кешки стоял Ефим Кузьмич, насупив брови. У Ани сердце екнуло при мысли, что Кешка сломал станок. Но она тут же увидела, что станок не сломан, а Кешка, под руководством мастера, чистит его и приводит в тот

щегольской вид, который, по словам Ефима Кузьмича, «сам не допустит плохой работы».

Аня издали вгляделась в лицо Кешки,— оно выражало старание и упрямую решимость со всем справиться.

Это последнее впечатление дополняло ее радость, когда она спешила домой. Она ждала, что вот-вот придет Алексей, но вместо него появилась Алла Глебовна:

— Вас из цеха разыскивают. Может, сказать, что вас нет дома?

— Нет, нет, что вы! — почти закричала Аня.

В трубке прозвучал знакомый голос:

— Это я. И не из цеха, а из автомата возле вашего дома. Спускайтесь, если готовы, я вас жду внизу.

Аня ответила как можно более деловито:

— Хорошо. Сейчас приду.

— В кои-то веки выбрались домой пораньше, и то помешали,— посочувствовала Алла Глебовна.— Надеюсь, ничего неприятного?

— Кажется, нет,— сказала Аня и уже на лестнице рассмеялась.

Алексей стоял у парадной.

— Отчего вы не поднялись ко мне?

— Не хотел встретиться с вами на глазах у вашей Глебовны, Игоревны или как ее там. Я так и представлял себе, что вы выбежите вот такая. Ну, здравствуйте.

А он был совсем не такой, каким представляла его себе Аня, сбегая по лестнице. Не было ни застенчивой неуклюжести, которая показалась ей такой милой в прошлое воскресенье, ни обычной суховатой сдержанности, под которой чувствовался привычно обуздываемый нетерпеливый характер. Алексей будто раскрылся ей навстречу. Так бывает, когда после долгой зимы распахнешь окно,— все вокруг сразу станет неузнаваемым, полным света и воздуха, и руки раздвигают как можно шире оконные створки, чтобы впустить побольше солнца и ветра. В его простом обращении к ней маленькое и забавное «ну» звучало как вздох облегчения, как слово «дождался».

Казалось, он сейчас же, немедленно скажет ей то, на что еще трудно ответить. И Аня, скрывая смущение, торопливо заговорила о самой простой и объяснимой радости этого дня — своей удаче с Кешкой.

Он выслушал и сказал:

— Ну и бог с ним.

Через минуту, идя рядом с нею к автобусу, он попросил:

— Лучше уж расскажите мне что-нибудь об этих двух симфониях.

Рассказать словами музыку? Объяснить ее? Иногда в программе давалось краткое изложение темы и содержания какой-либо симфонии, но Аня ловила себя на том, что изложение мешает

ей. Она знала, что в Четвертой снмфонии Чайковского проходнт мелодия русской песнн «Во поле березоиька стояла», что в Седьмой Шостаковнча повторяющаяся тупая, деревянная мелодия выражает поступь фашнстскнх армнй, что тема Девятой Бетховена — «через страдаине к радостн». Но оиа знала н то, что важнее просто хорошо слушать — музыка все скажет сама. Слушая, каждый воспринимает ее по-своему и даже одну и ту же вещь — каждый раз по-иовому. Но ведь н прнроду каждый виднт н чувствует по-нному, н в разиое время шум моря илн гудеине ветра пробуждают то тнхое раздумье, то порыв к новому, то грусть, то веселый подъем духа. Знатокн музыкн следят, наверное, за развитием мелоднческих тем, за мастерством ннструментовкн, за тем, как разиые голоса, сочетаясь, создают сложное целое, что, кажется, иазывается коитрапунктом. Аня прннадлежала к чнслу людей, принимающих и прнроду и музыку без раздумнй, одним сердцем.

— Объяснить я не умею, да н ие нужио,— сказала она.— Постарайтесь забыть все, закройте глаза н слушайте. Музыка вас сама настронт и сама вернет к какнм-то вашнм мыслям н чувствам, что-то вам расскажет, в чем-то убеднт. Вот это н будет ее содержание.

— Это, кажется, ндеалистическое, даже субъектнвно-ндеалнстнческое толковаине музыкн,— шутливо определил Алексей.— Но я попробую. А если оиа мне и вам скажет разиые вещи?

— А вдруг она скажет обонм то же самое?

— Так как мы не ндеалисты, Аня, она обязана сказать обоим то же самое. И я этого очень хочу... А вы?

— Смотря что,— уклончиво ответнла она, но глаза ее сказали: «И я».

После этого полушутлнвого, важного для обонх разговора оин стояли рядышком в автобусе, и обоим ие хотелось кончать молчаливое путешествне. Но в узкой раздевалке у входа иа хоры Аию захватило иастроение взволнованиого ожидання, какое всегда чувствуется в Филармонни перед особенно хорошнм коицертом.

— Мое любнмое место! — воскликнула Аня: нх места оказались между пятой н четвертой колонной. Она покоснлась на своего спутника н с удивленнем поняла, что ей совершенно неважно, полюбнт Алексей музыку нли не полюбит, поймет илн не поймет. Еслн это не его область, пусть не поймет н не почувствует, пусть думает во время коицерта не о музыке, а о ней, об Ане. И пусть остаиется самнм собой. Какой он есть, такнм пусть н будет!

А Полозов с любопытством оглядывал зал — весь белый, окруженный сияющнмн колоннами, за которымн по шнрокнм проходам прогулнваются сотин людей. Восемь огромных люстр заливали зал яркнм светом, свет дробился в хрустальных подвесках, вспыхнвал над сценой в серебристых трубках органа.

Сверкающая белизна благородно сочеталась с красным бархатом кресел и диванов. Все люди казались нарядными и красивыми.

Алексей украдкой взглянул на Аню — оживление очень шло ей, яркий свет люстр отражался в ее глазах. Но близость, возникшая в начале их встречи, исчезла. Здесь у нее свой мир, непонятный ему. Здесь она что-то вспоминает, переживает, в чем-то убеждается. С кем и когда она тут бывала? С кем связана для нее музыка, которую надо слушать, закрыв глаза и все отбросив? Все — значит и его, Алексея, тоже. Почему он самонадеянно решил, что вечер у профессора запомнился ей так же, как ему? Всю неделю она ни разу не заговорила с ним, не сделала ни одной попытки повидаться с ним вне завода. Сегодня она выбежала такая праздничная,— но почему ей не быть праздничной в час отдыха, перед хорошим концертом? И как она мигом перевела разговор на Кешку, когда он был готов сказать, что всю неделю ждал встречи!

Эти мысли порождали в душе сумятицу, а он не любил сумятицы и, как всегда, решительно отстранил бесплодные сомнения. Она тут, рядом. И впереди — два отделения концерта, один антракт и путь домой.

Оркестранты рассаживались по местам. Алексей с интересом наблюдал, как они готовились к своей работе — поправляли пюпитры, протирали смычки, пристраивали на плечо кусочки сукна там, где ложится скрипка, тихо пробовали инструменты. Он не знал названий некоторых инструментов и спросил Аню. Аня улыбнулась ему, ответила и сразу оборвала разговор — из боковой двери через оркестр шагал к своему пульту дирижер.

Дирижер был очень высок, худощав, с узким нервным лицом и светлыми волосами, откинутыми назад. Длинные руки он тоже откинул назад, дирижерская палочка казалась продолжением его пальцев. Он взошел на помост, сдержанно поклонился в ответ на рукоплескания и повернулся лицом к оркестру, легким движением вызвав мгновенную, почти трепетную тишину.

В первом отделении исполнялась Пятая симфония Шостаковича. Алексей слышал, что Шостакович труден для новичка, но тем интереснее было проследить за тем, как вступят в строй инструменты и голоса их, такие разные, сольются в единое сложное целое. Как бы ни была отлична работа музыкантов от той работы, которую знал и понимал Алексей, музыканты готовились к большой, коллективной, хорошо слаженной работе, и Алексею хотелось понять ее.

Он вздрогнул от первых звуков, хотя и ждал начала. Они возникли как зов, с большой силой обращенный прямо к нему. Зов повторился. И сразу за этим зовами полились мягкие певучие звуки, перебиваемые почти скрежещущими всхлипами. Он забыл совет Ани — закрыть глаза и слушать, он с увлечением следил за тем, как по мановению длинных пальцев дирижера звуки и соче-

тания звуков рождались, нарастали, обрывались, возникали вновь, сцеплялись и распадались, сменяясь новыми. В этом сложном многоголосии он улавливал смятенный, противоречивый, но крепко организованный строй. Ему слышался как бы спор, решающий что-то самое важное. Глухо, на басах, на чем-то настаивали струнные, и сдавленно, тоже на басах, возражал рояль. Но тут полным голосом вмешались все скрипки, виолончели и контрабасы, а за ними и другие инструменты, их утверждающий подъемный хор напомнил Алексею марш. Казалось, этим маршем спор уже решен, но опять возникла нежная и неторопливая мелодия — раздумье, прерываемое легкими восклицаниями, которые звонко падали, подобно каплям. Капли напомнили о чем-то, а скрипки пропели в ответ свое и затихли, и в тишину опять упали чистые-чистые звуки, которые не то спрашивали, не то удивленно подтверждали, что бывает в жизни и так...

В коротком перерыве между частями Алексей перевел дыхание и на секунду сжал Анину руку в запястье — он был благодарен ей за то, что она подтолкнула его к этому захватывающему и новому восприятию. Он сам не знал, нравится ему симфония или не нравится, понимает он ее или нет,— настолько испытанное им было ново и настолько оно было глубже того, что называют удовольствием.

А звуки уже снова повели сложный разговор. Чем больше вслушивался Алексей, тем полнее его захватывало многоголосое развитие музыки, тем увлеченнее он следил за тем, как отдельные инструменты и группы инструментов будто переговариваются на своем выразительном языке и как организующая мысль ведет эти голоса, объединяет их мелодией и подводит к большому решению. Да, ему было ясно — спор, мысль, близость решения.

Понимают ли это другие? Не отрываясь от движения музыки, он выхватывал из рядов внимательных слушателей то одно лицо, то другое. Седая женщина вся вытянулась вперед... юноша с нотами на коленях — он смотрит в ноты, и рука его непрерывно двигается, повторяя движения дирижера... девушка сидит, откинувшись назад и закрыв глаза, будто спит, а губы ее шевелятся.

В последней части Алексей на какую-то минуту уловил картину — ликование огромной, пестрой толпы. В ликование врывались резкие, предупреждающие звуки. Но картина только мелькнула, снова раздались проникновенные голоса, под сурдинку, почти шепотом что-то говорившие, и вдруг поднялся один ясный, полный уверенности голос.

— Решение! — пригнувшись к Ане, шепнул Алексей.

— Что?

Могло ли быть, что она воспринимала как-то по-иному, не слышала спора об очень важном, не слышала этого убежденного голоса?

— Ну, вот этот голос...

Она пристально посмотрела на него и положила легкую ладонь на его стиснутые в кулак пальцы. Так они и прослушали нарастающую бурю финала, бурю торжествующую и грозную, с ударами медных тарелок, с тяжким грохотом барабана и мощными аккордами рояля на фоне захлебнувшихся одной нотой скрипок.

Конец. Ему не хотелось говорить и очень хотелось курить.

— Вы пойдете со мной, Аня?

Они спустились по лестнице. Он закурил и продолжал думать о чем-то своем. Стараясь понять его настроение, она не мешала ему, хотя было слегка обидно сознавать, что он совсем забыл о ней.

— Если у тебя все ясно в душе,— неожиданно заговорил он,— то музыка, наверно, все взбаламутит, разворошит, а потом опять приведет — или не приведет — к ясности.— И добавил со своей обычной насмешливостью: — Хорошая гимнастика для чувств.

— Никогда не воспринимала музыку с такой точки зрения.

Он не настаивал.

— Может, это потому, что я новичок.

Аня стояла у стены, задумчиво глядя перед собою, и лицо у нее было точно такое, каким он его впервые по-настоящему увидел в один тяжелый для него вечер. Если бы он мог, он сейчас обнял бы Аню и подержал ее так — близко, очень нежно, ничего не говоря. Стоять с нею на людях было почти невыносимо, и он спросил, нельзя ли выйти на улицу.

Они вышли и глотнули свежего воздуха, но прогуляться не решились, чтобы не опоздать на Пятую Чайковского. Ради этой симфонии Алексей и пошел на концерт, так как любил оперы Чайковского; но сейчас его почти пугало ожидавшее его новое напряжение чувств. Охотнее всего он пошел бы бродить по ночному городу. Но как лишить Аню долгожданного удовольствия? И вдруг она скажет: идите! — а сама останется? Расставаться с нею он совсем не хотел. Он сейчас обожал ее за то, что она не тяготится молчанием и не задала ему ни одного стандартного вопроса.

Они уже вернулись на свои места, когда он спросил, как бы продолжая разговор:

— А есть хоть одна симфония, целиком посвященная радости?

— Девятая Бетховена — через страдание к радости. Финал очень светлый.

— А целиком?

— Есть торжественные увертюры... Не знаю, Алеша. Целиком, кажется, нет. И, наверное, не может быть.

— Почему?

Она поняла, что у него есть свой ответ на вопрос, но ему хочется услышать, что скажет она.

— Да потому, что счастье не было бы счастьем, если бы стоило протянуть руку — и вот оно.

— Хотеть — искать — добиваться — осуществить. Такова формула?

Она кивнула головой и после паузы добавила:

— Достичь — и увидеть впереди новую цель.

Он усмехнулся:

— Ну, а в старости хотя бы... может наступить умиротворение, что ли?

— Не знаю,— сказала Аня.— Я в нее не верю.

Он придвинулся к ней, потому что шум зала заглушал голоса, и вдруг увидел совсем близко ее полуоткрытые в улыбке губы... Он поспешно отвернулся.

Музыка хлынула сразу, широким потоком. Поток был плавен, чист и стремителен. Две мелодии струились в нем, и одна тоже звучала как вопрос — томительный вопрос о самом сокровенном. Может быть, музыка всегда как бы вопрошает душу? Вторая мелодия показалась Алексею просветленно-печальной. Ответ?.. Они развивались рядом, как разговор человека с самим собою. Мятущаяся душа искала ответа и не соглашалась с тем единственным выходом, который находила, и снова томительно вопрошала: ну, как же? ну, что же? — и весь оркестр откликался, на чем-то настаивая, что-то нежно и упорно разъясняя, и мелодия ответа лилась все шире, глубже и напряженней, как будто все силы души и сознания поднялись, чтобы понять, решить и примириться с решением.

Алексей подчинился увлекающему его потоку. Где-то стороной, мельком прошла мысль о том, что симфония, очевидно, воспроизводит самый процесс чувствования и мышления, а вывод, утверждение — ее конечные ноты, ее финал. Тоже стороной, мельком подумалось о том, что многоголосая сложность раскрыта у Чайковского с предельной ясностью и потому каждый звук идет к сердцу. Каждый звук шел к сердцу. Все, что волновало его, тревожило и радовало, осталось с ним. И с ним была Аня — близкая, как никогда. Эта музыка была очень вместительна. Напрягая и обостряя чувства, она не отстраняла ничего того, что составляло жизнь человека, но все раскрыла и все насытила: желания — новой силой, сомнения — болью, радость — беззаветностью, любовь — нежным и сильным светом.

Алексей забыл следить за тем, как рождалась музыка в слаженной работе оркестра. Он смотрел на оркестр, но не видел его. Он просто жил очень напряженно, всей душой. Раскрывались тайники, в которые он никогда не заглядывал. Вот под тихий напев скрипок зазвучала осторожная жалоба — рассказ о самом глубоком, трогающем, мучающем, нет — мучавшем раньше, и Алексей заново пережил долгую бесплодную любовь, и годы суровой сдержанности после нее, и затаенную, страстную мечту о счастье, которое придет... Да разве это так мучило и занимало

меия, удивился он. И поиял: да, мучило, и сейчас мучит — сбудется ли? А рассказ-жалоба продолжается, и с упреком, с иедоверием останавливают его басы: да ведь не так это! — и снова прорываются светлые, обиадеживающие иоты: ничего, не томись, оно сбудется! — и мятежные взрывы страсти: скоро ли? — и все затопляет поток осиовной мелодии, ио эта мелодия — сама жизнь — тоже выросла, возмужала, обогатилась мудростью и зианием... Решеиие?

— Вальс,— шепнула Аня.

Он узнал этот вальс, он ие раз слышал его по радио. Теперь, вплетенный в симфонию, он влился в поток чувствования и мышлеиия. Человеческая душа с ее вопросом о самом главном, с ее осторожной жалобой присутствовала и тут, но жизнь словно кружила ее, лаская, уговаривая и втягивая в свой круговорот.

Вальс кончился, и в минутной тишине Алексей сказал себе: «Не хочу!»

Аня обериулась и спросила одними губами:

— Чего?

Значит, он говорил вслух?

А музыка вновь поднялась и хлынула еще более широко и мощно. Преломленная и окрепшая, основная мелодия достигла теперь высшей точки подъема, и так ясно звучало в ией утверждение, что Алексей понял: скоро конец. Ничто ие забыто и не снято, говорила она, но все понято и все решено; вот истиииое решение, вот путь, вот свет. У тебя может быть другой путь и другой свет, но только твердое решение дает просветленную ясность и утишает боль, и ием уже смятеиия, и растет, растет и ширится прекрасная, жизнеутверждающая сила, и в ее победе — преодоление и утверждение всего.

Несколько мииут спустя Аия и Алексей вышли в прохладу весенией ночи. Алексей взял Аию за руку и потянул в тенистый сквер на площади Искусств. Под деревьями было почти темно, только в просветах между листвой мерцало светлое небо.

Они сели на скамейку. Он попросил:

— Сядьте поближе, хорошо? И дайте руку.

Где-то в пространстве, слышная только им двоим, еще звучала музыка. Рядом, у подъезда Филармонии, быстро редела толпа, затихали вдали шаги и голоса. Возникла, зашумела иа сотни ладов и постепенио растаяла другая толпа — у Малого оперного театра. Изредка проносились мимо автомобили, сверкиув на повороте фарами и отбрасывая на песок дорожки тусклые пятна света. Волны музыки, слышные только двоим, перекатывались через шумы города. Потом и они затихли, как море при полном безветрии, и стали слышны гулкие удары сердца.

— Я, кажется, очень полюбил вас, Аня.

Она только чуть повериула к нему лицо, когда он обнял ее и еще иеуверенно, бережно притянул к себе.

15

Выдвигая пешку иа правом флаиге, Иваи Иваиович сказал с иеодобреиием и даже обидой:

— Опять Валю с Аркашкой повстречал. До чего быстро утешилась!

Ефим Кузьмич закрыл своей пешкой дорогу противиику и иемиого погодя возразил:

— Ничего мы ие зиаем. В жеиском сердце разобраться — это, брат, вроде как в глухом лесу иочью дорогу искать.

Иваи Иваиович передвииул другую пешку, открывая путь своему слоиу, и вздохиул:

— Хорошая оиа девушка. Аркашка против иее — тьфу...

Любопытство томило Гусакова уже иесколько дией, и ои спросил как бы иевзиачай:

— Чего ои к тебе приходил? Советоваться, что ли?

Ефим Кузьмич ие ответил, пристальио разглядывая расположеиие фигур иа доске и взвешивая, какую каверзу готовит Иваи Иваиович. Была у Гусака привычка затеять иитересиый разговор и под шумок перехитрить противиика.

Ефим Кузьмич укрепил пешку иа левом флаиге и только тогда заговорил о том, что иитересовало обоих:

— Не люблю я быстро о людях судить. Ну что ты зиаешь об Аркадии? Чего ты приговор объявляешь, когда человеку двадцать четыре года? Год иазад я бы за иего полушки ие дал, а сейчас... Вот пришел ои, то да се, а я вижу — изиыло у пария сердце. Спрашиваю — жеииться ие думаешь? А ои: «Скорее топиться придется, Ефим Кузьмич». Видишь, как дело-то оборачивается?

— Ну-иу,— поторопил Гусаков, а сам с иевиииым видом перевел слоиа иа свободиую диагоиаль.

— Ну-иу,— иасмешливо повторил Ефим Кузьмич, имея в виду иехитрый замысел противиика.— Так вот, говорит, я ее утешил, а оиа душу из меия выиула... Да... Неправда, говорю, Аркаша. Душа в тебе только сейчас и обиаружилась. А если с иепривычки горяча — выиь, обдуй и положи обратио. Засмеялся, а у самого чуть ие слезы в глазах. Да как, говорит, Ефим Кузьмич, как же обдуть? Вы шутите, а мие ие до смеха. Я говорю: ие шучу я, а радуюсь. Был пареиь — одиа видимость, а стал — человек.

— Шах королю!

— Да ие пугай ты, Иваиыч, ие пугай! Мы коием прикроемся, и все! Так вот, говорю: от любви, пареиь, ие помирают. Если бы от любви помирали, хороиить ие поспевали бы и жить было бы иекому. Любовь — оиа такая, что или крылья за спииой, или иа стеику лезешь, а год, два пройдут — и сам иад собой улыбиешься: вот сумасшедший был! Полюбит тебя Валя или ие полюбит, говорю, а человек ты теперь — сам по себе, иу и двигай дальше!

Ефим Кузьмич сделал ход и, оглядев изменившуюся ситуацию на доске, добавил:

— А между прочим, парень стоящий. И я бы на месте Вали призадумался... Ну, Иваныч, ешь мою пешку, бог с ней! Хорошего аппетиту!

Иван Иванович, как всегда, без размышлений разменял пешки на левом фланге и вдруг сообразил, что этим он открыл дорогу ладье противника и что Ефим Кузьмич предусмотрительно обеспечил ладье надежную защиту.

— Фу ты, дьявол! — рассердился Иван Иванович и задумался, зажав в кулаке слона, которого некуда было поставить.

Ефим Кузьмич откинулся в кресле и закурил. Он был очень доволен и тем, как повернулась игра, и смятением своего друга, и тем, что в квартире стояла мирная тишина. Ведь вот по-разному бывает в доме тихо: одно дело, если все разбежались из дому и даже Галочка на улице,— тогда тишина скучная, немного тревожная, и хочется, чтобы скорее все собрались; перед замужеством Груни бывало и так, что семья в сборе, а тишина гнетет, ладу в доме нет; другое дело теперь — тихо в доме потому, что Яша готовится к докладу, а Груня шьет,— ничего не скажешь, хорошо они живут, Груня прямо расцвела после долгого вдовства, и всего-то ей теперь хочется: и гулять, и наряжаться, и мужа лелеять! Такое теперь выражение лица у Груни, что бы она ни делала, будто лучше этого дела нет на свете, даже когда посуду моет, даже когда кастрюли чистит. Ну, а Галочка... где она и что делает?

Ефим Кузьмич встал и заглянул в столовую. Груня подняла голову и улыбнулась Ефиму Кузьмичу так, будто для нее было наслаждением увидеть его морщинистую, усатую физиономию. А ведь сколько месяцев глаза отводила, сквозь зубы отвечала, в дом входила как в тюрьму, а убегала из него — как виноватая, укрывая платком лицо... А сейчас стала вроде блаженной. Обидно бывает, и хочется иногда попрекнуть ее, да язык не поворачивается. Только одно позволил себе Ефим Кузьмич — незадолго до свадьбы молча снял со стены в ее комнате портрет сына и унес к себе. Груня увидала — побелела вся, но ни слова не возразила. Ночью услышал — плачет. А наутро встала — будто ничего и не было... Э-эх, жизнь ты, жизнь!

Пройдя через столовую, Ефим Кузьмич как бы невзначай заглянул в комнату, где жили теперь Груня с Яшей. Яша сидел за столом и делал выписки из книги. Галочка играла на полу с собакой. Злая к чужим, Рация с первого дня признала Галочку своей и позволяла ей садиться на спину, дергать за уши и даже впрягать себя в тачку.

Воробьев обернулся и похлопал ладонью по раскрытой тетради.

— Я, как подготовлюсь, прочитаю вам, хорошо?

На общие темы им всего проще беседовать, тут невольно

забывается, что все-таки Воробьев чужой и что сам Ефим Кузьмич нынче уже не свекор для Груни, а так себе — в чужой семье сбоку припека...

— Давай, конечно.

Ефим Кузьмич хотел было расспросить, как Яков строит доклад, но вдруг заподозрил, что Иван Иванович пока переставит или втихомолку снимет фигуру,— ради выигрыша Гусак и сплутовать способен, это за ним водится издавна.

И Ефим Кузьмич заспешил к себе, придирчиво проверил положение на доске и даже пересчитал выбывшие из игры фигуры — нет, пока все в порядке.

— Не больше года думай, Иван Иваныч, не больше года! — насмешливо напомнил он, усаживаясь.

Сквозь приоткрытые двери Груня слышала шуточки стариков в одной комнате и шепоток Галочки да поскрипывание стула в другой. Ее пальцы быстро и ловко продергивали иглу сквозь край узкой складочки, в то время как все ее мысли были прикованы к соседней комнате, где занимался Яша. Яша дома, дома, дома, это его дом, он приходит сюда домой, он занимается дома, дома ему лучше, чем где бы то ни было... Об этом можно было думать без конца, на разные лады повторяя одно слово. «Ты когда придешь домой?» — спрашивала Груня в цехе. «Я буду готовиться дома»,— говорил Яша товарищам. Они оба еще не привыкли к этому слову и повторяли его как можно чаще.

Подруги, качая головой, упрекали Груню:

— Ох, избалуешь на свою голову! Пусть он за тобой ухаживает. Чего ты перед ним стелешься?

Груня беспечно смеялась:

— А до чего ж это сладко — баловать своего человека! Я его поначалу так намучила, что до конца жизни хватит!

Подруги убеждали: сперва всем сладко, а потом, не успеешь оглянуться, муженек уже не благодарит, а требует, не просит, а покрикивает; мужа с первого дня надо в руки забирать, иначе — наплачешься!

— А он у меня в руках,— отвечала Груня с шалой улыбкой.— Обниму его крепко-накрепко — вот и в руках, и вырываться не хочет!

Как объяснить им, что не может быть у них ни размолвок, ни привычной супружеской скуки, что у них — любовь, какой, наверно, и не было еще на свете. Никому не понять, как им хорошо вместе и как они подошли друг другу. Бывает, что любят сильнее? Нет. И раньше любила его, страдала и любила, но были они — каждый сам по себе, и мучили друг друга, и всякие сомнения надумывали, а все потому, что им надо было вместе быть, всегда вместе, две жизни — как одна. А теперь даже дух замирает, даже голова кружится, до того хорошо с ним.

Так думала Груня, ногтем разглаживая наметанные складочки и прислушиваясь, как поскрипывает Яшин стул. Вот Яша

потянулся за чем-то — за книгой, наверно. Вот он уселся поудобнее, чтобы писать. Не мешает ли ему Галочка? Нет, она совсем тихо бормочет себе под нос. И хорошо, что она — там.

А Галочка бормотала прямо в настороженное ухо Рации:

— Ты только зарычишь — они и разбегутся. Кусать не надо, все-таки жалко их, а ты рычи, рычи...

Ей нравилось играть в этой комнате, говорить только шепотом, потому что все-таки неловко мешать человеку, но иногда и пошуметь, испытывая его терпение — рассердится он или нет? Если бы он рассердился и прогнал ее, можно было бы обидеться и почувствовать себя несчастной. Но ей нравилось, что он не сердился и не прогонял ее, и особенно нравилось, что он играет на аккордеоне и что у него — собака. У взрослых всегда свои дела, и когда говоришь с ними, они отвечают невпопад, лишь бы отвязаться от тебя, а с собакой и поиграть можно и побегать взапуски на пустыре. И ни один мальчишка не тронет, если с нею Рация. «Рация, возьми!» — и Рация ка-ак схватит за штаны! Пусть-ка теперь сунется Митька черномазый отнимать у нее мяч! И аккордеон — здорово! Научиться бы играть на нем... Она уже пробовала, когда никого не было дома, но у нее не получалось музыки, а только писк и гул, а потом она еле-еле сумела запихнуть его обратно в футляр. А у дяди Яши получается красиво — то жалостно, то весело, хоть танцуй. Просить его она не хочет, но — если бы он играл почаще! И чего он все сидит над книжками? А мама стала веселая и добрая и гораздо больше бывает дома... Ладно уж, пусть он здесь, так спокойней. И совсем неплохо, что ее перевели спать к дедушке в комнату. Мама скажет: «Спи, доченька»,— и потушит свет, и дверь закроет. А дедушка и не тушит, и сам тут же сидит, иногда поворчит: «Закрой глаза, глазастая! А то уйду»,— но не уходит, а еще и сказку расскажет...

Раздался звонок. Кто-то пришел в гости. Галочка узнала голос тети Аси, той самой, с которой надо быть ласковой, потому что у нее умерла дочка.

— Я у тебя посижу, Грунечка, можно? Саша поехал в Дом техники, а мне одной скучно. Он за мной сюда зайдет, ничего?

— Ну конечно,— сказала Груня.— А у тебя что-то случилось, Ася, да? Хорошее?

— Да, да, только об этом потом, Грунечка,— сказала Ася, краснея и косясь на Галочку.— Здравствуй, Галочка.

Воловики были новые знакомые, появившиеся в доме вместе с дядей Яшей, и Галочка не торопилась полюбить их. Но дядя Саша очень смешно называл ее Галушкой и обещал съесть, когда придет «не после обеда», а тетю Асю, непохожую на тетю, было жалко, и она Галочке нравилась. Галочка отлично поняла, что сегодня у тети Аси есть какой-то секрет, но тем более не собиралась никуда уходить. Она поздоровалась и устроилась в сторонке, чтоб о ней позабыли.

Ася рассказывала о том, что Саша поехал в Дом техники

делать доклад о своем станке, а ее с собою не взял, потому что при ней он будет больше волноваться. Галочка не понимала, чего тут волноваться: сколько она себя помнила, дедушка делал доклады, и мама делала доклад, только он назывался отчет профорга. И теперь дядя Яша готовился к докладу. И даже Митька черномазый однажды хвастал, что делает доклад в кружке юннатов,— правда, Галочка ему не поверила, потому что никогда не стала бы слушать такого дурня.

— К Саше доцента прикрепили,— рассказывала Ася, и вид у нее был как у девчонки, которая расхвасталась.— По воскресеньям он ходит к профессору на консультацию. А дома все читает, читает! Книги ему сам профессор дает!

О секрете не было сказано ни слова, но Груня вдруг спросила с таинственным видом:

— Ася, я правильно догадываюсь, да?

— Да, да, да, Грунечка, только молчи,— прошептала Ася,— это еще совсем не наверное, я пока никому ни слова...

Галочка от досады дернула Рацню за хвост. Что бы это могло быть и почему нужно молчать?

— Рацня, гулять! — сердито позвала она, и Рацня, забыв обиду, ринулась к двери.

Оставшись одни, женщины оживленно заговорили, то и дело снижая голоса до шепота, чтобы не мешать Яше, и то и дело забывая об этом и нарушая тишину болтовней и смехом.

Воробьев слышал их голоса и смех, но они не мешали ему. Хорошо работалось, когда рядом была Груня,— вот она прошла по комнате легкими шагами, вот звякнули ножницы, стукнула и покатилась оброненная катушка, скрипнула дверца буфета.

Все последние недели он ощущал себя на подъеме. Силы напряжены, но горизонт все шире, а когда устаешь, даже очень сильно устаешь,— усталость здоровая, хорошая. Ощущение это порождалось тем, что он постепенно входил во вкус своей новой работы. Мелких неполадок, трудностей и суеты по-прежнему хватало, но работать стало легче. Люди, до сих пор стоявшие в стороне от общественных дел, становились активистами, а порой оказывалось, что и нужно для этого не так уж много — только заметить человека, оказать ему внимание, привлечь, поощрить! Но были и трудные случаи, которые требовали продуманного, психологического подхода.

Одним из таких «случаев» был Торжуев. После успеха Ерохина Торжуев ходил мрачнее тучи, с неделю притворялся равнодушным, а потом все-таки перенял у Ерохина и метод крепления, и новые резцы, приналег на выработку и стал день от дня повышать ее. О том, что происходит у него в доме, говорил весь цех: Торжуев поссорился с «божьим старичком» и отделился от него. Белянкин не разговаривал ни с ним, ни с дочерью, а в цехе стал еще тише и все жаловался на здоровье да на годы. К концу месяца Торжуев выполнил около двух норм, а в следующем меся-

це, оставнв далеко позадн Ерохниа н Лукнчева, выполинл иорму на трнста пятьдесят процентов. Качество он давал, как всегда, отличное, а если кто-лнбо подходнл поглядеть, какнми методами он добнвается успеха, злился и покрнкивал:

— Проходн, проходи, ие в театре!

Настал день, когда в цехе появился плакат: «Привет стахаиовцу С. М. Торжуеву!» Торжуев стоял перед плакатом н грыз муидштук трубкн. Воробьев нарочно подошел н остановнлся рядом.

Торжуев повернулся к нему и сказал с наглой ухмылочкой:

— А все-такн прншлось тебе меня на стенку вешать!

— А мие прнятно уважать тебя, Семен Матвеевнч,— сказал Воробьев.— Внси себе иа здоровье хоть круглый год.

Наглая ухмылочка, которую Торжуев снлнлся удержать, превратилась в тусклую, вниоватую улыбку.

— Захочу н буду,— хрнпло сказал он н пошел прочь — нарочно вразвалку, грызя мундштук н вызывающе поглядывая на встречных.

Воробьев смотрел вслед и думал, что на блнжайшем профсоюзном собраинн обязательно предложит выбрать Торжуева в президиум, пусть поснднт перед иародом да поразмыслит... Всю дрянь из него иескоро вытрясешь, но вытрясти можио. А Ерохин сказал иа партгруппе: «Хорошо, что Торжуев за ум взялся, только иа первом месте я его не оставлю... полнтнческн не могу оставить!»

Это очень занимало Воробьева, но все ж главным для него был сейчас спор с Любимовым — непрекращающнйся, молчаливый спор. С того дия как Любимов взял иазад свое заявлеине, между ннмн устаиовнлнсь сдержаино-вежлнвые отношеиня. Любнмов не нзбегал разговоров с Воробьевым, даже подчеркнуто советовался с ним, ио всем своим видом показывал, что снисходит до этого только в ннтересах дела,— пусть ссорятся те, у кого есть время. В эти дни Любнмов проявлял свою власть чаще, чем когда бы то ин было, и снова взял в свон рукн повседиевиое руководство цехом, ио Воробьев остро чувствовал, что руководнт ои не так, как иадо, что спор, начавшнйся в партбюро, должен быть доведеи до конца.

В том лн все дело, чтобы иовые сроки обязательно ввестн в план?

Чем больше раздумывал Воробьев, тем яснее он поннмал, что не только в этом дело. Как руководить пронзводством в новых условнях, когда творчество стало делом коллектнва, а не только талантливых однночек? По-старому будто бы н иельзя? Иные иужны методы, ниые отиошения начальннков н подчнненных. Если коллектнв творческн решает важную задачу, он не может делать это самотеком, он вправе требовать, чтоб ему помоглн руководителн, чтоб онн это дело органнзовалн, спланнровалн и обеспечнли.

В этом была суть спора. И этой сути Любнмов не понимал. Только ли он один?..

Как бы там ни было, на партийном собрании все решится. Вопрос назрел, и в своем докладе директор должен будет дать на него прямой ответ. А если он сам этого не сделает,— собрание заставит.

Воробьев понимал — именно ему, в содокладе о работе коммунистов-турбинщиков надо будет задать тон прениям. И он тщательно готовился к предстоящему открытому спору.

С уважением и волнением перебирал он брошюры, фотографии и записные книжки, заполненные старательным почерком Ефима Кузьмича. Старик бережно хранил их под ключом, завернутыми в чистую, но уже пожелтевшую бумагу, и только на днях допустил до них Воробьева. Все эти материалы Ефим Кузьмич привез с первого Всесоюзного совещания стахановцев. Происходило совещание тогда, когда Воробьев еще бегал в школу,— в ноябре 1935 года; Ефим Кузьмич был на совещании делегатом. Совещание собралось через три... нет, через два с половиной месяца после рекорда Стаханова. Да, 30 августа Стаханов вырубил 102 тонны вместо 7 тонн по норме. Через три дня Дюканов вырубил 115 тонн, 19 сентября кузнец Бусыгин ставит свой рекорд в кузнице, а Кривонос на железной дороге... А 14 ноября в Кремле собираются стахановцы со всех концов страны. И Сталин говорит, что стахановское движение — наиболее жизненное и непреодолимое движение современности. Он обращается к горсточке первых стахановцев,— зал полон, но это все-таки не больше, чем горсточка среди миллионов людей, еще очень далеких от нового движения. Он говорит — и отчетливо видит, что завтра поднимутся новые тысячи и сотни тысяч людей... Он видит не только тех, кто тогда, в 1935 году, ставил новаторам палки в колеса, но и тех, кто и сегодня порой мешает Воробьеву, Воловику, Смолкиной, Полозову и многим другим.

— Ой, как хорошо! — звонко вскрикнула за дверью Ася Воловик.

— Правда? — радостно спросила Груня.

Воробьев прислушался. Ему было интересно, что хорошо и что радует Груню,— какой бы ни был пустяк, он переставал быть пустяком оттого, что занимает ее. Через стенку доносилось постукиванье каблучков — Груня вертится перед зеркалом, примеряя новую блузку.

— Как тебе идет, Грунечка! Ну так идет, так идет!

— А знаешь, что человеку идет больше всего, Ася? — вдруг звучно откликнулась Груня.— Счастье! Человеку идет быть счастливым. Тогда он и красив и хорош.

«Как это верно!» — изумленно подумал Воробьев. Мысль Груни была сродни тому, что навеяло на него чтение,— давнее совещание и пленило его именно ощущением счастья — большого народного счастья.

Потом в наладившуюся, все более радостную жизнь ворвалась война. В конце концов, за то и шла кровавая борьба — быть на земле счастью или не быть. Отстояли. Быть ему! Быть! И сейчас — разве не для того же мы торопимся, трудимся с таким напряжением, сжимаем все сроки?.. Как будто бы и наваливаем сами на себя новые трудности, а ведь разобраться, так все потому же — для себя, для своего народа.

Человеку идет счастье... Спроси сейчас Груню, в чем ее счастье? Она скажет — вон оно там, в соседней комнате. Спроси меня, скажу — Груня. Но только ли в этом наше счастье? Раньше в романах писали: укрылись от всего света и счастливы вдвоем. А нам даже дико подумать об этом. Ни я, ни Груня ни от чего другого не откажемся. Наоборот, сейчас, когда мы вдвоем, нам все стало еще нужней, еще интересней, и сил как будто прибавилось.

Он вспомнил Груню такой, какой увидел ее впервые. Фрезеровщица Клементьева завоевала первенство по цеху, и Воробьев пошел знакомиться с нею, но долго не смел приблизиться.

Груня работала, и лицо у нее было сосредоточенное, ясное и необыкновенно красное. И ее движения были спокойны, ловки и необыкновенно красивы своей точностью и плавностью. В такт движениям Груня слегка шевелила полными, румяными губами, словно шепотом управляла станком: «Вот так! А теперь, милый, вот так! Еще немножко! Хорошо!»

Воробьев был тогда членом цехового комитета, ему было поручено руководить распространением стахановского опыта. Собравшись с духом, он подошел к Груне и попросил ее побеседовать с молодыми работницами.

Груня вздернула губу и спросила, блеснув глазами: «А я что ж, по-вашему, старая?»

Воробьев смутился, но все-таки нашел ответ: «Наоборот. Я думаю — молодой на молодых повлиять легче».

Груня захотела посмотреть, кого ей придется учить, и возле каждой работницы постояла, присматриваясь. Воробьев ходил с нею и тоже смотрел на работниц, а еще больше — на Груню.

«Фрезеровщицы неплохие, но еще не понимают, что к чему,— сказала Груня, закончив осмотр.— Учить буду, если вы их сами приведете и тут же постоите. Для дисциплины. А то какой я им учитель? — Она лукаво усмехнулась: — К тому же при вас гораздо интересней!»

Много позднее Груня призналась, что давно приметила Воробьева и сердилась: другие глаза пялят, а этот ходит-ходит мимо и даже не посмотрит... Поведение Груни показалось Воробьеву озорным и вызывающим. Но когда он привел к ее станку учениц, Груня встретила их робко, даже растерянно. «Спасай, милый,— умолял ее взгляд,— сам задумал такое мученье — теперь выручай!» От волнения она и слова сказать не сумела. Воробьеву пришлось самому рассказать молодым фрезеровщи-

цам о работе Клементьевой. Пока он говорнл, Груня справилась с собой н затем неожнданно хорошо, обстоятельно н продуманно объяснила девушкам все, что нм следовало узнать н понять.

Перебирая этн мнлые подробностн первого дружеского сближення с Груней, Воробьев прнпомннл, что н другне стахановцы в первые мннуты робели, но скоро подавляли смущенне н учнлн людей непрннужденно и умно. Да и что удивнтельного? Груня кончила семнлетку. Ннкитин н Пакулнн — студенты технннкума. Назаров кончил двухгодичные курсы мастеров соцналнстнческого труда. Ерохин учнтся в вечернем вузе... Все оин прнвыкли читать газеты и книгн, вестн запнсн н конспекты в кружках, выступать иа собраннях...

«Так и руководнть-то ими надо по-новому! — воскликнул Воробьев, мысленно возобиовляя спор с Любнмовым.— Я вас спрашивал о стиле управления и органнзацни труда. Я вас спрошу снова, порезче. Я вас заставлю все договорить до конца!»

Он встал н размялся иесколькнмн снльными взмахамн рук. Ему было очень весело от предвкушення злого н решительного разговора. Он чувствовал себя вооруженным, голова его была ясна, ои знал, чего хочет, н знал, что прав.

Выйдя в столовую, он потряс руку Асн, обнял Груню, позвал стариков, оторвав их от четвертой партнн в шахматы, вышел во двор, чтобы клнкнуть Галочку н Рацню. Рацня выскочнла откудато нз-за угла и с разбегу броснлась на него, радостно лая. А за нею выехала Галочка на плечах Воловнка.

— Ох, Яша! — воскликнул Воловнк, спуская на землю девочку н глубоко дыша. Он был возбужден и даже, кажется, немного пьян.

— Ну как? — вглядываясь в него, спросил Воробьев.— Вижу, хвалнлн?

Воловнк отмахнулся, как-то странно улыбаясь:

— И хвалилн н крнтнковалн. Не в том дело, Яша. А вот простор, понимаешь, простор чувствую... Рычаг этот, которым землю перевернуть... Ну, ты не слушай, я болтаю, я немного не в себе.

— Дернул малость?

Воловнк вновато улыбнулся н обычной своей неуклюжей походкой пошел к дому, вежливо пропуская вперед Галочку, н по его походке, по застенчнвой улыбке и какнм-то трудно уловнмым, но ясным прнметам Воробьев понял, что Воловнк н не пнл ннчего, а готов выдать себя за подвыпнвшего человека, потому что он безудержно счастлнв н горд, н стыднтся этого, н не знает, как пронестн средн людей эту полную чашу счастья, не расплескав ее и ннкому ее не навязывая.

Воробьев остался на месте, растроганно усмехаясь. Взволнованность друга была понятна — еще бы, делать доклад ученым, нженерам, изобретателям всего города, будто ты не рядовой рабочнй, а заправскнй лектор! Но ведь это н есть то самое, о чем

он только что читал, думал, о чем он будет говорить завтра! Научно это называется — «культурно-технический рост рабочего класса». Практически — это значит, что руководить такими людьми, как Саша, нужно совсем по-иному, что ломка старых привычек и норм продолжается и будет усиливаться с каждым днем. И наша задача — помочь ломке, ускорить ее... Хватит ли сил?

Нет, этот вопрос даже ставить нечего. Я чувствую в себе силу, и Саша ее чувствует,— а разве мы с Сашей одиночки? Нас же много! Справимся!

Полной грудью вдохнув посвежевший к вечеру воздух, Воробьев взбежал на крыльцо и еще в дверях услыхал, как Саша Воловик возбужденно рассказывает:

— Кончил я, а вопросов — целая куча! Записки, записки, всю кафедру завалили. Взял я их, думаю: держись, Саша, раз лектором стал! Ну и ответил. Кажется, без конфуза.

16

Шофера возле машины не было, и Немиров с остервенением нажал клаксон. Весь двор заполнился тягучим, унылым гудением. Не отрывая пальца от клаксона, Григорий Петрович с досадой вспомнил, что Костя — коммунист и, следовательно, присутствовал на собрании. Какая может быть дисциплина, если на массовом собрании говорят про руководителя черт знает что! Конечно, Костя сейчас зубоскалит с приятелями: «А знатно всыпали моему!..» И, уж конечно, хохотал без удержу во время этой оскорбительной сцены с Кашириным (экий идиот!) и уж наверняка вместе со всеми голосовал за дерзкую резолюцию, за многозначительный пункт: «Считать неправильной и демобилизующей практику внутризаводского планирования без учета принятых социалистических обязательств...»

— Может быть, мне сесть за баранку, а вы будете заводом управлять? — с сердцем сказал Немиров прибежавшему на гудки шоферу.

Костя молча вывел машину на проспект.

— За Клавдией Васильевной заедем?

— Не созвонился я с ней,— буркнул Немиров.— Да она уж, наверно, дома.

— У них тоже собрание сегодня,— напомнил Костя.

Это маленькое «тоже» усилило раздражение Григория Петровича. Он не знал, что там произошло сегодня, на партийном собрании металлургического, но знал, что Клава и ее единомышленники именно сегодня дают бой своему Брянцеву, которого Диденко назвал «мечтой самолюбивого директора». По-видимому, Клава поднимала там и вопросы планирования,— недаром она увлеклась идеей, что плановик может быть новатором!

Он попробовал представить себе Клаву на трибуне большого

собрания, но не мог, только видел ее лицо — почему-то разгоряченное, азартное, как летом на волейбольной площадке... А память уже подсунула ему все ту же сцену с Кашириным, которая уязвила Немирова больше всего, что произошло на этом длинном и мучительном для него собрании. Когда ругают — плохо, но когда хохочут над тобой!.. А тут хохотали. Кто его тянул за язык, этого розовощекого, прилизанного дурака?!

— Стахановское планирование особых результатов не даст,— так он заявил — и подчеркнуто: — А в случае чего поставит нас в неловкое положение...

Собрание зашумело, а новая звезда, без которой теперь ни один президиум не обходится, Воловик, подтянул к себе микрофон и гаркнул на весь зал:

— Услужливый медведь опаснее врага. Слушайте, люди добрые, вот она вся как есть — истинная мотивировочка!

Какой тут поднялся хохот! Немирову пришлось выжать улыбку, потому что смотрели на него, целили в него. Как смылся с трибуны Каширин, никто и не заметил...

Клава презирает Каширина: ничтожество. А с чем она сама выступила? Не поделилась, не посоветовалась. А что, если...

Сегодня перед собранием, во время тяжелого спора, Диденко не нашел ничего лучше, как сказать:

— Вы бы хоть к мнению своей жены прислушались, она занимает куда более прогрессивную позицию, чем вы!

Немиров ответил не очень умной резкостью. Еще не хватало, чтоб Клаву припутали к их разногласиям! И чтобы Клава оказалась в одном лагере с теми, кто ему житья не дает!

После собрания к Немирову подошел Раскатов.

— На этом пути у вас успеха не будет, Григорий Петрович,— сказал он.— Советую подумать. И присмотритесь к опыту других, хотя бы к инициативе металлургов... вы ведь с ними связаны?

...Клавы дома не было.

Елизавета Петровна спросонок ежилась, накрывая стол к ужину, удивленно спросила:

— А Клава?

В последние дни она вместе с зятем настояла на своем. Григорий Петрович отвозил Клаву на работу и вечерами заезжал за нею. Сегодня он впервые не подумал об этом.

Не отвечая, Немиров закрылся в кабинете и некоторое время стоял посреди комнаты, мысленно подводя итог происшедшему. Итог был невеселый. После такой публичной проработки вырисовывались два выхода — или уступить, подчиниться, то есть признать себя неправым, а значит — каяться как мальчишка... чтобы Диденко торжествовал и потом докладывал, что вот, мол, «у хозяйственного руководства были промахи, вовремя нами замеченные и выправленные благодаря развитию критики и самокритики...» и так далее и тому подобное. Или же бороться, немедленно ехать в Москву, заручиться поддержкой министра,

а может, и промышленного отдела ЦК. Ну, а если не получишь поддержки?

Нет, все это не годилось.

Его томила мысль, что завтра с утра надо встречаться со множеством людей, которые сегодня голосовали против него. Только так он и расценивал этот дерзкий пункт,— против него. Единогласно, при четырех воздержавшихся. Один из четырех — он сам. Второй Каширин. А еще кто? От злости он не стал смотреть — кто. Может быть, Любимов? Черт бы его подрал, этого трусливого лицемера! Наедине возражал самым яростным образом: «Это же петля!», «Никто с нас голову не снимет, если мы задержим турбины, а что будет, если мы нашумим с этим стахановским планом — и провалим?» А на собрании и рта не раскрыл, хотя кому-кому, но уж начальнику турбинного цеха следовало высказать свое мнение!

...Григория Петровича душила обида, когда он вспоминал людей, выступавших против него. Этот сталевар из фасонолитейного! «Дирекция нервы бережет...» Ефим Кузьмич! Старик, который всегда видел от директора только уважение и внимание! И вдруг вытащил какую-то цитату из речи Орджоникидзе — дескать, дело будет в срок, а директора может и не быть... И этот его зятек Воробьев: «Товарищи начальники, вы же превратили министерский, государственный план из основы нашего движения в тормоз, в помеху!..» И заносчивый инженерик Полозов, посмевший назвать слова директора «резиновой формулировкой»...

Нет, надо ехать в Москву, завтра же — в Москву. Как держаться в Москве, что сказать и о чем говорить не стоит, это обдумается в пути. А ехать надо. Пусть покрутятся недельку без директора, пусть поймут... Критиковать они все мастера, а вот работать!..

И он со злорадством припомнил замеченный им на днях беспорядок на инструментальном складе турбинного цеха. Ну погодите, голубчики!

Чтобы сорвать на ком-нибудь злость, он позвонил на завод. Турбинный цех долго не отвечал, и Григорий Петрович уже мысленно обругал и Полозова, и Любимова — уехали спать, а ночная смена не обеспечена руководством, никто даже не отвечает,— порядочки!

Он уже хотел швырнуть трубку, когда цех откликнулся:

— Полозов слушает.

— Долго ждать приходится, чтоб узнать, что в цехе!

— Дежурный диспетчер у своего аппарата, вас неправильно соединили,— сказал Полозов.— Смена работает, Григорий Петрович. Первые узлы к утру поступят на стенд.

Стараясь сдержать раздражение, Григорий Петрович задал несколько деловых вопросов и напоследок доставил себе удовольствие — отругал Полозова за беспорядок на инструментальном складе. Пусть почувствует, что директор все-таки директор!

— Слушаюсь,— спокойным и, как показалось Немирову, иронически-послушным голосом ответил Полозов.— С утра приму меры.

Позвонив еще в несколько цехов и по каждому цеху найдя повод сделать резкое замечание, Немиров разрядил раздражение и уже бесстрастно принял решение бороться и победить — здесь ли, в Москве ли, как удастся. Не на такого напали, чтобы вытянул руки по швам!

Он позвонил на квартиру Каширину и, оборвав на полуслове его жалкие оправдания, приказал подготовить с утра материалы, которые могут понадобиться в Москве.

— Завтра едете? — обрадовался Каширин.

— Завтра, если позволят дела,— сухо ответил Немиров и, не прощаясь, повесил трубку.

Шел двенадцатый час, а Клавы все не было.

Конечно, не надо было отпускать машину, не проверив, дома ли Клава. Она всегда ворчит, зачем он гоняет ради нее машину, но вдруг она все же обидится, что он забыл позвонить? Не рассказывать же ей, какую баню ему сегодня устроили!

Он неохотно, на всякий случай, позвонил Саганскому — может, тот случайно забрел в свой кабинет, у них зал собраний рядом, при заводоуправлении.

— Борис Иванович? — любезнейшим тоном спросил Немиров, услыхав знакомый голос.— Нижайшее почтение! Немиров говорит. Как жизнь?

— А ну ее к черту! — неожиданно злым тенорком отозвался Саганский.— Опять у вас что-нибудь горит?

— У меня? Ничего. Не вовремя я, что ли, Борис Иванович? Так ты скажи. Я, понимаешь, жену потерял. Не видал, у вас она или ушла домой?

— Ах, жену! — ядовито протянул Саганский.— Ты бы ее дома держал, жену, тогда и не терялась бы. Сейчас пошлю узнать.

Должно быть, он швырнул трубку на стол, так она треснула. Слышно было, как он громко приказал «разыскать эту самую... Клавдию Васильевну». Потом он проворчал в трубку:

— Говорят, здесь еще, сейчас найдут. Подъедешь за нею? Или мне прикажешь отправить ее?

— Я, понимаешь, машину отпустил,— со вздохом сказал Немиров.— А ты что такой мрачный?

Не отвечая, Саганский поговорил с кем-то и сообщил:

— Явилась твоя Клавдия Васильевна. Но моих ухаживаний принимать не хочет, поедет трамваем.

До Немирова смутно донесся смех Клавы. Трубка щелкнула, разъединив аппараты.

Занятно: что там произошло? Видно, и Саганскому перепало, и у него не так уж все оказалось хорошо, как он любит изображать!

Повеселев от этого предположения, Григорий Петрович успокоил тещу, что Клава возвращается, и вышел из дому — встречать.

Погода портилась, небо затягивало тучами, редкие одиночные капли предвещали надвигающийся дождь. Где-то вдали слабо погромыхивал гром.

Было удивительно приятно ждать Клаву на трамвайной остановке, подобно юнцу, встречающему свою девушку. И не хотелось больше томиться мыслями о сегодняшней неприятности — черт с ней, мало ли что бывает в жизни, все, наверное, утрясется. А не утрясется — будет еще время об этом подумать. Вот как хорошо сейчас на воздухе! Капли крупные, редкие, теплые! И воздух теплый, совсем летний. Только бы Клава успела проскочить до большого дождя...

«Нелепо, что мы совсем не бываем на воздухе,— думал он, вглядываясь в набегающие издали огоньки трамваев.— Так и состаришься в директорском кресле, поседеешь до времени от всяких неприятностей, наживешь пузо, как Саганский... Ходить бы с Клавой по вечерам гулять! Ей это просто необходимо — воздух».

Трамваи подходили и уходили, а Клавы все не было. Где и почему она задержалась? Ведь уже десять раз можно было доехать! До того как увидеть ее, он услыхал ее смех. Она шла пешком, шла не одна, и смеялась от всей души, даже сгибалась от смеха, повисая на руке своего спутника — высокого, широкоплечего. Гаршин?! Значит, подкараулил у завода... а она не только не прогнала, а еще согласилась пойти с ним пешком? Стиснув зубы, Немиров решительно шагнул навстречу и в ту же минуту увидел, что это не Гаршин.

— Вот так та́к! — обрадованно закричал Григорий Петрович.— Нежный муж встречает, а она с кавалером под ручку!

Клава высвободила свою руку из рук спутника:

— Знакомься. Наш главный технолог, Олег Яковлевич. Мы пошли пешком, чтобы проветриться. Ну и баня сегодня была!

— То-то Саганский злой как черт.

— Еще бы! — сказал Олег Яковлевич и переглянулся с Клавой.— Клавдия Васильевна такого жару дала ему!

Клава снова расхохоталась:

— А тут еще ты звонишь!

И ласково попрощалась с технологом.

— Я к вам зайду с утра насчет К-семнадцатого,— пообещала она.

Что это такое — К-семнадцатый? Немиров не знал. И что связывает ее с этим Олегом Яковлевичем? Почему он увязался провожать ее? Поднимаясь по лестнице вслед за Клавой, глядя на ее тонкую шею, чуть прикрытую светлыми, еще не отросшими после болезни кудрями, он вдруг сказал себе: «Надо ребенка. Обязательно ребенка. Пока нет детей, это не семья».

— До чего же я голодна! — воскликнула Клава, небрежно сбрасывая пальто на руки мужа и взбивая волосы, примятые беретом.

В ней появилось сегодня что-то совсем новое. Ни тени усталости, глаза горят, губы беспричинно улыбаются. Побежала мыться — в ванной что-то напевает. Села за стол — и набросилась на еду, чего давно не бывало.

— Так что же у вас там вышло? — спросил он, когда Клава уже неторопливо прихлебывала чай, похрустывая бубликом.

— Что вышло? — переспросила Клава. — Победа! Полная победа по всем линиям!

Она торжествующе улыбнулась, и эта улыбка и эти ее слова вдруг показались Немирову неприятными, пугающе-чужими. Никогда еще она не была так далека от него, как в эту минуту.

Но торжествующее выражение уже сменилось застенчивым и милым, которое знал и любил Немиров.

— Ох, Гриша, это все так... В общем, понимаешь, если рассказывать, то придется хвастать. И мне ужасно хочется похвастать перед тобой. Ничего?

— Даже хорошо, если есть чем,— сказал он, внутренне сжимаясь, потому что не мог не вспомнить о том, что сам потерпел поражение.

— Конечно, тут не я одна,— сказала Клава.— Совсем не я одна! Тут Олег Яковлевич много помог и Егоров, наш главный инженер, ты ведь знаешь его? И начальник мартенов Злобин, тот был у нас ударной силой! И наш знатный сталевар Боков, он член парткома и, по секрету скажу, намечается на место Брянцева,— с Брянцевым вопрос уже предрешен, это дело дней...

— Так весь ваш бой разве не из-за Брянцева?

Клава снисходительно усмехнулась и махнула рукой — из-за Брянцева не стоило бы столько воевать!

— Так вот, слушай! Вообще-то все дело началось с этих краснознаменских отливок... Я уже тогда задумалась... помнишь, когда вы с Диденко приезжали? Новаторство — это, конечно, немножко сильно сказано, но в общем получилось нечто вроде. Ведь известно — план надо доводить до каждого рабочего, по всем технико-экономическим показателям, верно? А тут краснознаменский вызов, досрочное выполнение... И ведь мы боремся за право называться сплошь стахановским предприятием! Вот я и задумала — стахановский план.

Григорий Петрович торопливо налил себе чаю и начал рассеянно накладывать сахар — ложку за ложкой. Клава отвела его руку от сахарницы:

— Гриша, ты сироп делаешь?

Чай действительно оказался приторно сладок, Григорий Петрович поморщился и отодвинул стакан. Глядя мимо Клавы, напомнил:

— Ты рассказывала...

— Да, да. Так вот, я предложила ввести стахановское планирование, и мы задумались — ведь что такое перевыполнение планов? Если за счет дополнительного снабжения, так тут лимиты и прочее. А если сэкономить? Как раз в это же время Олег Яковлевич, Злобин и Боков выступили с инициативой пересмотра всей технологии для экономии металла... понимаешь? Если б ты знал, какой интересный получился план! Но у нас поднялась такая борьба! Брянцев, как всегда, испугался — уж очень обязывает! Саганский вслед за ним начал крутить да отнекиваться. За счет экономии металла! — ты же понимаешь, как четко работать нужно! А мы настаиваем — именно за счет экономии! Ну, сегодня на собрании все и вылилось!

— Ну, и...

— Ну и победили! — воскликнула Клава и рассмеялась, видимо вспомнив что-то.— Ты бы поглядел на Саганского! Всыпали ему как следует, он погорячился, надулся, а ведь против коллектива не пойдешь? Да и ясно ведь, что стахановский план дает такие преимущества... В конце он вторично слово взял, даже покаялся: «Я не сразу оценил новаторскую инициативу Клавдии Васильевны»... «энтузиазм коллектива будет порукой тому, что наше сплошь стахановское предприятие»... ну и все как полагается!

— М-да...— пробормотал Григорий Петрович и закурил папиросу. Вот этого они и хотели — чтоб директор Немиров вышел, покаялся, сделал все «как полагается»... а потом будут посмеиваться! Ну нет, я не Саганский, со мной так не выйдет!

— Фу! — отмахнулась Клава, разгоняя дым.— Опять ты куришь!

— Извини.— Он отвел руку с папиросой, хотел промолчать, но раздражение прорвалось злыми, путаными словами: — Конечно, ты торжествуешь... что ж, ведь не тебе потом отвечать! А только эта очередная шумиха... Не понимаю, почему возражал Саганский! Саганский должен был первым ухватиться! Он это любит... Стахановский план, сплошь стахановское предприятие, Красное знамя министерства... А все — парад! Никогда я не поверю, чтоб у вас все до единого рабочие давали стахановскую выработку!

— А я этого и не говорю,— тоже раздражаясь, сказала Клава.— Но три месяца назад рабочих, не выполняющих норму, было шестьдесят человек. В прошлом месяце их было двадцать три. Сегодня — девять.

Помолчав, она тихо закончила:

— А все остальное, что ты наговорил,— несправедливо и нехорошо. Ты просто завидуешь.

— Уж не Саганскому ли? — воскликнул Немиров.— Вот уж кому я завидую меньше всего, особенно сегодня! Вряд ли от вашей победы ему поздоровится!

Клава встала, красная от возмущения.

— Я вижу, вы все нз одного теста — хозяйственннкн! Саганскнй — тот хоть прнслушивается! А ты просто недооцениваешь вопросы экономнкн н планирования, это я тебе всегда говорнла! И твое ннчтожество Кашнрнн... он тебе подходнт, потому что он смотрнт тебе в глаза и нн на какую ннициативу неспособен! Вы все бонтесь связаться с трудным планом, а в результате выезжаете на авральщние, на сверхурочных! Думаешь, не знаю!

— От кого же ты это знаешь? — уже не сдержнваясь, крнкнул Немнров.— Уж не от своего лн Гаршина?

Он сразу пожалел об этих сорвавшихся с языка словах.

Клава грустно взглянула ему в лнцо, повернулась и, уходя, плотно прикрыла за собою дверь.

Когда он нерешнтельно вошел за нею в спальню н попробовал заговорнть, Клава утомленно сказала:

— Уже поздно, н я очень хочу спать.

Онн редко ссорнлнсь, обонм было трудно засыпать не помнрившнсь, но н делать первый шаг не хотелось.

Грнгорнй Петровнч только было собрался заговорнть, когда Клава, решившнсь, сделала то же н миролюбиво спросила:

— А что у тебя?

Грнгорнй Петровнч вздрогнул, прнтворно зевнул н ответнл как бы сквозь сон:

— У меня? Все в порядке.

Часть четвертая

1

нкто не провожал Немнрова, когда он уезжал нз Москвы после трех суматошных н тяжелых дней. Беседа с мнннстром кончнлась в начале десятого, после нее Григорню Петровнчу не хотелось нн с кем встречаться. Он заехал в гостнннцу, без охоты поужннал в ресторанном зале, где раздражало чужое веселье н танцующне пары, мелькавшне перед самым его носом. Поднялся к себе в номер, не зная, чем бы занять время. Как всегда, после большого душевного напряження хотелось спать, но спать уже нельзя было. Он засунул в чемодан умывальные прннадлежностн, пнжаму н кннжкн стнхов, купленные для Клавы,— на этом закончнлнсь сборы. Когда он не торопясь прнехал на вокзал, до отхода поезда оставалось трндцать пять мннут.

Проводннк международного вагона радушно прнветствовал знакомого пассажира:

— Раненько сегодня...

— Домой тороплюсь,— пошутнл Грнгорнй Петровнч, стараясь скрыть дурное настроенне.

Московскне прнятелн ждали его сегодня вечером, н теперь Немнров поннмал, что поспешное бегство от ннх будет воспрнnято как результат неудачн у мнннстра. Хуже всего, что онн не ошнбутся.

А впрочем, какая ж это неудача? Итог поездкн более чем хорош! Решенне о механнзацнн заготовнтельных цехов состоnтся в этом месяце, все доказано н договорено. Вопросы снабження режущнмн ннструментамн разрешены блестяще, указання даны, в Ленннграде останется только реалнзовать нх. Наконец, новые станкн...

Встреча с Волгнным в Москве пронзошла случайно, так же как она могла пронзойтн в Ленинграде. Волгнн сообщнл, что «Горелов землю роет — не радн лн старого прнстрастня к турбннщнкам?» н новые станкн будут сданы в самом начале нюля.

«Как видите, что обещаем — делаем»,— сказал Волгин.

Заслуги Немирова тут не было, участие Горелова в этом деле по-прежнему уязвляло, но тем не менее получение станков — крупное подспорье. И новость о станках естественно входит в общий хороший итог поездки.

Итак, все удалось, как было задумано,— нажать, добиться, приехать с блестящими результатами, еще раз поразить всех своей энергией и умением решать вопросы крупно, кардинально. Все вышло именно так. И если бы не эта последняя беседа с министром... ну зачем было поднимать разговор о «попытке подрыва авторитета», об «организованной проработке»? Все равно толку не вышло, а противный осадок остался.

Пассажиров в вагоне маловато. Хорошо бы остаться в купе одному, основательно выспаться, а завтра приехать на завод и так «завернуть» дело, чтобы все сразу почувствовали — хозяин!

Уют купе напомнил о Клаве. Немирову всегда казалось заманчивым поехать с нею вдвоем в Москву, они много раз уславливались об этом, но всякий раз что-нибудь мешало. А в этот раз они и расстались не помирившись. Когда он позвонил ей и сказал, что через час уезжает, Клава помолчала и суховато спросила: «Надолго?» А потом пожелала успеха. Ему показалось, что она сию минуту повесит трубку, он почти крикнул: «Клава!» Она спросила: «Что?» И они так и не сказали друг другу ничего, что покончило бы с нелепой вечерней ссорой. А сейчас ему томительно захотелось видеть Клаву. Вот бы она оказалась тут! Посадить бы ее в уголок дивана и смотреть, как она чуть покачивается в такт движению поезда.

Он оставил гореть одну настольную лампу, расстегнул пиджак, устроился поудобней и от нечего делать достал книжки стихов. Он любил слушать, как читает Клава, но сам не умел читать стихи и, стараясь отвлечься от назойливых мыслей, попробовал юношескую игру: раскрыть книгу и наугад ткнуть пальцем в какие-нибудь строки — что выпадет?

Выпало:

Над улицей тихой,
Большой и безлюдной,
Вздымался рассвет
Государственных будней...

Строки ему понравились, но дальше стихотворение уводило в сторону от возникших у него мыслей, и он вернулся к понравившимся ему строкам. «Рассвет государственных будней...» Да, будни... Будни труднее бед. В беду — напряжение всех сил, упорство, в праздник — подъем духа, а тут — день за днем, одна забота погоняет другую, удача напоминает о том, что еще не достигнуто,— так вот и крутишься. И может быть, всего важнее не забывать, что будни — государственные, то есть не терять масштаба? Правильно, а вот попробуй-ка!

Он раскрыл еще одну книжку и снова ткнул пальцем — что выпадет? Попался какой-то пейзаж. Раскрыл в другом месте:

Мальчишка плачет, если он побит,
Он маленький, он слез еще не прячет,
Большой мужчина плачет от обид —
Не дай вам бог увидеть, как он плачет.

Стало страшно. Игра, чепуха, а сердце сжалось. Завод? Клава? Фу, какой вздор. Плакать,— он еще, слава богу, не плакал никогда. А все дело в том, Григорий Петрович, что ты сам себя обманываешь, а тебя все-таки крепко щелкнули по носу!

Уже не загадывая, он перелистывал сборники, но навязчивые мысли лезли в голову, и перед глазами мельтешили, как бы впечатанные между стихотворными строками, слова, услышанные им сегодня:

«А вы попробуйте, отвлекитесь от амбиции и посмотрите на себя со стороны. Может, кое-что представится по-иному? Знаю я Диденко, слава богу, не первый год. Еще монтажником помню. Чтобы Диденко начал разводить склоку?.. подрывать ваш авторитет?.. Бросьте, Григорий Петрович. Ошибки надо исправлять, а нервы — лечить».

... Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой...

Взгляд у министра был проницательный и холодный. Министр не терпел «психологии», это все знали, кто работал с ним. Пришел по делу — и говори о деле. Вот об инструментальной базе — это дело, инструмент действительно нужен, выхлопочем, обеспечим. Средства на механизацию заготовительных цехов подкинуть досрочно — тоже дело, поможем. А насчет амбиции, авторитета, взаимоотношений — об этом дома говорить надо, с женой, на досуге.

Ну, а если именно дома, с женой, об этом не заговоришь? Строки стихов вдруг пробились к его сознанию, он снова, как бы впервые, прочитал их и несколько раз повторил, плененный их звучной простотой:

В саду косил он под окном
Траву с росою белой...
. . . .
Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

Пахучий, мокрый от росы луг возник в памяти — луг из забытого раннего детства. Знобящий холодок утра, острый запах стебля, размятого на ладони, свист отцовской косы... Было это или не было? Он не помнил своего отца, не помнил своего детства

до той поры, когда очутился в городе у дяди. Мать осталась в памяти лишь смутным воспоминанием. Сам по себе, вне обстановки родительского дома, помнился коврик с петушками над кроватью да еще подпрыгивающий на крашеном полу кубарь. И вот теперь этот луг и свист отцовской — не чьей-нибудь, а именно отцовской тонкой косы...

Он почувствовал себя обиженным, очень одиноким в этом пустом, сверкающем вагоне.

«Да что это я? Какая-то сиротская грусть напала!»

Григорий Петрович отложил книгу и хотел было выйти на перрон, на люди, но в эту минуту жизнь сама ворвалась в вагон. Мимо двери купе проплыли два чемодана на плече носильщика и третий — в руке, мелькнуло миловидное женское лицо под черной шляпкой, похожей на цилиндр, генеральские погоны, еще одна шляпка — зеленая, затем еще погоны, штатские пиджаки и шляпы, букеты цветов, коробка с тортом. Головка в цилиндре заглянула в купе Немирова, самоуверенный взгляд небрежно окинул раскрытый чемодан, самого Немирова и брошенные на диван книги.

— Да, но нижнее место занято!

Немиров подобрал ноги и подтянулся, стараясь незаметно изменить свою слишком домашнюю позу. Молодая женщина заметила это, еще раз изучающе оглядела его и спросила:

— Простите, вы не согласитесь уступить нижнее место генералу?

В тот же миг две руки взяли ее за плечи и вместо нее показался сам генерал:

— Ну что ты вздумала, Леля! Извините нас за шум, сосед, мы прямо с имении, можно сказать — с бала на корабль.

Из коридора прозвенел тот же голос:

— Как хочешь, милый. Но мы с Лёкой располагаемся вместе и будем болтать всю ночь!

— А я буду спать как сурок,— сказал генерал и отступил, пропуская носильщика с желтым чемоданом.

Затем вся компания повалила на перрон. Немиров вышел покурить у открытого окна и наблюдал, как толпа провожающих шумно прощалась с двумя молодыми женщинами. Генерал стоял чуть в стороне с провожавшим его полковником и слегка утомленно, но добродушно наблюдал веселую прощальную суету.

Поезд уже тронулся, когда генерал и его спутницы прошли мимо Немирова в соседнее купе.

— Ну, болтайте, сороки, а я пошел отдыхать,— сказал генерал и шагнул в купе к Немирову. Его широкое, простодушное лицо и крупная седая голова, венчающая большое, грузное тело, понравились Немирову.

— Если хотите, я буду спать наверху,— предложил Григорий Петрович.— Я старый физкультурник.

— А я тоже старый физкультурник,— сказал генерал и

опустнлся в кресло напротив Немирова.— Что ж, давайте знакомиться.

Онн назвались. Генерал слыхал о директоре Немнрове н теперь удивился его молодости.

Проводник принес крепкого чая. Генерал вытащил нз желтого чемодана флягу с коньяком и два вдвигающихся одни в другой стаканчика. Чокнулись и выпили. Взрыв смеха донесся через стенку. Генерал прислушался и улыбнулся удивленно, как бы признаваясь в собственной странной слабости.

— Воевать не так устаешь, как в этих, знаете ли, развлечениях,— сказал он.— Прямо голова кругом. Вот взял с собой в Москву проветриться. И, знаете, попал в переделку! А сегодня Леля именинница, так с утра праздновать начали. Еле-еле увез. Подругу прихватили с собой погостить, а то бы н не увезти В общем, знаете, попал в женские ручки...

Он потеребил щеку н спросил:

— Женаты?

— Да. Но моя жена — почти товарищ по оружию.

И Григорий Петрович начал рассказывать о Клаве. В середине рассказа вдруг вспомнил последнюю ссору и неласковый голос, каким она попрощалась с ним. Он вздохнул н подставил стаканчик.

— Давайте уж по второму — за наших жен.

Генерал охотно поддержал тост, потом задумчиво сказал:

— Да, жены... Моя первая жена была врачом. В войну — военным врачом. Погибла уже под конец, на Дунае. Потерял ее — думал, никогда не женюсь... А вот...

И, помолчав, пожал плечами.

Новый взрыв смеха раздался за стеною.

Генерал снова прислушался, и выражение нежности прошло по его лицу, а затем набежала какая-то тень.

— Товарищ по оружию, как вы сказали, это большое счастье,— проговорил он, видимо высказывая давнюю, хорошо продуманную мысль.— И пусть вас не пугает, что занята очень, что вам уделяет меньше времени, чем хотелось бы, что хозяйство не на высоте. Жена-товарищ... да вы, друг мой, сами не знаете, как это много!

Он залпом выпил полуостывший чай, потеребил щеку и начал расспрашивать собеседника о заводе. Видно было, что ему стыдно своей откровенности и хочется уйти от слишком интимной темы.

На первый общий вопрос генерала — как идут дела на заводе? — Григорий Петрович ответил обычными, ничего не говорящими словами:

— Крутимся помаленьку.

Но уже через минуту с увлечением рассказывал о своем заводе и старался проанализировать все то, что характерно для нынешнего дня советской промышленности.

— Я начал работать учеником, так что прошел все ступени..

Промышленность меняла свое лнцо у меня на глазах, н я менялся вместе с ией. Возьмите мой завод. Первоклассный завод! Но это уже вчерашиий деиь иашей индустрии. Новые строятся по другому прииципу. Завтрашннй деиь индустрии — автоматическне поточиые лннии, высокая совершениая техника, где рабочнй — иаладчнк, оператор, техннк-электрнк в белом халате, обслужнва ющнй зал машин. Как на электростанцнях, видели? А роль директора — роль старшего, еслн хотнте, наладчика, организатора высокооргаиизоваиного образцового механизма.

— Вроде комаиднра днвизнн или корпуса,— сказал геиерал.— Сложное техиическое хозяйство, тысячн людей... Хотя, иаверно, это формальиое сходство?

— Пожалуй, нет. Суть та же,— сказал Немнров. — Но в армии проще, там строгая днсцнплниа естествеинее и бесспорнее. А ведь руководить вообще иельзя без днстанцни.

Он поморщился, вспомиив иедавнее собраине. Попробуй-ка руководить, когда массовое собранне крнтнкует каждый твой шаг и всем до всего есть дело!

— Разве? — с сомиеннем сказал геиерал.— По совести, я н в армнн ие стороиинк этой самой дистаицни. Коиечно, от солдата до геиерала — расстояние большое. Но, ей-богу, снла властн — малая сила перед силищей подлннного авторнтета командира и общего созиаиня бойцов. А что такое авторнтет? Тут много всего соеднняется... ио, как мие кажется, иепременно — умение прислушнваться н к офицерам и к солдатам, ощущать нх иастроеиие, нх волю...

— Все это так...— Немнров усмехнулся н махнул рукой.— Конечио, так н есть. Но у иас это все... В общем, иной раз, знаете, устаешь от критнкн и самокритики.

Оии оба засмеялись. Геиерал иалнл коиьяку н подиял стаканчик.

— Что ж, выпьем за этот беспощадный закон иашего движеиия,— с улыбкой сказал ои.— Любить критнку, наверио, невозможно, но без нее мы, должно быть, чаще ломали бы себе головы. Верно?

— Выпьем за то, чтобы оиа была разумиа,— пробурчал Немиров н опрокннул стакаичик. Ои помрачиел, прнпомнив все обнды, перенесенные за последиие дии, н разговор с министром, иасмешливо отчнтавшнм его. Легко рассуждать геиералу, ему бы в такой переплет попасть, что бы ои тогда сказал?

— Перемеиим тему, а? — предложнл ои.— Я как раз весь в снняках от крнтнки и самокритнки, так что...

— Переменим! — охотно поддержал генерал н дружески положил руку иа колеио Немнрова.— Сниякн, бывает, садият н чешутся, я зиаю. А может, если отвлечься от обиды...

И, не докончнв мысль, он спроснл о реитабельности — много лн иового в жнзнь завода внесла борьба за рентабельность.

Григорий Петрович обрадовался новой теме,— она была одним из его «коньков».

— Рентабельность — это переворот! — воскликнул он.— Я не буду вас утомлять подробностями, но это тот рычаг, которым можно и нужно перевернуть всю систему управления, добиться четкой, совершенной организации.

Он запнулся, потому что вдруг вспомнил, что на собрании кто-то с пылом требовал этой самой высокой организации. Ах да, Воробьев! И еще он говорил о новом стиле руководства. Второй раз при директоре Воробьев требовал этого нового стиля. Как он себе представляет его? Немиров хорошо знал, чего он сам добивается, говоря о высокой организации. Оперативность всех звеньев заводского механизма. Соответствие всей технической базы растущим производственным задачам. Слаженность работы кооперированных заводов, чтобы их взаимные обязательства выполнялись с предельной точностью. Вот это он и называл высокой организацией. А новый стиль — это что-то неясное. Беллетристика, разговорчики...

— А я ведь вам сейчас завидую,— сказал генерал, вздыхая.— Конечно, очень почетно стоять на страже своей родины. Я военной профессией не тягощусь. Вся жизнь ей отдана. А раз себя вложил — как не любить? Люблю. Но иногда задумаешься: не будь этих проклятых капиталистических блоков, военной опасности, необходимости держать военные силы наготове — кем бы я был? Вся страна строит, творит. А что бы мог делать я? Накопил организаторского опыта, умения руководить людьми — двинуть бы все это в созидательный труд!.. Ваше дело замечательно тем, что вы видите человека в его самом прекрасном проявлении — в труде, в д е л а н и и, как говорил Горький.

— В делании? — повторил Немиров. Слово поразило его выразительностью.

— А вы в самом центре этого делания,— с живостью продолжал генерал.— То, что мы знаем теоретически, что ли, вы повседневно видите, ощупываете, направляете. Скажите, очень изменился рабочий класс за эти годы? Я имею в виду один из основных признаков коммунизма — ощутим ли уже процесс стирания граней между физическим и умственным трудом?

— Ощутим ли?..— пробормотал Григорий Петрович. Он, конечно, не раз говорил об этом признаке коммунизма, говорил в речах, в докладах, так же как еще до войны рассказывал о нем своим слушателям в политшколах. Но сейчас он, пожалуй, впервые попытался определить, как же проявляется этот признак в хорошо знакомых ему передовых рабочих и в той общей массе их — коллективе, о котором он не раз говорил: «Моему народу только скажи», «с нашим народом все проверим!» Очень ли изменился рабочий класс за последние годы?

— Да вот вам примеры,— заговорил он, раздумывая вслух.— Выступал у нас на днях лекальщик Авдеев. Как лекальщик это

новатор природный, я бы сказал — он просто не умеет работать механически. Цеховой технолог — его первый друг, и я уж не знаю, кто кого больше учит. А выступил он на собрании — честное слово, не всякий начальник цеха сумеет предъявить такой счет и заводу, и министерству, и ученым! Одной из целей моей поездки в Москву были его деловые предложения — очень своевременные, очень полезные! Или еще: есть у нас слесарь Воловик. Мне даже всыпали однажды на партбюро турбинного цеха, что не даем простора творчеству Саши Воловика...

Он рассказывал о настойчивости изобретателя и его товарищей, невольно хвастая перед генералом своими заводскими людьми, и вдруг опять на минуту запнулся, потому что мелькнула сторонняя мысль: а ведь именно эти самые люди, которыми я сейчас хвастаю, выступали против меня на партийном собрании! Призадумаешься тут...

— Воловик делал недавно доклад в Доме техники,— продолжал он.— Он и его молодой помощник Никитин все время покупают книги, подбирают себе технические библиотечки. Показатель это? Думаю, что да.

В его памяти всплыл облик комсомольского бригадира Коли... Кости... нет, Коли Пакулина, и афиша с объявлением, что Пакулин делает доклад в молодежном общежитии: «Моральный облик молодого человека эпохи построения коммунизма». Немирову вдруг захотелось узнать, что именно говорил в своем докладе этот Коля и что он думает о нем, о Немирове, и о новом стиле, которого требует Воробьев.

— Вы спрашиваете — ощутим ли процесс? Вот возьмите оргтехплан,— продолжал Немиров.— Что за штука, спросите вы? По существу — план коллективного творчества. Если вдуматься, впервые в истории на заводе — не в научно-исследовательском институте, а на заводе — весь коллектив или, во всяком случае, значительная часть коллектива решает, куда направить творческую мысль, что и как усовершенствовать, что механизировать. У нас по заводу в составлении оргтехплана участвовало свыше полутора тысяч рабочих. Рационализаторских предложений подано только с момента его составления четыреста семьдесят. Ощутим процесс?

— Да, да! — подхватил генерал.— Но до чего же у нас невнятно пишут об этом! Или я проглядел? Ведь это ж, оказывается, ласточка коммунистического завтра!

— Вот именно,— увлекаясь, подтвердил Немиров и сам удивился тому, как это прекрасно и как новы для него сейчас эти мысли.— И, знаете ли, этот процесс ставит перед нами, руководителями, совершенно новые задачи. Стиль руководства усложняется и, пожалуй, меняется. Да, меняется! — повторил он больше для самого себя, чем для собеседника.— Ты, хозяйственник, становишься как бы главой не только производственного, но и творческого организма. Твой коллектив — все меньше исполни-

тели, все больше — соавторы конструкторов, технологов, инженеров...

— Я над этим никогда не задумывался,— сказал генерал.— Но тут, очевидно, можно до какой-то степени прощупать стиль отношений в коммунистическом производстве. Верно? Там все будет законченнее, полнее, но развитие идет именно по этому пути? Очень, очень интересно. Счастливый вы человек!

Григорий Петрович вскинул на него глаза и сразу опустил их. Оживление его померкло. Он глубоко вздохнул:

— Трудно, знаете. Вы вот нашли, что я молод. А трудно не устареть, не отстать от движения времени. Запутаешься в неувязках да недоделках, того и гляди — основное прозеваешь.

Он еще раз вздохнул, почувствовав себя усталым и сбитым с толку собственным, только что пережитым увлечением.

— И потом, знаете, как во всяком процессе — есть крайности, помехи, мешающие этому процессу. Хотя они, быть может, им и порождены.

— А именно?

— Понимаете, в период созревания в молодой голове бывают не только смелые и талантливые, но и вздорные мысли.

Генерал, смеясь, развел руками:

— Тут уж, видимо, зрелый опыт и ум руководителей приходят на помощь!

— Стараемся,— угрюмо сказал Немиров.

Грустно усмехаясь, он заново как бы охватил все, о чем только что говорил. Что ж, в общем интересно, можно увлечься. Но не преувеличил ли он того, что происходит? Увлекательно почувствовать себя главою творческого коллектива, но ведь основное его время поглощают другие заботы — задержки заготовок, нехватка инструмента, простои вагонов и прочее, и прочее, и прочее... Да и разве все рабочие похожи на Воловика или Авдеева?..

— К сожалению,— сказал он,— пока такие люди, как те, о которых я рассказывал, составляют все-таки меньшинство.

— Но меньшинство — определяющее?

— Конечно, поскольку будущее за ними.

— А настоящее?

— То есть?

— Видите ли, мы, военные, иногда говорим: такой-то батальон храбрый, стойкий. Значит ли это, что там все солдаты храбрецы? Нет, конечно. Это значит только, что в батальоне храбрый и талантливый командир, что там есть ядро храбрых, опытных, закаленных солдат. Они определяют лицо батальона, то есть поведут за собою остальных, скажем, поднимут под огнем в атаку или удержат рубеж, как бы ни было тяжко.

В умывальной раздались голоса, плеск воды, потом оттуда постучали. Генерал поспешно открыл дверь:

— Кто собирался спать, как сурок? Болтунишка!

Молодая женщина с любопытством оглядела Немирова, кокетливо сказала обоим мужчинам:

— Спокойной ночи!

И скрылась за дверью.

— И впрямь пора спать, уже третий час...

Немирову казалось, что у него голова распухла от мыслей и на всю ночь хватит разбираться в них, но вместо этого он сразу же крепко заснул.

Проснулся он при ярком свете солнечного утра. Генерал, уже умытый и одетый, входил в купе из коридора, внося с собою запах одеколона и табака. В открытую дверь за ним ворвался порыв свежего ветра.

До Ленинграда оставался час езды.

— Пока вы сладко спали, я подышал у раскрытого окошка, и знаете, о чем думал? Думал о том, что если на моем веку отпадет военная опасность — обязательно попрошусь в директора. На какой-нибудь там небольшой заводик. Дадут, наверно? Очень вы меня раздразнили вчера!

— Гене-ра-ал! — позвали из соседнего купе.

— Сейчас, сейчас, Лелечка!

— Завтра-ка-ать!

Как подобает военному, генерал с утра был в полной форме, и все-таки, когда он направился в соседнее купе, он произвел на Немирова впечатление человека, который только сейчас застегнулся на все пуговицы и подтянул все ремни.

За одиноким чаем Григорий Петрович усмехался — ишь ведь как со стороны кажется заманчиво! «Раздразнил»... Но если все, что я с таким увлечением наговорил,— правда, значит я действительно чего-то недоглядел, недодумал? Хотя, черт возьми, какое это имеет отношение к планированию?

И он всеми помыслами устремился к тому, что ему предстояло сделать сегодня. Были дела приятные — принять меры к реализации всего, чего он добился в Москве. Затем — разговор с Диденко и, возможно, в райкоме с Раскатовым. Это менее приятно. А может быть, начать с поездки в Смольный, к секретарю горкома партии?

Поезд подходил к Ленинграду, пересекая зону мертвой земли — места длительных боев Отечественной войны, где все еще виднелись засыпанные, размытые дождями блиндажи, зияющие дыры ходов сообщения, рваные клочья колючей проволоки. Во всей этой зоне деревья были срублены, сожжены, сметены снарядами и бомбами. Но трава росла тут густо и сочно, и множество молоденьких ростков взметнулось рядом с обожженными пнями, и даже на искалеченных, обугленных стволах тут и там пробились зеленые веточки.

Промелькнули за окнами обновленные корпуса Ижорского завода, новые домики колпинского предместья, поля и строения

пригородного совхоза — и уже пора было закрывать чемоданы да надевать пальто: Ленинград!

— Познакомьтесь, соседушка, с моими щебетуньями!

Из-за спины генерала выглядывали обе молодые женщины.

— Жена очень хочет познакомиться с вами. У вас на заводе работает ее приятель, друг детства.

— Алеша Полозов,— сообщила она с гримаской.— Знаете такого?

— Как же,— сказал Григорий Петрович, хотя это имя не доставило ему ни малейшего удовольствия.— Один из наших передовых инженеров.

— Да-а? — протянула Леля, и в ее красивых глазах вспыхнули насмешливые, а может быть, и злые огоньки.— Он всегда был ужасный паинька!

— Вот уж не думал,— в тон ей ответил Немиров.— На заводе он ужасный забияка!

В памяти ожило собрание, дерзкая речь Полозова, жесткие определения Ефима Кузьмича, самокритика Диденко, каждым словом хлеставшая по нему — по Немирову, но так, что не придерешься... И Григорий Петрович, продолжая малозначащий разговор с генералом и его спутницами, принял твердое решение: первым делом, не заезжая на завод, созвониться с секретарем горкома партии и отправиться в Смольный.

2

Секретарь горкома не принял Немирова, и не принял в обидной, хотя и вполне вежливой форме.

— Занят, Григорий Петрович, по горло занят всю неделю,— сказал он.— Давайте в начале следующей, скажем, во вторник с утра. А пока поговорите с Раскатовым, мы с ним и Диденко третьего дня беседовали и наметили, чем и как помочь вам.

«Так... Понятно...» — сказал себе Григорий Петрович.

Он приехал на завод злым, но старался выглядеть бодрым и довольным. Деловые итоги поездки он сразу сообщил Алексееву и всем, от кого эта новость должна была распространиться по цехам. Каширина, интересовавшегося решением вопроса о планировании, он не принял, секретарше приказал сообщить в партком, что директор вернулся и пошел на производство.

Внутренне настороженный — в цехах он еще ни разу не был после партийного собрания,— Немиров держался в этот день особенно сухо и властно. Но начальники цехов встречали его поздравлениями (весть о его московских успехах, как он и хотел, уже дошла до них!) и, конечно, его ждали с рядом срочных дел, требующих решения. Никакого недоброжелательства или затаенной насмешки он не уловил.

С остротой восприятия, всегда появлявшейся у него после любой, даже недолгой отлучки, Немиров подмечал все перемены,

отчетливо видел, где хорошо, а где плохо. И тут же хвалнл, распекал, принимал нужные решення, отдавал приказаиия. Но где-то внутри продолжало томить предстоящее объясиенне с Раскатовым и Дидеико. Для чего онн ездилн без него в горком? И что там было решено?

Первым человеком, которого он увидел в турбиииом цехе, был старик Клеменитьев. Вспоминв его резкую речь, Григорий Петрович хотел избежать встречи, но Ефнм Кузьмич, как ни в чем ие бывало, подошел поздороваться н тут же иачал жаловаться иа фасониолитейиый цех — опять дефекты литья.

«Помнит ли он о своем выступлении против меня? Во всяком случае, сейчас он надеется, что именно я помогу, вмешавшись в сложные отиошеиия двух цехов».

— Нет у меня свободиых сварщиков! — говорил Ефим Кузьмич с возмущением.— У меня своих дел не переделать, я уж им звоиил: их дефекты — пусть они и устраияют! Обещалн своего сварщика прислать — а где он? Два дия жду...

Грнгорий Петровнч тут же, из коиторки мастера, позвоиил в фасоииолитейиый цех.

— Да Григорий Петрович! — взмолился иачальник цеха.— Это же литье, а ие ювелириая работа! Сколько я работаю в цехе...

— То, что вчера было прнвычио, сегодия — иикуда ие годится,— с удовольствнем сказал Немиров и подмигиул Ефиму Кузьмичу.— Давай, давай своего сварщика. Чтоб иемедлеино пришел, пока я здесь.

— Вот спасибо, Григорий Петрович, вот спасибо! — повторял Ефим Кузьмич, провожая директора до граиицы своего участка.

Началась сборка второй турбины, и Григорий Петрович подиялся иа стенд. Гаршин стоял возле только что устаиовлениого цилиндра и что-то втолковывал одиому из сборщиков, по привычке пересыпая речь затейливой ругаиью.

— Товарищ Гаршии! — резко окликиул его Немиров.

Гаршии обернулся и вдруг побледиел, а потом багрово покрасиел. Видио, ие зиал о возвращеиии директора? Его смущеиие было так велико, что ои забыл поздороваться. Но почему ои так смутился?

— Иижеиеру пора иаучиться разговаривать без этих забориых слов,— сказал Немнров, даже ие пытаясь скрыть раздражеиие.— Прошу и требую, чтобы это было в последиий раз!

Обычио ои ие позволял себе делать замечаиия руководителям при подчииеииых, и все это зиали. Гаршии дерзко посмотрел в лицо директору.

— Слушаюсь. Просто дурная привычка,— произиесли его губы, в то время как весь его вид говорил: «Вот как! Зиачит, иачииаешь сводить со мною личные счеты? Что ж, выиужден стерпеть, поскольку ты иачальство!»

— Доложите положение на сборке,— отводя глаза, сухо приказал Григорий Петрович.

Подошли Любимов и Полозов, дополиили ие очеиь связиый доклад Гаршииа. Как всегда, были перебои, задержки и осложиеиия, ио Григорий Петрович видел, что ход производства второй турбииы выгодио отличается от авральной горячки, сопровождавшей выпуск первой.

— Начииаете выправляться,— скупо похвалил ои.

— Даем сто пятиадцать процентов плаиа,— похвастал Любимов.

— Да, ио по третьей турбиие пока иедовыполияем,— прибавил Полозов.

Немиров потребовал график. Обработка ряда деталей третьей турбины вызывала тревогу. Механические участки были пока иедогружеиы, заготовки запаздывали...

— По плаиу оии поступают даже с превышеиием,— уточиил Полозов.— Но по иовым срокам это иас ие устраивает.

Наступила короткая пауза.

Григорий Петрович взялся за телефои и тут же переговорил с заготовительиыми цехами, пытаясь ускорить поступлеиие заготовок. Начальиик термического цеха, оправдываясь, а может быть, и желая уколоть директора, запальчиво сказал:

— Учтите, Григорий Петрович, что мы и так все время даем сверх плаиа!

И Григорий Петрович впервые ощутил, что, пожалуй, ему самому — ие Диденко, ие рабочим, ие иачальиикам цехов,— ему самому было бы удобиее и проще руководить, если бы существовал стахаиовский плаи, согласоваииый с иовыми сроками, все предусматривающий, все охватывающий...

— Что ои говорит? — осведомился Любимов, когда директор рассеяиио повесил трубку.

— Оправдывается. Что ж ему еще остается! — проворчал Немиров, иаправляясь к выходу.— Ничего, иажму как следует — сделает!

Поскользиувшись иа забрызгаииой маслом металлической лесеике, ои опять раздражеиио отчитал Гаршииа:

— В каком виде у вас стеид? Грязищу развели — смотреть тошио!

Не успел Григорий Петрович войти в свой кабииет, как позвоиил Дидеико: приехал Раскатов, ие зайдете ли в партком?

— Очеиь рад, сам хотел поехать к иему,— сказал Немиров.— Но, к сожалеиию, жду звоика из Москвы. Поэтому прошу ко мие.

Звоика из Москвы ои ие ждал. Ои предвидел, что разговор будет иеприятиый, а в своем кабииете ои чувствовал себя увереиией.

Приветливо встретив Раскатова и Дидеико, ои с оживлеиием человека, довольиого собою и увереииого в себе, коротко перечислил свои московские успехи, выслушал поздравлеиия и сразу повел беседу дальше:

— Я разговаривал с миистром и выясиил миого иитересиого

о положенни краснознаменского стронтельства. Оно форснруется энергичнее, чем можно было предполагать.

И он рассказал, тонко подчеркнвая новнзну каждой подробностн, какие меры принимаются, чтобы к зиме пустнть н полностью снабднть электроэнергией вступающне в строй заводы иового промышлениого районa. Хотя в общнх чертах все это было нзвестио и раиьше, Григорий Петрович рассказывал так, что выходило — полученные им сведения днктуют новое поведеине, требуют иовых усилий, заставляют миогое пересмотреть.

Раскатов и Дидеико слушали с ннтересом. Онн поинмали, что Немиров в этом рассказе обрел «формулу перехода» от своей ошибки к исправлению ее, и дружелюбно шлн ему навстречу: решнл человек исправить ошнбку, нашел для этого менее болезиеиный, ие ущемляющий самолюбие путь — ну н прекрасио!

Закончнв рассказ н чувствуя, что подошел к самому главиому н тревожащему, Грнгорий Петровнч нахмурился н сказал:

— У меия пока все. Поскольку вы нашлн нужным без меня обсудить дела завода в горкоме, прошу сообщнть, к чему вы пришли.

Дидеико весь вскииулся:

— Зачем же так, Григорий Петровнч! Ннкто вас не обходнл. Вы были в Москве. Ждать вашего прнезда, прн срочности задач, было иевозможио. Результат партнйного собрания...

— Да, да, да! — почти закричал Немиров, теряя свою обычиую уравновешииость и сам чувствуя, что поступает вопреки здравому смыслу.— Я ие мальчик н прекрасно все поиимаю. Именно иа следующнй деиь после моего отъезда поиадобилось идтн в горком и без меия обсуждать заводскне дела. Что ж! Расскажите, по крайней мере, что вы решнлн.

Ои отошел к окиу и рывком раскрыл его. В комнату ворвался теплый летний ветер, к которому прнмешнвался горьковатый запах дыма.

«Кукушка» потяиула нз ворот лнтейного цеха платформы с отливками. В центре заводской площадн садовннцы высажнвали иа клумбы цветы. Из ворот цеха металлоконструкцнй выполз грузовик с прицепом, нагруженный массивной фермой для нового крана. По окиам прокатного скользят бледные прн дневном свете зарницы — значнт, там плывет по воздуху раскаленная болваика.

Григорий Петрович смотрел иа зиакомую до мелочей, милую сердцу картину с чувством обнды — все это как бы прннадлежало ему, иаправлялось нм, все его силы вложены сюда... А вот ведь — без него и, может быть, еще хуже, протнв него! — пытаются решать дела этого завода, его завода!

Не оборачиваясь, он слушал Раскатова. Да, горком решил помочь. Соберут представителей коопериироваииых заводов... уточнят сроки по обеспечению турбин и генераторов для Красиознаменки... Все это правильио. Готовнтся совещание начальников плановых отделов... Так. Ясно.

Раскатов вдруг мягко сказал:

— В начале разговора я надеялся, Григорий Петрович, что вы подумали во время поездки, все уяснили себе с министром и мы быстро найдем общий язык. Зачем же мелочные обиды, счеты, амбиция?

Немиров повернулся к своим собеседникам. Свет, падающий из окна, подчеркнул его позу — упрямую и самоуверенную.

— Если говорить о деле,— я обещаю и гарантирую вам, что четыре турбины мы дадим в срок! Я этого добьюсь — или можете требовать моего снятия, как человека, неспособного руководить заводом.

— Превосходно,— сказал Диденко.— Значит, вы дадите приказ о внутризаводском планировании в соответствии с новыми сроками?

— Возможно,— со злостью, но уже спокойно ответил Немиров.— Я еще не принял решения. Завтра с утра я разберусь с Каширным и тогда решу.

— А какова точка зрения министра, Григорий Петрович? — добродушно спросил Раскатов.

Немиров мог поручиться, что Раскатов знает ее. Откуда? Может быть, министр звонил на завод? Или секретарь горкома сам звонил министру?

— Я не знаю, что известно вам,— сказал он мрачно.— Но если вы хотите моей откровенности,— пожалуйста. Я просил у министра поддержки, потому что сомневался в возможности успешно руководить людьми в атмосфере проработок, нажима и подрыва моего авторитета. Министр нашел, что я слишком мрачно смотрю на вещи. Буду рад, если он окажется прав... если партийная организация начнет реально помогать мне, а не заниматься расшатыванием моего авторитета, как на прошлом собрании.

Диденко сделал протестующий жест, потом тихо спросил:

— А вы не думаете, Григорий Петрович, что ваше желание прислушаться к мнению коллектива не расшатает, а подымет ваш авторитет?

— И еще знаете что, Григорий Петрович? — подхватил Раскатов.— У вас уж очень часто и ярко звучит: я, я, я! Я сделаю, я добьюсь, я дам турбины, я гарантирую. Конечно, вы — единоначальник, ваших прав никто не ущемляет. Но что вы можете сделать один, без коммунистов, без всего коллектива? А ведь вы даже о партийной организации судите с точки зрения своего «я». Помогать м н е, м о й авторитет! Вам кажется, что коммунисты только и думают о вас, что их задача — помогать в а м, а не в м е с т е с в а м и выполнять общую задачу. Хотите полную, откровенную правду? Ваш авторитет начал колебаться потому, что вы переоценили самого себя и противопоставили себя коллективу, как некое всесильное божество: я все могу, со всем справлюсь сам, только слушайтесь и не мешайте!

Григорий Петрович пошарил по карманам в поисках папирос, не нашел их, чертыхнулся. Раскатов подвинул ему папиросы и сказал:

— Обдумайте все это, Григорий Петрович, по-хорошему, спокойненько обдумайте. Вы работник сильный. Но переоценка своей силы иногда превращается в слабость. Вспомните легенду об Антее.

Он встал и уже с улыбкой добавил:

— Ваш приятель Саганский упрямился и злился так, что стены дрожали. А теперь смотрите, как завернул дело! Кстати, Саганский уверен, что идея насчет планирования — ваши козни.

Он взглянул на часы.

— Ой-ой-ой, как мы заговорились! Пойдем, Николай Гаврилович, мы ж на пять часов людей вызвали!

Они уже ушли, когда Немиров сообразил, что нужно было просто улыбнуться в ответ на вопрос о планировании и сказать, не придавая этому преувеличенного значения: «Что ж, давайте вводить, если это необходимо, но уж тогда и помогайте покрепче, чтоб потом не оскандалиться!» Вот и все, что следовало сказать... На кой черт опять осложнять отношения?

Он подошел к телефону и помедлил, положив руку на трубку. Утром ему не удалось дозвониться к жене. У себя ли она сейчас? И что скажет?

Он набрал ее номер, заранее готовясь услышать тот неласковый голос, каким она говорила с ним в день его отъезда, но Клава вскрикнула:

— Ой, Гриша! Как хорошо, что ты приехал!

Они условились, что Григорий Петрович сейчас заедет за нею и они пообедают дома.

Клава выбежала к машине радостная, в новом летнем платье, которого он еще не видел. Села рядом, сбоку внимательно оглядела:

— Ну, как у тебя? Что в Москве?

Он рассказал ей все те же деловые итоги поездки. Она порадовалась и тотчас спросила:

— Ну, а на заводе что?

И опять внимательно поглядела. Догадывается? Знает?..

— Началась сборка второй турбины,— ответил Григорий Петрович.

Клава вдруг засмеялась и сказала:

— Ну и хорошо. А я без тебя соскучилась.

Они ехали — рука в руке, сидя рядышком позади Кости. Немирову хотелось поцеловать Клаву, но стыдно было — в зеркальце видны настороженные глаза шофера.

Платье у Клавы яркое и очень ей к лицу. И сама она какая-то новая — оживленней, уверенней в себе.

— Ты очень похорошела, Клава,— сказал он. И сообщил как можно более беспечно и шутливо: — Встретил сегодня твоего

поклонннка. И, представь себе, ои ужасио смутнлся, увндав, что я прнехал. Уж не назначила ли ты сегодня свндання?

— Ему н назначать не нужио,— сказала Клава.— Ои н так все время попадается иа путн.

— А тебе нравнтся?

Она прнщурнлась, словио взвешнвая, нравнтся лн, потом с улыбкой ответнла:

— Есть иемножко.

За обедом Грнгорий Петрович начал расспрашивать Клаву о Саганском, о положении дел иа заводе. Клава охотно рассказывала, все так же прнглядываясь к мужу. Стахановскнй плаи уже введен в действие. Сагаиский развнвает огромную энергию для досрочного выполнения красиозиаменского заказа. На плеиуме райкома его прнводили в прнмер...

— Уж н в прнмер! — нронически протянул Грнгорнй Петрович, подсчнтывая в уме, сколько дней выгадал Саганский.

Выйдя на минутку из-за стола, он закрылся в кабииете и позвонил Кашнрнну. Тоном приказа сообщнл ему свое решеиие ввести внутрнзаводское плаинрованне в соответствии с иовыми срокамн.

— Григорнй Петрович! — охиув, вскрнчал Каширин.— Поинмаете лн вы, какая ответствеииость...

— Я-то поинмаю, а вот вы еще должны понять,— сказал Немиров.— К утру прошу вас подготовить свои соображеиня.

Когда он вернулся в столовую, Клава уже вставала из-за стола.

— Чай будем пнть у меия, хорошо? — предложнла она.

Так онн делалн, когда хотели побыть вдвоем. Не позволяя ему участвовать в хлопотах, оиа иакрыла на стол в своей комнате и ухажнвала за мужем так, как обычно ухажнвал за нею он. Перебнрала кннжкн, которые он привез ей, начала чнтать стихи... Вдруг сказала:

— Как странно. Я инкак не разберу, в хорошем ты настроенни нлн плохом.

Он осторожно взял в ладоии ее голову н шепнул:

— Когда ты такая — в хорошем...

— Значит, ты всегда в хорошем?

— Последнее время — нет.

Клава спрятала лицо в его руках. Ее реснццы, то подинмаясь, то опускаясь, слегка щекотали его ладони. Помолчав, она вдруг с решимостью подняла голову и заговорнла взволнованно, быстро, как будто боясь, что ие успеет илн позднее не решится все высказать:

— Почему, Грнша? Почему ты скрываешь от меия, как от чужой? Я не всегда такая? Да! Потому что я недовольиа, мие обидно, я иногда глупостей хочу иатворить потому, что ты со мной обращаешься как с девочкой, которую надо поить какао и беречь.

А я не девочка! И я люблю тебя не потому, что ты мой муж, ну, понимаешь, мне не то важно, что муж...

Растроганный и немного испуганный, он пробормотал с улыбкой:

— Ну вот, уже и отказываешься от меня?

Клава бегло улыбнулась, но сказала с той же горячностью:

— Может быть, и откажусь, если ты будешь как сегодня! Почему ты не скажешь все как есть? Я ведь все могу понять. И посоветовать могу! Разве у тебя есть кто-нибудь ближе меня? А если... если ты виноват, так я и вину твою пойму. А эта твоя поза... Знаешь, когда мы только что поженились, я ведь и правда верила, что ты такой — очень сильный, всегда спокойный, всегда уверенный в себе, почти всемогущий... Я даже побаивалась тебя... правда! А потом поняла, что совсем ты не такой, то есть не всегда такой, а бываешь и слабый, или вдруг заупрямишься из амбиции... а передо мной — как в маске! И я больше не хочу так! Зачем? Я же знаю, что у тебя и недостатки, и самолюбие, и эта твоя поза человека, который все может... а все равно ты для меня самый хороший, самый близкий, самый м о й, как я сама.

— Правда?

Она серьезно кивнула.

— А когда ты скрываешь... ведь я все равно узнаю, и мне горько. Неужели ты думаешь, я бы не поняла, если б ты в чем-то оказался слаб? Мне, может, еще милее...

Он молчал, пристыженный и удивленный. А Клава мягко, но требовательно попросила:

— Расскажи все.

И он начал рассказывать — сперва с трудом, потом все свободнее и откровенней. Он и не знал, что это так отрадно — выложить все, что ты делал и думал, плохое и хорошее, под внимательным взглядом ее глаз.

— А ведь Раскатов прав,— сказала она, когда он смолк.— Ты ведь сам это знаешь. Иначе не рассказал бы?

— Наверно,— согласился он.— Я ж потому и молчал, что... да нет, я и раньше понимал, что в чем-то ошибся. Больше того, я давно понимал, что здесь, на заводе, у меня пошло как-то иначе, хуже, чем на Урале. Могу ли я выправить? Думаю, что могу. Но знаешь... очень трудно даже самому себе признаться в ошибке.

— Как будто ты не можешь все исправить! — перебила Клава, встала и, обняв его, поцеловала в голову.

Он был очень счастлив в этот вечер. Так счастлив, что позвонил Раскатову и с неуклюжей шутливостью сказал:

— На всякую старуху бывает проруха, Сергей Александрович. А повинную голову и меч не сечет. Следующий раз вы меня хвалить будете. Как Саганского.

— Нет уж, хотелось бы покрепче, чем Саганского,— охотно поддержал шутливый тон Раскатов, и по его голосу слышно было,

что он тоже очень доволен.— Мы ведь с вами знаем, Григорий Петрович, что наш Саганский — старый хвастун...

Потом Немиров лежал на Клавином диванчике и смотрел на ее милое лицо, и слушал ее голос, читающий стихи, но самих стихов не слышал, а думал о своем — о том, что Клава сегодня какая-то новая и что вся история с Гаршиным, волновавшая его, на самом деле, может, и помогла в чем-то очень важном. Затем он стал представлять себе, что и как он сделает на заводе завтра, каким сердитым придет к нему Кашнрни, как вытянется лицо у Любимова и что скажет Диденко. Его покоробила мысль, что Диденко, Полозов, Воробьев и другие решат, будто они «перевоспитали», «переломили» своего директора. А впрочем, пусть думают что хотят, все равно они скоро убедятся: Немиров сумеет принять и повернуть их инициативу так, что она станет гораздо значительней, Немиров видит дальше и умеет направить лучше, чем кто бы то ни было другой!

Он вдруг усмехнулся — вот это они и называют «ячеством»? И Клава говорит: «Поза человека, который все может»... Ну, а если я знаю, что у меня есть и организаторский талант, и воля, и умение? Бригадир молодежной бригады, мастер, заместитель начальника, начальник цеха, заместитель директора, директор... Без таланта и умения такой путь в десять лет не пробежишь! И прибедняться я не собираюсь. Да и зачем бы иначе меня стали перебрасывать с Урала на такой крупный завод? Только... на уральском заводе меня любили, и все жалели, когда я уезжал, и никто на меня не обижался, хотя там я тоже был и требователен и властен, а порой и слишком крут. Почему же здесь все сложилось иначе?

Ему очень хотелось признать, что здесь не поняли, не ко двору пришелся. Но, странное дело,— воспоминания, которые он привлекал себе на помощь, оборачивались новой стороной.

Месяцы борьбы с начальником технического отдела Домашевым... Именно тогда и началась слава молодого начальника цеха Немирова, задумавшего перевести цех на поток. Какие схватки он выдержал с этим Домашевым, как он упорно настаивал на своем — и у директора, и на партийных собраниях, и в обкоме партии! Победил... Да, но ведь тогда он боролся совместно с самыми передовыми людьми цеха и завода, совместно с партийной организацией — против человека косного, инертного, трусливого...

Война... Для Немирова война означала — танки. Как можно больше танков и как можно скорее! Напряжение казалось предельным. И как раз в эти дни умер старый директор, и Немиров принял на себя его обязанности, как офицер, ставший на место убитого в бою командира,— танки, танки, побольше танков! Через несколько дней по прямому проводу он услышал голос Сталина: «Сколько сегодня?» Немиров назвал цифру выпуска танков за сутки — прекрасную цифру, стоившую колос

сального напряжения. Сталин помолчал и сказал: «Мало. Передайте рабочим, что я прошу их увеличить выпуск машин». Немиров ответил: «Увеличим»... Созывать общий митинг было некогда, он ходил из цеха в цех и на минутных летучках рассказывал рабочим и инженерам о просьбе Сталина. И люди, которые еще вчера считали, что предел достигнут, отвечали: «Увеличим!» Тысячи людей стали думать об одном и том же — как, за счет чего увеличить и без того рекордный выпуск танков? Кривая выпуска неуклонно шла вверх. Через несколько месяцев завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а временно исполняющий обязанности директора Немиров получил орден Ленина и был утвержден директором. На общезаводском митинге Немиров совершенно искренне сказал: «Своей наградой я обязан самоотверженному патриотизму всего нашего коллектива». Как же вышло, что позднее это стало забываться?

А было так. Назначение на крупный ленинградский завод обрадовало его как большое признание его организаторского таланта. Его предшественник, сдавая дела, дружески подсказывал, с какими трудностями тут придется столкнуться. А Немиров слушал пренебрежительно, заранее уверенный, что со всем справится, все наладит, всего добьется. Предшественник казался ему мягкотелым, «добреньким». Желая показать, что на заводе появился настоящий хозяин, Немиров начал с крутых административных мер — объявлял приказом выговоры, снимал, перемещал и понижал в должности работников. Одному из снятых им работников он сказал: «*У меня* нельзя работать так, как вы привыкли». Тогда об этом заговорили на парткоме, правда деликатно,— нового директора старались поддержать. «У меня!» Немиров и на Урале говорил иногда эти слова... Но там он был свой. И люди прощали своему выдвиженцу многое из того, что в новом коллективе стало настораживать и отталкивать. Там, при всей его хватке и самоуверенности, он непрерывно учился на ходу — у всех, у кого только можно было, потому что быстрое выдвижение его самого еще смущало. Польщенный лестным назначением, он приехал сюда с убеждением, что будет учить других. И учил! На первых порах многому научил и всячески поощрял инициативу людей, помогавших ему добиться того, чего он хотел. Но жизнь пошла дальше, чем он намечал, и вдруг оказалось, что он сам уже в чем-то стесняет, сдерживает рост людей.

Сейчас, слушая голос Клавы и не вникая в смысл того, что она читает, он ощутил все это как тревожную и горькую догадку. «Я стал тормозить что-то новое?» Он быстро взглянул на Клаву, ему казалось, что стоит ей увидеть его лицо — поймет. Но Клава только улыбнулась ему и спросила:

— Хорошо, да?

— Очень. Почитай еще. Мне нравится слушать тебя.

Он вытянулся на диванчике, повернув голову так, чтобы Клава не видела его лица. К счастью, ей и в голову не придет...

И ни Раскатов, ни Диденко, наверно, не понимают, на чем споткнулся директор! Планирование? Пустяки! Не на нем, так на чем-либо другом сказалось бы... Если человек остановился, он начинает мешать тем, кто идет дальше.

Так что же теперь делать? Клава просила: «Не скрывай»... Сказать ей? Нет, нет! Никому ни слова. Пока не исправит. Не уверениями, не покаяниями (бить себя в грудь он не станет, этого никто не дождется!), не заигрыванием с коллективом... Просто — иначе начнет работать. Иначе подходить к людям. Почаще проверять себя...

Он внезапно оторвался от раздумий — Клава перестала читать. Она полулежала в кресле, закинув руки за голову, и о чем-то думала. Странная, не то грустная, не то лукавая, улыбка бродила по ее лицу — то тронет полуоткрытые губы, то мелькнет в глазах...

Как всегда, когда Клава задумывалась неизвестно о чем, Григорию Петровичу стало тревожно. О чем она? Что вызывает эту улыбку? Он мысленно повторил все, что она ему сказала сегодня, и понял гораздо больше, чем раньше, потому что тогда был полон своими мыслями, своими бедами. «Я недовольна,— сказала Клава,— я иногда глупостей хочу натворить потому, что ты со мной обращаешься как с девочкой». Глупостей хочу натворить!.. Ему вспомнилась вечеринка, когда она встретилась с Гаршиным, и ее лицо в тот вечер, и потом — ее слезы и эти ее слова: «Я никогда, никогда не позволю себе...» Что ж, и не позволила? Не позволяет?.. Смирение пушкинской Татьяны — «я другому отдана; я буду век ему верна»... Не хочу этого! Разве мне нужно ее смирение, ее отказ от того, кто ей мил, ради супружеской верности?

Он встал, заглянул Клаве в глаза. Она улыбнулась как-то загадочно, вопросительно.

— Клава! — воскликнул он, опускаясь на пол рядом с ее креслом и прижимаясь лицом к ее коленям.— Клава! Я хочу тебе счастья... и себе... настоящего... И я человек сильный, я хочу правды. Если ты...

Она порывисто обняла его:

— И я хочу настоящего. Взрослого. Полного. С тобой.

Любимов сидел подтянутый, растревоженный непонятным настроением директора. А Немиров чувствовал в себе нерастраченный запас сил и тот нервный подъем, который он про себя называл «полезной злостью».

— Точнее, Георгий Семенович,— перебивал он доклад начальника цеха.— Что значит «на днях»? Какого числа, к какому часу?

Он проверил и раскритиковал всю систему подготовки производства.

— Пора навести порядок. Почему и вы, и Полозов, и начальники участков суетитесь вокруг одного и того же дела? И почему у вас Гаршин — и технолог и толкач на сборке?

Он тут же составил приказ — Гаршина утвердить начальником сборки, освободив от технологического бюро. А начальником бюро назначить...

Григорий Петрович подумал минутку и твердо сказал:

— Шикина.

Любимов удивленно развел руками:

— Он неплохой технолог, но... начальником?..

— Помните его предложение с косыми стыками? Он творческий человек! А начальствовать — научится, эко дело! Боитесь вы новых людей выдвигать, оттого и топчетесь на одном месте!

— Григорий Петрович... Но он беспартийный и, знаете ли, какой-то тихий...

— Очень хорошо! — сказал Немиров.— Значит, вы не так уж плохо работали, если у вас подросли такие беспартийные. А что тихий, так я за него некоторых ваших шумных — двоих за одного отдам.

Любимов ждал минуты, чтобы подняться и уйти, отложив неспешные вопросы до другого раза, когда директор будет добрее. Но в это время Григорий Петрович сказал:

— Ничего, в ближайшие дни введем единый план и единый график, это вам сильно поможет.

— Григорий Петрович! Вам пришлось...

— Не мне пришлось, а я пришел к выводу, что собрание было право, а я неправ,— веско объяснил Немиров. И добавил: — Вам, Георгий Семенович, об этом стоит задуматься. С кем, с кем, а уж с вами я не раз советовался... но ведь советы-то надо давать хорошие!

— Григорий Петрович,— пробормотал Любимов.— Если вы мною недовольны, скажите прямо... я...

— А я и говорю прямо,— перебил Немиров.— Недоволен, но надеюсь, что вы сумеете выправиться. Только работайте по-настоящему, людям больше простору давайте и скидок себе не делайте. Чтоб не подводить больше ни себя, ни меня.

Когда Любимов вышел наконец из кабинета, он у двери столкнулся с Каширным.

— Ну как? — спросил Каширин, кивая на дверь.

Любимов только рукой махнул — добра не жди! И Каширин, подтянув живот, неохотно переступил через порог.

Ожидавшие приема прислушивались: сперва тишина — это докладывает Каширин. Потом через плотную дверь доносится энергичный и гневный голос директора. Потом снова тишина, и снова — отчетливо слышный выкрик директора:

— Тогда поезжайте и поучитесь у других, хотя бы у металлургов!

И через минуту — снова:

— Трн дня сроку — н все!

Когда раскрасневшнйся Кашнрнн вышел, все ожндавшне былн готовы уступнть друг другу очередь, но, попав к днректору, прнятно обманывалнсь: Немнров был весел н внимателен, очень оперативно разрешал сложные вопросы н охотио выслушнвал советы.

А Грнгорнй Петровнч, ведя эту повседневную свою работу, как бы наново прощупывал, проверял своих помощников н каждому внушал одну и ту же мысль: иикакнх отсрочек, инкаких отступленнй!

Этот день был для него днем открытнй.

Еще вчера он был уверен, что сделал н продолжает делать все возможное для досрочного выпуска турбин. Попытка ввестн социалнстнческое обязательство в план потому и смущала его, что оиа не оставляла лазейкн для возможных недоделок, для поправок, а недоделки н связанные с ннмн поправки в сроках казалнсь нензбежными. А вот теперь, когда он умом и сердцем прнзнал обязательство непреложным законом, он вдруг увндел, что есть недостатки и помехн, зависящне от него, и есть новые, ранее не предусмотренные нм способы ускорить производство. Повторялось то, что он уже пережнл на Урале в дни увелнчения выпуска танков.

Разговарнвая с людьмн, прииимая решення, Немиров с удовольствнем вндел, что поворот у него получается убеднтельный. Было ннтересно иаблюдать растерянность одних, изумленне других, радость третьнх. Восторженное восклнцание Диденко: «Ну теперь мы выполннм наверняка!» — польстнло Немнрову. Но когда вечером он ненадолго остался однн в своем кабннете, ои с горечью задумался — на кого же он опнрался раньше?

Он сразу отмахнулся от Кашнрниа — буквоед, «чего нзволнте». Протнвно было смотреть сегодия утром, как ои старался попасть в новый тон! С ннм — коичеио, надо нскать нового плановнка.

Перебнрая людей, в которых сегодня разочаровался, Немнров то и дело возвращался мыслью к Любнмову. Странио, Любнмов иачал слнваться в его представленнн с Домашевым — с тем самым косным, ниертным н труслнвым Домашевым, с которым он выдержал такой бой на Урале... Да нет, разве Любнмов такой? У Любнмова — обстоятельность, рассуднтельность, знания. В нем всегда было что-то особенно располагавшее днректора, что-то находнвшее отклнк в нем самом... Горькой догадкой мелькнула мысль: мое второе «я», то, которое я сегодня преодолеваю.

Он вздрогнул от резкого телефоииого звонка.

— Грнгорий Петровнч, говорнт Гаршнн. Разрешнте зайти на минуту по лнчному вопросу?

Немнров замялся, потом неохотио сказал:

— Заходнте.

Гаршнн вошел крупнымн, решнтельными шагамн н положнл

перед директором заявление — результат двухдневных терзаний. Резкие замечания, полученные им вчера, объединялись для него с коротенькой запиской, лежавшей в его кармане,— первым и последним письмецом Клавы. Он не сомневался теперь, что Немиров знает все. Потому и придирается. И, быть может, потому и назначает начальником сборки, чтобы в случае чего свалить на него вину за все задержки...

— Вот, Григорий Петрович. Заявление об уходе. По собственному желанию. Так, наверно, проще всего.

И он пошел к двери.

— Виктор Павлович!

Гаршин обернулся.

— Не вижу причин, Виктор Павлович. И не могу согласиться. Как раз сегодня мы решили целиком поручить вам сборку. Ну зачем вы, право?

— Зачем? — переспросил Гаршин, тяжело опустился в кресло и сказал с эгоистической откровенностью: — Да я-то в какое положение попал? Прямо скажем, идиотское! И что же мне теперь — терзаться: что вы думаете, как смотрите? Да и какая мне теперь работа? Вчера дважды отругали меня при рабочих... завтра еще что-нибудь... У меня тоже есть самолюбие.

Стараясь перевести разговор в обычную деловую плоскость, Григорий Петрович сказал с улыбкой:

— И меня, бывает, министр отчитывает, да я не обижаюсь. Отчитывать вас, Виктор Павлович, я еще не раз буду, если заслужите. Так же, как других подчиненных. На то я и директор.

Гаршин пристально поглядел на Немирова и, отводя взгляд, ответил:

— Я б и не обижался. Да тут примешивается постороннее... в чем я вам не подчиненный и вы мне не директор.

Григорий Петрович досадливо поморщился. Он вообще не терпел и не понимал людей, способных вот так говорить о вещах сокровенных и трудных. К чему это? Пожалуй, проще всего было бы написать сейчас в верхнем углу заявления короткую резолюцию «Не возражаю»,— и все было бы кончено. Но... отпустить инженера, руководящего сборкой, в такое ответственное время? Гаршин, конечно, понимает, что директор не может на это согласиться! И на этом играет... для чего? Чтобы выпутаться из идиотского положения?

— Вам, наверно, кажется, что я вел себя как подлец,— вдруг сказал Гаршин.— А я... В общем, о вас я, конечно, не думал... Как и вы не стали бы думать обо мне, попади вы в подобную ситуацию! — с дерзкой усмешкой добавил он.— Но в отношении Клавдии Васильевны...

— Вряд ли уместно об этом говорить,— холодно прервал Немиров.

— А что бы вы сделали на моем месте? — воскликнул Гаршин

и закурил. Пальцы его прыгали. Он затянулся жадно и глубоко, так что папироса вспыхнула.

Немирову приходило на ум много резких, уничтожающих слов. Но он промолчал — Гаршин ему нужен, с Гаршиным предстоит работать.

Притянул к себе заявление, брезгливо сморщился, увидав витиеватые росчерки, написал: «Не вижу оснований и возражаю», подписался.

— Вот, Виктор Павлович. И давайте считать, что этого разговора не было и поводов к нему не было.

Помолчав, спросил:

— Вам уже сообщили мой приказ о назначении начальником сборки?

— Да.

— Так вот давайте об этом и говорить. Что вам нужно, чтоб обеспечить полный успех?

Он с усилием нашел этот, слишком общий, вопрос. Как-никак такие истории волнуют и мешают... Он с облегчением услышал ответ инженера:

— Простите, Григорий Петрович, к такому разговору сейчас я не готов.

— Хорошо. Подготовьтесь. Скажем, к завтрашнему вечеру.

— Исходить из того, чтобы закончить сборку четвертой турбины к первому октября?

— Обязательно.

— Так...— Гаршин поднялся и спросил со своей раздражающей простецкой манерой: — А вы в это действительно верите?

Немиров тоже встал, ему было неудобно смотреть на Гаршина снизу вверх. Он все время чувствовал, что перед ним — Гаршин, инженер, имевший странное право говорить с ним не только как с директором. Перед этим человеком его сила должна была быть неоспоримой.

— Да, Виктор Павлович. И если моя уверенность не оправдается — попрошу отставку.

— В конце сентября? — с прежней дерзкой усмешкой спросил Гаршин.

— Думаю, что этого не придется делать ни в конце сентября, ни в октябре,— медленно сказал Немиров.— Потому что к первому октября мы турбины сдадим, чего бы это ни стоило мне... и вам.

Выдержав паузу, он добавил уже буднично, как директор подчиненному:

— Идите, Виктор Павлович. Завтра я вас вызову.

— Слушаюсь,— сказал Гаршин.

Когда дверь за ним закрылась, Григорий Петрович опустился в кресло и несколько минут отдыхал, прикрыв глаза. В голове промелькнула мысль — вот уж некстати вся эта история с Клавой! Но тут же он вспомнил Клаву такою, какой она была вчера впервые за все время их совместной жизни, и ему захотелось

немедленно увидеть ее снова — увидеть и убедиться, что это правда.

Он небрежно скомкал и бросил в корзину забытое на столе заявление Гаршина и нажал кнопку звонка.

— Машину!

3

Ощущение полноты жизни с особой силой владело Аней в эти дни раннего лета, и непонятная размолвка с Алексеем, огорчая ее, все же не ослабляла, а, пожалуй, даже усиливала это чудесное ощущение.

Аня поверила Алексею сразу, всем сердцем, в садике возле Филармонии, и потом, когда они шли пешком через весь город, шли медленно, часто останавливаясь на пустынных набережных и в молчаливых переулках, названия которых они старались запомнить, потому что с этими маленькими, затерявшимися среди больших улиц, незнакомыми переулками связались воспоминания о слове, произнесенном одними губами, о поцелуе под сумрачными сводами старинной арки, о решении, которое не было высказано, но подразумевалось и чувствовалось обоими: мы будем вместе... Белая ночь трепетала над ними своим колдовским светом. Дома и деревья не отбрасывали теней, только под деревьями и в узких переулках было чуть темнее, а там, где дома расступались по сторонам канала, возникало блеклое сияние спокойно текущей воды. Звуки шагов скрадывались большой и таинственной тишиной. Даже знакомые улицы и набережные выглядели новыми и таинственными в этой тишине, в этом странном свете, в этом сонном безлюдье.

Алексей провел Аню мимо своего дома. Он сделал робкое движение, зовущее ее войти. Она ласково повернула его в другую сторону, и они снова пошли вперед, и слишком быстро возник ее дом, ее подъезд, ее лестница.

— Ну, спите,— сказал Алексей, разогнув и согнув пальцы ее послушной руки. Он повернулся и пошел прочь, и звуки его удаляющихся шагов не скрадывались, а наполняли тишину отчетливым стуком. Аня послушала, прижала к щеке пальцы, которые он только что старательно разгибал и сгибал. Счастливая, поднялась к себе. Утром — после слишком короткого сна — проснулась с блаженной мыслью: «Мы сейчас увидимся».

А наутро встретились так, будто и не было вчерашнего вечера, будто и не сказал он тех слов в садике у Филармонии, будто не целовал ее — будто все это только пригрезилось, а вот наяву: два товарища, два инженера, два члена партбюро встретились в цехе, на ходу поздоровались и разошлись. Потом, часом позже, столкнулись у дверей партбюро, глянули друг на друга вопросительно и смущенно, вошли и начали обсуждать с Воробьевым и друг с другом всякие очередные дела. Аня рассказала о выставке

«Учителя и ученики», которую она затеяла в техническом кабинете. Полозов одобрил ее план, а потом начал дополнять его, и Воробьев тоже начал дополнять. Аня шутливо охнула, а Полозов сказал, что совсем не обязательно все делать самой, и упрекнул ее, что она с комсомольцами возится как с младенцами, а работать не приучает. Это было несправедливо. Аня сердито возразила Полозову. Алексей отшутился:

— Критики не любите, дорогой культпроп!

Тут его вызвали в цех, и в этот день они больше не встретились. Аня задержалась на работе допоздна, отчасти оттого, что начала готовить выставку, отчасти оттого, что надеялась уйти вместе с Алексеем. Когда она уходила, Алексей был на сборке. Еще несколько дней назад Аня запросто подошла бы к нему, сейчас она отвела взгляд и торопливо прошла мимо. Он не догнал ее, хотя она шла по двору очень медленно.

Так и потянулись дни: деловые встречи, споры, иногда — вопросительный взгляд украдкой, иногда — пожатие руки. Однажды ей показалось, что Алексей нарочно ходит мимо технического кабинета и громко говорит с кем-то, чтобы она услыхала его голос. Но Аня была обижена тем, что он столько дней не пытался добиться встречи с нею; она не вышла на голос и не подняла головы, когда он прошел мимо приоткрытой двери. Спустя полчаса она заторопилась домой, но Алексея уже не было.

Бригада «косых стыков» собиралась то в цехе, то у Воловика, и каждый раз Аня надеялась, что ей удастся уйти вдвоем с Алексеем, но Шикин непременно увязывался провожать ее, и они шли втроем — она посередине, Алексей и Шикин по бокам. Аня со злости молчала, Алексей тоже, а Шикин старался вести разговор, но у него ничего не получалось.

В воскресенье вечером они все-таки встретились — оба захотели погулять перед сном и одновременно оказались в маленьком переулке со старинной сводчатой аркой на углу. И вышло так, будто и не прошло больше недели с последней встречи, будто только вчера, влюбленные и притихшие, они ходили тут, целовались под этой аркой и поняли, что друг без друга им не жить. Было уже поздно, и ночь была не белой, не летней, а почти осенней оттого, что небо заволокло тучами и ветер сгибал деревья на набережной и рябил темную воду,— в сумерках этой ночи они снова прошли мимо его дома, и Аня спросила, в какой квартире он живет, а Полозов ответил:

— Зачем вам? Вы же не хотите зайти ко мне.

— А вдруг когда-нибудь зайду?

Он пожал плечами, но все-таки назвал номер квартиры — 38.

И опять они слишком быстро оказались возле ее дома, и Алексей ушел так же поспешно, как прошлый раз, но шаги его растворились в шуме хлынувшего дождя. Аня поднялась к себе, распахнула окно и долго стояла в темноте, радуясь брызгам влаги, освежавшим лицо и руки. «Почему я не позвала его к се-

бе? — удивлялась она.— Почему я не пошла к нему? Ведь я люблю его».

Если бы она знала, что он живет один, она сейчас побежала бы прямо к тому дому, нашла бы квартиру № 38 и с порога протянула бы ему руки. Настолько несомненно было, что они нужны друг другу. Настолько нелепыми казались ей какие бы то ни было условности.

А на следующий день она заметила, что Алексей избегает ее. Почему? Что он вообразил? Или... что его оттолкнуло?

На заседании партбюро они всегда сидели рядом, у них были свои излюбленные места по двум сторонам столика, на котором лежали подшивки газет. На очередном заседании Алексей сел в другом конце комнаты. Аня несколько раз ловила на себе его задумчивый взгляд, но он сразу отводил глаза и сурово сжимал губы.

А дни были напряженные, перегруженные заботами,— цех готовился к сдаче второй турбины и одновременно заканчивал новое, автоматическое регулирование для первой. В начале июля обе машины предстояло отправить в Краснозиамеиск на монтаж.

Полозов почти не уходил из цеха. И Аня задерживалась в цехе с каждым днем все дольше. Вторая и третья смены пополнялись. На днях ожидались новые станки, их надо было с первого дня обеспечить квалифицированными рабочими. Каждый обучающийся был у Ани на учете. Аня волновалась за каждого, кто сдавал пробу на повышение разряда, а когда один из учеников от волнения запорол работу, была расстроена не меньше, чем он сам.

Как ни занимали ее отношения с Алексеем, времени для них просто не оставалось. И только при встречах с ним, по дороге домой и перед тем как заснуть, она с недоумением повторяла: ну что же это? Почему? Горечи не было, в глубине души она ни на минуту не переставала верить в то, что они оба любят и что врозь им не быть. Вот только бы вытянуть эти трудные дни...

Как всегда бывает, и Ане, и ее товарищам по цеху казалось, что именно ближайшие дни — самые ответственные и трудные. Забыв о треволнениях, связанных с выпуском первой турбины, думали о том, что вторая дается труднее — и срок короче, и новые станки еще не прибыли, и ряд начатых работ по механизации не завершен... С третьей будет несравненно легче.

У Ани была своя мечта — к осени перейти сменным инженером на сборку. Но для того чтобы осуществить мечту, надо было самой себе сказать, что с порученным ей делом она справилась честь честью.

Выставка «Учителя и ученики» стала одним из ее любимых детищ.

Все самые «трудные», ленивые и озорные мальчишки были приспособлены Аней к делу — клеили, красили, выпиливали из фанеры щиты, рисовали заголовки, прикрепляли к щитам образцы изделий, бегали с ее записками на склад, к фотографу,

машинисткам. Аня по ходу работы проверяла, хороши ли материалы выставки. Вот Кешка, зажав в руке банку с клеем, загляделся на фотографии и зачитался подписями. Что он читает? Ага, увлекся сообщениями о том, кто из учеников перегнал учителей. Вот невозмутимый Ваня Абрамов, присев на корточки, читает сводку о производительности труда карусельщиков, вместо того чтобы заливать краской буквы заголовка. Очень хорошо,— значит, сводка здесь кстати!

И кто выдумал, что эти мальчишки — «трудные»? Самые обычные мальчишки, требующие воспитания, а главное — живого и понятного дела, причем дела с оттенком добровольности — «захотел — и стараюсь». С ними нужно обращаться требовательно, весело и обязательно с уважением — вот и все.

И еще видела Аня — им необходим коллектив, чувство ответственности не перед начальником или мастером, которых можно обмануть, а перед товарищами, которые все видят и все о тебе знают. В бригады их нужно, в хорошие, сплоченные бригады, где каждый отвечает перед всеми!

Об этом она заговорила на комсомольском бюро. Женя Никитин поддержал ее — пусть лучшие бригадиры, такие, как Пакулин, возьмут к себе новичков.

— А первенство отдать другому цеху? — запальчиво спросил Николай. И тут же улыбнулся: — Зачем преувеличивать, ребята? Будто кроме Пакулина нет бригадиров? Создать новые бригады, поддержать их — вот и вся проблема!

— Из пакулинцев надо бригадира выдвинуть,— сказала Валя.— Там народ вырос, почти любого взять можно. Конечно, после того как они завоюют общегородское знамя! — добавила она, заметив протестующее движение Николая.

— Правильно! — сказал Николай.— Тогда сам рекомендую... хотя бы Аркадия!

Валя покраснела и рассердилась, а рассердившись, высказала то, что в другое время не стала бы говорить:

— Хотя бы и Аркадия! Что ж такого? Вы, пакулинцы, какими-то аристократами стали — вас и тронуть нельзя! Автономная республика!

Женя Никитин прервал начавшийся спор и предложил подумать о создании новых молодежных бригад.

— Хорошо,— сердито согласился Николай.— Только, как хочешь, против этих кличек я возражаю! Небось когда прорыв и пакулинцы выручают цех, тогда мы не аристократы! Когда подсчитывают, кто по три пятилетки сработал,— тоже не аристократы!

Через минуту Валя и Николай мирно болтали, но Аня запомнила этот небольшой спор. Она сама еще не до конца понимала, что ей не нравится в этой лучшей молодежной бригаде завода.

Может быть, на нее действовало завистливо-недоброжела-

тельное отношение Кешки и других «неприкаянных» к пакулинцам?

Чтобы проверить себя, она заговорила о них с Кешкой. Кешка поморщился и пробурчал:

— А мне что? Пусть хватают знамена.

— Так ведь они не хватают, Кеша, а зарабатывают по-стахановски.

— Ну и пусть зарабатывают, я не против.

Заставить Кешку высказаться до конца, когда он не хотел, было невозможно. А Кешка явно не хотел. Пошел бы он в бригаду Пакулина? Кто его знает! За последнее время он работал старательно и как будто не озорничал. Мать еще не вернулась из больницы, все домашние дела лежали на Кешке. Иван Иванович осуществлял, как он говорил, «общее руководство» над мальчиками и по-прежнему оттирал Аню:

— У семи нянек дитё без глазу, Анна Михайловна. А у вас и так хлопот полон рот.

Хлопот действительно хватало. В эти же напряженные для цеха дни кончались занятия в сети партийного просвещения, и Аня ходила по очереди то на один кружок, то на другой. Присматривалась к пропагандистам, присматривалась к учащимся.

Разные учились люди — пожилые, много передумавшие на своем веку, и такие, что впервые задумались о жизни, о ее большом историческом движении. Были люди, давно привыкшие читать, вести конспекты, и такие, что впервые брали в руки серьезную книгу, поначалу спотыкались на непонятных словах, на отвлеченных понятиях, и вдруг, начав понимать прочитанное, с изумлением открывали, что трудные и как будто отвлеченные мысли имеют прямое отношение ко всему, что происходит вокруг, к течению их собственной жизни.

Было интересно приглядываться к людям и прослеживать, как новые мысли, входя в сознание, вызывали и новые поступки.

Труднее было разобраться в пропагандистах. Они тоже были очень разные — и по возрасту, и по опыту, и по таланту. У каждого были свои приемы, свои методы, и характер у каждого пропагандиста был свой. Одни любили объяснять, доказывать, приводить примеры, но легко сбивались, если слушатели задавали неожиданные вопросы, и робели перед заглянувшим на занятие работником парткома или райкома,— случалось, так робели, что и занятие шло кувырком. Другие говорили мало, но умели разжечь спор и подвести самих слушателей к правильному решению, а если на занятие приходили посторонние,— проводили его с особым блеском. Один злоупотребляли цитатами, другие почти не прибегали к ним. У одних беседа шла как бы сама по себе, другие по-школьному вызывали слушателей...

Из цеховых пропагандистов Аня выделяла Ерохина, Полозова и конструктора Уралову.

Ерохин принял свой кружок в середине года от неудачного

руководителя, которого Аие пришлось отстраинть. Кружок совсем было развалнлся, посещало занятия ие больше шести-семн человек из двадцати. Ерохии обошел всех записавшихся и каждого попросил, как о личном одолженни, прийти иа следующее заиятне, «потому что, сам поинмаешь, иначе у иас ничего ие получится!» Вел ои заиятня иемиого ианвно, ио с огромиой душевной убежденностью. Если хоть однн из слушателей плохо усвоил какую-то мысль, ои щедро объясиял и развивал ее, пока не убеждался, что все поияли. Если кто-либо пропускал заиятие, Ерохии так расстранвался, что виновнику становилось стыдио — вот ведь до чего обидел хорошего человека!

Совсем иначе вел себя Полозов. Впервые прослушав его занятие, Аия огорчилась — ей показалось, что Полозов слишком сух и требователен. Ои вел кружок повышеиного типа, изучавший историю партии по первоисточникам. Занимались у иего главиым образом мастера, рабочие с большим стажем, служащие — люди, непосредствеиио подчииеииые ему по работе. Может быть, думала Аия, ои ие умеет отстраниться от служебного отиошения к этим людям? Слушатели ворчали, что оии все-таки ие студеиты, читать по двести странц к занятию нм иекогда.

— Ладио, вы ие малеиькие. Партийиый актив! — говорил Алексей и стыдил каждого, кто плохо подготовился.

Как раз в эти дии Алексей почему-то явио избегал ее, и Аие очень ие хотелось идти иа его заключительиую беседу. Но оиа преодолела иеловкость и пошла. Алексей иа секуиду смутился, и его смущение ее обрадовало. Сидя в сторонке, оиа слушала, как Алексей придирчиво проверяет зиаиия своих кружковцев. На прощанье ои пожелал им отдохиуть за лето и тут же, посмеиваясь, пообещал с осени быть еще требовательнее, потому что:

— Выросли, поумнели, второй год надо учиться лучше, чем первый!

И торопливо ушел в цех.

Слушатели столпнлись вокруг Аии, им хотелось зиать, как оиа оценила их зиаиня. Аня спроснла полушутя:

— Может, иа будущий год вам руководителя подобрее?

Но все одиииадцать человек запротестовалн:

— Нет, Полозова!

— Ои требует, ио зато и объясиить умеет! С иашего брата ие требовать — иикакого толку ие будет!

Слушатели разошлись, а оиа все сидела, просматривая оставлеииый Полозовым журиал кружка. Может быть, ои верится за журналом? Неужели ему ие хочется обсудить с иею, с культпропом, итоги учебиого года н, может быть, хоть глазами сказать ей еще что-иибудь?

Ее оторвала от размышлений Уралова, руководитель самого капризиого н любопытиого кружка, какой только был в цехе. Это была затея Ефима Кузьмича — собрать цеховых старичков

в отдельный кружок текущей политики. Ефим Кузьмич понимал, что его самолюбивые сверстники не пойдут «конфузиться» в один кружок с молодыми. Он и руководителя для них подыскал со стороны — из партийной организации конструкторского бюро. Уралова была молодая, хорошенькая, приветливая, держалась со стариками как выросшая, умненькая дочка, которая не учит, а только помогает разобраться в сложных проблемах международной и внутренней политики.

Из всех стариков только один отказался записаться в кружок — Иван Иванович Гусаков.

— Мне моего знания хватит,— огрызался он на своего старинного друга.— И кто меня там учить будет? Что она может понимать, этакая финтифлюшка?

Впрочем, он был одним из аккуратнейших посетителей занятий, и Уралова давно привыкла к своему ворчливому гостю.

Иван Иванович приходил позже всех, с насмешливой ухмылочкой человека, который все сам понимает, а зашел из любопытства — поглядеть, как молоденькая женщина, курносая белобрысая, поучает старых чудаков. Усевшись подальше, он утыкался в газету, но слушал очень внимательно. Курносая и белобрысая ему нравилась. Она рассказывала понятно и живо, приносила с собою карту мира и сама, ловко вскочив на табурет, прикрепляла ее к стене. Во время беседы она не забывала указать линейкой каждую страну, о которой шла речь, каждый город.

Слушателей она называла по имени-отчеству, а если ей случалось спутать имя или отчество,— краснела и прикусывала кончик розового языка.

Чтобы поставить ее в тупик, Иван Иванович внимательно читал газеты и выискивал — о чем бы задать вопрос покаверзнее? Однажды ему удалось это, курносая-белобрысая не сумела ответить. Но она не растерялась, а поморгала ресничками и сказала:

— Очень интересный вопрос задал Иван Иванович. Ответить на него сегодня не берусь. Надо подумать и почитать, чтоб не ошибиться. Если вы в следующий раз зайдете к нам, Иван Иванович, я подробно отвечу. Хорошо?

С тех пор он уважал ее. Ему и в голову не приходило, что к списку слушателей давно приписана карандашом его фамилия и что курносая-белобрысая, сделав перекличку, молча ставит последнюю «птичку» против фамилии Гусакова.

Аню Карцеву вызвали на последнее занятие потому, что старики не захотели прекращать занятий. Они привыкли к своей хорошенькой Марье Алексеевне и считали, что нет причин расходиться на лето — не таково сейчас международное положение, да и они, слава те господи, не футболисты!

— Что ж, я очень рада,— сказала Аня.— Если Марья Алексеевна может...

Уралова вздохнула, улыбнулась и сказала, что она тоже очень рада. Аня понимала, что ей и лестно и немного обремени-

тельно решенне стариков,— Уралова нграла в теннис и готовилась к соревнованиям.

На нтоговом совещании пропагандистов Аня особо отметила успех Ураловой: вот что значит интересная форма занятий! Ей хотелось, чтобы каждый пропагандист объединил в себе душевность Ерохина, интересную форму изложения Ураловой с требовательностью Полозова. Как ни трудно было говорить об Алексее, Аня все же сказала о том, что пропагандист Полозов бывает слишком сух и придирчив, мало заботится о том, чтобы заинтересовать, увлечь слушателей.

— Разве? — воскликнул он, искренне огорчившись.— Учту.

Он не обиделся. Аня видела, что он и слушает с интересом и любуется ею. Да, он любовался ею, радовался каждой ее нитересной мысли, а когда она запнулась, потеряв нить рассуждения, на его лице отразилось ее собственное замешательство.

Началось обсуждение доклада. Аня слушала выступавших и в то же время думала: «Какая-то чепуха у нас произошла, и я не допущу ее. Я просто возьму и спрошу, в чем дело. Ведь близкий он, близкий и нужный... Зачем же вся эта путаница?»

Полозов уже направился к двери, когда она окликнула его:

— Алексей Алексеич, останьтесь, если можете, мне нужно поговорить с вами.

Он обернулся с такой стремительной готовностью, как будто в комнате никого не было.

— Я пробегу по цеху и вернусь,— сказал он, заметив, что они не одни.

Но в цех он не пошел, а вышел во двор и решил прогуляться по центральной аллее, чтобы не прийти назад слишком скоро.

По обеим сторонам аллеи сквозь листву мерцали закопченные окна цехов, каждый цех грохотал, лязгал и стучал на свой лад. А на аллее было пусто и почти темно. Накрапывал теплый дождик, время от времени по лицу ударяли крупные капли, срывавшиеся с листьев.

Зачем она позвала? О чем заговорит? Как? Она сегодня так старательно критиковала меня, а ей и невдомек, что стоит ей появиться в комнате, как я становлюсь сам не свой и весь напрягаюсь, чтоб не сбиться с мысли и не выдать себя... А ей ничего не стоит говорить со мной и при мне о партучебе, о косых стыках и о чем угодно. И она ни разу не позвала с собою, ни разу не подошла первая. Взглянешь — чуть улыбнется, пожмешь руку — рука ответит, и только. Я без нее не могу. А она даже зайти не захотела, только сказала: «А вдруг когда-нибудь и зайду». Значит, еще не уверена ни в чем? Или считает нужным кокетничать, как и все прочие? Думает, что со мною можно, как с Гаршиным? Тем хуже!

Когда он вошел в ее опустевший кабинет и сел, не глядя на нее, испуганный тем, что сейчас все будет сказано, Аня тихо воскликнула:

— Ты весь мокрый, Алеша!

Ои объяснил:

— Дождь идет.

Посмотрел иа нее и вдруг понял, что все, чем он мучнлся,— выдумкн, бредин, оии иужны друг другу, и оба ие могут врозь.

Оиа шепотом спроснла:

— Алеша... Почему?

Он не знал, как объясннть ей. Должно быть, ои чудак и выдумщнк, н чего-то не умеет, в такнх случаях людн как-то делают «предложение», что ли... Но ведь она же сама должиа поинмать!

— Вы сказалн: когда-нибудь,— пригиув голову, быстро проговорнл он.— Значит, вы еще не уверены. Я ие привык навязываться.

Она замерла, удивленно прноткрыв рот. И вдруг засмеялась. Она смеялась, глядя иа иего сияющнмн глазамн, а ои серднлся — с каждым мгновением все больше серднлся на нее за этот смех.

— Может быть, это н смешно,— сказал он.— Но я такой, и другим на буду. Тащить вас замуж насильио я ие могу. Вы про меня зиаете все. А играть с собою я ие...

— Алеша! — вскричала оиа.— Да разве я...

Смех еще дрожал в ее лице.

— Я не зиаю, что вы,— мрачио сказал ои.— Но я вас предупреждал, что кокетннчать со мною не надо. А повторять, уговарнвать, проснть я не умею. Может быть, жеищннам это и нравится, ио я ие умею.

— А я и ие хочу, чтобы вы умели,— сказала Аия.

Ои сделал двнжеине к ией, потому что больше всего ему хотелось сейчас обнять ее н в поцелуе почувствовать, что он иужеи ей такнм, какой ои есть. Но в эту минуту дверь распахнулась от пинка ногой — Кешка н Ваня Абрамов пыхтя втащнлн в комнату громадный фанериый щит.

— Здравствуйте, Алексей Алексеевич,— они вежлнво поклоинлнсь заместнтелю иачальиика цеха.

— Здравствуйте,— со вздохом ответнл Полозов.

Аня тоже вздохнула и прниялась командовать, куда поставнть и как закрепить щнт. Алексей с досадой подумал, что она могла бы попросту отправнть нх вои, совсем не обязательио устаиавлнвать щит сегодия.

— Так я пойду,— буркнул он, не трогаясь с места.

Оиа подошла к иему и тнхо сказала под адскнй стук молотков, вгоиявшнх гвозди в иеподатлнвую стену:

— Нам надо выкроить вечер, Алеша, н поговорить. Не спеша, без помех. Я не могу встречаться с вами только в цехе.

— И я,— жалобно сказал Алексей.

— Вы сегодия опять до ночн здесь?

Он с горечью махнул рукой — ие до ночн, а, пожалуй, н иочь. Решающие дии монтажа... Любнмов, коиечно, уйдет, а его просил остаться.

— Ничего, Алеша... Как только схлынет горячка...

Ее теплая рука, задержавшаяся в его руке, дала короткую отраду. Но когда он вышел за дверь, до него дошел смысл ее слов. Когда схлынет горячка. А когда она схлынет, черт бы ее побрал? Так и до осени ждать будешь...

По цеху шел Гаршин. Он понятливо усмехнулся, увидав, откуда выходит Полозов, свернул со своего пути и, насвистывая, заложив руки в карманы, прошел мимо Алексея в технический кабинет. Нарочно? Или Аня придерживает поклонника по лукавой женской склонности к тому, чтобы побольше народу крутилось вокруг?

Избегая всех, кто мог задержать его, Алексей снова вышел на центральную аллею и пошел по ней, со злости ступая по лужам и разбрызгивая жидкую грязь. Ему была непереносима мысль, что Гаршин преспокойно сидит сейчас возле Ани, а она, наверно, болтает с ним как ни в чем не бывало.

Приняв самый озабоченный вид, Алексей зашел в ближайший цех. Это оказался прокатный цех, толстая, добела раскаленная болванка проплыла в лапах крана мимо Алексея, легла на ленту траспортера и нырнула под валки стана. Алексей вошел в пустую конторку мастера, взял телефонную трубку и потребовал диспетчера турбинного цеха. Понизив голос, чтобы знакомая девушка-диспетчер не узнала его, он строго сказал:

— Разыщите инженера Карцеву и срочно пошлите в партком к товарищу Диденко. Только немедленно, чтоб сию же минуту шла!

Повесил трубку и, посмеиваясь, пошел подкарауливать Аню на боковой аллейке, по которой она должна пробежать.

Он издали разглядел ее — спешит, торопливо обходя лужи: у одной, разлившейся во всю ширину дорожки, остановилась, потом храбро перескочила.

Он вынырнул из темноты и взял ее под руку.

— Ой, кто это? — воскликнула она, не сразу разглядев его в темноте.

— Это я, и я не хочу ждать, пока схлынет горячка,— сказал Алексей.— Застегните пальто и пойдемте побродим.

— Ох, Алеша...— Она, видимо, обрадовалась, но не знала, как же ей поступить.— Может, зайдем вместе? Понимаете, меня срочно вызывает Диденко...

— Это тоже я,— сказал Алексей, увлекая ее к проходной.— Неужели вы думаете, что я буду терпеливо ждать осени, чтобы поговорить с вами без помех?

— Вы? — не сразу поняла Аня.— Звонили — вы?

Ей это явно понравилось.

Мелкий дождик накрапывал по-прежнему, но они не замечали его. Они оказались в тихой боковой улочке и стали бродить по ней взад и вперед, взад и вперед.

— Я хочу, чтобы вы знали все и все поняли,— говорил

Алексей, не глядя на нее, потому что ее улыбка сбивала его с толку.— Я уже говорил вам, что я ненавижу женское кокетство и всякую путаницу отношений...

— Но вы же сами запутали! — воскликнула Аня.

— Я не запутал, а... ну, не могу я при всех бегать за вами!

— А я — могу?

— Но если бы вы сказали хоть слово...

— А вы?

Он озадаченно помолчал, потом сказал:

— Значит, опять я неправ? Вот видите, меня не за что любить.

— Вижу.

Это прозвучало так, как если бы она сказала: люблю. Он сжал ее руку и продолжал говорить то, что считал нужным обязательно высказать ей:

— Я жил обычной мужской жизнью. Не так, конечно, как ваш Гаршин, но, в общем, и не так, как хотелось. Путался, ошибался, сильно обжегся... Это я вам уже говорил, так? Я хочу, чтобы вы все это знали. Потому что к вам, Аня, я отношусь очень серьезно, и если у вас нет такого же серьезного... если вы просто думаете позабавиться... в общем, тогда скажите прямо. Я для этого не подхожу.

— А я думаю, что вы не относились бы ко мне серьезно... если бы думали, что я просто хочу позабавиться.

— Может быть...

Он не сразу решился высказать то, что мучило его, потом выпалил, не выбирая слов:

— Тогда на кой же черт вы не отвадите этого вашего Гаршина, который все крутится и крутится вокруг вас?

Вместо ответа она изумленно воскликнула:

— Алеша, вы ревнивы?

— А что я, не человек, что ли? — буркнул он, уже стыдясь своего грубого вопроса и косясь на Аню в ожидании отповеди.

Аня знала, что ей следовало бы отчитать его, она всегда считала ревность чувством унизительным и недостойным, но сейчас ей было удивительно приятно, что Полозов, ко всему прочему, еще и ревнует ее.

— Я его отвадила, Алеша,— тихо сказала она.— Он же нарочно злит вас... разве вы не видите? Догадывается и дразнит И неужели мы будем ссориться из-за Гаршина?

Ей было неприятно даже вспоминать об этом человеке, к которому ее когда-то тянуло. Перечеркнуть — и все. Но в то же время ее томила мысль, что на откровенность надо ответить откровенностью и сказать Алексею все, как было, иначе навсегда останется чувство виноватости. И надо сказать сегодня, сказать до того, как их отношения определились, чтобы потом никогда не возвращаться к прошлому.

Но Алексей уже заговорил сам. Он рассказывал ей о себе, о женщинах, которые ненадолго входили в его жизнь, о той самой

Леле, заставнвшей его возненавндеть легкомыслне н кокетство. Аня слушала его, совершенно не ревнуя, ей было все равно, что он чувствовал раньше, до нее, она думала только о том, что сейчас он очень, по-настоящему любит ее, еслн нуждается в этой нсповедн, которая ей не нужна... н еще она думала — сумеет лн он отнестнсь так же к ее прнзнанням?

— А в общем — все это уже не существует,— вдруг на полуслове прервал он свой рассказ.— Там, у Фнлармоннн, я вам уже сказал все. Мне казалось, что нашн отношення с самого начала нсключают всякую нгру... всякне там условностн н соображення... Мне казалось, что вы должны понять это н пойтн со мною, нн о чем не раздумывая. Не поймнте меня плохо, Аня. Я уже не разделяю нас в мыслях с того вечера, а когда вы почему-то уклоняетесь, ждете, прнсматрнваетесь... Может быть, я чего-то не поннмаю, но я действнтельно не знаю — почему?

Она молча сжала его руку, в которой так удобно лежала ее рука. Она была готова сейчас же, немедленно пойтн с ннм, к нему, в эту нензвестную ей квартнру № 38, куда ей так часто хотелось прнбежать, откннув все сомнення.

— Алеша, вам надо возвращаться сегодня в цех? Илн вы можете...

Он остановнлся. Она смутно вндела в полумраке его лнцо.

— Аня! — сказал он, поняв ее мысль.— Я не могу думать о цехе, о Любнмове, обо всем на свете. Вот еще!.. Я могу прнйтн тvда гораздо позже. Сейчас н Любнмов там, н этот Гаршнн...

Она вндела, что он готов откннуть все н в то же время не может это сделать, что он все равно — не сейчас, так через час нлн два — спохватнтся: не нмею права...

Чуть не плача, она качнула головой.

Онн пошлн дальше, и оба заметнлн, что накрапывает дожднк, н промоклн ногн, н становнтся холодно.

— Поймнте н вы меня, Алеша,— еле слышно заговорнла она.— То, что у нас начинается, мне очень дорого. Дорого н свято. Это — вся жнзнь. Надолго. И я не хочу размельчнть... обворовать себя... нас... Я хочу, чтоб это был празднгк. Наш большой праздник...

— А для меня уже празднгк,— сказал он.

Ей было трудно объяснить свою мысль, потому что она сама почувствовала — н тут, под накрапывающнм дождиком, у нее светлый празднгк на душе оттого, что он рядом. И все-такн поннмала, что права, что отступнть не может.

— Мы ннкогда не сможем отделнть одно от другого,— сказала она.— Я знаю, что ты не умеешь делнть, что для тебя цех — тоже твоя жнзнь, кусок душн. Мы оба не умеем делнть. И когда я стараюсь себе представнть нашу жнзнь, я знаю, что все там будет сплетено вместе. И хочу этого. Ты поннмаешь? Я не хочу, чтобы начало этого большого... наш первый день...

— Понимаю,— сказал он.

Помолчав, он добавил с привычной шутливостью:
— Ну, а если так и не найдется свободного дня до осени?
— А мы найдем его сами,— твердо сказала Аня.
— Пойдемте, провожу,— со вздохом сказал он.— И поплетусь на завод, потому что, действительно, черт их знает, что там натворят без меня.
Они уже подходили к заводским домам, когда она вспомнила, что ничем не ответила на его исповедь и что это нужно сделать сегодня, потом будет гораздо труднее.
— Алеша, я хочу сказать вам...
Она повернула назад, в пустынный переулок, и быстро, скупо сказала то, что важно было сказать, не пытаясь ни приукрасить себя, ни оправдать то, что сама не оправдывала.
Алексей молчал, напряженно стиснув губы.
Ей стало страшно, что он не сможет забыть.
— Алеша...
— Не надо,— остановил он ее.— Не надо, Аня.
Они снова повернули к ее дому.
— Я вам верю, как самому себе, Аня,— сказал он у ее подъезда.— Вы знаете, единственное, что меня задело...
Она знала — та встреча под Кенигсбергом.
— Так вот, я все понимаю. Я понимаю вас, какая вы тогда были... Мне очень жаль, что я не встретил вас гораздо раньше.
Он взял ее руки, соединил их вместе, подержал их, слегка покачивая, будто баюкая.
— Я вас люблю,— быстро сказал он, отпустил ее руки и почти побежал прочь.

4

Субботний вечер, обычно такой приятный, был испорчен. Пропала Галочка.
Час назад Воробьев пошел в баню. Галочка увязалась провожать его и взяла с собою Рацию,— собака придавала ей весу в глазах окрестных мальчишек.
Они дошли до бани рядком, мирно беседуя. Эта круглолицая смешливая девчушка все больше нравилась Воробьеву, на вопросы товарищей: «Дочка?» — он все охотнее отвечал: «Дочка!» Она ни разу еще не назвала его папой, но Воробьев слышал, как она однажды угрожала своему врагу Митьке черномазому: «Вот скажу папе, он тебя отвалтузит!» Между Воробьевым и Галочкой установился деловой, товарищеский тон, который нравился обоим.
Дойдя до бани, Воробьев сказал:
— А теперь шагом марш — прямо к дому!
— Хорошо,— кротко ответила Галочка.
Когда Воробьев в самом отличном настроении вернулся

домой, в доме уже началась паника — Галочка не приходила, и нигде поблизости ее не обнаружили.

— Ничего не могло случиться,— сказал Воробьев,— ведь с ней Рация.

Но это никого не успокоило.

Галочка явилась час спустя, и Воробьев слышал из своей комнаты, как ахнула Груня:

— В каком виде! А руки-то, руки — как у кочегара! И вся мокрая! Где ты болталась, дрянная девчонка?

Рация шумно отряхивалась — тоже, наверное, вся мокрая.

— Я купала Рацию в пруду,— тоненьким голоском ответила Галочка.— И совсем не мокрая, это она меня немножко забрызгала.

Груня и Ефим Кузьмич принялись бранить ее за самовольную отлучку и за то, что пошла на пруд, куда ей одной, без взрослых, раз навсегда запрещено ходить.

— А мне дядя Яша разрешил,— сказала Галочка.

Упреки оборвались.

В установившейся тишине Воробьев услышал, как Галочка уверенными шажками победительницы прошла в столовую. Он вскочил и рывком открыл дверь:

— Когда я тебе разрешил идти на пруд?

Галочка густо покраснела и опустила глаза. Должно быть, она рассчитывала, что он еще не вернулся из бани. Она стояла посреди комнаты с видом благовоспитанной девочки, засунув грязные руки под передник.

— Еще лучше! Врать начала! — сказал Ефим Кузьмич.

Груня так и застыла в передней с Галочкиным мокрым пальто в руках.

— Когда я тебе разрешил идти на пруд? — строго повторил Воробьев.

Галочка вскинула на него умоляющий взгляд и пролепетала:

— Ну ты же мне сказал — беги... И вчера говорили, что Рацию надо купать... что она чешется...

— Ты у меня спрашивала разрешения идти на пруд? — отвергая ее немую мольбу о поддержке, еще жестче спросил Воробьев.

Галочка исподлобья оглядела разгневанные лица взрослых, распустила губы и заревела.

Груня знаком показала, чтобы все ушли,— она сама объяснится с дочкой. Но Воробьев решительно отстранил ее.

— Не реви! — прикрикнул он на девочку.— Немедленно умойся и становись в угол. Любое озорство прощу, а вранья прощать не буду. Живо, живо!

Он никогда еще не кричал на нее.

Галочка испуганно смолкла, вытерла слезы грязным кулачком и побрела в кухню умываться. Ефим Кузьмич пошел за нею и, помогая ей отмыть грязь, продолжал отчитывать ее. Галочка все

всхлнпывала н тоненькнм голоском оправдывалась, что собаку давно не купали н ночью она так чесалась, что мешала маме спать, н все говорнли, что надо выкупать, вот я и пошла, хотя мне совсем и неинтересио...

— Галя, поди сюда! — позвал Воробьев.

Оиа вошла, раскрасневшаяся от мытья, с упрямым и обнженным вндом.

— Иди в спальню, становись в угол и стой, пока я не разрешу выйти!

Она не пошла. Оиа заревела н попробовала упнраться, когда Воробьев снлой повел ее в угол. Затем она притихла, посапывая носом.

Все были расстроены.

Воробьев сел за стол и развериул газету, но читать ие мог. Кто вниоват? Однн я, и больше ннкто. Как-то раз Груня поручнла Галочке убрать свой столнк. Галочка баловалась и разбила флакон духов. Духи былн мамииы любнмые, только что купленные. Галочка очень испугалась. Услыхав нз кухни звои, Груня спроснла, что случилось.

— Ой, Грунечка, я разбил твою «Белую сиреиь»,— сказал Воробьев.

— Ты?!

Она вошла, шнроко улыбаясь:

— Да разве мне чего-нибудь жалко! Милый ты мой...

Другой раз он взял иа себя вииу, когда Галочка, играя с собакой, опрокннула молоко. Ему были приятиы ее благодариый взгляд н ее ужимки лукавой сообщннцы. Она умела через дядю Яшу выпроснть себе какую-нибудь поблажку, уговорить повести ее в кнно на фнльм, который мама считала неподходящим. Она постепенно прнвыкла выдвигать его как прикрытие во всех случаях, когда это было ей выгодно: «Дядя Яша сказал... Я спрошу дядю Яшу...» Кто зиает, впервые ли она солгала сегодня? А Груня радовалась — все уладилось, Галочка полюбила Яшу, в доме счастье н мнр. И сам Воробьев радовался вместе с нею, н Ефим Кузьмич...

— Простн меня, дядя Яша, я больше ие буду,— скороговоркой пронзнесла Галочка за его спиной.

— Надеюсь, что ие будешь.

Помолчав, она спроснла:

— Теперь можио выйтн?

— Нет, нельзя. Когда можно будет, я скажу.

Галочка нетерпеливо вздохиула и стала перемииаться с ноги иа ногу, как будто ей уже невмочь стоять. Интересно, что оиа сейчас думает? Проклннает наказавшего ее чужого дядю?

На цыпочках вошла Груня, остановилась рядом с инм, ласковой рукой пригладнла его волосы:

— Чнтаешь?

— Нет, Груия. Заинмаюсь самокритикой.

У Груии страдальчески скривились губы. Он поимал, что Груие и стыдио за дочку, и жаль ее, и страшио, что иаказаиие восстаиовит Галочку против иего, что домашиее благополучие иарушится. Но какое же это благополучие, если иачали портить ребеика!

— Пойдем, Груиечка, походим.

— После баии — иичего? — И шепотом: — Ей пора спать... Ои повериулся к девочке:

— Галя! Сегодия я тебя прощаю. Но если еще раз узиаю, что ты врешь, пеияй иа себя. Можешь идти ужинать и спать.

Галочка с облегчеиием выскользиула из комиаты. Когда Груия и Воробьев выходили, Галочка уже болтала с дедом как ии в чем ие бывало.

— Груия, мы ее балуем. И потакаем ей. Я больше всех.

— Ты только ие огорчайся, Яшеиька.

— Я ие о себе думаю,— о ией. Мы ее портим.

— Яшеиька, родиой мой, ие преувеличивай. Мы же в детстве тоже и озориичали и привирали... а ведь иеплохие выросли!

Оии ходили взад и вперед по пустырю, вдоль забора, отгородившего строительиую площадку, где должеи был вырасти иовый дом, и Груия, чтобы развлечь его, припомииала всякие свои шалости и провииности. Воробьев пытался представить себе Груию малеиькой — смешливой девчоикой, которая любила драться с мальчишками, ио вместо Груии получалась Галочка, и эту Галочку иельзя было ие простить.

Как раз тогда, когда ои совсем успокоился, появилась Ася Воловик.

— Ой, как хорошо, что вы здесь, я очеиь тороплюсь,— сказала Ася и огляиулась, как будто боялась, что ее догоият и помешают ей сказать то, ради чего оиа прибежала.— Саша ие должеи зиать, что я у вас была. Ои очеиь рассердится.

Войти в дом Ася отказалась.

— Нет, я здесь скажу... Дело в том... Ну, вся их бригада у иас. Оии все иедовольиы, ио делают вид, что иичего. А к иим примазался какой-то соавтор. Поиимаете? Вызывали их к иачальиику цеха, там был директор, и парторг, и главиый иижеиер... Я точио ие зиаю, ио им сказали коичать скорей, и директор обещал крупиую премию, велел подавать... иу, как это иазывается?

— Рацпредложеиие,— подсказала Груия.

— Вот, вот! И что-то там с каруселями придумали, и стали обсуждать, и этот самый Гаршии пошел с иими к каруселям и предложил от себя... Есть такое слово — иидикатор?

— Есть,— сказал Воробьев.— Измерительиый приборчик. А при чем тут иидикатор?

— Не зиаю. Эта их половиика диафрагмы должиа делать поворот, чтоб эти косые стыки обработать, вы ведь зиаете, Яков Андреич? Я иа модельку Сашииу иагляделась, так тоже поиимать начала. Оиа стоймя стоит иа карусели и потом разворачивается.

И оии все долго думали, как поворот сделать, чтоб точио. Ровио иа сто восемьдесят градусов... так я говорю?

— Так. А при чем тут индикатор?

— А вот Гаршии первый и предложил устаиовить индикатор, чтоб какая-то ось совпадала. И все согласились, Саша говорит, что тут дело ясиое, индикатор — хорошо. А Гаршии начал их торопить подавать рацпредложеиие и сам взялся писать его, а потом поставил свою подпись.

— То есть как «поставил подпись»?

— А вот так. Взял и поставил. Саша пожимает плечами и говорит: подумаешь, какая разиица! Мы ие ради премии работаем... А мие кажется, это гадость! А оии все разводят руками, пересмеиваются и говорят: иу что ж теперь делать, ие скандалить же! А по-моему — скандалить! — выкрикнула Ася.— Скандалить, ио безобразия ие допускать!

Оиа перевела дух и, сиова оглядываясь, шепотом объясиила:

— Я им сказала, что бегу в магазин. Оии бы ни за что не пустили меия к вам. Саша даже рассердился, когда я сказала, что иадо пойти в партбюро или к иачальиику. А мие... мие Шикииа жалко, ои очеиь расстроился. Саша говорит, ои уже год над этими диафрагмами думает... Да и других с какой стати обижать? Тут ие только в премии дело: я-то ведь знаю, кто действительио работал!

В поиедельиик утром Воробьев первым делом подошел к Воловику, ио Саша был очеиь заият иа сборке регулятора, ои только отмахиулся:

— Да иу, бог с иим! Есть из-за чего волиоваться! Хочет числиться в бригаде — иу и пусть числится.

Зато Шикии был расстроеи и взволиоваи. Ои привык подчиияться Гаршиму — и потому, что Гаршин долгое время был его иачальииком, и потому, что сам он был человеком тишайшего характера. Только в последиее время ои как-то осмелел,— иазначеиие старшим техиологом окрылило его.

— Смотрите-ка, тихий-тихий, а в бюро появился иачальиик,— говорили техиологи.

Шикии работал без шуму и очеиь четко. Указаиия своим подчииеиным ои давал вежливо, ио твердо, и иикогда ие забывал проверить, как оии выполиеиы. В цехе почувствовали перемеиу, хвалили Шикииа и в глаза и за глаза.

С той иочи, когда ои нашел первое решеиие косых стыков и объясиил его Полозову и Карцевой, стоя посреди улицы иа трамвайиых путях, ои очень измеиился. Для Полозова и Карцевой его решение было просто удачной иаходкой, для него оио было чудесиым открытием собствеииых способиостей. Он понял, что «может».

Поздиее появился иовый, лучший вариаит — Воловика, появились еще вариаиты. Но к тому времени члеиы комплексной бригады сродиились, составляли как бы одно целое, и многие

решеиия рождались в горячих спорах, так что потом и ие вспомнить было, кто что предложил. Шикии уже рисовал себе иедалекое будущее, когда проект бригады будет закончен, утвержден, внедреи в производство, когда рабочие будут рассказывать новичкам, какое было прежде мучеиье с этими косыми стыками... и как теперь стало легко... Думал ои и о премии,— отец большой семьи, ои всегда нуждался в деньгах и уже подсчитал вместе с жеиой, как израсходовать премию: дочке иовое пальто, сынишкам иовые костюмчики и ботинки к началу школьиой учебы,— удивительио, до чего иа иих горели и ботинки и штаиы и до чего быстро ребята из всех одежек вырастали!

То, что Гаршии «примазался» к уже готовому, разработанному предложению, расстроило Шикииа, тем более что ои чувствовал себя виноватым перед бригадой — именно с иим заговорил об этом Гаршии, н имеиио ои, растерявшись, согласился иа то, чтобы Гаршии поставил свою подпись.

— Вы поиимаете, Яков Андреич, это было так виезапио,— удрученио рассказывал он.— Ведь сиачала Виктора Павловича звали в бригаду, ио ои ие пошел. Сколько у нас собраний было, сколько иочей сидели, сколько вариаитов перебрали! И вот уже добрались до главиого. Надо оформлять, закаичивать. Григорий Петрович иачал иас торопить. Ведь стаика-то такого иет, его еще заказывать иужио! И вдруг Аииа Михайловиа предлагает времеиио приспособить карусельный стаиок. Алексей Алексеевич поддерживает, даже подробно рисует как: скоростные головки с особыми моторчиками... Ну, всем поиравилось, Григорий Петрович приказывает поскорее додумать все подробности и подавать... Мы идем в цех. Прямо у каруселей все обсуждаем. Виктор Павлович тоже с иами пошел; коиечио, участвует в обсуждении,— вопрос тут был, как обеспечить разворот...

Шикии иачал чертить на обороте старого чертежа.

— Наметили мы фиксаторы устаиовить на планшайбе н иа самой станине... Стоечки какие-иибудь в виде столбиков, стоящих точио друг против друга...

Листок бумаги покрывался линиями и пунктирами. Воробьев иапряженно вглядывался, стараясь уловить общий замысел. Огромиая, быстро вращающаяся металлическая площадка каруселей должиа была оставаться недвижной, пока скоростные головки обрабатывают один косой стык. Первая головка делает чериовую обдирку, вторая «доводит» стык до полиой точности. Затем планшайбу разворачивают на сто восемьдесят градусов, н второй стык сам подходит под скоростные головки.

— Здорово придумали! — сказал Воробьев.— И ведь иесложно! Чего доброго, и для красиозиаменских поспеет?

— Поспеет, если постараться,— сказал Шикии, и радость удачи на миг осветила его лицо.— Предложение уже подано, прямо главному инженеру.— Радость померкла: Шикин вспомнил про пятую подпись.

— Как же это все-таки произошло с Гаршиным? Придумал он что-нибудь ценное, или что?

— Ну, как сказать. Особых предложений не было, а так — участвовал, одобрял. Когда говорили, как замерять, чтоб ось точно совпала при развороте, кто-то сказал — штихмассами можно замерять, а Виктор Павлович сказал: можно индикаторы установить, на циферблате сразу увидишь любое отклонение. Ну, все согласились... А потом Алексея Алексеевича вызвали в цех. Анна Михайловна побежала проводить занятие, а Виктор Павлович и говорит: «Давайте не откладывать, надо оформлять и подавать, я сам снесу главному инженеру и протолкну побыстрее». Ну, правда, помог. Чертежи-то делал я да наши технологи помогали, а вот записку писать — я, знаете, не мастер насчет формулировок. Это уж Виктор Павлович все изложил, хорошо у него получилось, красиво. Я стал его благодарить от всей бригады, а он... Знаете, как Виктор Павлович? Все с шуточками: я, мол, тоже не чужой, меня в бригаду раньше тебя звали, я только не умею месяцами корпеть, я люблю — раз-два, и готово! И вдруг спрашивает: «Подписать, что ли, и мне для крепости? В техническом отделе моего баса боятся, помчится наше рацпредложение по «зеленой улице»... И подмахнул: «В. Гаршин».

— А вы что же?

— А я... в том-то и дело, что я растерялся.

— А другие?

— Ну... Воловик, знаете ли, такой, что ему вроде безразлично. Плечами пожал и расписался в самом низу листа. А Алексей Алексеич и Анна Михайловна...

Он смущенно улыбнулся и совсем тихо докончил:

— Они, знаете, куда-то спешили оба. Алексей Алексеич только сказал, что бывают такие умельцы — на ходу подметки режут. Подписались оба рядышком и ушли.

Полозова и Карцеву Воробьев затянул к себе в партбюро.

— Что ж вы это? Вам все равно, так о товарищах подумали бы.

Аня сказала, глядя в сторону:

— Формально возражать канительно — иди доказывай, что он только индикатор предложил да записку оформил! А этически...

Ей было мучительно стыдно перед Алексеем, не за Гаршина — за себя.

— Товарищ Гаршин должен решить этот вопрос сам,— резко сказал Алексей.— Никакой кляузы заводить с ним мы не будем. Я по крайней мере... Какая-то доля его участия есть. Если он считает ее достаточной,— что ж, дело его.

Когда Любимов узнал о случившемся, он густо покраснел, даже уши и шея залились краской. Ему было неловко за своего приятеля и неприятно, что получилась такая некрасивая история и ему волей-неволей придется в ней разбираться.

— Страино, страино...— пробормотал ои.— Надо все же проверить... Если действительио только индикатор... Я поговорю...

— Не иадо, Георгий Семеиович. Я поговорю сам.

Гаршии пришел как ии в чем ие бывало и очеиь удивился, когда Воробьев заговорил с иим об этой его подписи. А потом рассердился:

— Шумим, шумим — содружество, комплексиые бригады, взаимиая помощь иижеиеров и стахаиовцев! А все оборачивается корыстиой стороиой! Что, премия мие иужиа? Да иу ее совсем! Я за деиьгами ие гоиюсь, я помочь хотел, меия Карцева первого в бригаду звала, раиьше Шикииа и Воловика! Если б я захотел...

— Виктор Павлович, ио вы же ие захотели. Вы же ие работали в бригаде. Даже, помиится, возражали, когда позиакомились с первым проектом, что дело это дорогое и долгое...

— А коиечио! — подхватил Гаршии.— Я иачальиик сборки, меия сроки подпирают, у меия эти диафрагмы вот здесь сидят,— ои показал иа горло,— я ие могу ждать год! А оии ведь все равио возились имеиио с этим проектом — стаиок заказывать, иечто вроде карусели, только попроще, ио все равио — волыика! А когда иа самом совещаиии зашла речь о времеииом использоваиии карусельиого стаика... кто это предложил, я ие помию...

— Карцева.

— Да? Возможио. Ну, поиятио, тут я увлекся, включился, иачал помогать, советовать, разрабатывать. Если хотите зиать,— вдруг со злостью сказал ои,— то без меия оии бы и по сию пору сидели да пыхтели! Я додумал, рассчитал, оформил, придал закоичеииость... Я пошел в техиический отдел, пошел к Алексееву... Нажимаю, требую, тороплю... Кому-то стало завидио? Пожалуйста, могу отойти! Скажите пожалуйста, при мие ие возражали, а потом жалко стало!

Воробьев приглядывался к Гаршииу и раздумывал — что тут правда, а что притворство? За деиьгами, возможио, Гаршии и ие гоиится, во всяком случае ие в деиьгах тут дело. А в чем же? В том, что комплексиые бригады вошли в моду и Гаршииу ие хочется отстать от других? Отстать ие хочется, ио и работать ие хочется, длительиые усилия ие в его характере. Ищет легкого успеха. То, что иазывается «сиимать пеики». А тут как раз представился случай иаскоком включиться в бригаду под самый коиец, когда главиое придумаио и можио пошуметь, протолкиуть, а заодио и разделить с другими честь.

— Я только что говорил с Воловиком,— вдруг сказал Гаршии, забыв о том, что в иачале разговора как будто иичего и не зиал о иедовольстве члеиов бригады.— Воловик — а ои, кстати, реальио больше всех придумал, ои действительио талаитливый изобретатель! — так вот Воловик даже удивляется, что подиялись такие разговоры! Ои совсем ие разделяет тех мелких чувств, которые тут проявились! И лучшее доказательство — ои мие

предлагает работать иад иовой проблемой по механизацни иа сборке!

Как всегда, когда приходилось разбнраться в сложиых взаимоотношениях людей, каждый поворачивал дело по-своему, так что иелегко было добраться до нстииы. Еще полчаса тому иазад Воробьеву все казалось ясиым. Теперь все запуталось и представало в ином свете. Неужели правда, что Воловик иаходит поступок Гаршниа естественным, оправданным? Вот ведь Карцевой, вндимо, было стыдно за Гаршниа... А Полозов говорнт: «Пусть решает сам. Какая-то доля есть». Вот еще нстория!

— Скажите мне, Виктор Павловнч... вот так, совершеиио конкретио: что нменно предложнлн вы? в чем ваша доля участня?

— Это что — экспертнза? — ие отвечая, нроинчески спроснл Гаршнн.— Может, еще создать экспертиую комиссию для уточиення долн участия всех члеиов бригады?

Воробьев ие дал сбнть себя с толку:

— Нет, Виктор Павловнч. Комнссин не будет. Еслн вы иайдете нужным, вы самн синмете свою подпнсь так же, как сами ее поставнлн. Взвесив, есть лн у вас достаточные основания.

— А конечно, есть осиоваиия! — выкрикиул Гаршии, багровея.— Еслн откииуть дешевое честолюбне и корысть, если думать ие о премии, а о самом деле...

— Вы — их! — обвиияете в дешевом честолюбии н корысти?

Гаршин иа миииуту смешался.

Воробьев вздохиул и с горечью подумал, что вот и тут — внешие как будто все было в порядке. Считался энергичиым работником, выговоров не имел, а благодарности, случалось, получал. А что у иего виутрн? Живет себе человек, ходит на партийные собраиия, платит взиосы, что-то там делает, когда поручишь. В острые споры ввязываться ие любнт, но в общем человек как человек, даже снмпатнчный. Миогие его любят — с иим весело. А какая ему цена — как оцеиишь? Вот н сейчас он оправдывается, даже возмущается и обвиияет других... а по совести, ведь это черт зиает что, вот эта его подпнсь «для крепости»!

Воробьев подиял голову н спросил, в упор глядя иа Гаршииа:

— Осиоваиия, говорите, есть... Ну, а совесть у вас есть?

Он тотчас отвел глаза, потому что иеловко было смотреть иа Гаршниа, иа его тщетиые попытки сохранить обычиое выражение веселой самоуверенности.

— Подумайте, Виктор Павлович, как коммуиист, и сделайте, что совесть подскажет.

Стул тяжело скрипиул.

Не подиимая глаз, Воробьев слышал, как Гаршин медлеино прошел по комиате н прикрыл за собою дверь.

5

Круг забот Саши Воловика с каждым днем расширялся. После доклада в Доме технической пропаганды у него появились новые знакомые — изобретатели с других заводов. Один из них, двадцатилетний Леня Пенкин, поразил Воловика яркой талантливостью. Технические выдумки возникали в его голове одна за другой. Но при этом Леня совершенно не умел сосредоточиться на чем-то главном, усидчиво поработать, довести дело до конца.

— Фантазия у тебя богатая, Леня, но толку от нее мало,— сказал ему Воловик.— Так можно и пустоцветом остаться!

Должно быть, Леня и сам чувствовал свой недостаток. Он крепко привязался к Воловику и благодарно принимал его советы, но для этого Воловику приходилось вникать в совсем новые технические вопросы, и каждый раз он остро ощущал, как не хватает ему знаний.

В цехе усиливалась горячка, особенно на сборке. К первому июля турбина должна была пройти испытания. А тут еще стало известно, что из Краснознаменки едет делегация с ответным визитом дружбы, и Воловику было поручено встречать краснознаменцев и оказывать им дружеское гостеприимство.

И, как нарочно, в эти же дни Воловику пришлось писать статью для газеты. Редактор предложил ему помощь литературного сотрудника, но Воловик из гордости отказался — вот еще, он и сам грамотный. Как умеет, так и скажет. Впечатления от поездки в Краснознаменку были свежи, а уж о своем родном заводе можно написать хоть десять статей!

Все было ясно и легко укладывалось в план статьи, продуманной Воловиком во время работы. Но когда он дома сел писать, все пошло прахом. Ясные мысли спутывались, как только он пробовал записать их. Слова не подчинялись, а тянули куда-то вбок. Перечитывая написанное, он видел, что живые и яркие впечатления в его изложении становятся тусклыми. Кроме того, он то и дело спотыкался на правописании.

— Ася! — кричал он.— Как пишется Алюминьстрой, алюминий — одно «л» или два?

— Кажется, одно,— отвечала Ася из кухни, а через минуту кричала: — Ой нет, кажется, два!

Он исписал целую тетрадку. Прочитал Асе, Ася нашла, что написано очень хорошо.

Редактор тоже нашел, что хорошо, а затем взял красный карандаш и начал прогуливаться им по страничкам тетради. Перечеркнул второе «л» в Алюминьстрое, прибавил одно «н» в слове «напряженный», в «электрификацин» поставил букву «и» вместо «о», вычеркнул несколько «которых» и «потому что», расставил вдвое больше точек, чем было, выделил запятыми вводные предложения, приписал красивую концовку...

Саша с затаенной досадой следил за быстрыми движениями красного карандаша.

— Зина, отстукай — и в набор! — сказал редактор, перекидывая тетрадку секретарше, и с удовольствием потер руки.— Превосходный получится подвал!

— Подвал?

Редактор взял номер газеты и показал Саше статью, занимавшую всю нижнюю часть страницы:

— Вот что такое подвал. Ну, Александр Васильевич, спасибо, и не забывайте нас. Лиха беда начало.

Воловик неловко поклонился и ушел, стараясь не глядеть на секретаршу. Нет, в следующий раз он в таком виде статью не понесет!

Не успел он вернуться на завод, как к нему подошел Воробьев

— Гаршин свою подпись снял,— сообщил он.

— Ну и добре,— равнодушно откликнулся Воловик. Вся эта история, поначалу рассердившая его, сейчас уже мало трогала.— А ты что такой довольный? Неужто из-за этого?

— Да, из-за этого.

Воробьев знал, что это его победа — одна из тех повседневных, никем не замечаемых побед партийного работника, которую не учтешь в отчете и не расскажешь на собрании.

— А что, Саша, вы с ним вместе думаете заняться механизацией на сборке?

— Ага.

— Бригадой, или как?

Воловик помолчал, чему-то про себя усмехаясь, потом сказал:

— Да разве в названии дело? Виктор Павлович предложил мне договор... как это теперь называется? — договор на творческое содружество. Для механизации ряда операций на сборке. Ну, а с чего мне отказываться? — Воловик подмигнул: — Начальник же!

Воробьева покоробило:

— Ну и что? При чем здесь начальник?

— Ну как «при чем»? Поможет, обеспечит, нажмет где надо... А что, Яша, ты против?

Воробьев подумал и ответил:

— Нет, я — за! Подписывайте договор, работайте, думайте... как тут возразишь? Гаршин человек способный, энергичный. Очень хорошо, что он захотел мозгами пошевелить... Только вот что я тебе скажу, Саша. Как коммунисту, как члену партбюро. Тяни его в работу, требуй с него, как с инженера и с начальника... но шуму раньше времени чтоб не было!

— Ну, знаешь, я не любитель шума.

— А я не о тебе и говорю.

Воробьев ушел. Растревоженный разговором, Воловик задумался. Он ли это три месяца тому назад упрямо и тщетно, вопреки всем, добивался перевода в турбинный цех ради «мечты», в кото-

рую никто тогда не верил, кроме двух-трех друзей! Он с благодарностью вспоминал Женю Никитина, Воробьева, Полозова, поверивших в него с самого начала, но не осуждал и тех, кто поначалу отнесся к нему недоверчиво. Мало ли кто чего хочет! Надо доказать, что сумеешь выполнить задуманное, что ты не мечтатель и не хвастун. Носиться с тобою никто не обязан. Если ты чувствуешь, что замысел правилен и ты в силах осуществить его,— умей постоять за себя, добивайся, доказывай! А признание придет, когда добьешься. Вот оно и пришло, широкое и щедрое. Но как непросто стало теперь жить! Раньше жил как хотел. Задумал новый станок — ну и начал работать над ним. Не захотел бы — никому и в голову не пришло бы требовать! А теперь каждый спрашивает: «Над чем работаете? Какие у вас дальнейшие планы?» Очень многие люди стали интересоваться им, предлагать свою помощь. Большинство — совершенно искренне, с открытой душой, но кое-кто и слащаво, фальшиво, с затаенной, трусливой мыслишкой: «А кто тебя знает, не поможешь вовремя — еще обвинят, что не поддержал изобретателя!» И вот Гаршин... как разберешься, какие у него побуждения? Раньше отмахивался, а теперь — договор на содружество... Но главное не в этом. Главное в том, что теперь стали подпирать со всех сторон — хочешь не хочешь, остановиться на месте нельзя. Высказал мысль, что можно механизировать ряд работ на сборке, и с разных сторон за эту мысль уцепились Полозов и Шикин, главный технолог завода и главный инженер, Воробьев и Диденко, Гаршин и слесаря-сборщики. И профессор Карелин зовет к себе, расспрашивает, как да что собираюсь делать, дает книги и журналы, а вот теперь пригласил в субботу к себе на дачу. Зачем? «Мы с женой любим гостей...» Пусть так, но о чем заговорит профессор, когда настанет удобный час?

— Александр Васильевич! Александр Васильевич!

Это звала Карцева. Оказывается, приехал писатель писать очерк по заданию московской газеты. Ждет в техническом кабинете.

— Не пойду, Анна Михайловна! —сердито сказал Воловик, вспомнив предупреждение Воробьева «только шуму не поднимать»... Шум, шум! Разве я создаю шум? Теперь вот еще и писатель!

Аня с улыбкой оглядела Воловика, упрямо склонившегося к тискам, и строго сказала:

— Это не для вас — для дела нужно, Александр Васильевич. Быстренько кончайте и приходите, человек ждет.

Писатель Воловику сразу и решительно не понравился. Было что-то развязное в приветливом жесте, каким он пригласил Воловика сесть, и в изучающем, почему-то смеющемся взгляде, каким он впился в нахмуренное лицо Воловика.

— Вот вы какой, Александр Васильевич Воловик! Ну что ж, давайте беседовать! Говорили вам, для кого и что я буду писать?

— Нет,— угрюмо ответил Воловнк.— Сказалн, для газеты.

— Буду я о вас писать большой очерк. Тема, если сказать в иескольких словах: рабочий эпохи перехода к коммуиизму. Газетиый подвал. Знаете, что это такое — подвал?

— Зиаю,— усмехиувшись, сказал Воловик.— Но подвал — это слишком миого, если обо мие одиом. Столько обо мие писать иечего.

Писатель присвистиул, а потом очень серьезно сказал, что иет иа свете такого человека, о котором иечего иаписать. Он помахал вечным пером, попробовал, хорошо ли оно пишет, н начал быстро задавать вопрос за вопросом — возраст, рабочий стаж, где и когда учился, кто родители... Скупо отвечая, Воловик с иарастающим раздражеиием думал, что все это чепуха, разве можио вот так узиать человека, кто бы он ии был?

— Ну вот,— с облегчением сказал писатель, кончив опрос и завиичивая вечное перо.— С подготовкой рабочего места покоичено. Вы ведь тоже подготавливаете рабочее место, Александр Васильевич, прежде чем иачать работу?

— Я думал, это и есть сама ваша работа,— пробормотал Воловик, впервые с любопытством прнглядываясь к собеседику.— Вы же всю биографию записали от папы с мамой и до ныиешиего дня.

— Это ие биография, друг мой, а ее скелет. Анкета, которая еще ничего ие раскрывает. И тем не меиее она нужна, чтобы иачать. Записывать всякие сведення по ходу дела скучио, да и мешает. Я ведь тоже человек! Увлекусь, заговорюсь, а потом дома сяду писать — батюшки светы, сколько ж ему лет, этому орлу? — забыл записать!

Он весело улыбиулся.

— В молодости, совсем еще мальчишкой, я иачал работать газетиым репортером, писал заметкн строк на пять-шесть. И вдруг — повезло! Как раз тогда происходнл в Москве съезд колхозииков-ударииков, и для делегатов устроили экскурсию в метро,— а было это еще до открытия метро, перед пуском... Узиали об этом в редакции поздио, очеркистов под рукой ие оказалось. От иечего делать схватились за меня — летн, двести строк о метро и о впечатлеииях колхозииков! Бывали вы в московском метро? Ну, значит, поймете меня. Ошалел я от восторга, глазею иа потолки и стены, иа эскалаторах вверх-вниз катаюсь, иа ходу придумываю всякие красивые слова н сравиеиия, запомииаю восхищеииые возгласы колхозииков... Ну, вериулся в редакцию, сажусь, пишу. Вдохиовеиио иапнсал, чувствовал себя прямо поэтом. Несу к редактору. Он чнтает, а я стою, жду похвал и поздравлеиий, вижу себя уже ие репортером — почтеииым очеркистом для особо важиых задаиий... А редактор смял мон лнстки да ка-ак закрнчнт: «Да вы с ума сошлн, что лн? Сияющне чертогн! Голубые, как небо, своды! Волшебные лестннцы! — всякого вздо-

ру сто пятьдесят строк, а о людях что?.. «Бородатый колхозник», «пожилая колхозница в шелковой шали», «усатый колхозник». да вы понимаете, что вы начиркали? Съехались знатные люди страны, осматривают свое, народное достояние — а вы мне каких-то оперных пейзан без имени-фамилии суете!»

— Так и не напечатали? — смеясь, спросил Воловик.

— Какое там! Чуть из редакции не вылетел...

Он сунул в кармашек пиджака вечное перо, откинулся на стуле и попросил:

— Расскажите мне немного о себе, Александр Васильевич. Я знаю, что это нелегко, но поймите — нужно! Пример одного подхватывается тысячами.

— Попробую,— смущенно согласился Воловик.— А вы спрашивайте, если что...

От неприязни первых минут не осталось и следа. Перед Сашей сидел рабочий человек, другой, очень трудной профессии, и этому рабочему человеку н у ж н о было понять его, Саши Воловика, жизнь и душу.

Он начал было с поступления на завод, но писатель всплеснул руками:

— Милый мой, а Днепрострой? А война? Ну-ка, давайте начинайте с детства, с Днепростроя. Это ведь как здо́рово — человек эпохи коммунизма первые, детские впечатления впитывал на социалистической стройке первой пятилетки!

Оказалось, что и сам писатель побывал в те годы на Днепрострое и видел многое из того, что на всю жизнь врезалось в память Воловика. Был он и на восстановлении Днепростроя после войны, и в Краснознаменске, и на строительстве Волго-Донского канала, и еще во многих местах.

— Интересная у вас профессия,— позавидовал Воловик.

— Не жалуюсь.

Воловику не хотелось возвращаться к прерванному рассказу. Что интересного в его жизни? Да еще для человека, который видел столько увлекательного!

— А знаете, Александр Васильевич, увлекательнее всего — человек.

Воловик посмотрел недоверчиво. Небось слова? Для поощрения?

— Нет, в самом деле! Вот я недавно познакомился с одним инженером. Он разрабатывает интереснейший план поворота сибирских рек,— не слыхали? Могучие реки — Обь, Енисей — без смысла сбрасывают свои воды в Ледовитый океан... Так вот — повернуть их на юг, через казахстанские пески, через Аральское море — в Каспий! Интересно? Ого! И сколько там проблем возникает! Орошение, изменение климата в огромном районе страны, превращение Аральского моря в пресное... Ну, прямо фантастика! И вот слушал я его доклад. Такой деловитый, неразговорчивый человек, водит указкой по картам и схемам,

каждую мысль обосиовывает цифрами, расчетами, формулами. И в этом для меня было самое интересное — предельная деловитость, инжеиериая сухость в изложеиии дерзкой мечты, которую за границей уже успели обозвать фантазией сумасшедшего!.. И зиаете, что тут изумительио? Что ои ие одии, мечтатель-фантазер, и что мечта стаиет явью, что оиа разрабатывается государствеиио, как часть общей перспективы, и иастаиет деиь, когда руководители страиы скажут деловито: «Вот теперь можио взяться и за эту задачу»,— и все иачиет осуществляться. А?

— Да! — подхватил Воловик, вспомииая разговор в вагоне по пути в Красиозиамеиск.— Я уже слышал о кое-каких громадиых стройках... А это... позвольте, как же это задумано?

Ои поискал глазамн карту, но карты ие было.

— Есть там горы? Большой путь пробивать придется?

— Через Тургайские ворота, если помните географию.

Воловик ие зиал, где иаходятся Тургайские ворота, и это его огорчило так же, как лишнее «л» и иеиаписаииое второе «и» — там, в давешией статье.

Писатель иабросал караидашом иа бумаге, покрывавшей стол: вот Сибирь, вот Казахстаи и Аральское море, вот Тургайские ворота, там что-то от 40 до 75 метров груита прорубать иадо для каиала... длииа его около тысячи километров...

— Ого, тысяча километров! — воскликиул Воловик, ио тут же высказал предположеиие, что можио и тоииель проложить или использовать для взрывиых работ атомиую эиергию... верио? Да и вообще мало ли сейчас мощиой техиики!

Писатель объяснял, поддакивал, выслушивал соображеиия Воловика, увлечеиио чертившего иа столе каиалы и тоннели, и иакоиец рассмеялся:

— Так и есть, Алексаидр Васильевич! Так я и думал — вы той же породы!

— Какой такой породы?

— Советских мечтателей. То есть самых смелых н трезвых мечтателей, какие только бывали на иашей плаиете.

— А с фантазии всякое дело иачииается,— подумав, сказал Воловик.

Затем разговор все же вериулся к простым вопросам жизни и работы и тут стал застревать, спотыкаться. Уже рассказано о стаике и о комплексной бригаде по косым стыкам, ио писателю этого мало, он пытается «клещами» вытянуть из Воловика рассказ о зиакомстве с профессором Карелииым, о содружестве с Гаршииым,— а получается иескромиость, хвастовство нли тот самый преждевремеииый шум... И о Леие Пеикине,— откуда ои узнал, что я помогаю Пенкину? Не помогаю, а подталкиваю как умею — для помощи у самого зианий не хватает...

— Где учитесь, Алексаидр Васильевич?

— Нигде.

— Да как же это? Вот уж на вас не похоже!

Воловик хмуро сказал, что за всем враз не угонишься, почувствовал огорчение собеседника и понял, в чем суть той работы, которую проделал писатель незаметно, но настойчиво во время их свободной беседы, как будто бы часто отвлекавшейся в сторону. Писатель пришел, уже зная, каким должен быть его герой, он извлекал из Саши Воловика те черты и свойства, которые характерны для нового типа рабочего. И, видимо, не нашел всего того, что искал.

— Вот видите,— с досадой сказал Воловик.— Я вам не подхожу.

— Разве? — с улыбкой отозвался писатель.— Впрочем, с учебой вы меня немного подвели. Но ведь в чистом виде ничего не найдешь, Александр Васильевич. Коммунизм не в лаборатории выращивается — в жизни. А жизнь — она такая.

В тот вечер Воловик прошел мимо своего дома и углубился в тихие переулки, где он не бывал с той самой ночи, два года тому назад, когда метался до рассвета.

Теперь ему тоже нужно было остаться наедине с самим собой. Обдумать что-то? Нет, он ничего не обдумывал, хотя чувствовал близость каких-то новых решений... Скоро в столичной газете появится очерк, миллионы людей будут читать, что есть такой передовой рабочий Александр Васильевич Воловик. Что ж, конечно, передовой,— не отсталый же! Да, но кое-что будет в очерке обойдено, пропущено — зачем читателям знать, что этот Воловик бросил учиться или что его договор о творческом содружестве с Гаршиным — уступка напористому начальнику, что сам он этого договора не хочет, не верит в него, тут совсем бы другой человек нужен... В очерке промолчать об этом просто... а в жизни как? «Жизнь — она такая»? Вот она торопит, подталкивает, тянет вперед, не спрашивая, что ты можешь и чего не можешь. Карцева говорит — так тянитесь, это же хорошо! Конечно, хорошо, кто спорит! Но можно ли совместить все? Есть еще Ася, и ее горе, и ее новая радость, которые в то же время — и его горе, и его радость. Ася становится такой грустной, если Саши долго нет, и стоит сказать: «Пойдем погуляем, у меня свободный вечер!» — вся просияет. И это тоже — жизнь! Простая, очень волнующая, родная... «Ты меня не разлюбишь теперь, когда ты стал такой знаменитый?» — спрашивает Ася.

Он ласково улыбнулся. Нет, где там! Ася стала еще нужней, кусочек своего, привычного тепла среди всего нового, что будоражило и требовало усилий. Только на первых порах общественное признание ощущалось им как легкое головокружение, как жар неотпускающих, устремленных на него лучей. Теперь все вошло в колею, но колея-то иная — очень трудная, обязывающая. Слава обернулась требовательностью.

Спустя два дня под вечер Саша Воловик осторожно вел Асю через лес, украдкой поглядывая на нее — лучше ли ей? Асю укачало в поезде, едва они отъехали от города; Воловик предлагал вернуться домой, но Ася настояла, чтобы ехать дальше,— приглашение профессора польстило ей, она готовилась к поездке всю неделю.

— Смотри, малина! — вдруг вскрикнула Ася и, забыв о своем недомогании, забралась в кусты дикой малины, царапая руки и отправляя в рот чуть розовеющие, еще не поспевшие ягодки.

— Ася, тебе не повредит?

Месяц тому назад Ася встретила мужа слезами,— глаза ее сияли, а слезы струились по щекам. Саша сперва испугался, а потом бурно обрадовался. И тогда Ася разрыдалась, прижавшись к нему.

— Это не измена... я никогда, никогда не забуду мою доченьку... но я так рада, что у нас будет... я буду так, так беречь его...

С тех пор их жизнь была наполнена ожиданием ребенка и сотнями опасений. Ася постоянно советовалась с врачами, ела только то, что велел врач, и послушно гуляла столько времени, сколько предписал врач. Заботиться о муже она перестала сразу и бесповоротно. Теперь она требовала, чтобы он ухаживал за нею и жил в постоянной тревоге об ее здоровье. Он пытался настроить Асю на более спокойный лад, так как был уверен, что все происходящее с нею — естественно, но рассудительные слова сердили и обижали Асю. Если же он пугался за нее, Ася сразу веселела и сама принималась успокаивать его.

— Что ты, Саша, ведь это сплошные витамины! — ответила она и теперь, поскольку тревожный вопрос был задан.— И вообще все уже прошло... Подержи-ка ветки, я заберусь поглубже...

Тут их и нашел профессор, вышедший с женой навстречу. Ася для начала прикинулась степенной дамой, но через полчаса уже хохотала, шутила с профессором и даже, кажется, забыла, что ей надо беречься,— после ужина уговорила всех пойти гулять.

Они вышли на берег озера и невольно притихли. Так хорош был вечер, так вольно простиралось над ними большое, неохотно темнеющее небо с бледным рожком месяца, а перед ними вплоть до горизонта лежало спокойное озеро и над самой водой то тут, то там клочьями висел туман. Два-три огонька проблескивали сквозь листву прибрежных кустов, да с веранды дачи падал столб оранжевого света, выхватывая из легкой мглы кусок песчаного берега, уходящие в воду мостки и смутно вырисовывающийся силуэт вышки для прыжков.

— Благодать какая,— сказал Воловик и, покосившись на профессора, как-то вдруг осознал, что независимо от того, собирается ли с ним говорить профессор или нет, он сам хочет серьезного разговора и обязательно затеет его, когда будет удобно.

Утром встали рано.

— Купаться, купаться! — торопил профессор, косясь на жену, накрывавшую стол к завтраку.

Они пошли на берег озера. Воздух был свеж, а вода, еще не нагретая солнцем, показалась совсем ледяной, когда Воловик шагнул в нее. Холод ознобом прошел по коже. Не останавливаясь, Воловик быстро пересек прибрежное мелководье, вытянул руки, оттолкнулся от песчаного дна ногами, врезался в воду и поплыл. Его широкоплечее, обычно неуклюжее тело будто сузилось, подтянулось и напряглось. Сильными загребающими движениями выбрасывая вперед руки и погружая их почти на одной линии с опущенной к воде головой, он глубоко и сильно дышал, привычно управляя дыханием. Тело ввинчивалось в воду, увеличивая скорость молотящими ударами ног. Восхитительно свежая вода струилась вдоль его тела, словно он преодолевал быстрое речное течение. Солнце дробилось на поверхности озера и вспыхивало перед глазами в разлетающихся брызгах.

Проплыв ровно столько, сколько нужно было, чтобы размяться, он повернул назад, потому что было неловко уплыть одному слишком далеко. Он увидел на берегу Асю, которая так и не решилась войти в воду, а стояла рядом с Полиной Степановной, следя за мужем из-под ладони. Какой-то человек в плавках стоял на вышке и тоже смотрел из-под ладони. Увидав, что Воловик повернул, человек быстро взмахнул руками, бросил свое тело вперед и вверх, развел руки и ласточкой полетел вниз. Прыжок был искусен — пловец скользнул в воду, не разбрызгивая ее, только мелкие пузырьки воздуха да разбегающийся круг обозначили место падения.

— Хорошо! — крикнул профессор, вынырнув около Воловика. Солнце сверкало в каплях воды, застрявших на его стриженных ежиком седых волосах и стекавших по покрасневшему, улыбающемуся лицу.

— Здóрово вы! — с уважением сказал Воловик.

— Ничего! — с удовольствием ответил Карелин,— он явно гордился своим искусством и был счастлив, что мог показать его гостю.— Поплывем?

Он плыл брассом, не торопясь.

— Кроль уже не для меня, сердце поберечь нужно,— объяснил он.— А так — хоть все озеро переплыву. И бросать никак нельзя. Перестану — ну, тогда мне конец. Старость.

Вода стала теплей и потеряла упругость, глаза разглядели под ее тонким слоем желтизну песка, колено шаркнуло по дну. Они выбрались на мель, почти целиком прикрытую нагретой солнцем водой.

— Полежим,— предложил Карелин.

Он, видимо, был непрочь отдохнуть. Слышно было его учащенное дыхание. Воловик совсем не устал, он сел рядом с профессором, охватив колени руками.

— Сейчас, может, не время,— смущенно проговорил он.— Но

знаете, Михаил Петрович, я об одной штуке все время думаю. И хочется вас спросить. Вот мне предлагают содружество... насчет этой самой механизации сборки, вы знаете. А я чувствую — не то! Не тот человек! Мне бы такого ученого, который в этих вопросах сам доискивается... сам душой болеет... Так что́ вы скажете — прилично мне отказаться и самому поискать человека нужного?

— Обидеть боитесь? — скосив глаза на Воловика, спросил Карелин.

— Нет. Просто думаю, не получится ли зазнайство. Такой-де разборчивый, что ему и инженер уже не хорош. Впрочем,— добавил он,— и обидеть — тоже приятного мало.

— Мало,— согласился Карелин.— Только, знаете ли, есть одна область, где обиды ни при чем. Работа. Наука ли, производство ли — все равно. Если ученик в процессе исследования опровергает научные положения своего учителя,— обидно учителю? А все же ни одного настоящего ученого это не остановило...

— Вот я и думаю...— пробормотал Воловик.

Немного погодя он спросил:

— У вас в институте... найдется кто-либо из ученых, доцентов или там аспирантов... ну, которому эти вопросы механизации самому будут интересны?

— Найдется,— коротко ответил Карелин.

С берега махала рукой и аукала Ася. Воловик раздумывал, удобно ли предложить профессору плыть обратно, отдохнул ли он уже, а Карелин вдруг строго спросил:

— Александр Васильевич, почему вы бросили учиться?

Вот, значит, о чем он хотел поговорить! Воловик уклончиво ответил:

— Так обстоятельства сложились. Не мог.

— Нельзя позволять обстоятельствам сбивать вас с пути,— жестко сказал Карелин.— Особенно если чувствуете, что можете многое сделать. А вы ведь чувствуете это.

Воловик промолчал.

— С какого курса вы забросили учебу?

Вопрос был нарочито обидный. Воловик вспомнил ту осень — болезнь Люси, эти жуткие недели, которые прошли как в злом бреду... смерть дочки... отчаяние Аси...

— С четвертого курса техникума,— коротко ответил он.

— Э-э, Александр Васильевич! Это уж совсем стыдно - недотянуть!

— Мне не стыдно,— твердо сказал Воловик.— Дотянуть можно было только на эгоизме. Наплевав на другого человека.

Он глянул прямо в глаза профессору:

— Вот тогда было бы стыдно.

Михаил Петрович понимающе кивнул головой и встал. Сухонький, мускулистый, он распрямился, как пружинка, и снизу вверх внимательно оглядел Воловика, который стоял перед ним,

поднял плечи и неуклюже охватив их скрещенными на груди руками.

— Если так, простите. Очевидно, бывает и так... Что вы намерены делать дальше?

— Не знаю. Может быть, на курсы мастеров... или сам попробую учиться.

— Ни то, ни другое,— почти сердито возразил Карелин.— В институт! В институт надо поступать! Учиться всерьез, основательно, на полную силу! Кто вы сейчас? Изобретатель-самоучка! Почему? Есть у нас институты, стипендии, вечерние и заочные отделения, целая система разработана, чтобы все, кому надо, учились. С вашей механизацией вы кое-что придумаете, я верю. И помогут вам. Сведу вас с профессором Савиным, прикрепим к вам ученого мужа и так далее... А высшее образование вам необходимо! Присматриваюсь я к вам... талант налицо, а пишете вы, мысль излагаете — коряво! Почему? Как на теорию напоролись — стоп. Куда это годится? Непременно идите в институт. С этой же осени.

Воловик, не отвечая, взвешивал предложение профессора. Вот это и есть то самое главное решение?.. Трудно. И все-таки возможно?..

— Помочь вам подготовиться к экзаменам найдется кому,— добавил Карелин.— А год терять нечего. Сколько мы сосунков обламываем да вытягиваем, чтобы инженеры получились, а тут...

И, считая вопрос ясным, предложил:

— А ну, поплыли. Мчитесь вперед, покажите класс. С вышки — умеете?

Воловик ринулся в воду. Прекрасное ощущение силы, ловкости и упругости своего тела, вместе с ощущением душевной ясности, делало его счастливым. Таким счастливым — хоть пой! Не доплыв до берега, он ухватился за перекладину и энергичным движением вскинул свое тело на мостки. Освеженный и довольный, взбежал по ступенькам на верхнюю площадку и на минуту задержался на ней, подготавливая тело и нервы к прыжку. Отчаянный выкрик Аси дошел до него в тот самый миг, когда он отвел назад руки, согнул ноги в коленях и начал бросок. Удержаться от прыжка он уже не мог и не хотел. Ни с чем не сравнимое, острое и чарующее ощущение полета... собранность всего тела, каждой мышцы и каждого нерва... руки вперед, ноги вытянуты в струнку до кончиков пальцев...

Он разрезал воду и ушел в глубину, открыл глаза, увидел мерцающий среди водорослей песок и блики солнечного света в потревоженной воде. Сияние утра и дивная свежесть воздуха приветствовали его, когда он вынырнул на поверхность. Но в эту радость ворвался громкий истерический крик.

Увидав вынырнувшего из воды мужа, Ася смолкла, протяжно вздохнула и села на песок.

— Ася, ну что ты! Асенька! Ну разве так можно?..

Он опустился возле нее на колени, мокрый, все еще оживленный и счастливый.

Ася всхлипнула, пряча лицо.

— Перестаньте! — крикнула Полина Степановна, дотрагиваясь до ее вздрагивающей спины.— Что это, в самом деле! Как маленькая!

И вполголоса, сердито сказала Воловику:

— Вы бы при ней не прыгали, раз она у вас такая... с нервишками.

Ася вскинула голову и жалобно улыбнулась.

— Я думала, ты не умеешь,— прошептала она.

Профессор, выйдя из воды и завернувшись в мохнатую простыню, стоял поодаль и хмуро следил за Асей. Милая девочка, ничего не скажешь, но, боже ж мой, до чего она не та женщина, какую он хотел бы видеть рядом с этим талантливейшим парнем! Так я и предчувствовал,— думал он, ожесточенно растирая кожу,— так я и думал, что ничего в нем не разберешь, пока не увидишь вот этой его трогательной гирьки...

Они пошли к даче. Воловик вел Асю под руку. Не повредит ли ей пережитый испуг? Он старался подавить невольное раздражение, но ему было стыдно перед профессором и жалко, что испытанное им наслаждение так печально и глупо кончилось.

— Не сердись на меня, Сашенька,— еле слышно проговорила Ася.— Я испугалась, что ты утонешь.

Острая жалость к ней мгновенно вытеснила раздражение. Он представил себе, что было бы с Асей, если бы его не стало. Чем она жила бы? За что уцепилась бы в новом горе? Яснее, чем когда бы то ни было, он понял, что у Аси нет никого и ничего в жизни, кроме него, что она существует при нем, как хрупкое растение, обвившееся вокруг чужого крепкого стебля,— подруби стебель, и оно упадет. Неправильно, неправильно и страшно за нее. Но что тут можно изменить? Как научить ее жить иначе? Да и научишь ли?..

Полина Степановна поставила на стол горшок с дымящейся рассыпчатой кашей. Профессор наливал в толстые фарфоровые кружки молоко.

— Вот лучшая пища на свете,— говорил он, раздавая кружки.— Ешьте побольше гречневой каши, Асенька, и закаляйте нервы. Вашему супругу — путь-дорога большая, вам нужны крепкие ножки, чтобы топать рядом.

Ася с безграничной влюбленностью смотрела на мужа, до нее дошла только одна мысль — профессор ценит его, профессор предсказывает ему большое будущее.

— Ладно уж,— смущенно сказал Воловик, под шуткой скрывая волнение.— Я ее в заплечный мешок посажу. Она легонькая.

6

Последние пять дней июня были рассчитаны по часам и минутам — к ночи тридцатого вторая турбина должна была пройти стендовое испытание, и тогда цех мог рапортовать о выполнении июньского стахановского плана точно в срок.

На сборку стекались последние узлы и детали. По цеху то тут, то там гремел голос Виктора Гаршина; после выговора директора Гаршин ненадолго присмирел, но теперь ему было некогда выбирать выражения, и снова его зычная ругань звучала на участках, и в горячке на нее не обижались, а только посмеивались:

— Включился наш громкоговоритель!

Полозов морщился и при встречах с Гаршиным просил сквозь зубы:

— Перестань.

Его раздражала атмосфера «аврала», которую создавал начальник сборки. Он гордился тем, что цех вошел в график и в завершающих работах по второй турбине ясно ощущается почти бесперебойный ритм. Сам Полозов уже не бегал по участкам, как раньше, и не «нависал» над рабочими с просьбой «постарайся, дружище», о чем иронически вспоминал на собрании Коршунов. Зато на оперативных совещаниях начальники участков и мастера боялись колючих замечаний Полозова, а Бабинков жаловался друзьям, что Полозов «всей тяжестью навалился» на ПДБ.

С утра до вечера похудевший и утративший свое красноречие Бабинков осипшим тенорком давал сведения наверх — заводскому диспетчеру — и запрашивал сведения снизу — с участков. Держа перед глазами памятку, он названивал снабженцам насчет баббита для третьей и крепежа для второй турбины, выяснял, отгружены ли отливки с металлургического завода для четвертой, заказаны ли вагоны для отправки первой...

Ничто не шло само собою, ни про одну деталь, материал, инструмент нельзя было сказать, что они катятся как по маслу, но тем приятнее было Бабинкову, что они не застревают. Мысленно он много раз на дню красноречиво хвастал тем, как он что-то обеспечил, чему-то помог, кого-то подстегнул... Но не успевал он открыть рот, чтобы похвастать,— звонил телефон, и опять где-то что-то «горело» или «затирало», и Бабинков начинал названивать в цехи, в дирекцию, старшему диспетчеру...

— Это ты, Бабинков? — переспрашивали начальники участков, удивленные его необычной краткостью и деловитостью.

— Глядите-ка, человеком стал! — с удовольствием отмечал Ефим Кузьмич.

Но Полозов приходил к Бабинкову только проверять и требовать, замечал каждую оплошность, а достижения принимал как должное.

— Знаешь, Леша,— однажды, разозлившись, сказал Бабин-

ков,— если ты думаешь, что я могу стать чем-то вроде автоматического регулятора...

— Ну, что ты! — ответил Полозов, дружески сжимая его пальцы, ухватившиеся за телефонную трубку.— Никогда я тебя не унижу таким сравнением: ты же человек — значит, гораздо умней и оперативней!

И ушел, посмеиваясь,— он знал, что злость пойдет Бабинкову на пользу, вытесняя склонность к болтовне и уступчивости.

Фактическое руководство цехом в эти решающие дни как-то само сосредоточилось в руках Полозова — должно быть, потому, что он был спокойней и увереннен всех.

Любимов вовремя появлялся там, где было нужно, вдумчиво решал вопросы, с которыми к нему обращались, председательствовал на «оперативках» и договаривался с директором и главным инженером тогда, когда это требовалось. Из цеха он почти не уходил, но иногда закрывался у себя в кабинете и говорил секретарше:

— Без крайней надобности — никого!

И секретарша заученно твердила всем, кто хотел пройти к начальнику цеха:

— Говорит с директором по телефону. Зайдите позднее.

А Любимов ни с кем не говорил. Прикрыв глаза, он сидел за своим столом и ничего не делал. Это не было ни отдыхом, ни раздумьем,— странная апатия охватывала его временами, такая апатия, что ни глядеть на людей, ни выслушивать их, ни решать какие-либо вопросы он не мог. Кабинет становился в такие минуты единственным его прибежищем, где можно ненадолго ото всех укрыться,— даже дома такого прибежища не было, потому что Алла Глебовна тотчас начала бы тревожно расспрашивать и строить предположения, что его обидели, обошли, не сумели оценить. Алла Глебовна говорила: «Они тебя заездят», «вы все какие-то ненормальные», «я тебя давно прошу — уходи с завода». А он любил завод. Он не представлял себе, как он стал бы жить без повседневных проблем и трудностей производства, без волнующей радости стендовых испытаний... Он помнил каждую турбину, выпущенную им, расстраивался, если с нею что-либо случалось, и радовался, если узнавал, что она работает без капризов дольше отпущенного ей наукою срока. Он гордился тем, что ему доверено руководство таким ответственным цехом, и ревниво оберегал свое доброе имя. Выговоры сверху и критика снизу делали его несчастным. Он готов был признать, что чего-то не понял, что новые требования, предъявляемые руководителю, законны и полезны. Он старался выполнять эти требования, но, должно быть, не умел. А в последнее время он чувствовал, что движение, охватившее цех в связи с обязательством краснознаменцам, перехлестнуло через него, что оно идет независимо от его воли, так что если бы он заболел или умер — ничто не изменилось бы.

Он не понимал людей, окружавших его. Они радовались тому, что его пугало, добивались того, что он пытался отстранить как «самоубийство». Они настояли на своем — новые сроки стали законом, и теперь любая задержка с выпуском турбины означала не только нарушение социалистического обязательства рабочих, но и срыв цехового и общезаводского плана, то есть неприятность для цеха и провал для него, для руководителя! Раздумывая на досуге, он признавал, что такое опасное решение целесообразно с государственной, да и просто с деловой точки зрения, но в глубине души не верил, что новые сроки реальны, и томительно боялся, боялся, боялся...

Сидя взаперти в своем кабинете, он прислушивался к разговорам секретарши с посетителями, и каждый громкий голос пугал его как возможный вестник непредвиденной беды. «Нервы, нервы!» — тут же успокаивал он себя, убедившись, что никаких дурных вестей нет.

Зазвонил телефон.

— Георгий Семенович, к нам приехали дорогие гости! — весело сообщил Диденко.— Делегация краснознаменских строек! Они уже побывали на генераторном, говорят — дела там весьма хороши. А что у вас? Идете в графике?

Любимов придвинул к себе график.

— В графике. Сейчас начнется посадка уплотнительной втулки и муфты, затем проточка всего ротора и балансировка. Довольно эффектное зрелище для гостей,— сказал он, заставляя себя приветливо улыбнуться, хотя гости и не могли видеть его улыбки.

— Чудесно! — воскликнул Диденко.— Товарищи пробудут до первого, чтобы присутствовать на испытании турбины. Сейчас они пойдут по заводу и, конечно, больше всего хотят осмотреть турбинный цех.

— Милости прошу,— сказал Любимов.

Он еще не отнял руки от телефона, когда дверь распахнулась и без спроса вошла Карцева. Подойдя вплотную к Любимову, она еле слышно проговорила:

— Беда... На уплотнительной втулке... волосовины.

Ефим Кузьмич уже вызвал кран, чтобы отправить втулку на сборку ротора, когда лаборантка заводской лаборатории, снимавшая серную пробу, выпрямилась с листком в руке и вполголоса позвала:

— Ефим Кузьмич!

На листке проступили рыжеватые отпечатки змеевидных, расходящихся линий.

— Волосовины,— шепотом сказала лаборантка.

Ефим Кузьмич вынул лупу и склонился над втулкой. На ее внутренней поверхности темнели тонкие трещинки. Должно быть,

в термической обработке втулку слишком быстро нагревалн нлн слишком быстро охлаждалн, сталь переиапряглась и треснула... н теперь это стальное толстое кольцо, такое мощиое и крепкое на вид, стало неиадежным: ие выдержать ему страшного иапряжеиия предстоящей миоголетней работы!

Прибежал Воробьев. Несколько мииут он не мог оторвать взгляда от змеящихся трещииок, потом твердо сказал те слова, которые было так трудио произиести:

— Брак. Неисправимый.

Вокруг них сразу столпились людн. Лупа переходнла из рук в руки. Ннкто ннчего не добавнл к словам Воробьева. Все было ясио. Брак. Надо заказывать новую втулку. Ротор будет ждать ее. А турбина будет ждать ротора. Все напряжеине этнх дией уже ие нужио. Тридцатого числа испытання ие будет. Стахановскнй плаи июня сорваи...

Появился Полозов, коротко сказал:

— Дайте-ка лупу!

Он мог бы и не смотреть. Как только ему доложилн, что на втулке обиаружены волосовииы, мысль его заработала в новом иаправлении: чем исправить беду побыстрее. И склоннлся он над этимн роковыми трещииками только для того, чтобы выгадать время, пока в его голове сложится решение. Затем ои выпрямнлся и обратился к Воробьеву н Ефиму Кузьмичу:

— Втулка для третьей поступила? Пойдемте поглядим, что там можно сделать.

И оии пошли — все трое виешне спокойиые — на склад заготовок. Их деловитость разрядила напряжеине. Кто-то выругался, кто-то добавнл,— каждому хотелось облегчнть душу. Прнмчался со стеида Гаршин, откуда-то выиырнула Карцева.

— Что вы трясетесь? Позовите Любнмова! — крнкиул ей Гаршии, и оиа послушио побежала за начальннком, даже не заметив его грубости.

Перед Любнмовым все молча расступились. Был он бледен н шагал как обреченный. Наклоннлся н долго всматривался в тусклую поверхность металла, в тончайшую паутинку трещинок.

— Все,— отворачнваясь, пронзнес он н медленно пошел обратио.

Гаршнн догнал его:

— Георгнй Семеновнч...

Любнмов страдальческн сморщился и сказал, махнув рукой:

— А тут еще краснознамеицы... Черт нх принес! Вы вот что... позвоиите Диденко, а то ведь онн сейчас прндут... Проточку и балансировку ротора обещал нм... Отменнте.

Любимов говорнл как больной. Одна неотвязная мысль преследовала его с той мннуты, когда он услышал тяжелую весть. «Я это предвидел, этого боялся, а все равно — срыв плаиа иа мие, отвечать — мне...»

Гаршин вдруг дернул Любимова за рукав, засмеялся и воскликнул:

— Ничего не надо отменять!

Пригнувшись к самому уху Любимова, он начал быстро и горячо объяснять ему, что и как можно сделать. Рабочие с любопытством наблюдали, как постепенно прояснялось лицо начальника цеха. Наконец Любимов одобрительно кивнул и быстро прошел через цех в свой кабинет, а Гаршин, подмигивая самому себе, направился в тот угол, где, ожидая отправки, стоял на стойках готовый ротор первой, уже испытанной турбины.

— Вот оно что,— пробормотал кто-то из сборщиков.

— С Гаршиным не пропадешь,— откликнулся второй.

— А что ж? Как говорится — хоть стыдно, да сытно...

Еще кто-то вслух подумал:

— Тридцатого не испытать — сорвется весь план...

Молодой сборщик растерянно спросил:

— Это что же теперь делать будут?

Ему не ответили. Хмуро и молчаливо, не сговариваясь, все пошли по своим местам.

А вокруг ротора первой турбины началась лихорадочная суета. Не глядя друг другу в глаза, рабочие высвобождали его из креплений. Стропальщики молча опутывали ротор стальными тросами. Гаршин поторапливал, изредка косясь в ту сторону, откуда вот-вот могли появиться посторонние люди.

Валя вела кран к указанному ей месту, с удивлением стараясь понять, что там происходит.

Возбужденная, с красными пятнами на щеках, стояла в центральном пролете Аня Карцева. Она тоже косилась на ворота и замирала каждый раз, когда калитка открывалась: не краснознаменцы ли? Она поняла, что́ решили сделать Любимов и Гаршин, и как-то не задумывалась, хорошо это или плохо. Она думала только о том, что план — стахановский план, которого они все так добивались! — под угрозой, что будет ужасно, если делегатов Краснознаменска придется встретить такой горькой новостью... что, наверно, потом как-нибудь быстро наверстают...

Когда кран поднял и медленно понес через цех многотонную махину ротора, поблескивающую отполированными поверхностями вала и массивных колес, Аня мысленно торопила крановщицу: «Ну скорее, Валечка, милая, скорее!» — и дрожала от нетерпения, потому что кран полз медленно и настороженно, с тяжким скрежетом.

Втулка, предназначенная для третьей турбины, была на термической обработке, и Полозов убежал в термический цех выяснять, когда ее подадут, а заодно отругаться по поводу брака.

Ефим Кузьмич и Воробьев подсчитывали:

— Обработка токарная — двадцать часов, разметка и долбежка пазов — четыре часа, посадка — полтора-два часа, потом насадка муфты... проточка всего ротора...

— Как ни крути, а с момента, когда втулку подадут,— не меньше тридцати—сорока часов.

Тень от проплывающей над пролетом махины на минуту легла на их и без того сумрачные лица. Оба подняли головы и проводили взглядом медленно удаляющийся ротор.

— Да, так вот...— первым заговорил Ефим Кузьмич.— Если втулку подадут, ставлю лучших токарей в смены — Назарова, Пакулина...

Воробьев отвел глаза от ротора, плавно покачивавшегося на гигантском крюке, и неуверенно спросил:

— Может, и мне стать в ночь? А? После Назарова? Я попробую скоростным...

Ему очень хотелось сейчас же, немедленно стать к станку и целиком уйти в привычную, простую, до конца ясную работу. Лишь бы не идти туда, к балансировочному станку, где он будет вынужден или вмешаться, или своим молчаливым присутствием одобрить махинацию, придуманную Гаршиным. Он не имеет права отменить распоряжение начальника цеха, но и промолчать тоже не имеет права. И он с тоской представлял себе последствия своего вмешательства. Не ссору с Гаршиным и Любимовым — черт с ними! — не сложное обсуждение их поступка на партбюро, а может быть, и на парткоме... нет, он представлял себе, как весь завод облетит досадная новость: турбинный не сдаст к первому числу турбину, турбинный в хвосте всех цехов, из-за турбинного сорван стахановский план... Он представлял себе, как вот-вот появятся делегаты Краснознаменска, посланцы строителей, которым турбинщики дали торжественное социалистическое обязательство! — и надо будет сказать им: простите, подводим... Кто бы ни был виноват, а в итоге — спрос с турбинщиков!.. И, наконец, он представлял себе унылое настроение товарищей по цеху, когда на доске соревнования они увидят свой турбинный — на последнем месте, на черепахе.

— Закури, Яков,— строго предложил Ефим Кузьмич, подавляя такие же мысли, и вдруг сказал:

— Гляди, с чем-то Коля бежит.

У Николая Пакулина было оживленное, счастливое лицо, оно бросалось в глаза среди общего уныния.

— Ефим Кузьмич! Яков Андреич! — еще издали закричал Николай.— Ведь у нас на обработке другая втулка есть! Для обоймы уплотнения!.. Тоже с третьей турбины!.. Вчера с термического поступила...

Передохнув, он сказал уже спокойнее:

— Мы поглядели по чертежам, высчитали. Если переточить — будет втулка для ротора. Все сходится. И работы там часов на восемнадцать — двадцать! И, главное, сразу приступать можно!..

— А ведь и в самом деле... ох, Коля, умная головушка!

И Ефим Кузьмич с Воробьевым начали подсчитывать, сколько

часов тут потребуется, с азартом сжимая и без того короткие сроки обработки и этим как бы оправдывая то, что они стоят здесь, стоят и не обращают внимания на происходящее в нескольких десятках шагов от них.

Тяжелый крюк бережно понес восемнадцатитонный ротор через цех и осторожно потащил его к станку, на котором происходит балансировка. Гаршин знаками указывал крановщице — влево, еще влево, стоп! Он был весел и очень доволен — до чего ловко придумал! Пока там будут возиться с новой втулкой, мы этот ротор эффектно отбалансируем на глазах гостей и прямехонько — на сборку! Даже если б не было этих волосовин, все равно канителиться пришлось бы еще долго, одна проточка ротора — часов десять, раньше утра к балансировке не приступили бы! А тут и балансировка — только для виду, для гостей, и экономия во времени — не меньше суток! Испытание можно начать и двадцать девятого... Ого! Досрочно, сверх стахановского плана! Еще, чего доброго, премии заработаем! А потом, после первого числа, без шуму, без гостей закончим и тот ротор, и все будет в ажуре!

Посмеиваясь, Гаршин уже двинул пальцем, чтобы начать установку ротора на станок, когда прямо перед ним возник человек с таким разъяренным лицом, что Гаршин не сразу признал в нем Алексея Полозова.

— Прекратить! Нельзя это делать! Стыд! — закричал Полозов необычно высоким голосом и яростно замахал крановщице.

Валя послушалась.

Опускавшийся ротор вздрогнул, остановился и начал медленно покачиваться в воздухе, как бы удивляясь тому, что происходит внизу.

С минуту Полозов и Гаршин стояли одни. Затем они оказались в кругу зрителей, и с каждой минутой круг становился плотнее. Еще недавно никто как будто не видел и не интересовался, что там такое делают с ротором уже испытанной турбины. А сейчас все, кто только мог оторваться от работы, бежали сюда и пробивались поближе.

— Ну, в чем дело? — подавляя злость, небрежно спросил Гаршин.— Из-за чего столько пылкости?

— Этого делать нельзя! — повторил Полозов и оглянулся. Ему хотелось увидеть на лицах окружающих одобрение и сочувствие, но увидел он, как ему показалось, только любопытство.

— Жульничества я не допущу! — бледнея, сказал он и с надеждой повернулся к начальнику цеха, властно раздвигавшему толпу.

— Что за сборище? — прикрикнул Любимов.— Гудка, кажется, не было. Давайте, давайте по местам!

Как всегда сдержанно-спокойный, но с брезгливо-недовольным выражением на посеревшем лице, Любимов обратился к одному Гаршину, как бы не замечая своего заместителя:

— Почему прекращена работа?

— Работу остановнл я,— четко сказал Полозов.

Гаршнн молчал, и Любнмову прншлось заметнть Полозова. Он процеднл сквозь зубы:

— Пока начальннк здесь я, н мон приказания...

— Я прошу вас повторнть прнказанне,— сказал Полозов.— Я не слышал его, Георгнй Семеновнч.

Эти слова вызвалн в толпе упорно не расходнвшнхся рабочнх смешки н шепот. Повторнть прн рабочих прнказанне подменнть ротор было неловко, н Любнмов, утратив власть над собой, закричал визглнво н грубо:

— Прекратите беззаконне вы! Вы! Довольно я терпел! Всякий мальчншка будет меня учнть!

И, обернувшись к рабочим:

— Разойднсь! Работать! Распустилнсь!

Как только он закрнчал, он сам понял, что становнтся смешон. Его ужаснулн внзгливые звуки собственного голоса. Сердце будто провалнлось куда-то, н на мгновенне Любимову стало так плохо, что он с надеждой подумал: «Вот н все... н хорошо... н ничего больше не надо...» Но тут же снова почувствовал нормальное биение сердца, устоял на ногах н понял, что прнпадка не будет.

Усмехаясь н переглядываясь, рабочие сталн неохотно расходнться. Но даже наиболее послушные немедленно повернулн назад, к группе начальников, когда раздался прерывающнйся голос Анны Карцевой:

— Краснознаменцы прншли!

У входной калнткн стояла группа делегатов. Охраннца проверяла нх пропуска, а Саша Воловнк что-то объяснял нм, указывая рукой на махину ротора, повисшую в вышине,— должно быть, зрелище было для гостей внушительное.

— Ну, что теперь препираться! — миролюбиво сказал Гаршнн н тронул Полозова за плечо.— Брось, Алеша! Сейчас покажем балансировку, потом все прочее. Сдадим турбину с этим — и с плеч долой! А тем временем тот ротор вытянем. Я сам из цеха не уйду, пока не вытянем... А?

И всем повернлось, что так можно н нужно сделать, что нменно так проще всего решить — теперь, когда делегацня уже тут, когда до конца месяца осталось всего пять суток н всякое другое решенне вызовет провал плана...

Смятенне отразнлось на лнце Полозова. Он тоже смотрел на группу делегатов, которые шагалн вместе с Воловиком прямо сюда.

Аня Карцева кннулась к Полозову, схватнла его за руку н с мольбою прошептала:

— Алеша... вы же внднте самн... ну, прошу вас...

Она бессознательно вложила в этот шепот всю свою нежность.

И он понял это. Он мучительно сморщился, выдернул руку и крикнул:

— Совести у вас нет! Кого обманывать? Самих себя?!

Делегаты были все ближе. Рабочие переводили взгляды с Полозова на Любимова, потом на приближавшихся краснознаменцев и снова — на Любимова: в конце концов, он же начальник, ему решать!

— Ах, так?! — багровея, вскричал Любимов.— Хорошо же! Командуйте сами, и пусть будет по-вашему. А я... я свой цех позорить не буду!

Втянув голову в плечи, он быстро миновал делегатов и ушел из цеха, с грохотом захлопнув калитку.

— Ну и расхлебывай сам! — бросил Гаршин, поспешно отходя.

Вокруг Полозова сразу стало пусто. Только Аня никуда не ушла и продолжала смотреть на Полозова, но так испуганно и робко, что не у нее было искать поддержки.

Алексей знаком отдал приказание Вале, кран заскрежетал и медленно пополз обратно, унося свой тяжеловесный груз. Алексей провел рукой по лицу, весь подтянулся и пошел навстречу делегатам.

— Здравствуйте, товарищи! — с усилием сказал он.— Не в добрый час вы к нам пришли... но что делать! Производство не игрушка. Всякое бывает.

Воловик начал их знакомить. Алексей, как в тумане, видел дружеские улыбки, рассеянно слушал и тут же забывал фамилии. Узнал знакомое имя — Ганна Поруценко, вспомнил рассказы Воловика, на секунду с любопытством вгляделся в ее лицо.

— Так что ж у вас стряслось недоброе? — спросила Ганна.

Не отвечая, Алексей позвал:

— Анна Михайловна!

Карцева рванулась на зов, но Алексей сухо приказал ей немедленно заказать плакат — обращение к работникам термического цеха, чтоб все знали, какую беду принес их брак общему делу выпуска турбины.

— И к утру чтоб плакат был выставлен у проходной!

Затем он повел краснознаменцев к брошенной, уже никому не нужной втулке, показал трещинки на металле и объяснил, как они опасны и как недопустим малейший брак на такой ответственной машине.

Один из делегатов сочувственно сказал:

— Да, сложное у вас дело.

А Ганна Поруценко совсем по-женски мягко добавила:

— Та вы не переживайте... Хто работал, тот знает — во всяком деле заминки случаются.

— Переживай не переживай,— уже с улыбкой сказал Поло-

зов,— а сдача турбины дня на два-три задержится. Для вас это значения не имеет, а цеху тяжело. Срываем план.

Он чувствовал облегчение оттого, что неприятное объяснение осталось позади, и совершенно не знал, что ему теперь делать с гостями. Но гости и тут догадались: вы уж попросту, по-дружески скажите, если вам сейчас некогда,— мы ж понимаем!

— Мне действительно некогда,— признался Полозов,— но свободные люди у нас есть. Виктор Павлович! — не без злорадства позвал он.— Знакомьтесь с нашими гостями и проведите их, пожалуйста, по цеху. Покажите, расскажите, с людьми познакомьте.

Гаршин подошел надутый, неохотно начал здороваться.

— Веселей, веселей, Виктор Павлович,— посоветовал Полозов,— не первая и не последняя у нас заминка, что уж нос вешать!

И, передав заботу о гостях Гаршину, пошел заниматься тем, что сейчас было важнее всего,— втулкой.

Никогда еще он не испытывал такого странного чувства, идя по родному цеху, мимо десятков знакомых людей. Он уловил несколько восхищенных взглядов, устремленных на него,— но больше всего было взглядов угрюмых и недоброжелательных. Те самые люди, что недавно с насмешкой и осуждением следили за подменой одного ротора другим, что одобрительно перешептывались, когда он попросил Любимова повторить приказание,— те же люди сейчас смотрели на него с досадой. Ну кто тебя просил вмешиваться? — как бы говорили они.— Не ты отвечаешь — не тебе и краснеть. А вот теперь всем нам неприятность, и перед гостями приходится глаза опускать, вместо того чтобы принимать поздравления, и по итогам июня мы окажемся на последнем месте. Не мог ты, что ли, уйти на время, если уж ты такой принципиальный? Ведь вот Воробьев не вмешался же...

А Воробьев спешил навстречу Полозову. Вид у него был пристыженный и решительный. Он сам себе не прощал той скверной минуты, когда не посмел вмешаться так, как это сделал Полозов. Теперь он видел, что за ним следят десятки глаз, что всем интересно и важно, как встретятся Полозов и Воробьев. Он подумал даже, что следовало бы громко сказать какие-то веские слова одобрения, которые будут услышаны и, конечно, быстро разнесутся по цеху. Но он не умел нарочно придумывать подходящие слова и сделал то, что сделал бы и наедине с Полозовым,— крепко пожал его руку и шепнул:

— Молодец.

— Молодцами будем, когда турбину сдадим,— обрадованно сказал Полозов.— Что там со втулкой, Яков Андреич?

— Со втулкой налаживается, Алексей Алексеевич,— ответил Воробьев, и оба пошли заниматься делом, потому что обоим было сейчас не до рассуждений.

7

Аня Карцева ползала на коленях по холсту, краской заливая буквы: «Термнсты! По вашей вине...» — и припоминала все то же, все то же — она бросилась к Алексею с этой нелепой, постыдной просьбой, а он с презрением оттолкнул ее руку и крикнул: «Совести у вас нет!»

Как он должен теперь презирать ее — он, который вел себя благородно и честно! Какой ничтожной казалась она самой себе, вспомнная, как хорош был Алексей — там, у станка, с Гаршнным и Любимовым, и с краснознаменцами, и поздиее — с директором.

Немиров пришел в цех улыбающийся, оживленный, еще ничего не зная о случившемся,— должно быть, хотел приветствовать гостей н вместе с нимн полюбоваться балансировкой ротора.

— Почему мне не доложили? — минуту спустя кричал он Полозову.— Где начальник цеха? Немедленно позовите его сюда! Черт знает что, отменили — и в кусты!

Алексей сдержанно сказал:

— Георгий Семенович к вам, наверное, и пошел. А командование в цехе передал мне.

Директор фыркнул и иачал недоброжелательно и придирчиво расспрашнвать, что предпринято для изготовления новой втулки. Предложение Пакулина, видимо, обрадовало его, но он был слишком раздосадован, чтобы высказать одобрение чему бы то ни было. В середине разговора он вдруг заметил в дальнем углу цеха непонятную ему возню с ротором первой турбнны — ротор снова устанавливали иа стойки.

— А там что такое?

Гаршин выдвинулся вперед и не без злорадства объяснил:

— Георгий Семенович нашел возможным... чтоб избежать срыва плана... временно... Но товарнщ Полозов воспротивился. Из принципиальных соображенний.

Директор промолчал, но всем показалось, что с его губ слетело ругательство. Борьба чувств ясно отражалась на его лице, н всем было понятно, что это не сулит ничего доброго заместителю начальника цеха. С мннуту длилось тягостное молчание. Наконец Григорий Петровнч произнес сдавленным от злости голосом:

— Обманывать государство никому не позволено, н заместнтель начальника цеха поступил правильно.

Он с ненавистью взглянул на Полозова н приказал:

— Разыщите н приведите ко мне Любнмова!

Не обращая больше виимания ни на Полозова, нн на Гаршнна, он направился к гостям и дружеским жестом прнгласил нх вместе продолжить осмотр цеха.

Гаршин ринулся за директором и гостями, а Полозов постоял, кусая губы, и побрел к телефону.

Вспоминая, каким одиноким он выглядел в ту минуту, Аня не

понимала, как она могла остаться в стороне, почему она тогда не побежала за ним следом, не сказала: ты прав! Не сказала: люблю больше, чем когда бы то ни было! Если можешь — прости...

Она вздрогнула, услыхав шаги. Неужели Алексей? Но это был Диденко.

Аня встала, чтобы он мог прочитать текст обращения.

— Сама придумала? — спросил Диденко, одобрив текст.

— Да. Полозов велел выставить к утру.

— Что ж, правильно...— Он вздохнул и карандашом поправил неровно начерченную букву.— Д-да,— проговорил он,— вот, как получилось... Значит, если бы не Полозов, вы все так и пошли бы на жульничество?

— Не знаю, как все. Я, Николай Гаврилович, во всяком случае виновата и смягчать свою вину не хочу. Сгоряча я даже не подумала, жульничество это или просто... Ну, не хотелось этого провала, ведь теперь цех...

Диденко взял кисть, обмакнул ее в банку с краской и ловко выкрасил одну букву.

— Д-да,— снова протянул он.— Завтра термисты с утра зашевелятся. Пожалуй, брака от них вы больше не получите. А как думаешь, товарищ Карцева, если бы ротор сегодня подменили — могли бы пристыдить термистов таким плакатом? Зато как оживились бы все те, кто непрочь прикинуть процентик выполнения да кто хлопочет о своей славе больше, чем о деле!

Аня отобрала у него кисть, так как кисть повисла в воздухе и краска капала на холст. Заливая букву, она сказала:

— Я ведь понимаю, Николай Гаврилович.

И немного погодя спросила:

— Полозов в цехе?

— Полозова я домой отправил. В порядке партийной дисциплины. Со втулкой все работы налажены. Ефим Кузьмич присмотрит. А Полозову теперь покрутиться придется немало. Любимов-то слег.

— Слег?!

— Ага. Звонили ему, жена говорит — сердце. Знаешь, есть такой хороший способ уйти от ответственности: в кроватку и полотенце на голову — умираю! А по-моему,— с гневом добавил Диденко,— по-моему, если что случилось и ты виноват или, наоборот, прав, но не признан,— сперва додерись, исправь, ответь, а потом и в кроватку можно.

Через минуту он сказал:

— Ну, я пошел. А ты, товарищ культпроп, подумай и с народом поговори, не стесняйся поговорить откровенно, как есть. Нервничают сегодня люди. Между прочим, и на Полозова косятся. Потому что обидно — цех-то в прорыве! А только злость пройдет, страсти остынут — и останется уважение и, если хочешь, даже признательность. Как думаешь, что говорили бы потом в цехе? После того как турбину сдали, гостей проводили? Сказали

бы — не социалистическое обязательство, а очковтирательство! Коммунисты о новом отношении к труду да к государству болтают, а сами вон что делают! Правильно? То-то! И еще представь себе, о чем шипел бы такой гусь, как Белянкин, как похохатывал бы Торжуев. И как бы товарищ Карцева завтра объяснила с точки зрения коммунистической морали эту махинацию с ротором комсомольцам, молодежи, вашему знаменитому Кешке Степанову хотя бы? А? Ну, будь здорова!

К ночи она закончила плакат, проследила за тем, как рабочие установили его на самом видном месте у проходной, и побрела домой. Войдя в прихожую, она со злобой услыхала спорящие голоса Любимовых,— ну, конечно, никакого припадка, просто решил отвертеться от неприятной ответственности!

— А я тебе говорю — они под тебя подкапываются, и твой Полозов в первую очередь! — говорила Алла Глебовна без обычной певучести в голосе.— Ты наивен! Ты не понимаешь,— если бы Полозов был на твоем месте, он и не подумал бы возражать! А тут выскочил, чтоб тебе шпильку вставить!

— Перестань, Алла. Ну перестань, бога ради,— раздраженно и устало просил Любимов.

— Нет! — вскрикнула Алла Глебовна.— Не перестану, потому что ты интеллигентский тюфяк! Сколько раз прошу — уходи на преподавательскую работу, пока Юрий Осипович может это устроить! Пока тебя не съели!.. Тебе нужен отдых, спокойствие, ты на себя не похож. В институте...

— Много ты понимаешь! — вдруг закричал Любимов.— В институте, в институте! В институтах теперь, знаешь, тоже новые песни.

Аня усмехнулась и громко хлопнула дверью, напоминая соседям, что они не одни в квартире.

Окно в ее комнате было открыто, и теплый, но свежий воздух струился ей навстречу. Аня высунулась в окно и среди тысяч ночных огней, среди тысяч освещенных и темных человеческих жилищ ясно увидела одно, невидное глазу,— комнату в квартире 38, где один, расстроенный и угрюмый, сидит Алексей. Алексей, без которого еще вчера казалось — ей не жить. Алексей, чью любовь она сегодня, быть может, умертвила, потому что не поняла, не поддержала, потому что вложила всю нежность в просьбу поступить неблагородно, нечестно... Как же это случилось? Как она могла? «Совести у вас нет»... С каким презрением он оттолкнул ее руку!..

Воспоминание доставляло физическую боль. И от этого не уйти. Только одно было возможно и необходимо — немедленно увидеть его, признаться, что виновата, и услышать все, что он захочет сказать ей. Если конец — пусть сразу.

Не взглянув в зеркало, не сменив рабочего платья, она снова вышла из дому и почти бежала всю дорогу до знакомого дома в переулке. Разыскала номер 38 на табличке у входа, взбежала по

лестнице, позвонила. Она ждала, что Алексей откроет сам и холодно спросит: «Вы? Зачем?» Открыла незнакомая женщина в халате, с удивлением и любопытством оглядела Аню.

— Мне к товарищу Полозову. С завода. Очень срочно. Он не спит?

— Нет, наверное. Только что выходил,— неохотно ответила женщина и указала, куда идти.

Забыв постучать, Аня толкнула дверь и вошла. Вошла, прикрыла за собою дверь и прижалась к ней спиной, не зная, что же еще делать, раз она добежала до цели и Алексей — вот он. Не расстроенный, не угрюмый. Сидит в голубой футболке над стаканом чаю и ест булку с колбасой. Глаза его широко раскрылись от удивления.

— Аня, вы? — воскликнул он наконец, торопливо проглатывая булку. Не понять было, доволен он или раздосадован неожиданным вторжением.

В комнате было только два стула, на одном из них навалены книги, бумаги, два мятых галстука и пиджак. Алексей смахнул все это на кровать и неуклюже выставил стул на середину комнаты — для гостьи. Комната была большая и неуютная, с чересчур яркой лампой без абажура — холостяцкое жилье человека, мало бывающего дома. На рабочем столе, среди книг и беспорядочно наваленных бумаг и чертежей, почему-то стоял глобус, повернутый к Ане голубизной Тихого океана.

— Да вы садитесь, Аня. Чаю хотите?

Она ожидала всего, кроме этого неуклюжего и милого гостеприимства. Как будто ничего не произошло. Как будто он не крикнул ей тех слов, не оттолкнул ее с таким презрением несколько часов тому назад.

— Я пришла... Я должна вам сказать, Алеша. Мне ужасно стыдно, что я...

— Вы об этом? Да ну, что там, Аня! Впрочем, я рад, что вы пришли хотя бы из-за этого. Но у меня такой ералаш. Это потому, что не бывал дома, а дворничиха больна... Чаю налить?

— Нет!

Ей хотелось и смеяться и плакать одновременно. Если бы он сердился на нее, она не чувствовала бы себя такой виноватой. Если бы он обнял ее, она все забыла бы. Но он смешно суетился, пытаясь наскоро навести порядок на столе,— бумаги разлетались, книги падали. Махнув рукой, он оставил все как есть и растерянно сел напротив нее.

— Это такая гадость, что все надулись,— сказала Аня.— Я не могла не прийти и не сказать вам, что мне стыдно за себя и за всех. Я думала, вы расстроены...

— А чего же мне расстраиваться? — удивился он.— Я же прав!

Она не знала, что еще сказать ему и что ей теперь делать.

— Зачем у вас глобус?

— А почему ему не быть? Он от мамы остался. Я люблю крутить его.

Он крутанул глобус, тот со скрипом дважды обернулся вокруг оси и снова застыл, показывая Ане лазурно-голубой океан с точками островов и пересекающимися пунктирными линиями основных транспортных путей.

— Иногда увидишь какое-нибудь название — и до того оно тебя будоражит! Остров Три-ни-дад. Я его совсем не представляю себе. Мимо него не проходит ни один из соблазнительных рейсов: Монтевидео — Марсель, 21 день; Генуя — Буэнос-Айрес, 19 дней. Он даже ничей, по глобусу. И почему их два? Вон там, повыше, другой Тринидад, английский. В самом центре скрещения морских путей — на Каракас, на Панамский канал, на Марсель, на Периамбуко, на саму Огненную Землю! Впрочем, сейчас оба Тринидада, наверно, американские.

Он улыбнулся Ане и предложил так, как будто это может сбыться завтра:

— Давайте как-нибудь поедем путешествовать?

— Давайте,— сказала Аня. И додумала вслух: — Как странно, что я не поняла этого раньше. Ну, конечно, вы совсем не расстроились, и у вас прекрасный аппетит, и спать вы будете, как младенец.

— Я вам все-таки налью чаю, ладно? Я и в самом деле голоден, а мне одному неловко.

Он включил электрический чайник и начал шарить на полках.

— Где-то у меня второй стакан. Вы не смейтесь, я бываю отличным хозяином, я только подзапустил все за последнее время.

Он нашел стакан и подозрительно осмотрел его на свет. Аня отобрала стакан, сполоснула, поискала полотенце, засмеялась:

— Бог с вами, наливайте так. Моя бабушка всегда говорила, что нет ничего чище воды.

— Я не знал, что вы придете, Аня. Я бы приготовился.

Он быстро глянул на нее и тотчас отвел взгляд.

— Аня, но это будет скоро... по-настоящему?

Она молча кивнула, и он увидел это, хотя и не смотрел как будто в ее сторону. Оба медленно отхлебывали чай.

— А если говорить совсем правду,— вдруг сказал он,— то поначалу я действительно расстроился. И обиделся.

Он встал, решительно надел пиджак и потянул Аню за руки.

— Значит, вы одобрили?

— Да.

— Очень?..

Их губы встретились, и на долгие мгновения все, что занимало и волновало их, перестало существовать.

— А теперь пошли,— рывком отстраняясь, сказал Полозов.— Я вас провожу. Уже второй час, а мне надо в цех к шести. И черт его знает, что еще выкинет Любимов. Были вы дома? Видели

его? Закатит, чего доброго, болезнь на неделю, вот и крутись за него.

— Так вы не провожайте. Ложитесь.

— Немножко-то можно?

Они вышли на улицу. Ночь была светлей, чем казалось из освещенной комнаты,— даже не ночь, а раннее-раннее утро. И этой удивительной белой ночн, похожей на утро, не было никакого дела до того, когда надо вставать двум людям, заблудившимся в знакомом переулке, и надо ли им вообще спать. И до здравого смысла ей не было никакого дела — она была беззвучна и все-таки умудрилась нашептывать нм, что расставаться нельзя, что расставаться жаль и, может быть, прекраснее уже не будет ночи.

— Вернемся, Аня.

— Нет. И ты иди. У тебя завтра такой день.

Они опять оказались под старинными сводами на углу переулка, где было сумрачно н тихо и терялось представление о времени.

— Аня, вернемся.

— Нет!

— Почему?

— Потому, что я не могу сегодня, когда я шла к тебе признаваться... когда смотрела на тебя, как виноватая, снизу вверх...

— Ты все еще помнишь? И хочешь наоборот — смотреть сверху вниз?

— Не шути. Это серьезно.

— Мы, наверно, будем много ссориться, по-смешному и страшно серьезно.

— Наверно.

— Скорее бы, Аня. Я буду уступчив до предела возможного. Только не теперь... Когда ты придешь, Аня?

— В субботу.

— Ой, как долго!

— Алеша! За эти дни тебе надо сдать машину.

— Знаешь, машина и ты для меня совсем не одно и то же.

— Очень рада, но машину-то сдавать тебе!

— Ну, беги. Я не пойду дальше. Ничего?

— Алеша, эта арка — самое славное место во всем городе.

— Мы здесь прибьем мемориальную доску в день золотой свадьбы. Золотая — это сколько?

— Кажется, пятьдесят. Или двадцать пять. Не знаю.

— Слышишь, Аня, где-то бьют часы. Два.

— Я побегу. Пусти меня.

— Ты не боишься одна?

— Нет.

Она оторвалась от него н пошла быстро, не оглядываясь. И не прямо домой, а переулками — на набережную канала, туда, где над водою свешнвалн свои поникшие ветви старые нвы.

Кто-то легко вскрикнул на другом берегу канала. Шепот и смех долетали до слуха Ани. «Потонет!» — «Не потонет!» — «Плывет...»

Белый бумажный кораблик, или птица, или, быть может, оброненный белый цветок скользил по тусклой, почти бесцветной воде, важно поворачиваясь и выплывая на середину канала, где чуть поблескивали струи более сильного течения.

— В субботу,— вслух сказала Аня и на минуту прикрыла глаза, таким ярким, жданным и все же неожиданным представилось ей ее счастье. Открыв глаза, она сразу нашла белый кораблик — он победно плыл, покачиваясь на уносившей его струе. А те двое, плечо к плечу, следили за ним, перегибаясь через решетку. «В субботу...»

8

— На большом посту и маленькая ошибка становится крупной.

Это сказал Немиров. Сказал, отхлебнул кофе и поглядел на Диденко:

— А Любимов совершил к тому же не маленькую ошибку. И даже не одну, а две.

Диденко вопросительно вскинул глаза — две?

— Да, две. Когда руководитель, совершив ошибку, «заболевает», чтобы не расплачиваться за нее, он сам себе отрезает путь к ее исправлению.

В директорской столовой было пусто. Только из-за стен доносился далекий, никогда не затихающий рокот большого завода да из соседней комнаты чуть просачивалась музыка, передаваемая по радио,— буфетчица приглушила ее, чтобы не мешать важному разговору. А что разговор важный, она поняла с первой минуты, когда Диденко, поздоровавшись с директором, что-то спросил, а Григорий Петрович вдруг с яростью закричал: «Сниму, и пусть проваливает!»

Потом голоса стали мирными и задумчивыми. Буфетчица подала две яичницы и два кофе, ушла в буфетную и прикрыла дверь.

Диденко допил кофе и закурил.

— Что ж, в период освоения Любимов был неплох,— сказал он.— Даже хорош. Качество, технологическую дисциплину, отработку процесса — это он вытянул. Знаний и опыта у него не отнимешь. Но как только перешли к новому этапу — к развороту производства, к перспективе большого увеличения программы... Кто тут нужен? Человек прогрессивный, не закоснелый в старых традициях... Человек, я бы сказал, с новой точкой зрения.

Он внимательно посмотрел на директора и подсказал:

— Пожалуй, лучше Полозова не найдешь?

Григорий Петрович промолчал, только чуть дрогнули и сжа-

лись губы. Встал, прошелся по комнате и деловито заговорил о том, что надо хорошо обдумать, чтобы не сделать новой ошибки, пусть пока Полозов заканчивает вторую турбину, присмотримся к нему... кандидатуры могут найтись и посильнее... для турбинного не жаль снять лучшего начальника из другого цеха — например, из инструментального...

— Да! — горячо воскликнул он.— Из любого цеха перекину в турбинный! Надо только взвесить, кто лучше всех!

За его горячностью скрывалось желание уйти от обсуждения кандидатуры Полозова, и Диденко уловил это.

— В цехе доверяют Полозову,— осторожно доказывал он.— История с ротором очень повысила его авторитет. Знаешь, такие вещи рождают настоящее уважение — не служебное, не формальное, а вот такое... человеческое, что ли.

— Да,— коротко согласился Немиров. И заговорил о другом.

Они вместе вышли из столовой, на лестнице расстались. Уже отойдя, Диденко быстро повернулся к директору:

— А Любимова куда?

Немиров сделал презрительный и гневный жест:

— На все четыре стороны!

Этот человек, которого он так долго защищал и отстаивал, вызывал у него теперь приступы ярости. Он как бы воплощал в себе все то, от чего Немиров старался освободиться. А когда Любимов, наделав глупостей с этим ротором, к тому же еще спрятался от ответственности,— Григорий Петрович как бы перечеркнул его и потерял к нему всякий интерес.

— Смотри сам,— пожевав губами, сказал Диденко.— Как бы не повторить истории с Гореловым...

И пошел вниз, не ожидая ответа.

Григорий Петрович вошел в свой кабинет — и тут почувствовал, что не знает, как поступить, а повседневная жизнь будет требовать от него определенности. Он сказал секретарше, что вернется через три часа, и велел Косте ехать куда глаза глядят.

Костя понятливо кивнул и на предельной скорости погнал машину за город.

Опустив до отказа стекло, Григорий Петрович вдыхал теплый ветер, бивший в лицо, и старался начисто отсечь все деловые мысли. Это придет позднее. Надо проветриться. Так когда-то советовал его первый учитель на директорском пути, умный и по-хорошему иронический человек, знавший многое такое, что только еще открывается Немирову теперь и сколько лет будет открываться еще?

«Чем острее момент, тем меньше надо торопиться,— говорил он,— наше дело такое: решил — и тысячи людей почувствовали на себе, хорошо ли, плохо ли. Если возникли перед тобой всякие закавыки, одна важнее и неотложнее другой,— уезжай. Уезжай куда глаза глядят — в лес, в поле, домой, смотря по сезону. Проветрись, подумай на свободе и со стороны погляди, так ли все, как

оно тебе представляется. С совестью своей поговори — без скидок, один на один! Удивительное дело, до чего иногда все при этом меняется! Казалось хорошо, а тут даже пот прошибет — ох, нехорошо, ох, неверно!»

Промелькнули последние каменные дома и домишки предместий, машина вышла на просторы болотистой равнины, прорезанной белой полосой шоссе. Сбоку блеснула вода — голубая, недвижная, спокойно подступившая к низкому берегу с перевернутыми на песке лодками и развешанными для просушки рыбачьими сетями. В машину ворвался запах рыбы и морской травы.

— В воскресенье с Татьяной на рыбалку поедем,— сказал Костя и покосился на директора — размышляет он или просто отдыхает?

Григорий Петрович охотно поддержал разговор. Ему самому захотелось на рыбалку — короткий сон у костра, возня с наживкой, с удочками, неподвижное ожидание клева на пустынном берегу или, еще лучше, на заливе в лодке... утренний, пробирающий до костей холодок... восхитительный запах сваренной на костре ухи... Так представлялась ему рыбалка, на которой он никогда не был.

Они мчались через дачные поселки, и Григорию Петровичу стало жалко, что он не живет на даче, и он стал представлять себе, как он спешит на дачу и у калитки его встречает Клава в ярком летнем платье, а на зеленой лужайке стоит коляска, прикрытая марлей, а под марлей спит очень маленький человечек... Сердце защемило, но он тут же с надеждой подумал: будет! будет и это...

Они спустились к Сестрорецкому парку, остановились. Григорий Петрович предоставил Косте отдыхать и быстрой походкой куда-то спешащего человека направился в глубь парка. Огромные дубы, посаженные еще в петровские времена, раскидывали над ним свои разлапистые ветви. Под ногами шуршали потемневшие прошлогодние листья, клонилась сочная новая травка. Там, где сквозь листву пробивалось солнце, травка была так трогательно-нежно зелена, что Немиров обходил солнечные пятна, чтобы не наступить на нее.

Он вышел к берегу залива. Волн не было, только у самого берега вода чуть колыхалась, и солнце отблескивало на ней. Все кругом было пронизано светом и небывало чудесно.

Григорий Петрович сел на один из прибрежных валунов, сказал себе, что ему очень хорошо, и затем отдался мыслям — свободно текущим, никем не подгоняемым. Тут было много мыслей о заводе, потому что завод врос в его жизнь, и о самом себе, о своих удачах, ошибках и намерениях, о людях, чью судьбу он должен был сегодня решить, и о том, как другие отнесутся к его решениям, то есть, в конечном счете, к нему самому... и об этом отношении к нему, потому что он уже познал и радость призна-

иия, и едкую горечь разлада, и ту простую истииу, что без ощущеиия едииства с коллективом иельзя работать, мучительио жить.

Он ие торопился пересматривать сложившиеся в голове решеиия, ио оии сами собою отпадали, замеиялись иными, лучшими, потом эти лучшие решеиия вызывали в душе сумятицу чувств и борьбу, и ои с иасмешливой улыбкой спрашивал себя: а иу-ка, по совести, в чем тут дело, если загляиуть в самый кореиь? И — удивительиое дело! — мелкие, стороииие побуждеиия стали отпадать как шелуха, а самые трудиые решеиия оказались легкими. И, как только ои прииял их, чудесиое ощущение виутреиией освобождеииости и ясиости пришло к Немирову.

Ои подиялся, быстрым шагом прошелся вдоль берега, потом разыскал в песке иесколько плоских камешков и иачал кидать их иад самой водой, считая, сколько раз оии косиутся воды и рикошетом отскочат...

— Теперь — полиым ходом обратио! — сказал ои Косте, вериувшись к машине.

В тот же деиь ои позвоиил Любимову.

— Ои болеи. Лежит,— сказала Алла Глебовиа.

— Передайте ему, что звоиил Немиров. Если ои иастоящий работиик, а ие барышия с иервами, пусть приедет ко мие через час,— весело шевеля бровью, сказал Немиров.— Я его жду от семи до восьми.

Растерявшаяся Алла Глебовиа пробормотала:

— Ой, Григорий Петрович, я его спрошу, может ои подойдет к телефоиу... Одну мииуточку!.. Гога, Гога! — позвала оиа.— Иди скорее!

— Не иадо, пусть приезжает иа завод,— сказал Григорий Петрович и повесил трубку.

Без четверти семь секретарша доложила, что Любимов в приемиой.

— В семь — просите,— сказал Немиров и позвоиил в турбииный цех.

Телефоиистка долго разыскивала Полозова по разиым цеховым телефоиам.

— Как дела, Алексей Алексеевич?

Полозов коротко доложил, что последиие приготовлеиия заканчиваются, пар под испытаиие иачиут подавать завтра в двадцать два часа. Ои пригласил директора иа испытаиие второй турбииы.

— Приду,— сказал Немиров. И миогозиачительио добавил: — А потом приглашу вас к себе.

Любимов вошел бледиый, ио Григорий Петрович отличио видел, что ои совершеиио здоров, разве что действительио разыгрались иервы.

— Что ж, Георгий Семеиович, после этой иеприглядиой истории вам придется с цехом расстаться,— жестко сказал Неми-

ров.— Наверно, вы сами пришли к тому же выводу во время вашей болезни? Иначе, должно быть, и не болели бы.

Не находя нужным откликаться на иронический намек, Любимов ответил внушительно и даже вызывающе:

— Я действительно санкционировал временную замену ротора. Но я пытался спасти этим не только свою репутацию, Григорий Петрович, но и вашу! И, в частности, спасти от провала тот стахановский план, который вы нашли возможным ввести.

Вот как! Любимов не только не сдается, а еще и атакует? Может, вспомнил, как однажды в прокатном цехе «вытянули» месячный план за счет наиболее легких сортов проката, а директор посмотрел на это сквозь пальцы? Тогда казалось — эко дело, немного схитрили, зато доброе имя сберегли... а где границы между «немного» и «много»? И в том ли доброе имя, чтоб видимость была благополучная?

— Знаете, Георгий Семенович, была минута, когда и мне показалась соблазнительной эта ваша очковтирательская затея. Уж больно легко... Да только руководить людьми потом трудно. Вы пройдитесь-ка теперь по турбинному цеху, послушайте, что рабочие говорят. В первый день на Полозова косились от досады, а теперь — герой дня! А насчет вас и Гаршина... Впрочем, пока, пожалуй, вам лучше туда и не ходить. Во всяком случае, от этой необходимости я вас решил избавить!

Любимов поник в кресле. Его готовность побороться за себя иссякла, а может быть, он все-таки не ждал такого крутого решения. Григорий Петрович смотрел на него и с жалостью и с раздражением,— он презирал людей слабых.

— Я сегодня много думал о вас, Георгий Семенович. История с ротором — толчок, но не причина. Не скрою, первым моим побуждением было снять вас к черту и предоставить вам самому найти дело себе по силам. И не сделал я этого только потому... что делю с вами ответственность за вашу плохую работу. Понимаете вы, почему она оказалась плохой?

Так как Любимов не ответил, он продолжал сам:

— Не поняли нового этапа. Людей сплотить — не умеете. Дать каждому проявить свои силы — тоже не умеете, а без этого руководитель — не руководитель, а административная единица. Человек вы знающий, но расти перестали, а значит — и вкус к новому утратили и, по существу, тормозили инициативу подчиненных. В трудные минуты — пасовали. Задумайтесь-ка, почему так случилось, что вы возложили надежды на махинацию с ротором, в то время как рядовые люди разыскали по собственной инициативе втулку для обоймы уплотнения...

— Переточили? — вскрикнул Любимов.

— Переточили,— сердито подтвердил Григорий Петрович, с удивлением приглядываясь к Любимову: значит, он так и просидел, закрывшись дома ото всех, даже от соседей? Не позвонил, не

спроснл, не волновался о сроках — а только о себе? Да как же это возможно?! И об этом человеке я мог думать, что в нем есть что-то от моего второго «я»? Бр-р, как нехорошо...

На мнг он запнулся, потому что собственное решение насчет вот этого ннженера показалось слншком добрым. Может, правнльней было первое побужденне — послать к черту? Но нет, побуждения надо проверять разумом, так подсказывает опыт.

— Прннимая решенне, я старался нсходить только из ннтересов завода,— морщась, сказал Немнров.— То есть дать вам такую работу, где иайдут прнмеиенне ваши знаиия н опыт.

На унылом лице Любнмова мелькиула робкая надежда.

— С понедельника можете прииять новую должность — помощинка главного инженера по турбиииому производству.

Любнмов смотрел напряженно, стараясь поиять, что это сулит ему.

— В дела турбинного цеха попрошу вас пока не вмешнваться.

Любнмов побледиел, но не произиес нн слова.

— Вам поручается круг вопросов, связаиных с геиеральной рекоиструкцией цеха н переходом на сернйное прокзводство. Для этого вам надо будет...

Он сделал паузу, разглядывая оживившееся лицо Любнмова, н медлеино докончил:

— Свон ошнбкн до конца понять. И отброснть. Здесь у вас подчинеиных прокзводствеиииков не будет, ио с людьми вы должны иаучиться работать нмеино здесь. Привлекая их к разработке всего нового. Учась у них. И еще — перешагиуть через личную обиду и через самого себя, через эту самую свою безхребетиость, страхн н дипломатическне болезнн.

Ои встал, давая понять, что разговор окончен.

— Вот так, Георгий Семенович,— сказал он,— поезжайте домой, доболейте свое, а с понедельника — за работу. Да с такнм иапором, какого вам до снх пор не хватало.

Любимов встал и, волнуясь, заговорил необычио робким, умоляющнм голосом:

— Грнгорий Петровнч... Я вам обещаю... Я вам очень благодарен за доверие... Но я вас прошу... Разрешите сейчас вернуться в цех и этн последние суткн... до сдачи турбнны...

— Нет! — отрезал Немиров.— Испытанне проведут без вас. Те, кто его подготовил. И вообще вам пока не иадо бывать в цехе. Отдохннте друг от друга.

На лнце Любнмова отразнлось такое страдание, что Грнгорнй Петрович подобрел к бывшему начальннку цеха — вндно, ему н впрямь очеиь горько отстраниться от прокзводства! Что ж ему мешало эти днн позвонить н понитересоваться ходом дел — амбиция? стыд? мелочное желание досадить Полозову: ну-ка, выкручивайся без меня?

— Счнтайте это иаказаиием, Георгнй Семенович. Согласнтесь, оно могло быть н покрепче.

Любимов знал, что пора уходить, но никак не мог заставить себя уйти, не задав томившего его вопроса:

— Григорий Петрович... кого вы назначаете начальником цеха?

Немиров с удовольствием ответил:

— Полозова.

— Полозова? — воскликнул Любимов.

Они встретились взглядами.

— Разве вы считаете, что это не деловая кандидатура?

Любимов опустил глаза. Молчание было долгим, но директору хотелось дождаться ответа, а Любимову было очень нелегко ответить — нелегко после только что происшедшего разговора.

— Нет, кандидатура неплохая,— сказал наконец Любимов.

— Вот и я так рассудил. Ну, до свиданья, Георгий Семенович.

— До свиданья, Григорий Петрович. Спасибо.

Когда дверь за ним закрылась, Немиров усмехнулся — значит, кое-что уже «дошло»? — и пробормотал, мысленно охватывая все, что связывалось для него с Любимовым:

— Именно так! Именно так!

9

В пятницу ночью успешно закончилось испытание второй турбины, а в субботу утром Алексея Полозова вызвали к директору. Он забежал к Ане, взял ее руки в свои и спросил:

— Если предложат,— соглашаться?

Никогда еще не видела она Алексея таким возбужденным, подтянутым и напряженным.

— Соглашаться,— сказала она.

— Не сорвусь?

— Нет.

— Вернешь?

— Ты этого хочешь, Алеша. А раз хочешь — справишься.

— Да, хочу!

Он отстранился, не выпуская ее рук.

— Да, хочу! — повторил он.— Хочу, потому что вижу, что и как делать. Знаю, что в цехе поддержат и помогут. И верю, что смогу.

Он вдруг рассмеялся:

— А может, это все ерунда? Очередная головомойка или начальственная накачка, чтоб не забыл о том, что начальство бдит?

— Ну, беги. Я к тебе зайду узнать.

— Аня... Ты помнишь, какой сегодня день?

— Помню.

— Он же действительно может быть самым лучшим днем, да?

Алексей ушел — возбужденный, целиком захваченный своими надеждами и планами, а она села на подоконник, проводила его

глазами — не бежит только потому, что неудобно! — и загрустила. Она так ждала вот этого дня! Когда она возвращалась домой, комната казалась ей уже чужой — как в гостинице. Чемоданы уложены, сунуть в один из них халат и полотенце — и уйти не оглядываясь... в ту нелепую, неуютную комнату с глобусом, где жизнь начнется сначала... И вот этот день — это и есть её день?! Алексей все-таки помнит, что сегодня — суббота. И жадно хочет всего сразу?..

Она повторила про себя: он же действительно может быть самым лучшим днем. Ну нет! Нет, Алеша, нет! Мой день будет только моим днем!

Алексей замедлил шаги лишь у самого здания заводоуправления. По лестнице он подымался совсем медленно, собираясь с мыслями. У него не было сомнений, для чего его вызывает Немиров. Уже третий день на заводе знали, что директор решил снять Любимова, и передавали слова Диденко: «Бывает, что работник еще тут, но сам в себя не верит. Не мы снимаем — он сам себя снял». Что ж удивительного, если на его место выдвинут человека, принявшего ответственность в трудный час?

С той минуты, когда Любимов покинул цех, оставив Полозова наедине с краснознаменцами и с десятками забот и неприятностей, Алексей фактически принял на себя руководство цехом. Он отдавал приказания, потому что их нужно было отдать, и планировал работу на ближайшие дни, потому что никто другой не мог этого сделать.

Утром позвонила Алла Глебовна: Георгий Семенович заболел и получил бюллетень, так что на сдачу второй турбины не придет. Разозлившись, Алексей подумал о том, что дело не только в сдаче второй турбины, что промедление и неразбериха тяжело отразятся на выпуске следующих машин, а Любимов и без того недостаточно занимался ими... Он позвонил директору:

— Григорий Петрович, товарищ Любимов на бюллетене. Прошу разрешения принимать все нужные меры по всему ходу работ без оглядки на то, когда выздоровеет начальник цеха и что он скажет.

— А разве вы такого права не имеете как заместитель? — спросил Немиров.— Какие такие особые меры вы собираетесь принимать, что вам нужно специальное благословение?

— Мне нужно знать, что я отвечаю и не обязан оглядываться,— настаивал Полозов.— Иначе буду просить назначить другого ответственного руководителя. В цехе такое положение, что нельзя ни медлить, ни выжидать.

Немиров умел говорить добродушно, даже наивно, когда ему это было выгодно:

— Так действуйте, Алексей Алексеевич, благословляю.

Впрочем, несколько часов спустя он пришел в цех вместе

с главным инженером и подробно вникал во все дела, стараясь не упустить ни одного из самочинных действий, задуманных заместителем начальника. И Немиров и Алексеев одобрили действия Полозова, и на прощанье Григорий Петрович сказал, обращаясь к Алексееву:

— Да, Дмитрий Иванович, в медицине есть такое средство — переливание крови. Иногда помогает лучше лекарств.

— И хирургия есть,— шутливо ответил Алексеев.— Тоже полезная штука.

Больше ничего сказано не было, но все эти дни, работая с утра до ночи, Алексей улавливал приметы и намеки, все более утверждавшие его в мысли, что Любимова снимут, а его назначат. И если раньше он никогда не думал об этом, теперь мысль о возможном назначении вызывала у него подъем духа и лихорадочное нетерпение. Он знал, что ему будет трудно, но хотел самостоятельности и ответственности.

Директор ждал его:

— Садитесь, Алексей Алексеевич. Приказ подписан. Любимова снимаю. Вас назначаю. Принимайте командование.

Полозов не удивился и как будто не обрадовался. Чуть покраснел и сказал:

— Хорошо.— Помолчав, добавил: — Благодарю за доверие и постараюсь справиться.

— Должны справиться,— сказал Григорий Петрович. И признался: — Не сразу я на это решился...

Полозов вскинул смеющийся, даже дерзкий взгляд:

— Ошибаться хирургу не полагается?

— Безусловно! — протянул Григорий Петрович и весело пошевелил бровью. Одну минуту они глядели друг на друга — два задиры, два упрямца, не любящие идти на уступки.

— И все-таки мне было жаль снимать Любимова,— сказал Немиров.— Вы знаете почему?

— Знаю. И сам жалею, что при его знаниях и опыте у него такие, а не другие свойства... свойства личности, что ли. Можно узнать, куда вы его назначаете?

— Работать с ним вам придется по-прежнему.

— Помощником главного инженера по турбинному производству?

— Отгадали. Именно так.

Полозов вздохнул и сказал:

— Что ж! На вашем месте я поступил бы точно так же.

Немиров улыбнулся:

— А я бы на вашем месте, Алексей Алексеевич, сейчас землю рыл, чтоб справиться и сделать цех образцовым.

— А я и буду... землю рыть.

— Вы — будете,— подтвердил Григорий Петрович.

С неожиданной симпатией смотрел директор на молодого инженера, так часто раздражавшего его, боровшегося с ним и победившего. Он чуял в Полозове зрелую и настойчивую силу — качество, которое он ценил и в себе, и в других. Бывает, что коса найдет на камень и тогда искры сыплются? Что ж, было и это. А сейчас я даю этой силе и простор и направление... и от меня зависит, как сложатся отношения дальше. Не сумею быть сильней — ничего у нас не выйдет. Но я же сумею!

— Вы понимаете, Алексей Алексеевич, чего вам не хватает и в чем у вас будут трудности?

— Понимаю, Григорий Петрович. Но я не собираюсь останавливаться... Опыт и знания не приходят сами.

— Да, но кроме них есть еще важнейшее качество руководителя — умение охватывать целое и не теряться в частностях. Видеть под ногами и не упускать перспективы. Это качество надо в себе развивать. Задатки к тому у вас есть, судя по вашим последним мерам, которые я одобрил.

— Это были меры заместителя,— твердо сказал Алексей.— Приняв назначение, Григорий Петрович, я ими не ограничусь.

— Я в этом не сомневался. И знаю, что на днях вы придете ко мне с целой программой. Не ошибся?

— Не ошиблись.

— Ясна вам основная задача... так сказать, основа программы?

— Ясна,— не задумываясь, ответил Алексей.— Качество и ритмичность.

— Качество и ритмичность,— с удовлетворением повторил Григорий Петрович.— Что ж. Правильно. Это определяет все.

На этом первый разговор можно было кончить, и директор сделал бы это с любым другим работником. Но перед ним сидел Полозов, недавно жестко критиковавший его, Полозов, который обвинял его в неумении руководить по-новому... И Григорий Петрович чувствовал, что он не может, никак не может обойти молчанием недавнее столкновение, что он откровенностью и прямотой должен взять верх, «победить победителя».

— Никаких наставлений я вам сейчас давать не буду. По работе,— сказал он.— А вот по сути руководства — скажу.

Полозов ждал с интересом — и потому, что такой совет был нужен ему, и потому, что он исходил от Немирова.

А Немиров говорил неторопливо, раздумчиво, как бы по ходу разговора осознавая и впервые формулируя не только для собеседника, но и для самого себя свой опыт и свои ошибки:

— Когда сменяешь руководителя, которого считаешь плохим,— всегда веришь, что будешь гораздо лучше. И это правильное чувство. Но бойтесь подчиниться ему. Подумайте лучше, чем был сильнее ваш предшественник и чему нужно у него поучиться. На первых порах все к вам будут хороши, промахи вам простят, где тяжело — подсобят. И вам может показаться, что все у вас

ндет здорово, со всем управляетесь. А потом проходнт месяц, другой, третий. Скидок вам уже не делают, отиошеиия вошли в обычиую колею, а кое с кем нспортилнсь, потому что, стоя во главе, всем ие угоднщь н кому-иибудь обязательио на мозоль наступишь. Когда-то вы тоже крнтиковалн, требовали, искалн новых путей; теперь вам кажется, что все в порядке, а если и не в порядке,— так вы самн зиаете, что иадо делать. А люди, окружающне вас, ие успокоились, по-прежиему критикуют, требуют — уже не вместе с вами, а от вас, иногда и против вас. Точь-в-точь как вы протнв меня илн протнв Любимова.

Алексей вспыхиул, но промолчал.

— Не поддавайтесь соблазиу думать, что все знаете н сделаете самн. Уверяю вас, не успеешь оглядеться на своем посту да раскритиковать своего предшественика, как вас самого тоже иачнут критнковать, н не менее остро и требовательио. Я вас ие уговариваю любить крнтику — сам этому ие иаучился! А счнтаться, призиавать ее, извлекать из иее деиь за дием пищу для дела — советую.

— Сейчас мие кажется, что это легко,— сказал Алексей,— но, должно быть, это действительио трудио?

— Очень трудио, а порой и обидио.

В протнвовес печальному призиаиию, Григорий Петрович лукаво подмигиул н спросил:

— Что, призадумались? Не так сладко руководство, как казалось?

— Я не думал, что оно сладко, Грнгорнй Петрович. Мне просто хочется попробовать силы и выполинть то, что я хотел, но не мог сделать прн Любнмове.

— И чудесно! Пробуйте. Добнвайтесь. Но запомиите еще один совет...

Ои встал и прошелся по кабннету, поглядывая в окна на зиакомые н всегда интересные картины заводского быта: бледные при свете дня отсветы пламени нграют иа стеклах литейиого цеха; грузовик с тонкнмн прутьямн металла выезжает из прокатиого; паровоз, гудя, втягивает в заводскне ворота платформы с тяжелыми ящиками...

— Стаикн прншли! — воскликиул он и обиял за плечн подскочившего к окиу Полозова.— Вот тебе, товарищ начальник цеха, лучшнй подарок для иачала работы. Станки!..

Зазвоиил телефои.

— Да. Пришли, пришли, сам уже в окио увидел! Вызовите ко мие главного механика и пригласите Дмнтрия Иваиовича. А стаики — к турбииному.

Григорий Петрович опустил трубку н блажеиио улыбнулся.

— Как раз угадали — в субботу! Суткн — наши, устаиавлнвай да иалаживай!

Полозов все еще стоял у окна, только повернулся лнцом к днректору, н лицо его выражало непоиятиое смятеине. Прежде

чем Григорий Петрович успел спросить, что взволновало нового начальника цеха, тот уже справился с собою и деловито сказал:

— Да, как раз угадали! Сегодня же начнем установку... Вы говорили, Григорий Петрович, и не докончили — еще один совет.

— Ах да.

Немиров снова прошелся по кабинету. Видно, эту мысль ему было нелегко высказать.

— Производство и управление людьми — штука сложная. Иногда тебе будет казаться, что ты упустил какую-то нить, что обстоятельства мотают тебя туда-сюда, как тростинку ветром. И тебе будет страшно, что авторитет твой качается, что ты теряешь власть над событиями. Боже тебя упаси латать свой авторитет приказами и нагоняями. Властностью прикрывать слабость. Боже тебя упаси!

Полозов опустил глаза, чтобы не смущать человека, говорившего для самого себя в такой же мере, как и для своего слушателя.

— Только тогда, когда идешь к людям, веришь им, их инициативе, их возможностям... только тогда, когда думаешь о самом деле и забываешь о непререкаемости своего авторитета, о дистанции между тобой и подчиненными, о властности и прочем начальственном оформлении,— только тогда и уважение придет, и авторитет, и настоящая власть.

Он увидел на лице Полозова то самое выражение заинтересованности и доверия, которое хотел увидеть, и дружески закончил:

— Вот и все для начала, Алексей Алексеевич. Обдумаете свою программу — продолжим разговор.

Аня зашла к нему во второй половине дня, когда ей стало уже невмоготу сидеть одной, не видеть его, не знать, какой он сейчас. Весть о назначении Полозова уже облетела весь цех. Уже несколько человек повторили Ане слова нового начальника: качество и ритмичность — вот главное, чего я буду добиваться. Уже секретарша позвонила Ане, что в понедельник утром созывается совещание всего командного состава цеха и товарищ Полозов просит всех продумать свои замечания и пожелания. Аня уже видела, как выгружали с платформы новые станки, порадовалась им и испугалась, потому что прекрасно понимала, что их установка начнется сегодня же.

Когда она зашла в кабинет, там было немало народу, и все выглядели оживленными, довольными. Алексей говорил по телефону. Он украдкой улыбнулся Ане, продолжая слушать собеседника, потом весело сказал:

— Если хотеть, все можно сделать. А ведь мы хотим?

Он повесил трубку и, снова быстро глянув на Аню, начал отпускать одного за другим всех, кто ждал его приказания или совета. Дела были мелкие, повседневные, но люди задавали

вопросы как-то по-особенному, н Алексей отвечал радостио, находчнво, четко, н голос его звучал по-нному, чем обычно.

Прнглядываясь к нему н прнслушнваясь к звукам его голоса, Аня с горечью подумала: я впервые внжу его по-настоящему счастлнвым.

Вдруг оиа услыхала слова, заставившие ее насторожнться:

— Сегодня вечером? Нет, сегодня не могу. В понедельннк после совещания.

Значнт, он все же старается высвободить вечер?

Но потом позвонил главный механик, н по ответам Полозова Аия поняла, что подготовка фундаментов для новых станков начнется сразу после конца дневной смены и к утру понедельника все станкн должны быть опробованы.

Заметнв, что Аня хочет уйти, Алексей спокойно сказал ей:

— Еслн вы не торопитесь, Аииа Михайловна, подождите немного, пока я разберусь с более срочиыми делами.

В нем появилась новая уверенность, голос стал тверже, движения свободней. И Ане на мннуту стало очеиь жаль прежнего, мрачноватого и немного неуклюжего Полозова.

Неужелн назначение так важно для него?

Чувствуя себя покинутой, лишнвшейся самого дорогого человека, она уселась в уголке кабннета, для виду вытащила записную кннжку н карандаш, начала рнсовать какую-то чепуху,— а сама слушала н наблюдала. Ей нравнлось, как работал Полозов. Не командует, но тверд. Охотно советуется, но и себя заставляет слушать. Весел, доволен н не пытается скрыть это, а просто делнтся своим настроеннем со всеми, так что людн уходят нз кабннета увереннымн.

Он как бы совсем не замечал Аню, но в удобную минуту, когда ннкто не мог увидеть этого, сразу посмотрел в ее сторону н так радостно улыбнулся ей, что Аня будто в душу ему заглянула — н поняла, что дело не в самом назначении, не в честолюбии нлн властолюбни, а был он до снх пор скован, его энергия не находила полного н свободного применення, а от этого были и неудовлетворенность, н мрачность, н неуклюжесть. Ей захотелось подойтн к нему н шепнуть: рада за тебя и готова простнть тебе, что сегодня ты весь, целнком захвачен своей иовой работой и возможностямн, которые перед тобою открылнсь...

Она быстро набросала несколько ласковых слов на листке н положнла листок перед ним:

— Вот, Алексей Алексеевнч, сведения, которые вы проснлн.

Он взял листок так, чтобы никто не мог заглянуть в него, но прочнтал не сразу,— Аня видела, как он словно собирал все мускулы лнца, чтобы спокойно прочитать любые слова — нежиые нлн злые, любую новость — хорошую или плохую. Наконец прочитал, чуть улыбнулся н сказал будиичным голосом:

— Выдумка очень хорошая. Мне она не приходила в голову. Но вы все-таки подождите еще немного, ладно?

Она так и не дождалась, ее вызвали в цех. Он сам зашел к ней уже в конце дня — торжествующий, сияющий, от порога сообщил:

— Ну, Аня, я раскидал всех, как борец! Часам к девяти...

Не поднимая глаз, Аня спросила:

— Что?

Он немного растерялся:

— Аня, сегодня суббота, и я ни за что...

У Ани был грустный и решительный вид, когда она сказала:

— Нет. Нет, Алеша. Я тебя прошу. Наша суббота откладывается до следующей.

— Аня! Почему?

— Так будет лучше. Не сердись.

Все еще не веря, что это серьезно, он спросил:

— Ты меня разлюбила, Аня?

Ей очень хотелось заплакать, она ответила дрожащими губами:

— Кажется, нет. Только я уже говорила тебе... Любить — значит беречь свою любовь. От суеты. От досады. От всего, что портит...

— А я никому не позволю портить!

— И я. Поэтому — отложим.

— Но почему?

— А потому...— Она прикрыла глаза и выпалила, почти не переводя дыхания, все доводы, которые подбирала с утра: — Потому, что я не хочу делить тебя с цехом в такой день, потому что я не могу существовать для тебя где-то между установкой станков и планами новой работы, потому что я сама буду презирать начальника, который ушел из цеха, когда устанавливают новые станки, потому что тебе нужно сегодня и завтра спокойно обдумать, что и как делать, потому что...

Она остановилась на полуслове, поняв, что новых «потому что» у нее нет, а из всех высказанных важно для нее только одно: «Не буду я тебя делить ни с цехом, ни с кем бы то ни было!»

Он и понимал ее и не хотел согласиться, а потому думал, что она как-то усложняет все. Да, ему трудно вырваться и подготовиться к ее приходу так, как задумано, не удастся — правда, дворничиха с утра скоблит и моет, все будет чисто и аккуратно, но вот устроить что-нибудь праздничное... Аня вчера сказала: «Завтра я приду к тебе в гости, понимаешь? И ты меня будешь принимать как хозяин». Он посмеялся: «А в воскресенье начнешь забирать меня в руки как хозяйка?» Она ответила — да. Он готов был подчиниться этому ее капризу... Но что же делать, если все так сошлось, и кто знает, скоро ли он будет — этот день, когда ничто не помешает?

И в то же время где-то в глубине души он был доволен, потому что сегодня было уж слишком трудно вырваться, и сотни дел

лезли в голову, н нужно было спокойно обдумать, что н как делать.

Он выглянул в корндор, чтобы убеднться, что ннкого нет поблнзостн, обнял Аню и на миг прнжался лицом к ее плечу:

— Ох, Аня, если бы ты знала, как мне сейчас...

— И мне...

— А может быть, ты просто очень мало любншь?

— Нет, не значит. Нет...

— Тебе хоть жаль меня?

— Нет. Мне гораздо труднее...

— Тебе?!

— Ну, обонм одннаково.

Она улыбнулась н отстранила его, потому что где-то поблизости хлопнула дверь, раздалнсь голоса. Да и все равно она не сказала бы ему о своем новом открытин — что он человек, неспособный ннчему отдаваться наполовнну, что сегодня для него главное — простор, открывшийся его энергни, н оиа ие зиает, дождется лн дня, когда почувствует, что самое главиое для него — она. И что она еще больше любит его за это. И что ей все же больно.

— Скажн лучше, Алеша, чем мне помочь тебе в этн дни? — отстранив горькие размышления, спроснла она и, утешая, погладила его стнснутый кулак.

— Не знаю,— буркнул он.— У меня сейчас ни одиой мыслн в голове... Разве что ты придумаешь за меня что-ннбудь очень умное н толковое?

— Постараюсь. Может, у тебя есть какое-нибудь порученне для ннженера Карцевой?

Он сердито мотнул головой, потом вдруг сказал деловым тоном:

— Да, есть! И очень важное. Завтра днем — скажем, в три часа — назначь мне свидание. Где хочешь — на углу, иа пляже, на пятой скамейке от входа в парк, у телефониой будки, под часами или где там еще полагается. Два часа прогулки и сумасшедшего ничегонеделання на прнроде, на ветерке и на людях.

— Хорошо. Чтобы не метаться возле пятой скамейкн, пока ты вознишься с установкой станков, в трн часа на пустыре, напротнв моего окна. Увнжу тебя — н выйду.

— Но еслн я буду болтать на цеховые темы н хвастать, какой я геннальный начальннк, заткни мне рот... А к шести я вернусь в цех. И если я вдруг начну уверять, что мне не нужно туда ндти, что я договорнлся с механнком н мы можем провести вместе весь вечер,— гонн, гони к черту! Ладно?

— Прогоню. К черту.

— Только все-таки не очень уж, чтобы я понял, что это делается по моей просьбе, ладно?

— Ладно.

— А еслн в следующую субботу меня назначат мнннстром илн

с иеба свалятся уже не стаики, а полиый комплект турбинных деталей... иу, в общем, ии иа какие иовые отсрочки я уже не соглашусь.

— Да. Да. Иди, Алеша. Тебя, иаверио, уже ищут. Иди.

Ои ответил шепотом:

— До завтра... мой лучший-лучший друг.

Он проводил ее через цех до выхода, несмотря на ее возражения.

— Пусть смотрят и судачат сколько хотят! — сказал он с вызовом.— Если я нм пожертвовал этот день...

А потом оиа шла одиа по улицам, только тут до коица поняв, что все это — правда, шла и глотала слезы, иногда улыбалась, вспомииая те его слова, которые были особеиио отрадиы, и снова глотала слезы, потому что иичего уже нельзя было измеиить.

10

Ои появился на пустыре без десяти три, с сосредоточеииым видом ревизора, осматривающего строительную площадку. Пощупал доски, зачем-то взял в руки и оглядел со всех сторон кирпич из штабеля, потрогал ботииком камеиь, привезенный для фуидамеита.

Аня сбежала виизз сама не своя от радости, а он сказал, не здороваясь:

— Когда вы вчера ушли, я чуть не послал всех к черту и уже в полиочь чуть не побежал к вам... Вот бы ахнула ваша Глебовиа-Игоревиа, если б я ворвался к вам ночью!

Они долго решали и никак ие могли решить, куда поехать н где будет лучше, потому что им было хорошо и здесь, среди досок и штабелей кирпича. Когда они приехали на Острова, шел уже пятый час. Оии селн на траву возле пруда и, почти не разговаривая, наблюдали, как прыгают с вышки пловцы, затем уже наспех пообедали в ресторанчике-поплавке. Оба уверяли, что есть не хотят, ио выяснилось, что хотят и что все кажется удивительно вкусиым. В свой район они вернулись в половиие седьмого, так что Аня сразу стала гнать Алексея на завод, но он пошел проводить ее, потом она его. Наконец, обнаружив, что уже восемь часов (ведь только что было половина седьмого!), Алексей на ходу вскочил в трамвай н махал Аие кепкой с площадки, пока трамвай не ушел так далеко, что не увидеть.

Аия стояла на тротуаре, прижав ладони к щекам, и повторяла себе, что она счастливая, счастливая, самая счастливая на свете. Хотелось сказать об этом кому-иибудь, все равио кому. Ей попался иа глаза постовой милициоиер. Интересно, какое лицо было бы у него, если бы гражданка вверенного ему квартала подошла с таким сообщеиием?

До ночи оиа сидела у окиа, ничего не делая и не желая делать. Пыталась придумать что-нибудь «очень умное» для Алексея, для

завтрашнего совещания, но мысли скользили в сторону от дел, к самому Алексею — успеет ли он хорошо подготовиться? Может ли он сейчас спокойно обдумывать дела? Какое у него будет завтра лицо, какой голос и очень ли он будет волноваться?..

Могла ли она предположить, что Алексей проведет свое первое совещание так, как он его провел!

Оно длилось всего час с небольшим, но, когда Аня вернулась с совещания в технический кабинет, у нее мелкой дрожью дрожали колени, так она переволновалась.

Алексей сразу «взял быка за рога». Он произвел в цехе ряд дельных перестановок и выдвинул к руководству много новых людей. Но кроме того — и это было самым главным — он разделил весь командный состав цеха на три смены, причем все должны были на ходу передавать смену своим ответственным сменщикам. Оставаться на производстве после сдачи смены запрещалось.

Алексей прочитал свой приказ четким, веселым голосом. Затем он оглядел застывшие, растерянные лица присутствующих, раскрыл блокнот и сказал:

— Я проверил в учебном комбинате и в библиотеке, кто где учится и все ли успевают читать — не только техническую литературу, но и художественную. У нас есть великолепные примеры серьезной работы товарищей над своим развитием, например Бобров, Шикин и ряд других. Но общая картина меня огорчила. Доложить вам результаты проверки?

Кое-кто откликнулся: просим! Но многие заворчали, что незачем, сейчас не до того, и так ясно.

Алексей все-таки доложил, бросая многозначительные взгляды на тех, кто нигде не учился и ничего не читал. Собравшиеся оживились, пересмеивались, подталкивали друг друга, некоторые ворчали вполголоса.

— Я никого не виню, товарищи,— сказал Алексей, пряча в стол блокнот.— Хотя многое зависит от самого человека. Я просто прошу товарищей задуматься — не отстают ли они? Как я выяснил, многие рабочие цеха уже обогнали в учебе и общем развитии кое-кого из командиров... Заставить пойти на учебу или в библиотеку я не могу, но предупреждаю, что интересоваться этим время от времени буду и в зависимости от этого буду аттестовать того или иного работника. Условия для учебы вам теперь созданы.

Вот тут и разразился скандал, из-за которого у Ани начали дрожать колени.

Первым взбунтовался старик Гусаков. Поначалу ему польстило, что его выдвинули начальником участка, но затем его разозлило сообщение, что Иван Иванович не знает дороги в библиотеку, хотя в кое-какие другие места наведывается слишком часто (тут раздался смех), что ни на какие курсы его не затащишь и даже обязательные для мастеров лекции по экономике производства он посещает через два раза на третий.

Гусаков встал и, гордо приосанившись, громогласно заявил, что новая метла, конечно, чисто метет, но как бы она вместе с мусором и нужное не вымела.

— «Анну Каренину» я, правда, не читал, виноват! Но на турбинах работаю три десятка лет с гаком. И, наверно, до смерти работать буду — в этом ли цехе, либо на другом заводе,— а буду! Отдыхать да гулять, конечно, дело хорошее, за заботу о нас Алексею Алексеевичу нижайший поклон. А только сурьезный мастер или начальник участка сам не пойдет из цеха, когда есть важная работа, и слабенькому сменщику не доверит — себе дороже чужие ошибки исправлять. Я, например, не уйду, хоть каким приказом пугай — не уйду!

Он сел, но вслед за ним заговорили другие. И все о том же. Один за другим выступали мастера и начальники, до сих пор руководившие работами, заставляя краснеть и бледнеть вновь назначенных. Все чаще повторялись вызывающие слова — не уйду! Честно говорю — не смогу уйти! Хоть штрафуй, а дело не брошу!

Это был прямой бунт против приказа нового начальника цеха, и Алексей понимал это, но стоял за своим столом как будто спокойный и даже с мальчишеским, озорным выражением на лице.

Аня любовалась его выдержкой и боялась, что этой выдержки не хватит. Какой выход он найдет? Осуществимо ли сейчас, в такое горячее время, правильное, но слишком поспешно вводимое новшество, придуманное Алексеем? Почему он не посоветовался с нею вчера, он, сказавший, что она его лучший-лучший друг? И почему она сама болтала с ним о всяких милых пустяках, вместо того чтобы помочь ему на первых порах не наделать ошибок?

Она вздрогнула, услыхав резкий голос Алексея:

— То, что здесь говорилось,— попытка прямого неподчинения приказу. Эта попытка еще раз убеждает меня в том, что приказ своевременный и необходимый. Поскольку командиры производства, с делом и без дела суетясь по цеху с утра до ночи, не успели даже продумать значение и важность дисциплины.

Наступила тяжелая тишина.

Полозов стоял и ждал.

Молчавший до тех пор Ефим Кузьмич попросил слова, и по тому, как Алексей всем корпусом повернулся к нему, Аня поняла, что он очень надеется на поддержку старика Клементьева и заранее радуется ей. Но Ефим Кузьмич сказал тихо, огорченно:

— Напрасно вы так говорите, Алексей Алексеевич. Понимаем мы все. И рады бы подчиниться — нам же на пользу. Так ведь не выйдет это! Вот вы назначили моим сменщиком Боброва Сашу. Кто же говорит, неплохой работник. Но, пусть он на меня не обижается,— зеленый еще! Как я на него свое кровное дело покину? На цельных восемь часов одного управляться оставлю?

Бобров покраснел чуть не до слез.

Алексей тоже покрасиел, но быстро справнлся с собою н так же резко возразил:

— Как же так, Ефим Кузьмич? Бобров уже два года ходит в ваших помощииках, а к самостоятельностн вы его ие приучнли? Вы привелн в пример Боброва,— так вот и поговорим, товарищн, о Боброве н людях вроде него. Что ои, неспособиый илн иеграмотиый человек? Нет, н способиый, н с образоваиием — техннкум коичает, формуляр бнблнотечный весь нсписаи, еженедельио книги меняет. Так ли были подготовлены многие нз вас, когда руководить производством начали?

Он сжал кулак и рубаиул им воздух:

— Прнвычка у иас образовалась — на испытаииых выезжать! Плохо, леинво учим новых командиров производства. Самостоятельиости ие даем, доверить бонмся, за все хватаемся сами,— без меня, мол, и турбнну ие собрать! Уж если такой человек, как Ефнм Кузьмнч, вырастивший сотнн учеииков, сам все время продолжающий учнться... уж еслн и он заразнлся этой привычкой!..

Ефнм Кузьмич слушал внимательио, затем негромко вставил:

— Не знаю. Может, н так. Но ведь машниы какие...

— С этой косиостью надо коичать! — продолжал Полозов все тем же резким, голосом.— Даю вам иеделю сроку для введения в курс дел новых смеиных начальииков н мастеров. Сам распределю, кто кого будет иструктнровать н обучать. Да и в каждой смеие есть старшие, ответствеииые людн, у которых хватнт зиаиий и опыта помочь и посоветовать, еслн поиадобится. Понятно, товарищн? Неделя сроку. Через иеделю — застану ие в свою смеиу — наложу взысканне как за неподчннение приказу.

Гаршнн приподиялся н не без ехндства спросил:

— К сборке, я надеюсь, это не относнтся?

— Наоборот, Виктор Павлович, полностью отиосится. И к вам особенно, вы у нас особый любитель авралов и штурмовщины.

— Вот как? — дерзко сказал Гаршнн.— Хорошо. Подчииякюсь. Но тогда прошу снять с меия ответствеииость за сборку.

Опять наступила тншнна. И в этой тншнне Полозов спокойно сказал секретарше:

— Запнсывайте прнказ: «Сиять Гаршнна Виктора Павловнча с должиости начальника сборкн, перевестн на должность заместнтеля. Начальником сборки утверднть...— Он окииул взглядом прнсутствующих, не нашел инкого, на кого можно возложнть эту ответствениость, н вдруг звучным мальчишеским голосом продиктовал: — утверднть Полозова Алексея Алексеевнча».

Кто-то охнул, кто-то прнвстал от удивления, легкнй смех прошел по комнате и оборвался.

— Может, еще кто-нибудь отказывается? — спроснл Полозов.

Гусаков возмущенно проворчал:

— Ишь какой скорый!.. Так вот, Алексей Алексеевич, я самый первый отказался, снимай и меня!

— Придется, если ответственности испугались,— тем же мальчишеским голосом сказал Алексей и продиктовал перепуганной секретарше: — «Гусакова Ивана Ивановича с поста начальника участка снять, перевести в заместители. Исполняющим обязанности начальника участка утвердить...— Он снова поискал глазами, кого бы, и совсем уже вызывающе докончил: — Утвердить Полозова Алексея Алексеевича».

В комнате поднялся глухой шум. Люди переглядывались, пожимали плечами: да что это, совещание или спектакль?.. озорство?.. Один из начальников участка уже нарочно, под общий смешок, присоединился к Гаршину и Гусакову, и Алексей снова продиктовал — снять, перевести в заместители, назначить Полозова.

Начальник четвертого участка Скворцов, которому сегодня больше всех попало за то, что он не учится, смущенно поднял руку:

— Я, видимо, не справлюсь, Алексей Алексеевич. Не сумею по-вашему руководить. Снимайте.

Он любил Алексея, а сейчас не понимал его выходки и страдал и за него и за себя.

— И сниму,— с веселой злостью подхватил Алексей.— Всех, кто боится ответственности и хочет по старинке крутиться, всех переведу на должности и на оклады заместителей. А вашу ответственность приму на себя. И через месяц вы сами увидите, что работать станет легче и проще, что порядку больше, а суеты меньше. Сами придете и попросите восстановить вас... то есть вернуть вам ч е с т ь отвечать за свою работу...— Алексей вздохнул и прибавил: — Что ж, восстановлю с охотой! А экономию по зарплате, поскольку за совместительство я получать не собираюсь... экономию попрошу разрешения использовать на дополнительное премирование лучших работников...— И без паузы: — С этим все, товарищи. Следующий вопрос...

Аня была рада, что забралась в уголок, позади всех, так что никто не видит ее взволнованного и несчастного лица. Зачем Алексей так обострил все? Ведь зарвался, переоценил свою силу, а всех оттолкнул, восстановил против себя. Аня разыскала глазами Воробьева, который вначале слушал Полозова с явным одобрением,— вот и Воробьев задумался, и вид у него недоуменный и невеселый...

При угрюмом молчании всех собравшихся, очень одинокий за своим столом председателя, Алексей начал говорить о графике работ и о тех мерах, которые он считает нужным принять, чтобы обеспечить полную ритмичность производства. Еще позавчера все радовались первому заявлению нового начальника о борьбе за ритм и качество... а сейчас те же люди слушали хмуро и недоброжелательно, с обидным недоверием.

Полозов спроснл, у кого какне претензнн н пожелання.

Никто не проснл слова — демонстратнвно отмалчнвалнсь. Полозов подвигал напряженнымн скуламн н тнхо сказал:

— Зря, товарищн, не подготовнлнсь. Я ведь проснл подумать и высказаться... Так ннкто ие хочет? Ладно. Тогда перейдем к определенню задач наших отделов.

Ои начал с планово-днспетчерского отдела, с Бабннкова. То, что он требовал от него, было настолько правнльио н для всех важно, настолько отвечало потребностям участков и брнгад, что начальннкн участков н мастера сразу оживилнсь, обрадовалнсь. Кто-то подал реплнку... потом второй, третнй... Алексей подхватывал все ценные мысли, тут же развнвал, уточиял. Не только Аня — все почувствовалн, что он хорошо продумал всю оргаинзацню работ в цехе н хорошо подготовился к сегодняшнему разговору. Но Аня думала еще — когда же он успел? Как он много успел за эти суткн!

— В заключенне у меня к вам личная просьба, товарнщ Бабинков,— с улыбкой закончнл Алексей.— Переключнте вы, пожалуйста, всю свою недюжнннную ораторскую энергню... иа деловую!

Все дружно и облегчеиио рассмеялись.

Алексей, тоже с облегченнем, оглядел подобревшне лица своих товарищей и провел ладонью по лнцу таким усталым движением, что Аня поняла — этот час стонл ему громадиого напряжения сил. Уже не думая об окружающнх, Аня выдвиеулась вперед н с нежностью улыбнулась ему, стараясь подбодрнть его н обнадежить, что все уладнтся. Но Алексей упорно не смотрел в ее сторону, не заметнл ее уснлнй н неожнданно сказал особеиио сухим н властным голосом:

— Теперь — о техннческом кабннете. Этот наш отдел я счнтаю важнейшим, основным отделом, от которого во многом завнсит техннческая культура прозводства и технический прогресс. Однако этот наш отдел работает пока плохо, кустарио!

Аия выпрямнлась н побледнела. Расшнренеиымн глазами смотрела она на Алексея: что же это такое? почему? за что?

По-прежнему не глядя в ее сторону, Алексей наметнл, что н как иадо сделать, чтобы кабннет работал по-иастоящему. Все это было умно н верно. Аня узнавала н свон мысли, которымн делилась в разиое время с Алексеем, и свон требования, которые она тщетно предъявляла Любнмову. План кабинета должеи определяться запросамн пронзводства, должен быть связан с реконструкцней цеха н ростом пронзводнтельностн труда... Ну коиечио! Этого я н хотела... но за что же упрекать меия, когда до сих пор с этнм не счнталнсь, я бнлась в однночку... и ты это прекрасио знаешь!

— Есть у товарнщей замечання и предложення?

Да, есть. Теперь всем хотелось выступнть, чтобы загладнть недавнюю молчалнвую демоистрацню. Почти у каждого было что

сказать. Аня слушала: быстрее распростраиять передовые методы... обучеиие молодежи... побольше комплексиых бригад... Что бы там ии говорил Алексей, а ее работа уже дала плоды, люди повернли в иее н миогого от иее ждут.

Ей хотелось перегляиуться с Алексеем, ио он сидел н что-то старательио писал, рвал, сиова пнсал.

— И у меия есть претензии к вам! — сказала Аия, вставая.

Алексей впервые взгляиул иа нее с интересом и одобреиием.

Попросив слова, Аия хотела пожестче отвести иезаслужеииый упрек Алексея, ио в последиюю миИуту раздумала и сказала другое:

— Я ие собираюсь сиимать с себя ответствеииость и ие боюсь ответствеииости. Я даже готова призиать, что работала плохо н уж во всяком случае — что правда, то правда! — кустарио. Но — одиа — я иевольио кустариичаю. А поэтому требую...

Оиа излагала свои требоваиия громко, решительио, сердясь, что Алексей что-то пишет, вместо того чтобы слушать ее. Оиа без стесиеиий обвинила руководителей цеха, участков, отделов:

— Ко мие прибегают, когда иужиа скорая помощь, а продумать свои запросы и включить в мой плаи зараиее — ие хотят, ие умеют. А может, суета мешала — та самая, с которой иекоторым товарищам расстаться жалко? Меия зовут всякий раз, когда учеиик что-иибудь иатворил, как будто я им няиька,— а сколько раз я требовала, чтобы учеииков иаправили в хорошие, даже в лучшие бригады?

Раздался скептический голос:

— В лучшие? Этак лучшие быстро стаиут худшими!

Насмешливо блесиув глазами, Аия громко заметила:

— Видимо, товарищ Полозов прав — воспитывать кадры у иас ие умеют и ие очеиь хотят!

И села, довольиая своим ответом и тем, что иенавязчиво, как бы между прочим, поддержала Алексея. Хоть сердита иа иего... ио об этом оиа ему успеет сказать!

К ее удивлеиию, Алексей свериул трубочкой бумагу, иа которой писал, и передал сндевшим поблизости от иего:

— Карцевой передайте. Пока не забыл, Аииа Михайловиа, список, который вы просили.

Записка по рукам пришла к Аие.

«Не сердись. Я боялся быть пристрастиым, а вышло наоборот. Это потому, что я совершеиио ие могу тебя видеть».

Аия ие сразу поияла чудесиый смысл последиих слов этой нелепой записки.

А совещаиие продолжалось, теперь уже в добром согласии,— обычиый разговор хорошо поиимающих друг друга людей, только председательствовал человек, эиергичио иаправлявший этот разговор по иужиому пути. Маиера Полозова вести совещаиие иравилась. Люди сами ие заметили, как переломилось их настроение, как отошло иазад иедавиее раздражение. Теперь охотно

давалн советы, охотно шутнлн н смеялнсь любому остроумному слову и летучей шутке, которые так украшают деловые беседы и на которые так щедры русскне люди. Но то однн, то другой нз участинков совещаиия вдруг задумывался, мрачнел, вспомнная, что прнказ о поинжеинн в должности проднктоваи, записаи и лежнт у Полозова под рукой... Как сказать о нем рабочим в цехе? Как объясинть дома жене? Насмешек будет миого, а заработок уменьшится... н стыда-то, стыда сколько!

— Итак, товарнщн, договорнлнсь по всем пунктам? — сказал Полозов, заканчивая совещаиие.— Все, что требует приказа, будет сегодня же оформлеио. Кстатн, однн прнказ у нас уже подготовлеи...

Он взял у секретарши черновик приказа, про себя прочитал его, помолчал н вдруг дружески улыбиулся всем:

— Подписывать?.. Или, может быть, обойдемся по-хорошему?

Гусаков встал н шнрокнм жестом протянул Полозову руку:

— Куда нн шло, попробуем по-твоему. Эко ты нас в оборот взял, Алексей Алексеевнч! Ха-а-рактерный человек! Пересилил-такн...

— Возраженнй нет? — спроснл Алексей, складывая злополучный листок. По-мальчншескн подмнгнул, разорвал листок пополам, потом еще и еще.

11

Ннколай Пакулнн жил в том состояинн душевиого подъема, когда все удается н все кажется достнжнмым.

Экзамеиы в техиикуме былн сданы без единой тройкн, после экзаменов поехали иа Кнровские острова иа праздник белых ночей, там былн Ксана с Валей н Аркаднй Ступнн, н вышло так, что Ннколай стал четвертым в этой компании н онн каталнсь вместе иа лодке. Коиечно, разговор шел общнй, ио, когда выехалн иа взморье, Ксана начала вспомннать описанне белой иочн у Пушкнна; ни Валя, нн Аркаднй ие знали его ианзусть, а Николай зиал, н онн с Ксаной на память читалн его — Ксаиа строчку н Николай строчку,.. Потом Николай греб н смотрел на Ксану, а Ксана сидела на руле и слегка улыбалась ему. Но еще лучше было то, что оин опоздалн иа последннй трамвай н шлн пешком через весь город. Аркадий пошел проводнть Валю, а Ннколай проводнл Ксану, н у ее дома они еще иемного постоялн и поговорнлн. О чем? Нн о чем особенно, но все получалось как-то складно и ласково, и уже в последнюю минуту, когда заспанный двориик открывал парадную, Ксана протяиула руку н не торопилась отнять ее, и сказала, опустнв глаза:

— Спасибо, Коля. До свидания.

Спаснбо?! Она его благодарила! Николай думал, что после того, как он завоюет общегородское первенство, он подойдет к ией

и предложит: «Ксана, в Петергофе пущены все фонтаны, съездим вместе в воскресенье». Может быть, она и согласится?

В прошлом месяце он уже почти догнал в общегородском соревновании Витю Сойкина, а теперь они с Федей придумали новые оправки и пока давали выработку выше, чем бригада Сойкина. Николай познакомился со своим главным соперником и с тех пор вдвойне мечтал о победе,— уж очень Сойкин самоуверен... Ничего, придется ему отдать знамя!

Вдохновляло Николая и общее приподнятое настроение, царившее в цехе с тех пор, как Полозов стал начальником.

В первые же дни Полозов собрал у себя бригадиров и лучших стахановцев. Он советовался с ними и выдвинул перед ними задачу:

— Превратить цех в сплошь стахановский!

На этом же совещании был создан постоянный стахановский совет, и Николая выбрали членом его.

В цехе много говорили о переменах, которые ввел новый начальник.

Теперь начальники смен и мастера сдавали и принимали смену, как в армии сдают и принимают дежурства. Было известно, что всем им предложено учиться, что Полозов проверял, читают ли они книги, и какие. Рассказ о забавной истории, происшедшей на совещании командиров производства, облетел весь цех — и понравился.

Нравилось и то, что Полозов смело выдвигает новых людей. Женю Никитина назначил начальником инструментального хозяйства, Сашу Воловика сделал сменным мастером на сборке, Валю Зимину перевел с крана в планово-диспетчерское бюро дежурным диспетчером...

Николай видел, что многие дела в цехе пошли быстрее. На его участке не хватало подъемной стрелы. О стреле неизменно заговаривали на производственных совещаниях, на партгруппе, на оперативках. Полозов договорился с цехом металлоконструкций. некоторые работы взялся сделать у себя в цехе — и стрелу установили под шутки и рукоплескания рабочих:

— Вот что значит — захотеть!

— Удалой долго не думает!

Попадались, конечно, и маловеры. Старый Гусаков сказал Николаю, насмешливо дергая губой так, что его сивые усы подпрыгивали:

— И чего вы все с ума посходили? Горяченький-то скоро надрывается... Я этих новых метел на своем веку знаешь сколько видал?

— Теперь все от нас зависит,— горячо возразил Николай.— Мы должны поддержать Полозова, а он нас всегда поддержит.

— Ну-ну! Поддерживай, милок, старайся,— сказал Гусаков.— Авось твоя помощь все решит. А я, понимаешь, в библиоте-

ку пойду,— ему, вишь, не спится, пока Гусаков не приучится романы читать...

У нового начальника цеха был обычай — как бы он ни был занят, первый час проводить на производстве. В этот ранний час любой рабочий мог поговорить с ним; он сам, своими глазами видел начало нового трудового дня с сегодняшними отличиями и затруднениями.

Однажды утром Полозов подошел к Николаю и начал расспрашивать его о членах бригады. Интересовали его наиболее трудные ребята, с которыми Николаю пришлось повозиться. Ответы Николая он слушал внимательно и как-то задумчиво, словно что-то взвешивал или решал.

— Вам для чего, Алексей Алексеевич? Для статьи?

На заводе поговаривали, что пора о пакулинцах написать в газете, и Николай ждал этого — за последние недели нарастающих успехов он познал возбуждающий вкус славы.

— Нет, Коля, не для статьи,— неопределенно ответил Полозов и спросил, какого мнения Николай о бригаде Назарова.

Эта недавно возникшая молодежная бригада уже начала «наступать на пятки» пакулинцам, и кое-кто подшучивал: «Смотри, Коля, обгонят тебя назаровцы!» Николай только головой качал: нет, далеко им до этого! Он и сейчас ответил со снисходительной улыбкой:

— Неплохая бригада. Но с теми ребятами еще работать и работать!

— А ведь показатели у них хороши?

— Что ж такого,— сказал Николай,— бригадир хорош, вот и тянет.

Полозов что-то промычал и пошел дальше с тем же задумчивым видом. А в середине дня Николая вызвали в кабинет начальника.

В кабинете, кроме Полозова, сидели Карцева и Ефим Кузьмич. Все трое обернулись к Николаю с особенным выражением интереса и ожидания.

— Садись, герой,— сказал Полозов.— Как думаешь, товарищ Пакулин, кто из твоих ребят способен самостоятельно работать?

Николай замялся. Ясно было, что кого-либо из пакулинцев хотят выдвинуть бригадиром в другую, новую бригаду. Решение естественное и заслуженное... но отпускать никого не хочется.

— Не знаю,— уклончиво ответил он.— Ребята все хорошие. Но они из бригады не пойдут.

— А все-таки — кого бы ты порекомендовал?

Николай медлил — ему было жалко любого. Да и в новых бригадах кто будет? Кешки да Петьки? Вытянуть такую бригаду — ох, маята!

— Ну что же, Коля? Или нет таких? — поторопила Карцева.

— Как нет! — самолюбиво откликнулся Николай.— Тот же

Аркадий Ступин. Или Слюсарев. Ребята способные, выросшие. Аркадий уж на что был трудный парень, а теперь прямо молодец! Он меня подменял, когда я сдавал экзамены. Ефим Кузьмич скажет — энергичный был бригадир. А Федя Слюсарев, сами знаете, парень с головой. Рационализатор.

Полозов, улыбаясь, вынул из стола листок бумаги с тремя фамилиями: Пакулин, Слюсарев, Ступин.

— Что, знаю кадры?

Затем он заговорил другим, многозначительным тоном:

— Большим кораблям — большое плавание. С понедельника, Коля, мы твою бригаду разделим. Участок будет работать в три смены с полной нагрузкой. Вашу бригаду мы разобьем на три части, по три-четыре человека в группе, и к каждой группе присоединим новичков. Вот список этой молодежи. Решайте сами, как разделиться и кого из молодежи в какую группу добавить. Пакулинцы должны стать ядром новых бригад, вожаками и воспитателями молодых рабочих. Вот приказ.

Он протянул Николаю уже отпечатанный и подписанный приказ.

— Дело твоей чести, Коля. Твоей и твоих ребят. Надо справиться.

Николай тупо глядел в список, открывавшийся фамилией Степанова Иннокентия. Взял приказ, так же тупо, не понимая, прочитал его. Исподлобья огляделся — все смотрели на него, а он не любил проявлять свои чувства.

— Это уже приказ? — выговорил он как можно спокойнее.— Хорошо. Я под-го-тов-люсь. За оставшиеся дни.

И пошел к двери.

Его остановил голос Карцевой:

— Коля, вы недовольны?

Николай резко повернулся к ней. Его поразило чудовищное предположение, что он мог быть доволен тем, как грубо разрушается дело его рук, его сердца, его воли. Но показать себя слабым, жалким в минуту несчастья — нет, этого он не мог допустить! Он заставил себя усмехнуться.

— Недоволен? Нет, что вы! — воскликнул он голосом жестким и, как ему казалось, ироническим, а на самом деле дрожавшим от слез.— Мы ведь не ждали награды, а вот — получили. Неожиданно. Награду. Спасибо.

И он выбежал из кабинета, заметался в коридорчике и наконец выскочил на запущенную запасную лестницу, в темный, пыльный угол, где никто не увидит его слез.

На лестнице пахло сыростью. Потревоженная паутина коснулась его щеки, и Николай гадливо отдернул голову, тщательно вытер глаза и щеку платком. Переживать обиду в таком грязном углу было унизительно, а ко всему унижающему его достоинство Николай был чувствителен.

Шагая по цеху на свой участок, он старался быть невозмути-

мым и гордым, поэтому его удивил вопрос повстречавшейся ему Вали:

— Ты что, Коля, заболел?

На последних комсомольских перевыборах Валю избрали секретарем цеховой комсомольской организации, и с тех пор она считала, что отвечает за все, включая настроение и температуру каждого комсомольца.

— Ну вот, выдумала! — недовольно буркнул Николай, отмахнулся от Вали и пошел дальше.

Возле группы станков висел новенький плакат. Крупный заголовок сообщал: «Бригада Назарова взяла обязательства...»

Николай остановился, осененный мрачной догадкой. Ну, конечно, Назарову расчищают путь к победе! Недаром Полозов сегодня расспрашивал... И Карцева давно опекает эту бригаду, и Ефим Кузьмич...

Николай подошел к Назарову и спросил, коснется ли его бригады разделение по сменам.

— Что ты! — удивился Назаров.— Такую бригаду гробить?!

— Вот я и думаю,— злобно бросил Николай, отходя.

Только в конце рабочего дня он решился сообщить новость своим товарищам.

— Тю-у! — присвистнул Аркадий Ступин и в сердцах остановил станок, не докончив обработку детали.— А говорили — уж Полозов-то нас поддержит! — Впрочем, узнав, что его выдвигают бригадиром одной из трех бригад, он заметно оживился и уже не так возмущался приказом.

Зато Федя Слюсарев был вне себя от гнева:

— Накануне общегородской победы! Как раз тогда, когда у нас все шансы!.. Ну, знаешь, это просто головотяпство! И даже похуже! Небось своего Назарова не тронули!

Пакулин прикрикнул на него:

— При чем тут свой или не свой! Глупости говоришь!

Ребята закричали:

— А тогда почему назаровцев оставили? Их берегут, а нас на затычку? А комсомол что смотрел? Пойдем в комитет, пусть требует отмены!

Узнав новость, Валя Зимина сама прибежала к ним. Ее окружили и оглушили — все разом что-то кричали, так что она ничего не могла понять кроме того, что все возбуждены и не хотят делить бригаду. Дав парням накричаться, она подняла руки и властно сказала:

— А ну, спокойненько.

И когда парни притихли, неодобрительно покачала головой:

— Да что вы, ребята? Сперва кричать, а потом думать? Что ж, по-вашему, цех — сам по себе стахановским станет? Сколько мы бились с этой молодежью, сколько говорили — надо их взять в хорошие руки! Вот вы и есть хорошие руки. По-моему, вам доверили.

Парни снова загалдели все сразу — спасибо за такое доверие, обойдемся без него, очень-то надо!

Только Аркадий Ступин не принимал участия в общем возмущении, а стоял в сторонке, прислушиваясь да раздумывая. «Растил, растил, сколько души ему отдал, а он и не жалеет бригаду!» — с горечью подумал Николай.

Федя Слюсарев наступал на Валю:

— А слава бригады побоку? Или назаровцы вам завоюют общегородское первенство?

Валя ахнула. Об этом-то она совсем забыла! Ведь и она надеялась и в заводском комитете комсомола надеялись, что пакулинцы завоюют знамя горкома комсомола. Как же теперь? Действительно, неладно вышло.

— Знаете, ребята, я схожу посоветоваться в комитет,— честно призналась она.— Руководство цеха, по-моему, решило на пользу дела, но вот с первенством получается обидно.

— «На пользу дела, но обидно»,— передразнил Слюсарев.— Нет, мы уж сами пойдем, а то с твоей мощной поддержкой и в комитете растеряются!

Ребята повалили в комитет, только Аркадий не пошел — то ли потому, что не комсомолец, то ли потому, что приказ его устраивал. Николай пошел было, да с пути свернул обратно — вот еще, ходить табуном во главе с Валей, которая будет и за и против, и так и этак... Или она обрадовалась выдвижению Аркадия и хочет поддержать его? А, пусть поддерживает! Я сам не маленький, пойду к Воробьеву!

Воробьев принимал членские взносы. Ведомости, печать, разменные деньги были разложены перед ним на столе, а у самого Воробьева был вид напряженно-озабоченный и тревожный, как всегда, когда он занимался этим кропотливым делом.

— Взносы платить? — спросил он Николая.

— Взносы у меня уплачены,—угрюмо напомнил Николай.

Воробьев на секунду оторвался от ведомости, оглядел Пакулина, что-то, видимо, припомнил и сказал:

— Садись. Я скоро освобожусь. Поостынь пока.

Когда дверь за последним из плательщиков закрылась, он дружески обратился к Николаю:

— Ну что, Коля, нелегко?

Николай сердито, а потому сбивчиво выпалил все, что волновало и возмущало его, даже обиду на то, что его бригаду разбивают, а Назарова не тронули.

— А почему? Как ты думаешь?

— Что ж, новой бригаде честь и место! — язвительно сказал Николай.

Он сам понял, как глупо и нехорошо звучит его ответ, но отбирать слова уже не мог,— в конце концов, все ребята так думают, и сам Назаров удивился: «Что ты, такую бригаду гро-

бить!» А что ж, бригаду Пакулина можно гробить, и никому до нее дела нет?

— А черт с ней, я беспокоюсь не о назаровской, а о своей бригаде. Это несправедливо. Это бесхозяйственно — уничтожить лучшую бригаду цеха!

— Лучшую? — переспросил Воробьев.— Да, так мы считали. А похоже, что ошиблись.

— Вот как!

— Да, вот так. Растили коммунистов, а вырастили чистоплюев, эгоистов... Э-эх, Пакулин! — с досадой воскликнул он и долго удивленно, даже грустно разглядывал Николая. Затем отвернулся, начал складывать в несгораемый ящик ведомости и деньги, не глядя сказал:

— Ну, вот что, Коля. Разговор у нас выйдет нехороший. А я в тебя все же верю. Иди-ка отсюда да поразмысли сначала сам. Ты кандидат партии. Вот с этой точки зрения и погляди на самого себя. И еще представь себе, будто твой кандидатский стаж истек и завтра тебе подавать в члены партии. С чем приходишь? Чем богат?

— По-моему, вы сами меня хвалили, и не раз!

— А это случается. Сперва хвалишь, а потом и ругать приходится. В общем, Пакулин, спорить с тобой я сейчас не буду. Рано. Подумай сначала сам.

— И вы подумайте, какое дело гробите! — уходя, бросил Николай, чтобы оставить последнее слово за собой.

Впервые он шел по заводу, стараясь ни с кем не встречаться, и впервые покинул его с облегчением.

Увидав сына, Антонина Сергеевна сразу поняла, что с ним приключилась какая-то беда, а по тому, как он быстро, пригнув голову, прошел мимо нее в свою комнату, догадалась, что беда — большая. С тактом, отличавшим ее, она не пошла за сыном, а дала ему побыть одному. Спустя полчаса тревожного ожидания она как ни в чем не бывало позвала его обедать.

— Сейчас,— откликнулся он, но не вышел.

Тогда она вошла к нему. Николай сидел на подоконнике, обхватив руками колени и уперев ноги в грязных ботинках в оконную раму.

— Николенька? — вопросительно произнесла мать, касаясь его плеча.

— Ох, мама! — сказал он и на миг прижался к ней, как в детстве, когда заболевал или случалось с ним плохое. Как отрадно было почувствовать неиссякающее тепло ее сочувствия!

— Прикрыли мою бригаду, мама. Разбили. Совсем.

— За что же? — вскрикнула мать, бледнея.

Он молча пожал плечами.

— Постой, Николенька... Да ведь только вчера... Как же так? Ведь только вчера вас хвалили, и в совет этот тебя выбрали... Да как же они могли?..

Ему стало стыдно волиовать ее. Конечно, оиа думает, что он провинился в чем-иибудь, что это наказаиие.

— Ты не так поияла, мама. Это не за что-ннбудь. Просто глупость. Из одной хорошей бригады хотят сделать три плохих. Со всего цеха всю шпану под метелку и — к иам! Мы, вндншь ли, арнстократы!

— Вы — арнстократы? Я что-то ие пойму, Коля.

— Никто ие поинмает.

Произительный звонок заставил мать вздрогнуть. В квартиру с шумом ворвался Виктор.

— Ни черта не вышло! — закрнчал он брату, швыряя кепку на обедеииый стол.— В комнтете нам целую проповедь закатилн! Но н мы свое высказалн, не постеснялнсь! Такое свииство, такое свниство! За всю иашу работу...

— Витя, повесь кепку иа место н вытрн ноги,— сказала мать.

Поперечиая морщннка перерезала ее лоб.

Пока Внктор мылся, мать стояла рядом н поиемножку выспрашивала о случнвшемся, стараясь понять, как же это Алексей Алексеевнч, такой хороший человек, мог поступнть несправедлнво.

— Не разобрался ои, вот н все! — ворчал Виктор.— Назаровцам сейчас путь расчнщают, а нам просто завндуют ребята, что мы впереди, вот и наговорнлн ему всего...

— Кто это сказал тебе?

— Да что у меня — головы своей иет?

— Помылся? Идн обедать,— помолчав, строго сказала мать.— Да вытри лоб, мокрый же!

Пообедалн молча. Мать прнвычио хозяйнчала за столом, только уголки ее губ подрагнвали да глаза внимательно вглядывались в иахмуренные лнца сыновей.

— А ведь вы, по-моему, неправы, мальчнкн,— осторожно заговорнла она, иалнв всем чаю. И уверенно подтверднла: — Неправы!

Сыновья с уднвленнем повернули к ней головы. Нниколай нахмурился еще больше, такая же, как у матерн, поперечная морщннка появилась на лбу.

— Все глупы, все нехорошн, одии вы умные. Да иешто так можно? — мнролюбиво, ио твердо продолжала мать.— Никогда я ие поверю, чтобы Алексей Алексеич во вред вам прндумал бы. Может, вы чего-то не понялн? Он же сколько помогал вам!

— Не будем об этом говорнть, мама,— раздраженио сказал Ннколай.— Я же вижу — вся моя работа насмарку: налажнвал, налажнвал, иа общегородское знамя тянулн, Сойкина обгонять началн, и вдруг — бац, рубаиулн сплеча, да на трн части! Начннай все с иачала, а славу — другнм!

Антонина Сергеевна совсем тихо спроснла:

— А слава — твоя?

— Ох, мама, оставь,— мие н так тошно.

— Слава, спрашиваю, твоя?

Николай передериул плечами:

— Нашей бригады, а чья же? Что ты, не понимаешь разве? Ты и ребят иаших знаешь. Работали, снл ие жалели. Почему же ие наша слава?

— Нам ее ие по блату дали, за дело! — вставил Внктор.

Мать прнмирительио сказала:

— А может, вы с этими тремя брнгадами еще большей славы добьетесь? Может, н новых ребят обучите, и зиамени добьетесь... еслн постараетесь как следует?

— Как же, с Кешкой Степаиовым заработаешь знамя! — запальчиво перебил Виктор, уцепившись за возможиость перевестн неприятиый разговор с общих рассужденнй на частный случай, где он чувствовал себя увереиией.— Что ты, в самом деле, не знаешь эту шаитрапу? Что касается меня, то я в одиу бригаду с Кешкой не пойду, спаснбо!

И вдруг мать, покраснев, крнкнула:

— Пойдешь!

Сыновья испугаиио покосилнсь иа иее.

— Да что ты сегодия взъелась, мама? — недовольно сказал Нниколай.— И все-то не так, н во всем мы ие правы...

— А потому и взъелась, что не так, н иеправы! — тяжело и коротко дыша от волиения, сказала мать.— Знаю я Кешу Степанова. И мать его, Евдокню Павловиу, зиаю. Без отца троих подинмает. Ну, не совладать ей, жеищиие, с такнм озорником. Разбаловался ои, дури в голове много. Так кому же, как не вам, обломать этого Кешку, матери помочь да государству человека вырастить?

Краска гнева отхлыиула от ее щек, н теперь ее лнцо было бледио, и рука иевольио взялась за грудь, как бы придерживая и успоканвая сердце.

— Славу у вас, видншь, отннмают... А может, Алексею Алексеевичу не так иужио, чтоб одиа ваша бригада в небеса занеслась, а иужно, чтоб каждый Кешка вроде вас работал? Сами-то вы какнмн на завод прншли — забыли? Болванки от шестереикн отличить ие могли! Кто вас, мальчишек, в этакие-то годы до большой квалификации довел? Что у вас есть — все от цеха, от завода, от добрых людей... И слава ваша — тоже...

— Да я же ие отрнцаю...— пробовал вставить Нниколай.

Мать только рукой повела — ие сбнвай с мысли!

— Вот вы учнтесь. Хорошо учитесь, характера хватает. И я горжусь. А кто вам эту возможность дал? Прн заводе школы да техникумы открыли, чтобы вам зря времеии ие терять н подметки не стаптывать, чтобы вас, иедоучек, в интеллнгенцию вывести. А вы еще смеете обижаться! Загордились вы, вот что! Все взяли, все получнли — а отдавать кто будет? Да еслн бы меня илн тебя спервоиачалу так отпнхнвал бы каждый, как вы Кешку,— разве мы могли бы вот так... как теперь... Кто мы былн

четыре года назад? — И она шепотом, со страстной тоской ответила: — Брошенные. Ни себе, ни людям не нужные... вот кто!

Она отошла, села в свое кресло у окна, махнула сыновьям — уйдите, оставьте, дайте успокоиться.

Тихо стало в квартире.

Витька, посапывая носом, ушел в кухню, разобрал велосипедную втулку и начал промывать в керосине ее части, однако то и дело как бы ненароком заглядывал в комнату — мать сидела с книгой, но, кажется, не читала.

Николай лежал грудью на подоконнике и даже не пытался чем-нибудь заняться. Только прислушивался — что там мама? Но и о ней, и о Полозове, и о Воробьеве он думал с обидой. Пусть даже они правы, пусть! Но почему они не понимают, как ему тяжело?

Мать сама вошла к нему, легкой рукой обняла за плечи, произнесла одно коротенькое слово:

— Ну?..

Он чуть повел плечами, высвобождаясь, исподлобья взглянул:

— Что?

Ее рука соскользнула с плеч, ласково прошлась по волосам:

— Когда ты неправ, Николенька, у тебя всегда такой вид делается,— бука.

Улыбнулась, щекой прижалась к его упрямо отодвигающейся голове:

— Я ведь все понимаю, Коля. Но ты уж переступи... что ж делать?

Было поздно, мать и брат давно уснули, когда Николай тихонько вышел из дому. Он присел на ступеньку парадной. Все было огромно вокруг — и возвышающиеся по бокам громады домов без единого огонька в окнах, и серый небосвод, упирающийся на горизонте в туманные очертания дальних крыш и подцвеченный там блеклыми красками догорающей вечерней зари.

Николай смотрел, как гаснут краски,— желтая становится совсем белесой, а лиловая сереет, и вот уже все погасло, и серые тона неба, домов, асфальта сгустились почти до черных. Пушкинские полчаса. Там, на взморье, Ксана вполголоса читала: «Одна заря сменить другую...», а Николай подхватывал: «Спешит, дав ночи полчаса...»

Лучше бы и не вспоминать ее сегодня!

Далекой-далекой представилась Ксана — не дотянуться, не дозваться, да и посмеешь ли теперь, когда опять увидел себя ниже ее и хуже! Противно вспомнить: еще вчера самоуверенно думал, что почти сравнялся с нею, что вот еще взять городское знамя, и не стыдно подойти к ней, как равный к равной, чувствуя себя достойным ее. У-у-у, да разве в этом дело!..

В памяти промелькнули ее слова, сказанные в тот день, когда

она зашла к нему: «Бывает так, что сознательно отказываешься от себя, от выбранного своего пути — ради общего дела...» Валя потом рассказывала, что Ксана плакала навзрыд, когда ее сняли с мастеров и перевели на комсомольскую работу. Плакала? Навзрыд? Он пробовал представить себе Ксану плачущей навзрыд — и не мог. Но ему было легче оттого, что он знал об этой ее слабости.

Да, но она-то подчинилась! — ради общего дела, как она сказала. Поплакала наедине с подружкой — и сделала так, как нужно. А я? Надо было уйти, пережить самому, подумать... А я, болван, сразу ребят взбаламутил, к Воробьеву побежал, даже маму втянул...

На комсомольском комитете, конечно, заговорят об этом: «Пакулина-то хвалили, хвалили, а каким он себя проявил эгоистом и честолюбцем!» И Ксана услышит... Что она скажет? Что подумает? «А это случается. Сперва хвалишь, а потом и ругать приходится»,— так сказал Воробьев.

Воспоминание о разговоре с Воробьевым прямо обожгло его. Он до зримости ясно представил себе цеховое партийное собрание и себя — на трибуне. Кандидата, желающего вступить в члены партии. Он будто слышал вопросы, обращенные к нему,— холодно-вежливые вопросы, на «вы», как к чужому:

— Почему вы протестовали против разделения бригады и отказались принять на выучку молодых рабочих?

— Правда ли, что вы по-обывательски решили, что вашу бригаду расформировали, расчищая путь назаровцам?

— Может ли коммунист и даже просто передовой советский человек уклоняться от общественного дела ради личной славы и выгоды?

Перед ним возникали лица его товарищей по партийной организации, лица, доброжелательно улыбавшиеся ему несколько месяцев тому назад, когда его принимали в кандидаты. И воображение придавало им теперь выражение отчужденности, разочарования, досады, презрения.

Да как же это случилось с ним?

Конечно, ничего непоправимого еще нет. Все можно исправить. Завтра же он поговорит с ребятами...

И вдруг его обожгла новая мысль — он же виноват именно перед своими ребятами! Растил, воспитывал, гордился ими, а когда им поручили трудное дело, в котором только и проявится по-настоящему все, чем они богаты,— не поддержал, не вдохновил, а сам пошел на поводу мелкой обиды и раздражения. Вот тебе и авангардная роль единственного коммуниста в бригаде!

Где-то поблизости хлопнула дверь, девичий голос воскликнул:

— Ой, уже рассвело!

Две девушки, гулко стуча каблучками, прошли мимо Николая, оглядели его, одна задорно спросила:

— Что, не пришла?

И обе со смехом заспешили дальше.

Да, пушкинские полчаса кончились. Сияние новой зари оживило край неба, бросив отсвет на длинное, узкое облако пепельного цвета, тянувшееся над горизонтом подобно лодке без гребцов. Громады домов, и ступени парадной, на которых притулился Николай, и молодые деревца вдоль тротуара будто проснули — нежный, еле уловимый свет скользнул по ним, и стали видны чуткие к свету стекла на серых фасадах, и каждый листок на каждом дереве, и меловые полоски «классов», нарисованные детьми на асфальте, и круглый плоский камешек, покоящийся внутри мелового квадрата.

Нежная красота рассвета коснулась души Николая, и тем горше показалось ему все, что запутало и омрачило его жизнь. Он готов был безжалостно осудить себя — эгоист, зазнайка, «болен центропупизмом», как говорит Женя Никитин. Но все в нем восставало против таких обвинений. Не чувствовал он себя закоренелым эгоистом, для которого собственный пуп дороже всего.

Недавно, готовясь к докладу в молодежном общежитии, Николай спросил Воробьева: что такое гармония?

— Я теорию музыки не изучал,— ответил Воробьев.— Но, как я понимаю, это вот что: связь, сочетание звуков. Созвучность. А ты почему заинтересовался?

— Да так, хочу понять. Говорят, при коммунизме будет гармонический человек. Значит, все в лад, все созвучно?

Теперь он нарочно рисовал себе разные обстоятельства, когда личные чувства и общественный долг вступают в противоречие: вот начинается война, надвинулась опасность — нет, он идет в бой и ведет за собою других! Ксана согласилась поехать в Петергоф, а мастер просит: очень срочный заказ, поработай сверхурочно,— и он работает, ставит рекорд скоростной обработки, а потом спешит к Ксане, усталый и счастливый, и рассказывает... Да что же это за дурь напала на него сегодня? И если бы хоть кто-нибудь сказал ему, что тут дело именно в этом — в умении подчинить личное общему!

— А вот возьму и все три бригады вытащу! — сказал он себе, изо всей силы потянулся и встал, потому что в победном нарастании света уже наступало утро.

Источник света был еще за горизонтом, но узкое, недавно пепельное облако, похожее на лодку без гребцов, плыло теперь как бы по морю огня, и огненные языки лизали борта лодки. А потом облако разорвалось, и уже не лодка, а три огромные, синие, с пунцовыми краями бабочки затрепетали над вздымающимся пламенем, и ветер понес их в сторону, словно оберегая их нежные крылья.

Из-за дальних крыш выполз краешек солнца.

12

Проводнв сыновей на выпускиой вечер в техинкум, Аитонииа Сергеевна постояла в нерешнтельностн, так как ей очеиь хотелось сесть в кресло н почнтать, хотя управдом еще утром просил ее обязательно прнйти на собраиие жильцов дома, потому что нначе «не будет кворума».

— Наш народ знаете какой? — уиыло повторял он.— Наш народ ие вытяиешь нз квартир. А будет депутат — иеудобио. Уж вы меня не подводите!

Дом был большой, густонаселеииый, но собралось всего человек пятьдесят, главным образом домашние хозяйки.

Управдом с безиадежиым видом объясинл, что больше н не собрать, иарод все занятый, рабочий. Он толково, ио уныло доложнл о том, как ндет летннй ремоит, а после него жизиерадостная толстушка Жарова, председатель комнссни содействия, сбивчнво, но бойко рассказала о работе комнсснн.

Антоиина Сергеевна добросовестно слушала н доклады н выступлення жильцов, стараясь по выступлениям устаиовнть, кто нз актнвнстов дома поэнергичнее, за кого стонт голосовать в члены новой комнссии. Многие резко критиковалн комиссню и ее председателя, н Антоиина Сергеевна огорчилась: коиечио, Жарова — болтушка н плохой организатор, но ведь у нее муж н четверо детей, н все-такн она старалась, за что же обнжать ее?

Аитоииа Сергеевна уже надеялась, что прення кончаются, когда председатель собрания с некоторой торжествеиностью объявил, что слово предоставляется депутату горсовета товарнщу Белковской.

Ксана Белковская! Ннкогда не говорнлн мать и сын об этой девушке, одиажды заглянувшей к нему на часок, иикогда не упомииал Николай ее имени, ио с того воскресеиья мать все время помнила о ней. И поннмала, почему газетная вырезка с групповой фотографией, где в центре сидит комсорг цеха Белковская, вот уже год хранится у сына в ящике пнсьмеииого стола.

С нспугом н любопытством смотрела Антониuа Сергеевиа, как нз середииы маленького зала подиялась девушка в скромиом, темном костюме, с темными косамн, уложенными вокруг головы. Средн пожилых жеищин, окружавшнх ее, Ксаиа показалась гораздо моложе, чем в то воскресеиье,— почтн девочка. Но девочка держалась увереиио, вышла вперед твердой, деловой походкой, остановнлась у стола презндиума в свободной позе человека, прнвыкшего выступать иа людях, н заговорила смело н даже, пожалуй, резко.

Антоннна Сергеевна сама не могла бы объяснить, почему она испугалась, пояяв, что будет говорить Ксана, но ей было страшно, что девушка ие так скажет, не так поведет себя, и в то же время хотелось, чтобы девушка оказалась не так хороша и умна, как это кажется сыну.

Начало ее речи еще больше испугало и уязвило Антонину Сергеевну,— сколько высокомерия в этой девочке! Ксана была недовольна тем, как благоустраивается домохозяйство, она осудила комиссию содействия за нерасторопность и попустительство во время ремонта.

— Я сегодня облазила все ваши крыши и обошла все лестницы,— сказала Ксана и начала подробно перечислять крупные и мелкие недочеты ремонта.

Антонине Сергеевне, да и всем присутствующим, понравилось, что девушка все осмотрела сама, но разве нельзя было говорить то же самое помягче?.. Ох, нет, не та это девушка, что нужна Николаю, не та! И ничего у них не выйдет, где уж...

Но как раз тогда, когда Антонина Сергеевна утвердилась в своем мнении, что девушка не та, Ксана покончила с критикой и доверчиво улыбнулась.

— Ведь жалко, товарищи! — с искренним огорчением сказала она.— Дом хороший, большой, живут в нем рабочие, они на производстве чудеса творят. Как же можно не сделать все-все возможное для того, чтобы жилось им лучше? Ведь вот сейчас, летом, человек приходит с работы, пообедает и сидит дома. А разве плохо было бы выйти во двор, где плещется фонтан, окруженный цветами? Сесть на скамеечку под деревьями, под кустами сирени или черемухи? Побеседовать с друзьями за садовым столиком, поиграть в шашки или в «козла»?

Она говорила с воодушевлением, и ей кивали в ответ, улыбались, кричали «правильно!». И скучное собрание перестало быть скучным, даже на унылом лице управдома стыдливо проблескивала мечтательность.

— А ребятишки? — продолжала Ксана.— Говорят, они весь день орут под окнами и выбивают стекла мячами. Да разве трудно расчистить для них площадку, поставить качели, турники, для маленьких устроить загородки с песком? Все это легко сделать, была бы охота, было бы старание. Денег нет? Неверно. Большие деньги отпускаются на благоустройство, на озеленение, на детские площадки. А многое и средств не потребует, самим сделать можно, своими силами. Надо только приложить руки. Ваш дом можно сделать лучшим домом в городе.

Она оглядела собравшихся и почти с мольбой закончила:

— Давайте и сделаем его самым лучшим. Правда, давайте!

Ей горячо хлопали, а она присела на кончик скамьи возле стола и застенчиво улыбалась, и не было в ней никакого высокомерия, но угадывался настойчивый характер и убежденность в том, что работать надо только отлично и что требовать отличной работы надо ото всех.

Антонина Сергеевна следила за каждым движением девушки и волновалась оттого, что начались выборы,— теперь ей хотелось быть избранной. Если бы не стыд, она сама вызвалась бы поработать в комиссии, приложить руки к благоустройству,— она так

ясно представила себе и фонтан, и детскую площадку, и стариков, отдыхающих вечерком под кустами сирени. Но ее не выбрали, и Антонина Сергеевна уже направилась к выходу, утешая себя тем, что в комиссии не оберешься хлопот и неприятностей, когда снова поднялась Ксана Белковская.

Ксана сообщила, что осенью предполагается провести очень большие посадки деревьев и кустов, так что работы будет много, и уже сейчас можно разбить во дворе клумбы, поставить скамейки, вместе с молодежью и ребятишками начать расчистку площадки на пустыре. Ксана считала, что не стоит все дела наваливать на комиссию, и просила выбрать особую группу актива по озеленению.

Антонина Сергеевна задержалась у двери. Ксана заметила ее милое, удивительно знакомое лицо и прочла в нем желание принять участие в новом деле. Она наклонилась и шепотом переговорила с председателем. Председатель одною из первых назвал фамилию Пакулиной.

Ксана покраснела, виновато улыбнулась и издали поклонилась Антонине Сергеевне.

Антонина Сергеевна приветливо, но сдержанно ответила на поклон.

Они бы так и ограничились этим, если бы Ксана, поднимаясь со скамьи, не вскрикнула с явной досадой оттого, что зацепилась чулком о гвоздь.

Управдом сконфуженно ругал какого-то Абросимова, который «некачественно ремонтировал» скамьи, и обещал завтра же пробрать его «с перцем». Ксане от этого не было легче. Чулки были тонкие, дорогие, и девушке, видимо, было очень жаль их.

Антонина Сергеевна подошла и осмотрела повреждение — дырочка была небольшая, но от нее уже потянулась вниз белая дорожка.

— Пойдемте ко мне, Ксаночка,— сказала Антонина Сергеевна.— Заштопаем так, что и видно не будет.

Ксана смутилась:

— Что вы! Зачем же я буду затруднять вас?

Она уже справилась с досадой, послюнила палец и приложила его к концу белой дорожки.

— Если послюнить, петля дальше не побежит. До дому дойду, ничего!

— Чулки уж очень хорошие, жалко,— посочувствовала Антонина Сергеевна и решительно взяла девушку за руку.— Пошли, пошли. И никого вы не стесните, мальчики на выпускном вечере, я одна дома.

Ксана сразу перестала сопротивляться. Шла она осторожно, видимо боясь, что петля все-таки «побежит». Они молча поднялись по лестнице и вошли в квартиру.

— Как у вас хорошо! — сказала Ксана, когда они уселись

около настольной лампы, ярко озарявшей стол и погружавшей уютную, чисто прнбраииую комнату в мягкий полумрак.

— Давайте чулок,— потребовала Аитонина Сергеевна н надела пеисие.

— Ой нет, я сама!

— Нет уж, не спорьте. Со мною и сыновья не спорят, а гостье и подавно не полагается.

Ксаиа покорно сияла чулок.

— Какие у вас ножки маленькие. А когда вы идете, кажется, что ноги у вас сильные н крепкие.

— А они и есть сильиые. Я спортом много занималась — легкой атлетикой, бегом, греблей.

— Почему — занимались? А сейчас?

— Сейчас тоже, но меньше. Не успеваю.

— Вот н Коля ие успевает.

За столом воцарилось молчанне. Ксана следнла за тем, как тоикая игла аккуратио затягивает дырочку шелковой паутинкой.

— Как вы хорошо штопаете. Мие бы так не суметь.

— Вы, наверно, с мамой живете?

— У меия нет мамы. Уже давио.

Аитоиина Сергеевна опустила руки с работой, сияла пенсне:

— Как же вы...

— Я в детском доме росла.

— Господи! А какая умница выросла!

Ксаиа опустила глаза. Положительно, в ней нет никакого высокомерия. И можио поручиться, что она смущена оттого, что перед иею мать Николая Пакулиия.

— Сколько вам лет, Ксаиочка? Это ничего, что я вас так называю?

— Ой, я очень рада. Мне двадцать.

— И моему Николаю столько же. Какая теперь молодежь развнтая! В двадцать лет бригадиры, депутаты,— никогда такого не было.

Ксаиа явно хотела что-то сказать нли спросить, но удержалась.

— Вы слыхали, Ксаиочка, что у Коли бригаду на три разделнли?

— Да, мне говорили. Ему, иавериое, очень грустно было?

— Так ведь что поделаешь — иадо!

— Надо-то надо, ио ведь жалко... Я бы, наверное, в отчаянии была.

— Да?

— А как же? Впрочем, ваш Коля такой...

— 'Какой?

— Выдержанный очеиь, сознательный. И с характером. Он, наверно, всегда собой владеет. Я так не умею.

Аитоиина Сергеевиа промолчала, только улыбнулась. Девушка все больше н больше нравилась ей.

— Хорошо, что вы это понимаете,— снова принимаясь за работу, заговорила она,— девушки часто судят по внешности, пленяются манерами, ловкостью, умением поухаживать и себя показать. Они думают, что если молодой человек скромный и серьезный, то на него и смотреть не стоит.

Снова воцарилось за столом молчание. Антонина Сергеевна поднимала петлю и, казалось, была всецело поглощена работой. Ксана сидела, поджав под себя голую ногу, и все порывалась что-то спросить, но не решалась.

— Коля сделал доклад в общежитии? — спросила она, хотя это был совсем не тот вопрос, который вертелся на языке.

— В общежитии? Кажется, нет. Хотя... Какой-то доклад он делал на днях. Он очень занят сейчас с этими тремя бригадами.

— Почему тремя?

— Ну как же? Он хочет, чтобы все три стали такими, какой была одна.

— Вот молодец!

— Да, он хороший... Не потому, что я мать. Я много вижу молодежи и могу сравнивать. Он действительно очень хороший.

— Я знаю,— сказала Ксана.

Они внимательно посмотрели друг другу в глаза,— каждая хотела что-то прочитать в глазах другой, что-то такое, о чем не спросишь.

Близко хлопнула дверь, раздались шаги. Ксана вся подобралась, прислушалась — нет, шаги затихли, это не сюда. Антонина Сергеевна заканчивала работу, от всей ее позы, от ее быстрых, искусных пальцев, от ее склоненной гладкой головы с проблесками седины веяло материнским теплом.

— Вы говорите — депутат,— вдруг быстро сказала Ксана.— Да, я депутат, даже, кажется, самый молодой из всех. Это, конечно, почетно и ответственно. Но вы себе не представляете, как это трудно!

— Много работы?

— Я не о том. Я о личной жизни. Разве я не такая же девушка, как все, оттого, что меня выбрали? Разве я живу какой-то другой жизнью? А некоторые почему-то думают, что я какая-то не такая, как все, и со мной не как с другими, и, скажем, пригласить меня просто потанцевать... А ведь мне тоже хочется танцевать!

Последние слова прозвучали обиженно.

— А если молодым людям кажется, что они вас недостойны? — не поднимая глаз от работы, тихо сказала Антонина Сергеевна.— Ведь вы и в самом деле не совсем обыкновенная девушка, вы умница, вы работник, вас старые люди уважают, не то что молодые. Как же перед вами не робеть? А если молодой человек еще и влюблен...

Ксана вспыхнула. Лоб, уши, даже шея ее порозовели. Она была рада, что Антонина Сергеевна не смотрит на нее.

— Но ведь не может девушка сама пригласить кого хочет? — еле слышно сказала она.

Аитонииа Сергеевна перекусила иитку и подала Ксаие чулок, лукаво усмехнулась:

— Разве девушки не умеют заговорить первыми так, чтобы получнлось, будто первым заговорил он?

У Ксаны широко распахнулись глаза. Распахнулись и просияли.

— У меня же нет ннкакого опыта,— пробормотала она.

— Но ведь есть и молодые люди, у которых его нет?

Ксана натянула чулок, всуиула ногу в туфлю и порывисто обняла Антоиину Сергеевну:

— Такое спасибо вам... такое спасибо!

— Не стоит, Ксаночка. За этакую малость! — ответила Антонина Сергеевиа, как бы совсем не поннмая, за что ее благодарят.— Я люблю штопать, и мы так славно поговорили с вами.

13

Комнатка комсомольского бюро помещалась во втором этаже пристройки и окном выходила прямо в цех, так что равномерный рокот машин, шипение, скрежет и лязг обрабатываемого металла заглушали здесь голоса, а передвигающийся под крышей кран порою отбрасывал в комнату свою скользящую тень.

Кран как бы напоминал о себе и упрекал Валю Зимину: «Я-то тружусь по-прежнему, а ты где?»

Вот уже несколько дней прошло, как Валю перевели с крана в ПДБ к Бабинкову — дежурным диспетчером. Так было удобнее вести комсомольскую работу. Воробьев шутливо сказал:

— Какая может быть связь с массами, если секретарь комсомола весь день на недосягаемой высоте?

Валя понимала, что он прав, но ей было жаль расставаться с краном, она привыкла к своей кабинке, к громоздкому и послушному гиганту, таскавшему по мановению ее руки многотонные тяжести, оиа любила панораму цеха, открывавшуюся ей с высоты. В ПДБ весь день волиовались то из-за одного, то из-за другого, непрерывио трезвонили телефоиы, и приходилось, хочешь или не хочешь, по нескольку раз в день разговаривать с начальником сборки Гаршиным.

Когда Валя впервые, зажмурив глаза, позвонила ему, чтобы проверить, поступила ли на сборку партия лопаток, Гаршин еще не зиал, что она работает в ПДБ, и с любопытством спросил:

— А кто говорит?

— Дежурный диспетчер,— строго ответила Валя.— Получили вы три набора лопаток?

— Получили, товарищ дежурный с очаровательным голосом,— сказал Гаршин.— Можно узнать ваше имя?

— Валентина Федоровна,— еще строже сказала Валя и повесила трубку.

В тот же день Гаршин узнал, кто такая Валентина Федоровна, попробовал установить мир и назвал ее Валечкой, но Валя сухо поправила:

— Меня зовут Валентина Федоровна,— и опять повесила трубку.

Два дня спустя он остановил ее в садике возле цеха, покорно и добродушно назвав ее Валентиной Федоровной.

— Я давно хотел сказать вам, Валентина Федоровна. Вы не сердитесь. Мне было очень тяжело, и я невольно обидел вас. Если бы вы знали...

— А зачем мне знать? — твердо возразила Валя, хотя сердце ее колотилось так, что, казалось, по всему садику слышно.— Что бы ни было, я рада. Это спасло меня от ошибки.

Круто повернувшись, она ушла. Со стороны можно было понять, что девушка щелкнула по носу бывшего поклонника, и только одна Валя знала, каких усилий стоило ей так поступить.

Теперь она сидела в комнатке комсомольского бюро, заново переживала свое торжество над Гаршиным, с удивлением понимала, что былого трепетного, всепрощающего чувства к нему уже нет... и смотрела на Аркадия Ступина, стараясь разобраться, что же это такое — отношения, связавшие ее с этим парнем, не похожим на других.

Аркадий, Николай Пакулин и Федя Слюсарев сидели за столом и делили бригаду. Николай заранее составил списки трех бригад. Валя видела эти списки и считала, что все учтено и предусмотрено, остается только принять и выполнить. Но Аркадий и Федя почему-то ожесточенно возражали, голоса их повышались до крика, лица краснели, так что казалось — все трое вот-вот перессорятся насмерть.

Шум, доносившийся из цеха, мешал Вале расслышать, в чем дело. До нее доходили лишь обрывки фраз:

— А я говорю — несправедливо и неправильно! — Это крикнул Федя.

— Если я бригадир, так я и хочу...— Это — Аркадий.

— Играть — так на равных! — Это — снова Аркадий.

Николай возражал рассудительно и чуть насмешливо, но в ответ опять вскрикивал Федя:

— Несогласен!

И Аркадий, презрительным движением отбрасывая списки, перекрывал шумы цеха раскатистым:

— Отказываюсь, вот и все!

Валя вспоминала робкую тень, когда-то маячившую возле Аларчина моста и подстерегавшую ее на остановках, у ворот, в Доме культуры — везде, куда бы она ни пошла. Она вспоминала вечер, когда он без спросу ворвался к ней, не только в ее комнату — в ее жизнь и душу он тогда ворвался без спросу. Она

перебирала в памяти все, что было после того вечера. И удивлялась, что вот он сидит тут, не оглядываясь на нее и, возможно, не думая о ней, и что он самый близкий ее друг, а отношения их так запутаны, что невозможно разобраться, и уж совсем невозможно предсказать — чем все кончится.

Самым странным было то, что он в точности держал слово, данное в тот вечер. Он никогда ни прямо, ни намеком не говорил о своей любви. Тогда, перед уходом, он сорвал листок календаря и спрятал его в карман, а ей сказал:

— Вот, Валя. В этот самый день через год ты мне сама скажешь, что найдешь нужным. Скажешь: нет! — и это будет конец нашему знакомству. Запомнишь число?

Она кивнула, но он оторвал следующий листок, сунул ей в руки и пошутил:

— Даю тебе скидку еще на сутки.

С тех пор он запросто приходил к ней домой, с получки приносил пирожные или конфеты, иногда цветы. Однажды он починил ей треснувшую раму.

Соседки любопытствовали:

— Жених, Валечка?

Смущаясь, она отвечала:

— Ой, сама не знаю.

Они катались на лодке и гуляли на Островах, дважды ездили за город, один раз ночевали в деревне у дальней родственницы Аркадия, причем взяли лодку и уплыли по озеру так далеко, что вернулись к трем часам ночи; хозяйка не без воркотни пустила Валю в дом, а Аркадий устроился на сеновале и потом хвастал, что там было чудесно. Аркадий читал те же книги, что читала она, а порой и сам приносил ей новую интересную книгу. Они вместе волновались перед премьерой «Русского вопроса», и оба с успехом сыграли свои роли, хотя Валя посмеивалась, что ярославский добрый молодец все-таки выглядывал из-под шкуры истинного американца, на что Аркадий отвечал, что пожившей, усталой женщины из нее тоже не получилось.

Все это было хорошо, но они часто ссорились, а за последнее время почти не бывало у них встреч без споров и раздражения. Они препирались из-за книг и из-за погоды, из-за того, кому грести и где ехать — в душном вагоне или на площадке, продуваемой сквозняком. Иногда он вздыхал, что второй такой спорщицы нет во всем свете. Правда, он тоже был не из покладистых, но после каждого спора становился задумчив и печален.

Спохватившись, она давала себе слово не раздражаться и затихала. Она не узнавала себя и жалела Аркадия. Но что было делать, если у нее все кипело внутри, если ей хотелось, чтобы он говорил как раз тогда, когда он молчал, если он брал ее под руку в то время, как ей это мешало, и забывал предложить ей руку тогда, когда нужно было. Ее злило, что в цехе он держался в стороне от нее, как посторонний, а потом злило, если он при всех

подходил к ней. Оиа скучала без иего и раздражалась в его присутствии. Ей казалось, что жизиь приговорила ее к Аркадию до того, как оиа сама его выбрала, и оиа всем существом сопротивлялась. Оиа была почти увереиа, что в изиачеиный срок скажет «иет!», и в то же время пугалась мысли, что ои уйдет.

А с иедавиих пор Аркадий сам отдалился от иее. Приходил ои реже, и, если оии расставались во вториик, ои заговаривал с иею не о завтрашием вечере, а спрашивал, ие пойдет ли оиа с иим в киио в субботу.

Присматриваясь к иему в эти все более редкие встречи, оиа открывала в ием черты характера, ие замечеииые ею прежде. Ои был упореи и очеиь иастойчив. Ои растрачивал зря свое время и силу молодецкую, пока ие иаходил им примеиеиия, ио, когда у иего появилась цель, ои шел к ней иапролом. Ои был восприимчив и умел взять от окружающих его людей все, что оии способиы дать ему,— у одного зиаиия, у другого опыт, у третьего дружескую поддержку. Должио быть, ои был беззаветеи в дружбе так же, как в любви, ио вряд ли был добр и чуток и к товарищу и к жеищиие, если потерял к иим иитерес, если оии ему уже ие нужиы.

Вот и сейчас — ои спорил с Николаем, и Николая это явио задевало. И Федя Слюсарев спорил, распаляясь все больше. Оба, видимо, уже забыли, сколько возился с иими Пакулии!

Валя подошла к раскричавшимся бригадирам:

— Вы что, ребята, добро поделить ие можете?

— Погоди, Валя, и так у каждого свое миеиие, ие хватает еще четвертого,— с досадой сказал Николай.

— А по-моему, в любом случае голос Пакулииа — решающий,— сурово сказала Валя.— Он вам бригадир, ему и решать. В чем у вас замиика?

— А мие благодеяиий ие иужио! — воскликиул Аркадий.— Сам справлюсь!

Оказалось, что обоих иовых бригадиров задело «самопожертвоваиие» Николая: в бригады товарищей ои иаметил перевести своих иаиболее опытных рабочих, а из иовичков всех худших, в том числе и Кешку Степаиова, забрал к себе. Николай считал такое решеиие справедливым, потому что у иего больше опыта. Ои ие мог поиять, почему Кешку, еще вчера пугавшего всех, сегодия хотят заполучить к себе и Федя и Аркадий. Валя тоже ие поиимала этого.

— Пойдет ои все-таки ко мие,— заявил Аркадий и даже кулаком пристукиул.— Ты помиишь историю с кражей? У меия ои набезобразиичал, я с иим тогда ие справился. А теперь справлюсь. Тут, Коля, дело чести, ие спорь.

— А Витьку тебе зачем? — мрачио спросил Николай.— Витька — мой брат. Если я его себе оставляю, так потому, что и присмотрю, и одиа смеиа, да и квалификации у иего меиьше, чем у Гаврилова.

— Вот и бери Гаврнлова, он у тебя опорой будет.
Федя поддержал Аркадия:
— Ты, Коля, в святые не лезь. Что, в самом-то деле? Нам по четыре человека из пакулиицев, себе — троих. Нам — лучших, себе — похуже. Ты нас не жалей, мы не бедненькие.
Аркадий встал, расправил широкие плечи, задорно посмотрел в лицо Николаю:
— Если уж разбили нашу бригаду, дали каждому самостоятельность, сказали: действуйте! — так будем соревноваться честно, без скидок!
— Разбили бригаду, а не дружбу,— возразил Николай. И тихо, с горечью спросил: — А может, и дружбу?
Аркадий шагнул к нему и стиснул его плечо:
— А дружба сейчас в том, чтобы не мешать друг другу. И никто ее у нас не разобьет, Коля.
— Убери лапищу-то,— высвобождая плечо, любовно сказал Николай.— Вот самостоятельные выросли, помехи боятся! Ладно, ребята, давайте решать, и будем соревноваться. Держитесь!
И уже покорно придвинул к себе списки:
— Значит, Кешку к Ступину, Гаврилова — ко мне. А Витьку ты обязательно хочешь?
Аркадий, поколебавшись, виновато сообщил:
— Витька сам просится ко мне.
— Вот что!
Николай поднялся с места:
— Ну-ка, ребята, составьте списки без меня, как вам хочется, а потом втроем утвердим. Не сидеть же тут до ночи!
Он прошелся по комнатке, выглянул в цех. Под самым окном стояли железнодорожные платформы, и кран опускал на одну из них обитый стропами громадный красный ящик. Старший из стропалей, дядя Вася, стоял на второй платформе и движениями пальцев давал выразительные указания крановщице. Ящик грузно лег на место. Стропали мигом окружили его, снимая стропы, а маляр с ведерком краски и кистью уже спешил намалевать на ящике адрес.
Кран качнул огромным крюком и пополз обратно — за следующим ящиком.
Вторая турбина отправлялась в дальний путь.
«Ребята еще и не понимают, как им будет трудно,— тревожно и насмешливо думал Николай.— Ведь на организацию срока не будет, надо сразу давать план, досрочно — по третьей, досрочно — по четвертой, а там новое задание — какое оно будет? Какое бы ни было, легкого ждать нечего. А ребятам лишь бы самостоятельней да форсу побольше. Вот и Витька убегает от меня к Аркадию — независимости ищет, надоело под братом в мальчишках ходить. Или я и вправду слишком опекал их? Нет, что за чепуха! Просто самолюбие у них... Что ж, дружки вы мои неверные, если так, держитесь, я вам не уступлю!»

Федя и Аркадий по-прежнему спорили и договаривались, договаривались и вновь начинали спорить у него за спиной.

Маленький, худощавый, вечно озабоченный Федя Слюсарев дольше всех не хотел примириться с делением бригады. Но как только Николаю удалось доказать ему правильность такого деления, Федя всеми помыслами устремился в будущее, к успехам своей бригады, и ревниво следил за каждым шагом Николая и Аркадия. Он томился страхом, что у него не хватит организаторских и педагогических способностей, потому что прекрасно понимал, какая трудная работа ему предстоит.

Аркадий не томился и не волновался. С той минуты, когда он впервые услыхал о приказе Полозова, его охватило радостное нетерпение. Рамки пакулинской бригады были для него тесны: напористая сила бурлила в нем и требовала применения. Еще не начав работать, он уже твердо верил в успех и с нетерпением ждал понедельника, когда впервые соберет бригаду и острым словцом, дружеской шуткой и командирским внушением вобьет в мозги всех этих пареньков, что ступинцы должны прославиться не меньше, чем славились пакулинцы, и что из трех новых бригад именно ступинская должна победить.

Валя снова подошла к новым бригадирам, глазами показала на задумавшегося у окна Николая, шепнула:

— Нехорошо, ребята.

Аркадий взял ее за локти и силой усадил.

— Нет, хорошо,— вполголоса сказал он.— Николай привык с нами как с младенцами. А мы взрослые.

Она улыбнулась, и Аркадий на миг забыл и о бригаде, и о Николае, и обо всех своих планах. Ему было очень трудно разжать пальцы.

Федя встал и отошел к Николаю — может быть, потому, что на него подействовал Валин упрек, а может быть, понял, что здесь он лишний.

Валя испуганно приоткрыла рот и пошевелила локтями, стараясь освободиться.

— Аркаша...— пролепетала она.

Аркадий опомнился, выпустил ее локти и отвернулся.

— Я к тебе зайду в субботу вечером,— сказал он.

Что-то сообразил, вздохнул, поправился:

— Нет, в воскресенье утром. Хорошо?

И окликнул товарищей:

— Ребята, давайте ставить точку, надоело!

Валя отошла, все еще взволнованная. Она думала: «Почему он переложил встречу с субботы на воскресенье? Чем он занят до воскресенья? Почему это так: он любит меня и зависит от одного моего слова, а все-таки я чувствую, что он сильнее меня?»

Три друга уже без споров закончили деление бригады. Федя предложил:

— Пойдемте, ребята, ради такого случая выпьем по рюмочке. По расстанной. Посидим, поболтаем...

— Нет,— твердо сказал Аркадий.— Мне пора.

Он боялся пить — не по его характеру было ограничиться одной рюмкой, за одной потянется и вторая, и третья, а там уже и море по колено — гуляй до утра.

— Ты куда? — спросил Николай.

— Так, дело есть,— уклончиво ответил Аркадий.

Лучшему другу не признался бы он, что вот уже месяц сидит допоздна над учебниками, сидит как проклятый, воюя с премудростями грамматики и физики, бубня под нос теоремы и сатанея от алгебраических задач. Лучшему другу не мог он признаться, что кончил он всего шесть классов, а в техникуме сказал — семилетку, только утерял свидетельство, и директор предложил ему прийти экзаменоваться, на что он беспечно согласился. Как он рыскал по магазинам, раздобывая учебники, как он отчаивался в первые дни занятий, убедившись, что и программу шестого класса забыл начисто, а в учебниках седьмого класса для него что ни страница — то китайская грамота! Благоразумие нашептывало: «Откажись, пойди в вечернюю школу в седьмой класс, тебе же не осилить всю эту дребедень за два месяца!» Он гневно отбросил и благоразумие и лень. Вот еще! Не станет он терять год, не будет он сидеть в седьмом классе рядом со всякой мелкотой. Некогда ему терять годы, и так — верзила двадцати четырех лет! Когда же он попадет в вуз? Когда станет инженером? Нет, не на такого напали! Он выдолбит все теоремы, формулы и правила за два месяца или сам себе скажет, что он тряпка и болван!

Иногда он пугался — а вдруг Валя тем временем отвыкнет от него, заведет себе новых друзей? Он подавлял сомнения. Если она не полюбит, тут уж ничего не сделаешь, а если ей суждено полюбить его, пусть поймет, что он мужчина, а не слюнтяй.

Иногда, глядя на нее, он хотел признаться ей, какую тяжесть на себя взвалил, и сказать: «Это все ради тебя, Валя!» Но он молчал. Вот еще, искать сочувствия! Да и все ли — ради нее? Когда-то любовь к ней действительно подтолкнула его на новый жизненный курс, но если... если настанет тот черный день и Валя скажет: «Нет, Аркаша, не полюбила»,— что же, разве курс его жизни изменится?

Думая иногда о том, что черный день может настать, он заранее сжимал кулаки и рисовал себе, что он будет делать. Ох, и пойдет же дым столбом! Все, что день за днем откладывается на случай Валиного «да!» — все покатится колесом в одну кассу, сутки — так сутки, трое суток — так трое, пей-гуляй и ни о чем не вспоминай!

Но в эти отчаянные мысли теперь вплетались трезвые напоминания: а как же бригада? Что же, я ее кину и пойду завивать горе веревочкой? Э-эх, попал ты, Аркаша, в клещи! Отгулял, довольно.

В то время, когда три бригадира совещались в комнатке комсомольского бюро, внизу возле платформ с тяжелыми ящиками, укрывшими части второй турбины, встретились Виктор Пакулин и Кешка.

Виктор ждал брата. Он некоторое время постоял у двери и послушал спор о составе бригад. Подслушивать было стыдно и неудобно, по коридору ходили люди, и Виктор спустился в цех поглазеть на отправку турбины.

Кешка слонялся по цеху потому, что знал о совещании бригадиров и тревожился — в какую бригаду его определят. Приказ Полозова пробудил в нем честолюбивые мечты. Он видел себя солидным, квалифицированным токарем, членом знаменитой бригады: вот он идет по аллее в компании своих товарищей, начисто отмытый под душем, в синем с искрой костюме, и люди пялят на него глаза — на важного, высокого, красивого. Иным он себя и не представлял — высоким и красивым, хотя был он пока малорослым пареньком в засаленной куртке, который, что бы ни делал, умудрялся немедленно выпачкать нос и щеки. Увидав Пакулина-младшего, Кешка сделал вид, что разглядывает работу маляра, размашисто писавшего адрес на ящике, медленно приблизился к Виктору и остановился рядом.

Виктор покосился на него, помолчал и равнодушно сообщил:

— Там из-за тебя сыр-бор загорелся.

Кешка тоже помолчал и с мрачной улыбкой спросил:

— Ни один не берет?

— Наоборот,— ответил Виктор. И, выждав для интереса, пояснил: — Ни один не отдает другим.

Кешка презрительно скривился:

— Чем же это я им так понравился?

Он был взволнован и всеми силами старался скрыть это.

Виктор не торопился отвечать. Он зевнул, поднял с полу виток металлической стружки, переломил его и острым краем отрезал нитку, болтавшуюся на месте оборванной пуговицы.

— А кто их разберет,— наконец сказал он.— Ефим Кузьмич, наверно, хвалил тебя. Считают, наверно, что ты посамостоятельнее других. Ты на четвертый разряд сдал?

— Давно,— небрежно ответил Кешка, хотя сдавал он на прошлой неделе.

— Норму выполняешь?

— За ту неделю сто три процента как будто или сто четыре. Не помню.

Виктор прекрасно знал, как обстоят дела у Кешки, но нарочно дал ему пофорсить, потому что у него было свое мнение о воспитательных приемах, и он был уверен, что сумеет воздействовать на Кешку куда лучше, чем Николай или Федя.

— Каждому бригадиру хочется к себе взять такого, чтобы толк получился,— сказал он.

Кешка спросил как бы между прочим:

— А ты куда?
— К Аркадию, иаверио.
— У брата ие остаешься?
— Чего ж иам друг другу мешать!
Кешка тихоиько вздохиул. Ему хотелось попасть в одиу бригаду с Виктором; теперь ои видел, что Витька — пареиь как пареиь, совсем ие задавака. Но разве возьмет его Аркадий?
— Ты в комсомол вступил? — спросил Виктор, и вид у иего был такой, будто ои и ие слыхал иикогда о миогочислеииых провииностях Кешки.
После долгого и тяжелого молчаиия Кешка сказал:
— Вот поработаю в бригаде, тогда...
Виктор одобрительио кивиул и, считая воспитательиую часть разговора иа сегодия исчерпаииой, заговорил о велосипедах. Ему очеиь хотелось завести гоиочиый велосипед, для чего ои решил продать свой старый.
— Если купить иа рыике раму и колеса, такой велосипед отгрохать можио, ие хуже покупиого. И обойдется от силы в триста рублей. Кое-что я и сам выточу. А уж пригиать да иаладить — это я умею.
Оии оба ие заметили, как подошел Аркадий Ступии. Аркадий обиял их сзади за плечи и стукиул головами друг о друга.
— Ну, хлопцы, держитесь! — весело сказал ои.— С поиедельиика оба ко мие, а тогда — будьте здоровы! — пощады ие ждите. Через три месяца — общецеховое первеиство, иа меиьшее ие согласеи!

14

В этот деиь Гаршии пришел иа завод в своем лучшем костюме, а в зале совещаний при дирекции появился одиим из первых, еще до того, как иачали съезжаться приглашеииые.
Любимов был уже там — сидел в стороике, просматривая материалы к докладу. Гаршии подошел, поздоровался.
— Привет, Виктор Павлович! — с широкой улыбкой сказал Любимов.
Оии ие ссорились, ио в последиее время между иими уже не было прежией дружбы, и иарочитая вежливость прикрывала явиое охлаждеиие. Началось с той проклятой подписи,— Гаршии и сам ие мог поиять теперь, зачем иелегкая дериула его примазываться к чужому проекту! Щепетильиость Любимова была покороблеиа, ои иесколько дией и в глаза ие смотрел. Потом, кажется, забыл. А тут подвериулась история с ротором. Гаршии с усмешкой отметил про себя, что, когда дело дошло до собствеииых иитересов, Любимов откииул щепетильиость, даже поблагодарил за спасительиую выдумку. Но, вериый себе, сказал: «Так вы действуйте!» — и укрылся в кабииете: «Я ие я, и лошадь ие моя!» Если бы ему ие позвоиили, что красиозиамеицы уже

направились в цех, Любимов и дальше предоставил бы Гаршину выкручиваться самому. Впрочем, что толку было в его приходе! Сдрейфил перед Полозовым — и снова в кусты. Удрал из цеха, как мальчишка из чужого сада. А Гаршина оставил иа расправу. И вышло, что именно Гаршину пришлось выслушивать при всех насмешливый вопрос Диденко: «Это что же у вас получается — совесть под подошву, стыд под каблук? Вам бы фокусииком выступать!»

Диденко говорил громко, его слова сразу облетели весь цех, и это было хуже выговора. Кто-кто, а Гаршии знал убийствеиную силу острого слова.

С тех пор Гаршин и Любимов не разговаривали, только подчеркнуто вежливо здоровались при встречах. Одиако сегодня Гаршину было необходимо переговорить с Любимовым, и он спроснл, преодолевая неловкость:

— Кто намечается от завода в проектную группу, не слыхали?

— Дмитрий Иванович пошел согласовать с директором,— вполголоса ответил Любимов,— я со своей стороны предложил и вас и Полозова.

Гаршин поморщился. Что значит — «и вас и Полозова»? Какннкак он однн из авторов докладной записки, ставить его на одну доску с Полозовым просто нелепо. Может быть, Любимов хочет оттереть его от участия в проектировании?

Но в это время Любимов еще тише сказал:

— Вы, по-моему, наверняка попадете... Хотя Диденко, кажется, возражал.

— А доводы какие?

— Считает, что вы и Полозов слишком заияты на производстве.

Любимов снова погрузился в свои материалы, а Гаршии пошел поближе к двери, чтоб встречать приходящих и перекинуться словом со всеми, с кем нужно.

Зал совещаний быстро заполиялся. Прибыли представители проектной организации. Группами приходили цеховые иижеиеры н стахановцы. Ждали профессоров Карелина и Савина.

Появился Диденко — сияющий, еще более подвижной, чем обычно. Гаршину было неловко подойти к нему, но он крутился поблизости и слышал, как парторг сказал проектировщикам:

— Не знаю, как для вас, а для завода сегодня — большой день, очень большой!

Несколько дней назад Немирова, Диденко и Котельникова срочно вызвали в Москву. Вернулись они возбужденными и несколько ошеломленными грандиозностью иовых задач. В текущем году заводу поручалось изготовить еще две турбииы типа краснознамеиских.

Правительство значительно расширило программу выпуска турбин на будущий год, а конструкторскому бюро поручило проектирование новых мощных турбин сверхвысокого давления, тех

самых, о которых давно мечтал Котельников. Были отпущены средства на модернизацию и расширение турбинного цеха и обслуживающих его цехов.

По заводу передавались подробности разговоров, происходивших в Москве. Министр якобы сказал Немирову, посмеиваясь:

— Видите, как мы на вас навалились! И главное, сами вы в этом виноваты. Я, грешным делом, боялся, что вы Красноземенку подведете, а потом смотрю — и Красноземенку не подводят, да еще на готовой турбине по своей охоте регулятор меняют. Значит, сильны! Значит, можно вам дать задачу и покрупнее.

Повторяли и другие слова министра:

— Завод начинает третью реконструкцию. В первые пятилетки он изменился до неузнаваемости, по существу — только название да славные традиции остались неизменными. После войны вы тоже не просто восстановили завод, а возродились на новой технической основе. Теперь перестройка должна быть шире, смелее и новее, чем когда бы то ни было. Завод вступит в коммунизм таким, каким вы его в ближайшие год, два, три перконструируете. Поэтому придайте делу настоящий размах, привлеките новаторскую мысль, не бойтесь помечтать — откинуть лишнее всегда можно, а проект должен быть вдохновенным.

— Так он и сказал — вдохновенным? — переспрашивали люди. И, вернувшись к повседневной работе, еще долго раздумывали над услышанным.

Нынешний «большой день» был днем встречи заводских руководителей, инженеров и передовых рабочих с работниками организации, которой поручено составление проекта реконструкции производства. Докладная записка Любимова и Гаршина об основах реконструкции была перепечатана и разложена по столам для ознакомления. Записка и вступительный доклад Любимова должны были послужить основой для широкого обсуждения всех проблем предстоящей работы.

Гаршин возлагал на это совещание большие надежды. Последнее время его преследовали неудачи, одна неприятность следовала за другою, его положение на заводе заколебалось. Он говорил себе: надо выпутаться изо всей этой ерунды, решительным рывком выпутаться во что бы то ни стало!

Сперва он ухватился за Воловика. Договор о содружестве с изобретателем, выдвинутым на Государственную премию... Газетные статьи. Фотографы. Киносъемки. В каждом докладе упоминание рядом двух фамилий — Воловик и Гаршин... Все уже пошло на лад, Воловик как будто согласился — и вдруг:

— Вы не обижайтесь, Виктор Павлович. Я не против, но, мне кажется, тут нашего с вами сотрудничества мало. Вы ведь больше практик. А мне бы хотелось связаться с учеными, работающими в этой области. Может, создадим бригаду — конечно, с вашим участием.

Гаршин старался понять, что произошло. Слава богу, он не

дурак, чтобы принять все за чистую монету. Отговорили Воловика? Переманили? Может ли быть, что профессор Карелин тоже отговаривал? Он, называющий Гаршина своим другом! Впрочем, как бы там ни было, а коптеть вместе с целой компанией в бригаде — тощища, да и много ли в итоге будет толку?

А тут подоспела новость об ускорении реконструкции цеха. Снова заговорили о записке Любимова—Гаршина. Для разработки проекта завод выделяет нескольких своих инженеров. Попасть в эту группу... заговорить во весь голос с конструкторами, с учеными консультантами, закинуть словечко о переходе в институт, взять тему для диссертации... Момент подходящий. Сегодня будет профессор Савин, Михаил Петрович обещал познакомить их... а предстоящая реконструкция должна обеспечить внимательное отношение ученых к инженеру-практику, пожелавшему разработать такую тему в виде диссертации...

Увидав Карелина, входящего вместе с высоким, сухощавым человеком средних лет, Гаршин устремился к ним навстречу.

— Анатолий Сергеевич, вот это мой молодой друг — инженер Гаршин, о котором я вам говорил.

— Очень приятно. Савин.

Савин оказался человеком той породы, что сразу сбивала Гаршина с толку. Сдержанный до сухости, очень серьезный, до жути немногословный... как подойти к такому, о чем говорить? Ни пошутить, ни посмеяться, ни поболтать на посторонние темы для первого знакомства.

Впрочем, Савин, видимо, знал, что принадлежит к числу нелегких собеседников, и старался быть любезным. Рекомендуя Гаршина, Михаил Петрович шутливо пожаловался:

— Вот, учил-учил, а он переметнулся к технологам.

— Жизнь подтолкнула, Михаил Петрович,— сказал Гаршин и многозначительно улыбнулся Савину — мол, мы-то с вами понимаем, что сейчас технология — царица производства и заниматься нужно именно ею.

— Итак, ваши намерения? — спросил Савин.

Он держал в руке свернутый в трубку экземпляр докладной записки, и это придало Гаршину уверенности. Похлопав пальцами по бумажной трубке, он объяснил, что много поработал над планом реконструкции турбинного производства, увлекся возникающими тут технологическими проблемами и хотел бы посвятить свои силы... Конечно, кое-кому может показаться, что такая тема диссертации слишком обща и практична, но жизнь показывает, что именно эти проблемы нуждаются в научной разработке, что они-то и являются самыми актуальными и важными.

Он начал путаться в словах, не получая отклика, но в это время Савин сказал:

— Совершенно с вами согласен. Организация производства является предметом научного творчества и заключает в себе

много интересных вопросов для работы исследователя. Но об этом мы поговорим после совещания.

Он слегка поклонился и направился к своему месту. Гаршин с удовольствием видел, как он углубился в чтение докладной записки, что-то подчеркнул карандашом, в другом месте что-то написал сбоку.

Из всех присутствующих Гаршина больше всего пугали представители проектной организации,— конечно, они попытаются умалить значение плана, предложенного заводскими практиками, и доказать, что только они одни понимают, как надо реконструировать производство!

Гаршин видел, что и Любимов боится их. Начав свое сообщение, Георгий Семенович непрерывно отвешивал поклоны в их сторону и с самым скромным видом называл докладную записку не иначе, как «предварительные наметки», «некоторые первоначальные соображения», «этот беглый эскиз, я бы назвал — первый черновик» и так далее, одно определение деликатнее другого. Гаршин жалел, что третьего дня, узнав о предстоящем обсуждении, не потребовал себе слова как один из авторов,— надо бы выступить сразу после этого деликатнейшего простофили и взять более уверенный тон!

Однако, вопреки ожиданиям Гаршина, проектировщики очень почтительно отзывались о докладной записке, находили в ней интересные мысли, которые могут лечь в основу... послужить отправной точкой... оказать неоценимую помощь... Они просили присутствующих тут инженеров и стахановцев подвергнуть план детальному и придирчивому разбору, чтобы требования и пожелания производственников выявились наиболее полно.

И план был разобран и раскритикован так, что Гаршину временами казалось — ничего-то от него не останется, одни рожки да ножки. Теперь он радовался, что не выскочил вперед, не потребовал слова, пусть Любимов отдувается сам! Потом он разозлился до того, что еле удержался от ядовитых реплик: его «тишайший» преемник Шикин неожиданно выступил с большой, хорошо подготовленной речью, в которой сопоставил план Любимова—Гаршина с достижениями рационализаторской мысли и доказал, что предложения цеховых рационализаторов и изобретателей во многом обогнали творческую мысль авторов плана. Шикин говорил скромно, каждое слово подтверждал конкретными ссылками, возразить ему по существу было нечего. Тогда Гаршин разозлился на самого себя — ведь еще на перевыборном собрании Воробьев говорил, что план во многом устарел! Э-эх, надо было прислушаться, покопаться в рационализаторских предложениях и сегодня, взяв слово первым, самому дополнить план, ссылаясь на те же материалы, но используя их куда ярче и острее, чем эта тихоня Шикин! Козырнуть ими можно было!

В конце совещания выступил профессор Савин. У Гаршина заколотилось сердце, когда Савин расправил свернутый в трубку

план. Но профессор не останавлнвался на недостатках плана, а только отметнл, что он является «первой робкой попыткой модернизировать производство турбин». Одобрив эту попытку, Савин заговорнл о иовейших достижениях технологии машиностроеиня, которые должны быть полностью учтены проектировщикамн. Речь его была суха, но слушалн ее увлечеиио. Гаршин тоже слушал, с досадой прнзиаваясь, что ие следил за иовинками техники, многое знает только понаслышке, а кое-что слышит впервые. Уловил это Савин по докладной записке нлн нет? Подойти к нему после совещаиия илн лучше ие подходить?..

Подводя итогн обсуждению, директор сообщил, что для участия в разработке проекта реконструкции выделяется группа инженеров завода. Главный инженер... главный технолог... два инженера нз технологического отдела... Любимов...

— Гаршниа мы ие трогаем, так же как и Полозова,— пояснил он,— им турбины выпускать, своих забот хватает. Но к обсуждению проекта на всех стадиях мы их, конечно, привлечем. Так же, как и других товарищей.

Вот и все.

Теперь оставалась одна, последняя зацепка — Савин. Заручиться его поддержкой и консультацией... попасть в заочную аспирантуру...

После совещания Гаршин снова подошел к Михаилу Петровичу н Савину.

— Да, значнт, вы хотелн...— начал Савин, морщась от старания вспомнить, чего именно хотел стоящий перед ним инженер.

Гаршин не помог ему. Он боялся повторнть свои доводы, они уже не казались ему убедительными.

— Вспомнил. Проблемы органнзацин производства, верно?

Гаршин кивнул. Михаил Петрович стоял рядом с ними, прислушиваясь, но не вступая в разговор.

— Видите ли, товарищ Гаршин,— нехотя начал Савин, видно недовольный тем, что ему прнходится в первый же день появления на заводе вести ие очень приятный разговор с одним из заводских работников.— Видите ли, пока ваша докладная записка ие выходит за рамки известного. Даже, как видите, не охватывает того, что уже применяется. Это, в сущности, дельная попытка некоторого обобщения имеющегося опыта в рамках исполнения своих обязанностей. Не больше.

Гаршин покраснел и насупился, ему было тошно от этого разговора, лучше бы не затевать его.

— Ваше желание взяться за серьезную научную работу можно только приветствовать,— силясь быть дружелюбным, продолжал Савин.— Но зачем вам задаваться такими необъятными целями? Возьмите локальную тему в той области, где вы как инженер чувствуете себя сильнее. Потрудитесь год, два, иссле-

дуйте ее детально, внесите в нее собственную мысль, найдите оригинальное решение. И тогда — милости просим.

Гаршин так и не открыл рта, а Савин уже протянул ему руку:

— Найдете нужным посоветоваться — я к вашим услугам.

Гаршин хотел подойти к Любимову, но Любимов беседовал с представителями проектной организации, и там же стоял Полозов, непринужденно участвуя в разговоре. Полозов, очевидно, совсем не чувствовал себя оттертым от интересного дела.

— Проводите меня до машины, Витя,— попросил Михаил Петрович.

Гаршин подчинился, хотя ему не хотелось ни провожать профессора, ни говорить с ним, ни даже смотреть на него. Надежды лопнули, содействие Михаила Петровича не помогло, да и разве это содействие? — сказал: «Мой молодой друг» — и отошел в сторонку. К черту и его, и Савина, и всю эту волынку!

— Вы на лыжах ходите? — спросил Михаил Петрович.

Вопрос был так неожидан и нелеп в середине лета, что Гаршин только покосился на профессора — в уме ли он?

— Есть такие лыжники,— не дождавшись ответа, сказал Михаил Петрович.— Пойдешь с ними куда-нибудь в лес, в горы, а они все норовят по чужому следу. Я зову — пойдемте напрямик, а они: «Что вы, Михаил Петрович, тут целина, а вон там есть хорошая лыжня...»

Они подошли к машине, Гаршин предупредительно, хотя и с затаенным бешенством, распахнул дверцу. Но профессор, придерживая дверцу рукой, невозмутимо продолжал:

— Конечно, можно и по накатанному следу побегать, оно удобнее. Но в любом деле надо для себя определить — хочешь ли ты скользить по разведанному и проложенному другими пути, или...

— Понятно,— не очень вежливо прервал Гаршин.— Мораль сей басни мне ясна.

Профессор вгляделся в его раздраженное, мрачное лицо, взял его за локоть:

— Не злитесь, Витя. Если бы я был уверен в том, что вы наберетесь мужества сказать это самому себе, я бы не стал прибегать к басням.

Он залез в машину и уже оттуда, пригнувшись к дверце, предложил Гаршину подвезти его домой.

— Спасибо. Предпочитаю на собственных ногах,— ответил Гаршин.

Он шел по проспекту, понурив голову и жуя мундштук потухшей папиросы. Осколок кирпича попался ему под ноги, он пнул его носком ботинка. Осколок, подпрыгивая, проскакал по тротуару и лег на краю. Гаршин снова пнул его со всей силой. Если бы он мог, он одним пинком отправил бы к черту на рога и себя самого,

и Михаила Петровича с его лыжией, и Савиииа с его локальиой темой.

Что-то иадо делать с собой. Чего от иего хотят? Чтобы ои стал работягой и скромником? Просиживал брюки? Жил одними турбииами, как Полозов?.. Да иет, не одними турбинами живет Полозов, и Михаил Петрович прожил жизнь, наверио, так, что дай бог! Тьфу, до чего мутио иа душе!

Ои выпил водки у киоска, потом у другого выпил пива. Хотелось пойти куда-иибудь, к кому-нибудь, кто ждет, кто любит, кто может выслушать и посочувствовать. Но к кому? Выпить — сотни приятелей найдутся. Стоит мигнуть — мало ли женщин ринется иавстречу? А вот сейчас — к кому пойдешь?..

Один человек мог стать для иего всем — домом, совестью, отрадой. Потерял. И к этому не надо даже притрагиваться мыслью. Отрезаио. «Мие было очеиь горько когда-то, но потом я поняла истинную цеииость всего, и человек, которого я полюбила...», «Чем больше и щедрее человек отдает, тем он становится богаче. А кто печется только о себе, кажется мне бедняком. Вы поимаете ли, что можно думать о ком-нибудь, кроме себя?», «Я вам запрещаю писать и звоиить...» От этого телефоны стали как мины, дотронешься до трубки — взорвется. Нет, об этом не иадо думать, совсем ие надо думать, прикасаться к этому нельзя. «Я вам запрещаю...»

Так что же делать? Работать помаленьку, жениться на какой-нибудь кроткой, влюблеииой девушке, которая будет лелеять и сочувствовать, жалеть и восхищаться, считая, что лучше ее мужа нет человека в мире? На Вале хотя бы. Наивная глупышка с восторжеииым, замирающим личиком. «Не Валя, а Валентина Федоровна» — ишь ты! А если прийти и сказать: люблю, выходи замуж,— обрадуется и выйдет... «Оно избавило меня от ошибки». Искреиие ли оиа тогда сказала — или для острастки, из гордости? Все-таки иехорошо с иею получилось, нехорошо!

Он выпил еще пива в киоске возле заводского жилого городка. Свернуть налево, пройти два корпуса и пустырь,— и можно постучаться в зиакомую квартиру. Любимов еще на заводе. Алла Глебовна разахается, заулыбается, выскочит в соседнюю комнату, чтобы иапудрить иос и подкрасить губы. Но на кой дьявол ему это иужно?

Или пройти мимо иее и постучаться к Ане? «Аня, мне чертовски кисло, можио мие вытряхиуть душу и вместе с вами отобрать: что там — мусор, а что — пригодится?» Она — товарищ, она скажет: «Давайте трясите».

Ну да, а завтра все узиает Полозов! Весь свет видит, куда у них идет дело; только им двоим кажется, что они здорово скрывают свои отиошеиия. Но что ж... совет да любовь! Интересно, что думает обо мие Полозов? И что ои посоветовал бы, если б поговорить с ним начистоту? Только, бог зиает почему, никогда у меня ие выходит дружеская откровеииость с мужчииами. Оттого, что

женщины отзывчивее и готовы все понять и принять? Или оттого, что я нравлюсь женщинам и поэтому перед ними не стыдно обнажать душу? А только разве я перед ними когда-нибудь обнажал душу?

Молодая женщина вышла из продовольственного магазина и пошла по улице в нескольких шагах впереди Гаршина. Он загляделся на ее ноги, когда она спускалась по ступенькам,— стройные, красивые ноги. Потом он окинул ее всю оценивающим взглядом, и ему понравилась ее гибкая спина, ее гладкая прическа, ее походка, ее простое, облегающее фигуру платье.

Он прибавил шагу, чтобы заглянуть женщине в лицо.

— Аня! — закричал он, расхохотавшись.— Вы мне здорово понравились со спины!

— Вы можете снова отстать, Виктор, чтобы не разочаровываться,— сказала Аня.

Ее лицо тоже понравилось ему,— она похорошела за последнее время.

Она прижимала к себе маленький кулек, до странности маленький.

— Держу пари, что вы купили сто грамм леденцов,— сказал он и взял ее под руку.— Можно?

— Можно,— сказала Аня, позволяя ему вести себя и чуть отстраняя локоть, как делают женщины, когда спутник им совершенно безразличен.— А пари вы проиграете. Это горох.

— Горох?

— Да. Сто грамм.

— На кой вам черт сто грамм гороху?

— Черт здесь ни при чем. На пуговицы.

— Хо-хо! «Дайте мне сто грамм гороху на платье» — так? Куда вам столько пуговиц?

— Пуговиц мне нужно двадцать, но не все горошинки хорошей формы. Их обтягивают шелком, и получаются круглые пуговки того же цвета, что и платье.

— А платье какого цвета?

Она замялась.

— Вам это очень важно? Белое шелковое. Юбка покроя клеш, верх гладкий, по фигуре. Вырез маленький. Застежка на спине. Что вы еще хотите узнать?

Было истинным отдыхом говорить с нею о пустяках.

— Если застежка на спине, Анечка, нужен подручный, чтобы застегивать эти горошины.

— Да,— твердо сказала Аня.

— Понятно.

Она свернула налево, в боковую улочку, к своему дому. Сейчас она скажет: «До свидания, Виктор»,— и уйдет обтягивать горошины белым шелком.

— Аня!

— Что?

— Мне здорово кисло сейчас, Аня. Можете вы потратить на меня немного времени?

— Могу.

Она остановилась. Видимо, соображала, как лучше поступить — звать ли его к себе или беседовать где-либо в другом месте.

— Зайдемте в парк. Заодно подышим воздухом.

Значит, сообразила, что звать к себе рискованно,— вдруг засидится.

— В парк так в парк. Давайте ваш горох, положу в карман. Карман не дырявый, если рассыплется — соберем.

Они прошли в парк и сели на одну из первых скамеек. На юру. Такую скамью может выбрать только женщина, которая торопится уйти от неинтересного спутника. Впрочем, как только он заговорил, Аня заинтересованно повернула к нему лицо.

Если бы он перед тем не выпил, он никогда не стал бы так откровенничать. Он горячо, путано и самолюбиво рассказал ей, что с ним произошло и как глупо все сложилось. Из этого путаного рассказа Аня уловила только, что он один, что надежда на покровительство Михаила Петровича не оправдалась и что Гаршин немного пьян — ровно настолько, чтобы не притворяться беспечным счастливчиком.

— Ну, что вы скажете? — спросил он, докончив свою жалобу.

— Мне кажется, Витя, что вам надо определиться.

— То есть?

— Определить, кем вы хотите быть. Если вас тянет наука — не научное звание и жалованье, а научная работа,— возьмите интересную локальную тему, как советует Савин, и работайте. И опять-таки определите, в какой области вам хочется работать. Действительно ли вас интересует именно технология? Или вам казалось, что в этой модной теме легче добиться успеха?

Не отвечая, он передернул губами и подсказал:

— А если не тянет наука?

— Тогда скажите себе, что вы будете развиваться как инженер, производственник. И сделайте выводы.

— Какие?

— А такие, Витя, что... Не сердитесь, но вы же талантливый и живой человек,— это не только мое мнение, Михаил Петрович говорит то же самое,— а работаете вы на сорок процентов, амортизации боитесь, что ли?

Он все-таки рассердился:

— Ну, знаете ли, Аня! Может быть, когда вы перейдете наконец из своего детдома на производство, вы окажетесь лучшим инженером, допускаю, но на обеих турбинах я крутился как белка в колесе, и...

— Не будем говорить обо мне. Но ваш преемник Шикин, маленький, тихий практик, работает лучше вас, потому что дает

все сто процентов, понимаете? Целиком! А вы — нет. И люди это понимают.

— Так. Ну, валяйте, выкладывайте сразу все, что вы обо мне думаете.

Она слегка улыбнулась:

— Вы и сейчас уверены, что все о вас думают и ваши переживания всем интересны и важны. И что вам должны сочувствовать. Хотя никто, кроме вас, тут не виноват, и вы достаточно умны и самостоятельны, чтобы самому выбраться на свою собственную лыжню,— если захотите.

— Значит — эгоцентрист?

— Есть немного.

— Еще что?

— Однажды я вам сказала, Витя, что вы добрый. Помните, в истории с Кешкой? И Полина Степановна считает, что вы добрый.

— А я злой?

— Нет, вы добрый, если ненароком заметите чужую беду. Только чаще не замечаете.

Помолчав, он мрачно сказал:

— Валяйте до конца. Все.

— Ох, Витя, я совсем не готовилась к подробному анализу вашей личности, и зачем вам это нужно?

Она повернула руку так, чтобы незаметно взглянуть на часы. Исповедь Гаршина была на редкость некстати. Новое платье должно быть дошито к субботе — так задумано,— а ей осталось самое канительное — обтянуть и пришить пуговицы и сделать петельки. Времени так мало, и вот уже девятый час...

Гаршин заметил ее осторожное движение.

— Вы правы, Аня,— сказал он, вставая.— Я и забыл, что платье для женщины дороже человека, разве что за исключением того единственного человека, ради которого это платье шьется и горошины обтягиваются. Пойдемте, я вас доведу и донесу ваш горох.

Она не нашла нужным возразить хотя бы из вежливости. Это было почти оскорбительно. Он не взял ее под руку, а она шла легкой походкой, всегда пленявшей его, и думала о чем-то своем. И шла до невежливости быстро. Была минута, когда Гаршину хотелось вышвырнуть вон ее нелепый горох и уйти не прощаясь.

Но как раз в эту минуту Аня придержала шаг и внимательно вгляделась в его лицо со стиснутыми от злости челюстями. До нее как-то вдруг дошло, что Гаршину сейчас действительно всерьез плохо, что ему, видимо, очень нужно поговорить с кем-нибудь по душам. И, какой бы он ни был, как бы она ни относилась к нему, отказать ему в этом нельзя.

— Мне кажется, вы сейчас на распутье, Витя,— заговорила она, не глядя на него, чтобы не смущать Гаршина и чтобы хватило

духу все высказать,— и это более серьезно, чем выбор — наука или производство. Я не знаю, задумывались вы раньше или нет. Если и задумывались, то, наверно, легко убеждали себя, что все — вздор. Так вот, не позволяйте себе поверить, что все — вздор. И эта ваша подпись, и история с ротором, и Савин... Ведь не тянет вас к науке, Витя, не тянет! И в цехе...

— Ну, знаете! — вскричал Гаршин.— Столько, сколько делаю я...

— Ну и что? — перебила Аня.— Кто вы такой в цехе? Толкач! Незаменимый в авральной работе толкач! Почему вас перевели из технологического бюро, где нужно думать, искать, внедрять новое,— на сборку? Потому что в период аврала надо было нажимать, толкать... Но это все меньше и меньше будет нужно.

Они уже подошли к ее подъезду.

Она взяла его за руку с дружеской сердечностью, и не ее была вина, если в эту минуту она показалась ему более далекой, чем когда бы то ни было:

— Поймите, Виктор... Мне очень хочется, чтобы вы поняли... Когда требуешь много от себя, от других, от жизни... ну, тогда и приходит настоящее. Говорят: жить по большому счету. Я не берусь объяснять, как это. Тут, наверно, дело в самом отношении... Помните наш разговор в кавказском кабачке? В отношении к своей работе, к любви, и к людям вообще, и к будущему — к своему же собственному будущему...

Улыбнувшись ему, она добавила:

— Вы только не внушайте себе, что все — вздор! Ладно?

— Ладно. Держите ваш горох.

— Не просыпался?

— Сейчас пошарю. Вот две горошины.

— До свидания, Витя.

— До свидания.

Он медленно пошел обратно, на проспект. Вот ведь ерунда какая... вот ерунда!.. «Не позволяйте себе поверить, что все — вздор»... Ну, а что же тогда?

Веселая гурьба девушек шла навстречу. Не обратив на него никакого внимания, прошли мимо.

Он вскинул голову, расправил плечи, приосанился. Еще не хватало — брести побитой собакой, поджав хвост!

Он пошел, стараясь держаться молодец молодцом. Но мускулы лица подводили. Чуть забудешься — они как-то опадают, вянут, немеют, словно чужие. Веки нависают над глазами, углы рта опускаются, щеки морщатся... Он сам чувствовал необычную обрюзглость своего лица, встряхивался, напрягал мускулы и снова шагал молодец молодцом навстречу взглядам прохожих.

15

Новость стала известна в цехе с утра: накануне вечером Белянкниа арестовалн. Уголовный розыск раскрыл шайку бывших кустарей, расхнщавших кожн в артели «Модельная обувь» и нз-под полы торговавших обувью из ворованной кожн. Белянкнн, прнкрываясь званием рабочего, был ее активным участннком.

Вместо Белянкнна в утреннюю смену вышел Торжуев. Коротко сказал мастеру: «Отработаю сколько нужио, чтоб цнлиндр ие задержать»,— н пошел к своей карусели, исподлобья озираясь. Когда Ерохин, работавший на соседней каруселн, попробовал заговорить с иим, Торжуев злобно огрызнулся:

— Да иди ты... без тебя тошно!

Но диевное заданне, как всегда, перевыполнил.

К концу дня Торжуев явно заволновался, зорко поглядывал вокруг, предупреднтельно поворачивался лицом к проходившнм мимо иачальннкам: не попросят лн его, Торжуева, выручить цех и отработать вторую смену.

Но к началу смены Ефнм Кузьмич подвел к торжуевской каруселн нового рабочего, нз расточников, которых в последнее время обучалн второй профессин — карусельщика. Торжуев знал, что их обучают, вндел, что Ерохнн что-то объяснял нм на своей каруселн... Но кто мог думать, что одного нз ннх решатся поставить иа самостоятельиую работу?

Молча уступив место новичку, Торжуев угрюмо спроснл, в какую смену выйтн завтра. Ефнм Кузьмнч подумал н сказал — в утреннюю. Еще подумал н добавнл:

— Ты не коснсь на людей, Семен Матвеевич. Раиьше не думал, так теперь задумайся. Без людей ие прожнвешь.

Торжуев впервые поглядел ему в лнцо и процеднл:

— Я свое дело, кажется, н так сполияю. Подсчитай, сколько сработал. А думать... чего мне думать?

И пошел в душевую.

Он редко пользовался душем, но сегодия очень не хотелось возвращаться к заплаканной жене н к детям, особенно к детям. Вчера вечером, когда уводнли Беляикиia, дома была только младшая — Ирочка. Увндав ее ошеломленное лицо, Торжуев закричал на нее: «Чего глаза таращишь? Иди спать!»

Дочка не ушла. Она смотрела на отца с немым вопросом: «Ну, а ты, отец, знал, что кожи ворованные? Ты, отец, разве мог ие знать?..»

Торжуев отвернулся н ушел к себе, лег в постель, прикрнкнув на жену, чтобы замолчала, не иадрывала душу. Однако спать он ие мог. Слушал, как прнчнтает в кухне жена, как что-то говорит прерывающнмся голосом Ирочка. Потом вернулись со студенческой вечерннкн сыновья, Юрка с порога оживленно заговорил...

и вдруг наступила напряженная, очень долгая тишина, всхлипнула мать, Василий крикнул: «Сколько раз говорили — прекратить лавочку!» И яростно хлопнул дверью... Убежал на улицу?..

Юрка зашел в комнату и требовательно позвал: «Отец! Отец!»

Торжуев притворился, что спит. Сын постоял, раздраженно вздохнул и ушел. Торжуев долго прислушивался к доносящимся из-за стены голосам детей и жены, потом заснул.

Проснулся на рассвете. Вспомнил все, что случилось вчера. С досадой припомнил, что одним из понятых был рабочий турбинного цеха, сосед по дому,— значит, на заводе сегодня же узнают. Торжуев старался представить себе, как примут новость в цехе — кто как посмотрит, кто что скажет. Жалеть Василия Степановича никто не будет. А как отнесутся теперь к нему самому, к Торжуеву?

Почему-то больше всех непрошено лез в память Ерохин, с его приветливой улыбкой и неизменным дружелюбием. Ерохин, который на днях догнал по выработке Торжуева, который уже осмелел настолько, что учит новичков особенностям обработки турбинных деталей! А давно ли он доверчиво слушал издевательски путаные объяснения Белянкина, да и самого Торжуева тоже! Хотелось отмахнуться от него — христосик! — но слово уже не выражало истинных чувств Торжуева. Какой там христосик, когда твердо гнет свое и вот-вот обгонит Торжуева, а то и вовсе вытеснит из цеха...

Лежа в постели, Торжуев с горечью признал, что прежнего положения в цехе он уже не занимает. И не займет. Что там ни говори, новички приходят грамотные, с семилеткой да со всяких курсов. То, что Торжуев постигал медленно, год за годом накапливая опыт,— им по книжкам и на занятиях становится понятно в несколько недель. От грамотности они и ухватистей — с лету улавливают что к чему. А теперь, когда старик засыпался с этими кожами да сандалетами... что им Торжуев, бывший «туз», белянкинский подпевала, зятек проворовавшегося спекулянта!.. Подозрительная личность — не замешан ли сам? Работать умеет, дает стахановскую выработку — ладно, признаём. Но и обойтись без него можно, никто не заплачет.

Эти горькие мысли и погнали Торжуева на работу в утреннюю смену. Пусть видят, что он человек сознательный, не допустит задержки в обработке срочных деталей. Может, и попросят отработать вечер? Поклонятся еще разок?

Не попросили. Не поклонились.

В душевой было много молодежи. Крутятся под струями воды, брызгаются, хохочут, перекликаются из кабины в кабину, озорничают. Веселые. А что им не быть веселыми?..

— Ну-ка, пусти, хватит тебе намываться,— буркнул Торжуев, грубо отстраняя паренька, уже давно стоявшего под душем и, видимо, не желавшего прервать удовольствие.

Паренек возмущенно оглянулся, готовый сказать резкость, но узнал Торжуева и, махнув рукой, торопливо отошел к скамье, где лежала его одежда. В этом невольном движении Торжуев прочитал: «Эх, сказал бы, да не стоит с тобою связываться...»

Став под душ, Торжуев злобно и завистливо разглядывал паренька, уже одевшегося и теперь повязывавшего перед зеркалом галстук. Пиджак висел тут же, надетый на деревянную распялку. Эта распялка особенно взволновала Торжуева. Ишь чистюли, франтики, в цех распялки приносят!.. Он признал в пареньке младшего Пакулина, Витьку. И новая, горькая мысль пронзила его: ведь без отца вырос парень, такая же безотцовщина, каким был и сам Торжуев в те давние уже годы, когда приехал на заработки в город. А вон как у парня жизнь сложилась. Так же, как мой Юрка да Василий,— куда захочет, туда и пойдет. Вздумает завтра в инженеры или доктора — что ж, и станет! Откроется в нем музыкальный талант, как у моей Ирочки,— и тут помехи не будет. Конечно, пианино он не купит, как я купил для дочки, но ведь Ирочкины подруги и напрокат получают, играют не хуже моей. А я в их возрасте и слова такого — пианистка — не слыхал... Время другое было? Да, время. Но и тогда по-разному жизнь складывалась у людей; иные мои одногодки из таких же бедняцких семей — теперь уважаемые работники. А Василий Степанович внушал: «Кто ты есть? Безотцовщина, голь перекатная! Держись за меня — в люди выведу!»

Душ не освежил, не привел мыслей в порядок. Выйдя из цеха, Торжуев привычно дошел до проходной, но тут остановился, затем побрел обратно, к цеху. У цеха опять постоял, повернул к проходной и снова не решился уйти с завода. Никогда еще он не вел себя так неуверенно, как сегодня.

Воробьев уже собирался уходить и запирал сейф с партийными документами, когда в приоткрывшуюся дверь робко шагнул Торжуев.

Воробьев подождал, не заговорит ли посетитель первым, но не дождался и суховато сказал:

— Садитесь, Семен Матвеевич.

Торжуев сел, помолчал и с трудом выговорил:

— Уж знаете, наверно?

— Знаю,— сказал Воробьев и сел напротив Торжуева.— Ну, а ты, Семен Матвеевич... ты — знал?

Торжуев испуганно дернулся, быстро ответил: нет!

Воробьев смотрел в упор, пристально и недоверчиво.

— Догадывался, конечно,— хрипло проговорил Торжуев, и жалкая усмешка появилась на его губах.— Догадывался, но не допытывался, ни к чему было. Да и скрытный он человек, разве признался бы?.. Все шито-крыто. Маклачил чего-то... так разве я над ним хозяин? С первого дня, как выписал меня из деревни, сам надо мной хозяином стоял.

Воробьев насмешливо сощурился и вскользь заметил:

— Тебе никак за сорок. Советский рабочий. С чего бы вдруг хозяина над собой держать?

Торжуев насупился, долго молчал, потом заговорил возбужденно и сбивчиво, с выражением тяжелого и непривычного раздумья на лице:

— Разве же я оправдываюсь? Не ты меня допытывать вызвал, Яков Андреич, я сам пришел... За сорок, да! Дети взрослые, комсомольцы... И у каждого тот же вопрос в глазах... Понимаю. А что делать? Может, если б начать сызнова, да с пониманием... Что я тогда понимал? Я вот сегодня Витьке Пакулину позавидовал. Тоже ведь безотцовщина! А я... Взяли бедного родича в сапожные подмастерья, в город, на хлеба — кланялся и благодарил. От фининспектора сколько прятался, в погребе пыли наглотался! Потом Белянкин на завод подался, опять меня в обучение взял — я опять кланялся. В семью взяли — опять спасибо! Кто я был? Голь перекатная...

— Ну, какая ж голь перекатная в советское время? — вставил Воробьев.— Сам не понимал, так в цехе мало ли умных товарищей? Помогли бы разобраться, если б хотел.

— Ну да, ну да,— согласился Торжуев и с тупым отчаянием уставился в стенку.— Теперь-то я разбираюсь...

Нет, видимо, и теперь разобраться было трудно. Воробьев не понял хода мысли, заставившего Торжуева распрямиться и сказать с заносчивой гордостью:

— Да что мне старик? Я за него не в ответе! И так полжизни заел. Разве я теперь плохо работаю или торгуюсь? Погляди выработку. Стахановец! Сам ты меня на доску вешал. Значит, осознаю?

Воробьев покачал головой.

— Хочешь говорить — так давай напрямки, Семен Матвеевич. Не первый у нас разговор, и не первый день я тебя знаю. И сознание тут ни при чем. Из амбиции, Семен Матвеевич, из амбиции ты и выработки добился и стахановцем стал — вот, мол, нате, могу и так! Что я, не понимаю? Или, думаешь, люди в цехе не понимают?

— Вот что! — воскликнул Торжуев и растерянно оглянулся, будто искал опоры.— Что ж, Яков Андреич, видно, зря пришел. Ни к чему весь разговор.

Он хотел встать и уйти, но не мог заставить себя. И с облегчением услышал спокойный ответ Воробьева:

— Почему же зря? Разговор как раз вовремя, Семен Матвеевич. Жить-то хочешь? Детям ответ давать придется? Жизнь-то поворачивать надо?

Торжуев безнадежно повел плечами, потом вскинул на Воробьева мучительно-напряженный взгляд:

— А как? Как?..

16

Субботний день уже кончался, когда Алексей Полозов вызвал Аню по внутрицеховому телефону. Голос его звучал напряженно:

— Анну Михайловну Карцеву добивается по городскому какой-то товарищ. Говорит — товарищ по армии.

— По армии? — воскликнула Аня.— Бегу!

И тут же поняла, кто это, и на минуту остановилась у двери, не зная, что же теперь делать и как отказаться от встречи.

Алексей внимательно взглянул на нее, когда она вошла, и передал ей трубку. Бухгалтер прочно обосновался рядом с ним, разложив на столе склеенные листы отчетов.

— Я слушаю,— сказала Аня в трубку и услыхала знакомый голос, обрадовалась этому голосу и растерялась, потому что поняла, как невозможны и нелепы все предлоги, только что выдуманные ею.

— Володя, ты? Откуда ты и куда?

Она произнесла первые попавшиеся слова, чтобы сказать хоть что-нибудь.

Алексей склонился над отчетом. По его сугубо сосредоточенному виду понятно было, что он прислушивается к каждому слову, к каждой интонации ее голоса. Догадался он, что это Ельцов?

— Я здесь проездом, и на один день,— сказал Ельцов.— Сегодня «Стрелой» уезжаю в Москву. Я тебя увижу, Аня?

— Господи, почему же только на один день,— пробормотала Аня.— Кто же так приезжает? У меня сегодня как раз... просто не знаю, что и делать...

— Мне совершенно необходимо тебя увидеть, Аня. Совершенно необходимо. Иначе невозможно.

Аня подумала — надо бы прямо сказать ему: сегодня я выхожу замуж. Так было бы проще всего. И, может быть, всего милосердней. Но тут же она поняла, что никогда не скажет этого — пусть их неудавшаяся любовь забыта ею, но нельзя забыть трудные годы, проведенные вместе, нельзя забыть, что Ельцов прошел рядом с нею войну, оберегая ее как мог, и всегда был ей другом — преданным, сдержанным, все понимающим.

— Сейчас соображу,— сказала Аня.— Конечно, мы должны увидеться.

Алексей перевернул страницу отчета и совсем пригнулся над ним. Аня видела его склоненный затылок с ложбинкой посредине и пальцы, крутившие карандаш. Поймет ли он?..

— Это Ельцов,— тихо сообщила она, вспомнила о бухгалтере и решительно сказала, опуская телефонную трубку: — Алексей Алексеевич. Приехал мой фронтовой товарищ. Он сегодня уезжает. А в девять часов у меня заседание, которое я не могу пропустить, что бы ни было. Вы не возражаете, если я до заседания отлучусь?

Бухгалтер равнодушно ждал. Разговор его не касался. И он не видел причин, почему Карцева, проводящая в цехе целые вечера, не может отлучиться на два часа даже без разрешения начальника цеха.

— Конечно, Анна Михайловна,— сказал Полозов.— Раз вам нужно. Да и рабочий день кончается.

Он улыбнулся ей украдкой от бухгалтера.

— Я знаю,— сказала Аня обрадованно, потому что он понял и не рассердился.— Я просто хотела напомнить, что в девять у меня заседание. Очень важное.

— Вы только не опоздайте, с этим вашим фронтовым товарищем! — предупредил Алексей и снова доверчиво улыбнулся ей.

— Володя, я все устроила. У меня есть время до восьми,— в трубку сказала Аня и скорчила шутливую гримасу над головой бухгалтера.— Где мы встретимся?

— Назначайте, товарищ начальник,— сказал Ельцов.

Она поехала к нему в гостиницу, потому что позвать его к себе было невозможно, да и в своей комнате она уже не чувствовала себя дома,— дом ее там, в большой комнате с глобусом, куда она пойдет сегодня, чтобы остаться навсегда.

Ельцов встретил ее в вестибюле гостиницы. Заглянул ей в глаза:

— Аня... ты довольна?

— Да!

— О! как ты это сказала!

Чуть поддерживая ее под локоть, он повел ее в свой номер. Они сели в кресла друг напротив друга, разделенные массивным круглым столом. На столе стояла ваза с фруктами, тарелка вишен и бутылка легкого вина. Ельцов ждал ее; она чувствовала, что он очень волновался и хотел хорошо принять ее.

«Алексей никогда не сумел бы, не догадался бы так подготовить встречу»,— подумала Аня, вспомнив комнату с чересчур яркой лампочкой без абажура, колбасу в бумаге на столе, заваленном пыльными книгами, неумелое гостеприимство Полозова. И ей томительно захотелось скорее очутиться в той комнате, возле того угловатого и милого человека, самого необходимого из всех.

— Ты так и не ушел из армии?

— Нет, не ушел и уже, наверно, не уйду.

— Но ты же хотел...

— Хотел, когда еще надеялся уехать не один.

Он снова внимательно посмотрел Ане в глаза, стараясь прочитать в них что-то, и сказал, отводя взгляд:

— Каждый ищет дела, которое захватило бы целиком. А в случае, подобном моему, и заменило все.

Она знала и ценила эту его манеру говорить четко и без эмоций, чуть посмеиваясь над собою. Как в тумане припомнилось прощанье с ним, собственные мягкие, утешающие слова: «Мы же

не навеки расстаемся, Володя... разлука проверит все». Она и тогда знала, что возврата нет. А он — надеялся?

Ей было стыдно, что она невольно внесла столько горя в жизнь этого человека; она говорила себе — он чудесный, умный, красивый, у него куча всяких достоинств, с ним любая женщина будет счастлива и покойна. Почему же я не полюбила его тогда, когда еще не знала Алексея? Чувствовала, что где-то есть другой, беззаботливый и неумелый, с трудным характером и ни на кого не похожий?

— Володя,— сказала она,— у тебя еще будет все. Все. Я уверена.

— Спасибо, Аня, на добром слове.

— Это так и будет.

— Наверно. Самые сильные чувства, говорят, проходят. — Да?

До чего все сходилось к Алексею! Может ли быть, что все проходит и эта неуемная тяга к другому человеку тоже пройдет? Ей очень нужно было поскорее увидеть его и убедиться в том, что это не так, что их любовь не пройдет.

— Нет, нет, Володя,— сказала она, увидав, что Ельцов хочет откупорить вино.— Вина не надо. А вишни чудесные.

— Это наша последняя встреча, Аня. Ты не хочешь чокнуться со мною хотя бы в память тех лет?

— Один бокал, Володя. Больше я не буду.

— Ты мне скажешь, что у тебя сегодня вечером? Или не спрашивать? — После молчания он предложил: — Я тебе очищу грушу, хорошо?

— Хорошо.

Груша была сочная и таяла во рту.

— Чем ты занят сейчас, Володя?

— Техникой, Аня. Новой изумительной техникой.

Совсем по-женски, со страстным желанием услышать утешительный ответ, она быстро спросила:

— Новой войны не будет, нет?

— Для того работаем. На том стоим.

— Ты уже полковник. Давно?

Он усмехнулся:

— Мы расстались, Аня, шесть месяцев назад.

— Да, правда. Всего шесть месяцев.

Ее поразила мысль, что шесть месяцев вместили так много. Казалось, бесконечно давно это было — поезд, пересекающий страну с востока на запад... растревоженная переменой жизни, одинокая женщина ехала к пепелищу своей юности, не зная, что ее ждет...

— Расскажи мне о себе, Аня. У тебя такой удовлетворенный вид.

Аня начала рассказывать, чтобы заполнить время до половины восьмого, когда она поднимется и уйдет. Как ей хотелось,

чтобы время шло быстрей! И вместе с тем оиа ясио созиавала, что Ельцов очеиь дорог ей, что ей жаль расставаться с иим и потом, поздиее, она не раз пожалеет о том, что встреча была слишком коротка.

— Ты мие дашь свой адрес, Володя? Мне ие хотелось бы терять тебя из виду.

— А мие кажется, Аия, что мие следует обязательио потерять тебя из виду.

— Это очеиь иесправедливо устроеио в жизии, Володя. Жеищииы теряют самых хороших друзей только потому, что имели иесчастье родиться жеищииами.

— Тут уж ничего ие поделаешь.

— Да, ио жалко.

— Я себе представлял еще час иазад — вдруг я увижу тебя и пойму, что ты... В общем, розовые мечты, которые ие сбылись. Очистить еще грушу?

— Да, я сегодия ие обедала.

— Может быть, мы успеем...

— Нет, иет. Через двадцать мииут мие иадо идтн.

— Там, куда ты идешь, тебя иакормят, иадеюсь?

— Ох, не зиаю! — воскликиула оиа и блажеиио улыбиулась, вспомиив все то же иеуклюжее гостеприимство Алексея. Может же быть, что человек так нужеи и так люб!

Ельцов отвез ее домой иа такси. По дороге оии перебнралн фроитовые воспомииаиия, дальиевосточиых друзей. Ельцов был оживлеи н ровеи.

— Прощайте, Аия,— сказал он возле ее подъезда.— Постараемся охранить вас.

Оиа приподиялась иа цыпочках и поцеловала его.

Оказавшись у себя в комиате, оиа иа мииуту присела на подокоииик, проводила глазами заворачивающее за угол такси и тряхиула головой, словио это могло помочь ей освободиться от ощущеиия невольиой жестокости, совершеииой ею. Итак, целый кусок жизни окончательио ушел в прошлое. А то, что сегодия иачииается... что оио принесет ей? Может лн быть, что все проходит?

Оиа лнхорадочио заторопилась. Прнняла душ, улыбаясь сииим язычкам газового пламеии,— в девять часов я его увижу! Оделась, оглаживая пальцем каждую вещь,— в девять часов я его увнжу! Осторожно влезла в узкое, мягко шелестящее платье, холодком приникшее к плечам,— в девять часов я его увижу!

Подойдя к зеркалу, она оглядела себя ие своимн — его глазами,— какою ои меия увндит? Оттого, что оиа глядела его глазами, она увидела себя такою, какой и была в эту мннуту — красивой, любимой, рвущейся к счастью.

Оглядела комиату как чужую, ие позволнв ни одиому воспомииаиию набросить теиь иа свою радость.

Она сейчас уйдет отсюда. Уйдет навсегда. В большую неуютную комнату с глобусом на столе, где нет ничего, что нужно для уюта, и есть все, что нужно для счастья.

Усмехнувшись, сунула на дно сумочки футляр с зубной щеткой.

Когда она выходила, ее остановила Алла Глебовна. Алле Глебовне нужно было рассмотреть ее платье и узнать, у какой портнихи оно сшито.

— Само сшилось, само! — крикнула Аня и, невежливо рассмеявшись, выскочила за дверь.

Было без одной минуты девять, когда Аня издали оглядела пустой мостик через канал, на котором Алексей должен был встретить ее. На мостике не было ни души. И кругом никого не было, только мальчишка с удочкой стоял у решетки и следил за поплавком, плавающим на розовой воде.

— Ты, конечно, хотела, чтобы я торчал у всех на глазах на середине моста?

Откуда он появился, не понять было. Но он был именно таким, каким ей хотелось увидеть его и каким она все-таки совсем не ждала его — в белой рубашке с отложным воротом, свежевыбритый, с таким светом в глазах, что не оторвать взгляда. В руке, заведенной за спину, он держал, цветами вниз, большой букет. Стряхнув оберточную бумагу, маскировавшую цветы, он поспешно сунул букет ей в руки. Аня с радостью отметила, что это не был аккуратный и безвкусный букет, какие делают уличные продавщицы, лишая цветы их непосредственной, свободной прелести. Алексей вручил ей рассыпающуюся охапку маков, ромашек и еще каких-то необыкновенных, незнакомых Ане цветов с нежным и сильным ароматом.

— Что это?

— Почем я знаю. Они тебе подходят.

Они пошли рядом, иногда касаясь плечами. Задержались под ивами, свесившими ветви через решетку. Здесь они долго стояли как-то ночью. Здесь Аня одна следила за белым корабликом, сулившим ей вот этот день.

Они прошли переулком и зашли под старинные своды арки на углу.

— На мемориальной доске будет выбита сегодняшняя дата. Да?

— Да.

Лестница, по которой она с отчаянием взбегала в ту ночь, оказалась совсем не такой, какой запомнилась. В стеклянный фонарь сверху падал веселый розовый свет, и, чем выше они поднимались, тем сильнее и радостнее был этот свет.

— Аня!

Он поцеловал ее у двери с табличкой 38. Несколько лепестков мака упали на площадку.

— Пусть. Я бы набросал их по всему пути, если бы не боялся, что кто-нибудь другой наступит на них раньше тебя.

Они еще задержались у двери. Было так хорошо, что не хотелось ничего менять.

— Аня, совсем?

Он вынул из кармана маленький ключ.

— Открой.

Она всунула ключ в щель замка и открыла дверь. Когда она вынула его, Алексей вложил ключ в ее сумочку.

— Я заказал его для тебя.

Передняя и коридор тоже оказались совсем не такими, какими она увидела их в ту ночь. Она распахнула знакомую дверь, уже готовая к тому, что и комната будет совсем другой. Комната была другой. Мебель была та же, даже глобус по-прежнему голубел простором Тихого океана, но самый дух комнаты изменился — комната ждала ее, Аню. Слишком яркая лампочка укрылась матовым стеклянным шаром. Глобус перебрался на книжную полку, стол был накрыт белой скатертью, на скатерти расставлены неумело, но старательно все вкусные вещи, какие мог разыскать на прилавках мужской неопытный взгляд. Закатный луч преломлялся в стекле двух бокалов, стоявших рядком у бутылки шампанского, и в воде, предусмотрительно налитой в большую банку для цветов.

— Я очень боялся, что солнце уйдет до того, как я приведу тебя,— сказал Алексей, отгибая проволоку на горлышке бутылки.— Так было задумано, чтоб солнце. Я ужасно боялся, что ты опоздаешь...— И, после паузы: — Я боялся, что ты вдруг пожалеешь.

— Я никогда не пожалею!

Они помолчали, глядя друг на друга, потом он сказал со своей шутливой интонацией:

— Подводить итоги будем через двадцать пять лет, или когда там золотая свадьба, ты говорила? Если пробка не выстрелит в потолок, это будет с ее стороны безобразием.

Пробка выстрелила.

Пена на шампанском опадала, золотистые пузырьки резво бежали вверх.

Аня взяла бокал и потянулась чокнуться с Алексеем.

— Погоди, я должен сказать за что. За то, что ты меня научила понимать, что это должен быть праздник, и беречь его, и... ну, в общем, за тебя, Аня!

— За нас, Алеша.

— А я уже не отделяю.

Они выпили до дна, стоя.

— Почему я должен сидеть где-то за тридевять земель от тебя? Я сяду рядом, можно? И ты должна есть,— это все куплено для тебя, я ужасно старался. Когда я пошел покупать, я вдруг понял, что совсем не знаю, что ты любишь.

Ей хотелось сказать: тебя. Она не стыдилась сказать это, но она была так взволнована, что слова не выговаривались.

— Смотри, Аня, этот луч подбирается к тебе. Я так и представлял себе, что посажу тебя вот тут и солнце будет до тебя добираться...

Они не заметили, дотянулось ли солнце до опустевшего стула и как оно ушло из комнаты.

— Знаешь, Алеша, у меня такое чувство, будто нет ничего-ничего, кроме тебя, меня и этой комнаты.

— С тех пор как здесь водрузился этот твой шкаф, комната стала неузнаваемо солидной. Видно, что здесь живут почтенные супруги, верно?

Они потратили половину воскресного дня на то, чтобы перевезти Анины вещи и устроиться. Алексей отдавался этому делу со всем пылом, заботился о том, чтобы у Ани был свой рабочий стол и чтобы свет из окна падал правильно, мечтал обменять их комнаты на отдельную квартиру в новом доме... Аня беспечно улыбалась, ей казалось, что ничего не нужно и все удобно, раз Алексей тут, с нею.

— Знаешь, мне очень странно, что завтра утром я приду в цех — и те же люди, те же разговоры, все такое же, как всегда.

— А оно будет не такое. Мне сейчас кажется, что все мне будет легко, все будет удаваться.

— Алеша... говорят, самые сильные чувства проходят. Ты в это веришь?

— А, что они все понимают!

Она легко поверила,— ничего не понимают. Разве она сама понимала еще вчера, какою может быть любовь? И какою может быть настоящая близость, когда, как бы ни были различны два человека, мысли их текут вместе, сливаются, дополняют одна другую, и не вспомнить, кто о чем подумал первый и чья мысль стала общей?

Их речи были отрывисты, вольно перескакивали с одного на другое и все же связны, потому что охватывали весь мир их чувств и интересов. Вся их жизнь была тут, вместе с ними, все заботы, вне которых они себя не мыслили; только заботы стали прекрасны и легки оттого, что ощущались двоими и делились на двоих. И Аня порой сама заговаривала о том, что неделю назад хотела начисто забыть в день своего праздника, потому что все это было — Алексей, его жизнь, его усилия и мечты.

Приготавливая к утру свое рабочее платье, Аня задумалась над ним. За эти сутки так переменились ее отношения с Алексеем и она сама так переменилась,— как прийти к людям такой же, как всегда, входить в кабинет начальника цеха как чужая... как укрыть от людских глаз, что ты счастлива?

— А мы завтра же всем скажем,— поняв ее мысли, заявил Алексей.

Ее обрадовало это, но потом пришли сомнения — он начальник, они вместе работают...

— Неудобно будет?

— Неудобно только тем, у кого совесть нечиста.

В середине ночи им показалось, что они обязательно проспят.

— Давай совсем не спать.

— Давай.

Она проснулась как от толчка,— совсем не потому, что пора было вставать, нет,— во сне она все вспомнила и испугалась, что это только приснилось.

Это не приснилось. Ясный свет раннего, погожего утра вливался в комнату — в ее новую комнату, где ей жить и беречь свое счастье. Через час надо вставать к обычному трудовому дню,— только какой же обычный их первый общий день! Она осторожно повернула голову и увидела Алексея — спокойно спящего человека, слегка улыбающегося сжатыми губами. Она на миг прильнула щекой к его захолодевшему плечу и сразу отодвинулась, потому что ей захотелось разбудить его и жалко было прервать его сон.

17

Расчетную книжку, раскрытую на последнем платеже, Кешка положил на подушку,— пусть мать придет и сама увидит. Он ничего не скажет ей — вот еще, хвастать! — она и так поймет, что значит такая получка. У него раньше и половины не бывало!

Засунув в авоську чистое белье, туфли и на всякий случай теплый платок, он вприпрыжку спустился по лестнице, но во дворе подтянулся, расправил плечи и пошел неторопливо, слегка вразвалку, как ходят взрослые парни, которым наплевать на окружающих.

До двух оставалось около часу. Он зашел в магазин и купил барбарисок, одну заложил за щеку, остальные старательно завернул и спрятал в карман — к чаю, пусть увидит, как у него поставлено хозяйство. Пусть спросит ребят, кормил ли он их. Что они ему до смерти надоели, это другое дело. Вернется мать — он и смотреть на них не захочет. Дышать легче, когда подумаешь, что завтра уже не надо бежать в магазин, варить суп, чистить картошку, мыть посуду и отчитывать братишек то за одно, то за другое. Но сегодня обед готов, и неплохой обед: он бухнул в кастрюлю целый килограмм мяса и две связки корешков,— знай наших!

На площадке между двумя домами ребята играли в футбол. По-настоящему играли, честь честью. Парни в обеих командах были рослые, только один из нападающих у левых был маленький, но, видно, очень ловкий — ишь как здорово обводит!

Кешка растолкал мелкоту, теснившуюся по краю поля, и мигом оценил обстановку. Команда слева сильнее, у нее могучий вратарь. И нападение у них сильное. Кроме маленького, еще вон тот парень в голубой футболке...

Парень ударил так, что мяч чуть не прорвал сетку. Вот это удар! Пушечный удар!

Кешку пленил и удар и сам парень — видать, силен! — и его футболка, ярко-голубая, с белым воротником и шнуровкой на груди. А почему бы из следующей получки не купить себе такую же? Надо прицениться. Ботинки он купил, и как раз вовремя, старые уже и чинить не брались. Купил бутсы,— это, конечно, не ахти что, зато бутсы прочнее, и удобно играть в футбол. А к осени он купит настоящие ботинки, желтые, как у Аркадия. Очень свободно, пойдет и купит. Точно такие же. Хороший парень Аркадий! Силач, красавец. И бригадир толковый. Покрикивать любит, это уж ничего не скажешь. Николай Пакулин — тот поспокойней и повежливей. А чья возьмет — еще видно будет! Как сказал вчера Аркадий? «Держись орлом, Кешка, первыми в цехе будем!» И очень свободно: подналяжем и выйдем на первое место. Навеки, что ли, Пакулин первенство захватил? У него теперь и ребята похуже. Когда-то отмахивался, как от чумного, от Кешки Степанова, а теперь Сеньку взял... Ну какой толк может быть от Сеньки?

А здорово будет выйти на первое место...

Может статься, придет день, и Полозов скажет: а почему Иннокентия Степанова не выдвигают? Давайте-ка его бригадиром образцовой молодежной. Почему бы нет? Аркадий обещает к зиме на пятый разряд подтянуть. Он заявил: четвертого разряда у нас быть не должно, и без среднего образования тоже быть не должно. Вот насчет вечерней школы — это он зря... Опять сидеть за партой и бубнить всякую тощищу. В равнобедренном треугольнике биссектриса угла при вершине... пестики, тычинки... однодольные и двудольные... изложение-переложение о Муму и глухонемом Герасиме... Государство Урарту, Иван Калита, Пунические войны... Ой, скукота! Аркадий говорит: от этого никуда не уйдешь, Кеша, что нужно, то нужно, давай без лишних разговоров.

Забор, заклеенный афишами, привлек внимание Кешки. В Саду отдыха музыкальная комедия — бог с ней! Концерт лауреатов международного конкурса — бог с ним! «Таланты и поклонники» — бог с ними! Цирк — вот это да! Кио. Кио. Кио. Фамилия, что ли? Вот бы посмотреть, что это такое! А почему бы и не посмотреть? За квартиру он заплатил. За электричество тоже. Счетоводша из домоуправления сказала: молодец, Степанов, сразу видно — хозяин! Мать, наверное, растрогается и сама предложит: сходи в кино или в цирк. В кино денег не надо. В Дом культуры всегда можно проскользнуть через черный ход, навстречу выходящей публике. Противно, что надо прятаться и перебе-

гать с места на место, пока не потушат свет. А шикарно было бы купить в кассе билет и спокойно усесться где-нибудь в двенадцатом ряду. Билетерша, та, с длинным носом, конечно, немедленно подскочит: «Мальчик, опять ты здесь? Твой билет!» — «Во-первых, не мальчик, а гражданин; во-вторых, вот билет; а в-третьих, нечего тыкать, мы с вами детей не крестили».— «Извините, товарищ, сидите, пожалуйста, я обозналась...»

Мотокросс... Здо́рово! У Павки Гуляева мотоцикл. Пых-пых-пых — весь район слышит, когда он едет. Скопить бы денег и купить мотоцикл. Ух, сила! В отпуск — туристский поход на мотоциклах. Нет, на мотоцикл не скопить. А вот на велосипед — можно. Откладывать на сберкнижку с каждой получки... Неужели ж я не сумею собрать? Как Витька Пакулин...

Матч на первенство...
«Зенит» — «Динамо».

Когда? В среду. Ну, это он попросту выклянчит у матери. Такой интересный матч! Полцеха сбежится. И к тому же — на новом стадионе! «Мама, вот тебе вся получка. Что я истратил — смотри сама, все записано, можешь проверить. А мне нужно в среду на матч, вся наша бригада идет, и весь месяц, сама понимаешь, я с этими ребятами как нянька...»

Три девчонки шли навстречу. Под ручку, в цветастых сарафанах, и у всех — купальники на плече. Где они купались, интересно знать? В Неве или на Островах? Все три — тонконогие и вертлявые, идут и вроде как приплясывают на каждом шагу. Две так себе, а в серёдке девчонка глазастая, как лягушка, и волосы, как пух, разлетаются во все стороны, нарочно, должно быть, не причесывается, чтобы все видели, как они разлетаются, желтые-прежелтые...

Девчонки заметили его внимание и прыснули со смеху. У глазастой глаза так и засверкали, а сама скривила губы — мол, совсем-то мне неинтересно, смотришь ты на меня или не смотришь.

Покраснев, Кешка пошел прямо на них, не сворачивая, и они не посторонились тоже. Он врезался в их цепочку, раскидал их руки и прошел, не глядя на них.

— Вот невежа! — вскрикнула одна из них.

— Но, но, потише! — кинул назад Кешка.— Цацы!

Ему очень хотелось оглянуться на ту, глазастую. Воображала! Он отошел довольно далеко, прежде чем позволил себе оглянуться. Три девчонки опять сцепились под ручки и удалялись, пружиня на каблучках тонкими ножками. Вот чудачки, не идут, а приплясывают. На таких-то каблучищах! Цацы и есть.

Больница была уже совсем близко, ожидание томительной и неизбежной канители вытеснило мысли о трех девчонках. Неужели опять придется подниматься в палату? Кешка часто приходил справляться о здоровье матери, но терпеть не мог навещать ее. Было что-то стыдное в том, как его обряжали в белый

халат с болтающимися тесемками, как разворачивали его скромные гостинцы, проверяя, не принес ли он чего-нибудь недозволенного. И совсем уж стыдно было пробираться через огромную палату к дальней койке, где лежала мать. Женщины со всех коек пялили на него глаза, а потом встревали в разговор с глупыми вопросами: «Сынок? А с кем же он остался? Неужто с малышами сам управляется?» Но больше всего Кешка не любил ходить в больницу из-за томительного чувства жалости и нежности, какое возбуждала в нем мать. Выглядела она здесь совсем не так, как дома. Да и не разглядывал он ее дома; обычно бочком проскальзывал мимо, пока она не нашла повода для воркотни или не надумала послать его за чем-нибудь. И была она там или притупленно-молчаливой, утомленной, или раздражительной и придирчивой. Теперь она стала какая-то блаженная, гладкая, кроткая, и, о чем ни заговори, плакала. Увидав Кешку, она норовила при всех обнять и поцеловать его, без конца расспрашивала о малышах и обязательно всучивала ему пакетик со всякой снедью, сбереженной от завтрака и обеда,— кусок пирога, вареные яички, масло. Она не верила, что они сыты, и упрашивала Кешку привести хоть разок младших. Однажды он привел их, предварительно отмыв щеткой с мылом так, что они ревмя-ревели. Пуговицы он заставил их пришить все до одной, кричал на них, что на фронте солдаты пришивают сами и вообще он не нанимался к ним в няньки. Мать сразу приметила, какие они невероятно чистые и аккуратные, заставила их рассказать, как все было, смеялась и опять всплакнула. И, конечно, все больные впутались в разговор, и даже санитарки подошли поахать. Делать им больше нечего. Бабы!

Вот Карцева — та не стала бы реветь чуть что. Карцева, конечно, тоже женщина, но все-таки чувствуется, что фронтовик, офицер. И Катя Смолкина не стала бы ахать, та скорее отлает так, что будь здоров!

В больничной раздевалке было пусто. Толстая гардеробщица в белом халате дремала у своей загородки.

— За Степановой, на выписку,— робея, сказал ей Кешка.

— Сынок? — поинтересовалась, зевая, гардеробщица, неохотно поднялась, задрала голову к лестнице и неожиданно зычным голосом крикнула в пролет: — Маня-а! За Степано-во-ой пришли-и!

Мать вышла нескоро. Сперва она мелькнула на лестнице в голубом халате и спадающих тапочках. Сопровождавшая ее санитарка взяла у Кешки авоську с вещами и куда-то увела мать боковым коридором. Они очень долго возились там. Мать вышла одетою уже во все свое, она даже шерстяным платком повязалась, хотя на улице теплынь.

— И лучше, а то продует с непривычки! — одобрила гардеробщица.— А какой сынок у вас хороший. Самостоятельный.

Мать, быстро взглянув на Кешку, твердо сказала:

— Да.

И взяла Кешку под руку.

Теперь, когда она была на ногах и одета как всегда, она показалась Кешке располневшей и отдохнувшей. Лицо у нее стало гладкое и белое, глаза ясные, добрые, рука тоже белая, мягкая и ласковая. Рука сжала и погладила Кешкины пальцы.

— Замаялся без меня, Кеша?

— Ну, чего там... А ты потолстела, мам.

— Отоспалась я, сынок. И меня все витаминами пичкали. Глюкозу иголкой вливали. Доктор говорил: заездилась, матушка, совсем заездилась. Пользуйся случаем — отдыхай!

— Ну и правильно,— солидно сказал Кешка. Его поразило это слово в устах доктора: заездилась. А ведь и впрямь она ни сна, ни покою не знала. Что такое после работы хозяйничать да за детьми следить, это он теперь узнал. А ведь она еще и мыла, и стирала, и обшивала всех. Кешке впервые пришло в голову, что она могла бы быть не такой раздражительной и сварливой, если бы снять с нее хоть немного забот и огорчений. Мало ли он сам доставлял ей неприятностей!

— Уж как меня выхаживали, как заботились,— медленно шагая рядом с сыном, хвастала Евдокия Павловна.— Если б я только не тревожилась, как вы там без меня... Сплю-сплю, и вдруг как подбросит меня: дети!

— Не одних ведь оставила! Слава богу, не маленькие.

— Ох, Кеша!

— Да чего в самом деле! Ну, пойдем быстрее. Или трудно?

Ему было стыдно идти с нею под руку. Все смотрят и думают: кто такие? Почему она держит его, как маменькиного сына? Когда попадались встречные, он нарочно повышал голос и говорил про больницу или спрашивал мать, не кружится ли у нее голова.

— Будто ты — и не ты! — удивлялась Евдокия Павловна.

Уже у самого дома она обессилела и присела на скамью. И сразу набежали соседки, кто с расспросами, кто с рассказами.

— Ты посиди, отдохни,— сказал Кешка и помчался домой — только бы не слушать, о чем судачат женщины. Он ничего не имел против, чтобы они посудачили о нем. Впервые в жизни он не боялся этого. Но стоять и слушать — нет уж, спасибо!

Братишки были дома, притихшие и чистые,— уходя, Кешка строго-настрого приказал им помыться и одеться «по форме № 1». Гусаков тоже был тут.

— Не отпустили? — всполошился он, увидав, что Кешка один.

Чувствуя себя главным в доме и никого не боясь, даже Гусакова, Кешка повесил кепку, снял пиджак, скомандовал малышам:

— А ну во двор, встречать маму!

И только потом объяснил:

— Оставил ее внизу. Пусть подышит воздухом.

— Да как же одну-то? Дойдет ли?

— Зачем одну? Бабья там набежала целая толпа,— снисходительно проронил Кешка.— Неужто я буду их болтовню слушать? Мне своих дел не переделать.

И взял кастрюлю с супом — подогреть к обеду.

18

Расставив локти, чтобы уберечь Груню от толчков, Воробьев кое-как впихнул ее и Галочку в трамвай, а сам повис на подножке среди парней, вскочивших в последнюю минуту. Заполненные людьми трамваи, автобусы и троллейбусы нескончаемыми вереницами шли в одном направлении, словно весь Ленинград двинулся в этот час на Крестовский остров. Обратно трамваи бежали налегке, почти не задерживаясь на безлюдных остановках, а троллейбусы и автобусы надсадно гудели, раздвигая толпы встречных пешеходов, для которых тротуары стали тесны.

Поглядывая на раскрасневшееся от жары, улыбающееся лицо Груни, Воробьев с досадой думал о том, что в другое время эта поездка на новый стадион радовала бы его так же, как Груню и Галочку, а сегодня пришлась на редкость некстати. Ему хотелось остаться дома, посидеть одному. А тут трясись через весь город в этакой тесноте! На каждой остановке народу все прибавляется, Воробьева уже протолкнули в вагон, в знойную духотищу, которую не разгоняет и ветерок, веющий из раскрытых окон.

Наконец-то! Приехали. Вытерли распаренные лица, влились вместе с мощным людским потоком в молодой Приморский парк Победы — и сразу попали будто в другой край, в другой климат: так здесь зелено, душисто и свежо, такая нарядная ширь открылась глазам, так легко шагается по просторной аллее. Эта ширь создана словно нарочно для того, чтобы по пути люди успели сбросить свои повседневные заботы, подставить лицо солнышку, подышать полной грудью. Все здесь молодо: цветы только что высажены, деревья и кусты глядят подростками. И скамьи, и вазы, и киоски с водами, и раскинутые под открытым небом ресторанчики — все новенькое, только что установленное.

Тремя потоками от примыкающих к парку площадей стремились люди к стадиону имени Кирова — новой любви и гордости ленинградцев. Любители футбола растворялись среди тысяч людей, очень далеких от спортивных страстей и пришедших сюда, подобно Воробьеву, Груне и Галочке, погулять, развлечься, полюбоваться, внимательно осмотреть свое новое достояние.

Стадион был действительно хорош.

Гигантский вал высотою в многоэтажный дом окружал спортивное поле. Вал был намыт из песка, поднятого со дна залива могучими землесосами. Воробьев давно читал об этом, но сейчас ему как-то не верилось, что здесь еще недавно лежал низкий, топкий остров, где росла скудная трава да дикий кустарник.

Теперь все требовало определений: «громадное», «высоченное», «широчайшее».

Центральная площадь свободно принимала все три потока, которые сливались тут в одну лавину, огибая красный квадрат из гвоздик, в середине которого Киров радостно взирал с постамента на клубящееся вокруг людское море. Широкие ступени, перемежающиеся просторными площадками, вели на вершину вала, где развевались, пощелкивая о древко, короткие ярко-алые флаги. Фонтаны и спадающие вдоль лестниц каскады воды насыщали воздух свежестью и сиянием мельчайших брызг. В эту влажную свежесть вплетались ароматы цветов из мраморных ваз и спускающихся между каскадами клумб, похожих на многоцветные ковры, брошенные ради праздника на ступени.

От центральной лестницы широчайшие террасы в несколько ярусов окаймляли наружный склон. Соединяя террасы и помогая незаметно вобрать стотысячную толпу, по склонам взбегали десятки лестниц, и каждая из них, не будь главной, центральной, казалась бы и широка и прекрасна. Множество передвижных ресторанчиков, лотков, тележек с водами и мороженым было рассеяно по террасам, их трепыхающиеся на ветру полосатые тенты напоминали о близости моря. Вот оно рядом, оглянись же как следует, посмотри! — вот оно, вечно дышащее, искрящееся, посылающее тебе запах соли, водорослей и нагретой солнцем воды.

Сколько тут было людей — все останавливались на террасах, чтобы как бы впервые увидеть море, подступившее к самому городу. Замыкая основание стадиона голубым кольцом, оно расстилалось вокруг, растворяя в солнечном мареве очертания далеких берегов и поднимая на горизонте, будто прямо из своих глубин, круглый купол старинного собора на невидимом острове.

— Дядя Яша, это все-все построили? — спросила Галочка, застыв у края террасы.

— Да,— рассеянно ответил Воробьев.

Новые впечатления приглушили, но не разогнали его дурное настроение. Мысли то и дело возвращались к утреннему заседанию. В общем у Воробьева не было возражений против речи Диденко, нет, все так, перед заводом встали новые задачи — значит, работа партийной организации должна подняться на новую ступень. С этой точки зрения проверим, как у нас обстоит дело с борьбой за ритмичность производства... за качество... с расстановкой и обучением кадров... с партийно-политической работой... Слушая Диденко, Воробьев мысленно проверял и свою работу, видел в ней всякие недочеты и недоделки, делал себе заметки на память... И вдруг Диденко, совершенно неожиданно, впервые за три месяца работы Воробьева, обрушился на него с довольно-таки резкой критикой. Правда, он сделал оговорку, что берет в пример ведущую, хорошо работающую парторганизацию, и с улыбкой добавил: «Ругаю впрок, чтобы не зазнались!» Но затем начал разбирать все, что делалось в цехе, и нашел недо-

четы даже в том, что, казалось бы, требовало похвалы. Секретари других цехов поглядывали: ну вот, и до Воробьева дошла очередь, не все ему в «новых кадрах» ходить! И совсем уж досадно, что тут присутствовал Фетисов, тот самый, которого тогда провалили. Он теперь секретарь в другом цехе. Хороший человек, толковый, но все же при нем выслушивать критику было особенно неприятно.

— Все переживаешь, Яков? Брось!

Ефим Кузьмич положил руку на его плечо. Вид у старика благостный, и у подошедшего с ним Гусакова — тоже. Они приехали в заводском автобусе, успели осмотреться, погулять, выпили по бутылке пивка за столиком под трепыхающимся тентом.

— Пошли, пошли! — торопил Гусаков.— Народищу-то прет видимо-невидимо! Пока еще протолкаемся да найдем свои места.

— Места сами нас найдут,— пошутил Воробьев, силясь покончить с дурным настроением.— Как услышите, что турбинщики шумят,— тут и наши места.

Они разыскали свой сектор. С высоты верхней террасы, широким проспектом пролегавшей по вершине вала, перед ними раскрылась глубокая голубая чаша. На дне ее распростерлось ярко-зеленое поле, окруженное кирпично-красными беговыми дорожками. От верхнего края и до низа этой чаши были ступенями расположены скамьи, которые сейчас быстро заполнялись.

— Яков Андреич! Ефим Кузьмич! Сюда!

Молодежь толпилась в центре сектора, возле самых хороших, облюбованных знатоками мест, откуда видно лучше всего. Валя Зимина царила там как хозяйка, принимающая гостей,— это она ездила с Аркадием закупать билеты для цеха.

— Галдеж-то подняли, вроде сорок! — для порядка поворчал Гусаков.— Здесь надо культурненько, цените, какую красоту для вас построили!

— Ценим,— сказала Валя.— Но ведь мы и сами строили, Иван Иванович! Сколько воскресников мы тут отработали.

— Много вы наработали, воображаю,— сказал Гусаков, усаживаясь на скамью и с удовлетворением оглядывая стадион. Ему было приятно, что свои, цеховые ребята приложили тут руки.

— Столько народу, а давки нет! — восхищалась Груня, стоя в проходе рядом с мужем и не торопясь садиться: ей и полюбоваться хотелось, и самой покрасоваться на виду: люди заглядывались на нее, и ей радостно было чувствовать, что все мысленно признают: и сама красива, и муж ей под стать, и дочь картинка,— бывают же такие удачные семьи!

Голубая чаша стала пестрой от множества людей. Свободные места выделялись одиночными светлыми пятнами, а по проходам все еще струились пестрые ручейки, и по верхней террасе спешили сотни людей, и по аллеям, уже не глядя по сторонам, бежали запоздавшие, а десятки машин все подкатывали к стадиону.

Одна из последних машин задержалась. Сперва из нее высунулась короткая, увесистая нога, потом показался объемн-

стый жнвот, а затем выполз и весь Саганскнй. Выполз кряхтя, перевел дух и начал вытягнвать нз автомобиля свою не менее тучную супругу. Милиционер так н застыл с поднятой рукой в белой перчатке, торопясь отправить замешкавшуюся машину н понимая, что в данном случае поспешность невозможна. За нею остановилась длнная сняя машина с новой, еще непрнвычиой глазу стремнтельной линией развернутых крыльев. Из нее ловко выпрыгнулн Немиров и Клава.

Оказавшнсь лицом к лицу, Саганский и Немиров нзысканно вежливо поздоровались н выжидательио поглядели друг иа друга. Сегодия утром онн отчаянно поругались по телефону в связн со сроком платежа за досрочно сданные отливкн. Сагаиский чувствовал себя правым н не собирался уступать, на его благодушном, красном от жары лнце проступило выраженне упрямства. Немнров поннмал, что его познция по вопросу о платеже весьма уязвнма, он уже распорядился (не сообщая о том Саганскому) перевести нужную сумму на счет металлургнческого завода, но был сердит на Саганского за сказанные утром излишне резкие слова,— н это тоже промелькнуло в его глазах н настороженной улыбке. Но Саганский, подавнв злость, премило сказал, провожая взглядом удаляющнйся новый «зим»:

— Хорош!

Он знал, что доставнт Немирову удовольствие.

— Да ведь н мы с вамн не плохи, Борнс Иваиовнч,— сказал Немиров.

Оии понимающе переглянулись — сколько им еще предстоит работать вместе, а значнт, и ссориться н ругаться! — и дружно заторопились вверх по лестнице.

Немиров был равнодушен к футболу, ио любил эти шумные сборища, где всегда встретишь множество знакомых людей, где иной раз случится как бы между прочим договориться о какомнибудь деле с человеком, которого ниаче ие так-то просто повндать. Кроме того, он любил смотреть, как ведет себя во время матча Клава.

С той минуты, когда мяч, крутясь, взлетал над цеитром поля и кто-лнбо из игроков, опередив другнх, снльным ударом посылал его на половнну поля противнника,— с этой миинуты Клава, прноткрыв розовый рот н вытянувшись вперед, ие видела иичего, кроме перелетающего от ногн к ноге мяча. Заговаривать с нею было бесполезно — она не слышала. Еслн нгра прнближалась к воротам «Зеннта», она хватала за руку мужа, а нногда, ие замечая, что делает, и незнакомого соседа. Мяч в сетке противиика приводил ее в веселое ненстовство. Она вскакивала, хлопала в ладоши, кричала что-то неразборчивое н оглядывалась на мужа, прнзывая его радоваться вместе с нею. Если он забывал хлопать, оиа сердилась.

В первой половине игры обе команды забили по мячу. В перерыве на террасах, куда люди выходили размяться, горячо

обсуждали интересные моменты игры, спорили, у кого крепче защита и напористей нападение, чей вратарь сильней и хорош ли тренер. Строили предположения, кто выиграет; заключали сотни пари — на пол-литра, на пару пива и просто так, ради удовольствия оказаться правым.

Оставив Груню и Галочку на местах, Воробьев одиноко бродил в толпе. Ему так и не удалось отвлечься от своих невеселых мыслей. Хотелось уехать домой, но как лишить развлечения Груню с Галочкой? Они так мечтали побывать тут! Он чуть не столкнулся с Диденко. Шагая с компанией райкомовских работников, Диденко горячо доказывал им, что сыгранность нападающих у динамовцев выше, потому что...

Воробьев свернул в сторону, чтобы не встретиться с ним. Три месяца хвалил, поддерживал, и вот, ни с того ни с сего, сразу раскритиковал вдрызг, а потом как ни в чем не бывало разглагольствует о футболе. Новые задачи? Да. Еще на ступеньку выше? Да. Но зачем было так наваливаться при всем народе?..

Навстречу вынырнули из толпы Ерохин с женой. Ерохин сияет.

— Как хорошо, правда?

Воробьев догадывается, почему у Ерохина такое чудесное настроение,— нелегко ему далась победа, но вот уже три дня Ерохин идет впереди Торжуева.

Однако у Ерохина на уме совсем другое.

— Мы сейчас убегаем,— радостно сообщает он.— У нас ведь Мишутка соседке оставлен, его кормить пора, мы очень следим, чтоб по часам,— это очень важно для здоровья! Зато он каждые две недели по пятьсот грамм прибавляет...

Жена — по-матерински располневшая молодая женщина — снисходительно улыбается. Шрам ранения пересекает ее миловидное лицо, но шрам как-то не портит ее, а только вызывает уважение и сочувствие.

— Ну вот, расхвастался! Побежим, пора!

Они спускаются по лестнице, а Воробьев глядит им вслед,— у него такое ощущение, будто он прикоснулся к чему-то очень хорошему.

Он возвращается на место немного успокоенным.

Смотрит с любопытством, но без увлечения. Пасовки, перебежки, удары... игра у ворот динамовцев... игра у ворот «Зенита»... Три игрока упали, мяч у четвертого, защитник выбивает из-под ноги противника мяч и отправляет его подальше от своих ворот... Ну чего тут так кричать? Красные майки бегут на свою половину поля, мяч у ворот «Зенита», на трибунах стон и крик, даже Груня тихонько вскрикивает... Голубой бьет в верхний угол ворот, вратарь совершает почти немыслимый прыжок, берет мяч и падает вместе с ним...

— А-а-а! — кричат на трибунах. Сто тысяч людей рукоплещут.

Воробьев хлопает и говорит, покачивая головой:

— Да, это прыжок... Здорово он!

Борьба продолжается в нарастающем темпе. Юркий игрок в голубой майке с семеркой на спине не отпускает мяч и не дает играть красной защите. Трибуны неистовствуют. Воробьеву интересно, как это он умудряется всех перехитрить, всех обвести. А вокруг стоит крик, многие вскакивают. Вратарь танцует на полусогнутых ногах, мяч перехватили у голубой семерки, несколько игроков сбились в кучу, кто-то кого-то толкнул или ударил, свисток судьи...

Судья назначает штрафной удар в ворота «Зенита». На трибунах начинается буря.

Гусаков вставляет два пальца в рот, пронзительно свистит, потом кричит во всю мощь своего голоса:

— Судью до-лой! Судью до-лой!

Его выкрик подхватывают Витя Пакулин, Кешка и другие цеховые пареньки, сидящие в ряд,— впрочем, они уже не сидят, они вскочили, яростно стучат ногами и кричат так, что их лица побагровели от натуги.

Воробьев посмеивается, но и его немного тревожит этот штрафной удар.

Судья не обращает ни малейшего внимания на шум. Динамовец бьет, вратарь «Зенита» снова в прекрасном броске перехватывает мяч, трибуны бурно рукоплещут, а игра продолжается своим чередом.

Красные майки переводят игру к воротам динамовцев, один игрок как будто бы собирается передать мяч другому — и вдруг сильно и точно издалека посылает мяч в ворота.

— Молодец! — выкрикивает Воробьев и хлопает в ладоши.

Он ликует вместе со всеми, когда на стороне ленинградской команды поворачивается круглый щиток и единица заменяется цифрой 2.

А борьба завязалась вновь, голубые торопятся сквитать счет — до конца игры осталось одиннадцать минут.

Воробьев крякает от досады, когда игра снова перекидывается к воротам «Зенита». Он свистит, когда защитник, неумело отбив мяч, посылает его под ноги динамовцу. Потом замирает вместе со всеми, потому что напряженная борьба за мяч идет в опасной близости от ворот.

Удар!

Вратарь прыгает за мячом, но сила удара такова, что ему не удается удержать мяч, и тот влетает в ворота. Трибуны ахают и скорбно замолкают.

Счет — 2 : 2.

До конца игры осталось восемь с половиной минут.

Теперь Воробьев целиком захвачен азартом борьбы.

Темп игры нарастает. Обе команды стремятся уйти от ничьей. С трибун несутся выкрики:

— Давай, Коля, жми! А ну, ребята, не плошай!

Игра у ворот «Динамо», нападающие подбираются все ближе... вот мяч у красного...

— Бей! — кричит Воробьев.

Нет, не использовал возможности, замешкался... мяч отбит к центру поля... голубые стремительно бегут туда и ведут мяч на другую половину...

Трибуны стонут.

Бьет гонг — до конца игры осталось пять минут.

И под звуки гонга голубая семерка делает неожиданный точный удар в верхний угол ворот — вратарь бросается в воздух, но даже этот искусный бросок не спасает положения.

Мяч в сетке.

Счет — 2:3.

На трибунах уже не стонут, а трагически молчат.

Теперь динамовцы не торопятся, часто отправляют мяч за боковую черту и медлят выбрасывать его.

— Эй ты, пошевеливайся, тепа! — кричит Кешка.

— Время тянут, дьяволы! — стонет Гусаков и, приставив ладони ко рту, кричит: — Ребята, не сдавай!

Красные яростно атакуют, но голубые опять отправляют мяч за черту, и, как ни спешат подать мяч дежурящие у края поля мальчишки, до конца игры осталось полторы минуты.

Судья уже следит за секундомером.

Мяч с силой пущен в ворота «Динамо», но ударяется о штангу и отскакивает обратно, на трибунах рев досады, мяч ушел на середину поля — осталось двадцать девять секунд,— красные превосходно обходят голубых и уверенно ведут атаку на ворота.

— Бей! Бей! — вместе со всеми кричит Воробьев.

Вот мяч у красного, тот уже отвел ногу для удара.

Свисток судьи. Конец.

Общий вздох. Звуки марша, воспринимаемые как позывные всеми болельщиками страны, заглушают воркотню знатоков, осуждающих и судью, и свою любимую команду, и тренера.

— Значит, мы проиграли, дядя Яша? — недоуменно бормочет Галочка.

— А все-таки это здóрово увлекательно, все на свете забываешь! — говорит Воробьев, поднимаясь вместе с семьей на верхнюю террасу.

Тенью проходит воспоминание о чем-то неприятном, волновавшем его до того, как он окунулся в этот своеобразный, всепоглощающий мир спортивных страстей. Ах да, критика Диденко!.. Но теперь Воробьев чувствует себя настолько освеженным, что происшедшее утром уже не кажется таким обидным. Подумаешь, недотрога! Три месяца ходил в опекаемых новичках — видно, хватит? Сколько раз тот же Диденко учил меня на ошибках других... почему бы теперь не поучить других на ошибках Воробьева?..

— Яков Андреич! Воробьев! — кричит кто-то, пробиваясь к нему сквозь толпу.

Это Диденко. Лоб его влажен, глаза горят. Он со всем пылом переживал игру, и сейчас ему необходимо высказаться. Проигрыш «Зенита» задел его, по активности натуры он не просто огорчается, а ищет действия.

— Надо подкрутить профсоюзы и комитет по делам физкультуры! — говорит он.— Неужто нельзя найти новых игроков и кое-кого заменить?!

Воробьев молчит. Что-то мешает ему говорить с Диденко так же охотно, с открытой душой, как говорил прежде. Но Диденко, не обращая внимания на его нахмуренный вид, подхватывает Воробьева под руку и вместе с ним подходит к Груне, остановившейся в сторонке рядом со стариками:

— О-о, и старая гвардия тут! Что, отцы, всыпали нашим?.. Ну, пойдемте выпьем чего-нибудь, пока толпа схлынет. Горло пересохло, аж дерет.

— Кричали небось? — с лаской замечает Ефим Кузьмич.

— А то нет! Покричишь, когда такое творится.

По пути они прихватывают Немировых и Саганского с женой. Клава неохотно идет за мужем, она расстроена проигрышем, и ведь последняя атака так хорошо развивалась, кто знает, если бы еще двадцать секунд...

Посмеиваясь, Григорий Петрович командует в передвижном ресторанчике, сдвигая столики и заказывая кому пиво, кому лимонад, кому мороженое.

С моря тянет прохладой, надвигаются сумерки, но здесь, на высоте, еще светло, и от закатного нежного света все вокруг еще красивей, чем днем, и приятно сидеть дружеским кружком за сдвинутыми столиками, на ветерке, несущем запахи моря и цветов.

А болельщики все не унимаются. Гусаков уверяет Клаву, что штрафной был неправильно назначен, он прекрасно видел...

Ефиму Кузьмичу надоела воркотня приятеля:

— Ну что ты привязался, Иван Иванович? Вот уж истинно — гусак! Шипишь и шипишь! Кто играет, тот и проигрывает, что ж делать? Чем придираться со стороны, вспомни, великий городошник, как ты сам три раза подряд продул в рюхи этому... ну, как его? Вот память-то! Ну, верзила такой, еще в кузнице работал... Ануфриев, вспомнил! Как ты вызвал его на смертный бой да и продул три подряд, а?

— Я?!

— Ты, конечно, а кто же?

— Я продул Ануфриеву? — притворно удивляется Гусаков.— Да когда это было?

— А как раз перед самой войной. Перед первой мировой, империалистической, вот когда!

Клава хохочет и сквозь смех тихонько повторяет:

— Перед первой... империалистической... ох, не могу!

Всем становится весело, проигрыш «Зенита» забывается. Кто-то замечает Воловика с Асей и Полозова с Аней Карцевой, прогуливающихся по нижней террасе. Их окликают, подзывают.

— Кто выиграл? — безмятежно спрашивает Воловик.

Тут только все замечают, что у этой четверки и волосы мокрые и купальные костюмы в руках.

— Мы были на пляже, а потом зашли стадион поглядеть,— спокойно объясняет Полозов.

Стулья сдвигают еще ближе.

— Не знаете, кто выиграл, и не знайте, я вам докладывать не обязан! — шутливо говорит Диденко.— Но вот пусть Григорий Петрович скажет, разве допустимо, чтобы начальники цехов женились, не докладывая начальству? И замотали свадьбу?!

— Ничего, не отвертится! Алексей Алексеевич, раскошеливайся! — кричит Гусаков и выразительно сигналит буфетчице.

Буфетчица подает бутылки и рюмки. Ставит на стол тарелки с бутербродами.

Пьют за молодых. Гусаков кричит:

— Горько, горько!

Аня смеется, краснеет и оглядывается: людей все еще много, как тут целоваться у всех на виду?

— Аня, ведь все свои! — говорит Алексей, сильной рукой обнимает ее за плечи и целует в губы.

— Теперь можно и по второй,— с облегчением заявляет Гусаков.

Разговор за сдвинутыми столиками становится все оживленней и бессвязней. Саганский и Немиров, притиснутые друг к другу, спорят о чем-то своем, спокойная, рассудительная речь Немирова перебивается возбужденным тенорком Саганского:

— ...если разобраться по существу, то эти самые оборотные средства...

— ...Доверь мне распоряжаться деньгами, так я...

Саганский уже немного пьян, а может быть, притворяется подвыпившим, чтобы вести себя вольготнее.

— Борис Иванович, постыдись, Борис Иванович,— громко шепчет ему жена.

Гусаков вдруг привстает и кричит:

— Валечка! Валя!

Неподалеку от них Аркадий Ступин угощает Валю Зимину лимонадом.

— Ну, чего кричишь? — упрекает Ефим Кузьмич.— Давно не видал, что ли? Оставь их...

Гусаков с досадой хмурится и тянется за бутылкой, но Ефим Кузьмич и тут перехватывает его руку:

— Довольно, Иван Иванович. Я тебя домой тащить не буду.

Воробьев горячо убеждает Диденко:

— Принять человека — поработать с ним нужно, подготовить! А разве мы не работаем? Вот Шикин. Сколько времени не

замечали человека, а какой работник оказался, когда дали ему развернуться!

Рядом Ася, горделиво вздернув носик, рассказывает Ане Карцевой:

— Я его еле вытащила! Он каждый вечер занимается. Профессор взял с меня слово, что я буду следить и помогать. Профессор говорит, что при таких выдающихся способностях...

Галочка стоит у колен Воробьева и медленно вылизывает мороженое из вафельного стаканчика.

Терраса опустела. Теперь только редкие пары не спеша проходят мимо, останавливаясь, чтобы в последний раз поглядеть на уже сумрачное, вечернее море. Купола, встающего из воды, не видно, а там, где был купол, поблескивает яркий огонек.

— Дядя Яша, что это блестит и гаснет, блестит и гаснет?

— Маяк,— не оборачиваясь, говорит Воробьев.

Откуда он может знать, если он даже не обернулся? И все-то он знает, дядя Яша!

Немиров, схватив Диденко за руку, полушутя, полусерьезно просит:

— Ну, ты нам открой свой секрет, не таи, Николай Гаврилович! Или ты действительно любишь критику, или ты артист, а?

Он поясняет Саганскому:

— Понимаешь, Борис Иванович, как его ни критикуй, будто с гуся вода! Не переживает — и все!

Диденко смеется:

— Ох, Григорий Петрович, боюсь — узнаешь мой секрет, и сладу с тобой не будет.

— Значит, не переживаете? — настаивает Саганский, изумленно разглядывая человека, спокойно принимающего критику.

— Жаль, моей жены тут нет,— смешливо щурясь, говорит Диденко.— Она бы вам рассказала... А что радуюсь я критике, так ведь ежели она развертывается вовсю — значит, и я молодец! А если люди смотрят, глаза зажмуривши, как коты,— значит, жирком обросли. А тогда, выходит, я вдвойне плох! Да и самому ведь помогает, если подскажут — где недоделал, где недодумал!

И обращается прямо к Воробьеву:

— Верно, Яков Андреич?

Минуту они испытующе смотрят друг другу в глаза, потом Воробьев с улыбкой говорит:

— Так-то оно так...

Буфетчица нетерпеливо топчется вокруг засидевшейся компании — все уже разошлись, ресторанчики сворачиваются, работяги грузовики снуют взад и вперед, увозя тысячи ящиков с пустыми бутылками, перевернутые лотки, тележки из-под мороженого.

На террасе пусто. Только одна маленькая группа приближается, четко вырисовываясь на фоне закатного неба,— двое юношей и девушка. Все трое идут медленно, поодаль друг от друга.

— Да ведь это Коля! — приглядевшнсь, вскрнкнвает Ефнм Кузьмич.— Коля! Пакулнн!

Николай не расслышал зова, а девушка покосилась в сторону шумной компанни и тотчас отвериулась.

— Ну чего кричишь? Чего кричншь? — в свою очередь попрекает приятеля Гусаков.— Ходят — и пусть ходят... Эко право! — И тут же сам кричнт: — Жеия! Никитин!

Жеия Никнтни торопливо н даже обрадованно покидает Николая н Ксану, охотио подходит к столнку и прнстраивается на одии стул с Сашей Воловнком.

Ефим Кузьмнч смотрнт вслед удаляющейся паре н виновато бормочет:

— А-а... Ну, пусть. Я ведь так...

От вечериего холодка и от мороженого Галочка озябла. Она прижалась к теплому боку дядн Яшн, дядя Яша понял и прнкрыл ее полой пиджака. Так очень уютио, но глаза почему-то ие хотят больше смотреть, онн сами прнкрываются. Голоса звучат то очень далеко, то совсем блнзко н громко. Чужой толстый дядя вдруг страшно заволиовался:

— При такнх параметрах, вы себе представляете, какой иужен металл?

Через мниуту он уже радуется:

— Это такая интересная задача! Такая задача!

Малознакомый Галочке Полозов, тот, которого заставнли целоваться, с увлечением подтверждает:

— Да, таких сложиых н увлекательиых задач мы еще не решали. И чисто технических, коиструкторскнх, н пронзводственных!

Глаза Галочкн опять смыкаются, голоса звучат далеко, н снова возиикает перед нею ярко-зеленое поле и упругий мяч, летящий в угол ворот, н фнгура в черном, прыгающая на перехват мяча вверх н вбок...

— Детские нгрушки! — отчетлнво и громко звучит в ее ушах. Она открывает глаза.

— Да, да,— счастливо улыбаясь, говорнт Полозов.— Все, что мы делали до снх пор,— это детскне нгрушки по сравненню с тем, что нам предстоит!..

Галочка понимает, что игрушкн здесь нн прн чем. Но все выглядят довольиыми н взволнованиымн, н она ие может понять почему.

— Дядя Яша,— шепотом спрашнвает она, дергая Воробьева за полу пиджака.— Дядя Яша, чего онн радуются?

— Что? — переспрашивает Воробьев, ио тут же понимает суть ее вопроса, оглядывает лнца товарнщей, смеется и отвечает:

— Да оттого, Галочка, что нам снова будет очеиь нелегко.

Галочка понимающе кнвает головой,— она уже успела узнать, что трудное всегда нитересно.

Вера Казимировна
Кетлинская

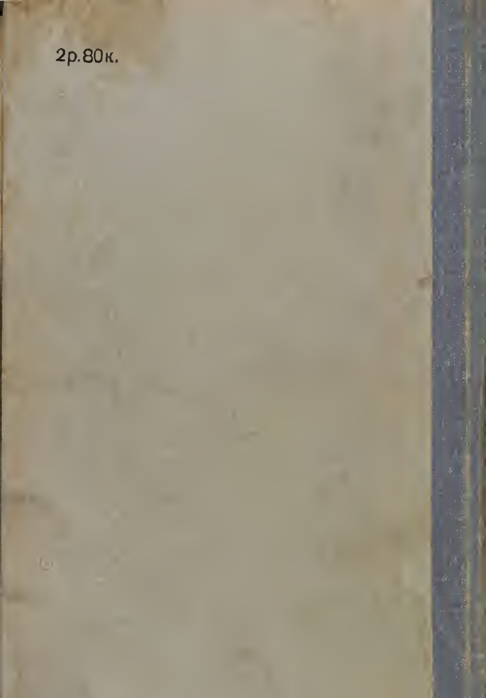
**ДНИ
НАШЕЙ
ЖИЗНИ**

Л. О. изд-ва «Советский писатель» 1981 г. 584 стр.
План выпуска 1981 г. № 110

Редактор *К. М. Успенская*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Тех. редактор *Г. В. Белькова*
Корректор *И. Г. Клейнер*

ИБ № 2822

Сдано в набор 22. 04. 80. Подписано к печати 23. 01. 81. Бумага тип. № 1. Формат $84\times108^1/_{32}$. Высокая печать. Литературная гарнитура. Усл. печ. л. 30,66. Уч. изд. л. 42,30. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1284. Цена 2 р. 80 к.
Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



2р.80к.